

истический  
ый набель  
стическая монархия  
о-Венгрии  
Германия. Католиче-  
ская партия центра  
Германия. Объединение  
Всеобщее избирательное  
право для мужчин  
Германия. Бисмарк  
«Долгая депрессия»  
Германия. «Культуркампф»  
Германия. Бисмарк  
«Долгая депрессия»  
Великобритания. Парламентское представительство рабочих  
Фабричные законы  
распространены на мужчин  
Великобритания. Закон Форстера  
о начальном образовании  
Потребление угля более 100 млн т  
США  
А. Белл. Телефон  
Германия. Покушение  
на Вильгельма I  
Законы против  
социалистов  
Великобритания. Гражданские  
расходы выше военных  
Великобритания. Международная  
торговля — 50% ВВП  
Закон об обязательном  
начальном образовании  
Великобритания. Томасовский процесс  
производства стали  
США. Лампочка  
Эдисона  
США. Закон  
Пендлтона  
США. Американская  
федерация труда  
Россия. Влияние С. Ю. Витте на государство  
Германия. Переход от Realpolitik к...  
Банковский кризис  
Франция. Легализация  
профсоюзов и забастовок  
Франция. Дело Дрейфуса  
Франция. Всеобщее  
конфе  
труда  
Германия. Бензиновый  
двигатель внутреннего сгорания  
Электромотор для трамвая  
Австро-Венгрия. Снижение имуществен-  
ного ценза для участия в выборах  
Германия. Пангерманский  
союз  
Эрфуртская  
программа  
СДПГ  
Великобритания. Лига за  
право голоса женщинам  
Акт о морской обороне  
Великобритания  
Юнионизация — 5%  
США. Закон Шермана  
Великобритания. Гражданские  
расходы выше военных  
Великобритания. Международная  
торговля — 50% ВВП  
Закон об обязательном  
начальном образовании  
Великобритания. Акт о народном  
представительстве  
Третья парламентская  
реформа  
США. Закон Шермана  
Германия. Золотой стандарт  
Германия. Социал-демо-  
кратическая партия (СДПГ)  
Рейхсбанк  
Германия. Бисмарк-  
ская система социаль-  
ного страхования  
Австро-Венгрия. Снижение имуществен-  
ного ценза для участия в выборах  
Тройственный союз  
Россия. Заводы Гужона  
К. Маркс  
Россия  
Николай II  
Франко-  
русский  
союз

# СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА

1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
 США. Практика судов Линча  
Франко-прусская война  
США. Забастовка нью-йоркских  
строителей  
Россия. Александр II  
Австро-Венгрия  
Боснийско-герцеговинское  
восстание  
США. Хоумстедская  
стачка  
сталелитейщиков  
США. Подавление забастовки  
дорожников  
США. Подавление забастовки  
железнодорожников  
США. Восстание на площади Томпкинса  
в Нью-Йорке  
США. Подавление забастовки  
промышленников  
Забастовка  
Венгрия. Н...





**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМПЕРИОЛОГИИ  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Michael Mann

# The Sources of Social Power

VOLUME 2

THE RISE OF CLASSES AND  
NATION-STATES, 1760-1914

Майкл Манн

# Источники социальной власти

Том 2

СТАНОВЛЕНИЕ КЛАССОВ  
И НАЦИЙ-ГОСУДАРСТВ,  
1760–1914 ГОДЫ  
*Книга вторая*



| ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ДЕЛО |  
Москва | 2018

УДК 316  
ББК 60.5  
М23

Перевод с английского

- Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н. э. — Д. Ю. Карасев (перевод и научная редакция).  
Т. 3. Глобальные империи и революция, 1890–1945 годы — Д. Ю. Карасев, под науч. ред. С. Моисеева.  
Т. 4. Глобализации, 1945–2011 годы — О. Левченко, А. Гуськов, С. Коломиец, под науч. ред. Д. Ю. Карасева.

**Манн, Майкл**

М23      **Источники социальной власти: в 4 т. Т. 2. Становление классов и наций-государств, 1760–1914 годы (книга вторая) / Майкл Манн; пер. с англ. А. В. Лазарева; под науч. ред. Д. Ю. Карасева. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 520 с.**

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)  
ISBN 978-5-7749-1284-1 (т. 2)  
ISBN 978-5-7749-1286-5 (т. 2-2)

Выделяя четыре источника власти — идеологический, экономический, военный и политический — в человеческих обществах, монография «Источники социальной власти» прослеживает их исторические взаимоотношения.

Второй том аналитической истории социальной власти Майкла Манна посвящен отношениям власти в период между промышленной революцией и Первой мировой войной и сфокусирован на Франции, Великобритании, габсбургской Австрии, Пруссии-Германии и Соединенных Штатах. Основываясь на фундаментальных эмпирических исследованиях, автор выдвигает оригинальные теории становления наций и национализма, классовых конфликтов, современного государства и современного милитаризма. Он также подчеркивает социальную и историческую сложность рассматриваемых явлений, не боясь обобщений. Майкл Манн исследует человеческое общество как «структурированный беспорядок» и пытается разработать соответствующую такому представлению социологическую теорию. Эта теория венчает собой заключительную главу, где представлено оригинальное объяснение причин Первой мировой войны. Книга была впервые опубликована в 1993 г., новое издание второго тома включает обновленное предисловие, в котором автор проводит анализ влияния и следа, оставленного данной работой в историографии.

Майкл Манн является почетным профессором социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он автор таких книг, как «Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом» (2011; рус. изд.: М., 2014), *Incoherent Empire* (2003) и *Fascists* (2004). В 2006 г. его книга «Темная сторона демократии» (2004; рус. изд.: М., 2016) была удостоена премии им. Баррингтона Мура, вручаемой Американским социологическим обществом, как лучшая книга по компаративной и исторической социологии.

УДК 316  
ББК 60.5

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)  
ISBN 978-5-7749-1284-1 (т. 2)  
ISBN 978-5-7749-1286-5 (т. 2-2)

The Sources of Social Power. Vol. II: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914 by Michael Mann

Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge

© Cambridge University Press 1993, 2012

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018

# СОДЕРЖАНИЕ

## Глава 12. Становление государства модерна. II. Автономия военной власти · 1

Функции: I. Внутренний милитаризм · 2; Функции: II. Геополитический милитаризм · 14; Военные: класс, бюрократизация и профессионализация в 1760–1815 годах · 23; На пути к формированию военной касты · 32; Автономизация военной власти · 44; Заключение · 47; Библиография · 49

## Глава 13. Становление государства модерна.

### III. Бюрократи-зация · 53

Администрация «старого порядка» · 55; Стадия 1: династическая монархия и война, 1700–1780 годы · 57; Стадия 2: революция, реформа и представительство, 1780–1850 годы · 70; Стадия 3: инфраструктуры государства и промышленный капитализм, 1850–1914 годы · 83; Заключение · 89; Библиография · 93

## Глава 14. Становление государства модерна. IV. Расширение набора гражданских функций · 96

Инфраструктурный рост, партийная демократия и нация · 97; Дого-няющее развитие и военно-промышленный комплекс · 112; Социальное гражданство, милитаризм и монархизм · 123; Заключение по главам 11–14 · 129; Библиография · 132

## Глава 15. Обратимый подъем британского рабочего класса, 1815–1880 годы · 135

Теории движений рабочего класса · 135; Предпринимательский капита-лизм и народная политика, 1760–1832 годы · 143; Пролетарские восста-ния чартистов, 1832–1850 годы · 153; Расцвет секционного тред-юниониз-ма, 1850–80-е годы · 169; Заключение · 176; Библиография · 178

## Глава 16. Нация среднего класса · 180

Теоретические вопросы · 180; Фракции среднего класса · 185; Три фрак-ции одного класса · 211; Идеологическое гражданство среднего клас-са · 213; Политический национализм среднего класса · 218; Заклю-чение · 235; Библиография · 237

## Глава 17. Классовая борьба в период второй промышленной революции, 1880–1914 годы. I. Великобритания · 242

Вторая промышленная революция · 242; Объяснение подъема рабочего движения в Британии · 247; Политические стратегии рабочих и режи-ма · 269; Заключение · 278; Библиография · 279

**Глава 18. Классовая борьба во время второй промышленной революции, 1880–1914 годы. II. Сравнительный анализ рабочих движений · 282**

Теория · 282; Сравнительные данные по рабочим движениям разных стран · 285; США: политические кристаллизации и упадок социализма · 291; Развитие рабочего движения в США до Первой мировой войны · 294; Четыре американские политические кристаллизации · 303; Империалистическая Россия: самодержавный милитаризм и революция · 322; Франция: конкурирующие политические кристаллизации, соперничающие варианты социализма · 331; Германия: полуавторитарное инкорпорирование · 337; Другие европейские страны · 346; Заключение · 349; Библиография · 355

**Глава 19. Классовая борьба во время второй промышленной революции, 1880–1914 годы. III. Крестьянство · 360**

Аграрные классы · 362; Глобальная коммерциализация сельского хозяйства · 366; Государства и аграрные классы: четыре основных паттерна · 370; Партийная демократия во Франции и в США · 372; Вызов сильным монархиям: Германия и Австро-Венгрия · 378; Вызов слабым монархиям: Скандинавия и Россия · 385; Заключение · 390; Библиография · 394

**Глава 20. Теоретические выводы: классы, государства, нации и источники социальной власти · 398**

Классы и государства · 398; Нации и государства · 407; Источники социальной власти · 415

**Глава 21. «Решительная» эмпирическая кульминация: геополитика, классовая борьба и Первая мировая война · 419**

Скатывание к войне · 421; Реалистические теории Первой мировой, или Великой, войны · 423; Предварительная критика реалистического объяснения · 433; Государственные деятели монархий · 441; Высшее командование · 444; Как государственные служащие монархий и высшее командование перешли к войне · 447; Партийные демократии · 451; Классы, нации и геополитика · 461; Капиталисты и экономический империализм · 464; Социальный империализм и народные классы · 470; Социальный империализм и дрейф режима в Германии · 479; Заключение · 488; Библиография · 493

**Приложение. Дополнительные статистические таблицы по государственным финансам и численности государственных служащих · 496**

## ГЛАВА 12

# Становление государства модерна

### II. Автономия военной власти

**КАК ПОКАЗАНО** в главе 11, война была главной государственной функцией в 1760 г. И в 1910 г. военные расходы все еще составляли половину государственных бюджетов. Милитаризм сохранял центральное значение для современного государства до 1914 г. — на самом деле и позднее, в XX в. Тем не менее аномальный период геополитического и социального мира, воцарившийся на Западе после Второй мировой войны, заставил социологию пренебречь важностью военной организации для современного общества. Эта глава рассматривает три ключевых вопроса военной власти: кто контролировал вооруженные силы, какова была их внутренняя организация и какие функции они выполняли<sup>1</sup>.

1. Вопрос *контроля* может быть сформулирован в терминах, взятых из основных теорий государства, обсуждавшихся в главе 3. Находились ли вооруженные силы под контролем господствующих классов, плюралистической партийной демократии или автономной государственной элиты? Или же они были институционально автономны от любого внешнего контроля в качестве военной касты? Однозначного ответа для всего разнообразия периодов, мест и режимов, рассмотренных здесь, может и не быть.
2. Военная *организация* включает взаимодействие двух иерархий: отношения между офицерами и рядовыми и их внешние отношения с социальными классами, а также два модернизационных процесса — бюрократизацию и профессионализацию. Возникновение «армий граждан» ослабило обе иерархии (например, Best 1982). Между тем военная организация по сути есть концентрированное принуждение. Солдатам необходима принудительная дисциплина, чтобы

---

1. Основные источники для этой главы: Vagts 1959; Janowitz 1960; Gooch 1980; Best 1982; McNeill 1983; Strachan 1983; Bond 1984; Anderson 1988; Dandeker 1989.



они рисковали своими жизнями и отнимали чужие в бою. Вооруженные силы большинства стран представляют собой дисциплинированную иерархию. Поскольку в этот период большинство армий входило в состав воинских соединений, ведущих упорядоченные военные операции, военная организация была чрезвычайно четко выражена. Военные власти представляли собой сегментарные властные организации, подрывающие и часто подавляющие народные представления о классе и гражданстве. Тем не менее военная организация трансформировалась. Бюрократическим путем она была инкорпорирована в структуру государства, однако это не положило конец ее институциональной автономии. Она также профессионализировалась, при этом оставаясь переплетенной с классами общества и государственной бюрократией.

3. Военные *функции*, как только они были монополизированы государством, стали тем, что я называю милитаристской кристаллизацией. Эта кристаллизация была двойственной: геополитической (ведение внешних войн) и внутренней (подавление недовольств). Сохранились обе функции, но они также претерпели изменения.

В целом я прослеживаю удивительно парадоксальную тенденцию: несмотря на формальное включение военной власти в государство и рост широкого национального гражданства, автономия и сегментарная власть военной касты *росли* на протяжении всего рассматриваемого периода, тем самым приводя к неоднозначным последствиям и определенной опасности для западного общества. Почему вы разделяете политическую и военную власть, спрашивают меня критики (например, Рансиман (Runciman 1987) и Эрик Райт в дружеских дискуссиях). Я отвечаю: потому что они были разделены, автономны в наше время, причем с самыми опустошительными последствиями. Повествование в этой главе заканчивается на том самом всемирно-историческом моменте, когда западные военные вели усиленную подготовку к демонстрации силы.

## ФУНКЦИИ: I. ВНУТРЕННИЙ МИЛИТАРИЗМ

Армия, реже флот, были необходимы для поддержания внутреннего порядка, хотя их роль значительно изменилась на

протяжении рассматриваемого периода<sup>2</sup>. Я выделяю четыре уровня внутренних репрессий. Наименее репрессивным считается то государство, которое наводило общественный порядок исключительно путем *примирения, соглашения и убеждения*, не прибегая к репрессиям. Очевидно, что ни одно государство не являлось абсолютно миролюбивым, и, таким образом, все они иногда или в обычном порядке переходили к репрессиям. Второй уровень — это *охрана правопорядка* в современном смысле, то есть борьба с преступлениями и беспорядками с помощью обученных отрядов, имеющих только легкое вооружение и не располагающих ресурсами для демонстрации военной силы. Это редко являлось функцией армии. На протяжении большей части XVIII в. полицейский контроль был функцией констеблей, назначавшихся и сегментарно контролировавшихся местной знатью. Даже Лондон — самый большой город Европы охранялся пестрой смесью из приходских констеблей. Но если проблема обострялась до третьего уровня беспорядков, превосходивших возможности констеблей, тогда отряды регулярной армии, милиция и другие *военизированные* формирования призывались для демонстрации силы.

Беспорядки в основном были демонстративными. Сталкиваясь с превосходящей силой, протестующие обычно рассеивались. Далее власти могли обдумать способ решения проблемы. Обычно это был ритуальный обмен насилием. Когда это не срабатывало, ситуация перерастала в четвертую стадию широкомасштабных военных репрессий, то есть в фактические боевые действия и стрельбу обычно с помощью регулярных войск. Ни власти, ни армия не приветствовали такое положение, поскольку оно фактически демонстрировало их неспособность обеспечить рутинный порядок. Его инструменты также были относительно неконтролируемыми. Поведение протестующих и солдат, когда ружья палят, конница идет в атаку, а сабли рубят, на узких улицах предугадать непросто. В итоге это могло привести к еще большим беспорядкам, и власти часто избавлялись от чиновников, отдавших такой приказ.

Между 1600 и 1800 гг. центральные власти применили больше репрессий третьего и четвертого уровня, поскольку армия заняла место местной знати и ее вассалов. Абсолютистские режимы XVIII в. в дальнейшем добавили новые военизированные полицейские организации в столицах и изредка по всей стране. Самой известной из них была французская конно-полицейская стража (*Maréchaussée*) — более трех тысяч человек, ответствен-

---

2. В этой части я всецело полагался на сравнительную работу Эмсли об управлении (Emsley 1983).

ных перед военным министром. В 1780-х гг. военно-полицейская стража численностью более трехсот человек поддерживала порядок в Вене. Это были военизированные формирования, постоянное присутствие которых в основном демонстрировало силу, предназначенную для повышения общего контроля и предотвращения преступлений и беспорядков (Axtmann 1991). Конституционные режимы, с подозрением относившиеся к регулярным армиям, создали милицию, но укомплектовали ее офицерским составом из местного дворянства, слабо координировавшего свои действия с армией.

Главным достижением XIX в. было создание муниципальных, региональных и национальных полицейских сил, организационные возможности которых были сравнимы с армейскими, хотя и без соответствующей численности, арсеналов или потенциальной возможности прибегнуть к четвертому уровню насилия. Они были подчинены не армии или приходу, а более свободным гражданским властям. Британские полицейские власти были на одном полюсе: безоружные, контролируемые на локально-региональном уровне городом и графством, но в чрезвычайных ситуациях координируемые из Лондона. В других местах гражданские и вооруженные организации существовали параллельно. Во Франции Главное управление национальной безопасности (*Sûreté Nationale*), первоначально парижское и подчинявшееся Министерству внутренних дел, поглотило городские полицейские власти и жандармерию, вышедшую из конно-полицейской стражи, было вооружено и подчинялось военному министерству. Прусская полиция в наибольшей степени сохранила военный дух, хотя формально была отделена от армии и находилась под возрастающим гражданским контролем примерно с 1900 г. Армия США, взаимодействуя с государственными вооруженными формированиями, становилась национальной гвардией, которая, в свою очередь, взаимодействовала с местными полицейскими властями. Эти разнообразные полицейские власти и вооруженные формирования имели тенденцию заменять армию на третьем уровне принуждения. В настоящее время армии специализируются на четвертом уровне, ограничиваясь серьезными вспышками организованного насилия, в тесном взаимодействии с другими властями.

Современные социологи интерпретируют это развитие под воздействием двух доминирующих и относительно мирных теорий модерна — либерализма и марксизма. Под этим, в особенности под ростом рутинизации надзора, они понимают более глубокую и существенно более диффузную социальную трансформацию — «умиротворение» самого гражданского обще-

ства через упрощение надзора и «интернализацию дисциплины». Фуко (Foucault 1979) утверждает, что наказание в обществе трансформировалось из авторитетного, публичного, карательного, зрелищного и жестокого в диффузное, скрытое, рациональное, исправительное и интернализованное. Его данные относятся только к тюрьмам и психиатрическим лечебницам, и вряд ли их можно переносить на более широкое общество. Хотя Гидденс (Giddens 1985: 181–192) и Дандекер (Dandeker 1989) конкретизировали его аргумент, утверждая, что более широкая дисциплинарная власть проявляется в рутинизации и надзоре, обеспечиваемыми записями и графиками общественных и частных административных органов управления, фабричного производства, департаментов и бухгалтерских контор, вездесущностью расписаний, логически обоснованными законами ограничения экономических рынков (особенно свободным договором личного найма) и контроля установленного порядка школьного обучения. Непокорность сдерживалась и превращалась во внутреннюю уступчивость в момент первоначального напряжения, до того как она могла взорваться насилием.

Гидденс придает особое значение рабочему месту, цитируя комментарий Маркса о том, что индустриальный капитализм встроил «утомительное экономическое принуждение» в классовые отношения. Это хорошо сочетается с тезисами марксистов, например Андерсона и Бреннера, согласно которым, несмотря на то что исторически предшествующие способы производства извлекают прибавочный труд с помощью насилия, капитализм делает это через экономический процесс. Уменьшение насилия в классовых процессах — момент, который подчеркивает также Элиас (Elias 1983) в своем рассказе о развитии западного «процесса цивилизации». Насилие в современном обществе спрятано, институционализировано, хотя феминисты настаивают, что семейное насилие сохраняется. Мы больше не подсчитываем тела убитых, мы психоанализируем жертв насилия.

Ни Элиас, ни марксисты не проявляют интереса к последствиям этого для военных в отличие от Гидденса и Дандекера. Гидденс предполагает, что «это подразумевает... не исчезновение войн, а концентрацию военных сил, „направленных вовне“, в сторону других государств и национально-государственных систем» (Giddens 1985: 192). Тилли (Tilly 1990: 125) поддерживает этот тезис, но добавляет, что ни один подобный переход не имел места в странах третьего мира за весь XX в. Их вооруженные силы направляют огромную военную огневую мощь внутрь, против своих же подданных, практически без колебаний, которые выказывали исторически предшествующие западные режимы. В этом их отличие от западной истории, кото-

рая, как соглашается Тилли, была свидетельницей масштабной трансформации военной власти — от дуалистической функции (война/репрессии) к сингулярной (войне), исключаяющей военных из классовой борьбы.

Так ли это? По существу, да, но не в этот период и главным образом не по причинам, указанным Фуко, Гидденсом, Дандекером и Элиасом. Они правы в том, что общественный строй в современном западном обществе, за исключением центров американских городов, опирается на гораздо меньшее принуждение, чем в большинстве исторически предшествующих обществ, и это заставляет военных в большей степени «направляться вовне». Но это было достигнуто преимущественно в XX в. благодаря успехам двух других сетей власти — политического и социального гражданства и институционального примирения трудовых отношений. Хотя все началось в данный период, но достигнуто было в основном во второй половине XX в. Поскольку большинство стран третьего мира не достигло политического и социального гражданства, военные там все еще были направлены внутрь общества<sup>3</sup>. Факты покажут, что ни «дисциплина», ни отстранение военных от внутренних репрессий к 1914 г. далеко не продвинулись.

Постулируя спад явного насилия, Дандекер и Гидденс опираются на доказательства из двух источников: современных описаний общества XVIII в., отличавшегося мелкими кражами, хулиганством и небезопасными дорогами, и данных об уменьшении числа общеуголовных насильственных преступлений в XIX в., приведенных, например, Гарром и соавторами (Gurr et al. 1977). Несмотря на то что криминальная статистика печально известна своей недостоверностью, спад, вероятно, действительно имел место, хотя и частично компенсированный ростом ненасильственных преступлений против собственности (Emsley 1983: 115–131). Развитое капиталистическое общество обычно более умиротворено в межличностных отношениях и повседневных практиках, чем исторически предшествовавшие общества, и одна стадия этой трансформации началась в XVIII и продолжалась на протяжении всего XIX в., как утверждают Дандекер, Фуко и Гидденс (Элиас считает, что эта стадия началась намного раньше). С другой стороны, общеуголовные преступления (мой второй уровень полицейского контроля) не были за-

---

3. Тот факт, что институционализация трудовых отношений в странах третьего мира внесла меньший вклад в демилитаризацию общества, возможно, объясняется тем, что индустриализация здесь имела более узкую базу, чем на Западе. Размер индустриального рабочего класса в странах, подобных латиноамериканским, пропорционально меньше, чем в их исторически предшествующих западных аналогах.

ботой армии XVIII в., за исключением отсталых областей Европы с организованным бандитизмом. С кражами и хулиганством либо разбирались констебли, магистраты или вассалы местной знати, либо с ними мирились как с нормальным состоянием общества. Армии и военизированные формирования призывали на помощь только тогда, когда насилие достигало третьего уровня — бунтов, требующих демонстрации силы, преимущественно голодных бунтов, несанкционированных выступлений, трудовых конфликтов и бунтов против насильственных вербовок в армию (см. главу 4).

Тилли (Tilly 1986) представил наилучшие доказательства происходившего на примере Франции. Он говорит не о спаде коллективного протеста, а о его двойной трансформации — от хлебного бунта к трудовой забастовке и от местной к национальной организации — в ответ на развитие капитализма и национального государства. Они, завершив свое развитие к 1950-м гг., институционализировались настолько, что акции протеста профсоюзов и политических партий не требовали усмирения регулярной армией. Но до 1914 г. ситуация была иной. Бастующие рабочие и политические демонстранты встречались с солдатами так же часто, как участники хлебных бунтов в предшествующие эпохи. Более тысячи протестующих были убиты в стычках с войсками в 1830, 1848 и 1871 гг. Хотя никакие последующие события не превосходили эти «революции», Тилли утверждает, что в десятках случаев сотни людей захватывали публичные пространства и больше суток удерживали их, обороняясь от войск. Один из таких случаев произошел во время волнений рабочих и фермеров в 1905–1907 гг. Неудавшиеся перевороты также были в 1851 и 1889 гг.

Тилли называет XIX в. бунташным (Tilly 1986: 308–309, 358–366, 383–384). Французские вооруженные силы так же активно осуществляли репрессии, как и в столетие, предшествовавшее 1789 г. Вместе с тем разные государственные департаменты занимались прямо противоположным — примирением. Как мы увидим в главе 18, французские префекты и субпрефекты, которым в конце века помогало Министерство труда, пытались разрешить трудовые споры до того, как они перерастали в насилие. Французский внутренний милитаризм был диверсифицированным.

Французская история отличается от прочих, за исключением насилия. В Соединенных Штатах до 1860-х гг. основной задачей армии было убийство индейцев; потом она сражалась в Гражданской войне, которая продолжала тлеть во время оккупации Юга, в то время как многочисленная, заново сформированная национальная гвардия переключилась с угнетения

индейцев и рабов на оккупацию Юга и затем на разгон стачек и городских бунтов (Hill 1964: глава 4; Dupuy 1971: 76). Гольдштейн (Goldstein 1978: 1–102, 548) документирует «массовые и продолжительные» репрессии по отношению к американским трудящимся с 1870-х по 1930-е гг., включая неоднократное использование национальной гвардии, при необходимости поддерживаемой армией. Пик пришелся на 1880–90-е гг., затем произошел небольшой спад. Но так случилось потому, что государство и работодатели разработали двойную стратегию для трудящихся: подавляя широкий и социалистический протест, удовлетворяя групповой протест квалифицированных рабочих (см. главу 18). Американские внутренние репрессии оставались военными и вооруженными, даже становясь более избирательными. Только в самом начале XX в. другие государственные структуры пошли на примирение с рабочими.

Австрийская жестокость по существу оставалась неизменной. Армейские гарнизоны, размещенные во всех основных городах, каждое десятилетие подавляли национальные выступления. Хотя революция 1848–1849 гг. не повторилась, протестов и репрессий было не меньше и режим все больше полагался на части регулярной армии, чем на менее надежные провинциальные вооруженные формирования (Deak 1990: особенно с. 65–67). И в Австрии, и в прусско-германских государствах было мало настоящего арбитражного урегулирования трудовых конфликтов. Более того, их военные могли также вмешиваться в гражданские дела. Немецкие гарнизоны и города-крепости подавляли восставших до самого начала XX в. С 1820 г. и далее местные командиры германской армии имели право вмешиваться произвольно, без просьб местных властей (хотя они согласованно действовали вместе). Это закончилось печально известным Цабернским инцидентом 1913 г., когда местный полковник самовольно разогнал демонстрантов и посадил в тюрьму их предводителей, что вызвало громкий общественный протест. Полковника предали военному суду, но он был оправдан и самоуправство военной власти продолжилось. Вмешательство германской армии наблюдалось и век спустя. В 1909 г. солдаты, вооруженные пулеметами, боевыми снарядами и с прижатыми штыками, все еще подавляли забастовку шахтеров. Но теперь германской армии редко приходилось применять настоящее насилие. Зачастую хватало скорее ритуализированной демонстрации того, что по сути было вооруженными формированиями (Tilly 1971; Ludtke 1989: 180–198; см. также главу 18).

В большинстве стран военные репрессии продолжались *наряду* с ростом новых полицейских и вооруженных властей, а в партийно-демократических государствах еще и *наряду* с го-

сударственным примирением классового конфликта. Таким образом, армии регулярно не сталкивались с беспорядками среднего уровня. Восстания были так же часты, как и в XVIII в., но режимы находили другие формы репрессии, специально приспособленные к актуальному уровню угрозы. Очень немногие режимы или военные командиры находили удовольствие в избиении или расстреле масс. Например, в России они делали это довольно часто, в Соединенных Штатах с их традицией индивидуального и локального насилия они постоянно прибегали к репрессиям (см. главу 18). Репрессивный милитаризм остался в трех традиционных формах: *присутствию, демонстрации* и *относительно редко — насилию*.

Фактически британский опыт был действительно особым, единственно чистым примером уменьшения военных репрессий. На протяжении XVIII в. армия мирного времени численностью 10–15 тыс. человек неоднократно использовалась в период восстаний, последним крупным из которых было восстание Гордона в 1780 г., когда было убито 285 человек. Армию держали готовой к репрессиям во время войн с Францией, когда большинство казарм находилось не в районах контрабанды, а были сгруппированы против французов и внутренних радикалов. Армия была объединена с двумя видами милиции джентри: волонтерами и территориальными добровольческими частями (*Yeomanry*). Повстанцы впоследствии были подавлены солдатами в 1816, 1821 и 1830–1832 гг., а чартисты — в 1839–1848 гг. Ирландия в продолжение всего периода была мятежной колонией с оккупационной армией. Впоследствии (в Ирландии несколько позже) наступил относительный покой, до тех пор пока не поднялась волна забастовок 1899–1912 гг. Но с ними разобрались по-другому.

С 1840-х гг. и далее британские власти могли обращаться к полицейским силам городов и графств. Когда немалые силы Манчестера (один констебль на 633 человека в 1849 г.) не могли справиться с местными забастовщиками, лондонская столичная полиция (*London Metropolitan Police*) и Министерство внутренних дел через день могли прислать вдесятеро больше полицейских. И все же армия была задействована как минимум 24 раза, возможно, чуть больше в 1869–1910 г. (Emsley 1983: 178); большинство забастовщиков противостояли «парням в голубых», а не в «красных мундирах», которые к тому моменту были одеты в хаки.

Военные репрессии все еще применялись, хотя их количество пошло на спад с 1848 г. В массе военные репрессии были заменены крупными государственными учреждениями по урегулированию трудовых споров (см. главу 17). Почему в Британии произошла такая уникальная трансформация — от использова-



ния военной силы к охране правопорядка плюс умиротворение, характерное для партийно-демократических стран, и какого рода умиротворение эта трансформация представляет? Это объяснялось тремя основными причинами.

1. Капиталистическая урбанизация усиливала страх имущих классов, неспособных контролировать свои населенные пункты с помощью традиционной сегментарной патронажной власти, подкрепленной периодической помощью армии. Им пришлось подавить свой страх перед централизованными деспотичными полицейскими силами. Они сделали это раньше, чем в других странах, потому что дезорганизация городского, впоследствии промышленного капитализма уникальным образом совпала с политизированным разгулом периода французских войн и реформ до чартизма (см. главы 4 и 15). Более того, серьезная угроза уже возникла в Ирландии XVIII в. Там доминирующее влияние протестантов поглотило страх имущих классов перед централизацией и подтолкнуло к разработке полицейских сил, что стало моделью для основной территории Британии (Axtmann 1991).
2. Сами военные хотели отказаться от репрессий, веря, что они подрывают боевой дух армии и вступают в конфликт с имперскими обязательствами Британии. Британия располагала пропорционально самой малочисленной, самой профессиональной внутренней армией из всех метрополий. В ней не было пограничных полков или других сил, специализирующихся на низкоинтенсивных задачах примирения, которые могли легко переключиться на контроль восстаний.
3. Коллапс чартизма в 1848–1849 гг. деморализовал радикальных протестующих и дал новым полицейским властям время эффективно закрепиться на самом низком уровне угрозы — с настоящими преступлениями, до тех пор пока их не попросили переключиться на контроль восстаний. Новая система работала. К моменту лондонской забастовки 1889 г. полиция выработала тактику «пожалуйста, продолжайте движение», которая позволяла кричать и маршировать без антагонистической борьбы (McNeill 1983: 187–188). Теперь режим мог избегать дестабилизирующих делегитимизирующих эффектов всеобщего насилия, высвободив армию для защиты империи.

Работал ли новый полицейский контроль в том числе потому, что внедрял внутреннюю «дисциплинарную» очистку общества? Гидденс верно подчеркивает развитие в XIX в. административных и коммуникационных возможностей власти, которое было

более авторитетным, чем диффузным, и *обе* стороны могли это использовать. В то время как достаточно спонтанное локальное насилие могло снижаться, организованная война классов возрастала, как произошло в период чартизма. Впоследствии авторитетные организации извлекли пользу из секционного трейд-юнионизма, выросшего на руинах чартизма. Полиция также приобрела авторитетную власть, отвечая оперативно и с легко изменяемым количеством демонстрируемой силы, адекватной среднему уровню восстания. Ружья и кавалерия остались в прошлом.

Мало что указывает на то, что потенциальные бунтовщики были дисциплинированными в смысле Фуко и Гидденса или эксплуатировались исключительно экономическими средствами в марксистском смысле. Чартисты подверглись физическому и организационному разгрому (см. главу 15); сельскохозяйственные рабочие были напуганы уменьшением своей численности и ссылками на каторгу и перешли к локальному скрытому протесту (Tilly 1982); капитализм обеспечивал продовольствием города, уменьшив число хлебных бунтов; квалифицированные рабочие перешли к секционному ответственному протесту (см. главу 15). Эти причины берут начало в равновесии авторитетной организованной власти, а не в большем распространении дисциплины. Поскольку другие режимы не имели такого организационного превосходства над отечественными оппонентами, они нуждались в большей военной власти для поддержания перспективной политики.

Исторический анализ репрессий и их различных уровней приводит к более сложным заключениям, нежели одиночная всемирно-историческая трансформация, предложенная Фуко, Гидденсом и марксистами. Мы обязаны включать в рассмотрение особенности военной и полицейской организации и стратегий режима, которыми они пренебрегают в своих описаниях. На самом деле более ранний период, примерно с 1600 по 1800 г., вероятно, характеризовался значительной трансформацией, когда подконтрольные государству армии стали преимущественно отвечать за второй уровень репрессий так же, как и за третий. При этом армии впоследствии были признаны неподходящими инструментами особенно в городах, когда оружейная технология производила слишком мало зрелищности и грохота, но оставляла слишком много смертей. В дальнейшем в этой главе мы увидим, что война также становилась более профессиональной и имела все большее отношение к массированному огню и все меньшее — к саблям.

Война все больше *отличалась* от внутренних репрессий. Режимы видели, что две военные функции становятся все более

различными по тактике, оружию, способу размещения в казармах и дисциплине. Это угрожало эффективности армии в том, что всегда было ее первой внешней задачей. Таким образом, именно абсолютистские режимы, которые были ближе к военным и правили, не прибегая к усиленному рутинному дисциплинированию, были первыми, кто пришел к поддержанию порядка с помощью полиции в самых больших своих городах (глава 13 показывает, что они сначала пришли к более бюрократической администрации) и к созданию вооруженной национальной полиции. Британия пришла к полицейской власти отчасти из-за ирландского опыта, отчасти из-за того, что ее армия сильнее прочих разрывалась между двумя функциями.

Затем в 1800 г. началась вторая трансформация, когда неуместность военного инструмента проявилась во время мятежей периода революции и индустриализации. Трехчастное деление труда (существующее до сих пор) возникло в первой половине XIX в., как раз тогда, когда полиция, вооруженные силы и регулярная армия справились с возрастающим уровнем угрозы и навели порядок. Два вида «умиротворения» в дальнейшем содействовали этой трансформации. Угроза самого низкого уровня — обычное преступление, возможно, стала уменьшаться частично из-за авторитетной эффективности новых полицейских властей, а также благодаря более широким социальным и дисциплинарным процессам фуко-гидденсовского и марксистского толка. Второй и последующие уровни применения силы были нужны все реже по мере развития гражданского общества и урегулирования трудовых отношений, хотя это варьировалось в зависимости от режима. Гольдштейн (Goldstein 1983) показывает, что и после 1900 г. использование военных сил для решения внутренних проблем продолжалось, хотя и во все меньшей степени, в наиболее конституционных, партийно-демократических режимах Северо-Западной Европы.

Гольдштейн отмечает особый эффект от использования «предохранительного клапана», без которого дела могли пойти хуже: 40 млн молодых, энергичных, возможно, недовольных европейцев, отправленных в Новый Свет между 1850 и 1914 гг. Но он считает, что политика играет большую роль в уменьшении репрессий. Режимы поощряли индустриализацию, грамотность и урбанизацию, хотя они порождали диссидентский мелкобуржуазный и рабочий классы. В конце концов после 50 лет беспорядков и репрессий режимы сменили тактику и стали прибегать к избирательному примирению и инкорпорации требований среднего и рабочего классов, которые были совместимы с надлежащим порядком. Военные репрессии теперь были оставлены для настоящих экстремистов — избирательная по-

литика с важными последствиями для рабочего движения (см. главу 18). Некоторый спад военных репрессий наблюдался в трех партийно-демократических режимах, как только они институционализировали политическое гражданство и трудовые отношения. Британские средние классы были инкорпорированы в середине XIX в.; Французская республика и Американский союз штатов внедрили это в обычную практику гораздо позже. Британские производственные отношения были наиболее институционализированы, чем французские, но основные перемены произошли только после войны (см. главы 17 и 18). Поскольку Германия и Австрия не завершили свою парламентскую, а Австрия и национальную кристаллизации, то их военные были востребованы так же, как и раньше.

Обратите внимание на неслучайную природу моей собственной выборки государств. Все они были великими державами и располагали большими военными силами, чем второстепенные державы. Второстепенные державы Запада имели с ними множество сходных элементов: низкую способность режима к репрессиям, низкий уровень действительных репрессий, ранний переход к представительной демократии (включая ранние избирательные права для женщин), раннюю институционализацию трудовых отношений и ранний переход к «государствам всеобщего благосостояния». Сложно поверить, что население Австралии, Новой Зеландии, Скандинавии и (после 1831 г.) Бенилюкса лучше усвоило «принудительные дисциплины» современного общества, чем немцы или американцы. Более вероятно, что они в меньшей степени испытывали давление военного принуждения и смогли добиться больших гражданских прав, как утверждает Стивенс (Stephens 1989).

Большинство великих держав все еще отправляли военных для решения внутренних проблем, так же как и для решения внешних, но теперь в их арсенале были полиция, вооруженные организации и некоторые средства примирения [в виде государственных организаций по решению трудовых споров]. Если общество становилось более дисциплинированным, то дисциплина все еще прививалась иерархическими принуждающими организациями, а не диффузно усваивалась самими гражданами. В конечном итоге современное государство должно было «передать гражданскому обществу» (civilianize) большую часть функций государства, снизив внутренний милитаризм до минимума. Большая часть чиновников были «консервативно одетыми людьми с консервативными манерами, которые выполняли свои обязанности в основном невоенными методами» и которые отодвигали грубую силу на задний план (Poggi 1990: 73–74). Но в этот период гражданские чиновники вытеснили гру-

бые инстинкты, обеспечив им более специализированную роль рука об руку со специализированной «полужестокой» ролью полиции и (в некоторых случаях) с несколькими гражданскими миротворцами и контролем над самыми грубыми инстинктами. Это оставалось справедливым для большинства стран даже после 1945 г. Большинство внутренних милитаристских кристаллизаций сократилось до более нижних уровней насилия, но сам внутренний милитаризм сохранился.

Если социальные группы в некоторых странах сейчас подчиняются чуть более активно и добровольно, это в первую очередь происходит благодаря приобретению ими ценных гражданских прав, а не бессознательной рутине современной социальной жизни. Поскольку и баланс авторитетных властей, и уровень гражданских прав варьировались, то же было и с уровнями и типами военных репрессий. Со своей стороны режимы сталкивались с не меньшим беспорядком от диссидентов, но располагали репрессивными ресурсами большей точности, чем мушкеты и сабли. Это позволило большинству военных сосредоточиться на внешней войне, скорее изменив, чем покончив со своей двойной ролью. Внутренние военные репрессии применялись лишь против различных классовых и этнических кристаллизаций, региональных и религиозных меньшинств, сражавшихся за большие гражданские права. Таким образом, две иерархии армейской стратификации — их классовый состав и отношения между офицерами и рядовыми — остались релевантными их функции внутренних репрессий. Я позже покажу, что геополитический милитаризм вел к кастовым тенденциям внутри самой группы военных, но эти тенденции сдерживались тесным взаимодействием с консерваторами и имущими классами во время внутренних репрессий.

## **ФУНКЦИИ: II. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ МИЛИТАРИЗМ**

Война и подготовка к войне на протяжении долгого времени были основной функцией государства. Глава II показывает, что такое положение дел сохранялось до середины XIX в. В XVIII в. угроза и применение военной силы были бесспорной частью внешней политики. Война не является обыденным атрибутом внешней политики, и дипломаты часто ее избегают. Но великие державы XVIII в. находились в состоянии войны 78% времени рассматриваемого периода, а в XIX в. — 40% времени (Tilly 1990: 72). Поскольку война — это, возможно, самое безжалостное состязание, известное человеческому сообществу, постоянно происходил процесс обучения через участие в войне, усвоение

ее уроков, модернизацию войск, столкновение с угрозой, поход на войну или близкое наблюдение за боевыми действиями и т. д. Режим, который не уделял самого пристального внимания своей армии и не модернизировал ее, не мог долго избегать поражения. Милитаризм также пропитывал и более мирную дипломатию — переговорные альянсы, королевские браки и торговые договоры. Фактически никакое дипломатическое соглашение не вступало в силу без учета баланса военных сил и безопасности своего собственного государства. Война и военные имели центральное значение для государственного управления и внешней политики. Все государства кристаллизовались как милитаристские, так же как почти все современные.

Кто контролировал их геополитический милитаризм, принимая решения о войне и мире? Традиционные практики, проверенные абсолютистскими режимами конца XVIII в., были очень ясными. Внешняя политика, включая войну, была личной прерогативой монарха. Фридрих II прусский описывал, как в 1740 г. он смог захватить Силезию — ключевой момент во всемирно-историческом возвышении Пруссии:

После смерти своего отца я нашел всю Европу в мире... Малолетство царя Ивана заставляло меня надеяться, что Россия будет более озабочена своими внутренними делами, нежели обеспечением Прагматической санкции [договор, позволивший женщине, Марии-Терезии, унаследовать трон Австрии]. Кроме того, я обнаружил у себя в распоряжении хорошо подготовленную армию и полную казну, да и сам я обладал живым темпераментом. Таковы были причины, подвигшие меня вести войну против Терезы Австрийской, королевы Богемии и Венгрии... Честолюбие, выгода, мое желание сделать себе имя склонили меня незамедлительно начать войну [Ritter 1969: I, 19].

Даже если отбросить эмоции, рассказ Фридриха показывает, что в ведении войн господствовала значительная личная свобода. Также он перечисляет всех своих врагов поименно — еще один признак династической дипломатии.

Эта конституционная прерогатива имела дополнительную поддержку. Монарх становился верховным главнокомандующим вооруженных сил. Мария-Терезия (правила в 1740–1783 гг.) была первым монархом Австрии, получившим чрезвычайные властные полномочия: австрийские солдаты теперь приносили клятву верности ей, а не своему непосредственному командиру. Она не вела солдат в бой, не делали это короли Франции и Великобритании, а также прусский король. Они нуждались в иерархической цепи командования, которая будет описана позже.

Насколько успешно демократизация XIX в. сопротивлялась этим прерогативам монарха? Коротко говоря, с горем по-

полам. Монархия без труда удерживала и сохраняла контроль над внешней и военной политикой. Как показывает глава 10, когда в 1867 г. Габсбурги признали значительную автономию Венгерского королевства (*Reichshaft*), внешняя политика все еще по большей части была прерогативой Франца Иосифа и армия принадлежала ему. Предполагалось, что он будет спрашивать совета относительно торговых договоров, но он избегал этого, смещая с должности министров иностранных дел, которые были с ним не согласны. Военные вопросы и финансы были под его личным контролем в течение его долгого правления, и он ставил их на первое место, превыше внутренних нужд государства (Macartney 1971: 565–567, 586). Разумеется, Австрия была особой гигантской системой протекционистского «рэкета», фактически сконцентрированного вокруг деспотической династической и военной власти Габсбургов с целью защиты всех ссорящихся между собой подданных от окружающих великих держав. Но власть Габсбургов не была чем-то особенным. Во Втором рейхе прусский король оставался верховным главнокомандующим. Ему не нужно было советоваться с рейхстагом по поводу внешней политики и войны. Ему требовалось разрешение других германских правителей в рейхсрате, но его влияние гарантировало, что это будет простой формальностью. В этих странах (и в России) сильный монарх мог осуществлять жесткий контроль над внешней политикой или с полной уверенностью делегировать его канцлеру и министру иностранных дел.

Можно предположить, что положение дел изменилось, поскольку режимы демократизировались, но это было не так. Рассмотрим одну из самых демократических конституционных монархий Европы — Норвегию, после получения ею независимости в 1905 г. Конституция, как правило, сохраняла королевскую прерогативу исполнительной власти и чрезвычайные полномочия: мобилизовать войска, объявлять войну, заключать мир, разрывать союзы и отправлять и принимать послов. Об этом он формально должен был советоваться с парламентом, но на практике парламент не принимал в этом участия. Министерство иностранных дел «едва ли имело представление о том, что внешняя политика в демократическом обществе касается и народа», заключает Рист (Riste 1965: 46). Норвежские классы и другие группы интересов были индифферентны, поскольку были организованы по национальному признаку и озабочены национальными вопросами, что, как мы увидим далее, было (и остается) нормой XIX в.

С ростом национальных государств классы и прочие основные группы интересов стали национально ограниченными, отдавая руководство внешней политикой предположительно де-

мократическим главам исполнительной власти, которые в этом отношении фактически мало чем отличались от прежних абсолютных монархов. Во многих областях демократической Италии монарх потерял большую часть внутренней власти к 1900 г., но это не коснулось контроля над дипломатией. Босворт (Bosworth 1983: 97) пишет: «Внешняя политика имела большое значение для короля и его ближайших советников. Националистическое „общественное мнение“ было назойливым, хотя, будучи организованным и направляемым, могло иметь и положительные стороны. Но ему никогда не позволялось принимать решения».

Поскольку Великобритания была величайшей партийной демократией своего века, принятые ею решения имели особое значение. Ее внешняя политика плюс «управление, командование и распоряжение армией» оставались королевскими прерогативами, как это было принято в конституционных монархиях. При этом с 1688 г. использование войск было строго ограничено. Парламент установил численность армии и флота и правила внутреннего распорядка. Требовалось разрешение парламента, для того чтобы доставить в Британию иностранные войска и поддерживать регулярную армию мирного времени (Brewer 1989: 43–44). Решающее слово во внешней политике формально оставалось за парламентом.

Однако *рутинная* внешняя политика не нуждалась в одобрении парламента, если она не нарушала право конкретной земли или не требовала новых финансовых обязательств (Robbins 1977a). В 1914 г. парламента должен был утвердить объявление войны (так же как и во Франции, в отличие от других воюющих сторон), но рутинная внешняя политика на протяжении июльско-августовского кризиса во многом оставалась частным делом. Министр иностранных дел по рангу уступал только премьер-министру. Парламент не слишком его контролировал. В большинстве случаев как наследственный пэр он заседал в палате лордов, а не общин, что было сделано умышленно во избежание публичной дискуссии. Запросы палаты общин об информации регулярно отклонялись с формулировкой «не в интересах государства». Министр иностранных дел регулярно консультировался с премьер-министром и время от времени по его усмотрению с соответствующими коллегами по кабинету и опытными политиками. Он редко консультировался со всем кабинетом. Настоящий командир, как лорд Роузбери, он проводил самостоятельную внешнюю политику (Martel 1985), а скромный лентяй, например сэр Эдвард Грей, придерживался генерального курса и не утруждал себя консультациями с неспециалистами. Лишь некоторые из людей, именовавших себя государственными



ми деятелями, общались при помощи писем, которые путешествовали между поместьями, и бесед в джентльменских клубах. В либеральной дипломатии клуб, а не палата общин занял место королевского двора (доказательства приведены в Steiner 1969; Steiner and Cromwell 1972; Robbins 1977a; Kennedy 1985: 59–65). В отличие от этой тесно связанной группы общественное мнение было аморфным, разобщенным, и в отдельных случаях им сложно было манипулировать (Steiner 1969: 172–200; Robbins 1977b). По существу, исполнительные власти «старого порядка» остались обособленными во внешней политике даже в то время, когда в палату общин проникли депутаты от рабочих. Британские классы были озабочены преимущественно вопросами национальной политики. Они оставили рутинную внешнюю политику экспертам.

В самой высокоразвитой партийной демократии — Соединенных Штатах мы могли бы ожидать другого порядка. В конце концов революция была нацелена непосредственно против таких практик, особенно против административных налогов на внешнюю политику без согласования. Конституция явным образом отстранила исполнительные власти от налогообложения и наделила Конгресс полномочиями объявлять войну и заключать мир. Однако статья II Конституции, наделявшая полномочиями президентскую и исполнительную ветви власти, не имела явных ограничений в других статьях. Эти остаточные полномочия, принятые в тот период времени и подтвержденные Верховным судом в XIX в., основывались на рутинном управлении внешней политикой. На практике это означало, что президент мог самостоятельно проводить внешнюю политику при условии, что он не объявляет войну, не заключает договоры и не нуждается в денежных средствах сверх уже выданных администрации. Это производило впечатление оперативной обстановки и приблизительно устраивало все стороны во время стремительной гонки 1990–1991 гг. к войне в заливе, хотя иногда приводило к противоречиям (см. обмен мнениями между Теодором Драппером (Theodore Draper) и юридическим советником президента Буша в *The New York Review of Books*, March 1 and March, № 17, 1990.)

Президенты в начале XIX в. были на практике ограничены тем, что большинство вопросов внешней политики и войны — отношения с Британией, Францией, Испанией, Мексикой, и индейцами — напрямую воздействовали на территорию Северной Америки и жизнь американских поселенцев и групп интересов. Но как только на континенте не осталось свободных территорий, внешняя политика обратилась к империализму, далеко от преимущественно национальных (или континентальных)

пристрастий американцев. Автономия исполнительной власти возрастала. После 1900 г. президенты МакКинли и Теодор Рузвельт манипулировали Конгрессом и общественным мнением, чтобы они следовали той внешней политике, которая фактически проводилась исполнительной властью. В 1908 г. Вудро Вильсон говорил о том, что империализм изменил конституционные практики: «Инициатива в международных отношениях, которой президент обладает без каких-либо ограничений, поистине является силой, дающей абсолютный контроль» (LaFeber 1987: 708). Даже в этом аспекте в самом конституционном государстве как только классы и прочие заинтересованные группы начали организовываться по национальному признаку, внешняя политика могла проводиться под диктовку достаточно независимой исполнительной власти государства с формальной поддержкой Конституции. До Первой мировой войны общественное мнение и политические партии играли очень малую роль в выработке внешнеполитического курса (Hilderbrand 1981). Внешняя политика оставалась частной прерогативой небольшой группы знати плюс особых групп интересов, наставлявших малочисленных политиков, которые стремились стать государственными деятелями (см. главы 15 и 21). Государственная элита сохраняла автономию рутинной дипломатии в партийных демократиях так же, как и в полуавторитарных монархиях.

Если внезапно случался кризис, это положение менялось. В Соединенных Штатах прерогатива принятия основных решений о войне и новых налогах принадлежала (и до сих пор принадлежит) Конгрессу. В Великобритании она принадлежала (и принадлежит) полному Кабинету министров и обсуждалась (и обсуждается) сквозь призму того, что партия, парламент или общественное мнение способны принять. И если возникала угроза войны, появлялось единственное фундаментальное ограничение свободы действий любого режима — деньги. Однако если пусть даже дорогостоящую внешнюю политику предлагал абсолютный монарх, то любой, кто обеспечивал налоги или кредиты, закономерно должен был согласиться. Общественное мнение среди других политических акторов власти теперь становилось важным.

Но контроль был ограниченным только во время кризисов или войн. Дипломатия была менее регулируемой и предсказуемой, чем внутренняя политика. Межгосударственная дипломатия подразумевает независимые государства с достаточно ограниченными нормативными связями, постоянно заново рассчитывающие геополитические возможности. Действия одной страны — бряцание оружием, заключение нового союза, органи-

зация показательных маневров армии или флота, увеличение численности войск сверх необходимого для придания силы существующему политическому курсу либо экономическим санкциям или простой защиты территории, частное предложение поддержки агрессивным группам давления купцов или белых колонистов — могли показаться другим странам провокационными. Их неудача могла выявить их слабость или вызвать непредсказуемую реакцию великих держав. Режимы обнаружили, что рутинная дипломатия загоняет их в угол развивающегося кризиса, лицом к лицу сталкивая с врагами или союзниками либо с безальтернативным выбором (Hobson's choice) отступить или вести себя агрессивно. Тайная дипломатия еще более ограничивала их возможности.

В этом случае кризис внезапно сталкивает парламенты, господствующие или податные классы и общественное мнение с потенциально опустошительными, но ограниченными политическими альтернативами. Как мы увидим в главе 21, в 1914 г. правительства в общем представляли парламентам и общественному мнению только два варианта — идти воевать или отступить и быть опозоренными — выбор без выбора (boxed-in choice), с привычкой к которому мы выросли и который недавно вновь возник во время войны в заливе и для Соединенных Штатов, и для Ирака. Это помогает объяснить, почему режимы получают поддержку для ведения войны. Государственные элиты контролируют рутинную дипломатию, и таким образом сторонники войны обходят демократические препятствия. На самом деле главы исполнительной власти, а не нации или классы все так же несли основную ответственность за американскую, английскую и французскую дипломатию, как монархи вершили австрийскую и прусскую. Конституции и представительская кристаллизация во внешней политике значили меньше, чем во внутренней. Гражданская позиция обосновывала национальную, ограничивала ее и стесняла. Так происходит и сейчас.

Но монархи и исполнительная власть вершили внешнюю политику не в одиночку. Они консультировались с профессиональными дипломатами, которые происходили из узкой социальной страты, в подавляющем большинстве из «старого порядка», то есть это были родственники монархов, аристократия, мелкопоместное дворянство (джентри) и потомственные капиталисты (общую дискуссию см. Palmer 1983). В Австрии и Германии, где «старый порядок» сохранился лучше всего, в дипломатическом корпусе аристократы преобладали вплоть до XX в. Прерадович (Preradovich 1955) предпринял попытку стандартизированного сравнения этих двух стран с 1804 по 1918 г. Он обнаружил, что доля дворян среди прусских высших дипломатов

колебалась между 68 и 79% (в конце периода — 71%). В Австрии это число колебалось между 63 и 84% (к концу периода — 63%). Тренды были схожими и для самого старого дворянства (это рассматривает возможность возведения дипломатов за их службу в дворянское достоинство). В 1914 г. немецкий посольский корпус состоял из 8 князей, 29 графов, 20 баронов, 55 нетитулованных дворян и только 11 служащих неблагородного происхождения. Консульская служба более низкого уровня была полностью укомплектована простолюдинами, хотя обычно богатыми, закончившими «правильные» университеты и принадлежавшими к «правильным» студенческим братствам. Но что касается всех 548 чиновников Министерства иностранных дел, то 69% из них носили дворянские титулы и монополизировали высокие посты. Единственным заметным изменением между 1871 и 1914 гг. было уменьшение числа юнкеров (прусских помещиков) и носителей титулов, пожалованных до 1800 г., в качестве противопоставления более «западным» и «недавним» дворянам. Оба тренда являлись следствием не попытки сделать службу в дипломатическом корпусе более доступной, а недостатка прусского и более старого дворянства наряду с развитием дипломатического корпуса. Групповая солидарность усиливалась родственными связями, членством в реакционных корпоративных организациях, преобладанием протестантов и полным отсутствием евреев (Rohl 1967: 106–108; Cecil 1976: 66–68, 76, 79–86, 174–176).

Во Франции «старый порядок» пострадал от революции, однако его дипломаты уцелели. Из всех послов между 1815 и 1885 гг. 73% носили аристократические фамилии. В период Второй империи (1851–1871 гг.) около 70% руководства Министерства иностранных дел, биографии которых известны, происходили из семей землевладельцев, банкиров или высших чиновников, что составляет самый высокий процент среди правительственных учреждений (Wright 1972; Charle 1980a: 154, 172). Затем, наконец, произошел спад: тогда как в период между 1871 и 1878 гг. 89% аккредитованных послов были аристократами, в период между 1903 и 1914 гг. таких было только 7% — весьма впечатляющая перемена. К сожалению, об этой группе ничего не известно. Держу пари, они представляли республиканский эквивалент аристократии, старой финансовой аристократии, но нет свидетельств наследственной передачи привилегий (неопубликованное исследование, цитируемое в Cecil 1976: 67, может эти доказательства представить). На протяжении этого периода в британском Министерстве иностранных дел и дипломатическом корпусе доминировал «старый порядок». Их верхушка состояла из вторых сыновей аристократов и богатого

нетитулованного дворянства, получивших образование в лучших закрытых привилегированных школах (особенно в Итоне) и все чаще в Оксфорде и Кембридже (Cromwell and Steiner 1972).

Соединенные Штаты мало чем отличались, несмотря на то что вся аристократия была уничтожена во время революции и дипломатическая служба была довольно непрестижной по сравнению с другими странами. Американские дипломаты и государственный департамент представляли старую финансовую аристократию, восточный истеблишмент — активную и влиятельную деловую и культурную элиту восточных штатов, особенно Массачусетса и Нью-Йорка, придерживавшуюся либеральных политических и социально-экономических ценностей). Возможно, это были его более культурные, но менее энергичные отпрыски (так утверждалось в те времена, когда самые способные дети выбирали банковское дело). Даже в XX в. от поступающих в дипломатический корпус требовалось иметь личный доход под предлогом того, что заработная плата была низкой. Илчмен (Ilchman 1961) пишет о том, что на всем протяжении нашего периода дипломатический корпус комплектовался сыновьями старых состоятельных семей. Хотя личное покровительство было заменено квалификационными экзаменами, хорошее воспитание (*good breeding*) все еще считалось весьма важным: между 1888 и 1906 гг. не менее 60% учились в Гарварде, Йеле или Принстоне и 64% были родом с Северо-Востока, таким образом являясь представителями всего лишь 28% населения США.

Во всех странах такой классовый дисбаланс сохранялся предположительно на техническом основании. Повсюду представители «старого порядка» говорили на иностранных языках, часто путешествовали за границей, женились на иностранках и были космополитичными в культурном плане. Они могли понять друг друга. Мало кто протестовал против такого положения вещей. Таков был — и все еще остается — гротескный признак современного государства. В тот момент, когда экономическая активность государства внутри страны подвергалась нападкам со стороны подчиненных классов, когда внутренние министерства и парламентские собрания более широко укомплектовывались выходцами из буржуазии и рабочего класса (см. главу 13), внешней политике не уделялось достаточного внимания и в ней преобладали люди узкого круга. Она оставалась обособленной и частной, контролировалась партикуляристским альянсом элиты исполнительной власти и партии «старого порядка», экономическая власть которой была в упадке.

Таким образом, основная геополитическая функция военных галопом помчалась в несколько ином направлении — к вто-

ричной внутренней функции. Важность милитаризма для внешней политики толкала их в тесные частные отношения с государственным ядром «старого порядка», в то время как репрессии — в сторону интересов имущих классов в целом, особенно в защиту интересов новых промышленных и землевладельческих капиталистов против недовольных рабочих. Военные могут оказаться важным связующим звеном между господствовавшими в прошлом и господствующими в настоящем экономическими классами. Теперь я обращаюсь к военным.

## ВОЕННЫЕ: КЛАСС, БЮРОКРАТИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ В 1760—1815 ГОДАХ

Я начал с исследования социального состава офицерского корпуса XVIII в. Это было просто: практически все высшие офицеры были аристократами, как и абсолютное большинство офицеров более низкого ранга, за исключением офицеров флота и артиллерии в Великобритании, обладавшей наибольшим флотом и наименьшим числом аристократии. Офицер *был* аристократом, каковым он оставался в течение долгого времени. Только 5–10% офицеров французской армии не были дворянами. Тем не менее большинство аристократов не были офицерами, за исключением Пруссии (на протяжении некоторого периода их жизни). В других странах офицерский корпус превратился в специализированную сеть знати, но не обладал значительным социальным влиянием. Как показывает глава 6, во Франции этот процесс развивался противоречиво, разрешая выдачу привилегий более старому, но чаще более бедному «*дворянству шпаги*». В Австрии Мария-Терезия попыталась, хотя с ограниченным успехом, повысить значение аристократических титулов, жалуемых офицерам, которые обычно происходили из беднейшего служилого дворянства. Война больше не являлась основным занятием дворянства. Военные, хотя все еще в абсолютном большинстве оставались сторонниками «старого порядка», больше не были его ядром.

Британия, по-видимому, была наименее милитаризованным государством «старого порядка». При этом офицерский корпус армии принадлежал ему почти полностью: высшие чины были преимущественно из аристократии, низшие офицеры — из сельского дворянства (Razzell 1963). Богатство было необходимо для покупки офицерского патента и оплаты полковой жизни. В маргинальной индийской армии жизнь была более дешевой и менее привлекательной. Тамошние офицеры происходили в основном из семей торговцев и специалистов.

Флот был еще более открытым: туда набирали офицеров из нетитулованных дворян, торговцев, профессиональных военных и представителей морских профессий из приморских районов (так же поступали и во французском флоте). Служба на флоте не требовала богатства. Офицеры могли жить на свое жалованье и особые бонусы — наградные деньги. Многие из них были младшими сыновьями уважаемых, но небогатых семей. Все офицеры два года служили матросами, хотя и в особом ранге мичмана (midshipman) или помощника капитана (master's mate). Около 10% офицеров происходили из простых семей, например известный капитан Джеймс Кук был сыном батрака (Rodger 1986: 252–272). Его карьерный рост был бы немыслим в армии и, возможно, в вооруженных силах любой другой страны.

Все армии и некоторые флоты также по-прежнему включали представителей международного наемного служилого дворянства — от эмигрантских фамилий до жителей приграничных или окраинных районов, например мелких государств Германии, Шотландии или Ирландии. Они часто переезжали с места на место — Фридрих фон Шомберг служил в пяти иностранных армиях (Brewer 1989: 55–56). Даже в 1760 г. офицерский корпус демонстрировал признаки того, что является отдельной социальной группой, а не кастой, встроенной в «старый порядок», профессионализирующейся корпорацией, практики которых больше не принадлежат высшему классу в целом.

Между офицерами и солдатами лежала огромная пропасть. Образованные современники выставляли обычных солдат и моряков отбросами общества, подонками (Brodsky 1988). Такими же они представляются и в работах современных ученых (Janu 1967: 619 ff.; Rothenberg 1978: 12; Dandeker 1989: 79; Holsti 1991: 102, 104; по мнению Берримана (Berghman 1988), это не верно в отношении Соединенных Штатов), однако сомнительно, чтобы это действительно было так. Образованные современники не были беспристрастными. Как мы только что увидели, офицеры были родом из высоких социальных слоев. Обычные люди могли казаться им подонками, особенно когда это были мобилизованные и заклеянные мужчины, завербованные насильно, как животные в клетках, и удерживаемые жестокой дисциплиной. Гражданское население контактировало с военными в основном тогда, когда ему угрожала насильственная вербовка или расквартировка войск, поэтому оно тоже было настроено враждебно. До трети солдат были иностранными наемниками, не имевшими с местным гражданским населением общих ценностей. Гражданское население по понятным причинам ненавидело солдат и матросов, которые были несколько обособлены от общества.

Мы располагаем правдоподобными данными о двух армиях второй половины XVIII в. — французской и английской. Французские исследования показывают местных солдат не отбрасывали общества, а группой, состоявшей из аномально высокого процента горожан, ремесленников и грамотных людей, притом что крестьяне и сельскохозяйственные рабочие были представлены гораздо меньше. К 1789 г. 63% всех указавших свой род занятий были ремесленниками и лавочниками (Corvisier 1964: I, 472–519; Scott 1978: 14–19; Lynn 1984: 46–47). Таким образом, города могли избавиться от молодых людей, возможно, «лишних» младших сыновей, опытных в ремеслах отцов, а армия была рада принять умелых грамотных мужчин. Рекруты британской армии набирались главным образом из фабричных рабочих и трудящегося класса. Они были несколько более городскими и чаще шотландцами и, возможно, чуть менее грамотными, нежели остальное население Британии. Это делало их представителями рабочего класса, но никак не подонками (см. данные в Floud et al. 1990: 84–118; как отмечает автор, более низкий уровень грамотности среди армейских рекрутов может оказаться искусственным — отдельные офицеры самостоятельно проводили оценку грамотности рекрутов, но они, возможно, требовали большего, чем поставить подпись). Центрально-европейские армии скорее всего были менее умелыми и грамотными по сравнению с французской и британской, поскольку их система вербовки обычно не касалась квалифицированных ремесленников. Австрия поначалу не трогала имущих крестьян и давала им возможность выкупиться, послав вместо себя заместителя, что также снижало социальный уровень. Тем не менее некоторые основные районы вербовки в мелких государствах Германии отличались высоким уровнем грамотности. В британском и французском военных флотах мирного времени матросы по большей части были выходцами из семей квалифицированных моряков, хотя в военное время насильственная вербовка давала более бедных «сухопутных крыс» (Hampson 1959; Rodger 1986). Пожалуй, вооруженные силы Франции и Британии были лучше остальных, но я подозреваю, что офицеры в большей степени, чем солдаты, происходили из диаметрально противоположных слоев общества.

Ключевым связующим звеном между рядовыми и офицерами был унтер-офицер, который почти всегда был грамотным и обычно происходил из средних классов. Унтер-офицеры набирались из рядовых и в действительности являлись не низшими офицерами, а высшими солдатами, поскольку продвижение солдат даже до младших офицерских званий было редкостью. Офицеры в мирное время не играли заметной роли в своих полках: французские офицеры брали отпуск на семь с половиной



месяцев каждые два года; британские отпуска тоже были щедрыми, и ими злоупотребляли. В отличие от армейских офицеров унтер-офицеры тесно контактировали с солдатами. Ситуация на флоте была другой, поскольку в море офицеры и матросы постоянно контактировали на службе и в быту. Роджер (Rodger 1986) описывает британский корабль как место с ослабленной дисциплиной, где офицеры скорее убеждали, нежели командовали матросами, и где профессиональные навыки значили столько же, сколько власть чина. Либо это просто романтический взгляд, либо обстоятельства изменились к 1797 г., поскольку мятежи на военном флоте, произошедшие в этом году, выявили глубокою враждебность по отношению к дисциплине, которая тогда была в высшей степени карательной.

Имея подобную социальную дистанцию и ограниченный контакт, все государства и офицеры считали, что дисциплина должна быть карательной. Тактика середины XVIII в. требовала от солдат долго находиться под огнем противника, который не был точным, но беспорядочным и в итоге смертоносным. Матросы в морских сражениях должны были стрелять из орудий с малого расстояния. Но они, хотя и находились под огнем противника, были заняты чем-то еще. Солдаты же часто стояли в пассивном ожидании или медленно продвигались вперед. Постоянная муштра, помогающая удержать вполне понятный ужас в каких-то сознательных рамках, была необходима во всех вооруженных силах, сталкивающихся с сопоставимой опасностью. Она являлась весьма примечательной характеристикой армий XVIII в. Но даже в этом случае дисциплина не была полностью интернализирована. Солдаты массово дезертировали не во время сражения, поскольку это было сложно и привлекало внимание, а в мирное время. Говорили, что треть прусской армии, которая была очень эффективной, была занята проведением облав на вторую треть, которая дезертировала, а оставшаяся треть находилась в боевой готовности. Офицеры боролись с этим, добавляя к муштре жестокие и необоснованные телесные наказания и лишь немного гуманизма, как делали флотоводцы, которые в походе не пользовались авторитетом. Скотт (Scott 1978: 35) пишет, что многие французские солдаты впервые лично встречались со своим офицером, когда получали от него дисциплинарное взыскание.

Военное сообщество было четко, жестко и иерархически двухклассовым и связано воедино самоуправной властью карательного типа. В этом смысле оно было сегрегированным институтом, не отражавшим сложное внешнее гражданское общество. Это отчетливо иерархическое военное сообщество в то же время противостояло трем процессам перемен: бюрократиза-

ции, профессионализации и демократизации. Первые два процесса оказывали прямое влияние на протяжении всего периода, последний же внезапно возник во время Французской революции и Наполеоновских войн, а позднее был предположительно усилен развитием индустриального общества в XIX в. (работы Huntington 1957 и Janowitz 1960 содержат классические описания, а Dandeker 1989 — самые последние данные).

Я представляю свою модель бюрократии в начале главы 13. Бюрократия включает в себя пять элементов: два относятся к персоналу, два — к иерархия должностей и один — к общей структуре. Бюрократический *персонал* получает жалование, не обладая правом собственности или распоряжения администрацией; он назначается, продвигается по службе и увольняется в соответствии с обезличенными нормами профессиональной компетенции. *Должности* бюрократических департаментов рационально подобраны по своим функциям и распределены по иерархии; департаменты таким же образом собраны в единую централизованную администрацию. В конце концов это единство *обособлено* от политической борьбы в гражданском обществе, за исключением самой верхушки, где структура получает политическое направление. Процесс военной бюрократизации с самого начала управлялся государством.

Профессионализация является общим признаком модернизации, и не только в отношении вооруженных сил. Но Тейтлер (Teitler 1977: 6–8), исследуя военных, добавил третий профессиональный элемент к двум более общим. Во-первых, так же как и все прочие профессионалы, солдаты и матросы приобрели монополию на специализированные навыки, вытеснив всех остальных на уровень некомпетентных любителей, и, во-вторых, этот корпус специалистов приобрел отчетливый корпоративный дух, укорененный в традиции и чувстве достоинства. Но третьим элементом военные явно обязаны государству. Профессионализация, как и бюрократизация, развивалась внутри государства.

Социологи часто отмечают, что бюрократия и профессионалы тесно, хотя и конфликтно, связаны (например, Parsons 1964). В частности, бюрократы, обособляясь от общества, развивали профессиональный корпоративный дух и особый этос. Это могло вступать в конфликт с формальной рациональностью бюрократии. Что касается современных военных, это соединяло бюрократический профессиональный этос и отдельную классовую солидарность. Комбинация трех факторов способствовала созданию отдельной офицерской касты.

Бюрократизация — процесс древний, хотя его основная история приходится на рассматриваемый здесь период. По боль-

шей части этот процесс начался вне государства: сначала в церкви, а потом в частных индийских компаниях (India companies), хотя самая первая из них — Каса-де-Контратасьон (Casa de Contratacion de las Indias) в Севилье — монопольно контролировалась испанским государством<sup>4</sup>. Их упорядоченные системы бухгалтерского учета, четко определенная субординация, гражданские и военные чиновники, получавшие жалованье, были ответом на сложности, возникавшие у немногочисленной администрации, управлявшей широким кругом задач, охватывавших гигантские по площади территории. Возможно, существовало некое давление, вызванное их размером, некий предельный уровень, за которым административный контроль становился трудным без более рациональной стандартизации. Но, исследовав десять современных организаций численностью от 65 до 3096 наемных работников, Холл (Hall 1963: 4) не обнаружил существенной корреляции между их размером и шестью параметрами бюрократизации, которые довольно похожи на мои собственные измерения. Аналогично в «домодерновый» период основное функциональное давление на бюрократизацию оказывал скорее не размер, а проблемы организации исполнения разнообразных функций на больших территориях.

Военная революция 1500–1640 гг. принесла бюрократизацию в государства. К 1760 г. армии и флоты были разделены на войсковые формирования стандартизированной численности со специализированными функциями, соединенные друг с другом и со штабом через две связанные системы субординации. Первая, появившаяся в XVIII в., лежит в основе и современной бизнес-организации — это разделение между штабом и фронтом. Другая — это единая иерархия с унифицированными рангами, спускавшаяся от генералов, полковников, майоров, капитанов и лейтенантов к сержантам и простым солдатам. Обе командные цепи были объединены девизией (армейским подразделением, содержащим военных всех специальностей, подчиненных одному командиру), координируемой с другими дивизиями общим штабом, подчинявшимся общему офицеру. Координация флота также была усилена для того, чтобы преодолеть тактические трудности, возникавшие из-за разбросанности кораблей по океанским просторам. Специализированные стандартизированные поставки, артиллерия и морская пехота

---

4. В действительности Испания XVII в. могла иметь некоторые претензии на обладание опережающими инновациями, которые я приписываю государствам XVIII в., хотя она, кажется, обладала удивительно малым влиянием на эти страны. Сосредоточенность на нескольких странах, как в этом томе, несет в себе опасность преувеличения их коллективной значимости.

совершенствовались наряду с сигнальной системой и строевыми приемами, все вместе интегрируясь в формальную систему «управление — контроль — связь — разведка» (Dandeker 1989: 77). Офицеры были организованы бюрократически, хотя на самой верхушке монархии и парламенты с неохотой доверяли полное оперативное командование одному высшему офицеру. Они предпочитали «разделять и властвовать». Армейские (но обычно не флотские) предприниматели выжили, состоятельные аристократы финансировали свои личные полки и командовали ими. Но монархи и военные министры середины XVIII в. в Австрии, Британии, Франции и Пруссии подписывали централизующие уставы, направленные против них. Когда Мария-Терезия закрепила контроль над армейскими продвижениями по службе в 1766 г., она устранила оставшихся собственников и, пожалуй, была последним западным монархом, сделавшим это (Kann 1979: 118–119; ср. Scott 1978: 26–32; Brewer 1989: 57–58).

Военная администрация была относительно централизованной, рутинизированной, дисциплинированной, однородной и бюрократизированной, будучи самой современной властной организацией XVIII в. (Dandeker 1989: глава 3). Эти характеристики возникают напрямую из логики эффективности военной власти, требований войны, проистекавших из функционально различных и географически рассеянных вооруженных сил. Вновь размер значил меньше, чем функциональный и географический охват, поскольку военная революция была сосредоточена на четком и формальном разделении между пехотой, кавалерией и артиллерией и их инженерными службами и службами снабжения. Специализация требовала новых средств координации на более длинных расстояниях, особенно на флоте. Увеличение численности армии и флота было скорее следствием, нежели причиной: бюрократизация позволила армиям расти. Она добилась успеха, поскольку неформальная, нежесткая военная организация погибла на поле боя.

Кадровая политика была менее бюрократизирована. Правда, жалованье стало стандартным. Матросам и солдатам платили как наемным работникам, подчиненным офицерской системе субординации. Офицеры все еще различались по статусу. Большинство было государственными наемниками с фиксированным жалованьем, хотя они все также покупали первый патент и последующие продвижения по службе. Прусские офицеры все еще имели право на соответствующие бюджетные ресурсы, протекавшие через их формирования. Однако подобные практики постепенно упразднялись.

Бюрократия отставала по второму критерию отбора персонала — стандартам компетенции. Грамотность была необходимым

условием, но остальное формальное образование и углубленное обучение были редкостью, за исключением артиллерийских и морских офицеров. Первыми высшими учебными заведениями для будущих офицеров были Военная академия Марии-Терезии, открывшаяся в 1748 г., Военная школа (École Militaire), организованная в 1751 г. и открывшая филиалы в 12 французских провинциях в 1776 г., прусские кадетские школы на протяжении всего столетия и, наконец, Сандхёрст, открывшийся в 1802 г. и воспитывавший тылы Британии. Но основным критерием подбора кадров было социальное происхождение. Считалось, что аристократическое или дворянское воспитание закладывает офицерский потенциал — опыт физических нагрузок (особенно верховой езды), храбрость, чувство собственного достоинства и чести, умение отдавать приказы низшим классам. Однажды австрийский фельдмаршал отметил храбрость своих офицеров-буржуа во время боя, отказавшись похвалить офицеров-дворян. По его словам, храбрость дворянина следует воспринимать как должное (Канн 1979: 124).

Большинство офицеров учились на ходу с помощью сборников упражнений и элементарных руководств и были молодыми и неопытными в сражении, склонными к риску. Решение о повышении в дальнейшем зависело от комплекса связей (ради удобства подтверждаемых рангом) и поведения в сражении.

Возросшая частота войн расширила закаленный в боях офицерский корпус, который стал ядром нового профессионализма. Воинов-дилетантов презирали, и они исчезали: только мы, профессионалы, знаем, как выглядит война. Появился четко выраженный профессиональный этос, все еще дворянский, но уже менее партикулярный и генеологический.

Французская революция и Наполеоновские войны произвели массивное воздействие, усилив бюрократию и профессионалов и проведя ограниченную демократизацию, которая казалась угрожающей как для дворянской гегемонии, так и для карательной дисциплины. Участившиеся войны приумножили квалифицированный профессионализм. Непрофессионалы пали под ударами войск Наполеона, поскольку успехи книжного знания и школьного обучения были незначительными. Связи были важны, но гораздо меньше аристократов-дилетантов, профанов или военных интеллектуалов получали повышение. Сорничество и ревность в офицерском корпусе, в котором, как известно любому читателю военных автобиографий, особое внимание уделялось тому, кто получит повышение и кем будет командовать, в меньшей степени зависели от фамильных связей (хотя еще и не от формального образования), чем от результатов деятельности.

Воздействие профессионализации, естественно, было наибольшим во французской революционной армии. Революция породила дворянскую эмиграцию и чистки. Для сержантского состава, редко получавших повышение *унтер-офицеров* (*officiers de fortune*) и даже простых солдат внезапно расширились возможности продвижения по службе. К 1793 г. 70% офицеров некоторое время служили в рядовом и сержантском составе по сравнению с 10% в 1789 г., хотя они в основном были в низших офицерских чинах. Высшие чины по-прежнему принадлежали к бывшим дворянам: из их числа происходило от 40 до 50% полковников и подполковников строевой армии и лишь 10–20% капитанов и лейтенантов. Но они разделяли звания с профессионалами из среднего класса, чиновниками, дельцами и буржуазными рантье, охватывавшими 40% высших и 30% низших офицерских званий. Ремесленники, лавочники, наемные рабочие и малоземельные крестьяне составляли большую часть из оставшихся, давая 5% высшего и 33% низшего офицерского состава. Среди солдат доля буржуа, групп среднего достатка и ремесленников уменьшалась, а крестьян росла, но они все еще были недостаточно представлены (Scott 1978: 186–206; Lynn 1984: 68–77).

Эта армия внезапно стала скорее отражением нового общества, чем его карикатурой, как это было раньше. Дисциплина была кодифицирована и стала обязательной для всех рангов: теперь французские офицеры *с большей вероятностью*, чем их подчиненные, могли оказаться перед расстрельной командой. Это уравнивало наказание и энтузиазм, высокие боевые стандарты были индивидуализированы и частично интернализированы. К рядовому и сержантскому составу, делает вывод Линн (Lynn 1984: 118), относились как к «гражданам, а не подданным». Я нахожу эти утверждения относительно армий в некоторой степени преувеличенными. Войска, сталкивающиеся с реальной возможностью погибнуть, почти никогда в полной мере не интернализируют дисциплину — она должна поддерживаться мерами концентрированного принуждения, заставляя их не склонять головы под огнем или идти в атаку вместо того, чтобы прятаться или бежать<sup>5</sup>. Но как выражение тренда от XVIII в. до революционных армий утверждение Линна выглядит вполне удовлетворительным.

На протяжении следующих двух десятилетий офицерский корпус стал более буржуазным, поскольку ускорилось продвижение по службе. В 1804 г. только трое из восемнадцати марша-

---

5. Более детально я рассмотрю эти техники принуждения в томе 3, рассказывая о замечательном исследовании, посвященном боевому духу солдат Первой мировой войны.

лов Наполеона в прошлом были дворянами, а половина офицеров начинали рядовыми (Chandler 1966: 335–338; Lefebvre 1969: 219). После падения Наполеона социальное происхождение варьировалось в зависимости от последующих режимов. Бурбонская монархия, восстановленная в 1815 г., повысила дворян до высших званий, но не смогла до конца очистить буржуазную армию от республиканских симпатий. После двух десятилетий проблем решение было найдено. Репрессии против армейских республиканских клубов объединились с тремя мерами поощрения — возможностями для продвижения по службе, которые открыло завоевание Алжира, увеличение армейских пенсий и отмена министерского права уволить офицера. Французская армия осталась разделенной, неспособной выступить против революции 1848 г. или Луи Бонапарта в 1851 г., но ее радикальный гражданский характер изрядно ослаб (Porch 1974: 115–117, 138–139). Могли ли революционные войны трансформировать и другие армии?

## НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ ВОЕННОЙ КАСТЫ

Революционные войны трансформировали контроль над рядовым и сержантским составом, интегрировали и модернизировали офицерский корпус. Но в этом оказалось меньше уступок «национальной гражданственности», чем изначально опасались режимы и командиры.

Отношения между офицерами и солдатами постепенно менялись. Эффективность массово мобилизованного боевого духа и менее жестокой дисциплины была слишком велика, чтобы ее игнорировать. Это значительно укрепило веру «просвещенных» фракций во всем офицерском корпусе. Военно-морские и колониальные кампании также постоянно показывали, что, когда офицеры и солдаты испытывают одинаковые материальные трудности, они лучше сражаются. Через три года после «унижения под Йеной» прусская армия отказалась от жестоких телесных наказаний, расширила должностные инструкции и начала составлять гуманные приказы. В 1818 г. она впервые решила привести дисциплину в соответствие с понятием чести рядового солдата — действительно радикальное изобретение (Craig 1955: 48; Demeter 1965: 178–180).

Во время правления Марии-Терезии уже в 1759 г. в артиллерии был введен просвещенный кодекс. Он настоятельно советовал воодушевлять солдат «любовью к чести и хорошим обращением, а не жестокостью, постоянными ударами и избиениями». Но на пехоту он распространился не ранее 1807 г., и до конца

XIX в. не применялся настолько часто, чтобы ограничить жестокое обращение с солдатами (Rothenberg 1982: 117–118; Deak 1990: 106–108). Дисциплина осталась преимущественно принудительной — какой она в общем-то остается и по сей день, но она постепенно становилась рационализированной и подчиненной правилам. Офицеры и солдаты больше не были настолько разьединены, они становились субъектом рациональности единой возникающей военной касты.

На протяжении 1805–1807 и 1813–1814 гг. казалось, что Австрия и Пруссия могут пойти намного дальше, став также «вооруженными нациями» (*nations in arms*), мобилизуя патриотический энтузиазм и разрешая более свободные отношения между офицерами и солдатами. Набор иностранных наемников уменьшился, и таким образом армии стали «национальными» в минимальном смысле. Оба режима основали резервные силы — ландвер. Но после 1815 г. все режимы, напуганные необходимостью вложить оружие в руки свободных людей, отказались от гражданских армий. Эрцгерцог Карл — великий австрийский генерал скромно предложил увеличить рекрутский набор, одновременно уменьшив срок службы в армии до восьми лет (во многих подразделениях он все еще был пожизненным). Его план был отклонен, поскольку уволенные солдаты могли внести квалифицированный вклад в руководство восстаниями. Граф Коллоредо в качестве последнего довода в пользу своего мнения в суде заметил: «Я могу в любое время заткнуть побеждающему врагу рот жителями какой-нибудь провинции, но вооружить народ означает буквально свергнуть трон» (Langsam 1930: 52; Rothenberg 1982: 72). Австрийский ландвер был распущен в 1831 г. Пруссия сохранила свой ландвер, но держала его в повиновении. На протяжении XIX в. пруссаки и другие немцы вели дебаты о достоинствах профессиональных армий по сравнению с народными. Профессионалы всегда выигрывали, если дебаты проходили в этих выражениях.

Тем не менее понемногу восторжествовало компромиссное мнение о «военных гражданах», дисциплинированных сверху. В Германии оно привело к дарованию всем мужчинам всеобщего избирательного права (с определенными условиями) как ответ на их службу в армии (Craig 1955; Ritter 1969: I, 93–119). Французское значение гражданства как «налога кровью» оказало резонанс по всей Европе и Америке. Ни одна страна не поддержала популярные «гражданские армии» того типа, который нанес поражение пруссакам при Вальми (см. главу 6). Вместо этого массовые армии включали в себя более сегментарную форму участия, определяемую правящим режимом и дисциплинированную рационализированной военной иерархией. Как мы



увидим далее, при оружии они были не настоящими гражданами, а приверженцами национального государства.

Внутри военных иерархий профессиональные офицеры XIX в. явно обращались со своими солдатами лучше, чем их предки. Изменения происходили в два этапа, поскольку после 1815 г. численность армии сокращалась, а во второй половине века она вновь возросла. На первом этапе бюджетные ограничения уменьшались. Программы по социальному обеспечению, целью которых была покупка лояльности офицеров и унтер-офицеров, стали общими, включив и пенсии, и наем на гражданскую государственную службу для ветеранов (см. главу 14). Жалованье было на уровне гражданских профессий, которые могли занимать уволенные офицеры и солдаты (за исключением, возможно, только австрийских офицеров). Вооруженные силы также предлагали более стабильную занятость, заманивая большую часть военных на сверхсрочную службу (Porch 1974, 1981: 89; Веггман 1988: 26–27; Деак 1990: 105–106, 114–125).

Затем, с началом второго этапа расширения, государства справлялись с этим, увеличивая свои резервные силы. Профессионалы сверхсрочной службы становились кадровыми, возглавлявшими и тренировавшими призванных резервистов, которые проходили краткий курс (в Пруссии — три года) и потом уходили в резервные и территориальные формирования под наблюдение регулярной армии. Мобилизованные резервисты составляли основную часть армий, когда война становилась реальной угрозой. В середине XIX в. армии набирали солдат больше из сельского населения, делая исключение для квалифицированных городских и промышленных рабочих, и были уверены в их лояльности. С распространением в континентальной Европе краткосрочной воинской службы эта тенденция сокращалась. Тем не менее на большую войну не призывали организованное ядро рабочего класса. В Первую мировую войну авангард рабочего класса — квалифицированные работники горного дела, транспорта и металлургии — должен был производить, а не сражаться. Только флот набирал рекрутов из этой среды. Таким образом, в войска, особенно артиллерию, чаще всего набирали из сельской местности или из маленьких городов или мелких отраслей промышленности, где идентичность рабочего класса была слабее. Нелояльность рабочего класса имела меньшее влияние на армию, чем предполагал Энгельс и др.

Гидденс (Giddens 1985: 230) утверждает, что в то самое время, когда офицеры становились сегрегированными специалистами, солдаты стали массовыми гражданами (mass citizens). На самом деле командиры жестче связали своих солдат це-

пами военной организации, сократив их возможность самоидентификации с гражданами. Урок войн середины XIX в. заключался в том, что свободная координация подразделений (разработанная Бонапартом, как мы видели в главе 8) вышла из употребления благодаря дотошному планированию, сверке карт и графиков. Прусская организация смела французское наступление в 1870 г. Это дало генералам возможность укрепить дисциплину даже тех солдат, которые были вымуштрованы меньше своих предшественников в XVIII в. Более широкая авторитетная организация заменила более узкую непосредственную муштру. Железные дороги, телеграф (в конце концов беспроводной телеграф) и жезловая система движения поездов (staff systems) дали командирам возможность координировать множество подразделений, каждое из которых представляло горизонт действий отдельного солдата. Большинство армейских частей набиралось по территориальному признаку, их мораль базировалась на местно-региональной солидарности и товариществе.

Власть локальной морали особенно ярко проявилась во время Гражданской войны в США, когда вербовка на основе территориальной принадлежности служила гарантией того, что большинство солдат будут сражаться и умирать, веря в то, что они защищают единство или ценности своих родных общин, а не более значительных сообществ, таких как Юг или Север Соединенных Штатов (или ценности, с которыми они ассоциировались). 600 тыс. убитых и низкий уровень дезертирства свидетельствуют о поразительной силе этой дисциплины, распространявшейся даже на солдат, присланных на фронт после краткого обучения.

Но кроме массовой мобилизации во время Гражданской войны в США и главным образом в городской и индустриальной Британии, вербовка по территориальному признаку также оказала влияние на самые отсталые и консервативные аграрные регионы, которые могли производить прибавочный труд, привычный к сегментарной дисциплине, насаждаемой сверху. После Франко-прусской войны во Франции шла политическая битва по этим вопросам, поскольку республиканцы пытались изменить региональную систему вербовки. Но они уступали в суммарном весе консерваторам и высшему армейскому командованию. Армии остались региональными и реакционными.

Даже если бы этого было недостаточно, командные структуры усиливали консерватизм. Локально-территориальная организация подразделений была укомплектована унтер-офицерами, набранными в том же территориальном объединении. Они переплавляли товарищество местных подразделений в иерар-

хическую дисциплину. Кадровые офицеры и унтер-офицеры таким образом вполне успешно развивали *сегментарные* и *локально-региональные* властные отношения в сердце развивавшихся и предположительно классовых и национальных гражданских армий. Вне прямых отношений со своими офицерами солдаты были организационно побеждены. Их подразделения и корабли двигались волей высшего командования и штабных формирований, стремясь к достижению более широких целей, остававшихся от них скрытыми. Солдаты теперь практически не обладали способностью к коллективным действиям вне своего подразделения или корабля. Как мы увидим в томе 3, у них было мало организационных альтернатив подчинению даже в ужасающих условиях Первой мировой войны, даже когда они получали абсурдные приказы, помимо тех случаев, когда их офицерам тоже не хватало лояльности. И регулярные, и резервные силы оказались ошеломляюще верными во время боевых действий на протяжении описываемого периода.

МакНил (McNeill 1983: 260) утверждает, что общество, которое становилось индустриальным, также сакрализовало «верховенство командного принципа». Это в чем-то чрезмерно широкое обобщение, если относить его к гражданскому обществу, однако оно совершенно верно в отношении растущих вооруженных сил. Они лишь казались гражданскими «национальными» или «классовыми» армиями. На самом деле они были *сегментарными* организациями власти, дисциплина в которых поддерживалась общественными консерваторами. К 1910 г. разве только 20% взрослых мужчин в большинстве стран были настолько дисциплинированы. Эта цифра только увеличивалась во время Первой мировой войны. Современные государства создавали массовых лоялистов в своих вооруженных силах (как и в гражданской администрации; см. главы 13 и 16). Между 1848 и 1917 гг. фактически ни одни вооруженные силы не дрогнули в своей сегментарной лояльности. Это оказалось важным, часто решающим, в осуществлении обеих основных военных функций — боевых действий и репрессий — на протяжении XX в.

Происходили также и длительные изменения внутри офицерского корпуса, поскольку представление о квалификационных компетенциях продолжало развиваться. Постепенно повышался образовательный компонент. Картография, логистика и сравнительное и историческое изучение тактики стали частью кадетского и штабного обучения, возникшего в начале XIX в. Затем массовое увеличение огневой мощи в связи с индустриализацией войны потребовало, чтобы базовыми инженерными знаниями обладали не только артиллеристы. Прусские победы преподали очевидные технократические уроки, которые осо-

бенно быстро выучили французы. Приблизительно после 1870 г. окончание кадетского корпуса стало необходимым для поступления на службу, а посещение последующих курсов — для продвижения по службе, особенно если дело касалось элитного личного состава. Личные дела постоянно хранили офицерские учетно-послужные карточки и квалификационные аттестаты, поскольку патронаж уменьшался из-за универсальных технократических критериев.

Британия и Австрия несколько запаздывали, но по разным причинам. Как мы скоро увидим, социальный состав британского офицерского корпуса оставался сельским и реакционным и не вызывал симпатии у единственного индустриального общества в мире. Британская армия была консервативной, пренебрежительно отвергая академию генерального штаба и усилия реформаторской фракции, до тех пор пока катастрофы Крымской и Бурской войн не ускорили вялотекущую профессионализацию (Bond 1972; Harries-Jenkins 1977; Strachan 1984; Brodsky 1988: 72–82). Австрия отставала из-за политических беспорядков. Основная функция ее армии — внутренняя безопасность, но она была консервативной, подозревая, что профессионализация означает либерализацию (Rothenberg 1976). Однако после 1870 г. она тоже пришла в движение. К 1900 г. ее элитные военные школы и курсы последипломной подготовки сыграли большую роль в ее дальнейшей перестройке (Deak 1990: 187–189).

В конце концов реакционерам было почти нечего бояться. Образование не заменило более старого дворянского критерия и не радикализовало военную политику. Оно влилось в них. В условиях неприятия более общих трендов мобильности XX в., по мере того как образование становилось главным каналом восходящей социальной мобильности, продвижение из рядовых на самом деле сократилось. Во французской армии в 1870 г. 14% дивизионных генералов дослужились до этого звания из рядовых, но таковых было менее 3% в 1901 г. (Serman 1978: 1325; Charle 1980b). Дворянам ничего не оставалось, как отступить совсем по другой причине: с тех пор как армия в конце XIX в. начала расширяться, дворян оказалось недостаточно. Даже в республиканской Франции высшие чины остались в значительной степени аристократическими. В 1870 г. 39% дивизионных генералов были дворянского происхождения, в 1901 г. таких все еще было 20%. Спускаясь вниз, мы неизбежно обнаруживаем все большее обуржуазивание, хотя и все большую вербовку из римско-католических, а не государственных школ. Этот офицерский корпус остался социально и политически реакционным. Постоянные стычки с республиканским правительством достигли апогея в деле Дрейфуса, и не ранее 1914 г. были достигнуты политиче-

ские компромиссы, которые вскоре спасли республику (Girardet 1953; Charle 1980a).

Разумеется, вооруженные силы одной страны вовсе не имели дворян. Соединенные Штаты обладали еще одной уникальной особенностью: там прошла Гражданская война, увеличившая офицерский корпус обеих воюющих сторон, в состав которого вошли имущие и образованные белые мужчины. Но как только армия вновь сократилась до небольших размеров мирного времени, американские офицеры стали менее репрезентативными. Морские офицеры в подавляющем большинстве были из современных городских высших классов, иначе говоря, из капиталистических и профессиональных средних классов Северо-Востока. Они были непропорционально широко представлены сыновьями (по убыванию) военных офицеров, банкиров, адвокатов и судей, предпринимателей, чиновников, «ученых» специалистов (врачей, фармацевтов, инженеров) и торговцев (Karsten 1972: табл. 1, 2).

Армейские офицеры, напротив, были, принимая во внимание результаты Гражданской войны в США, южанами и родом из сельского, возможно, разлагавшегося «старого порядка». Тринадцать из четырнадцати офицеров наивысших рангов в 1910 г. были южанами родом в основном из сельской местности. Хотя мы не располагаем необходимым количеством сведений, большинство офицеров были либо детьми офицеров, либо землевладельцев-плантаторов, либо тех профессионалов, которые работали как в маленьких городах, так и в крупных, — адвокатов, врачей, учителей, чиновников и пасторов. Армейский офицерский корпус, обобщает Яновиц (Janowitz), был представлен «выходцами из старых семей, англосаксами, протестантами родом из сельской местности, из верхушки среднего класса», то есть настолько близко к «старому порядку», насколько это было возможно в Соединенных Штатах. Но поскольку этот класс больше не управлял Америкой (за пределами Юга), это была до некоторой степени сегрегированная группа. Согласно сведениям северян от 1890 г., армия была «отдельным доменом, независимым и изолированным благодаря характерным обычаям и дисциплине; аристократией благодаря селекции и ореолу традиций» (цитата из Janowitz 1960: 90, 100; ср. Huntington 1957: 227; Karsten 1980; Skelton 1980).

Этот похожий на касту корпус контролировал своих членов и на расстоянии. Они были не призывниками (conscripts), а профессионалами-добровольцами (professional volunteers), чаще всего иммигрантами, особенно из Ирландии и Германии (потомками наемников прошлого?), но также и черными. Они были удовлетворены тем, что армия давала им безопасный доступ

в (белое) американское общество (Berryman 1988: глава 2). Не будучи многочисленной или влиятельной, армия США была верна своим консервативным хозяевам, как мы увидим в главе 18.

В других странах дворянское и реакционное превосходство оставалось впечатляющим. Британия и Пруссия все еще были предельным случаем наряду с Австрией, которая поначалу была на них похожа. Раззелл (Razzell 1963) показывает, как мало изменилось социальное происхождение офицеров британской армии. Аристократы и поместное дворянство (менее 1% населения) поставляли 40% армейских офицеров в 1780 г. и 41% в 1912 г. Среди высших рангов (генерал-майор и выше) их превосходство постепенно падало с 89% в 1830 г. до 64% в 1912 г., но этому противостояла возрастающая стратификация полков, при которой элитные полки становились еще более старорежимными по составу и социально реакционными по характеру. В высших эшелонах прусская армия тоже осталась дворянской. В сравнении прусского и австрийского генералитета с 1804 по 1918 г., сделанном Прерадовичем (Preradovich) в 1955 г., дворяне составляли примерно 95% австрийского генералитета между 1804 и 1859 гг., затем к 1908 г. их доля резко сократилась до 41%. Но в Пруссии она осталась неизменной — около 90% — до 1897 г., а потом упала до 71% в 1908 г. (Среди расширенных генеральских штатов во время Первой мировой войны оба значения продолжали падать.) Ниже по армейской иерархии доминирование дворян сокращалось и падало в период роста численности армии в 1900 г., чего и следовало ожидать, учитывая постоянную численность дворян. В 1860 г. среди генералов и полковников 86% были дворянами и 52% в 1913 г. Интеграция в 1860 г. более буржуазных резервных сил ландвера существенно повлияла на низшие офицерские чины. К 1873 г. только 38% лейтенантов были дворянами, а к 1913 г. их число упало до 25% — и это только падение в абсолютных цифрах. Среди всех офицеров число дворян упало с 65 до 52% (Demeter 1965: 28–29).

Таким образом, пример Германии и Британии был поздним, *насильственным* упадком аристократическо-дворянского доминирования, поскольку численность офицеров росла, а аристократии и дворянства нет; однако на вершине армейской иерархии все еще находилось старое дворянство и практически отсутствовали сыновья производственных или торговых капиталистов. Господствующий экономический класс оставил армию «старому порядку». Армия (вместе с дипломатией) подготовила «старому порядку» плацдарм в сердце германского государства, обеспечив большой милитаризм во внешней политике и в отношениях между классами, чем он мог быть в ином случае.

Но значение дворянства тоже изменилось, став менее партикуляристским, поскольку оно примкнуло к определенному профессиональному этосу, который поголовно разделяли все офицеры. Ранг внутри немецкого дворянства играл меньшую роль уже в конце XVIII в., дав возможность более бедным и менее знатным фамилиям, например Гнейзенау, Шарнхорст и Клаузевиц, подняться наверх. Реформы начала XIX в. и усиление военного образования институционализировали профессиональное равенство внутри войск. Обучение в университете, студенческие корпорации, дуэльные братства и военные колледжи усилили этот этос. Слово *Bildung* означало не только образование, но и воспитание в военном смысле — воспитание чести, поскольку моральное качество «дворянство» теперь означало честь — отличительный атрибут офицера.

Последствия этого можно увидеть в стремительном расширении немецкого флота, на первый взгляд самой буржуазной ветви армии. Служба на флоте требовала глубокой технической подготовки, поэтому рекрутов набирали в основном в больших портовых городах. Возникнув недавно, она не обладала традициями и статусом. Таким образом, служба на флоте привлекала мало дворян. В морских кадетских офицерских классах между 1890 и 1914 гг. только 10–15% учащихся было из дворянских семей, хотя этот процент был выше, чем процент выходцев из производственных и торговых капиталистов. В хорошо задокументированном классе 1907 г. преобладали выходцы из «профессиональных» семей: 45% были сыновьями научно-педагогического персонала и 26% — армейских и военно-морских офицеров недворянского происхождения. Флот все еще желал видеть в своих рядах образованных молодых мужчин из хороших семей и открыто отклонял рапорты от представителей более низких классов, потому что это могло отпугнуть заявителей из хороших семей. Однако опыт службы не был буржуазным. Больше всего ценилось дворянство, за ним шло финансовое благополучие. Успешные кадровые офицеры получали дворянство. Они строили отношения с матросами в надменной прусской манере, что дорого им обошлось во время военно-морских бунтов в конце Первой мировой войны. Будущие инженеры-механики были более низкого происхождения, в основном из семей низшего или среднего чиновничества. К ним относились как к «практическому» персоналу, не подходившему для командных должностей. Так же как в армии, евреи (кроме крещеных) и социалисты полностью исключались. Хотя армейский и военно-морской этосы не были идентичны — военно-морской милитаризм был более антибританским и империалистским, — «флот демонстрировал

движение к „феодализации“ крупной буржуазии» (Herwig 1973: 39–45, 57–60, 76–78, 92, 103–104, 132). В вооруженных силах, где преобладало реакционное дворянство, даже буржуазные рода войск подражали ему. В то время как германский индустриальный капитализм был лидирующим, германские промышленные и торговые капиталисты сторонились вооруженных сил, а вооруженные силы — их.

Первая мировая война показала, что Германия обладала лучшей в мире армией: 1866 и 1870 гг., надо полагать, уже сделали это очевидным. Немецкий военно-морской флот также был технически совершенным, хотя и небольшим для той роли, на которую он претендовал. Но парадокс заключался в том, что его экстраординарная профессиональная современность была фактически «старого порядка». Военно-морской флот, без сомнения, был техническим, с высокими стандартами профессиональной квалификации для офицеров и в соответствии с современной статистикой единственным полностью боеспособным подразделением из всех существовавших армий (*Annuaire Statistique de la France* 1913: 181). Персонал обладал развитым пониманием индустриализации войны, включая наилучшее использование железнодорожной логистики. Поскольку офицеры и унтер-офицеры были социально сплоченными, офицерам разрешали проявлять инициативу в гораздо большей степени, чем, например, офицерам раздираемой распрями французской армии. Это несоответствие было особенно заметно во время кампаний 1870–1871 гг. (Gooch 1980: 107). Обыденный язык долгое время постигал парадоксальное выражение «прусская эффективность», поскольку тамошний офицерский корпус был технически развит и социально реакционен. Комбинация состояла из чрезвычайно развитого кастового этоса и лучших в мире унтер-офицерских кадров, чтобы сегментарно внедрять его ценности на нижний уровень. Но это была всего лишь экстремальная версия более общего парадокса: социально реакционный офицерский корпус мобилизовывал наиболее совершенные инструменты индустриального капитализма, имея в своем распоряжении наиболее развитые технократические навыки.

Австрийский офицерский корпус также был социально консервативным, но он обладал уникальными качествами, происходящими из кристаллизации его государства (исследованной в главе 10). Он остался династическим и (неравномерно) мультинациональным. Еще в 1859 г. чуть больше половины его офицеров набирались за границей, особенно в Германии, но с существенным британским контингентом. Династия также в некоторой степени полагалась на католиков и в значительной степени на австро-германцев, которые составляли 79% офи-



церов регулярной армии в 1910 г. и только 23% населения. Все остальные национальности были представлены недостаточно. Сначала в армии преобладали дворяне, но впоследствии их число сократилось, поскольку в Пруссии-Германии было мало немецких дворян, чтобы поддержать увеличение штата. К 1870 г. только 20% карьерных лейтенантов были дворянами в основном из семей, возведенных в дворянское достоинство за гражданскую службу в государстве. Закат дворянских генералов произошел позднее, как мы могли ожидать и как следует из изложенного выше. После 1867 г. для венгров существовали льготы: они доминировали в резервной армии гонвед Венгерского королевства, и некоторые венгерские офицеры регулярной объединенной армии воспользовались позитивной дискриминацией при получении повышения.

После 1870 г. Австрия также увеличила свои резервные силы и они стали совершенно буржуазными, так как основным условием было наличие у кандидатов образования. Это ликвидировало превосходство католиков, сократило немецкое доминирование до 60%, увеличило число чехов и венгров, лютеран и евреев, которые составляли 17–18% резервных офицеров и только 4–5% населения. Остальные нации и другие конфессии были представлены недостаточно (Rothenberg 1976: 42, 128, 151; Deak 1990: 156–189).

Это был специфический офицерский корпус: буржуазный, высокообразованный и технократический, но главное — его династическая верность была связующим звеном между партикуляристскими национальными и религиозными идентичностями. Армия была больше связана с дуалистической монархией, чем с господствующими классами на ее территории, и очень слабо с нацией. Ее социальная изоляция и непрактичные обычаи (например, белоснежная униформа) усиливали ее кастоподобную обособленность и солидарность. Австрийские офицеры, вне зависимости от ранга и статуса, даже будучи иностранцами, демонстрировали свою общность, обращаясь друг к другу с помощью фамильярной формы Du (форма «ты» использовалась исключительно для близких друзей и слуг), чем формальной формы Sie, которая обычно применялась в остальных сферах германского общества. Это впоследствии привело к неприятным сценам во время Первой мировой войны, когда германские офицеры считали себя оскорбленными или униженными их австрийскими союзниками.

Социальная изоляция австрийских офицеров не была уникальной. В российской армии процент офицеров недворянского происхождения также повысился с 26% в 1895 г. до 47% в 1911 г., в то время как оставшиеся дворяне не были связаны

с высшей аристократией Российской империи. К 1903 г. 91% обладавших званием не ниже генерал-майора не владели землей или собственностью, даже городскими домами (Wildman 1980: 23–24). Этот офицерский корпус тоже отделялся от классовой структуры.

Но австрийские офицеры также были больше отделены от своих солдат, так как их набирали примерно пропорционально и по территориальному принципу из всех национальностей. И поскольку монархия настороженно относилась к гомогенным национальным воинским соединениям, офицеры и солдаты редко говорили на одном языке. Таким образом, командная иерархия армии получала очень мало поддержки от социальных иерархий, создающихся либо классовой структурой, либо локально-религиозным лингвистическим сообществом. Отто Бауэр, лидер социалистов, описывал то, что он считал воздействием обуржуазивания (хотя не национальности, поскольку он, оказывается, описывал полностью немецкий полк) во время своего офицерского обучения. Армейский профессиональный этос требовал от офицера относиться к рядовым с уважением. Но

классовая социальная иерархия... различала класс благородных и класс рабочих и крестьян... Вся структура старой армии была призвана сохранять разделение между классом благородных и рабочим классом настолько явно, что иногда это выглядело не разделением классов, а различием каст. [Но в отличие от прусского солдата, враждовавшего со своим офицером-юнкером] от австрийского крестьянина требовалось видеть в сыне мелкого буржуа, вооруженном саблей, существо высшего порядка. Это было довольно абсурдным... в отношении офицеров резерва [Kann 1979: 122–123].

Абсурдная или нет, но австрийская военная иерархия, по мнению современников, едва ли не самая слабая среди великих держав, работала устрашающе. Ничто не служило лучшим доказательством кастоподобного профессионализма и сегментарной дисциплинарной власти этого обуржуазенно-династического офицерского корпуса и зависимых от него унтер-офицеров, чем их способность вести этих крестьян раз за разом в самоубийственные пешие атаки на позиции русской артиллерии, которые уничтожили половину австрийской армии в первый год Первой мировой войны.

Военные «старые порядки» успешно инкорпорировали все то, что век революции и промышленности мог подбросить им, делая мало уступок демократическому гражданству. Детям буржуа, для того чтобы стать офицерами, требовалось отточить свои манеры, талантливые мелкие буржуа, крестьяне и рабочие нуждались в унтер-офицерских привилегиях, прочие ран-

ги — в управляемой правилами, а не произволом дисциплине. Было ли все это большой уступкой? Эти изменения оказались менее значительными, чем уступки, сделанные в структуре гражданской власти в модернизирующихся странах. Именно это различие внесло вклад в особую сегрегацию и растущую сегментарную власть вооруженных сил XIX в. Офицерская каста распространялась вниз через унтер-офицеров и кадры сверхсрочной службы к сегментарно дисциплинированным массовым гражданам, превращая их в государственных лоялистов. «Гражданство» было не просто достижением универсальных прав по Маршаллу, оно также не означало пацифистского интернационализма. Оно возникло в переплетении с отношениями военной власти. «Нация» была частично сегментарно организованной, этатистской и жестокой.

## АВТОНОМИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ ВЛАСТИ

Возможно, эти формы профессиональной автономии, приближенные к обособленной военной касте, с замечательными кадрами и сегментарным контролем над своими людьми не были значимыми. Многие исторические и некоторые современные общества (например, Британия) обладали профессиональной военной кастой без особого вреда для себя. Правда, если началась война, ее власть над обществом могла быть значительной, но в мирное время она была автономной от гражданского общества, обладая при этом лишь небольшой властью над ним. При этом в Европе XIX в. в мирное время «автономия от» могла привести к «власти над». Выше мы видели, что дипломатия мало контролировалась гражданским обществом. Она во многом была частным делом государственной исполнительной власти, и в ней доминировали те же функционеры «старого порядка», что и в офицерском корпусе. Это не было катастрофой. Командиры часто были осторожны в геополитике, зная о хаосе и опустошении войны и испытав на себе страх смерти. Офицерский корпус часто поощрял колониальные кампании для проведения военных учений в реальных условиях и повышения возможностей продвижения по службе. Но он был осторожен относительно войны между великими державами. Индустриализация войны создала еще один повод для опасений: возросшая огневая мощь, доступная малообученному солдату, значительно увеличила мобилизуемые армии. Это означало пойти дальше крестьян и маргинальных слоев и вооружить рабочий класс (что было опасно) — по крайней мере так казалось (в основном необоснованно) реакционному офицерскому корпусу.

Тем не менее индустриализация усиливала технократическую власть военных и угрозу с их стороны. Это происходило двумя путями. Во-первых, офицерский корпус находился на передовой научного и индустриального развития XIX в., используя самые развитые продукты и формы организации капитализма и разделяя его позитивистский оптимизм. Военные поверили, что скрупулезное планирование и координация могут давать точные результаты и в поддающихся расчету условиях победу. Хотя модернизация оказалась благоприятной для военных, она также могла стимулировать чрезмерную уверенность в себе. Возможно, *конкретный* урок войны, *конкретное* предсказание, которое можно сделать относительно следующей войны, заключалось в том, что она непредсказуема. Поскольку вооружение и тактика менялись между войнами, сражения происходили на разных территориях и редко против одного и того же врага, постольку исход следующей войны был непредсказуем. По-настоящему прозорливый военный, сосредоточенный на том, сможет ли опустошительная война добиться точного исполнения поставленных задач, начал бы войну, только обладая явным превосходством над врагом. Это превосходство обычно обеспечивалось дипломатией — путем приобретения могучих союзников или путем дипломатической изоляции врага. Тем не менее самые современные, технократические, самозацикленные военные были склонны пренебрегать иностранными союзниками и полагаться на свои внутренние ресурсы. Хотя дипломаты и командиры набирались из одного класса, их обучение и профессиональный опыт разнились. Дипломаты мало что знали о новых технократических методах ведения войны, генералы — практически ничего о создании альянсов. В конце XIX в. самой современной, технократической, самозацикленной и политически безграмотной была германская армия. Она забыла, что дипломатия Бисмарка внесла не меньший, чем она сама, вклад в победы 1865–1867 и 1870–1871 гг. (см. главу 9), и игнорировала последующие изменения в других странах, которые не были чисто технократическими, особенно консолидацию Французской республики или ее новую военную дисциплину. Самозацикленный милитаризм германской армии стал следствием ее гордыни.

Во-вторых, в конце XIX в. военная технократия предпочитала атаку защите. Подготовка к войне традиционно включала три фазы: мобилизацию сил, концентрацию их в походный порядок и марш к месту фактического сражения. Но индустриализация, артиллерия и железные дороги сделали возможным доставку огромного количества людей и огнестрельных орудий на фронт. Это способствовало быстрой координированной атаке

прямо со станции выгрузки. Атакующий первым мог достигнуть большей концентрации артиллерийского огня, но защищающийся тоже должен быть быстрым и скоординированным, для того чтобы сосредоточить огонь на атакующих. Планы генерального штаба стали сложными и агрессивными, детализирующими три опережающих шага в чрезвычайной ситуации: мобилизацию резервистов, принятие руководства железнодорожной сетью и использование пространства земли и моря иногда без учета государственных границ и территориальных вод. Захват прямого контроля над железнодорожными линиями в сопредельных государствах был самым провокационным, поскольку представлял собой настоящее вторжение, хотя и без объявления войны. Русский генерал Обручев считал, что мобилизация равнозначна войне. В своем знаменитом меморандуме 1892 г. он написал, что в современной войне победа принадлежит той стороне, которая добьется самого быстрого развертывания, «опередив врага», что «проведение мобилизации не может больше считаться мирным актом, напротив, она представляет собой наиболее решительные военные действия».

Стирание грани между подготовкой к обороне и агрессией также стало преимущественным правом дипломатии. Франко-русский альянс 1894 г. дал высшему командованию автономную власть. Если Австрия, Германия или Италия объявляет мобилизацию против одной из стран, то оставшаяся страна незамедлительно начнет мобилизацию своих сил. В 1900 г. альянс был ограничен только случаем германской мобилизации, и это соглашение было на деле приведено в исполнение в 1914 г. Важные агрессивные шаги на грани войны, но с большой вероятностью ее ускоряющие, были вне пределов досягаемости гражданских политиков и дипломатов (Kenan 1984: 248–253; он приводит текст меморандума Обручева на с. 264). Таким же образом независимые дискуссии 1909 г. между генералами Мольтке (Германия) и Конрадом (Австрия) угрожали превратить бисмарковский оборонительный альянс между странами в поощрение агрессии каждой из них (Albertini 1952: 1, 73–77, 268–273). Англо-французская Антанта привела к военным соглашениям между двумя державами, которые долго держались в секрете от их кабинетов министров (см. главу 21).

Могли ли технократическая уверенность и планы высшего командования на самом деле упредить государственных деятелей, зависело от каналов учета (accountability). Как мы увидим в главе 21, институты партийных демократий держали своих военных под большим контролем, чем монархии. В июле 1914 г. последствия упреждающей мобилизации в Австрии, России и Германии ошеломили их режимы, а затем и Европу. Автоном-

ные сплоченные военные касты впоследствии обладали полной властью над обществом. Подобно идеологии во время Французской революции, это был только «всемирно-исторический момент» власти. Но он разрушил старый мир.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я проследил развитие отношений военной власти на протяжении «долгого» XIX в. Большая часть внутреннего развития поддерживает теорию военной касты — институциональную автономию вооруженных сил как от гражданского, так и от государственного контроля. Армейские и флотские организации сплывались и становились более сегрегированными как от гражданского общества, так и от государства. В отношении вербовки, обучения и чести мундира офицерский корпус стал самозаклненным. Уникальное слияние «старого порядка» и сыновей буржуа при идеологическом доминировании первого привело к тому, что офицерский корпус не был похож ни на один основной класс развитого индустриального общества. Рост внутренней бюрократии и технократия повышали секретность его действий. Унтер-офицеры и кадры сверхсрочной службы плюс замкнутая командная структура, координирующие отдельные социорегиональные подразделения, обеспечивали эффективный сегментарный контроль над массой солдат и матросов без больших уступок гражданам, нациям и классам. Государствам удалось создать военную инфраструктуру — щупальца, надежно охватывающие часть их территорий и населения и дисциплинирующие их подданных. Партикулярные, сегрегированные и сплоченные вооруженные силы превратились в современном индустриализирующемся обществе в подобие касты, создав по сути автономную милитаристскую кристаллизацию внутри современного государства с помощью гражданского общества.

Но вышесказанное необходимо уточнить. Функции военных также связали их с обществом и государством, отрицая и сокращая кастовую автономию несколькими путями. Их самое систематическое проникновение в гражданское общество происходило благодаря вторичной функции — внутренним репрессиям. Это включало офицерский корпус в более широкие связи политической власти и в доминирующие экономические классы. Поскольку офицеры были проникнуты ценностями «старого порядка», они в целом разделяли враждебность «старого порядка» и капиталистов к городским бунтам и рабочим восстаниям. Тем не менее в качестве сельских реакционеров офицеры не были просто марионетками в руках современных промыш-

ленных капиталистов. Как профессионалы, они не хотели применять ружья и сабли за пределами тщательно контролируемой демонстрации силы. Нежелание вело их к сотрудничеству с увеличивающимися полицейскими и вооруженными институтами государства. Профессиональная осторожность часто заставляла их поддерживать компромисс между городскими классами. Для этого прагматического умеренного уровня репрессий их сегментарные дисциплинарные структуры почти всегда поставляли верных солдат. Таким образом, в своих репрессивных функциях военные представляли собой интеграцию старого и нового господствующих классов. К 1900 г. сети военной власти служили связующим звеном и помогали интегрировать две государственные кристаллизации классов в равной степени как представителей «старого порядка» и как капиталистов. Их кастоподобная сплоченность и сегментарный контроль над своими людьми делали господствующие классы более защищенными.

До некоторой степени эти тесные отношения между военными, «старым порядком» и капиталом также проникали и в их основную функцию — военную. Во внешней политике они сотрудничали с главой кабинета министров и с его особо доверенными лицами из числа дипломатов и государственных деятелей в основном «старого порядка» относительно независимо от массовых политических партий или общественного мнения (я документально подтверждаю это в главах 16 и 21). Они также технологически сотрудничали с промышленными капиталистами, которые производили для них оружие, коммуникации и т. д. (см. главу 14). Этот военно-промышленный комплекс иногда также включал в себя более широкие отношения с государством и массовыми государственными группами давления среднего класса (см. главу 21). Но и в других создающих войну аспектах военные также были неподотчетны. Военная технократия поощряла кастовую скрытность и защищала сверхконфиденциальность. Это также вносило вклад в создание собственной секретной мины замедленного действия — внутреннего развития тактик, предпочитающих нападение защите, особенно эскалационную мобилизацию.

Такие хитросплетения подпитывали дуализм внутри военной кристаллизации — кастовую автономию и защиту «старого порядка» и капитализма. Эта автономия вновь проявила себя в 1914 г. Комбинация бюрократизации, профессионализации, военно-промышленной технократии, господства «старого порядка» в высшем командовании и дипломатии и обособление принятия военных и дипломатических решений воссоздали автономию военной власти настолько, что иллюзию ее формальной инкорпорированности в государственную структуру

едва ли удавалось поддерживать. Милитаристская кристаллизация была в значительной степени независимой от всех прочих кристаллизаций государства и оказывала на них влияние.

Некоторые опасались, что это может повернуть вспять кристаллизации «старого порядка» и капитализма. Многие командиры подозревали, что возникнут классовые риски, если они направят свои войска на массовую мобилизационную войну. Революция могла одинаково угрожать военной касте, «старому порядку», государству и капитализму. Большинство командиров беспокоились напрасно — реализовались наихудшие страхи лишь немногих из них. Но даже среди бессмысленной бойни Первой мировой войны сегментарная власть военной касты держалась вместе. Только российская армия распалась, раздув пламя революции. Во всех остальных классах сегментарный милитаризм сохранился: среди победоносных войск он усилил социальный консерватизм, среди побежденных подпитывал радикальный авторитаризм правых и впоследствии фашизм. Послевоенный классовый конфликт в большей части Европы сегодня объединяется с конфликтом между военными оппозиционерами и лоялистами. Большинство военных оппозиционеров были матросами запаса и резервистами, контроль над которыми в последний год войны был слабым, в то время как большинство лоялистов были фронтовыми кадровыми военными. Эта разница в дисциплинарной морали явилась решающей опорой для чернорубашечников и «фрайкорпс» авторитарных и фашистских правых. Военная власть, несмотря на пренебрежение ею социологов XX в., доказала, что имела массовое и смертоносное воздействие на общество XX в. Этот всемирно-исторический момент 1914 г. на самом деле продлился гораздо дольше.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Albertini, L. (1952). *The Origins of the War of 1914*, Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
- Anderson, M. (1988). *War and Society in the Europe of the Old Regime*. London: Fontana.
- Annuaire Statistique de la France. 1913.
- Axtmann, R. (1991). *Geopolitics and Internal Power Structures: The State, Police and Public Order in Austria and Ireland in the Late Eighteenth Century*. Ph.D. diss., London School of Economics and Political Science.
- Berryman, S. (1988). *Who Serves? The Persistent Myth of the Underclass Army*. Boulder, Colo.: Westview Press.
- Best, G. (1982). *War and Society in Revolutionary Europe: 1770–1870*. Leicester: Leicester University Press.
- Bond, B. (1972). *The Victorian Army and the Staff College, 1854–1914*. London: Eyre & Methuen.
- . (1984). *War and Society in Europe, 1870–1970*. London: Fontana.
- Bosworth, R. (1983). *Italy and the Approach of War*. London: Macmillan.



- Brewer, J. (1989). *The Sinews of Power*. London: Unwin Hyman.
- Brodsky, G. W. S. (1988). *Gentlemen of the Blade: A Social and Literary History of the British Army Since 1660*. New York: Greenwood Press.
- Cecil, L. (1976). *The German Diplomatic Service, 1871–1914*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Chandler, D. (1966). *The Campaigns of Napoleon*. New York: Macmillan.
- Charle, C. (1980a). *Les hauts fonctionnaires en France au XIX<sup>e</sup>-me siecle*. Paris: Gallimard.
- . (1980b). *Le recrutement des hauts fonctionnaires en 1901*. *Annales, Economies, Societes, Civilisations*, No 2.
- Corvisier, A. (1964). *L'armee francaise de la fin du XVII<sup>e</sup> siecle au ministere de Choiseul: Le soldat*. 2 vols. Paris: Presses Universitaires de France.
- Craig, G. (1955). *The Politics of the Prussian Army, 1640–1945*. Oxford: Clarendon Press.
- Dandeker, C. (1989). *Surveillance, Power and Modernity*. Oxford: Polity Press.
- Deak, I. (1990). *Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848–1918*. New York: Oxford University Press.
- Demeter, K. (1965). *The German Officer Corps in Society and State, 1650–1945*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Dupuy, R. E. (1971). *The National Guard: A Compact History*. New York: Hawthorn Books.
- Elias, N. (1983). *The Court Society*. New York: Pantheon Books; Элиас, Н. (2002). *Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии*. М.: Языки славянской культуры.
- Emsley, C. (1983). *Policing and Its Context, 1750–1870*. London: Macmillan.
- Fioud, R. et al. (1990). *Height, Health and History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, M. (1979). *Discipline and Punish*. Harmondsworth: Penguin Books; Фуко, М. (1999). *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы*. М.: Ad Marginem.
- Giddens, A. (1985). *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press.
- Girardet, R. (1953). *La societe militaire dans la France contemporaine, 1815–1939*. Paris: Pion.
- Goldstein, R. J. (1978). *Political Repression in Modern America*. Cambridge, Mass.: Schenkman.
- . (1983). *Political Repression in Nineteenth Century Europe*. London: Croom Helm.
- Gooch, J. (1980). *Armies in Europe*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Guff, T. R. et al. (1977). *The Politics of Crime and Conflict: A Comparative History of Four Cities*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
- Hall, R. H. (1963–1964). *The concept of bureaucracy: an empirical assessment*. *American Journal of Sociology* 69.
- Hampson, N. (1959). *La Marine de [‘an II: Mobilisation de laflotte de ‘Ocean, 1793–4*. Paris: M. Riviere.
- Harries-Jenkins, G. (1977). *The Army in Victorian Society* London: Routledge & Kegan Paul.
- Herwig, H. (1973). *The German Naval Officer Corps*. Oxford: Clarendon Press.
- Hilderbrand, R. C. (1981). *Power and the People: Executive Management of Public Opinion in Foreign Affairs, 1897–1921*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Hill, J. D. (1964). *The Minute Man in Peace and War. A History of the National Guard*. Harrisburg, Pa.: Stackpole.
- Holsti, K. (1991). *Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648–1989*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, S. (1957). *The Soldier and the State*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Hchman, W. (1961). *Professional Diplomacy in the United States*. Chicago: University of Chicago Press.
- Janowitz, M. (1960). *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press.
- Jany, C. (1967). *Geschichte den Preussischen Armeee*, 4 vols. Osnabruck: Biblio Verlag.
- Kann, R. (1979). *The social prestige of the officer corps in the Habsburg Empire from the eighteenth century to 1918*. In *War and Society and East Central Europe*, Vol. 1, ed. B. Kiraly and G. Rothenberg. New York: Brooklyn College Press.
- Karsten, P. (1972). *Naval Aristocracy: The Golden Age of Annapolis and the Emergence of Modern American Navalism*. New York: Free Press.

- . (1980). Father's occupation of West Point cadets and Annapolis midshipmen. In *The Military in America: From the Colonial Era to the Present*, ed. P. Karsten. New York: Free Press.
- Kennan, G. (1984). *The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War*. Manchester: Manchester University Press.
- Kennedy, P. (1985). *The Realities Behind Diplomacy*. London: Fontana.
- LaFeber, W. (1987). The Constitution and United States foreign policy: an interpretation. *Journal of American History* 74.
- Langsam, W. C. (1930). *The Napoleonic Wars and German Nationalism in Austria*. New York: Columbia University Press.
- Lefebvre, G. (1969). *Napoleon: From 18 Brumaire to Tilsit, 1799–1807*. New York: Columbia University Press.
- Ludtke, A. (1989). *Police and State in Prussia, 1815–1850*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lynn, J. (1984). *The Bayonets of the Republic*. Urbana: University of Illinois Press.
- Macartney, C. A. (1971). *The Habsburg Empire, 1790–1918*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- McNeill, W. (1983). *The Pursuit of Power*. Oxford: Blackwell; Мак-Нил, У. (2008). В порог не за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего.
- Martel, G. (1985). *Imperial Diplomacy. Rosebery and the Failure of Foreign Policy*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Palmer, A. (1983). *The Chancelleries of Europe*. London: Allen & Unwin.
- Parsons, T. (1964). The professions and social structure. In his *Essays in Sociological Theory*, rev. ed. Glencoe: Free Press.
- Poggi, G. (1990). *The State. Its Nature, Development and Prospects*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Porch, D. (1974). *Army and Revolution. France, 1815–1848*. London: Routledge & Kegan Paul.
- . (1981). *The March to the Marne: The French Army, 1871–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Preradovich, N. von. (1955). *Die Führungsschichten in Osterreich und Preussen, 1804–1918*. Wiesbaden: Steiner.
- Razzell, P. E. (1963). Social origins of officers in the Indian and British home army: 1758–1962. *British Journal of Sociology* 14.
- Riste, O. (1965). *The Neutral Ally: Norway's Relations with Belligerent Powers in the First World War*. London: Allen & Unwin.
- Ritter, G. (1969). *The Sword and the Sceptre. Vol. I: The Prussian Tradition, 1740–1890*. Coral Gables, Fla.: University of Miami Press.
- Robbins, K. G. (1977a). The foreign secretary, the cabinet, parliament and the parties // *British Foreign Policy under Sir E. Grey* / Ed. by F. H. Hinsley. Cambridge; Диссертации по гуманитарным наукам. <http://cheloveknauka.com/anglo-russkie-diplomaticheskie-otnosheniya-v-period-balkanskih-voyn#ixzz50o6xztjk>.
- . (1977b). Public opinion, the press and pressure groups. Both in *British Foreign Policy Under Sir Edward Grey*, ed. F. H. Hinsley. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodger, N. (1986). *The Wooden World*, London: Collins.
- Rohl, J. (1967). Higher civil servants in Germany, 1890–1900. *Journal of Contemporary History* 2.
- Rothenberg, G. (1976). *The Army of Francis Joseph*. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.
- . (1978). *The Art of Warfare in the Age of Napoleon*. Bloomington: Indiana University Press.
- . (1982). *Napoleon's Great Adversaries: The Archduke Charles and the Austrian Army, 1792–1814*. London: Batsford.
- Runciman, W. G. (1987). *The Old Question*. *London Review of Books*, February 19.
- Scott, S. (1978). *The Response of the Royal Army to the French Revolution*. Oxford: Clarendon Press.
- Serman, S. (1978). *Le corps des officiers francais sous la Deuxieme Republique et la Second Empire*. Thesis, University of Lille III.

- Skelton, W. (1980). Officers and politicians: the origins of army politics in the United States before the Civil War. In *The Military in America: From the Colonial Era to the Present*, ed. P. Karsten. New York: Free Press.
- Steiner, Z. (1969). *The Foreign Office and Foreign Policy, 1898–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steiner, Z., and V. Cromwell. (1972). *The Foreign Office before 1914: a study in resistance*. In *Studies in the Growth of Nineteenth Century Government*, ed. G. Sutherland. London: Routledge & Kegan Paul.
- Stephens, J. (1989). Democratic transition and breakdown in Western Europe, 1870–1939. *American Journal of Sociology* 94.
- Strachan, H. (1983). *European Armies and the Conduct of War*. London: Allen & Unwin.
- . (1984). *Wellington's Legacy: The Reform of the British Army, 1830–54*. Manchester: Manchester University Press.
- Teitler, G. (1977). *The Genesis of the Professional Officers Corps*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
- Tilly, C. (1982). Proletarianization and rural collective action in East Anglia and elsewhere, 1500–1900. *Peasant Studies* 10.
- . (1986). *The Contentious French*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- . (1990). *Coercion, Capital and European States, AD990–1990*. Oxford: Blackwell; Тилли, Ч. (2009). *Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. М.: Территория будущего*.
- Tilly, R. (1971). Popular disorders in nineteenth-century Germany: a preliminary survey. *Journal of Social History* 4.
- Vagts, A. (1959). *A History of Militarism*. Glencoe, Ill.: Free Press.
- Wildman, A. (1980). *The End of the Imperial Russian Army*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Wright, V. (1972). *Le conseil d'état sous le Second Empire*. Paris: Colin.

## ГЛАВА 13

# Становление государства модерна

### III. Бюрократизация

**П**ОНЯТИЕ «бюрократия» повсеместно встречается в исторических работах, посвященных возникновению современного государства, хотя ему редко дают определение и часто используют не по назначению. Это достойно сожаления, поскольку после Вебера социологи в основном используют термин корректно. Вебер (Weber 1978: I, 220–221; Вебер 2016: I, 259) выделял десять сущностных элементов бюрократии:

- 1) чиновники лично свободны и подчиняются только в пределах служебных обязанностей;
- 2) состоят в жесткой служебной иерархии;
- 3) обладают четкими служебными компетенциями;
- 4) служат по контракту, то есть в принципе на основе свободного выбора;
- 5) не избираются, а назначаются; отбор происходит по критерию профессиональной квалификации, которая должна быть подтверждена экзаменом и удостоверена дипломом;
- 6) имеют постоянное денежное содержание, в большинстве случаев с правом на пенсию;
- 7) считают свою службу единственной или главной профессией;
- 8) усматривают для себя возможность карьеры (продвижения) в зависимости от срока службы или успехов в работе либо и того и другого вместе <...>;
- 9) работают на условиях полного отделения от средств управления и без апроприации служебного места;
- 10) подчиняются строгой единообразной служебной дисциплине и контролю.

Здесь, разумеется, больше деталей, чем нам нужно, и исследования, проведенные в современных офисах, демонстрируют, что большинство из этих пунктов тесно связаны между собой (Hall 1963–1964). Для макроисторического обобщения я свел де-

сять пунктов Вебера к пяти ключевым характеристикам бюрократии, две из которых относятся к персоналу, две — к должностям и одна определяет их отношение к обществу в более широком смысле.

*Бюрократы* — это чиновники (1), не обладающие собственностью на должность по причине своего наемного и зарплатного статуса (2), назначаемые, продвигаемые и увольняемые согласно безличным критериям компетентности.

*Бюрократические должности* (3) организованы внутри департаментов, каждый из которых централизован и воплощает функциональное разделение труда; (4) департаменты интегрированы в единое общее управление, также осуществляющее функциональное разделение труда и централизованную иерархию.

Наконец, бюрократия предполагает (5) *обособленность* от борьбы более широких слоев общества вокруг ценностей. Вебер считал, что бюрократия подчинена «формальной» или «инструментальной» рациональности, которая изолирует ее от «субстанциональной» рациональности, воплощенной в политике и ценностях общества.

Бюрократы эффективны в осуществлении сущностных целей, поставленных вне их собственного управления. Если управление привносит субстанциональную или ценностную рациональность и партийную борьбу, то затем они проникают в общество, уменьшая его формальную рациональность. Бюрократия предполагает своим исходным пунктом изоляцию управления от политики.

Эти пять элементов могут быть представлены в различной степени, и каждый может быть представлен без других, хотя появление элемента 2 без элемента 1 маловероятно, а элемент 5, как правило, предполагает все остальные. Управление может быть более или менее бюрократическим, но развитая бюрократия требует наличия всех пяти элементов. Она также является универсальным, национально единообразным типом гражданского управления. Бюрократизация сопровождала и поддерживала рост национальных государств.

Поскольку большинство западных государств в настоящее время высокбюрократизированы, эта глава задает два простых эмпирических вопроса: когда они стали такими и почему? Я претендую не на то, чтобы дать полностью оригинальные ответы на эти вопросы, а на то, чтобы скорее представить синтез имеющейся исследовательской литературы. Как известно, в тот период большинство государств бюрократизировалось, но каждое из рассматриваемых мною пяти государств оказалось в определенный момент новатором, поскольку каждое по-своему реагировало на переплетение источников социальной вла-

сти. Тем не менее бюрократизация осталась незавершенной (и до сих пор пребывает в таком состоянии), особенно на вершине управления. Как и у военных, бюрократизация и социальная идентичность чиновников сдерживали друг друга, чтобы создать дуальную кристаллизацию внутри государственного управления: в качестве элиты она была умеренно технократической, в качестве партии она во многом отражала политику господствующих классов. Государства все еще не были едины.

## АДМИНИСТРАЦИЯ «СТАРОГО ПОРЯДКА»

Как показывает глава 12, бюрократия появилась в государствах в основном через их вооруженные силы, значительно бюрократизированные задолго до гражданских служащих. К 1760 г. военные реформы оказывали влияние на гражданское управление, особенно на службы снабжения флотов и налоговые. Тем не менее это влияние пока еще не продвинулось далеко. В гражданской администрации XVIII в. само понятие найма вызывает сомнения. Тогда существовало пять статусов должности и четыре формы вознаграждения.

### *Должности*

1. На самом высоком должностном уровне доминировало наследственное владение — это сама должность монарха, разумеется. Высокие должности могли передаваться напрямую мужчинам-наследникам. Кроме женских членов королевской семьи и фрейлин в тот период не существовало обладательниц высоких должностей.
2. Чиновники могли быть избраны обычно своими же коллегами и занимали должность пожизненно или в течение определенного срока.
3. Должности могли покупаться. По закону было мало возможности передать их по наследству, на практике они часто становились наследственными, неотличимыми от статуса.
4. Должности могли приобретаться через покровительство более высокого чиновника, часто задобренного взяткой. Права собственности возлагали ответственность на патрона, а не на клиента-чиновника, который мог быть уволен по капризу патрона.
5. Должность могла быть приобретена или оставлена современным способом, следуя безличным критериям, таким как способности или опыт, и тогда никто ею не владел.

## *Вознаграждения*

1. Многие чиновники официально не получали жалованья, но исполняли почетные обязанности, проистекавшие из их социального ранга.
2. Чиновники наслаждались плодами своих должностей, что означало присвоение денежных сборов и получение дополнительных материальных и нематериальных льгот и привилегий, протекавших через их руки.
3. Жалованье платилось не человеку, исполнявшему обязанности чиновника (как это происходит сейчас), а его патрону, который потом нанимал и оплачивал помощника, в действительности делавшего всю работу.
4. Работающему чиновнику платилось жалованье по современному способу.

Существует множество возможных комбинаций должностных статусов и вознаграждений, хотя доминировали всего несколько из них. Только одна комбинация — не владеющие своими должностями, работающие чиновники — может рассматриваться как потенциальные бюрократы, которые, таким образом, составляют крошечное меньшинство среди государственных чиновников середины XVIII в. Все остальные были встроены в партикуляристские, децентрализованные и сегментарные формы административного контроля. Как отмечал Вебер, бюрократия заранее предполагает отчуждение чиновника от средств администрирования (тут он играет с определением пролетариата по Марксу). Для того чтобы администрация стала бюрократической, чиновники не должны иметь выгоду от своих решений, должны быть подконтрольны административной иерархии и устранимы в том случае, если они не следуют безличным административным правилам. Эти условия невозможно обнаружить в XVIII в., поскольку чиновники или их патроны *владели* должностями и могли извлекать из них выгоду. Права собственности владельцев и патронов блокировали централизацию, рационализацию и изоляцию государственного управления.

Их права кажутся нам чрезвычайно похожими на коррупцию, и в конце концов они были признаны таковой и отменены. Но в XVIII в. такие права составляли в некотором роде административное представительство и ограничивали королевский деспотизм путем разрешения локально-региональным партиям господствующих классов разделять контроль над государственной администрацией. Зачаточная партийная демократия в Британии и Голландии означала не только парламенты, в абсолютистских Австрии, Пруссии и Франции

именно владение должностью было основным ограничителем централизованного деспотизма, уменьшающим государственную автономию. Фактически это затрудняло разговор о государстве как об акторе. Чиновники «старого порядка» были тесно связаны с гражданским обществом.

Затем последовали две попытки реформ — первая исходила от абсолютизма, вторая была революционным и реформистским переобозначением представительства — от владения должностью к демократии.

## СТАДИЯ 1: ДИНАСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ И ВОЙНА, 1700–1780 ГОДЫ

Первопроходцами современной бюрократии были династические монархи, которые формально стояли выше локально-регионального сообщества по своей военной и гражданской власти. Управление королевским двором и личными поместьями короны на самом деле принадлежало монарху, который теперь был бесспорным главнокомандующим вооруженных сил. Государственная элита теоретически существовала как «они» (it), актор, в лице людей из ближайшего окружения, друзей, родственников и слуг монарха. Эти «они» заключали в себе весьма небольшую часть монархического ядра, но не государства в целом. Снаружи были группировки аристократов, высшее духовенство, местная аристократия, пользующиеся эффективной автономией в своей собственной административной сфере. Настоящая деспотическая власть была ограничена слабостью инфраструктурной власти и служила типичным примером зависимости от локально-региональных, а иногда также центральных чиновников, владевших своими должностями. Династические монархии кристаллизовались как двойственные: централизующие основатели династии и децентрализующие партии «старого порядка», выразившиеся в межфракционной борьбе и интригах при дворе и в администрации.

По различным причинам два наименее представительских режима — прусская династия Гогенцоллернов и австрийская династия Габсбургов — начали бюрократическую атаку в XVIII в. К ним присоединились другие германские государства, Швеция и позже Россия. Первое важное идеологическое движение к реформе государства и камерализму возникло в основном в университетах лютеранской Северной Германии и римско-католической Австрии (Johnson 1969; Raeff 1975; Krygier 1979; Tribe 1984, 1988). На протяжении XVIII в. камералисты разработали «науку управления», утверждая, что государственные департаменты



(Kammer) должны быть централизованы, рационализованы, информированы путем систематического сбора статистики и подчинены универсальным административным и финансовым правилам. Это могло бы помочь достижению трех политических целей: обеспечению порядка, поддержанию экономической активности подданных (не граждан) и рутинному изъятию их богатства в качестве государственного дохода. Любимой метафорой камералистов была машина.

Надлежащим образом устроенное государство должно быть в точности подобно машине, в которой все колеса и шестеренки совершенно точно пригнаны друг к другу, а правитель должен быть мастером, спусковой пружиной или душой... которая приводит все в движение. [(Иоганн Генрих Готлиб фон) Юсти (Justi), камералист, цитируемый в Krygier 1979: 17].

Камералисты начала XVIII в. были юристами, университетскими профессорами, выдающимися чиновниками или их советниками, настоятельно советуемыми монархам ликвидировать партикуляризм. Эти «зависимые бюрократы» (subservient bureaucrats) (термин Джонсона) впоследствии устремились к центрально-европейскому просвещенному абсолютизму, призывая провести тотальную реформу государства. Австрийский камерализм также характеризовался антиклерикализмом. К 1790 г. в германских и австрийских университетах было больше 30 профессоров камерализма и примерно 60 опубликованных учебников по этому предмету. Позже камерализм померк под влиянием французских физиократов и британских политических экономистов (Tribe 1988). Центральноевропейская государственная фаза теоретического осмысления модернизации сдавала свои позиции под натиском британской капиталистической фазы.

Государство Габсбургов было более династическим и, таким образом, более обособленным от гражданского общества, чем любое другое западное государство. Оно было гигантской конфедерацией, в которой королевская центральная администрация и армия составляли отдельный слой общества, обособленный от аристократических сословий и внедворянской администрации их многочисленных провинций и исторических королевств. Как показывает глава 10, Габсбурги практиковали вымогательство под предлогом защиты (protection racket): провинции соглашались с деспотическим правлением Габсбургов, чтобы избежать потенциально худшего деспотизма других монархов и друг друга. Королевское ядро было нейтральным «оно», относительно свободным от представителей владельцев должностей, — в этой католической стране многие чиновники

и офицеры были нейтральными иностранцами и протестантами, позднее многие были евреями.

Самый широкий всплеск реформ стал ответом на войну за австрийское наследство (1740–1748 гг.) — согласованная попытка окружающих держав не дать унаследовать габсбургские владения Марии-Терезии. Под угрозой физического уничтожения, оторванная от основных королевских владений энергичная королева экономно расходовала и максимально увеличивала налогово-бюджетные ресурсы, следуя модели, объединившей доктрины камерализма и прусской военной администрации. Ее высших чиновников отчасти вдохновлял опыт того, как прусская армия вытянула из Силезии, когда она была австрийской провинцией, вдвое больше налогов, чем это удавалось чиновникам до 1740 г. (Axtmann 1991). Австрийская армия была в конце концов подчинена монархии и профессионализирована. Большинство высших королевских чиновников стали получать жалованье, а их пенсии были превращены в единый рационализированный и пенсионный фонд раньше, чем где-либо еще. Начиная с 1776 г. высшие чиновники должны были продемонстрировать, что они изучали камерализм, а университеты и пресса были либерализованы и секуляризованы. Большинство центральных государственных департаментов, особенно Городской банк Вены (фактически казна), Департамент рудного дела и чеканки монеты и Камерал (Camerale) (основные министерства), теперь стали бюрократически организованными. Все это было отражено в недавно возникшей австрийской статистике, которая показана в табл. 11.7.

Однако австрийская бюрократизация имела два ограничения. Во-первых, отдельные департаменты не были интегрированы в единую функциональную и иерархическую структуру. В Вене они сосуществовали с более старыми государственными институтами, сконцентрированными при дворе. Не было ни единого постоянного кабинета, ни эффективного первого министра, скорее многочисленные советы и министры состязались друг с другом за доступ к монарху и влияние на двор. Социальные связи между монархом, двором, церковью, высшими военными офицерами и управленцами были настолько тесными, что мы можем определить их как государственную элиту, хотя и довольно редко объединенную. Но австрийское государство состояло не только из бюрократии. Оно было монархией, цели которой реализовывались через взаимопроникновение администраций, отфильтрованных партиями.

Во-вторых, эта частичная бюрократизация характеризовала только центральный, королевский уровень управления в основном в Вене, возвышающийся над локально-региональными администрациями Австрии, Богемии, Венгрии и так далее,

на должности в которых выбирали сословные собрания или которые находились во владении местных аристократов и церковных иерархов. Как показано в табл. 4.2, королевская администрация обладала меньшей местной инфраструктурной властью, чем государства, чиновники которых были более интегрированы. Мария-Терезия и ее сын Иосиф II осуществляли амбициозные просветительские проекты в самой большой европейской империи, но они не могли их институционализировать. Иосиф II жестко и осознанно боролся с региональным партикуляризмом, но проиграл. Венгерская знать и знать австрийских Нидерландов, купцы и клирики восстали во имя партикуляристских свобод и представительских привилегий. Все они начали переговоры с Пруссией, предлагавшей альтернативный охранный рэкет, когда Иосиф стал слишком сильно их притеснять. Его наследник, Леопольд, восстановил их свободы и должности. Просвещенный абсолютизм отступил обратно в свою столицу (Macartney 1969; Beales 1987; Dickson 1987; Axtmann 1991). Независимое протобюрократическое государство XVIII в. было инфраструктурно слабым. Австрийское государство не смогло бюрократизироваться дальше пределов этой базы.

Те историки, на эмпирические исследования которых я опираюсь (Rosenberg 1958; Fischer and Lundgreen 1975: 509–527; Gray 1986; но Johnson 1975 отличается от вышеуказанных), практически в один голос называют прусскую администрацию бюрократией, хотя это и не добавляет ясности. Ее государственно-королевское ядро тоже давно начало движение в сторону бюрократизации и опять же под давлением войны. Здесь камерализм не был главным новатором, эта честь больше принадлежала армии. По мере того как Пруссия побеждала в войнах середины века, увеличивающаяся военно-фискальная администрация захватывала королевские домены, «королевские права» (чеканку монеты и рудники), поместья и города. Во время правления Фридриха Вильгельма I генеральная директория в составе четырех министров надзирала над провинциальными советами по делам войны и имений, контролируя налоговых комиссаров и окружные финансовые управления (Landräte). Министр хвастливо комментировал: «Пруссия была не страной, обладающей армией, а армией, в распоряжении которой была страна, которая служила ей казармой и продовольственным складом» (Rosenberg 1958: 40).

Таким образом, после 1750 г. очень немногие чиновники владели должностями. Чиновники центральной и высокоуровневой локально-региональной администрации получали зарплаты и пенсии, а также назначались и смещались монархом. Под влиянием камерализма с конца 1730-х гг. начали проводить

обучение и экзаменовку судей. К 1780 г. судьи уже должны были иметь университетскую степень по правоведению, проходить двухлетнее обучение по месту службы и потом сдавать экзамены (Weill 1961; Johnson 1975: 106–133). Прохождение вступительных испытаний стало необходимым для высшей администрации между 1770 и 1800 гг. Получение университетского диплома стало обычным квалификационным требованием, дававшим чиновникам национальную культурную связь, — университеты были основными проводниками германской идентичности. Свод законов 1794 г. закрепил все это и предоставил чиновникам законные полномочия, зависевшие от качественного исполнения ими своих обязанностей. Они теперь назывались не слугами короля, а профессиональными чиновниками государства (Beamten des Staats). Они, разумеется, были бюрократами, возможно единственными в мире в это время. Пруссия обогнала Австрию в качестве «путеукладчика» бюрократии. В том, что касалось национальной бюрократии, Пруссия была далеко впереди.

Хотя и у прусской бюрократии были свои пределы. Подобно своей родоначальнице — армии, она кристаллизовалась как *«старый порядок»*, поскольку был заключен компромисс с дворянством, особенно с юнкерством. Как показывает табл. 4.2, прусское государство было эффективным в инфраструктурном смысле, поскольку его центр координировал государственную элиту и партии, набранные из господствующего класса. Затем начались противоречия государственной модернизации и буржуазной экспансии. До 1820-х гг. лишь немногие дворяне шли в университеты и был открыто признан конфликт между получившими домашнее образование чиновниками-функционерами из числа элиты и получившими университетское образование чиновниками незнатного происхождения и национальными чиновниками. Монархи лавировали между ними, опасаясь и слишком значительного контроля аристократии, и угрозы со стороны бюрократической касты. В Пруссии (и позднее в России) схватки между *«старым порядком»* и крупной буржуазией происходили внутри государственной администрации.

В прусских схватках был успешно достигнут компромисс. Буржуазные профессионалы были инкорпорированы во власть, а дворяне стали образованными. Большинство высших гражданских и военных чиновников остались дворянами вплоть до значительного увеличения армии, флота и гражданской администрации прямо перед 1900 г., когда в конце концов дворянство не смогло предоставить достаточное количество сыновей для службы (Bonin 1966; Koselleck 1967: 435; Gillis 1971: 30; сведения о военных представлены в главе 12). В самом деле, теперь, когда юнкеры теряли свою экономическую власть, они

стали в большей степени зависимы от карьеры на гражданской службе (Muncie 1944). Экзамены также были скорее квалификационными, чем конкурсными. Высшие чиновники могли выбирать того, кто им нравился, при условии, что кандидат сдал экзамен. Они делали выбор самостоятельно, и администрация инкорпорировалась в «старый порядок». Таким образом, чиновники служили короне, хотя при этом пользовались независимостью, дарованной их классом. Подобно чиновникам других германских государств, они часто предпочитали не выполнять те указания, которые им не нравились (Blanning 1974: 191).

Прусская гражданская администрация также кристаллизовалась как *милитаристская*. Управленцев одели в униформу и присвоили им формальные звания. Милитаризм распространился также среди среднего и нижнего уровней (Fischer and Lundgreen 1975: 520–521). Мобилизация армии зависела от большого количества обученных резервистов, особенно унтер-офицеров. Что делать с ветеранами после окончания войны и как мотивировать их пойти на следующую? Еще в XVIII в. Гогенцоллерны побуждали министров искать возможности государственного трудоустройства для бывших солдат. Ветеранов предпочитали нанимать в качестве городских привратников, фабричных инспекторов, полицейских, учителей начальной школы, даже священников и позднее работников железной дороги. С 1820 г. и далее все унтер-офицеры, прослужившие девять лет, могли выбирать должность делопроизводителя или бухгалтера в администрации, в случае если они были грамотными и умели считать. Австрия позднее гарантировала это для всех унтер-офицеров с двенадцатилетней выслугой, а Франция законодательно закрепила похожие практики в 1872 г. Многие правила гражданской службы в Германии даже в XX в. касались дисциплины и наказаний, а также норм, закреплявших верховенство общественного порядка над прочими целями и над военными, которые его наводили. Законы военного времени продержались едва ли не дольше самой прусско-германской администрации (Ludtke 1989).

Две кристаллизации — «старого порядка» и милитаристская — придали администрации отчетливо прусские черты. Обе усилили горизонтальный и вертикальный контроль в администрации, в меньшей степени в виде веберовских рациональных форм учета, в большей — как комбинации корпоративного духа и вышколенного страха, который являлся признаком эффективной военной аристократии. Эта «модерновая» администрация была пропитана традиционными классовыми и военными отношениями власти.

Третье ограничение прусской администрации, которое действовало в противоположном направлении, — уменьшение гомо-

генности государства. Пруссии, так же как и Австрии, не удалось интегрировать различные административные департаменты. Внутри департаментов развивались иерархия, порядок и карьерная структура. Но отношения между департаментами оставались запутанными. Генеральная директория возникла во время военного кризиса, вторжения. Одни министры заведовали территориальными, другие — функциональными сферами. Поначалу они коллективно заседали в рамках Королевского тайного совета, но этот орган перестал созываться при Фридрихе Великом — он желал, чтобы власть концентрировалась вокруг него, а не вокруг министров. Его сегментарная политика «разделяй и властвуй» уменьшила бюрократизацию и остановила бы любого премьер-министра, который мог бы организовать борьбу за власть (Anderson и Anderson 1967: 37). Так называемые кабинеты были советами не министров, а придворных советников, независимо взаимодействующих с министерствами. По мере расширения Пруссии вместе со старыми министерствами возникают новые агентства:

Пять первых бюрократий, управляющих с различными целями, в оппозиции друг к другу и признающих в качестве общего господина только короля... После 1740 года не существовало единой бюрократии и их функции не распределялись согласно какой-либо логике, закрепляясь за людьми, помещенными в бюрократическую иерархию. Прусское правительство становилось все более и более децентрализованным... разделенным на взаимно антагонистические части [Johnson 1975: 274].

Администрация смешивала два принципа подотчетности — коллегиальные решения, принимаемые корпусом чиновников, с «единоличным принципом», столь обожаемым большинством реформаторов. Прусская администрация не была единой и централизованной. На высших уровнях она срасталась с аристократическим двором, сконцентрированным вокруг монарха, не желающего отказываться от сегментализма. Министры, даже канцлеры (после учреждения этого поста), чтобы повлиять на что-либо, полагались и на придворные интриги, и на свое формально-административное положение. Цель была одна — получить прямой доступ к монарху. Сплоченность, которую придавал абсолютизму монарх, была не более чем фиктивной. Абсолютизм не мог быть бюрократическим независимо от того, в каком статусе находились его чиновники.

Тем не менее Австрия и Пруссия были наиболее бюрократическими государствами XVIII в. Каждое из них усиливало династическую монархию путем увеличения автономии, возникшей из австрийского династического конфедерализма и прусско-

го милитаризма. Франция, хотя и формально абсолютистская, не имела подобной изоляции. Века смирения с привилегиями провинциальной аристократии и корпоративных групп глубоко укоренились даже на высших уровнях гражданского общества в той форме представительства, которую можно описать исключительно как характерно коррупционную и партикуляристскую (Bosher 1970; Mousnier 1970: 17ff.; Fischer and Lundgreen 1975: 490–509; Church 1981).

Во Франции существовало два основных статуса наемных служащих. Большинство чиновников назывались *офицерами* (*officiers*), они становились собственниками своих должностей обычно путем покупки. Их права собственности защищались корпоративными организациями. Меньшинство именовалось *комиссарами* (*commissaires*) — это были наемные работники, получавшие жалованье. Границы между двумя категориями были подвижны, поскольку *комиссары* искали способы присвоения должностей, а король боролся за уменьшение взяточничества. К 1770-м гг. было примерно 50 тыс. получающих жалованье смещаемых чиновников в основном в министерствах, таможенных пунктах и почтовых конторах. Их превосходили числом *офицеры*, которым они обычно были подчинены. Неккер (Nesker 1784) насчитывает приблизительно 51 тыс. приобретаемых за деньги должностей только в судах общего права, муниципалитетах и в финансовой сфере. К этому мы должны добавить покупаемые должности в королевском домене, в налоговых откупах и в других финансовых компаниях, используемых государством, а также должности, которые занимали инспекторы гильдий, ревизоры и ремесленники, даже изготовители париков. Тэйлор (Taylor 1967: 477) и Дойл (Doyle 1984: 833) считают, что общее количество чиновников составляет 2–3% всего взрослого мужского населения, примерно 200 тыс. человек. К этому мы должны добавить примерно 100 тыс. из 215 тыс. сборщиков таможенных пошлин с неполной занятостью, приблизительно подсчитанных Неккером (остальные были уже сосчитаны выше как обладатели покупных должностей). Одни покупали должности, другие получали жалованье. Я рискну предположить, что в лучшем случае 20% чиновников были *комиссарами*, получавшими жалованье. Но это всего лишь догадка, поскольку никто точно не знал, — и это на самом деле весьма важное открытие (как я в более общем смысле отметил в главе 11).

Ни в одном департаменте не существовало обезличенных правил по назначению на должность или продвижению по службе. Большинство высших чиновников имели предшествующую юридическую подготовку, но это было обычным делом для образованного человека вместо технической ад-

министративной подготовки, которая частично существовала в Пруссии. Возможно, 5% французских чиновников можно было назвать бюрократами в соответствии с нашими двумя веберовскими критериями, относящимися к персоналу. Государство было отягощено частными и корпоративными правами собственности, глубоко внедренными в гражданское общество.

Французские чиновники не обладали значительной бюрократической организацией внутри или между департаментами. Внутри основных министерств иерархия развивалась с 1770-х гг. и далее, включая разницу в размере окладов и карьерных направлений. Но даже там и повсеместно право собственности шло вразрез с иерархическим и функциональным потоками информации и контроля, как это было в отношениях между департаментами. Французская администрация смешивала коллегиальный и единоличный принципы, а потом отказалась от обоих. Старый *государственный совет* (*conseil d'état*) был разделен на различные специализированные советы, часть из которых была включена в состав двора. Как и в большинстве стран, министр финансов оказался чиновником, занимавшим ключевую должность. Но у него не было особого статуса в советах или при дворе, и он не обладал авторитетом даже среди разросшейся финансовой администрации. В провинциях многое зависело от энергичности конкретного интенданта и его малочисленного аппарата, но они вынуждены были мирно сотрудничать с местной аристократией, имевшей партикуляристские привилегии.

Реформаторы знали, как должна выглядеть рациональная современная администрация, поскольку французское Просвещение выросло из камерализма, хотя и с более взрывоопасными политическими требованиями. В лице министров, подобных Неккеру, они находили патронов, которые вели учет численности и расходов, ликвидировали коррупцию, которую могли ликвидировать, и пытались реорганизовать широкие административные сектора (никто не мог постичь, не говоря уже о том, чтобы реформировать, все целиком). Но их успех, как отмечает Неккер, был ограниченным:

вспомогательные делегаты, чиновники-выборщики, администраторы, получатели и контролеры особого подоходного налога *vingtième*, комиссары и сборщики «талли» и «габели», инспекторы, судебные приставы, высшие надсмотрщики за выполнением барщины, агенты советников, контролеры, запасные сборщики пошлин — все эти «рядовые казны», каждый в соответствии со своим характером, подчиняет своей маленькой власти и вплетает в свою фискальную науку невежественного налогоплательщика, который не способен определить, обманывают его или нет, но постоянно это подозревает и опасается [цитата по Harris 1979: 97].



Знаменитый ученый XX в. соглашается: «„Старый“ порядок никогда не обладал бюджетом, никогда не имел законодательного акта, предугадывающего и разрешающего все доходы и расходы на определенный период времени... Он знал только фрагментарные, неполные государства» (Maigron 1927: I, 448).

Таким образом, я нахожу странным, что некоторые историки так привержены слову «бюрократия» при описании этого государства. Например, Харрис ссылается на королевских генеральных откупщиков (французских финансистов, получивших в 1726 г. от короля право сбора налогов) — этот памятник обладанию должностью как частной собственностью и источником дохода — как на «этот огромный бюрократический аппарат» (Nargis 1979: 75). Во Франции «старого порядка» было очень мало следов бюрократии.

Династизм пережил некоторую бюрократическую модернизацию, но администрация в Пруссии, особенно в Австрии, отделялась от прочих классов только на самом высшем королевском уровне. В целом это кажется менее значимым по сравнению с господством партии «старого порядка», которое одновременно политизировало классы и внедряло чиновников. Это особенно заметно во Франции. В Британии и ее американских колониях мы также находим высокоинклюзивные «старые порядки», но в форме зачаточной партийной демократии, включающей в себя как парламентские партийные фракции, так и коррумпированных владельцев должностей. Это сочетание сделало британскую администрацию такой же принудительной, как и прусская, но первая была гораздо менее бюрократизирована (сравнение Британии и Пруссии см. в Mueller 1984).

Примерно до 1800-х гг. в Британии число обладателей синектуры, получавших жалованье или привилегии от своей должности и нанимавших помощников, фактически делавших за них работу, значительно превышало число получавших жалованье и действительно работавших высших чиновников. Фактически вся работа 300 чиновников Министерства финансов исполнялась помощниками (Binney 1958: 232–233). В Морском министерстве казначей нанимал и оплачивал своего собственного казначея, чтобы тот делал его работу, а два аудитора денежных сумм сохраняли большую часть своего немалого жалованья (больше 16 и 10 тыс. фунтов в год соответственно) даже после уплаты всех расходов департамента. В 1780 г. выяснилось, что ни один из них не участвовал в работе департамента уже более 30 лет. В аппарате государственного секретаря даже уборщик нанимал себе помощника (Cohen 1941: 24–26). Не было заранее установленных квалификационных требований или экзаменов на должность, а также формальных критериев продвижения

по службе, кроме департамента таможенных и акцизных сборов и технических военно-морских департаментов. Даже они просто формализовали патронаж, превратив его в письменные инструкции (Aylmer 1979: 94–95).

Централизованная цепь командования не могла существовать не только между департаментами, но и внутри них. На каждом уровне она подрывалась автономными правами собственности на должность. Но в XVIII в. произошли изменения. Первый лорд-казначей постепенно становился премьер-министром, представляя монарха парламенту в палате лордов. Ниже его стояли два старших статс-секретаря и советы управляющих отдельными департаментами. Тем не менее монарх и члены обеих палат обладали независимыми каналами влияния внутри департаментов.

Общественные дела вершились в нескольких более или менее независимых департаментах, которые не имели контроля ни в отношении метода их работы, ни в отношении детализации расходов... Первый лорд-казначей не мог делать удовлетворительных предположений о расходах правительства ни в каком году [Cohen 1941: 34].

До 1797 г. не предпринималось попыток пересчитать чиновников.

Как и во Франции, в Британии коррупция надежно защищалась, но здесь она была централизованной, национальной коррупцией, поскольку ее первоисточниками были суверенный монарх и его министры в парламенте. Это приносило выгоды обладателям должностей и их патронам, но также гарантировало, что королевская администрация может работать только с помощью протонациональных партий классов собственников. Администрация не была обособлена от политики или класса. Ее коррумпированная партикуляристская представительность соответствовала позднеаграрным обществам, таким как Британия и Франция. С одной стороны, они испытывали недостаток коммуникации и партийной дисциплины, что впоследствии усилило парламентское представительство в эпоху индустриального капитализма; с другой стороны, их население и капитализм перерастали управление с помощью партикуляристских родственных связей, лучеобразно расходящихся вниз от королевского советника или парламента. Во Франции административная представительность породила неэффективную систему управления, но в Британии она была высокоэффективной. Она оставалась совершенно неизменной до 1780-х гг., несмотря на экстраординарную трансформацию гражданского общества.

Тем не менее британская бюрократия всколыхнулась, когда государственный милитаризм усилил налоговое давление сначала в технических отраслях военно-морского флота (но не в более

аристократической армии), а после этого среди сборщиков таможенных и акцизных налогов. Бревер (Brewer 1989) показывает, как департамент акцизов стал первой гражданской администрацией, напрямую контролируемой государственными чиновниками более высокого ранга. 480 человек, большинство из которых получали жалованье, были включены в «протоорганизационную схему» (хотя эта метафорическая вещь еще не была изобретена), создавая формальные каналы функциональной и иерархической коммуникации и контроля, предоставляя регулярные письменные отчеты и в действительности принося предсказуемую прибыль, что нетипично для XVIII в. Это контрастировало с коррумпированной администрацией освященного веками земельного налога, тяжким бременем ложившегося на собственников имущества, которые для самозащиты развивали владение должностями. Акцизы вводились нетипично эффективным деспотическим государством — Содружеством Кромвеля (Commonwealth). Будучи конституционально противоречивым, это изъятие не вызвало большого возмущения среди представителей «старого порядка». Это был налог на сверхприбыль торговцев и траты бесправных бедняков, который финансировал доходную всемирную экспансию. Тем не менее департамент акцизов потенциально мог стать троянским конем. Его бюрократическая модель в 1780-х гг. привлекла внимание реформаторов, желавших создать парламентскую комиссию по запросам.

В тот момент существовало также внешнее давление на бюрократию и более мягкое — на национальную администрацию. В главе 4 отмечается рост национального движения за экономические реформы, яростно атаковавшего растраты и коррупцию. Это движение имело два источника. Первым, как и везде, было налоговое бремя современной войны. Движение было порождено Семилетней войной, первые настоящие реформы были проведены под давлением Американской революции. Во-вторых, в идеологическом плане оно было нацелено на национальный альянс исключенных из власти «старого порядка» и недавно возникшей, полностью исключенной из политики мелкой буржуазии. Само возникновение этого альянса было многим обязано коммерческому, а затем и промышленному капитализму, так же как и его теория эффективного управления. Утилитаризм отличался от камерализма: его рациональность была формальной, системной и децентрализованной, управляемой принципами, лежащими в основе гражданского общества. Для его функционирования требовалось меньше авторитарного государственного руководства. Я усматриваю здесь влияние «невидимой руки» самой капиталистической экономики мира.

Я кратко очертил первую стадию государственной модернизации и бюрократизации. Она была направлена на создание поддающихся учету, работающих, получающих жалование, квалифицированных чиновников и на создание функционально и иерархически рациональных отдельных департаментов. Однако в отношении четвертого и пятого критериев бюрократии, объединявших разные департаменты и отделявших партийную политику от управления, мало что изменилось. Основные реформы исходили из властных отношений, что не кажется таким уж современным. Первые изменения произошли в наименее представительских монархиях — Австрии и Пруссии, абсолютно династических, не обладавших развитой торговлей, промышленностью и урбанизацией (это также отмечает Аулмер 1979: 103). Династизм мог стать этим «им» — обособленным централизованным актором, способным реорганизовать себя с помощью рациональной науки управления. Австрийский и прусский династизм усиливался их конфедеральной и милитаристской кристаллизациями. В партийно-демократической (на зачаточном уровне) Британии администрация, напротив, была королевской и внедренной — централизованной и децентрализованной; таков был парламент, разделенный между придворной и национальной партиями, местными чиновниками и сельскими дворянами. Любая реформа должна была пройти согласование с обеими партиями. Тем не менее коррупция была институционализирована их историческим компромиссом, выкупая влияние короны и аристократическую свободу у деспотизма. В этом отношении французский режим, формально династический, но интегрированный и «коррупционно представительский» почти до самой верхушки, был похож на британский. Но прусский и австрийский монархи обладали большей администрацией, которая подчинялась им и потому легко поддавалась модернизации. Камерализм мог быть изобретен там, а не в Британии. Верно, что основатели династий могли проникнуть внутрь своих королевств, только достигнув компромисса с аристократией и церковью, включенными в локально-региональную администрацию. Но в отличие от Британии (или ее американских колоний) там никто не оспаривал право монарха править самодержавно. Основатели династий стремились к реформам также и под давлением войн за землю, которые были наиболее кровопролитными в Центральной Европе. Ритмы государственной модернизации поддерживались напряжением налоговой и демографической областей милитаризма; военно-налоговая администрация первой была рационализирована (прусская судебная система — главное исключение — была тесно связана с военной администрацией) — осо-

бенно в Пруссии военные служили образцом организации. Это давление также ощущалось во Франции, но режим был не способен провести военные реформы в налоговых департаментах. Когда Наполеоновские войны в конце концов принесли сопоставимое военно-налоговое бремя в Британию, там тоже были проведены реформы в аналогичных ведомствах.

Таким образом, первая стадия бюрократизации была вызвала в меньшей степени «модерновым» капиталистическим гражданским обществом, чем традиционными государственными военными кристаллизациями, наиболее интенсивно происходившими в наименее представительских монархиях. Из этого правила было одно единственное исключение: давление, оказываемое британскими буржуазными и мелкобуржуазными реформаторами, в этот период не имело успеха. Бюрократизация отталкивалась в основном от старых монархических и военных государств, а не от нового гражданского общества, ее ограничения создавались в основном противоречиями такого государства: рациональная администрация против сегментарного «разделяй и властвуй» и автономии от аристократии, хотя и одновременно против зависимости от нее.

## СТАДИЯ 2: РЕВОЛЮЦИЯ, РЕФОРМА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, 1780–1850 ГОДЫ

В этот период государственная модернизация вошла в колею, ограниченную в основном борьбой за политическое представительство и национальное гражданство, которую вели революционеры. Исторически пальма первенства принадлежит Американской революции<sup>1</sup>. Как только была достигнута независимость, возврата к американской старой коррупции уже не было. Деспотизма следовало избегать, создав небольшое государство, внимательное к воле выборных органов. В основном государственная рационализация была на первых порах политически приемлемой. Федералисты также погрязли в идеях меркантилизма, Просвещения и утилитаризма. Александр Гамильтон был ярким сторонником Жака Неккера (McDonald 1982: 84–85, 135–136, 160–161, 234, 382–383). Европейское идеологическое сообщество навело мост через Атлантику.

Конституция придала основное развитие четырем из предложенных мной пяти признаков бюрократизации, хотя только

---

1. Моими основными источниками по американской администрации были: Fish 1920; White 1951, 1954, 1958, 1965; van Riper 1958; Keller 1977; Shefter 1978; Skowronek 1982.

на федеральном уровне. С конца 1780-х гг. и до сегодняшнего дня все федеральные чиновники получали жалование. Каждый департамент должен быть рационально организован по иерархии и функциям. Власть базировалась на принципе единоначалия, на котором настаивал Гамильтон. Иерархия завершалась на трех секретарях (министре финансов, госсекретаре и военном министре), впоследствии дополненных главами почты и военно-морского флота и генеральным прокурором. Эти департаменты были финансово ответственны перед казначейством и собирались в кабинете под руководством главы исполнительной власти, президента. Они должны были письменно отчитываться перед президентом и Конгрессом и получали такие же отчеты от своих подчиненных в департаментах. Формальное разделение властей отделяло администрацию от политики, за исключением того, что главы исполнительной власти были одновременно главными политическими деятелями. Государственные и местные правительства, напротив, изобрели гораздо более встроенную в гражданское общество администрацию. Но на федеральном уровне американские правительственные чиновники должны были представлять собой развитую бюрократию, единственную в мире на протяжении как минимум последующих 50 лет. Международное сообщество просветительских и утилитаристских реформаторов приветствовало ее как свой идеал. Бюрократические первопроходцы перепрыгнули через Атлантику.

Практика не полностью совпадала с теорией. Исследование Уайта (White) показало, что на раннем этапе администрация в равной степени зависела и от патрон-клиентских сетей, и от формальной иерархии. Реформаторы несколько обрезали эти связи, регламентировав отчетные функции, контрактные заявки и передачу в собственность государственной земли. В 1822 г. Конгресс потребовал от глав всех департаментов докладывать об эффективности своих подчиненных. Военным министром перечислил всех и добавил:

Единственным неэффективным клерком в Департаменте является полковник Хенли, семидесяти четырех лет от роду и до сих пор находящийся на службе... с 1775 года... В силу возраста он не способен исполнять обязанности клерка, но, учитывая его участие в революционных событиях, он полезен при рассмотрении революционных запросов [American State Papers 1834: vol. 38, 983].

Полковник Хенли, возможно, на самом деле был дядей министра, или в департаменте любили слушать его рассказы о революции. Но министр должен был отчитываться за него, как, ско-

рее всего, ни один глава департамента в любой другой стране этого периода.

Тем не менее служащие не были настолько бюрократизированы, и на протяжении большей части XIX в. бюрократизация становилась все менее заметной. Они получали жалованье, но критерии приема на работу, продвижения и увольнения были запутанными. Вашингтон не установил никаких правил, кроме как действовать вопреки «семейным связям, лени и пьянству». Это был прогресс. Как иронически замечает Файнер (Finer 1952: 332), «в Британии последние два критерия не были препятствием к занятию должности, а первый был отличной рекомендацией». Но появление формальных квалификаций, необходимых для вступления в должность, запаздывало. Квалификационные требования и экзамены были введены в войсках в 1818 г., но на гражданской службе (за исключением нескольких бухгалтеров) только в 1853 г. Они не были стандартизированы до 1873 г. и не были универсальными до 1883 г. Владение собственностью и хорошее поведение были ранней нормой, но ее использование пошло на спад с развитием знаменитой партийной системы распределения государственных должностей.

Все президенты вводили своих политических друзей в состав кабинета. С демократизацией Америки аристократические правила сменились партийным контролем над должностями. Во время джексоновской решительной чистки 1828–1829 гг. от 10 до 20% всех федеральных чиновников и 40% высших чиновников были уволены и заменены верными ему представителями фракции республиканцев. Партийные чистки продолжались до середины века, и патронаж доминировал в большинстве местных правительств и правительств штатов. Раз президентская партия могла ниспровернуть демократию, также вмешались Конгресс и судебная система. Федеральные департаменты были вынуждены подчинить свои бюджеты комитетам по ассигнованиям Конгресса, подчинившись централизованному контролю казначейства. Регулировка соперничества между партиями и администрацией легла на суды, которые стали процедурными заместителями более бюрократизированной администрации (Skowronek 1982: 24–30). Пока в Британии неуклонно развивалась реформа, правительственная бюрократия США регрессировала, поглощенная бюрократией бизнеса, особенно на железных дорогах (Finer 1952; Yeager 1988).

Существовало три причины отставания федерального правительства. Во-первых, США были относительно не вовлечены в заграничные войны и имели крошечный военный бюджет. Во всех остальных странах военно-налоговое давление

продолжало увеличиваться и рационализировало структуру центральной государственной администрации. В Соединенных Штатах война 1812 г. ускорила реорганизацию военного и учетного департаментов, но крошечный штат этого государства по своей малочисленности не имел континентальных соперников вплоть до XX в. Гражданская война резко увеличила размеры обоих государств, но только временно, поскольку ее результатом стало сохранение союза штатов. Во-вторых, Конституция уполномочивала государство вводить более высокие таможенные пошлины, которые сделали его необычайно богатым. В итоге ему практически не требовалась эффективная или экономическая организация, к которой в теории призывал Конгресс. Это государство было почти не затронуто геополитическим милитаризмом, который во всех остальных странах подталкивал к бюрократизации.

В-третьих, Конституция не разрешала две явно политические кристаллизации — представительскую и национальную, а это блокировало бюрократию, которую считали потенциально деспотической. Конституция демонстрировала то, что наши современники называют технической применимостью бюрократии, задолго до появления индустриального общества. Но потом оказалось, что они этого не желали. Взрослые белые американцы мужского пола не могли прийти к согласию относительно того, что правительство, особенно центральное, должно делать. Сети политической власти кристаллизовались в сложные политические фракции и партии, представляющие отдельный класс, религию, экономический сектор, региональное хозяйство и отдельные штаты. Тем не менее американские политики, возможно, видели огромное разрастание этих плюралистических групп интересов. Для того чтобы убедиться, что правительство на деле представляет их интересы, партии и фракции ограничили централизованную власть государства и назначили сами себя в многочисленные ассамблеи и на должности федерального уровня, уровня штата и местного уровня.

Конфедеративное решение принималось в отсутствие одной партии, которая была бы достаточно сильна, чтобы контролировать государство. С ростом американского правительства в нем стали возникать партийные фракции, институционализированные на всех уровнях управления. Впоследствии итоги Гражданской войны начали медленную и частичную рецентрализацию (все еще в рамках федеральной конституции). Запутанная политика классов, штатов и регионов наряду с рабством, расовой сегрегацией, религией оставляла на протяжении всего периода государство слабым, разделенным и мало бюрократизированным.



Франция была родиной второй, более амбициозной революции. Французские революционеры 4 августа 1789 г. отменили продажу должностей вместе с феодализмом. Они намеревались сократить число должностей до маленького оплачиваемого ядра и передать большинство общественных функций неоплачиваемым идейным гражданам. Их рациональность была настолько же независима, насколько формальна, воплощая мораль и ценности новых граждан. Но ни идеализм, ни экономика не пережили революционной войны и террора. Им нужно было кормить армию и города, а также преследовать контрреволюционеров и вводить множество новых законов, воссоздававших основную часть государственной службы «старого порядка». Она теперь была оплачиваемой, неподкупной, подчиненной рациональным принципам иерархии и функциональности и достаточно централизованной. Это была основная модернизация. Но она не оправдала своих целей и современных требований к себе.

«Чем шире разливается половодье, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги» — горькое осуждение Кафкой большевистской революции (Janouch 1953: 71) характеризует типичный цинизм XX в. относительно законности революции: триумф не свободы, равенства и братства, а государственной бюрократии и деспотизма. Французская революция привела к воинствующему национализму и державному коммунизму, а не к либеральной свободе, утверждает О'Брайан (O'Brien 1990). Для Скочпол французская, русская и китайская революции усилили власть государства, особенно его рационализацию и централизацию. Во Франции революция породила «профессионально-бюрократическое государство», существующее как «массированное присутствие в обществе... как унифицированная и централизованная административная рамка», ограниченная только децентрализованной капиталистической экономикой (Skocpol 1979: 161–162). Тилли (Tilly 1990: 107–114) утверждает, что Французская революция сделала «самый сенсационный шаг» к централизованному прямому управлению. Революционные армии впоследствии принесли это (с региональными вариациями) в другие страны.

Тем не менее сравнение с революциями XX в., выполненное Скочпол, ведет нас по ложному пути. Как мы видели в главе 11, государственная инфраструктурная власть значительно развилась только в конце XIX в. Она также все еще была ограничена соперничающими партиями, борющимися государственными кристаллизациями и рыночным капитализмом (Скоппол при-

знает это последнее ограничение). Если революции захватывали государства XX в. и отменяли или обходили власть капитала и партийную борьбу (как сделали большевики и фашисты), они могли использовать развитую государственную инфраструктуру для того, чтобы повысить и так гигантскую деспотическую власть государства. Но революционеры XVIII — начала XIX в., когда захватывали государство, этой властью не располагали.

Французские революционеры обладали, во-первых, определенной идеологической властью, описанной в главе 6. Они *провозгласили* самую амбициозную программу полного обновления общества под руководством государства и могли мобилизовать политическую поддержку для ее реализации. Подобно американцам, они заранее знали, как должно выглядеть бюрократическое государство, придерживаясь камералистской механистической модели управления (Bosher 1970: 296–297). В жарком революционном климате им удалось начисто оттереть некоторые скрижали и начать с чистого листа: они отменили право собственности на должности и партикуляризм региональных администраций одним росчерком пера и формально заменили их чиновниками, получающими жалованье, а также *департаментами*. Это было важно. Как отмечает Тилли, это уравнило французские города — больше не существовало буржуазных торговых городов, подчиненных административным городам «старого порядка». Во-вторых, революционеры централизовали политическое представительство, так чтобы доминирующие в собрании фракции и два больших комитета могли принимать законы для всей остальной Франции. Располагая такими силами, у них не было вопросов, достаточно ли у режима возможности модернизировать и бюрократизировать государственное управление. Они стремились к прямому управлению и в некоторых аспектах его добились.

Тем не менее это не увеличило размера или рамки администрации в целом. Скочпол (Skocpol 1979: 199) использует церковные сведения об увеличении числа получавших жалованье чиновников, чтобы его подтвердить. Но как показывает табл. 11.7 и приложение к табл. А.3, *общее* число чиновников не превышало уровня «старого порядка» до 1850-х гг. Количество основного министерского персонала быстро увеличивалось с 1791 г. и далее, и Конвент и Комитет общественной безопасности ввели единую шкалу жалованья и рационализацию должностей. Ключевой налоговый департамент был интегрирован функционально и иерархически (Бошер (Bosher 1970) называл их в 1794 г. просто бюрократией). Тем не менее его бюрократические критерии были перемешаны с партийными. Когда комитет регулировал должностные квалификации, его члены на-

стаивали на представлении автобиографии с доказательствами преданности революции.

Более того, *присутствие* революционного государства за пределами военной сферы и беспорядочного террора было минимальным. Маргадан (Margadant 1988) показывает, что неспособность к сбору налогов была убийственной. Могла ли налоговая администрация называться бюрократической, если она была в состоянии собрать лишь 10% требуемой суммы налогов? Как мы видели в главе 6, революционное государство послало в разгар предполагаемой централизации под руководством Комитета общественной безопасности политически надежных *чрезвычайных депутатов (deputes en mission)* возглавить вооруженные банды и наделило их максимальными полномочиями для обеспечения прожиточного минимума. Мы ясно видим его карающую власть в мемуарах мадам де ла Тур дю Пин (Madame de la Tour du Pin 1985: 202). После описания своей контрреволюционной сети, охватившей всю Францию, она отмечает, как сложно было сделать так, чтобы их корреспонденцию не перехватили. Они жили тайно в подвалах и на заброшенных фермах, а ночью бегали к сельскому почтовому ящику, чтобы потом революционная почтовая служба, унаследованная от «старого порядка», сделала остальное. Левая рука террора не знала, что делала правая рука почтовой службы.

Как только при Директории и Бонапарте стали возможны политический компромисс и консолидация, появились, как подчеркивает Скочпол, некоторые элементы государственной власти. Министерства, префекты и получавшие жалованье официальные лица управляли Францией по безличным правилам гражданского кодекса Бонапарта (Richardson 1966; Church 1981). Вулф (Woolf 1984: 168) заявляет, что при Наполеоне Франция обрела «беспорное лидерство» в официальной статистике (хотя я сомневаюсь, что собранные данные превосходили более раннюю австрийскую статистику). Стране по-прежнему недоставало бюрократических признаков: отсутствовали безличные квалификационные аттестаты претендентов на должность, экзамены, различные министерства были слабо интегрированы. Министры отчитывались либо перед Государственным советом — органом, состоявшим из верных высокопоставленных лиц без министерских обязанностей, либо лично перед Бонапартом. Он обратился к сегментарной стратегии монархов «разделяй и властвуй», стараясь предотвратить появление объединенной бюрократии, а также к практике откупа налогов частными финансистами, напоминавшей «старый порядок» (Bosher 1970: 315–317). Фрагментарность министерств пережила Бонапарта. По слова Чарла (Charle 1980: 14), во Франции

была не одна администрация, а множество министерств. Министры сами задавали в своих департаментах критерии назначения, продвижения по службе и увольнения вплоть до революции 1848 г.

Наиболее вездесущей была практика включения администрации в партийную политику: государственные служащие продолжали весь век делиться на наемных служащих (*employes*) и функционеров (*fonctionnaires*) (Charle 1980). *Employes* были наследниками комиссаров «старого порядка», бюрократами в слегка неодобрительном современном значении этого слова, официальными лицами среднего и нижнего уровня, воплощавшими в жизнь безличные правила, которые спускали им сверху *fonctionnaires*, наследники *officiers*, «поженившихся» (метафорически) с революционными гражданами-чиновниками. *Fonctionnaires*, организованные в корпорации, были кадрами администрации более высокого уровня. Как и от военных офицеров, от них требовалось демонстрировать партийную приверженность общим идеалам. Бонапарт старался обеспечить это, рекрутируя только молодых людей из семей имперской знати, получавших подготовку уже на службе. Его последователи также «импортировали» лоялистов, но предпочитали элитное общее образование в *grandes ecoles*, а с 1872 г. — в академии, донныне известной как Sciences Po (Osborne 1983). Коллегиальные *корпорации* (*corps*) восприняли изрядную долю партийного рационализма, уменьшая формальную бюрократизацию.

Так как ни один из французских режимов XIX в. не продержался дольше, чем два десятилетия, партии в администрации продолжали сменять друг друга по мере чисток в высших эшелонах министерств, префектур, судебной системы и армии. Как и в случае выборов в США, это способствовало становлению системы партийных выгод (*party spoils system*). Высокопоставленные монархисты пришли на смену *deputes-fonctionnaires* (Julien-Laferriere 1970). Республиканизм занял более прочные позиции в местном управлении, что привело в середине века к конфликту между центральными министерствами и местными коммунами, в которых префекты часто служили посредниками (Ashford 1984: 49–68). Однако долгосрочный дрейф по направлению к республиканизму способствовал появлению бюрократизацию. По мере того как республиканские режимы институционализировались, они стали склоняться к меритократии и разделять политику и администрирование. После 1848 г. получили распространение конкурсные экзамены, вместе с тем сохранялось неформальное обучение на рабочем месте, которое устояло против реакции при Луи Бонапарте (Thuillier 1976: 105–115; 1980: 334–362). Республиканцы в итоге

захватили гражданскую службу в 1880-х гг. Отныне французская администрация стала преимущественно бюрократической, хотя по-прежнему управлялась партийными коллегиальными *корпорациями*.

Таким образом, Французская революция, подобно Американской революции, принесла меньше бюрократии, чем, казалось, могла бы. Причины были одними и теми же: партийная политика не отделялась от администрирования. Классовая и национальная политика еще не определилась. Партийные демократии были полиморфными, кристаллизуясь в изменившихся и переплетенных политико-административных формах. Однако это сложное административное развитие может быть подобно наполненному наполовину стакану. Мы можем подчеркивать либо то, что он наполовину полон, либо то, что он наполовину пуст. Скочпол и Тилли подчеркивают бюрократизацию и государственную власть, я же подчеркиваю их ограниченность. Сравнение выглядит наилучшим инструментом измерения. Подталкивалась ли Франция — революцией, Директорией или Бонапартом — к большей бюрократии, чем в других странах? Проблема в том, что вот так просто этот вопрос поставить нельзя. Как отмечает Тилли, революция и ее войны повлияли на другие государства, бюрократизируя и их тоже. Государства не были совершенно независимыми и сравнимыми объектами, но взаимозависимыми единицами в европейском геополитическом, экономическом и идеологическом сообществе. Я продолжу анализ этих кейсов, а затем обращусь к проблеме их независимости.

В главе 4 показано, что борьба за политическое представительство в Великобритании была связана с административной экономической реформой. По мере того как геополитический милитаризм нес с собой налоговое бремя, экономическая реформа устремилась вперед, неся с собой реформу избирательного права. Налогоплательщики-собственники военного времени решили, что старая коррупция слишком дорого им обходится. «Старый порядок» под классовым нажимом снизу пошел на реформирование. Члены парламентских комиссий с начала 1780-х гг. выступали против коррупции, парламент принимал законы с конца 1780-х гг., а упраздненные министры стали уходить с 1790-х гг. Доля доходов от жалованья у 20 высших чиновников Министерства внутренних дел выросла с 56% в 1784 г. до 95% в 1796 г. (Nelson 1969: 174–175). К 1832 г. жалованье стало нормой, собственность на должность практически вышла из употребления. Запрет синекур обеспечил функциональную и иерархическую реорганизацию большинства департаментов. Законодательно были запрещены креатуры и владение долж-

ностями для членов парламента. Войны создали виртуальный кабинет правительства под началом премьер-министра, ответственный перед парламентом. Министры проводили больше времени на заседаниях и в парламенте, оставив свои департаменты под контролем находившихся на жалованьях постоянных секретарей. Закон 1787 г. интегрировал финансы департаментов, до тех пор выплачиваемые из отдельных ассигнованных фондов. К 1828 г. все доходы и практически все расходы проходили через единственный фонд, счета которого представлялись парламенту, хотя подотчетные суммы не подлежали регулированию казначейством и оставались политическими. К 1832 г. администрация была трансформирована (Cohen 1941; Finer 1952; Parris 1969).

По критерию бюрократии Великобритании отставала: до второй половины века не было стандартов компетентности для занятия должности или повышения по службе, и даже впоследствии реформы были минимальными. Хотя утилитарные и радикальные реформаторы требовали экзаменов и технического обучения, они не получили ни того ни другого. Реформируя себя, «старый порядок» полагался на рекрутирование и определенный патронаж. Стимулом реформ было сокращение администрации и экономия денег. Таблица 11.7 показывает их успех. Число гражданских служащих выросло меньше, чем население в целом в период между 1797 и 1830 гг. Члены комиссий докладывали в парламенте, что старая коррупция канула в Лету и можно провести еще несколько сокращений расходов. Движение реформ пошло на убыль, и дальнейшей бюрократизации не происходило до второй половины века. Компромисс сохранялся.

На второй стадии существовали две основные причины бюрократизации в Великобритании. Во-первых, традиционное налоговое бремя геополитического милитаризма вынуждало старый режим поднимать налоги, сокращать расходы, рационализировать, централизовывать и забывать о своих идеологических принципах. Во-вторых, возникающие классы буржуазии оказывали отчетливо новое, капиталистическое давление на режим, требуя политического гражданства и утилитарного управления. Эти две причины усугубляли друг друга: наиболее развитое капиталистическое государство сражалось за свое геополитическое существование. Решением стало более стабильное регулирование конфликтов между «старым порядком» и возникавшими классами, чем во Франции, и более централизованное, чем в США. В дополнение к бремени третьей стадии, которое будет рассмотрено ниже, это вывело Великобританию за пределы бюрократии, существовавшей в других странах. Бюрократический первопроходец теперь перешел в «офшорную» часть Европы.

После многообещающего старта прусский династицизм сумел провести в XIX в. лишь ограниченную модернизацию. К 1800 г. его разрывали партийные споры. Реформаторы в основном из знати и отдельные чиновники из буржуазии добивались рационализации управления. В местных администрациях они видели такие препятствия, как контроль над управлением со стороны знати и дворянства, а на более высоком уровне — со стороны двора. Постепенно, шаг за шагом они предлагали представительские собрания и более открытое управление. Война, казалось, была им на руку. После того как Наполеон разбил прусскую армию под Йеной и Ауэрштедтом в 1805–1806 гг., монархия хотела реформ, чтобы повысить эффективность, избежать социальных волнений, но при этом не восстановить против себя своего нового французского суверена. Реформаторы выступали за ограниченные собрания и единую администрацию от канцлера на верхушке пирамиды власти до деревень внизу. На короткое время они взяли верх, но к 1808 г. настроили против себя большинство аристократов и французов. Буржуазия и мелкая буржуазия в отсталой Пруссии были слишком малочисленными, чтобы их мнение что-то значило. Эти абсолютистские реформаторы были мало на что способны без поддержки своего монарха, а он оставил их без нее, чтобы угодить французам.

После поражения Наполеона был достигнут компромисс (Mueller 1984: 126–166; Gray 1986). На локально-региональном уровне мало что изменилось. Юнкеры и церковные институты оставались нетронутыми до революции 1848 г. В центральной же администрации были усилены академические аттестации и экзамены, университеты были реформированы. Знать начала посещать университеты, постепенно уменьшая старый партийный фракционизм и укрепляя национальную культурную интеграцию чиновников. Коллегиальность слабела на фоне единовластия. В сохранившемся Государственном совете теперь заседали вместе придворные и министры, причем последние как профессионалы играли ведущую роль. Во время правления слабого Фридриха Вильгельма III (1797–1840 гг.) власть перешла к чиновникам, не столько к рационализированной бюрократии, сколько к «благородно-буржуазной аристократии службы», по выражению Хинце, «превращая в феодалов» своих членов-буржуа (Muncie 1944) и одновременно «просвещая» прусскую знать. Но когда абсолютизм восстановился, вместе с ним восстановился и партикуляризм. Возродились кабинеты, а *Immediatstellung*, право военкомандующего на приватную аудиенцию у короля, распространилось и на гражданских чиновников. Бюрократия оставалась в подчинении у тех, кого монарх выбирал

своими доверенными лицами, — профессиональных министров или знатных «друзей» монарха. Партийные конфликты подрывали ее единство, расколов ее в 1848 г., — гражданские служащие и учителя были активными участниками этой неудавшейся революции с обеих сторон (Gillis 1971).

Государство продолжало плести интриги, а его партии встраивались в гражданское общество. До того момента когда оно напрямую столкнулось с классовым и национальным представительством (с участием буржуазии, мелкой буржуазии и католической церкви) в конце XIX в., прусское государство не смогло модернизироваться в полуавторитарное, описанное в главах 9 и 21. Пруссия внесла свой вклад в развитие бюрократии, но большую часть века ее государство как «универсальная бюрократия» было гегельянской идеологией, а не реальностью.

Австрия, «путеукладчик» бюрократии, забуксовала еще раньше и еще основательнее. Будучи в наименьшей степени включенной во власть местной знати, администрация австрийского монарха впала в панику от Французской революции и движений, борющихся за представительство. Наследники Джозефа Ирса (Joseph Irs) в 1790-х гг. погрязли в реакции — главная бюрократизация отныне проходила в полицейской администрации (Wangerman 1969; Axtmann 1991). Победенные, но не униженные Бонапартом, австрийцы ограничили реформы армией и нашли опору в католической церкви для мобилизации поддержки против французов. К 1815 г. австрийский режим стал молотом реформ по всей Европе. В главах 7 и 10 показано, как это много-региональное династическое государство боролось с региональными сепаратистскими движениями. В 1867 г. даже королевское правительство раскололось надвое.

Это был переходный период в жизни государства — от преимущественно военного к диаморфному военно-гражданскому государству. Кристаллизации первопроходца бюрократии изменялись от монархизма и геополитического милитаризма до представительского национального гражданства. Милитаризм продолжал подталкивать к бюрократической эффективности, но примерно в 1810 г. династичность достигла своих бюрократических пределов, остановленная противоречием между монархическим деспотизмом и бюрократической централизацией и слабостью давления, оказываемого классовыми требованиями гражданских прав. Напротив, французский и «англо-саксонский» режимы, жившие в более коммерциализированных гражданских обществах с экстенсивными и политическими классами, институционализировали компромиссы между старым режимом, буржуазией и мелкой буржуазией, которые допускали большую партийную демократию и тем самым боль-



ший контроль над бюрократией в администрации. Но даже в этих системах между партийной демократией и бюрократией не было идеальной гармонии. Политические партии часто сталкивались с технократической бюрократической элитой. Государства оставались полиморфными. Хотя большинство партий выступало против партикуляризма «старого порядка», они настороженно относились к эффективности государства. Зачем вручать государству более эффективные, связанные и бюрократические инфраструктуры? Это может способствовать деспотической стратегии государственной элиты или конкурирующим партиям? Американские партии изменили свои стратегии, чтобы государство стало более погруженным в гражданское общество и менее бюрократическим. Британские партии пошли на компромисс, так же как и французские, когда республика была спасена.

Как вам теперь утверждения Кафки, Скочпол и Тилли о том, что революция расширила границы государственной власти? Кое в чем я все же их поддерживаю. В ходе революции французы догнали бюрократизацию в Австрии и Пруссии. Без революции Франция могла бы стать еще более отстающим государством, чем Австрия. Французское государство было трансформировано, возможно, потому, что до того оно было отсталым и апатичным. Но модернизация во Франции не ушла так далеко, как в Америке, и так радикально, как в Британии. Американский импульс был, пожалуй, революционным (хотя Скочпол везде отрицает это), однако в Великобритании не было революции, а Пруссия и Австрия не отставали именно из-за того, что у них революции не было. Мой вывод не в том, что революция была необходимой для модернизации государства или что она приводит к уникальному росту государственной власти (в чем состоял аргумент Скочпол и Тилли). Скорее на этом этапе (но не на предшествующем) движение к партийной демократии через реформы либо революцию усиливает государственную бюрократию. В отличие от революции большевиков бюрократизацию поощряла позитивная демократическая сторона Французской революции, а не негативная и диктаторская. Партийные демократии больше доверяли бюрократии, так как чувствовали, что могут ее контролировать. Режимы, которые уладили как представительские, так и национальные споры, доверяли ей еще больше.

К этим сравнительным пунктам я прибавлю еще один — взаимозависимость, которая усиливает причинно-следственное милитаристическое значение Французской революции. Она вполне укладывается в более общие теоретические модели Скочпол и Тилли, так как оба подчеркивали роль милитаризма в обще-

ственном развитии. Войны продолжали усиливать и модернизировать государства. Но французская армия — ведущий актер этих войн — отличалась от своих военных предшественников. Политизированная и народная, она угрожала всем старым режимам. Ее влияние на Великобританию и континентальную Европу было различным. В военной сфере Великобритания столкнулась с полутотальной войной, которую Австрия и Пруссия прошли в середине XVIII в. и которая повернула их старые режимы к модернизации. Политическое влияние на Великобританию оценить гораздо труднее, но в главе 4 я утверждаю, что войны с революционной, а затем бонапартистской Францией продвинули слияние старого режима и буржуазии, что позволило институционализировать правительство ограниченного представительства, избежав институционализации более народного и демократического правительства. В свою очередь, это обеспечило постепенную бюрократическую модернизацию. Но те же самые силы, возможно, замедлили модернизацию государств в Центральной Европе. Таким образом, Французская революция больше повлияла на модернизацию армий, чем государств, и воспрепятствовала политическому представительству, напугав якобинцами умеренных реформаторов, слабую и мелкую буржуазию. Режимы стали реакционными. Несмотря на утверждения Кафки, Скочпол и Тилли, Французская революция оставила весьма двойственное наследие для развития государства.

### СТАДИЯ 3: ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВА И ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ, 1850—1914 ГОДЫ

Глава 11 показывает, что все государства конца XIX в. значительно расширили свой гражданский охват и увеличили число служащих, особенно на нижнем и среднем, а также локально-региональном уровнях. Бюрократизация развивалась с 1880-х гг., стараясь идти в ногу с этим ростом. К 1910 г. Великобритания и Франция почти достигли нынешнего уровня бюрократизации, США начинали реформы, закончившиеся в 1920-х гг., а обе монархии были настолько бюрократизированы, насколько могли себе это позволить. На этой стадии существовали две связанные причины бюрократизации. Государства институционализировали гражданство, хотя и в разной степени, а капиталистическая индустриализация резко увеличила их инфраструктурную власть, национальную экономическую интеграцию и корпоративные бизнес-модели бюрократии. Обе причины имели тен-

денцию приглушать (хотя и не ликвидировать) конфликт вокруг государства и пользы от административной эффективности. Бюрократизация росла с уменьшением прямого сопротивления ей.

Однако задача, стоявшая перед будущими бюрократами, была ошеломительной. Будут ли многочисленные государственные служащие лояльны к иерархии? Или они будут представлять собственные частные интересы либо интересы своего класса или религиозного либо языкового сообщества? Поскольку значительная часть роста бюрократии происходила на уровне местного управления, снизится ли центральная координация? А поскольку ни одно из государств не было полностью демократичным, не будет ли политика определяться партикуляристскими сетями академиков, технократов и лобби различных реформ, минуя формальные государственные институты?

Гражданство ставило вопросы как представительства, так и нации, переплетавшиеся различным образом в разных странах. К 1850 г. США институционализировали двухпартийную демократию для белых мужчин, однако вступили в самую трагичную фазу своей национальной борьбы. В то время как основные споры велись по вопросу соотношения власти федерального правительства и правительств штатов, администрация не могла быть отделена от политики. Эффективная координация правительства на всех трех уровнях зависела как от партийной лояльности, так и от бюрократии. При Линкольне разложение системы достигло апогея: за свое президентство он уволил 88% служащих (Fish 1920: 170). Национальный вопрос был решен силой в ходе Гражданской войны, а затем компромиссом 1877 г. Это сократило политическую потребность в партизанской федеральной администрации, хотя партийные политики вернулись к практике выхолащивания бюрократии на уровнях штатов и местном уровне в краткосрочной перспективе. Великобритания и Франция прошли через противоположную ситуацию: большее единство по вопросу нации-государства, меньшее — по (классовому) представительству. Но после парламентских реформ 1867 и 1884 гг. в Великобритании и консолидации республиканцев в 1880-х гг. во Франции эти препятствия были постепенно преодолены. Все три партийные демократии могли теперь более точно определить источник своего суверенитета, а затем частично бюрократизировать его.

Две полуавторитарные монархии продвинулись в сторону гражданства гораздо меньше. Пруссия одновременно столкнулась с вопросами представительства и нации в середине века. Как показано в главе 9, к 1880 г. оба вопроса были институционализированы наполовину. В Австрии переплетавшиеся представительские и регионально-национальные угрозы продолжа-

ли полититизировать администрацию. Впрочем, национальные меньшинства больше занимались выяснением отношений друг с другом, чем угрожали правлению Габсбургов (см. главу 10). Сложился де-факто компромисс: поскольку вопросы политического гражданства и языка в управлении продолжали оставаться горячими, центральной администрации Габсбургов позволялось работать автономно.

Инфраструктурный рост государства в чем-то усиливал этот более или менее общий дрейф во всех странах, тем самым даже компенсируя отставание монархий. Почта и телеграф, каналы и железные дороги не противоречили ему в отличие от школ, которые обычно противопоставляли относительно светское центральное государство и местно-региональные церкви (в Австрии это также усугублялось языковым вопросом). Приблизительно к 1900 г. это противоречие решилось в пользу центрального государства. Полуавторитарные монархии чаще других прибегали к инфраструктурам государства, чтобы содействовать догоняющему развитию к общему удовольствию основных акторов власти (см. главу 14). Классы и локально-региональные группы интересов обычно положительно относились к бюрократической эффективности в вопросах расширения нижнего уровня и технических аспектов управления (см. главу 11). Как только зарплаты или экзамены принимались как норма в нескольких департаментах, они начинали распространяться и в других без особого сопротивления.

Начиная с развития железных дорог во время второй промышленной революции, государство и крупное капиталистическое предприятие также сливались в единой национальной экономике и бюрократической организации. Национальная экономика (описанная для Великобритании в главе 17) снимала региональные различия и все более «натурализовывала» население. Корпоративная схема организации, разветвленная корпорация и стандартизированный каталог продаж были аналогами государственной статистике, подразделению государственного персонала по линейным дивизионам и контролю над казначейством. Это были бюрократические ответы на потребность контролировать организации все более возрастающих размеров, в особенности все большего функционального и географического масштаба (Yeager 1980). По мере институционализации борьбы за представительство и национальных конфликтов и достижения консенсуса по многим функциям государства с моделями, предоставленными промышленным капитализмом, национальный суверенитет и бюрократизация продолжали расширяться.

На этой стадии бюрократизация еще больше влияла на местное и региональное управление: графства в Великобритании,

правительства округов и штатов в США, австрийские и германские *Lander* и *Gemeinde*, французские *departements* и *communes*. Большинство из этих уровней оставались под контролем аристократии, владевшей государственными должностями на местном уровне, или потомственной аристократии. Но инфраструктурные и социальные функции государства порождали рутинную местную администрацию, чуждую знати, не получавшей зарплат. Развивалось разделение труда с центральной администрацией по мере разделения налогов, исключая федералистские Соединенные Штаты.

Бюрократизация оставалась наиболее слабой на высших уровнях, где разрабатывался политический курс, особенно в Австрии и Пруссии. Полуавторитарная монархия продолжала придерживаться тактики «разделяй и властвуй» и препятствовала интегрированному правительству. Процветали и множились различные лобби, так как министерства, двор и парламент оставались автономными источниками разработки политического курса. Помимо гражданских служб Пруссии и рейха, во взаимопроникновении с ними приобретали значение академические и технократические ассоциации по вопросам реформ — некоторые из них получили прозвище кабинетных социалистов (Rosenhaft and Lee 1990). Отказ от фрагментации зависел как от социальной солидарности этих чиновников от образования (*Bildungsbeamten*), так и от бюрократии. Примерно в 1900 г. гражданскую бюрократию частично «колонизировали» агрессивнo-националистические группы давления (см. главу 16). Угрожающий масштаб приобрела фрагментация внешней политики с катастрофическими последствиями для всего мира (см. главу 21).

Но бюрократия оставалась также неполной и в партийных демократиях. Британское государство стало походить на меритократию. Реформы гражданских служб начались с 1850 г., чтобы содействовать эффективности министерств, не затрагивая парламент, где большое значение по-прежнему имела система связей и покровительства. Моделями часто служили британские колониальные практики. Улучшился внутренний аудит. В 1853 г. была учреждена система приема и продвижения по службе согласно заслугам, которая была расширена в 1879 г. и стала преобладать к 1885 г. (Cohen 1941). Вместе с меритократическими реформами в закрытых частных школах, Оксфорде, Кембридже и церкви это должно было исключать патронаж при приеме на работу. Высшие уровни интеллектуального образования (*intellectual grades*) на гражданской службе были меритократическими, но оставались весьма узкими — практически все новички приходили из закрытых средних школ и гимназий,

а также из двух старейших университетов. В отличие от Пруссии в этих заведениях ко времени реформ уже доминировали выходцы из дворянства и высших чиновников. Тем самым укреплялись классовый состав и национальная солидарность высших слоев гражданской службы (Mueller 1984: 108–125, 191–223). В период 1904–1914 гг. 80% в них составляли выпускники Оксфорда и Кембриджа.

Продвижение с нижних, «технических» уровней стало редким: в период 1902–1911 гг. годовые шансы на продвижение по службе составляли 0,12% в основном в менее престижных департаментах, например таможни. В Военном министерстве или в Министерстве по делам колоний продвижения не происходило вообще (Kelsall 1955: 40–41, 139, 162–163). Эти люди были исполнены идеологией рациональной бескорыстной гражданской службы. Государство больше не было инструментом патриархальной власти семейств, укомплектованным при помощи «коррупцированной» протекции. Его «гражданские слуги» были, по всеобщему признанию, нейтральными, принявшими на себя действия в наилучших интересах национального гражданского общества. По Гегелю, универсальный класс бюрократов, бывший любопытным понятием в его время и в его стране, сделал возможным, пусть только идеологически, появление в конце XIX в. британской гражданской службы, ограниченной рамками британского правящего класса.

Глава 11 показывает, что американское правительство большую часть века (исключая период Гражданской войны) было небольшим, дешевым и финансово необременительным. Его быстрый рост в конце века весьма расширил коррупцированную систему, особенно на местном уровне. Без средств бюрократического контроля правительство могло полагаться на подкупы и взятки, чтобы дела продвигались (Keller 1977: 245). Но постепенно возникал запрос на экономию и эффективность, хотя и много позже, чем в Великобритании (Skowronek 1982). Американское изобретение — корпорация — означало, что бюрократические модели эффективности уже существовали (Yeager 1980). Закон Пендлтона 1882 г. классифицировал некоторые федеральные гражданские должности, защищая их от политических чисток и заполняя людьми, прошедшими конкурсный экзаменационный отбор. Эти категории росли, охватывая от 1% в 1884 г. до 29% в 1895 г. Затем их процент подскочил до 45% в 1896 г. и до 64% в 1909 г. После Первой мировой войны он подрос до 80%, где остается и поныне.

Вначале мотивы этих действий были довольно смешанными, так как партии, терявшие большинство в правительстве, искали способ закрепить за своими сторонниками статус гра-

жданских госслужащих (Keller 1977: 313). Но подобно корпорациям (и позаимствовав у них эту идею), защищенная таким образом гражданская служба постепенно освоила науку управления кадрами (назначение на должности, выстраивание карьеры, жалованье, продвижение, пенсия и оценка эффективности) и административного управления (стандартизированная бухгалтерия, архивы и учет, закупки и поставки и процедурные формальности). Многие из этого также внедрялось в местное управление и правительства северных штатов. Комиссия Тафта в 1913 г. на основе опыта Чикаго рекомендовала всем федеральным агентствам создать единый бюджет и кадровые бюро для стандартизации федеральных счетов, единые критерии экзаменовки и продвижения по службе, классификацию должностей и системы зарплат, индивидуальные служебные характеристики и дисциплинарные правила. Но ничего из этого, включая консолидацию единого федерального бюджета, не произошло до 1920-х гг., когда такие меры были вызваны административным хаосом, последовавшим за участием США в войне (van Riper 1958: 191–223).

Значительная часть бюрократизации была достигнута движением прогрессистов. В своей административной реформе они нацеливались на национальную эффективность, идеологию коалиции между растущими карьеристами, профессионалами из средних классов (Wiebe 1967) и корпоративный либерализм (Weinstein 1968; Shefter 1978: 230–237). Идеология нейтральной и эффективной общенациональной исполнительной власти насчитывала более 100 лет. Теперь она наконец-то могла преодолеть систему партийной протекции и конфедерализма, потому что переплелась с могущественными классовыми акторами в общенациональном гражданском обществе. Помогло и то, что президенты Рузвельт и Тафт обладали опытом реформирования гражданской службы. Протекция оставалась, как и сейчас, на вершине всех трех уровней государственного управления. Политические назначенцы теперь обычно сочетали образование и профессиональные качества с лояльностью к партии.

Для верхушки британского и французского центрального правительства также был характерен дуализм, но, в отличие от США, локально-региональная администрация была подчинена центральному правительству. В Великобритании высшие гражданские чиновники набирались практически исключительно из элитных частных школ, Кембриджа и Оксфорда, то есть из верхней прослойки средних классов, лояльной к национальному истеблишменту. Франция набирала своих госуправленцев высшего звена из *les grandes écoles* и Sciences Po, хорошо образованных и технически грамотных, но также верных

той комбинации прогрессивного капитализма и централизованного республиканизма, который характеризовал режимы Франции ХХ в.

Высшее чиновничество весь ХХ в. оставалось включенным в ряды классовых и национальных партийных лоялистов. Все режимы боролись как с конфедерализмом, так и с вполне развившейся бюрократией по Веберу. В этот период отделение администраций от политики завершилось на низшем и среднем уровнях, а во многих странах и на локально-региональном, но не на верхних уровнях нации-государства. Общее представление о бюрократе как чернильной крысе имеет под собой определенное основание на низших уровнях. Высшее чиновничество оставалось настолько же политизированным, насколько и бюрократическим, хотя социализация в идеологии бескорыстной общественной службы частично скрывала их партийную политику.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе «долгого» XIX в. пять моих компонентов бюрократии развивались следующим образом.

1. К 1914 г. почти все чиновники центрального аппарата и большая часть локально-регионального управления получали жалованье. Практически исчезли покупка и наследование должностей. Неполная занятость с почетным исполнением должностных обязанностей сохранилась преимущественно лишь на местном уровне.
2. Обезличенная система оценки компетентности при назначении и продвижении по службе также начала развиваться, но гораздо позже и в некоторых странах не была до конца завершена к 1914 г.
3. Должностные иерархии внутри департаментов вначале сильно различались, но к 1880-м гг. практически все напоминали бюрократическую модель с разделением функций с централизованной иерархией.
4. Интеграция всех департаментов в единую централизованную общенациональную администрацию сначала произошла в США, впрочем подвергшись затем значительному регрессу. В Великобритании и во Франции она произошла позднее, а в Германии и Австрии так и не завершилась к концу рассматриваемого периода.
5. Обособление партийной политики от администрирования произошло позднее всего. В верхних эшелонах центрально-



го правительства оно так и не было завершено ни в одной стране, но менее всего оно было выражено в Германии и Австрии.

Таким образом, в рамках рассматриваемого периода во всех странах произошла бюрократизация по всем пяти критериям. В 1760 г. государства даже отдаленно не были бюрократическими, но к 1914 г. национальная бюрократия и административное обособление были институционализированы, усилив инфраструктурные силы государства и в меньшей степени внутреннюю цельность их гражданских администраций. Центральные администрации государств становились более унитарными в полуавторитарных режимах, когда бюрократы исполняли решения монархических режимов, либо в партийных демократиях, когда бюрократы исполняли законы, принятые национальным парламентом.

Бюрократизации везде предшествовала ее идеология. Камерализм, Просвещение, утилитаризм, прогрессизм и другие радикальные доктрины средних классов возникали в основном благодаря высокообразованным чиновникам из «старого порядка» и профессионалам из средних классов. Все они защищали то, что называли рациональной администрацией и что мы назвали бы бюрократией. Поразительно, насколько осознанной была бюрократизация, насколько четко она формулировалась на Западе идеологами, прежде чем стать реальностью. Ее идеологи были убедительны в том числе потому, что значительная часть бюрократизации была функциональной. Это было эффективной и сокращающей расходы реакцией на потребность в управлении, широко растущей по своим функциональным масштабам и разнообразию. Поскольку идеологи бюрократии общались между собой, акторы власти одной страны обычно читали о совершенствовании бюрократических технологий в других странах, прежде чем начать адаптировать их под свои условия (хотя я не исследовал этот вопрос систематически). Бюрократическое государство модерна является вначале в воображении, а затем уже неотвратимо и функционально — в реальности.

Однако тщательный анализ государств корректирует эти явления. Рассмотренный изнутри, рост администрации государства модерна не был эволюционным или одномерным. Структурные причины различались от периода к периоду. Идеологии оказывались неэффективными в отсутствие этих структурных причин, которые, в свою очередь, также влияли на сдвиги в идеологии (от камерализма к утилитаризму и к радикализму и так далее). Каждая из рассмотренных мною стран лидировала в бюрократизации в тот или иной период, но за-

тем притормаживала, сталкиваясь с новыми барьерами. Я выделил в бюрократизации три стадии, на которых доминировали: 1) монархическая и милитаристическая кристаллизации; 2) кристаллизации представительства и национального гражданства; 3) кристаллизация промышленного капитализма. За всем этим стояла трансформация центрального государства модерна из преимущественно военного в диаморфное — полугражданское, полувойенное.

Гражданская администрация была наиболее важным путем, которым государственные элиты проникали в гражданское общество. В 1760-х гг. она была самой важной формой проникновения партий в абсолютистские государства и, возможно, даже в государства партийной демократии (наряду с парламентскими собраниями). Ни одно из государств XVIII в. не обладало эффективными инфраструктурами для поддержания своей формальной деспотической власти над гражданским обществом, поскольку их гражданская администрация была пронизана правами собственности правящих классов и церквей. После произошедшей ранее военной революции военные власти уже не были столь «пронизаны» государством, но значительно больше им контролировались (глава II показывает, что впоследствии государство потеряло и контроль над частично автономной военной кастой).

Именно с военного контроля, вызванного войнами, династии начали свое первое бюрократическое наступление. Однако их бюрократические элементы переплетались как с сегментарной стратегией «разделяй и властвуй», так и с зависимостью от партий старого режима и ограничивались ими. На второй, переходной стадии под давлением народных (в основном классовых) гражданских движений, а также под давлением войн революционные и партийно-демократические режимы вышли вперед и отбросили коррумпированную систему владения должностями. Но этот второй рывок бюрократизации также имел ограничения, потому что такие режимы не могли удовлетворительно решить свои основные представительские и национальные проблемы, чтобы доверять связному, эффективному, централизованному бюрократическому государству. На третьей стадии — промышленного капитализма — некоторые режимы сделали следующий шаг на пути институционализации централизованной партийной демократии и тем самым смогли еще более бюрократизироваться. Но бюрократизации, особенно на нижнем и среднем уровнях управления, теперь также содействовало появление новых и в основном консенсусных государственных инфраструктур, способствовавших национальной индустриализации, а также национальному военному перево-

оружению. Лишь высший эшелон власти сопротивлялся полной бюрократизации, так как режимам по-прежнему были нужны партийные лоялисты.

Гражданские администрации не утратили сплоченность, скорее в этот период они даже увеличили ее в ходе своего роста, но с двумя оговорками. Во-первых, эта сплоченность была скорее характеристикой не отдельно взятого государства, а отношений между государством и гражданским обществом, как я и предположил в главе 3. Способность государства к эффективным и сплоченным действиям зависела как от его чиновников, выразивших общенациональную сплоченность правящих классов, так и от его собственных бюрократических возможностей. В рамках рассматриваемого периода формы этой включенности в гражданское общество менялись в широком диапазоне — от партикуляристского, преимущественно децентрализованного владения должностями до предположительно универсальной и преимущественно общенациональной меритократии.

Как показывает табл. 4.2, Пруссия и Великобритания в XVIII в. были примерами государств, выразивших сравнительно скоординированные национальные гражданские общества, и потому эффективных инфраструктурно. Французское государство старого режима было менее эффективно, потому что оно выражало и вносило вклад в разобщенность своего общества. Австрийское государство было настолько эффективным, насколько вообще могло быть автономное, *не* включенное в гражданское общество государство, то есть не очень высокоэффективным. Позднее более эффективными представлялись три государства партийной демократии, так как они стали подлинно представительскими для господствующих и организованных на национальном уровне классов раннего индустриального общества, особенно капиталистов и профессионального среднего класса. Мы находим мало доказательств в пользу того, что государство было независимым актором, как предполагает элитистская теория государства. Там, где государство было относительно сплоченным, это было результатом того, что акторы центрального государства сохраняли свою включенность, пусть более универсальную, в сети власти гражданского общества, преимущественно в общенациональные классы. Там, где акторы государства были более автономны от гражданского общества, они испытывали трудности с действиями единым фронтом. В главе 3 отмечается, что автономные ранние государства (например, феодальные) обычно были сплоченными, но слабыми. Возможно, автономная политическая власть в обществе модерна в действительности является автономией расколотого по партийному признаку государства. Глава 20 развивает эту гипотезу.

Во-вторых, государства не были полностью унитарными, так как их сети власти выходили за рамки департаментов гражданской администрации, рассмотренных в этой главе. Их вооруженные силы были в чем-то автономными, а в чем-то более включенными в старые режимы, чем чиновники гражданской администрации. Их дипломатические корпуса были еще более старорежимными и более приближенными к верховной исполнительной власти государства. Монархические дворы и политические партии, представлявшие классы, сектора, локальные регионы и религии, добавляли им характерной фракционализации, социальной включенности и предполагаемой способности координировать что-то из этого. Способность гражданских чиновников все реально скоординировать была весьма небольшой. Как мы видели, слабым звеном оставалась и их способность координировать собственные многочисленные департаменты. Как бы ни осуществлялась координация — с помощью бюрократии или в той же степени с помощью партийной лояльности, в этом случае они сами могли становиться поводом для раздора. Если же координировать госслужащих не удавалось, в этом случае их собственные профессиональные и технократические способности применялись для достижения целей, определяемых более узкой технократическо-бюрократической государственной кристаллизацией, а не нуждами и целями «всего» государства. Подобная возможность рассматривается в главе 14.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Albrow, M. (1970). *Bureaucracy*. London: Pall Mall Press.
- American State Papers (1834). Documents, Legislative and Executive, of the Congress of the U.S., 1809–1823. Vol. 38, miscellaneous, Vol. 2, p. 983.
- Anderson, E., and P. R. Anderson (1967). *Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the Nineteenth Century*. Berkeley: University of California Press.
- Ashford, U. (1982). *British Dogmatism and French Pragmatism. Central-Local Policymaking in the Welfare State*. London: Allen & Unwin.
- Axtmann, R. (1991). *Geopolitics and Internal Power Structures: The State, Police and Public Order in Austria and Ireland in the Late Eighteenth Century*. Ph.D. diss., London School of Economics and Political Science.
- Aylmer, G. E. (1979). From office-holding to civil service: the genesis of modern bureaucracy. *Transactions of the Royal Historical Society*, 30.
- Beales, D. (1987). *Joseph II. Vol. I: In the Shadow of Maria Theresa, 1740–1780*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Binney, J. (1958). *British Public Finance and Administration, 1774–1792*. Oxford: Clarendon Press.
- Blanning, T. (1974). *Reform and Revolution in Mainz, 1743–1803*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bonin, H. von. (1966). *Adel und Burgertum in der höheren Beamten-schaft der Preussischen Monarchie 1794–1806*. *Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands* 15.
- Bosher, J. F. (1970). *French Finances, 1770–1795*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brewer, J. (1989). *The Sinews of Power: War, Money and the English State*. New York: Knopf.

- Charie, C. (1980). *Les Hauts Fonctionnaires en France au XIXe siècle*. Gallimard/ Julliard.
- Church, C. H. (1981). *Revolution and Red Tape: The French Ministerial Bureaucracy, 1770–1850*. Oxford: Clarendon Press.
- Cohen, E. W. (1941). *The Growth of the British Civil Service, 1780–1939*. London: Allen & Unwin.
- Dickson, P. G. M. (1987). *Finance and Government Under Maria Theresa, 1740–1780*, 2 vols. Oxford: Clarendon Press.
- Doyle, W. (1984). *The Origins of the French Revolution*. Oxford: Oxford University Press.
- Finer, S. E. (1952). Patronage and the public service: Jeffersonian bureaucracy and the British tradition. *Public Administration*, 30.
- Fischer, W. and P. Lundgreen (1975). The recruitment and training of administrative and technical personnel. In *The Formation of National States in Western Europe*, ed. C. Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Fish, C. R. (1920). *The Civil Service and the Patronage*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Gillis, J. R. (1971). *The Prussian Bureaucracy in Crisis, 1840–1860: Origins of an Administrative Ethos*. Menlo Park, Calif.: Stanford University Press.
- Gray, M. (1986). Prussia in transition: society and politics under the Stein reform ministry of 1808. *Transactions of the American Philosophical Society* 76, pt. 1.
- Hall, R. H. (1963–1964). The concept of bureaucracy: an empirical assessment. *American Journal of Sociology* 69.
- Harris, R. D. (1979). *Necker, Reform Statesman of the Ancien Regime*. Berkeley: University of California Press.
- Janouch, G. (1953). *Conversations with Kafka*. London: Derek Verschoyle.
- Johnson, H. C. (1969). The concept of bureaucracy in Cameralism. *Political Science Quarterly*, 79.
- . (1975). *Frederick the Great and His Officials*. New Haven Conn.: Yale University Press.
- Julien-Laferriere, F. (1970). *Les deputes fonctionnaires sous la monarchie de juillet*. Paris: PUF.
- Keller, M. (1977). *Affairs of State: Public Life in Late Nineteenth Century America*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Kelsall, R. K. (1955). *Higher Civil Servants in Britain, from 1870 to the Present Day*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Koselleck, R. (1967). *Preussen zwischen Reform und Revolution*. Stuttgart: Klett.
- Krygier, M. (1979). State and bureaucracy in Europe: the growth of a concept. In *Bureaucracy: The Career of a Concept*, ed. E. Kamenka and M. Krygier. London: Arnold.
- Ludtke, A. (1989). *Police and State in Prussia, 1815–1850*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Macartney, C. A. (1969). *The Habsburg Empire, 1790–1918*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- McDonald, F. (1982). *Alexander Hamilton: A Biography*. New York: Norton.
- Margadant, T. W. (1988). Towns, taxes, and state-formation in the French Revolution. Paper presented at the eleventh Annual Irvine Seminar on Social History and Theory, Department of History, University of California, Davis.
- Marion, M. (1927). *Histoire Financiere de la France Depuis 1715*. Paris: Rousseau.
- Mousnier, R. (1979). *The Institutions of France Under the Absolute Monarchy, 1598–1789*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mueller, H.-E. (1984). *Bureaucracy, Education, and Monopoly: Civil Service Reforms in Prussia and England*. Berkeley: University of California Press.
- Muncie, L. W. (1944). *The Junker in the Prussian Administration Under William II, 1888–1914*. Providence, R.I.: Brown University Press.
- Necker, J. (1784). *De l'Administration des Finances de France*, 3 vols. Paris: n. p.
- Nelson, R. R. (1969). *The Home Office, 1782–1801*. Durham, N.C.: Duke University Press.
- O'Brien, C. C. (1990). The decline and fall of the French Revolution. *New York Review of Books*, February 13.
- Osborne, T. R. (1983). *A Grande Ecole for the Grands Corps: The Recruitment and Training of the French Administrative Elite in the Nineteenth Century*. New York: Columbia University Press.
- Parris, H. (1969). *Constitutional Bureaucracy: The Development of British Central Administration Since the Eighteenth Century*. London: Allen & Unwin.

- Raeff, M. (1975). *The well ordered police state and the development of modernity in seventeenth-and eighteenth-century Europe: an attempt at a comparative approach*. *American Historical Review* 80.
- Richardson, N.J. (1966). *The French Prefectoral Corps, 1814–1830*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Riper, P.P. van (1958). *History of the United States Civil Service*. New York: Row, Peterson.
- Rosenberg, H. (1958). *Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Rosenhaft, E., and W.R. Lee (1990). *State and society in modern Germany Beamtenstaat, Klassenstaat, Wohlfahrtstaat*. In *The State and Social Change in Germany, 1880–1980*, ed. E. Rosenhaft and W.R. Lee. New York: Berg.
- Shefter, M. (1978). *Party, bureaucracy, and political change in the United States*. In *Political Parties: Development and Decay*. New York: Sage.
- Skocpol, T. (1979). *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press; Скочпол, Т. (2017). *Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая*. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Skowronek, S. (1982). *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877–1920*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, G.V. (1967). *Non-capitalist wealth and the origins of the French Revolution*. *American Historical Review* 72.
- Thuillier, G. (1976). *La Vie Quotidienne dans les Ministeres au XIXeme Siecle*. Paris: Hachette.
- . (1980). *Bureaucratie et Bureaucrates en France au XIXeme Siecle*. Geneva: Droz.
- Tilly, C. (1990). *Coercion, Capital and European States, AD990–1990*. Oxford: Blackwell%  
Тилли, Ч. (2009). *Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг.* М.: Территория будущего.
- Tour du Pin, Madame de lao 1985. *Memoirs*. London: Century.
- Tribe, K. (1984). *Cameralism and the science of government*. *Journal of Modern History* 56.
- . (1988). *Governing Economy: The Reformulation of German Economic Discourse, 1750–1840*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wangerman, E. (1969). *From Joseph II to the Jacobin Trials, 2d ed.* London: Oxford University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society, English ed., 3 vols.* New York: Bedminster Press; Вебер, М. (2016–2017). *Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии*. Т. 1, 2. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Weill, H. (1961). *Frederick the Great and Samuel von Cocceji*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Weinstein, J. (1968). *The Corporate Ideal in the Liberal State: 1900–1918*. Boston: Beacon Press.
- White, L.D. (1951). *The Jeffersonians: A Study in Administrative History, 1801–1829*. New York: Macmillan.
- . (1954). *The Jacksonians: A Study in Administrative History, 1829–1860*. New York: Macmillan.
- . (1958). *The Republicans: A Study in Administrative History, 1869–1901*. New York: Macmillan.
- . (1965). *The Federalists: A Study in Administrative History, 1789–1801, 2d ed.* New York: Free Press.
- Wiebe, R.H. (1967). *The Search for Order, 1877–1920*. New York: Hill & Wang.
- Woolf, S.J. (1984). *Origins of statistics: France 1789–1815*. In *States and Statistics in France*, ed. J.C. Perrot and S.J. Woolf. Chur, Switzerland: Harwood.
- Yeager, M.A. (1988). *Bureaucracy*. In *Encyclopedia of American Economic History*. Vol. III, ed. G. Porter. New York: Scribner's.

## ГЛАВА 14

### Становление государства модерна

#### IV. Расширение набора гражданских функций

**Г**ЛАВА 11 определяет два кардинальных изменения в развитии государства. Первое, длившееся весь XVIII в. до 1815 г., представляло огромное увеличение масштабов государства вследствие его геополитического милитаризма. Предыдущие главы показывают, насколько это изменение политизировало общественную жизнь, ускорив развитие классов и наций. Второе кардинальное изменение является предметом данной главы. Начиная примерно с 1870-х гг. значительно вырос не только размер государства, но и расширился набор его гражданских функций. Сохранив милитаризм (хотя и в меньшем масштабе), а также традиционные юридические и благотворительные функции, государства приобрели три новые гражданские функции, вокруг которых, как показывает глава 13, концентрировалась также и бюрократизация:

- 1) все государства массово расширяли инфраструктуры материальной и символической коммуникации: дороги, каналы, железные дороги, почтовые службы, телеграф и массовое образование;
- 2) некоторые государства стали непосредственными владельцами материальных инфраструктур и производственных отраслей промышленности;
- 3) незадолго до окончания исследуемого периода государства стали расширять свою благотворительность, что нашло отражение в более универсальных программах социального обеспечения, зародышевых формах «социального гражданства» по Маршаллу.

Таким образом, государства все сильнее проникали в общественную жизнь. Несмотря на сокращение фискального бремени, гражданское общество все более политизировалось. Люди уже не могли вернуться к своей нормальной исторической практике игнорирования государства. Классово-национальное заклю-

чение в «клетку» продолжалось, пусть и не столь драматично. Общественная жизнь становилась все более натурализованной, а государства — все более могущественными, но в каком смысле? Вторгались ли автономные государства все более деспотично в гражданское общество с помощью своих возросших инфраструктурных сил, как представляет этот процесс элитистско-менеджеральная теория государства? Или рост государства был всего лишь функциональным и инфраструктурным ответом на рост промышленного капитализма? Тогда этот процесс, вероятно, увеличивал коллективную власть гражданского общества, а не государства (как утверждает теория плюрализма), либо в ходе этого процесса государство было подчинено дистрибутивной власти капиталистического класса (как постулирует классовая теория). Либо же эти разросшиеся, более разнообразные государства были теперь более полиморфными, кристаллизуясь в различных формах, между которыми не осуществлялся окончательный выбор? А если они делались более полиморфными, становились ли они от этого также менее когерентными?

### ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ РОСТ, ПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И НАЦИЯ

Медленнее всего инфраструктуры государства росли в партийно-демократических режимах. Такие режимы редко национализировали экономические ресурсы, с большим пиететом относились к нуждам капитала и в первое время медленнее двигались в сторону социального гражданства. Три рассматриваемые партийные демократии, очевидно, различались — от США с их самым слабым, наиболее федерально разделенным правительством до Франции с ее наиболее активным государством, — но у них было много общих черт. Я начну с Великобритании. Британское государство стало более полиморфным, кристаллизуясь как милитаристичное, капиталистическое, морально-идеологическое, федерально-национальное и более последовательно партийно-демократическое. В этой главе я рассмотрю лишь некоторые из внутренних следствий геополитического милитаризма. Существовали ли среди этих кристаллизаций определенные отношения, возможно, «первичности»? В главе 3 утверждается, что государственные кристаллизации редко сталкиваются друг с другом диалектически и антагонистически, редко подталкивают к прямому политическому выбору или компромиссу между ними. Было ли это справедливо для викторианской Британии и других стран этого периода?



Викторианское государство определенно было капиталистическим. Почти все викторианцы ожидали этого. Даже защитники свободы торговли не сомневались в необходимости государственного регулирования. Адам Смит хотел, чтобы государство предоставляло общественные блага, за которые не хотят платить частные акторы: внешнюю защиту, внутреннюю безопасность, общенациональное образование и сеть дорог. Добавьте сюда железные дороги и получите то, что в основном и делали государства XIX в. Смит верно усмотрел в этом не столько вмешательство государства, сколько координирующее себя гражданское общество, под которым он в действительности понимал рыночный капитализм. В начале XIX в. в Великобритании, как и в большинстве других стран, активность автономных государственных элит шла на спад, так как сети двора, королевских патентов и протекций приходили в упадок. Затем после 1830 г. стала расти активность своего рода коллективных «партий», а не элитистская государственная активность. Значительная ее часть была сосредоточена на помощи и регулировании развития промышленного капитализма. Законотворчество становилось менее ситуативным и более программным, работающим от одной парламентской сессии к другой, полагающимся на общественные (а не частные) акты парламента, инициируемые министрами кабинета. Парламент теперь также рутинным образом использовал выборные комитеты и королевские комиссии для расследования социальных условий и рекомендаций по законотворчеству. Другие страны партийной демократии создавали такие же агентства планирования. Во второй половине века их административные инфраструктуры также начали расти, хотя вновь скорее координируя, чем вмешиваясь в гражданское общество.

Но гражданское общество и действия государства привлекали не только капитализм. В викторианской политике большой резонанс имели морально-религиозные споры (Marsh 1979; Weeks 1981: 81; Cronin 1988). Вики и Фуко (Weeks and Foucault) утверждают применительно к Франции, что это указывает на некоторое принуждение со стороны правящих классов по широкому спектру общественной жизни. В чем-то это точка зрения экономического редукционизма на морально-идеологическую кристаллизацию. Но по мере роста индустриализации и масштабов государства моральная риторика становилась все более сложной и спорной. Многие британцы викторианской эпохи проводили различие между коммерческими делами, где государство должно было лишь помогать капиталистическому саморегулированию, и социальными вопросами, которые были законным полем государственного вмешательства и даже принуждения. Лорд

Маколей в защиту билля о 10-часовом рабочем дне в парламенте произнес следующие слова:

Я, как и любой джентльмен в этой Палате, глубоко привержен принципу свободной торговли... Нежелательно, чтобы государство вмешивалось в контракты между людьми совершеннолетними и в здравом уме, касающиеся исключительно коммерческих вопросов. Я не знаю о каких-либо исключениях из этого принципа, но... этот принцип невмешательства не может применяться без большого ограничения — там, где дело касается общественного здоровья или морали [Taylor 1972: 44].

В реальности, впрочем, как отмечали другие участники обсуждения, было непросто провести водораздел в вопросах труда между капитализмом и «общественным здоровьем и моралью». Они проникали друг в друга. Викторианское морализаторство смешивало идеологические течения, в различной степени связанные с капитализмом, — моральный протестантизм, Просвещение и утилитарные теории прогресса, идеи об индивидуальном и социальном исправлении, а также то имперское чувство, что Великобритания несет глобальную моральную ответственность перед всем миром, и страх режима перед нижестоящими опасными классами. Пока эти низшие классы не переходили к реальному восстанию (как во время движения чартистов или в 1848 г.), режимы редко фокусировались на их политических классовых интересах. Низшие классы считались опасными в более широком смысле, чем экономическая угроза. Дебаты по социальной политике были наполнены широкими метафорами, связывавшими личные и классовые интересы со здоровьем и моралью, как в речи лорда Маколей. Социальные проблемы вызывали деграцию и болезни, которые распространяли заразу и разложение. Индустриализация и урбанизация в разы повысили социальную плотность, так что аморальность низших классов могла заразить и остальные, как делали в реальности их микробы. Перепись 1851 г. выявила, что редко кто из рабочих и их семей посещает церковь — это реально шокировало правящий режим. В собственных интересах, а не только по долгу правящий класс должен был направить низшие классы к здоровью, чистоте, морали и религии.

Действительно, в основе классической политэкономии и движения за общественное здоровье, кульминацией которой была теория о микробах, лежала одна и та же метатеория о невидимых силах, которые непреднамеренно распространяются в результате бесчисленных социальных взаимодействий — благодатных, хаотичных и пагубных. Государство должно помогать благим действиям предпочтительно с помощью невидимых гла-

зу инфраструктур. Вероятно, наилучшим примером таких инфраструктур было прокладывание в городах труб из глазурованного фаянса для водопровода и канализации. Эти трубы стали выражением подлинного роста человеческой коллективной власти, резко понизив смертность с 1870-х гг., и в таком качестве их приветствовали. Постепенно зарождалась политика, нацеленная на поддержание здоровья общества, освещение улиц, вывоз мусора и канализацию, следование минимальным нормам жилищного строительства, рудиментарное здравоохранение, силы правопорядка, контроль за тюрьмами и законы о бедных, регулирование продолжительности рабочего дня и условий труда, начальное и некоторое среднее образование для большинства детей. Эффективные средства связи, хорошее общественное здоровье и массовая грамотность считались функциональными для капитализма, силы нации и человеческого развития в целом. Как показывает глава 11, уменьшалось даже сопротивление государственным налогам, поскольку экономический рост обгонял расширение государства. Таким образом, гражданские функции государства росли в чем-то мирно, без сопротивления тех, кто мог проводить эффективную организацию, то есть правящих классов, регионов, этнических групп и церквей. Как отмечал Грю (Grew 1984), масштабный инфраструктурный рост был совместим с появившейся идеологией «государственного нейтралитета» и сохранения свободы, как большинство определяло новые «игровые поля», на которых, вероятно, акторы гражданского общества будут действовать без дальнейшего вмешательства государства.

Тем не менее капитализм и мораль могли вступать в конфликт и устанавливать ограничения друг для друга — не фиксированные, а подвижные, в зависимости от сложных политических процессов. На излете века на социальные взаимодействия стал влиять милитаризм. Имперская мощь Великобритании, как представлялось, все больше зависела от «национальной эффективности», ядром которой были (всего лишь) здоровые матери и их дети и базовый уровень образования для нации. Действительно, в смысле национальной эффективности капиталистическая и военная конкуренция имела тенденцию к слиянию, особенно когда Германия стала восприниматься как основная конкурирующая держава. Если низы требовали реформ на языке антагонистического классового конфликта, как в случае с чартизмом, то их подавляли силой — капиталистическое государство отстаивало свое существование. Если реформы подавались как разумный взаимовыгодный компромисс с классовой борьбой, они обычно также не могли изменить либерализм правящего «старого порядка». Фокус состо-

ял в том, чтобы подать реформы как альтернативу классово-й борьбе, имеющую моральные и общенациональные цели. Тогда можно было осуждать аморальных или непатриотичных капиталистов, тем самым внося раскол в правящий режим. В то же самое время, когда происходили чартистские волнения, движение в пользу законов о промышленных предприятиях осуждало эксплуатацию здоровья и нравственности работающих женщин и детей (и тем самым семейной жизни), и это имело большой успех (см. главу 15). Большинство законодателей смешивали мотивы общественного контроля, благотворительности и признания того, что возросшая социальная плотность сделала некоторые государственные услуги функциональными для всех. Общественная жизнь теперь была неизбежно коллективной. Заключение в «клетку» национального государства становилось все более жестким, но парадоксально тем самым расширяло подлинные свободы, поскольку упомянутые канализационные трубы резко продляли жизнь младенцев, детей и матерей.

Тогда мало кто думал в терминах «социального гражданства» Маршалла, гарантировавшего активное гражданское участие в общественной и экономической жизни нации сверх минимального уровня здоровья, а затем грамотности. Не существовало действующих программ перераспределения, так как до 1910 г. не было прогрессивного налогообложения для их финансирования. Но существовала сознательная программа реформирования законодательства, за которую боролись энтузиасты, их оппоненты и сторонники компромисса. И эта программа постепенно завоевывала сторонников в государственных и партийных элитах. К 1860-м гг. билли о реформах чаще инициировали министры, а не рядовые члены парламента. Либеральный капитализм под влиянием христианства и светской морали, а затем национализма и конкуренции партий, борющихся за голоса избирателей, мог порождать социальные реформы при условии, что они не были во имя класса, прямо противопоставлявшего себя капитализму.

Капитализм или моральные реформы либо милитаризм не могли также быть направлены и против дальнейшей кристаллизации государства, умеренно централизованной, но все еще федеральной нации. В терминах табл. 3.3 Великобритания в реальности (пусть и не по конституции) продолжала оставаться довольно федеральной, когда местное управление имело значительный вес. Правда, викторианские законы, комитеты и комиссии также порождали технократов-бюрократов, желавших увеличения роли центрального правительства (Lubenow 1971). Пока они не «высовывались» и призывали бичевать отдельные

общественные пороки с помощью специальных мер, скрываясь за завесой моральной и национальной риторики, реформы шли. Но если они выступали в защиту вмешательства государства как общего принципа переустройства общества, то сталкивались с местными партийными боссами, контролирующими избирательный процесс и парламент.

Когда национальный вопрос перерастал в антагонистическую борьбу, сторонники централизации обычно проигрывали. Максимум, чего они могли достичь, это прагматичного создания государственных инфраструктур, штат которых состоял из той же знати местного уровня. В королевских комиссиях технократов уравнивали аристократы, а рекомендации в пользу централизации размывались в парламентском законодательстве, а затем еще больше при их внедрении. Когда величайший технократ викторианской эпохи Эдвин Чедвик открыто выступил за вмешательство центрального государства в вопросы муниципального здравоохранения, его быстро дискредитировали и его общественная карьера на этом закончилась. Все реформы от закона о бедных и до трудового законодательства через общественное здоровье и образование провозглашались на национальном уровне правительством и парламентом, но проводились местными деятелями графств, приходов и прочих из 25 тыс. субъектов местного самоуправления середины XIX в. в Великобритании (Sutherland 1972; MacDonagh 1977; Digby 1982). Управление оставалось федеральным, хотя в британской конституции предполагалось доминирование доктрины централизованной парламентской власти. Британские администраторы — государственные элиты и партии, центральные и местные — по-прежнему координировали и обсуждали материальные и моральные вопросы правящего класса-нации, не вмешиваясь в гражданское общество в качестве автономного центрального государства.

В середине века три кристаллизации государства как капиталистической, морально-идеологической и федеральной нации-государства устанавливали широкие границы друг для друга и для потенциальной автономии государства, так как масштаб внутренней гражданской политики постоянно расширялся. Затем с 1880-х гг. под влиянием растущих национальных идентичностей (которые я рассмотрю ниже) имперского милитаризма и пятой кристаллизации государства — партийной демократии стал ослабевать федерализм. Великобритания, конечно, не была полноценной выборной демократией даже для мужчин, но после 1832 г. избирательное право было достаточно широким, чтобы постепенно принуждать партийных деятелей в некоторых областях к программной конкуренции друг с дру-

гом сверх обычной сегментарной патрон-клиентской организации. Этот процесс ускорился в 1867 и 1884 гг., когда две ведущие партии расширили охват населения избирательным правом, чтобы получить перевес в голосах. Теперь на партийную политику влияли — и более постоянно — массовые религиозные, региональные и классовые группы. Консерваторы стали англиканами и англичанами, либералы — частично нонконформистами и кельтами. Мелкая буржуазия и квалифицированные рабочие получили избирательные права, а чиновнический и профессиональный средний класс стал политически влиятельным. Некоторые партийные лидеры либералов и консерваторов поменялись позициями по национальному вопросу, и идеологическое противостояние выровнялось. Умеренные сторонники централизации из государственных и партийных элит теперь включили в свою риторику термин «современность», а местные деятели — термин «свобода». К 1900 г. частично централизованные партии с общенациональными платформами и пропагандой порой обращались к массовому избирателю через головы местных деятелей, сокращая их автономию и умеряя их федералистские предпочтения.

Главной внутренней задачей правительства стало образование, нацеленное (как показывает глава 16) на средний класс, составлявший большинство избирателей. Возникшая идея идеологического гражданства несла в себе такие же разнообразные послания, как и ее носитель (средний класс): лояльность к капитализму, национальную эффективность, англиканство или нонконформизм, «социальную чистоту» (*social purity*), умеренность в потреблении спиртных напитков, благотворительность и даже феминизм. Все это помогло подтолкнуть либеральную партию к политике всеобщего благосостояния, нонконформистов — от федерализма к государственной активности (при условии, что образование будет защищено от англиканства) и скрепило союз Шотландии, Уэльса и Ольстера с Англией в большей части посредством религиозно-партийных союзов. Образование также политизировало многих рабочих на местном уровне, хотя их общенациональная политика была сосредоточена на реформе избирательного права и правах профсоюзов. Движение за общественное благосостояние по большей части начинали либералы из среднего класса и моралисты (Cronin 1988). Однако постепенно политическое давление со стороны среднего и рабочего класса объединилось, породив политику последнего довоенного правительства либералов.

Как показано в главе 17, в 1890-е гг. также началось активное вмешательство государства в трудовые отношения в промышленности в ответ на классовое давление снизу. Оно было

эффективным тогда, когда могло найти общую практическую и моральную основу для эгоистичных интересов работодателей и профсоюзов. Моральное давление дополняло принуждение, заложенное в трудовом законодательстве. Параллельно этому происходило все большее вмешательство в образование, обычно через налоговые льготы, по мере выявления несоответствий в политике латания прорех между частными школами. Общественные медицинские услуги исподтишка просачивались в общество через законы о бедных, следствием чего стала финансируемая государством служба здравоохранения в качестве крайней меры для неимущих больных. Реформа местного самоуправления предоставила больше единообразных услуг, особенно в области общественного здравоохранения, которые гарантировались на общенациональном уровне, хотя как решения по конкретному уровню их предоставления, так и управление ими оставались за местной властью. Все это указывало на все большую национальную централизацию, ограниченное партийно-демократическое вмешательство в капитализм часто путем морального убеждения, налоговых льгот или скрытой технократии, но иногда через прямое законодательное принуждение и ограниченную автономию государства, которая возникала не из антагонистических вызовов капитализму или федерализму, не из антагонистической классовой борьбы, но скорее из непреднамеренных следствий партийной политики, в которой морализм и национализм переплетались с массовыми региональными, религиозными и классовыми кристаллизациями. Так как они не бросали антагонистического вызова капитализму или федерализму, автономный этатизм (типа того, что подразумевали элитистские теории) практически не проявлялся. Для появления технократического бюрократического государства, активно вмешивающегося в общественную жизнь и трудовые отношения, требовались большее давление со стороны рабочего класса и война с массовой мобилизацией, что произошло уже после 1914 г. Довоенный этатизм преимущественно относился к моральной сфере и среднему классу. Это был скрытый компромисс между федеральной и централизованной нацией-государством, слегка модифицирующий капиталистическую кристаллизацию государства.

Франция и США двигались похожим курсом, но во Франции сторонники централизации были сильнее, самые важные кристаллизации государства были довольно похожи на британские, за исключением того, что с 1870-х гг. американский геополитический милитаризм был менее выражен. В конце XIX в. во Франции партия республиканцев, сторонников централизации, постепенно обеспечила себе контроль над госу-

дарством, сломив сопротивление церковников, аристократов и финансового капитала. Как и в предшествующих республиках, они сформировали более централизованное и в чем-то более интервенционистское государство, чем в Великобритании и США. Но его основные акты вмешательства не были направлены против капитализма или класса. Скорее централизованная нация-государство проводила их в основном на морально-идеологической основе против влияния католической церкви в сфере образования, семейного законодательства и социального обеспечения параллельно с «крестовым походом» республиканцев против контроля «старого порядка» над вооруженными силами (дело Дрейфуса). Капитализм продолжал доминировать в политэкономии. И вновь мы видим двойственный результат: триумф в политэкономии капиталистического государства посредством партийно-демократической трансформации второй кристаллизации государства, то есть морально-идеологической кристаллизации — переход от католицизма к централизованной светской морали общества социального обеспечения, и посредством позднейшей попытки трансформировать государственный милитаризм.

Соединенные Штаты были родиной капиталистического либерализма, партийной демократии и конфедерализма, а также наиболее слабым государством на Западе. Гражданская война резко изменила ситуацию. Север, особенно Юг, зашли гораздо дальше в плане государственного вмешательства, чем любое другое государство XIX в. Конфедерация сильно и деспотично вмешивалась в область свободного труда, прав собственности и деятельности местного самоуправления и правительств штатов (не правда ли, злая ирония для режима, сражавшегося за права штатов?). Север, обладавший гораздо большими ресурсами, более полагался на рыночные стимулы для поставки промышленных товаров. Но этот «янки-левиафан» был особенно интервенционистским в создании первой национальной кредитной системы и класса финансового капитала, независимого от Великобритании (Bensel 1990: глава 3). После войны многочисленные государственные администрации были быстро упразднены, но победивший Союз остался скоординированным, спонсирующим национальное экономическое развитие и напрямую управляющим Югом во время Реконструкции. Как отмечает Бенсел (Bensel), во время Гражданской войны Союз стал однопартийным государством, в котором видные деятели Республиканской партии, выходцы из северных финансовых, промышленных и свободно-земледельческих кругов, заполнили государство. Однако мы снова видим, как государства, эффективно сочетающие деспотическую и инфраструктурную власть,



зависят не от автономных элит, а от элит, институционализованных в партиях гражданского общества.

Но этот альянс сильного государства оказался хрупким. Большинство консервативных республиканцев, имевших крепкие местные корни, потеряли интерес к реконструкции Юга и были готовы идти на сделку с тамошними демократами. Вновь на поверхность вышел партийный фракционизм. Чтобы удержать за собой президентское кресло, консервативные республиканцы были вынуждены пойти на предвыборную сделку, восстановив в 1877 г. автономию южных штатов. Правительство вернулось к своему предвоенному формату — судейско-партийному, небольшому и преимущественно конфедеральному, контролируемому местными партийными фракциями. В его судах доминировали сторонники свободы торговли и местных интересов, его наиболее сплоченная целеустремленная партийная фракция (южные демократы) решительно противилась власти центрального государства (Keller 1977; Skowronek 1982: 30; Bense 1900: глава 7).

Американский капитализм теперь развивался как северный, Юг стал захолустным регионом, институционализованный расизм которого придавал местному капитализму вполне определенный колорит, но обладал силами, способными блокировать вмешательство федерального государства. Начиная с 1880-х гг. северный капитализм также стал испытывать трения с религиозной моралью, и его основным носителем был средний класс. Однако в нем содержалось и внутреннее напряжение: его либеральный индивидуализм был сильнее, но его корпорация разрасталась быстрее, чем в других странах. По мере того как корпорации переплетались с партийным фракционизмом и добивались привилегий и льгот от местного самоуправления и правительства штатов, усиливался смрад корпоративной коррупции. Поэтому реформаторы, подобно своим оппонентам, южным демократам, искали способы сократить, а не расширить инфраструктуру правительства (Orloff 1988). Однако Вашингтон отличался от остальных четырех (пяти, если считать Будапешт) столиц тем, что не был крупным современным городом. Вашингтон, маленький доиндустриальный город, было непросто поставить под контроль современным корпорациям. Таким образом, некоторые корпорации поощряли реформы модернизации, начавшиеся на федеральном уровне. Движение прогрессистов воплощало эти в чем-то противоречивые течения. Не забудем личную заинтересованность среднего класса в образовании, сектантскую религиозную идею взаимопомощи, феминизм среднего класса и интересы профессионального, объединенного в профсоюзы труда. Все интересы, за исключением феминизма, вопло-

щались в двух партиях. Запутанность этих властных отношений, различным образом выражавшаяся на разных уровнях власти и все это время вынуждавшая идти на федеральном уровне на сделки с оппонентами — южными демократами, мешает делать какие-либо обобщения относительно прогрессистов (как профессиональным историкам, так и мне, простому любителю). Но переплетение укоренившихся властей капиталистического либерализма с правами южных штатов дало слабому центральному государству больше возможностей, чем в других странах, налагать моральные ограничения на капитализм (и на расистский капитализм), как только корпорации стали подвергаться хотя бы минимальному регулированию по сравнению с другими странами.

Во всех трех партийных демократиях капиталистическая кристаллизация продолжала процветать. Государственное вмешательство оставалось ограниченным и часто полезным для капитализма, за исключением американского Юга. Уровень перераспределения по-прежнему был низким. В этих сферах теория элиты не подходит, плюрализм ограничен командованием (*commanding power*) капитала над трудом, поэтому применима классовая теория. Но фокусироваться на ограничениях вмешательства государства означало бы недооценить возникающие кристаллизации наций-государств. Британское и французское государства, даже хилая американская Конфедерация, были радикальными отклонениями в истории. Расширение инфраструктур государства в XIX в. не произвело значительного смещения в балансе дистрибутивной власти между государством и гражданским обществом или среди классов гражданского общества. Если бы процессы ограничивались этим, капиталистическая кристаллизация имела бы первостепенное значение. Но упомянутые государства *также* бросали вызов коллективным отношениям власти, то есть самой идентичности гражданского общества, и, таким образом, самому капитализму. Каждая новая инфраструктура усиливала сплоченность и ограниченность территорий и субъектов существующих государств против двух исторически альтернативных сетей взаимодействия — локально-региональных сообществ и транснациональной арены.

Хотя капитализм также разрушал местный партикуляризм в пользу более широкого универсализма, его классические идеологи (и оппоненты) ожидали, что он будет в высшей степени транснациональным. Однако пусть редко кто совершал это осознанно, национально регулируемые железные и обычные дороги, предприятия общественного пользования и общественное здравоохранение, полицейские силы, суды и тюрьмы и больше всего образование и дискурсивная грамотность на доминирующем языке государства предоставляли централизованные

территориальные инфраструктуры для дальнейшего расцвета нации-государства. Поскольку все эти инфраструктуры намеренно бойкотировались местными деятелями Юга, американская нация была определена *северной*. Практически во всем западном мире капитализм и гражданское общество непреднамеренно уходило от транснациональной в сторону национальной организации власти.

Такая национальная инфраструктурная экспансия происходила во всех странах, а не только в партийных демократиях. Всего за 25 лет, с 1882 по 1907 г., количество отправленных писем в пересчете на одного человека выросло в рассматриваемых пяти странах в 2–4 раза. К 1907 г. среднестатистический француз отправлял 34 письма или открытки в год, австриец — 46, немец — 69, британец — 88, а американец — 89 (*Annuaire Statistique de la France* 1913: 205). Практически все экстенсивные сети личной и деловой коммуникации были ограничены территориями государств. Массовое образование возросло до поразительного, почти единообразного уровня по всему Западу. Доля детей в возрасте от 5 до 14 лет, обучавшихся в школах, варьировалась в рассматриваемых пяти странах от 74 (Австрия) до 88% (Франция) (Mitchell 1975: 29–54, 750–759, хотя для Венгрии составляла всего 54%). Начинался отчетливый процесс стирания региональных различий, который продолжался весь XX в. Вариации в региональных уровнях оплаты труда либо были статичными, либо росли во время ранней стадии индустриализации, а затем начали снижаться примерно с 1880-х гг. во всех пяти странах. Региональные различия в оценочной стоимости домов показывали схожую картину (Good 1984: 245–250; Soderberg 1985: табл. 1 и 2). Не только печатное слово, но и напечатанные фотографии вносили свой вклад в национальную интеграцию. Фотография монарха или президента на стене символизировала интеграцию местных административных офисов в национальное государство, а газеты и журналы воспроизводили национальные церемониальные сцены коронаций, военных смотров и открытых заседаний парламентов.

Демографическая статистика — фертильность женщин, количество внебрачных детей и брачный возраст — могут показаться не связанными с национальным государством. В конце концов они показывают интимное поведение, в котором основными явными регуляторами были скорее транснациональные церкви и местные обычаи, чем государства. Однако Уоткинс (Watkins 1991) показывает, что практически во всех европейских странах различия в демографической статистике регионов снижаются между 1870-ми и 1960-ми гг., по мере того как каждая нация-государство обретала свой стандартизированный демо-

графический профиль. Он не представляет данных, насколько далеко зашла натурализация к Первой мировой войне (или к какой-либо иной промежуточной дате), однако в конечном итоге секс становился национальным вопросом.

Это не должно удивлять ввиду информации, рассмотренной в главе 7. В ней я описывал мобилизующую силу классов и наций как производную от их способности соединять экстенсивные организации с интенсивными, представленными семьей и местным сообществом. К концу XIX в. это стало понятно и творцам национальной политики. Британские реформаторы начали возвращать интенсивную сферу как основу формирования граждан нации. Они влияли на законодательство, касающееся семейной области, родительской ответственности, сексуальной морали, здоровья как в физическом, так и моральном смысле, благополучного материнства и здоровых (как в физическом, так и моральном смысле) домов, районов и школ. Евгеника была идеологией, наиболее тесно соединявшей семейное воспитание с нацией. Политики и популярные писатели 1900-х гг. часто выражали это поразительно империалистическим языком:

Я знаю, что Империя не может строиться на слабых чахлотовых гражданах. И потому, что я знаю, «не в жерлах пушек и ружей, а во рту детей и младенцев формируется сила, что заставит замолчать Врага и Мстителя».

История наций определяется не на поле битвы, но в детской комнате, и батальоны, что принесут окончательную победу, — это батальоны младенцев [Davín 1978: 17, 29].

Существовали и более мягкие, более снисходительные версии евгеники. Во времена Эдуарда в Великобритании развивалось движение за борьбу с викторианским сексуальным ханжеством, поощрявшее девушек трансформировать свою сексуальность в матримониальную, направленную на деторождение и любовь (Bland 1982). Британские, французские, немецкие и американские феминистки этого времени использовали «матерналистско-националистическую» риторику для достижения прироста благосостояния (Koven and Michel 1990; несомненно, австрийские делали то же самое). Семьи и их окружение во всех классах, а не только мужчины, обладавшие политическими гражданскими правами, вступали в нацию как в сообщество, связанное узлами взаимодействий и чувств.

Хотя я специально не занимался анализом исследований на эту тему, чувство персональной идентичности в XIX в. должно было значительно измениться. Поскольку личный опыт (как частный, так и общественный) становился национально

определяемым, локальные и транснациональные идентичности должны были приходиться в упадок в основном бессознательно и без особого выражения конфликта сил. Даже большинство тех, чья власть проистекала из формально локальных или транснациональных организаций, — местные видные деятели, католические священники, марксистские активисты — косвенным образом становились, казалось, более «национальными» в ощущении себя. Это отчетливо происходило среди ранее известных политических партий и, как я показываю в главе 21, также подрывало транснациональную риторику рабочих организаций. Значительно выросла *национальная* организация гражданского общества, капитализма и его классов. Инфраструктуры государства питали нации-государства.

Конечно, каждая страна была уникальной. В Великобритании государство и нация правящего класса слились примерно за столетие до индустриализации и расширения функций государства. К 1800 г. этот класс-нация был гомогенным, как в Англии, так и в меньшей степени в Уэльсе и Шотландии. Его протестантские клиенты правили Ирландией. Этот класс-нация говорил только на английском языке; он производил, обменивал и потреблял в рамках капиталистической рыночной экономики, которая для большинства практических целей ограничивалась территорией Великобритании, а для целей международной торговли полагалась на его военные силы; центрами же политической организации в основном были Вестминстер и Уайтхолл. В этом контексте индустриализация и подъем буржуазии с последовавшим ростом сил государственных инфраструктур и среднего класса были двумя стадиями слияния государства и нации. Британская общественная жизнь в основном натурализировалась в отчетливо двойственных формах — британской и англо-уэльско-шотландской.

Франция и США в чем-то отличались от Великобритании. Французская нация политизировалась раньше, во времена революции и Наполеона, в среде городской буржуазии. Таким образом, средний класс получил республиканскую нацию, к которой мог бы присоединиться (или сражаться против нее) раньше, чем в других странах. Юджин Вебер (Weber 1976) показывает, что эта буржуазная нация проникла в провинции и крестьянство лишь в конце XIX в. в основном через материальные и символические инфраструктуры, которые я выделил, — железные и автомобильные дороги, почту и образование. Многочисленная гражданская армия (крупнейшая среди прочих стран на протяжении века) и республиканское политическое движение в разделенной стране также сыграли свою роль. Действительно, республиканские правительства осознанно расширя-

ли общенациональные инфраструктуры для консолидации собственного режима. Их противники (особенно католическая церковь) — сторонники децентрализации — опирались больше на местные сообщества. Таким образом, скрытым мотивом, стоявшим за строительством железных дорог, было объединение рассеянных оплотов республиканцев доступными средствами коммуникации и капиталом. Республиканская нация-государство восторжествовала с 1880 г.

Американский господствующий класс также разделял общий язык и культуру, но инфраструктуры государства за пределами Юга помогали решать определенную задачу — создание единой англоговорящей нации из иммигрантов низших классов, говоривших на разных языках. Большинство образовательных учреждений подчинялось правительствам конкретных штатов, хотя в основе образовательных программ все равно лежала единообразная модель, предложенная общенациональной сетью педагогов-профессионалов. Сравнительная изоляция США от прочих развитых стран также способствовала формированию более замкнутого национального капитализма, чем в других странах, порождая более национальную организацию рынков и корпораций. Инфраструктуры федерального правительства, вероятно, были как следствием, так и причиной национального гражданского общества (Skowronek 1982 предполагает, что они все-таки были следствием, но мы к этому вернемся позже). Американская нация возникла как более капиталистическая и менее этатистская, чем другие.

По всему западному миру почтовые службы, школы и железные дороги вели к развитию наций и национально организованных классов. Некоторые из государственных служб — регулирование здравоохранения, полиция, суды и тюрьмы — также предоставляли возможности для более заметного авторитетного вмешательства. Но большая часть из них всего лишь предоставляла «скрытые от глаз» материальные средства, подобно глазированным керамическим трубам канализации, по которым разнообразные локально-региональные (или иммигрантские) сообщества смешивались в национально определяемые сети власти. Мало кто задумывался о целях происходившего, но инфраструктуры государства были путями, которые вели к нациям-государствам.

Некоторым государствам повезло меньше. Языковые и религиозные сообщества в них пролегли поперек государства и правящих классов. Более того, как показывает следующая часть, страны с догоняющей индустриализацией проходили более неравномерное капиталистическое развитие. Некоторые сферы их экономики оказывались более тесно связанными с транснацио-

нальной, чем с национальной экономикой. Особенно неоднородными были Российская, Австрийская и Османская империи. В землях Австрии государство, индустриализация, языки и конфликты за политическое гражданство тянули в разных территориальных направлениях (см. главу 10). Монархия жаждала индустриализации, но это могло усилить либо транснациональные, либо региональные взаимозависимости больше, чем взаимосвязи между ее общими территориями. Она желала повышения грамотности, но на каком именно языке, если некоторые из них несли идеи провинциального национализма? Если бы она уступила требованиям среднего класса и рабочих по политическим правам, усилило бы это их лояльность существующему государству (как в нациях-государствах) или конкурирующим национальным провинциям? Повсюду четыре взаимно поддерживающие силы создавали нации-государства с более высокой координацией инфраструктур, сравнительно единообразным распространением капиталистической индустриализации, разделяемыми языковыми сообществами и требованиями политических прав от массовых универсальных классов, но не в Австрийской, Османской или Российской империи.

## ДОГОНЯЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Запад был единой «цивилизацией со множеством акторов власти», по которой циркулировали культурные сообщения, товары и услуги, регулируемые геополитической конкуренцией, дипломатией и войной. Как только индустриализация началась в нескольких государствах, она быстро распространилась на другие. Поскольку она резко увеличивала коллективную власть, ее охотно принимали и перенимали большинство доминирующих сетей власти. Это действие было осознанным и поддерживалось сетями коммуникации возникавшей технологической интеллигенции. В «догоняющих» странах интеллектуалы определяли сильные и слабые стороны ранней индустриализации и побуждали государственные элиты-партии планировать собственную адаптацию к ней. Это был интерактивный процесс, так как вызовы, с которыми сталкивались «догоняющие», вынуждали адаптироваться к ним и опередившие их страны. И хотя средства были исходно экономическими (действие огромных сил промышленности), акторы власти и цели различались. Все четыре типа доминирующего актора власти — идеологический, экономический, военный и политический — сотрудничали в рамках стратегий догоняющего разви-

тия. Это сотрудничество обычно и бессознательно содействовало развитию централизованной нации-государства, хотя в этой области США и Австрия отставали.

Большинство экономических историков обычно рассматривали стратегии догоняющего развития с экономической точки зрения. Гершенкрон (Gerschenkron 1962, 1965) предложил классическую теорию догоняющего развития. Он приписывал успешную индустриализацию «догоняющих» стран 1) более резкому рывку в росте, чем произошел в Великобритании, 2) большему акценту на средствах производства, 3) большему масштабу промышленных предприятий и заводов, 4) большему давлению на уровень массового потребления, 5) меньшей роли сельского хозяйства, 6) более активной роли крупных банков и 7) более активной роли государства. Таким образом, ускоренному росту «догоняющих» стран в значительной степени содействовала тесная координация между активным государством и авторитарными промышленными и финансовыми корпорациями. Государственные элиты и партии реорганизовывали государственные финансы, чтобы проводить макроэкономическую низкоинфляционную кредитную политику. Они спонсировали кредитные банки, чтобы они давали займы промышленности и сельскому хозяйству; приглашали профессиональных рабочих из Великобритании и субсидировали создание образцовых цехов; строили или субсидировали строительство железных дорог и других коммуникационных инфраструктур; особенно расширяли образование. Наконец, они поощряли слияния и картели, ведущие к появлению предприятий достаточно крупных, чтобы инвестировать в науку и оборудование. Это был исходный альянс между государственными элитами и партиями капиталистов, нацеленный на совместное извлечение прибыли. Сенгаас (Senghaas 1985) усовершенствовал эту теорию позднего развития.

В ретроспективе мы также можем назвать еще одно условие успеха — сравнительно равномерное экономическое развитие на территории государств. Если спонсируемое государством развитие было слишком отсталым или неравномерным, различные экономические сектора или регионы становились более зависимы от транснациональной экономики, чем от национальной. При таком «анклавном» пути развития, все более популярном среди развивающихся стран в XX в., «властвующие» (comprador) классы могут искать способы сохранить слабым собственное государство и вступить в союз с иностранным капиталом, даже с иностранными государствами. Хотя транснациональные конфигурации классов (class alignments) не заходили так далеко в XIX в., неравномерное развитие могло дестабилизировать государство, вынуждая элиты-партии сосре-



доточиться на внутренних социальных проблемах больше, чем на геоэкономическом развитии.

Среди «догоняющих» стран первой волны Пруссия-Германия, Швеция, Япония и Италия (но последняя только в отношении северной части) обладали сравнительно равномерно распределенными и коммерциализированными гражданскими обществами. Успех Германии основывался на особенных аграрно-промышленных отношениях, опосредованных государством (см. главу 9). Без сомнения, примеры догоняющего развития Швеции, Японии и Северной Италии также определялись спецификой предшествующего развития этих стран. Затем после удачных примеров догоняющего развития этих стран наблюдался некий разрыв. Россия и Австрия, более крупные и разнообразные империи, которые также шли путем догоняющего развития, достигли быстрого развития ценой дестабилизации. Россия испытала всплески государственной помощи промышленности в 1870-х, 1890-х гг. и после 1908 г., причем первые два этапа помощи оплачивались преимущественно иностранным капиталом, а третий — российским. Российская индустриализация была довольно успешной на этой последней стадии (McKay 1970). Но сельское хозяйство имело большее значение, поскольку за счет экспорта зерна оплачивался импорт капитала и средств производства. Аграрные реформы поглощали внимание режима, но они же и сломали его при социальной нестабильности. Австрия сочла, что государственная помощь не слишком усиливает территориальную сплоченность ее провинций (см. главу 10). Стратегии догоняющего развития могли привести к экономическому росту, но одновременно и к дезинтеграции. Пример догоняющего развития Германии было трудно скопировать в землях к востоку от нее.

Почему же государственные элиты-партии принимали стратегии догоняющего развития? Почему развитие должно было быть сравнительно этатистским? Централизованно-территориальное планирование не является необходимой чертой развития. В томе 1 я проанализировал два типа социального развития в аграрных сообществах: один — результат этатистских «империй доминирования», а второй — результат децентрализованных «цивилизаций с множественными властными акторами». Европа была ярким примером второго типа, апогей которого был достигнут в «невидимой руке» промышленной революции. Империи доминирования в основном создавались в результате военных завоеваний и правления. Европа XIX в., без сомнения, была примером более мирной формы государственного экономического развития. Я определяю шесть причин, первые четыре из которых согласуются с экономизмом в литературе по до-

гоняющему развитию (я особенно много заимствую у Полларда и Кемпа (Pollard 1981; ср. Kemp 1978), а пятая и шестая выводятся из неэкономических кристаллизаций государств.

1. *Желаемое развитие известно и может быть авторитетно спланировано.* В поздно развивавшихся странах Европы и в сравнительно развитых неевропейских государствах, на которых повлияла европейская власть, будущее представлялось ясным. В условиях конкурентной геополитики страны, переживавшие индустриализацию, могли мобилизовать намного больше коллективной власти, другим оставалось ответить на вызов или подчиниться. «Госпожу Науку и Госпожу Промышленность», как называли их китайские авторы, практически все акторы власти рассматривали в качестве инструментов, необходимых для своей власти.
2. *Источником ресурсов догоняющего развития являются авторитетные, централизованно-территориальные организации.* Некоторым отраслям промышленности явно лучше подходят крупномасштабные авторитетные организации. Железные дороги требовали огромных инвестиций капитала и резко стимулировали капиталоемкие отрасли: черную металлургию, угледобывающую промышленность и машиностроение. После 1880 г. вторая промышленная революция стимулировала большие масштабы, особенно в металлургии, химической и горнодобывающей промышленности. Авторитетную организацию могут обеспечить и корпорации, но государство может оказаться более подходящим для более территориально-центричных ресурсов типа тарифов, валют и крупных кредитных схем. Железные дороги и другие материальные и символические средства коммуникации имеют территориальную, часто «национальную» базу. Здесь важное значение имеет логистика конкуренции. Строя сеть железных дорог, государства стимулировали внутренний рынок. В странах XIX в. промышленность располагалась вдоль линий коммуникаций, ведущих от важного природного ресурса — угля. Металлургическая, сталелитейная и машиностроительная промышленность, базировавшаяся возле месторождений угля, могла выпускать продукцию с меньшей эффективностью, чем британская промышленность, и при этом оставаться конкурентоспособной на внутреннем рынке из-за меньших транспортных расходов. Такая же ситуация была с кустарным и сельскохозяйственным производством. Транспортные сети конца XX в. глобальны, а коммуникации в XIX в. напоминали национальные сети, рассмотренные в главе 9. Рынки интегрировались в пределах территорий государств.

3. *Актеры гражданского общества не способны организовать подобные централизованно-территориальные ресурсы.* Эта способность сильно варьировалась в зависимости от времени и места, но в течение всего «долгого» XIX в. масштаб государственной организации и планирования намного превосходил частные экономические институты. По сравнению с государствами капиталистические предприятия оставались крошечными. Примерно к 1910 г. заводы Круппа были крупнейшим капиталистическим предприятием в Европе с 64 тыс. работников и оборотом почти 600 млн марок (Feldenkirchen 1988: 144). Однако Прусско-Гессенская государственная железная дорога имела 560 тыс. работников и оборот 3 млрд марок, а единственный правительственный департамент — Министерство общественных работ Пруссии — был в действительности крупнейшим работодателем в мире, крупнее даже вооруженных сил (680 тыс. человек) (Kunz 1990: 37). Другие гражданские службы и вооруженные силы были сравнимых размеров. Капиталистические корпорации были меньше. Крупнейшая французская компания Шнайдера имела только 20 тыс. работников (Daviet 1988: 70).

Во всех странах крупные корпорации были отдельными китами среди стаяк мелких предприятий. В 1910 г. лишь 5% рабочей силы во Франции, 8% в Германии и 15% в США трудились на предприятиях с численностью свыше тысячи человек. К началу 1960-х гг. эти цифры составляли уже соответственно 28, 20 и 30% (Pryor 1973: 153; Mayer 1981: 35–78; Trebilcock 1981: 69). Уровень концентрации рос в ходе второй промышленной революции, но был гораздо ниже уровня 1960 г. В 1910 г. 100 крупнейших компаний во Франции приносили 12% национального объема промышленного производства, в Великобритании — 15%, в США — 22% (Hannah 1975; Prais, 1981: 4, appendix E; Daviet 1988: 70–73). Эти цифры показывают, что только в Соединенных Штатах, где доля государства (федерального и отдельных штатов) была минимальной, а корпораций — максимальной, государство не было явным агентом передового экономического планирования.

Банки, картели и трасты мобилизовали меньшие объемы капитала, чем могли государственные элиты. Британский класс капиталистов в основном сам профинансировал свое раннее промышленное развитие, но в более отсталых или менее централизованных странах частные инвесторы представляли этот капитал лишь при политической поддержке. Государственные элиты защищали производителей с помощью тарифов, организовывали картели местных инвесторов и банкиров, координировали займы у зарубежных банкиров

и использовали налоги, чтобы субсидировать и гарантировать процентную ставку. Планирование широкомасштабного экономического развития полагалось на государство.

4. *Развитие поощрялось государственными элитами и/или внеэкономическими акторами власти в гражданском обществе*<sup>1</sup>. Среди большинства доминирующих акторов XIX в. сложился экономический консенсус. Лишь католическая церковь на какое-то время отвернулась от государства и «модернизма», большинство других с энтузиазмом поддерживали промышленное развитие середины века. Инфраструктуры государства одобрялись как технически полезные для промышленности. К неоклассическому понятию интереса мы можем добавить марксистское: старые режимы и капиталистические классы также надеялись на государство в защите их совместных прав собственности от неимущих. Ричард Тилли (Tilly 1966) считает, что солидарность режимов и буржуазии, сложившаяся во время революции 1848 г., позволила им совместно расширить прусские государственные инфраструктуры.

Но даже все четыре вида экономического давления вместе *не требовали* однозначно столь сильного государственного координирования развития. Олигархии финансистов могли бы скоординировать большинство задач самостоятельно с небольшой ситуативной помощью государства как регулятора. Конец XX в. породил множество разнообразных плановых агентств, помимо относившихся к конкретным нациям-государствам: мультинациональные корпорации, действующие совместно, неправительственные организации, конфедеральную ассамблею европейского экономического сообщества и т. п. Попытки догоняющего развития в странах третьего мира сегодня циклично склоняются то к относительно этатистским, то к относительно рыночным стратегиям. Экономические отношения и интересы выступают пусть и необходимыми, но недостаточными объяснениями того, почему догоняющее развитие в XIX в. столь сильно полагалось на центральное государство. Я продолжаю выделять две оставшиеся причины.

5. *Милитаристическая кристаллизация государства поощряла этатистское экономическое развитие*. Данные по государственным расходам в главе 11 показывают, что государства конца XIX в. начинали преимущественно как милитаристические, а заканчивали как наполовину милитаристические. Геополи-

---

1. Возможны случаи, когда лишь государственные элиты поддерживали это, но были способны принудить остальных к согласию, как позднее сделали большевики. Но ни одно государство XIX в. не обладало такой деспотической властью.

тика и военное давление продолжали увеличивать масштаб и авторитетную организацию среди стран догоняющего развития, а затем и среди всех прочих стран (Sen 1984). Во всех странах, даже в США, вооруженные силы были крупнейшей авторитетной организацией на протяжении всего «долгого» XIX в. Армии мирного времени были в десять (а военного — в пятьдесят) раз крупнее самого большого частного предпринимателя. В большинстве основных отраслей промышленности крупнейшим потребителем было государство, закупавшее вооружения, униформу и продовольствие для солдат и матросов, плюс предметы роскоши для чиновников, судов и столиц. Основным продуктом большинства крупных предприятий были военные товары. Ранее военные поставки шли с государственных верфей и арсеналов или с множества ремесленных мастерских через независимых субподрядчиков. Обе практики отделяли государственные агентства от более крупных капиталистических предприятий, тем самым минимизируя прежде этатистское экономическое развитие. Но в XIX в. появился первый интегрированный «военно-промышленный комплекс» в современном смысле этого слова, прошедший в своем развитии два этапа.

Железные дороги обеспечили первый этап, усиливая военную мотивацию к вмешательству в экономическое развитие. После первоначального периода недоверия высшее командование увидело, что железнодорожное сообщение может произвести революцию в военной логистике. Железнодорожное планирование в Великобритании испытывало влияние военно-морского флота для обеспечения сообщения с портами и верфями. Повсюду высшее командование, государственная элита и класс капиталистов сотрудничали все теснее для строительства национальной системы железных дорог. Чем позже начиналось развитие, тем больше участвовали в планировании маршрутов военные, встревоженные войнами, в которых мобилизация железных дорог повлияла на исход войны — в пользу Франции в итальянской кампании 1859 г., в пользу Севера в Гражданской войне и в пользу Пруссии в 1866 и 1870 гг. Поэтому новые пути железнодорожного сообщения во Франции, России, Австрии и Германии требовали разрешения военных и их участия. Государственный контроль возрос (Pearton 1984: 24).

Второй этап — этап развития, который МакНил (McNeill 1983: 279) называет командной технологией, начался с гонки вооружений 1880-х гг. Ему в середине века предшествовало начало массового производства ружей и пуль — прусских казнозарядных ружей, французских пуль Минье и амери-

канских ружей Кольта и Спрингфилда, в которых использовались взаимозаменяемые механические детали. Затем французские военно-морские верфи начали производить железные корабли, и гонка вооружений продолжилась. Масштаб производства возрастал через слияния и картели (при поощрении государства). У производителей (как в нынешних Соединенных Штатах) были единственные основные заказчики, для которых производимые товары были именно потребительской, а не меновой стоимостью. Военизированные государства просто *вынуждены были* иметь эти товары практически любой ценой. Они вмешивались в экономику, хотя в основном с помощью финансового стимулирования. Государства предоставляли кредит для производства вооружений в масштабах, которых не обеспечил бы рынок частного капитала. Требилкок (Trebilcock 1973) уверен, что между 1890 и 1914 гг. масштаб кредитов на военные нужды сравним с более ранними инвестициями в железные дороги. Технологическое развитие подстегивалось спросом военных. Большинство технологических прорывов этой эпохи — от взаимозаменяемых механических частей и бессемеровского способа превращения чугуна в сталь до широкого набора легких сплавов, турбин, дизелей и гидравлической техники — были результатом деятельности военно-промышленного комплекса. Производители желали удержать клиентов, столкнувшись с динамичной международной конкуренцией, и были способны накачивать в исследовательские работы гораздо больше средств, чем в другие отрасли промышленности (Trebilcock 1969: 481; Pearton 1984: 77–86).

Рассматривая фотографии линкора «Дредноут» — вершины гонки вооружений 1906 г., нам трудно представить, что этот корабль с его огромным корпусом, угловатыми надстройками и бесчисленными выступами когда-то казался таким же футуристическим примером высоких технологий, какими сегодня кажется обтекаемый истребитель F-17 или субмарина класса «Трайдент». Но дредноуты были *символом* второй промышленной революции. Они строились на крупнейших промышленных предприятиях с использованием наиболее прогрессивных технологий и представляли собой максимальную концентрацию огневой мощи в истории. В отличие от своих нынешних аналогов они также обеспечивали массовую занятость.

В США военное государственное развитие вначале отличалось только по форме, затем стало отставать. Федеральное правительство и администрации штатов были больше заинтересованы в расширении и интеграции континенталь-

ного Союза, чем в военной гонке с ведущими державами. Но результаты не слишком отличались от прочих результатов ведущих держав этой эпохи. Правительства давали разрешения и субсидировали строительство каналов, затем железных дорог, чтобы проникнуть вглубь континента, использовали армию в качестве орудия для уничтожения индейцев и военных инженеров. Гражданская война внезапно вызвала к жизни огромный военно-промышленный комплекс и сохранила Союз, сплотивший континент и повысивший концентрацию промышленности. Огромный военный долг, финансируемый за счет государственных облигаций, расширил рынок ценных бумаг, который также финансировал железнодорожные компании. Как утверждает Бенсел (Bensel 1990), именно государство эффективно создало американский финансовый капитализм.

Подъем великой американской корпорации часто объясняют в терминах исключительно технологической и капиталистической логики (Chandler 1977; Tedlow 1988), но, как отмечает Рой (Roy 1990: 30), «решающим актором в создании корпораций было правительство». В действительности он имеет в виду правительства, так как большую часть регулирования осуществляли отдельные штаты. Однако к концу века с проникновением вглубь континента, в отсутствие серьезного геополитического давления американская экономика действительно стала менее этатистской, чем большинство национальных экономик развитых держав. Ее массовый континентальный рынок породил знаменитые корпоративные новшества — сборочный конвейер «Форда-Т», каталог товаров для пересылки по почте Sears, Roebuck and Co, электрическую лампочку, но это не было необходимой чертой капиталистического развития как такового. Германия, другой корпоративный столп второй промышленной революции, напротив, обладала в значительной степени командной экономикой.

6. *Кристаллизация монархического государства поощряла этатистское экономическое развитие.* В отличие от многих промышленных государств большинство «догоняющих» государств были монархиями, основанными на «старом порядке». Автономные монархические державы укреплялись партиями старого режима, более партикуляристскими, чем партии господствующих классов. Этот союз монархии и старого режима обладал собственными частными интересами и целями, стремясь получить налоговые ресурсы, неподотчетные представительским собраниям. Главы 8 и 11 показывают, что такие государства использовали тарифы и доходы

с государственной собственности именно в этих целях. Государственные железные дороги тем самым давали изрядный бонус, принося половину доходов государства Пруссии. Другие государственные инфраструктуры и национализированные отрасли промышленности также служили источниками доходов для всех подобных стран.

Таким образом, произошел заметный военный и в меньшей степени монархический скачок в стратегиях догоняющего развития. Затем смешанные военно-капиталистические мотивы из-за геополитической конкуренции распространились и на партийные демократии. Отношения между основными кристаллизациями государства были в большей степени консенсуальными, усиливая четвертое условие, упомянутое выше. Все больше политика (хотя и не риторика) государственных элит и партий, а также высшего командования и капиталистических классов склонялась к тому, что полагаться только на транснациональную «невидимую руку» рынка было бы не лучшим способом достижения желаемой цели индустриального общества (в Соединенных Штатах эта цель также предполагала интегрированный континентальный Союз).

Следовательно, случаи государственного вмешательства *против* акторов власти гражданского общества были редкими. Со своим набором новых сил государство могло бы стать подлинным левиафаном, как полагает Гидденс (Giddens 1985). Логистические препятствия к проникновению в любой уголок территории исчезали, инфраструктуры государства равномерно разрастались по всему гражданскому обществу, сокращая его историческую отстраненность от государства, и некоторые из господствующих классов уже желали дать политическому режиму регулирующую, даже иницирующую власть в экономике. Но «государственное вмешательство» в партийных демократиях означало в основном координацию, убеждение и стимулирование, а не принуждение. И хотя монархии использовали фискальные возможности, чтобы обойти партийную демократию, они не обращали их против класса капиталистов.

Такая идея редко приходила к ним. Монархи, партии старого режима, высшее командование и буржуазные партии имели различные, порой конкурирующие интересы, но они не находились в диалектическом, антагонистическом конфликте. Капиталисты приветствовали государственный кредит, коммуникационные инфраструктуры и протекционизм. Гонка вооружений обеспечивала рынки для их средств производства, а полная занятость создавала рынки потребительских товаров. Они признавали, что интересы высшего командования и государствен-



ной элиты не были их собственными интересами, торговались с обеими группами, но общий баланс был положительным. Монархические государства провозглашали, что они строят железные дороги, создают государственную и лицензируют частную промышленность из-за нейтральных технократических мотивов. Прусский министр торговли заявлял, что «неважно, кто именно строил железные дороги, пока кто-то их строил» (Henderson 1958: 187). «Догоняющие» государства помогали частным капиталистам достичь экономического развития, а военным — закрепить и, возможно, расширить его. Сами же они могли преспокойно использовать получаемые в результате доходы, чтобы избежать партийной демократии.

Поскольку капиталистические, военные и монархические цели и кристаллизации были в широком смысле совместимы, никто не выбирал между ними. Кристаллизации государства были *аддитивными* (взаимодополняемыми), что, как мы увидим, имело катастрофические последствия. Государственные элиты и партии редко выступали против капитализма. На самом деле прибыльные отрасли промышленности были необходимы им для получения товаров и доходов с налогов. Также они веками поддерживали права частной собственности. Когда государства сталкивались с антагонистическими классовыми конфликтами, они обычно принимали сторону господствующих классов, хотя это могло маскироваться их стремлением к общественной морали и порядку. Позднее мы увидим, что автономия государства была выше во внешней политике, чем во внутренней, где государство было гораздо сильнее подчинено господствующим классам.

Но государства не только поддерживали капиталистическую собственность. Половина их ресурсов уходила на военное соперничество с другими государствами. Так как военная и капиталистическая кристаллизации переплетались, государства и класс капиталистов получали более высокую национальную организацию и более территориальные концепции интересов, хотя это и не было намеренным результатом действий какой-либо стороны. Поскольку геополитическое соперничество производило обратное влияние на политическую экономию стран, рано испытавших индустриализацию, уже *их* организация становилась более национальной и *их* концепции интересов — более территориальными. Это было основной автономией власти государств XIX в., не преднамеренной стратегией государственной элиты, а в основном непреднамеренными последствиями четырех переплетавшихся кристаллизаций государства: капиталистической, военной, партийно-демократической или монархической — и возникавшей нации-государства.

## СОЦИАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО, МИЛИТАРИЗМ И МОНАРХИЗМ

Таблица 11.5 показывает три крупных расширения гражданских функций государства. Обсудив инфраструктурный рост и национализацию ресурсов, я перехожу к наименьшему из них — социальному обеспечению — первым росткам «социального гражданства» по Маршаллу. Как показывает табл. 11.5, партийные демократии отнюдь не были лидерами в благотворительности. На самом деле Великобритания и Франция лишь начинали реализовывать современные схемы социального обеспечения, причем Великобритания сделала решительный шаг к прогрессивному налогообложению лишь в конце периода. Но до этого лидером в социальных расходах оставалась Германия. Наиболее знаменита бисмаркианская схема социального страхования, хотя до 1913 г. ее стоимость не превышала проводимой на местном уровне социальной помощи и схем британского закона о бедных (Steinmetz 1990a, 1990b). Таблица 11.5 также не учитывает заметных социальных выплат во Франции и США в рамках военных расходов. Первые шаги к государству всеобщего благоденствия выглядят военизированными и монархическими.

У режимов теперь появилась более широкая «полицейская» проблема. Капитализм и урбанизация ослабили локально-региональный сегментарный контроль над низшими классами. Неимущие работники в условиях капиталистических рынков периодически оказывались обездоленными, мигрирующими и склонными к мятежам. Крестьяне были отягощены долгами вследствие коммерциализации, охватившей сельскую местность. Поскольку капитализм также снабдил рабочих и крестьян новыми возможностями коллективных действий (см. последующие главы), требовались более универсальные формы общественного контроля, особенно в быстрорастущих городах.

Обеспечение режимом правопорядка длительное время было двойственным, сочетавшим полицейские меры с социальным обеспечением. В главе 12 мы видели, что полицейские меры стали более разнообразными с появлением полувоенных, а затем и гражданских полицейских сил. Разнообразнее стало и социальное обеспечение. Традиционно в нем преобладало местное законодательство о бедных. Но эти законы испытывали деформацию по мере того, как индустриализация, географическая мобильность и секторальная безработица развивались все более неравномерно. В Великобритании и Германии (вероятно, также и в странах, по которым меньше информации) законодательство о бедных стало крупнейшей статьей граждан-

ских расходов в первой половине XIX в. Пособия были минимальными, а те из них, на которые бедняки имели права, были практически бессмысленными — ни о каком социальном гражданстве не шло и речи. Обездоленные, инвалиды или престарелые могли и не голодать, если позиционировали себя как заслуживающие заботы, зачастую путем простого зачисления в работные дома. Но развивались и две другие формы социального обеспечения: самострахование и избирательное государственное социальное обеспечение. Эти формы подразумевали не всеобщее социальное гражданство, но секционное и особенно сегментарное социальное обеспечение, направленное на построение сетей лоялистов среди рабочих и крестьян.

Самострахование возникло снизу, из товарищеских обществ — главной «защитной» функции первых профсоюзов (см. главы 15 и 17). Оно процветало среди относительно высококвалифицированных рабочих и в защищенных ремеслах, поэтому одобрялось и иногда даже поощрялось доминирующими классами как показатель бережливости и респектабельности, отделявший ремесленников от нижестоящих «опасных классов». Самострахование, вероятно, поощряло секционализм среди низших классов, но практически не включало государство до самого конца рассматриваемого периода.

До этого времени некоторые государства уже принимали сегментарные схемы социального обеспечения. Франция Нового времени и США родились в вооруженной революционной борьбе и войнах массовой мобилизации. Многие взрослые мужчины погибли или стали калеками, защищая свои государства. Уже существовавшие ситуативные выплаты искалеченным солдатам, вдовам и сиротам погибших были институционализированы и расширены. Французская система пенсий ветеранам и раненым была введена революционерами и усилена при Бонапарте. К 1813 г. она составляла 13% военного бюджета, так как более 100 тыс. ветеранов получали пенсии. Такое положение сохранялось до 1914 г. (Woloch 1979: 207–208).

В США федеральное правительство выплачивало пособия в связи со смертью и по нетрудоспособности ветеранам и иждивенцам с 1780-х гг., и к 1820 г. эти выплаты превышали все федеральные гражданские расходы. Они достигали максимумов во второе и третье десятилетия после каждой войны, а затем шли на спад. Гражданская война расширила их до реальной системы пенсий по возрасту. К 1900 г. половина престарелых местных белых мужчин получали пенсии. На Севере и на Среднем Западе ветераны составляли от 12 до 15% электората. В великой армии республики (общество северян — ветеранов Гражданской войны. — *Примеч. пер.*) в 1890 г. насчитывалось 428 тыс. человек,

более половины численности всех рабочих профсоюзов. В 1892–1900 гг. военные пенсии вновь превысили все федеральные гражданские расходы, перед тем как пойти на убыль. Но с 1882 по 1916 г. они поглотили от 22 до 43% общих федеральных расходов. Хотя более бедное государство Конфедерации не выдавало пенсий, большинство южных штатов ввели, пусть и дорогие, пенсии начиная с 1890-х гг. США были первым государством социального обеспечения — малоизвестный факт, но оно ограничивалось теми, кто продемонстрировал верность своему государству (этот параграф основан на исследованиях Орлоффа и Скочпол (Orloff and Skocpol; см. Orloff, 1988).

Действительно, США и Франция привнесли военный отенок в гражданство. Французы иногда определяли гражданство как *l'impôt du sang* — налог кровью, то есть военная служба. Конституция США закрепила понятие гражданской милиции, часто трактуемое как гарантирующее право носить оружие (включая автоматическое). Эти государства встраивались в граждан-солдат, вознаграждая их за прошлую службу и покупая политическую поддержку среди социальных групп, в которые входили ветераны. Буржуазные режимы Франции XIX в. обычно не проникали в крестьянские массы. Большая, хорошо вознаграждаемая армия создала лояльную ячейку в каждой французской деревне. К 1811 г. в большинстве департаментов на тысячу человек приходилось как минимум три пенсионера (Woloch 1979: 221–229) — на первый взгляд не очень большое количество, но это было, возможно, самое крупное проникновение государства начала XIX в. в гражданское общество. Америка отличалась от Франции. Избирательное право для белых взрослых мужчин и двухпартийная система привели к конкуренции за голоса фермеров и рабочих. На Севере возникла Республиканская коалиция белых рабочих и промышленного капитала. Согласие рабочих Севера по вопросу тарифов было куплено отчасти за счет пенсий ветеранам. Эти виды «социального гражданства» были избирательными и сегментарными, не всеобщими. Режимы получали от крестьян и рабочих не партикуляристскую лояльность к кланам или местной общине (как в аграрных обществах), а новую лояльность к универсальной нации-государству.

Пруссия-Германия и Австрия не последовали примеру Франции и США в плане выплат ветеранам. Однако их ветераны, особенно сержанты, получали преимущество в праве найма на государственную гражданскую службу, как и во Франции, (см. главу 13). Более того, эта политика сочеталась с избирательными программами социального обеспечения, впервые введенными Бисмарком.

«Догоняющие» в промышленном развитии страны могли заранее пресекать угрозы и извлекать выгоды из зарубежного опыта. Иностранцы, посещавшие Великобританию, писали не только о развитых технологиях, экономической динамике и парламенте, но и об убогости городов, преступности и классовых конфликтах. Немецкая интеллигенция, все более концентрировавшаяся вокруг государства, была хорошо информирована о чартизме и поняла, что может случиться, если оставить индустриализацию во власти «невидимой руки». Они распознавали «британскую болезнь» — классовый конфликт, который, как считал Бисмарк, также фатально подорвал боеготовность французских армий в 1870 г., изучали английское законодательство по защите бедных, кооперативы и товарищеские общества, французские национальные работные дома, бельгийские и французские страховые фонды по болезни и преклонному возрасту и бельгийские общества взаимного страхования. В Германии параллельно существовали различные схемы страхования, когда либеральные модели самопомощи конкурировали с «социальными» или «патриархально-монархическими» моделями (Reulecke 1981). Династические монархии практиковали партикуляристское социальное обеспечение. В 1776 г. Пруссия ограничила продолжительность рабочего дня шахтеров восьмью часами, гарантировала фиксированный доход, запретила детский и женский труд и создала пенсионную схему — и все это как побочный продукт освобождения шахтеров от воинской повинности. Австрийские министры при Марии-Терезии и Иосифе II вводили различные меры социального обеспечения, которые, впрочем, были урезаны из-за отсутствия средств.

Но Германия была первой страной, трансформировавшей партикуляристские выплаты в довольно общие. Социальное страхование Бисмарка составляло 10% расходов рейха с момента его принятия в 1885 г., 20% через 20 лет функционирования и 30% к 1910 г. Мы можем оценить значение этих цифр, поскольку практически весь остальной бюджет шел на военные цели. Защита рабочих от нищеты и убеждение работодателей помогать им стали фундаментальными целями режима. Впрочем, остальные страны не последовали этому примеру. Австрия предприняла сходные меры в 1885–1887 гг., но их охват оставался минимальным (Macartney 1971: 633; Flora and Alber 1981). Даже собственно немецкое законодательство было не во всем таким щедрым, как кажется. Согласно ему выплаты в результате несчастного случая и по болезни были низкими, покрывавшими лишь половину заработка, а сколько-либо адекватная пенсия выплачивалась в возрасте 70 лет (позднее — 66) при условии,

что рабочий проработал 300 дней в году в течение 48 лет. Вклад государства был лишь в пенсии, так что эта схема была практически обязательным самострахованием. Она не касалась гораздо более спорной темы производственной безопасности или инспекции условий труда, которые могли бы в первую очередь предотвращать несчастные случаи и болезни (Tampke 1981), потому что нарушало права собственности.

Бисмарк предпринял попытку установить сегментарный контроль над рабочим движением, надеясь увести квалифицированных организованных рабочих от социализма. Законы о социальном страховании были его пряником, антисоциалистические законы — кнутом. Он не добивался энтузиазма от рабочих, он лишь хотел, чтобы классовая борьба не подрывала государство и его армии. Снятие бремени нищеты с наиболее квалифицированных промышленных рабочих казалось ему адекватной ценой.

Но существовала и потенциально более общая причина — экономическая концентрация капитала. Законы Бисмарка расширяли практики, уже складывавшиеся в некоторых отраслях тяжелой промышленности (Ullman 1981). Крупные промышленники были основными сторонниками законодательства, вводившего пенсии по возрасту и нетрудоспособности и страхование от несчастных случаев (хотя позднее они же противились страхованию по безработице), вначале направленного против мелких предпринимателей. В действительности дефицит средств вынудил Бисмарка принять больше из схемы самострахования, в защиту которого выступали крупные работодатели, чем он изначально намеревался. Позднее схемы социального обеспечения получили значительную поддержку от нового сектора — легкой промышленности. Поскольку стимулы к труду воплощались в условиях приема на работу, они были склонны коммодифицировать социальное обеспечение по капиталистическому образцу (Steinmetz 1990a, 1990b). Законы Бисмарка предполагали меньшее социальное обеспечение со стороны государства (как часто утверждается), чем в американских или японских корпорациях конца XX в.: рабочие, получающие выгоду от корпоративных внутренних рынков труда, становятся лояльными к капитализму (а иногда и к милитаризму), отвергая профсоюзы и социализм. Это законодательство действительно стремилось институционализировать классовый конфликт, как утверждал Маршалл, но путем опутывания класса сегментарными организациями, привязывающими привилегированных рабочих к их работодателям и государству.

Таким образом, эти ранние французские, американские и немецкие схемы помощи нуждающимся воплощали два прин-

ципа: первый — права служившего на военной службе гражданина, получаемые от нации; второй — самострахование, поощряемое как монархизмом, так и корпоративным капитализмом. Ни один из этих принципов не был правом, предоставляемым всем гражданам (тем более всем взрослым жителям). Эти права предоставлялись избирательно лишь тем, кто отдавал ключевые военные или экономические ресурсы капиталу и режиму. Намерения, а иногда и эффект этих схем заключались в сегментарном перенаправлении классового сознания в национализм или секционализм.

Однако обе схемы радикально расширили сферу деятельности государства, которая теперь простиралась далеко за пределы локальных сегментарных сетей власти. Эти схемы также могли быть расширены партийными демократиями. Накануне Первой мировой войны многие британские либералы, американские демократы и французские радикалы стали связывать социальное обеспечение с прогрессивным налогообложением. Лишь Либеральная партия, побуждаемая изобретательным и умеющим убеждать политиком, провела такое законодательство до 1914 г. Ллойд Джордж свел профсоюзные и частные внутрифирменные страховые схемы в более комплексную, регулирующую государством систему. Ее выгоды по-прежнему не были универсальным правом гражданина, потому что они были ограничены мужчинами, формально и стабильно трудоустроенными, но были уже слишком общими для сегментарной стратегии «разделяй и властвуй», хотя и нацелены на снижение популярности Лейбористской партии. Важнее то, что они были увязаны с прогрессивным подоходным налогом. Нищета одних должна была систематически компенсироваться за счет богатства других — первое признание государством социального гражданства. Государство Нового времени как раз переходило к своему третьему кардинальному изменению.

За этими различными схемами стояло три основных условия — развитие экстенсивных и политических низших классов, массовая военная мобилизация и корпоративный капитализм. Если бы они сохранились, тогда, вероятно, сегментарные социально-военные и классово-секциональные права могли бы трансформироваться во всеобщее социальное гражданство. Все три условия сохранялись. В Европе двух мировых войн массовая военная мобилизация в реальности стала тотальной войной, вовлекавшей всех граждан. Лишь в США сегментарные права в значительной степени пережили третье кардинальное изменение в жизни государства — появление социального гражданства. Но это произошло уже после периода, обсуждаемого в этом томе.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВАМ 11–14

Эти четыре главы отразили два кардинальных модернизационных изменения в жизни государств Запада. В течение XVIII в. государства стали намного крупнее: они достигли максимальных размеров по отношению к своим гражданским обществам примерно в 1800 г., а затем пошли на убыль. Но их функции оставались традиционными, узкими и преимущественно военными. Государства едва ли были чем-то большим, чем сборщиками налогов и сержантами по вербовке рекрутов, хотя к исследуемому периоду они уже глубоко и накрепко «вгрызались» в общественную жизнь, тем самым политизируя ее. В ходе второй трансформации, с конца XIX в., они выросли не столько в (относительном) размере, сколько в своем функциональном охвате. Их гражданские функции продолжали умножаться. Одновременно все большая часть общественной жизни политизировалась, хотя не столь болезненно и интенсивно, как в конце XVIII в. К 1914 г. государства стали дуалистическими — военно-гражданскими. Оба кардинальных изменения значительно повлияли на отношения между государством и гражданским обществом. Государства стали более представительскими и более бюрократизированными, так как государственные элиты и партии искали способы координировать свои расширившиеся функции. А гражданские общества «натурализовались» в нации-государства, заключенные в «клетку» властью государства и его границами.

Второе кардинальное изменение — расширение гражданских функций государства — не увеличило ни автономной, ни деспотической власти государственных элит, как подчеркивает теория элиты. Напротив, государства были дуалистическими, с элитами в центре и партиями, расходящимися от центра к краям. Чем больше политизировалась общественная жизнь, тем сильнее становились партии, но не элиты. Теории капиталистического государства, сводящие все к классам, становятся правдоподобными, если мы ограничиваемся рассмотрением его внутренней гражданской деятельности по отношению к доминирующему классу. Но с этими шорами на глазах Маркс попал в точку, описав британское государство XIX в. как буржуазный «пакт взаимного страхования» или как «исполнительный комитет по управлению общими делами буржуазии», хотя он в чем-то недооценил ограничения, которые могли накладываться на капитализм морально-идеологические и партийно-демократические кристаллизации. Эти ограничения приводили к многочисленным вмешательствам государства в капиталистические



свободы, хотя обычно посредством убеждения, стимулирования и скрытого действия, чем посредством открыто враждебного капитализму законодательства. В общем государства кристаллизовались более открыто как капиталистические, чем как какие-либо еще. Во внутренних делах государство в этом плане было скорее не актором, а местом на арене власти. Его единственной целью было обеспечение определенной степени сплоченности государственных институтов.

Во многом то же самое можно сказать об американских и французских государствах, хотя в США элиты и партии распределялись по различным уровням управления, а Юг оставался исключением, в то время как во Франции их сосредоточили в столице. Конечно, в полуавторитарных монархиях Пруссии и Австрии и тем более в самодержавной России монархические партии обладали большей автономией власти (хотя элиты были редко сплоченными). Но в целом по конкретным историческим причинам государство, игравшее главную роль в этот период, — именно государство Западной Европы и Северной Америки преимущественно уступало в терминах открытой борьбы за власть во внутренней политике классу капиталистов, господствовавшему в гражданском обществе. Это не всегда было так, но редукционистская экономистическая теория хорошо отражает внутреннюю политику государств в XIX в.

Такой редукционизм, однако, игнорировал бы две дальнейшие кристаллизации государства, которые, соединившись, производили революцию в капитализме и общественной жизни по всему миру. Во-первых, рост инфраструктурной власти государства не был совершенно нейтральным. Он усиливал политизацию и натурализацию социальной жизни, подталкиваемые вперед еще с более ранних времен. Это не было прямой антагонистической борьбой, подобно той, которую Маркс приписывал классам. Вновь, бессознательно, без чьего бы то ни было умысла сети власти были перенаправлены к территориям государств, заключению в «клетку» и натурализации общественной жизни. Даже в более интимных областях они также исподволь придавали территориальный характер общественным концепциям идентичности и интересов. Государство Нового времени кристаллизовалось во все большей степени как *нация-государство*. Затем это переплелось с долгосрочной политической борьбой за то, насколько централизованным и национальным или децентрализованным и федеральным должно стать государство, что привело к образованию промежуточных форм национальной централизации (хотя в этом моменте США отставали, а Австрия склонялась к конфедерализму). Классовый редукционизм также игнорирует третью, *военную* кристаллизацию государства

модерна. Теперь военная кристаллизация не была доминирующей кристаллизацией государства, как ранее, но стала более автономной кристаллизацией внутри государства с большей способностью к изолированному инфраструктурному контролю над своими вооруженными силами, потенциально очень опасной кристаллизацией (как предполагается в главе 12 и доказывається в главе 21).

В течение всего XIX в. эти две дальнейшие кристаллизации перенаправили (пусть и неравномерно) капитализм и общественную жизнь в более национальные и территориальные формы, а капитализм, в свою очередь, перенацелил их. Три кристаллизации государства — капиталистического, нации-государства и военного государства, как представляется, действовали на более высоком уровне общих причинно-следственных связей в этот период, чем остальные. Но они никогда не входили в прямое антагонистическое противостояние друг с другом, поэтому мы не можем окончательно ранжировать их, но они также не входили в систематический компромисс, для описания которого мы могли бы использовать теорию плюрализма. Большинство государств *выглядели* сравнительно гармоничными, их партии и элиты разделяли в широком смысле консенсус о целях правительства — в Великобритании с середины века, во Франции, Германии и США — на два-три десятилетия позднее, а в Австрии консенсус так и не сложился. Однако это был случайный, непродуманный и не проверенный временем и испытаниями консенсус. Кристаллизации были аддитивными, дополняющими друг друга без серьезных обсуждений противоречий между ними, особенно, как мы видим в главах 9 и 10, в полуавторитарных монархиях. Партийно-демократические или монархические кристаллизации в этот период добавляли, как мы увидим в дальнейших главах, еще больше частных и разнообразных влияний, но, поскольку ни одно из государств не было еще полностью представительским, теория плюрализма играет лишь ограниченную роль в объяснении происходившего.

Поскольку государства становились все в большей степени полиморфными, их внешняя сплоченность была иллюзорной. В прежние эпохи многие государства действительно были сплоченными, так как контролировались маленькими элитами и их довольно партикуляристскими партиями — принцами, олигархиями купцов, священниками или военными бандами. Они обладали значительной автономией в политической сфере, которую они контролировали, однако вне ее они заключили в «клетку» очень малую часть общественной жизни. Мы видели, как автономия приходила в упадок, а заключение в «клетку», напротив, возрастало. Государства получили следующую анато-

мию: элиты в центре и расходящиеся от центра к краям партии, через которые организовывалась значительная часть гражданского общества. Но по мере того как государства стали такими, они потеряли свою прежнюю партикуляристическую сплоченность.

Базовым положением моей работы является то, что общества не являются системами. Не существует структур, предопределяющих, детерминирующих человеческое существование, по крайней мере таких, которые могли бы различить социальные акторы или социологи-наблюдатели, находящиеся среди них. То, что мы называем обществом, — это лишь нежесткая совокупность различных, пересекающихся и накладывающихся друг на друга сетей власти. Государства к рассматриваемому времени прошли половину пути в представительстве и бюрократической организации этого разнообразия, но без систематических столкновений, ранжирования и компромиссов, вытекающих из полиморфных кристаллизаций. Опасность этого для существования человечества заключалась в том, что государства теперь могли мобилизовывать ужасающие коллективные силы, в то время как государственный контроль (как, впрочем, и любой коллективный контроль) над ними был крайне несовершенным. Глава 21 продемонстрирует, как в июле 1914 г. случайный аддитивный полиморфизм европейских государств начал сокрушать всю цивилизацию с множеством акторов власти.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Bensel, R. (1990). *Yankee Leviathan: The Origins of Central State Authority in America, 1859–1877*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bland, L. (1982). “Guardians of the race” or “vampires upon the nation’s health”? female sexuality and its regulations in early twentieth-century Britain. In *The Changing Experience of Women*, ed. E. Whitelegg et al. Oxford: Oxford University Press.
- Chandler, A. D. (1977). *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*. Cambridge, Mass.: Belknap Press.
- Cronin, J. E. (1988). The British state and the structure of political opportunity. *Journal of British Studies* 27.
- Daviet, J.-P. (1988). Some features of concentration in France (end of the nineteenth century/twentieth century). In *The Concentration Process in the Entrepreneurial Economy Since the Late Nineteenth Century*, ed. H. Pohl. Wiesbaden: Steiner.
- Davin, A. (1978). Imperialism and motherhood. *History Workshop* 5.
- Digby, A. (1982). *The Poor Law in Nineteenth-Century England and Wales*. London: Historical Society.
- Feldkirchen, W. (1988). Concentration in German industry, 1870–1939. In *The Concentration Process in the Entrepreneurial Economy Since the Late Nineteenth Century*, ed. H. Pohl. Wiesbaden: Steiner.
- Flora, P., and J. Alber (1981). Modernization, democratization, and the development of welfare states in Western Europe. In *The Development of Welfare States in Europe and America*, ed. P. Flora and A. J. Heidenheimer. New Brunswick, N.J.: Transaction Books.

- Gerschenkron, A. (1962). *Economic Backwardness in Historical Perspective*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; Гершенкрон, А. (2015). *Экономическая отсталость в исторической перспективе*. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.
- . (1965). *Typology of industrial development as a tool of analysis*. Second International Conference on Economic History. Paris: Mouton.
- Giddens, A. (1985). *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press.
- Good, D. F. (1984). *The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750–1914*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Grew, R. (1984). *The nineteenth-century European state*. In *Statemaking and Social Movements*, ed. C. Bright and S. Harding. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Hannah, L. (1975). *The Rise of the Corporate Economy*. London: Methuen & Co.
- Henderson, W. O. (1958). *The State and the Industrial Revolution in Prussia, 1740–1870*. Liverpool: Liverpool University Press.
- Keller, M. (1977). *Affairs of State: Public Life in Late Nineteenth-Century America*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Kemp, T. (1978). *Historical Patterns of Industrialization*. London: Longman Group.
- Koven, S., and S. Michel (1990). *Womanly duties: maternalist politics and the origins of the welfare states in France, Germany, Great Britain, and the United States, 1880–1920*. *American Historical Review* 95.
- Kunz, A. (1990). *The state as employer in Germany, 1880–1918: from paternalism to public policy*. In *The State and Social Change in Germany, 1880–1980*, ed. W. R. Lee and E. Rosenhaft. New York: Berg.
- Lubenow, W. C. (1971). *The Politics of Government Growth: Early Victorian Attitudes Toward State Intervention, 1833–1848*. Hamden, Conn.: Archon Books.
- Macartney, C. A. (1971). *The Hapsburg Empire, 1710–1918*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- MacDonagh, O. (1977). *Early Victorian Government, 1830–1870*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- McKay, J. P. (1970). *Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization, 1885–1913*. Chicago: University of Chicago Press.
- McNeill, W. H. (1983). *The Pursuit of Power*. Oxford: Blackwell; Мак-Нил, У. (2008). *В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках*. М.: Территория будущего.
- Marsh, P. (ed.). (1979). *The Conscience of the Victorian State*. Syracuse, New York: Syracuse University Press.
- Mayer, A. (1981). *The Persistence of the Old Regime*. New York: Pantheon.
- Mitchell, B. R. (1975). *European Historical Statistics, 1750–1970*. New York: Columbia University Press.
- Orloff, A. (1988). *The political origins of America's belated welfare state*. In *The Politics of Social Policy in the United States*, ed. M. Weir et al. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Pearson, M. (1984). *Diplomacy, War and Technology Since 1830*. Lawrence: University of Kansas Press.
- Pollard, S. (1981). *Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe, 1760–1970*. Oxford: Oxford University Press.
- Prais, S. J. (1981). *The Evolution of Giant Firms in Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pryor, F. L. (1973). *Property and Industrial Organization in Communist and Capitalist Nations*. Bloomington: University of Indiana Press.
- Reulecke, J. (1981). *English social policy around the middle of the nineteenth century as seen by German social reformers*. In *The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany*, ed. W. J. Mommsen. London: Croom Helm.
- Roy, W. G. (1990). *Functional and historical logics in explaining the rise of the American industrial corporation*. *Comparative Social Research* 12.
- Sen, G. (1984). *The Military Origin of Industrialization and International Trade Rivalry*. New York: St. Martin's Press.
- Senghaas, D. (1985). *The European Experience: A Historical Critique of Development Theory*. Leamington Spa: Berg.
- Skowronek, S. (1982). *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877–1920*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Soderberg, J. (1985). Regional economic disparity and dynamics, 1840–1914: a comparison between France, Great Britain, Prussia and Sweden. *Journal of European Economic History* 14.
- Steinmetz, G. (1990a). The local welfare state: two strategies for social domination in urban imperial Germany. *American Sociological Review* 55.
- . (1990b.) The myth and the reality of an autonomous state: industrialists, Junkers and social policy in imperial Germany. *Comparative Social Research* 12.
- Sutherland, G. (ed.). (1972). *Studies in the Growth of Nineteenth Century Government*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Tampke, J. (1981). Bismarck's social legislation: a genuine breakthrough? In *The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany*, ed. J. Mommsen. London: Croom Helm.
- Taylor, A. J. (1972). *Laissez-Faire and State Intervention in Nineteenth Century Britain*. London: Economic History Society.
- Tedlow, R. S. (1988). The process of economic concentration in the American economy. In *The Concentration Process in the Entrepreneurial Economy Since the Late Nineteenth Century*, ed. H. Pohl. Wiesbaden: Steiner.
- Tilly, R. (1966). The political economy of public finance and the industrialization of Prussia, 1815–1866. *Journal of Economic History* 26.
- Trebilcock, C. (1969). "Spin-off" in British economic history: armaments and industry, 1760–1914. *Economic History Review*, 2d ser., 22.
- . (1973). British armaments and European industrialization, 1890–1914. *Economic History Review*, 2d ser., 26.
- . (1981). *The Industrialization of the Continental Powers, 1780–1914*. Essex: Longman Group.
- Ullman, H.-P. (1981). German industry and Bismarck's social security legislation. In *The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany*, ed. W.J. Mommsen. London: Croom Helm.
- Watkins, S. C. (1991). *From Provinces into Nations. Demographic Integration in Western Europe, 1870–1960*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Weber, E. (1976). *Peasants into Frenchmen*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Weeks, J. (1981). *Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality Since 1800*. London: Longman Group.
- Woloch, I. (1979). *The French Veteran from the Revolution to the Restoration*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

## ГЛАВА 15

# Обратимый подъем британского рабочего класса, 1815–1880 годы

### ТЕОРИИ ДВИЖЕНИЙ РАБОЧЕГО КЛАССА

**Б**ОЛЬШИНСТВО историй рабочего движения берут начало в Великобритании. На протяжении XIX в. Великобритания была единственной промышленно развитой страной с единственным крупным рабочим классом. Примечательно, что, как показано в табл. 15.1, число рабочих на производстве превышало число рабочих в сельском хозяйстве еще во время битвы при Ватерлоо, в 1815 г., то есть фактически на 100 лет раньше, чем в любой другой великой державе (что также видно из табл. 19.1).

Раннее возникновение британского рабочего класса сделало его уникальным. Когда в начале XX в. другие крупные державы индустриализировались со сравнимой по размеру численностью трудовых ресурсов, характер индустриализации, государства и класса претерпел трансформацию. Тому, что произошло в Великобритании и с движением чартистов, и с первым пролетариатом, не суждено было повториться. Тем не менее первый рабочий класс тогда рассматривался — и часто является таковым по сей день — как прототип будущего. В Великобритании жили Маркс и Энгельс, последний управлял фабрикой в Стокпорте. Их теория рабочего класса базировалась в основном на британском опыте и фактически повлияла на всех последующих авторов. Они выдвинули четыре основных тезиса:

- 1) капитализм распространил качественное различие между капиталистическим и рабочим классом во всем гражданском обществе как между *одинаково* «универсальными классами»;
- 2) промышленный капитализм сконцентрировал рабочую силу, сделав рабочих коллективно взаимозависимыми в процессе производства и на рынке труда. Трудящиеся стали *взаимозависимым* «совокупным рабочим», формирующим

ТАБЛИЦА 15.1. Доля британских трудовых ресурсов по секторам, 1801–1881 гг.

	1801	1821	1841	1861	1881
Сельское хозяйство*	35	29	23	19	13
Промышленность, горное дело	29	39	44	49	49
Сфера услуг	29	31	34	32	38

\* Включая лесоводство и рыболовство.

Источники: 1801, 1821 гг. — Evans 1983: 412, который также дает несколько заниженные показатели для промышленности за 1841 и 1861 гг.; 1841, 1861, 1881 гг. — Vairoch et al. 1968.

профсоюзы и предпринимателям коллективные классовые действия;

- 3) сходство и взаимозависимость усиливаются вне рабочего процесса за счет тесных рабочих *сообществ*, способных к автономной социальной и культурной организации;
- 4) три способности к коллективному действию порождают классовую политику и *социалистическую партию*, способную к захвату политической власти путем революции, если необходимо.

Несмотря на то что здесь можно согласиться со многими утверждениями, я отхожу от модели Маркса и Энгельса в пяти пунктах.

1. Хотя трудящиеся действительно превратились в «совокупного рабочего», это редко означало их превращение в единый рабочий класс, особенно в рамках исключительно («чисто») экономического конфликта. Как отмечал Вебер, рабочие обладали более разнообразными ресурсами экономической власти, чем полагал Маркс. Хотя никто из них не владел средствами производства, многие контролировали предложение их профессиональных навыков на рынке труда, что Паркин (Parkin 1979) определяет как закрытость (*closure*), то есть препятствование входу на рынок других работников, стремящихся использовать такие же навыки. Поскольку в XIX в. был избыток предложения рабочей силы, закрытость зависела от штрейкбрехеров (*blacklegs* — в Великобритании и *scabs* — в Америке). Маркс и Энгельс были убеждены, что капитализм усреднил профессиональные умения, сделал их меновыми стоимостями, легко взаимозаменяемыми. Таким образом, чтобы не пустить на рынок других работников,

рабочие должны были распространить свои комбинации на весь класс, договорившись не становиться штрейкбрехерами. И все же капиталистическое развитие не привело к равномерному снижению требований к квалификации. Возникли две альтернативные группировки рабочих.

- А. Сегментарная взаимозависимость рабочих со своими коллегами по предприятию и работодателями стала больше, чем их связь со всеми рабочими в целом. Трудовые отношения по сути своей двойственны. Хотя работодатели и работники конфликтуют, они также должны сотрудничать в рамках ежедневного взаимодействия: работодатель — для получения прибыли, работник — для получения заработной платы. Конфликт и взаимозависимость — два лика Януса в области трудовых отношений. Взаимозависимость усиливается, если дефицитные трудовые навыки являются специфическими для конкретного работодателя или если трудовые навыки приобретаются на рабочем месте. Работник лишен возможности уйти, поскольку на внешнем рынке труда он считается неквалифицированным. Но во время забастовок работодатель не спешит обращаться к услугам штрейкбрехеров, поскольку это подразумевает расходы на их обучение и неэффективность труда в краткосрочной перспективе. Работодатели и работники могут общими усилиями развивать *внутренние рынки труда*, на которых рабочие места стратифицированы по принципу необходимого обучения, и повышение происходит изнутри, от нижних до верхних должностей. Работодатели и работники все еще остаются в состоянии конфликта, но усиливается и их взаимозависимость. Работники выделяются из массы внешних трудовых ресурсов, и конфликт становится специфическим для данного работодателя, не относящимся к классу в целом.
- В. Вторая форма взаимозависимости не включает работодателей, а относится лишь к работникам, но внутри более узких *секционных* группировок, определяемых квалификацией, профессией или отраслью. Квалифицированные работники или мастера особенно склонны к коллективному действию для контроля вступления обученных работников в свою область. Делая это, они становятся менее уязвимы для штрейкбрехеров, и им не приходится искать поддержки более широких масс рабочих для их ограничения. Их стратегия может представлять собой чисто секционную стратегию «рабочей аристократии». Квалифицированные работники могут достаточно уверенно противостоять своему работодателю, но не ощущать при этом своей принадлежности к единой тотальности рабочего класса. Режимы и работодатели



также могли снискать доверие работников, обладавших такой властью на рынке труда, оставляя репрессии для менее привилегированных работников. Таким образом, секционализм среди работников приветствует применение сегментарных стратегий их противниками.

Работники, не вовлеченные ни в одну из этих узких взаимозависимостей, более уязвимы к действиям штрейкбрехеров. Им приходится искать более широкой общности в целях ограничения поступлений альтернативных трудовых ресурсов, двигаясь в сторону классовых определений идентичности и оппозиции. Напротив, обеим этим более узким общностям противостоят два оппонента — работодатели и внешние работники. Привилегированные работники-инсайдеры борются против угрозы замены аутсайдерами. Эта фундаментальная секционнo-сегментарная линия разлома отделяет квалифицированные сферы занятости от неквалифицированных, а также цеховые и отраслевые профсоюзы от промышленных профсоюзов или профсоюзов общего типа. Такие подразделения будут повсеместно встречаться в этой и следующих главах наряду с элементами более широкой классовой организации.

2. Маркс и Энгельс оставили неразрешенной напряженность между диффузными и авторитетными аспектами капитализма. Иногда они подчеркивали диффузный характер капитализма, иногда конкретный авторитетный пункт классовой борьбы, по-разному описанный как трудовой процесс, место производства и непосредственные производственные отношения. До недавнего времени большинство марксистов были «производственниками» [сторонниками трудовой парадигмы], считая, что производственные отношения определяют классы и классовую политику, обычно используя отношения на заводе в качестве модели производственных отношений в целом. Однако трудовые процессы порождают сегментарные или секционные конфликты так же часто, как и классовые. Давая пояснения относительно более широких классовоподобных рабочих движений, я в меньшей степени останавливаюсь на заводах и трудовых процессах и в большей степени на диффузии капиталистических товарных отношений в гражданском обществе. Из последующих глав станет ясно, что это не просто академическая дискуссия. Производственнические идеологии, особенно марксистские, снизили потенциально более высокую привлекательность пролетарской идентичности и социалистических партий.
3. Кроме того, марксизм имеет тенденцию к экономическому редуccionизму. Тезисы 3 и 4 относительно общностей ра-

бочего класса и политики, казалось бы, вносят коррективы, но Маркс, Энгельс и их последователи рассматривали их как по большей части определяемые отношениями экономической власти, воплощенными в тезисах 1 и 2. Я не согласен с этим, как и многие другие до меня.

Кристаллизации политической власти также формировали классы и классовый конфликт. Маркс, Энгельс и большинство последующих авторов пренебрегали государством, рассматривая политику рабочих как в существенной мере определяемую их экономическими условиями. Современные авторы несколько это исправили, высказав наблюдение, согласно которому политика может быть результатом борьбы как таковой, а не просто результатом первоначальных экономических условий. Но этого все еще недостаточно. Когда государство стало вмешиваться в конфликты между работодателями и работниками, другие кристаллизации государства стали структурировать движения рабочего класса особенно в том, что касалось формирования или усиления линий разлома. Поскольку государства претерпели серьезные изменения на протяжении этого периода, как показано в главе 11, то же произошло с их политической структуризацией труда. Отношения политической власти на глубинном уровне формировали возникновение или невозникновение рабочего класса.

4. Аналогично сообщества рабочих не были всего лишь пассивными реципиентами в отношениях власти, сконцентрированными вокруг производства. Они также формировали производственные отношения, как было признано в исследовании, посвященном американским рабочим (см. главу 18). Но это также усиливало особое влияние, оказываемое на них более интимными социально-семейными и гендерными отношениями. Маркс мало интересовался гендерным вопросом, Энгельс был заинтересован в нем больше, но они рассматривали рабочий класс, подразумевая мужской и универсальный рабочий класс. Однако классы всегда были переплетены с семейными и гендерными отношениями. В этой главе заявлено, что в Великобритании XIX в. произошел сдвиг от семейно и общинно ориентированного рабочего класса к рабочему классу, ориентированному на мужчин и работу, что имело последствия для сегментарно-секционной организации в противовес классовой.
5. Следствием всех вышеприведенных пунктов является то, что классовый конфликт редко представляет собой прямую диалектическую антагонистическую борьбу, поскольку она включала множество аспектов с индивидуальной, хотя и не-

противоречивой логикой. В случаях, когда имел место прямой конфликт, по моему мнению, он не мог быть разрешен диалектическим революционным способом, о котором говорил Маркс. В антагонистической борьбе капиталистический класс отчетливо чувствует угрозу снизу и ограничивает свой внутренний фракционализм. Рабочий класс с большей вероятностью проигрывает в антагонистическом классовом конфликте, чем выйдет из него победителем.

Как обычно, я уделяю основное внимание классовой организации, а также использую модель субъективного классового сознания (subjective class consciousness) ЮТА (*identity* (идентичность), *opposition* (оппозиция), *totality* (тотальность), *alternative* (альтернатива)), представленную в главе 2. Вспомним, что идентичность, оппозиция, тотальность и альтернатива являются идеальными типами, односторонне подчеркивающими элементы, которые в социальной реальности встречаются лишь частично и не в полной мере. Восприятие себя в качестве члена рабочего класса, противостоящего капиталистическому классу, обычно соперничает в сознании рабочего с другими основами коллективной идентичности и оппозициями, а сильное чувство классовой тотальности встречается редко даже среди активистов. Сейчас я анализирую еще несколько альтернатив для рабочего класса. В табл. 15.2 приведена классификация основных альтернатив, воспринимаемых рабочими (и крестьянами) XIX и XX вв., по отношению к противостоящему им капитализму.

Рабочие движения различаются по степени своего радикализма — от конкурентных до реформистских и революционных — и по тому, стремятся ли они трансформировать государство так же, как и промышленные отношения. Это порождает три пары альтернатив. Первая пара — наиболее умеренная: капитализм остается без изменений, но рабочим предоставляются возможности конкурировать в условиях капитализма. Если они принимают существующие рыночные правила и условия, хотя бы используя коллективную солидарность для получения рыночного преимущества, я называю это *протекционизмом*. Кооперативы обычно являются протекционистскими, как и фабрики по модели Роберта Оуэна, или Земельный план чартистов, или масштабная баскская Мондрагонская кооперативная корпорация сегодня. Они являются по сути своей коллективистскими, но действуют на внешних рынках совсем как капиталистические предприятия. Наиболее широко распространенный протекционизм обеспечивался страховыми фондами, которые дали большинству профсоюзов XIX в. их нынешние имена: общества взаимопомощи в Великобритании, благотворительные

ТАБЛИЦА 15.2. Рабочие и крестьянские альтернативы капитализму

Тактическая область борьбы	Стратегия в отношении капитализма		
	Конкурентная	Реформистская	Революционная
Экономика	Протекционизм	Экономизм	Синдикализм
Государство	Мутуализм	Социал-демократия	Марксизм

общества в Соединенных Штатах, общества поддержки (*Unterstützungsverein*) в Германии.

Однако рабочие, как правило, отказывались от простого протекционизма из-за дискриминации в рамках существовавших правил и законов рынка. В таком случае они требовали юридического признания профсоюзов, легализации, чтобы облегчить трудности кооперативов с получением кредитов и накоплением капиталов. Это *мутуализм*, который отстаивал Прудон. Предположительно социальная демократия по большей части оказывается мутуалистской, стремящейся к государственному регулированию только с целью защиты прав и свобод рабочих организаций. Борьба профсоюзов за свои коллективные права носила принципиальный [а не оппортунистический] характер. Большинство людей XIX в. не рассматривали государства как дружественные и, как правило, под словом «свобода» понимали свободу *от* государства. Мутуалистские права плюс разумные и сговорчивые работодатели были всем, чего, вероятно, хотело большинство рабочих профсоюзов. На протяжении этого тома я подчеркиваю, что, как и в ходе всей предыдущей истории, люди редко хотели заниматься политикой. Они предпочли бы избегать государство, но становились политизированными, когда государство вмешивалось в их дела. Маршалл писал, что права на организацию профсоюзов были несовместимы с его концепцией частного гражданства, даже будучи легальными, они были по сути своей коллективными. Но режимы сопротивлялись таким правам на протяжении всего XIX в., иногда ожесточенно, таким образом сводя на нет концепции Маршалла об эволюционных стадиях гражданства. В некоторых случаях коллективные организационные права не предоставлялись вплоть до второй половины XX в., когда большинство других гражданских и общеполитических прав уже давно были получены. Сопротивление режима легализации профсоюзов стало *основной* причиной политизации рабочих, как только государственные фискальные сборы начали сокращаться в начале XIX в. Если существующее государство не хотело предоставить

организационные свободы, его, по всей видимости, следовало трансформировать. Рабочие повернулись в сторону других альтернатив, перечисленных в табл. 15.2.

Вторая пара альтернатив была направлена на изменение капитализма путем реформ изнутри. *Экономизм* описывает профсоюзы, стремящиеся улучшить свое положение за счет непосредственных сделок с работодателями. Экономизм не ограничивался требованиями относительно оплаты труда; в вопросах контроля на рабочем месте торг тоже был уместен. *Социал-демократия* обозначает политический реформизм (хотя и это вводит в заблуждение — данный термин появился как определение марксистских революционных партий). Третья пара альтернатив была направлена на свержение капитализма путем революции. Тех, кто стремился к революции с помощью экономических средств — восстаний рабочих, массовых забастовок, называли *синдикалистами* (иногда анархо-синдикалистами); тех, кто стремился к захвату государства, я называю *марксистами*. Синдикалисты умышленно держались в стороне от государства, марксисты выступали за централизованный государственный социализм (как временную стадию социализма). Как мы увидим, сталкиваясь с враждебными капиталистами и режимами, многие активисты резко переходили от мутуализма к двум революционным альтернативам, минуя реформизм, который вышел на передний план лишь после Первой мировой войны.

Это все идеальные типы. Рабочие редко руководствовались чем-то одним, скорее в их сознании сочетались элементы всех альтернатив. Их произвольные комбинации являлись тем, что в то время определялось как «социализм». Как только рабочий класс перешел к политическим альтернативам, он стал — и оставался — продемократическим. Рюшмейер, Стивенс и Стивенс (Rueschmeyer, Stephens and Stephens 1992) отмечают, что рабочие в современном мире непрерывно и последовательно добивались демократии. Поскольку государства, контролируемые господствующими классами, не бросили бы их на произвол судьбы, рабочие требовали, чтобы государства контролировались населением (изначально мужским). Я рассматриваю в этой главе одно из самых ранних демократических движений.

Наконец, следует отметить еще две последние особенности. Во-первых, поскольку промышленный капитализм неуклонно распространялся в Великобритании XIX в., «производственники»-марксисты, вероятно, ожидали, что движение рабочего класса также будет устойчиво развиваться. Однако агрессивные действия рабочего класса в Великобритании достигли своего пика в форме чартистского движения 1830–1840 гг. и затем трансформировались в намного более умеренное и секци-

онное движение. Британский рабочий класс, вероятно, никогда не был столь един и активен, как на ранней стадии чартизма. Чем вызвано такое нелинейное развитие? Во-вторых, для развития рабочего класса характерно организационное новшество: рабочие могли противостоять организационным хитростям, которые ранее послужили укреплению социальной стратификации. Прежде народ очень редко выступал в качестве исторических акторов, поскольку классовая структура была асимметричной; господствующие классы были способны к более экстенсивной организации, чем подчиненные классы. В Великобритании их организационному превосходству пришел конец в XIX в., в других странах — в конце XIX — начале XX в. Как и почему это произошло?

### ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И НАРОДНАЯ ПОЛИТИКА, 1760—1832 ГОДЫ

Три революции конца XVIII в., которые уже обсуждались в главе 1, трансформировали классовые отношения в Великобритании: расцвет предпринимательского капитализма, современное государство и массовая дискурсивная грамотность. Первые два явления я рассмотрел последовательно, а третье — в ходе рассказа о первых двух<sup>1</sup>.

Уникальность британского сельского хозяйства заключалась в том, что оно уже было капиталистическим к 1760 г. и состояло почти полностью из землевладельцев, фермеров-арендаторов и безземельных трудящихся семей. Многие безземельные мужчины и женщины теперь были вынуждены искать работу в городе, предлагаемую работодателями, крупными арендаторами-посредниками, почти полностью захватившими в частную собственность производственные и коммерческие ресурсы. Для этих работников различия между сферами производства и услуг, а также между фабрикой, цехом или улицей в качестве рабочего места имели мало значения.

Предприниматели также угрожали большинству ремесленников. В главе 4 обсуждалось, что ремесленники занимали неоднозначное классовое положение между обладавшим собственностью «народом» и не обладавшим собственностью «простонародьем». Занимавшие неопределенное подвешенное положение где-то рядом с нижними слоями мелкой буржуазии, они исторически обладали своей особой организацией. *Гильдии*

---

1. Основные источники: Thompson 1968; Perkin 1969: 176–217; Musson 1972; Prothero 1979; Hunt 1981; Calhoun 1982.

объединили городские кварталы и квалифицированный профессиональный труд в локальные общины, состоявшие из домов мастеров, их семей и подмастерий, нежестко интегрированных в национальную политическую организацию. Гильдия лицензировалась и регулировалась государством, в свою очередь сохраняя за собой монополию на поставку ремесленных навыков. Мобильные подсобные рабочие, квалифицированные работники по дереву, камню, коже и металлу (число последних росло) организовывались как *мастеровые*<sup>2</sup> и ездили по стране, совместно контролируя квоты трудовых ресурсов и ставки оплаты (Leeson 1979). Позднее большая часть этих двух организаций вошла в менее жесткие ремесленные организации, которые создали *артельщиков* (*tramping* — дословно «передвижничество», «организации странствующих ремесленников, умельцев, мастеров»). Ремесленники использовали разные условия локальной трудовой организации и транспортные сети, чтобы увести рабочую силу из одной местности, получить преимущества от переезда и найти работу в другой местности. Все эти организации были, в сущности, *протекционистскими*, устанавливали собственные тарифы и редко вступали в торг с работодателями. Артели позволили квалифицированным рабочим XVIII в. организовываться более экстенсивно, чем их работодателям. Например, в 1764 г. 6 тыс. бастующих лондонских портных «исчезли» в сельской местности по артельной сети. Артели также могли обойти законы об объединениях (Combination Acts), которые объявили профсоюзы вне закона между 1799 и 1824 гг. Экстенсивная организация и мобильность позволяли ремесленникам организационно превзойти работодателей и торговцев.

Однако ремесленники составляли не более чем 5–10% рабочей силы, обеспечивая секционную, но не классовую организацию, ограниченную рамками каждого ремесла. Между ними и массой сельскохозяйственных работников или городских временных работников была пропасть. Затем в начале XIX в. ремесленники также ощущали на себе давление предпринимателей. Когда рынок труда стал национальным, организационное превосходство артелей перед предпринимателями ослабло. Ремесленники также потеряли контроль над закупками материалов и продажей своей продукции. Представители некоторых промышленных профессий, особенно слесари-монтеры и ткачи, ли-

---

2. *journeuten* от фр. *journée* — «день» и англ. *men* — в данном случае «подмастерье» не эквивалентно «поденщикам», в отличие от которых *journeuten*, то есть мастеровые, были квалифицированными, что подтверждалось сертификатом, могли наниматься на ежедневно оплачиваемую работу, но не могли выступать мастерами и нанимать. — *Примеч. пер.*

шились своих рабочих мест и контроля над наймом новых рабочих, когда работодатели захватили их рынки и мастерские и заменили их станками и неквалифицированными работниками. В двух крупных современных отраслях промышленности — хлопковой и железоделательной — начал появляться заводской пролетариат, в хлопковой промышленности это были в основном молодые незамужние женщины и дети. Наполеоновские войны повысили давление на весь рынок труда в целом, поскольку с ними пришла массовая безработица, а также сокращение заработной платы, усугубленные ростом численности населения и массовым переселением в города (O'Brien 1989). Намного более высокая смертность (от инфекционных болезней) в городах также снизила долю работоспособного населения.

Предпринимательское уравнительное наступление, теперь направленное на ремесленников, привело к сокращению заработной платы, трудоустройству более низкооплачиваемых женщин и детей, введению контролируемых предпринимателем схем обучения подмастерьев и лишило ремесленников прямого доступа к сырью и прямого контакта с потребителем. Ремесла стали «переполненными». Некоторые ремесленники жестоко эксплуатировались надомными работниками, другие выживали за счет обслуживания заводских цехов.

Однако мы должны тщательно оценить природу той группы, которой предстояло стать рабочим классом. Лишь малая часть этих людей работала на фабриках, за исключением разве что хлопковых, и даже они в большинстве были небольшого размера. В 1851 г. средняя текстильная фирма насчитывала немногим более 100 рабочих рук, хотя вместе с прядильщиками и ткачами среднее число достигало чуть более 300. К 1890 г. эти средние значения практически удвоились (Farnie, цитата по Joyce 1980: 158; все прочие данные в этом параграфе взяты из Clapham 1939: I, 184–193, II, 22–37, 116–133). Существовало несколько крупных горных разработок и металлургических заводов. В 1838 г. на корнуоллских оловодобывающих шахтах трудилось в среднем около 170 работников, на предприятиях по добыче угля среднее национальное число рабочих составляло всего 50 человек, хотя дюжина северо-восточных шахт имела более 300 работников. В 1814 г. Карронский металлургический завод давал работу 2 тыс. человек (крупнейшая мануфактура в Европе), но в среднем на шотландских металлургических заводах работало 20 человек. Существовал ряд фабрик по изготовлению стекла, ножевых изделий, керамики или шерсти. По оценкам переписи 1871 г., половина занятых в промышленности (или четверть всех трудоустроенных) работали на «заводах», но каждый из них имел в среднем всего 86 рабочих рук.



По большей части производство велось в маленьких цехах, большая часть которых не использовала паровую энергию. Единичные механизмы обычно стояли автономно, эксплуатировались и обслуживались вручную с обеих сторон. «Баланс преимуществ между паровой энергией и технологиями ручного труда в середине викторианской эпохи был далек от совершенства» (Samuels 1977: 58; Greenberg 1982).

То же можно сказать о занятых в современных отраслях. В переписи 1851 г. крупнейшими секторами с большим отрывом являлись сельское хозяйство и работа домашней прислуги, за ними следовали производство хлопка, строительная промышленность, труд разнорабочих, галантерейщиков, сапожников, шахтеров, портных, прачек, моряков и производителей шелка. Женщин и мужчин было почти поровну. На заводах преимущественно работали молодые незамужние женщины и дети. Большинство мужчин перемещались туда и обратно, перевозя товары, которые они или их семьи производили на дому или в небольших цехах либо использовали собственные инструменты для обслуживания машинного оборудования, либо оговаривали цены за работу, выполняемую на заводе. В малых городах и деревнях многие домашние хозяйства совмещали производственную и сельскохозяйственную деятельность. Хотя мастера лишились части своей автономии, они оставались независимыми работниками по договору, контролируя и оплачивая труд своих работников, которые зачастую были членами их семей. Однако теперь их контроль редко был надежным. Большая часть заводских рабочих, а также работников, трудившихся на дому, в цехах, полях, шахтах или на улицах, были временными. Разнообразие и беспорядочность трудоустройства распространялись эндемично.

Таким образом, заключает Джойс (Joyce 1990: 145–153), пролетаризация была незначительной, как и чувство классовой идентичности. Я прихожу к противоположному выводу: предпринимательская фаза капитализма создала парадокс в лице рабочих, частично объединенных самим фактом их неоднородности. Но, чтобы осознать это, мы должны выйти за рамки производственного подхода и современной концепции занятости или профессиональной занятости и рассмотреть явление семьи и сообщества. Секционализм ремесленников сохранился, и в сегментаризме работодателей начались возмущения, но это редко определяло целостную идентичность для семей рабочих. Завод появился наряду с цехом, домохозяйством и улицей, а официальная занятость — наряду с ремеслом и временным наймом. Но границы не были непроницаемыми. Скорее эти сферы проникали друг в друга, мешая какому-либо одному

статусу занятости охватить множество семей или местных сообществ. Самый отчетливый секционализм, вероятно, противопоставлял бы мужчин женщинам и детям, однако они жили вместе и часто были членами домашнего производства, взаимопроницающего по отношению к цеху и заводу.

В этот период домашнее хозяйство представляло собой меру классовой солидарности, проходившую по самым разным трудовым процессам, образуя тесные связи между домом, работой и сообществом. Постоянному трудоустройству в противовес временному позднее суждено было отделить завод от домашнего хозяйства и улицы, рабочих-мужчин от рабочих-женщин, а квалифицированных рабочих от неквалифицированных. Но неоднородность рабочих на раннем этапе индустриализации распространялась на большинство рабочих мест, домашних хозяйств и семей, объединяя рабочих особым недооцененным способом, который в меньшей степени являлся результатом заводского рабочего процесса, чем диффузии предпринимательского капитализма, через поразительно разные рабочие процессы, а также через рабочее место, домашнее хозяйство и общину.

Такой процесс формирования класса был лишь частичным и сам по себе едва ли мог привести к серьезному классовому коллективному действию. Но он подстегивался тремя кристаллизациями британского государства: капитализмом «старого порядка», милитаризмом и федерализмом (в том смысле, в каком он упоминается в табл. 3.3), которые теперь стали испытывать давление тенденций к централизации. На протяжении этого периода режим сделал классическую политэкономия буквой закона центрального государства, устранив ограничения, которые мастеровые и гильдии накладывали на свободу торговли [на рынке труда]. Между 1799 и 1813 гг. минимальные размеры жалований, правила для подмастерьев, определяющие прием в ремесла, и фиксированные цены были отменены, а законы об объединениях («Combination Act») 1799 и 1800 гг. запретили профсоюзы. Ремесленники были лишены законодательной защиты от новых рыночных сил. Внутренне негодующие, поначалу аполитичные, они предпринимали попытки секционного сопротивления — одно ремесло за другим. Но большинство цеховщиков сталкивались с теми же угрозами, что и большинство менее квалифицированных рабочих. Так, цеховые профсоюзы отказались от протекционизма в пользу выторговывания экономистических привилегий у работодателей. Результатом этого стали региональные забастовки и локауты: лондонские сапожники бастовали в 1818 и 1824 гг., ланкаширские хлопкопрядильщики — в 1824 и 1828 гг., судостроители — в 1824 г., брэдфордские чесальщики шерсти — в 1825 г., операторы механических и ручных ткацких

станков — в 1826 г., ткачи киддерминстерских ковров — в 1828 г., лондонские портные — в 1834 г. Все эти забастовки были подавлены. Последовали дополнительные сокращения заработной платы, потогонный труд, заводское и «домашнее» трудоустройство молодых женщин и детей, разбавление квалифицированных рабочих неквалифицированными и еще большее перенасыщение рынка труда. Забастовочное движение в чем-то усилило классовую идентичность некоторых рабочих, но ничего не достигло.

Таким образом, рабочие были вынуждены иметь дело с национальным государством, что сначала выражалось в традиционных демонстрациях и петициях парламенту. Вышестоящие и хорошо организованные отрасли возглавили этот процесс: производители шелка, сапожники, часовщики, дубильщики кожи, столяры-краснодеревщики, плотники, портные, шорники и печатники. Они руководили растущими инфраструктурами дискурсивной грамотности среди рабочих, возглавляя институты мастеровых (*mechanics' institutes*) и оуэновские лектории (*halls of science*) (которых к 1850 г. насчитывалось 700 плюс 500 читальных залов), кассы взаимопомощи, религиозные организации, газеты и журналы. Экономическое, политическое и образовательное лидерство распространялось на другие группы, на которые влияли наступательные действия, в частности, надомных рабочих, таких как ткачи. Требования теперь становились *мутуалистскими*, направленными на признание центральным государством коллективных прав профсоюзов, регулирование ученичества, установление справедливых цен и жалований и компенсаций рабочим, вытесненным машинным оборудованием.

Две парламентские противоположности — радикалы и крайние консерваторы — сочувствовали этому движению, но без видимых результатов. Законы об объединениях и правда были отменены в 1824 г., однако последовавшая за этим забастовка спровоцировала принятие закона 1825 г. об ограничении прав рабочих, и в этом мы видим типичный буржуазный образ действий, заключающийся в предоставлении только коллективных организационных прав, рассматриваемых как тесно связанные с выражением индивидуального своекорыстия, что считалось морально обоснованным. Только работники, фактически посетавшие собрания, повестка дня которых была строго посвящена их заработной плате, ценам и рабочим часам, имели законное право на объединения. Все более широкие объединения считались преступными сговорами с незаконным ограничением торговли. Это означало объявление вне закона всех общих и национальных профсоюзов, а также большую часть цеховых профсоюзов, все еще осуществлявших контроль над производством.

Несмотря на то что суды признавали невозможность фактического преследования локальных собраний, забастовки могли иметь место и происходили. Профсоюзы подвергались репрессиям немногим реже, чем в эпоху законов о собраниях, и теперь репрессии практически в равной мере затрагивали и рабочих, и ремесленников, которые ранее имели возможность обходить эти законы. «Старый порядок» осознал, что моральное сочувствие судьбе рабочих не должно препятствовать прогрессу, в то время как политэкономисты считали, что фактически *моральными* были бы законы, защищавшие свободную торговлю [свободный наем]. Парламент отказался принять соответствующие законы, таким образом заблокировав мутуализм.

Как мы увидим, всякий раз, когда централизованные режимы подавляли рабочих, ратующих за протекционизм или мутуализм достаточно равномерно (хотя недостаточно жестко, чтобы сломить сопротивление), рабочие волнения расширялись, выходя на классовый и национальный уровень. Какое-то время в их стремлениях преобладал *реформизм*: если государство не собирается защищать их, значит, государство нужно реформировать. В главе 4 показано, как требования права голоса резонировали в некоторых народных традициях. Э. П. Томпсон (E. P. Thompson 1968: 213) отмечал, что рабочий класс не был создан из «некоего неопределенного единообразного сырого человеческого материала». Другие социальные идентичности, переданные историческими традициями, — религия, народная политика и национальные понятия о «правах свободнорожденного англичанина», а также протестантское моральное равенство (как позднее мы увидим во французской и американской республиканских традициях) питали протесты рабочих, а иногда и классовое сознание. В радикальной традиции естественных прав от Локка до Пейна требования права голоса всегда поддерживались социальными притязаниями — правом на средства к существованию, согласно которому земля принадлежит сообществу для общего блага, и потребностью в ограничении благосостояния. Как мы видели в главе 4, появление гражданского общества, расцвет современного государства и геополитическое соперничество способствовали нисходящему распространению популизма — более народной, радикальной и национально централизованной идентичности.

Однако этому также в значительной степени способствовала милитаристская кристаллизация государства. Как показано в главе 11, войны XVIII в. требовали масштабных человеческих и финансовых ресурсов. Великобритания, обладавшая капиталоемким флотом и армией, по большей части состоявшей из иностранных и ирландских рекрутов, больше нужда-

лась в деньгах, чем в новобранцах. Она добывала деньги в соответствии с приоритетами, в основном определяемыми ее кристаллизацией капиталистического «старого порядка», занимала у богатых и возвращала долги, взимала налоги, в основном акцизные сборы на ежедневно потребляемые пиво, табак, соль, сахар, чай, уголь и жилье. С 1800 по 1834 г. (пока не сократилось бремя выплаты долгов) это бремя оставалось тяжелым и регрессивным, перераспределяя средства от тех, у кого не было сбережений, к тем, у кого они были, и имело более широкие экономические последствия. Во время войн инфляция росла со скоростью 3% в год, в то время как реальная заработная плата сокращалась. Массовая безработица продолжалась и в мирное время, поэтому помощь бедным оставалась основной гражданской функцией государства. Пособия были необходимы почти миллиону человек, подвергаемых унижительному контролю со стороны локального правящего класса, и многие их семьи распадались в работных домах (workhouse). Политика, как и экономика, эксплуатировала не только мужчину-работника, но и его семью. Центральное правительство имело четкие приоритеты. В период с 1820 по 1825 г. помощь бедным поглощала 6% его расходов, в то время как денежные переводы держателям облигаций составляли 53% (O'Brien 1989). Как могли семьи рабочих не стать политизированными, если фискальная эксплуатация оказывала масштабное влияние на их жизни, воплощая очевидное классовое неравенство? Волнения связывали реформу права голоса с экономической реформой государства и социальной политики. За счет ремесленных инфраструктур дискурсивной грамотности государство осуждали как наносящее ущерб народу (простонародью).

Таким образом, здесь переплелись три волнения: протест, возглавляемый ремесленниками и надомными работниками против эксплуатации капиталистическими предпринимателями; переход этого недовольства на мутуалистскую и демократическую политику, направленный на политическую экономику; популистский протест против фискально-политической эксплуатации народа капиталистическим государством «старого порядка». Таким образом, многие рабочие были радикализованы на национальном уровне, причем их чувство классовой идентичности росло. После 1800 г. они использовали термины «рабочий класс» в повседневном обиходе и «рабочие классы» в более общем смысле (Briggs 1960). Рабочие позаимствовали у мелкой буржуазии трудовую теорию стоимости — мы работаем, а бездельники пожидают плоды нашего труда. В 1834 г. оуэновская газета *Crisis* произвела подсчет показателей для двух классов: к трудящемуся населению, производителям всех ма-

териальных благ и производительным классам принадлежал 8 892 731 человек, а 8 210 072 человека принадлежали к непроеводительным классам. Газета выражала недовольство тем, что, в то время как производители получали 100 млн фунтов стерлингов ежегодно, непроеводители получали 331 млн фунтов стерлингов (Hollis 1973: 6–8). Авторы из числа ремесленников провозглашали дихотомию «мы — они». «Мы» зависим от коллективных действий, основанных на нашей этике взаимной защиты, дающей моральное превосходство над эгоизмом противника (Thompson 1968: 456–469).

Было ли у этих «мы» четкое представление о классовом враге? До 1832 г. не было, поскольку политический враг не совпадал с экономическим. В действительности политические союзники часто были экономическими врагами. Мелкая буржуазия, включая малых предпринимателей, также являлась скорее потребителями, чем лицами, производящими сбережения, и они также не имели права голоса. Реформистская борьба была в большей степени популистской, чем классовой, ею злоупотребляли демократы, якобинцы или левеллеры, которые выступали не под классовыми знаменами. Радикалы целились скорее не в предпринимателей, а в рантье, ставленников старой коррупции, живущих на свою ренту и за счет лицензируемых государством монополий. Активные капиталисты приводили радикалов в замешательство. Газета *Crisis* выделила третий промежуточный класс, состоявший из «дистрибьюторов, суперинтендентов и промышленников», которые (вызывая гораздо меньше гнева) были «нужны, но не в большом количестве». Некоторые ремесленнические газеты рассматривали предпринимателей как классовых врагов: «Интересы господ и простых людей настолько же противоречат друг другу, насколько свет противоречит тьме» или «Капиталисты не производят ничего, кроме самих себя; они питаются, одеваются и живут за счет рабочих классов» (Hollis 1973: 45, 50). Однако рабочие также противостояли парламенту, локальным мировым судьям, приходским священникам, политэкономистам, шпионам и провокаторам, регулярной армии и локальной йоменской милиции. Старая коррупция, церковь и король или политэкономия часто казались более серьезными и грозными врагами, чем их собственный хозяин. Нападки на них также могли дать поддержку сверху, иногда в форме сегментарных альянсов с трудящимися классами против старой коррупции, иногда с патерналистскими элементами «старого порядка» против политэкономии (особенно в более поздний период), а иногда в форме протестантского или пуританского популизма.

Они распространяли сегментарные, часто локальные связи, отнятые у любого чисто классового сознания (Prothero 1979:

336; Stedman-Jones 1983; Joyce 1991). Действительно, до 1832 г. враг не представлял собой отдельно взятый класс. Хотя многие его представители объединялись против рабочего класса, по праву голоса он был на глубинном уровне разделен по вопросу, какие классы должны иметь представительство, а также насколько протестантским должно быть государство (см. главу 4). Эти ослабленные локально-сегментарные средства контроля над рабочими, их политическое недовольство были поддержаны радикальными предпринимателями и даже в 1830 г. партией вигов.

Политические группировки ослабили классовую концепцию альтернативы. Наиболее популярные радикально-экономические альтернативы были предложены Робертом Оуэном. Его поддержка протекционистских кооперативов-производителей апеллировала к желанию ремесленников и надомных работников добиться равного доступа на рынок. Существовали также течения мутуалистов. На протяжении 1820-х гг. Джон Грей, Томас Ходжкин и Уильям Томпсон в газете *The Poor Man's Guardian* и *The Pioneer* нападали на капиталистов и паразитов из числа людей со средним достатком, вмешивавшихся в законное право ремесленников на рынок, которое государство должно было бы гарантировать. Ноэль Томпсон (N. Thompson 1988) называет их «смитианцами-социалистами». Лишь немногие из них поддерживали реорганизацию производственных, а не рыночных отношений, как и современные социалисты. Это было бы неприемлемо с учетом недовольства мастеровых в тот период. Однако экономические воззрения были подчинены политической борьбе за право голоса. Хотя многие рабочие скептически относились к политическому альянсу с радикальной буржуазией (особенно когда видели условия парламентских реформ (Reform Acts), альтернатив у них было немного, как не было возможности создать желанное мутуалистское законодательство без них. Зарождающийся класс объединял семьи рабочих, участвующих в самых разных трудовых процессах, но политика привнесла неразбериху в их представления о противнике и альтернативе.

Э. П. Томпсон, как известно, назвал этот период «становлением английского рабочего класса» и подвергся за это серьезной критике. Карри и Хартвелл (Currie and Hartwell 1965) объявили заголовок его труда «мифом, конструктом детерминированного воображения и теоретических предпосылок». Они отмечают, как и другие отмечали в отношении Англии (Prothero 1979: 337) и Франции (Sewell 1974: 106), что рабочие движения начала XIX в. обычно включали только ремесленников, что предположение Томпсона о союзе ремесленников и рабочих ошибочно и что «апатичные и молчаливые массы» под ощутимым сегмен-

тарным контролем не были охвачены бурным протестом (Currie and Hartwell 1965: 639; Church and Chapman 1967: 165; Morris 1979 обсуждает концептуальные вопросы). Говорить о существовании единого рабочего класса в 1830 г. и впрямь было бы исторически необоснованно. И все же, чтобы превратиться в оформленную силу и выстроиться в боевой порядок против того же оппонента, что и в экономической борьбе, рабочим требовалась лишь народная политическая борьба, что и произошло после 1832 г.

## ПРОЛЕТАРСКИЕ ВОССТАНИЯ ЧАРТИСТОВ, 1832—1850 ГОДЫ

Опасения рабочих-активистов, связанные с избирательной реформой 1832 г., подтвердились. Как обсуждалось в главе 4, большая часть верхнего слоя мелкой буржуазии и «старого порядка» находилась в процессе слияния в единый капиталистический класс, в то время как государство кристаллизовалось как твердо капиталистическое и чуть более централизованное. Хотя получившие гражданские права промежуточные классы оставались несколько неоднородными и могли быть фракционными, избирательная реформа снизила их политический интерес к судьбе низших классов. Несколько радикальных членов парламента настаивали на дальнейших избирательных реформах, но буржуазный электорат снял большинство из них с должностей к 1837 г. Парламент считал, что избирательный вопрос был урегулирован. Слово «радикальный» теперь имело два разных значения: для групп мастеровых, таких как Лондонская ассоциация рабочих (London Working Men's Association) и ряд активистов среднего класса, оно все еще означало расширение права голоса и государственную защиту жизненных стандартов. Но для многих других оно означало не более чем концепцию невмешательства (*laissez-faire*).

Новый закон о бедных 1834 г. явился олицетворением нового режима, введя более суровые меры по контролю семей рабочих, в то же время сократив полномочия знати по распределению партикуляристской благотворительности. На протестных митингах рабочих было провозглашено, что «расторжение брачной связи есть уничтожение всякой семейной привязанности, жестокое и в высшей степени грубое подавление, когда-либо примененное к бедным любой страны в мире» (цитата по D. Thompson 1984: 35). Генерал Нейпир, командующий северной группой войск в борьбе против чартизма, подчеркивал роль закона о бедных как причины восстания: рабочие клас-



сы «вытряхнули из колоды представительской власти», их ресурсы «были истощены косвенными налогами в счет долгов», и они превратились в «фантом» при помощи нового закона о бедных (Napier 1857: II, 1, 9). Однако реформы муниципальной администрации и новые полицейские власти также укрепили локальную власть нового режима, сделав ее самой представительской из всех локальных господствующих классов. Закон о газетах (*Newspaper Act*) ужесточил лицензирование прессы. Закон о принуждении (*Irish Coercion Act*) свидетельствовал о тяге к репрессиям. Профсоюзы общего типа подавлялись как группы заговорщиков, в частности Всеобщий национальный профессиональный союз 1834 г. (*Grand National Consolidated Trades Union*), включавший предположительно 500 тыс. участников.

Таким образом, на протяжении 1830-х гг. новый режим занимался закалкой национальной идентичности рабочего класса, его оппозиционности и даже тотальности. Его экономическое наступление снизило эффективность узкого ремесленного секционализма и питало моральное нарушение семей. Его политическое наступление, особенно закон о бедных, ударило по беднейшим слоям населения самым прямым образом, но активисты из числа ремесленников оказались в серьезной опасности из-за притеснения организационных прав профсоюзов. Все они хотели права голоса, и поскольку гражданские права теперь были классовыми, им пришлось организоваться как класс. Секционализм и сегментарные средства контроля ослабли, рабочий класс был сформирован. Его основным проявлением был чартизм — так же классово обоснованный, массовый и революционный в своем намерении, как и любое другое движение, обсуждаемое в этом томе.

Чартизм сформировался вокруг единственного вопроса — демократии для взрослого мужского населения и одного документа — Народной хартии 1839 г.<sup>3</sup> Шесть пунктов хартии требовали всеобщего избирательного права для мужчин, годичного срока парламентских полномочий, тайного голосования, отмены имущественного ценза для депутатов, равных избирательных округов и оплаты работы членов парламента. Многие чартисты также поддерживали избирательное право для женщин, но лидеры заявляли, что было бы контрпродуктивным требовать это в настоящий момент. Однако чартисты не ограничивались избирательным правом. Как я подчеркиваю в этом томе, политические гражданские права по существу не являлись самоцелью. Большинство людей предпочитали избегать государства.

---

3. Основные источники по чартизму: Briggs 1959b; Prothero 1971; Jones 1975; Epstein and Thompson 1982; Stedman-Jones 1983; D. Thompson 1984.

Но когда государства начинали эксплуатировать их и, таким образом, запирали в политическую «клетку», они политизировались. Чартисты хотели избирательных прав, чтобы освободиться от нововведений социально-экономической эксплуатации. Они ратовали за более низкие прогрессивные налоги, реформирование закона о бедных, сокращение полномочий местных правительств и полиции, принятие закона о десятичасовом рабочем дне и мутуалистскую защиту от наемного рабства, включая права на организацию профсоюзов. «Хартия и кое-что кроме» — таков был их весьма популярный лозунг. Один арестованный чартист на допросе в тюрьме заявил следующее:

Великая нищета является причиной нашего недовольства: если бы заработная плата была такой, какой ей полагается быть, мы бы и слышать ничего не хотели об избирательном праве. Если господа сделают хоть что-то для рабочих людей, чтобы дать им общие жизненные удобства, мы будем самыми довольными созданиями на земле [D. Thompson 1984: 211].

Классы, получившие гражданские права, не оказали чартистам значительной поддержки, поскольку они не разделяли большую часть их социально-экономических целей. Радикальные реформисты среднего класса действительно помогли им с руководством на начальном этапе, а позднее вмешались вновь (безуспешно), стремясь призвать движение к умеренности. От 10 до 46 народных депутатов также поддержали прочартистские предложения в палате общин, хотя лишь малая часть из них оказала какую-либо еще поддержку. Чартизм стал основным течением в рабочем движении.

Движение собрало разнородную массу рабочих. До наших дней дошло несколько списков активистов, членов и арестованных демонстрантов с указанием их родов деятельности (подробнее см. D. Thompson 1984). Ни один из этих списков не является репрезентативной выборкой, но они соответствуют друг другу. В списках значатся несколько деклассированных элементов и профессионалов: школьные учителя, священники, случайный врач или юрист и лавочники. Но основную массу составляли рабочие, за исключением сельскохозяйственных и домашних слуг, которых держали под строгим сегментарным контролем их работодатели. В Великобритании было мало независимых фермеров; в других странах они были способны к организации и радикализму (см. главу 19). Фактически все прочие работники промышленности и сферы услуг присутствовали в больших количествах, а также надомные работники — ткачи, вязальщики, чесальщики шерсти и гвоздари, представители старых ремесел — сапожники, портные и некоторых строительных ремесел.

Шахтеры и станочники с текстильных фабрик представляли в большом количестве современные профессии, хотя их рабочий порядок означал, что, несмотря на то что среди них было мало организаторов, они часто подвергались арестам. Шахтеры заслужили особую репутацию своими агрессивными выступлениями, а портные, металлурги и деревообработчики принимали большое участие в мирных протестах.

Были представлены мастеровые практически всех профессий, так же как и их профсоюзы. Лишь представители нескольких стойких высших ремесел воздержались от участия. В Лондоне почти все профсоюзы объединились на федеративных началах в чартистские организации, в которые вошли и ремесленники, находившиеся под угрозой, такие как сапожники, плотники и портные, и такие относительно не испытывавшие угрозы «аристократы», как каменотесы, шляпники, мастера по отделке кожи, резчики и позолотчики, а также инженеры (Goodmay 1982). В юго-восточном Ланкашире только профсоюзы с самыми крепкими позициями: печатники, переплетчики и каретчики — оставались в стороне. Почти все прочие профсоюзы объединялись в федерации: хлопкопрядильщики, набойщики и красильщики, портные, сапожники, строительные рабочие и инженеры (Sykes 1982). Большинство ремесленников Ноттингема объединились, хотя находившихся под угрозой вязальщиков и сапожников было больше всех (Epstein 1982: 230–232). Как заключает Дороти Томпсон, работников всех уровней — «от квалифицированных специалистов и светских людей до исполнителей самой грязной работы — можно было найти в рядах чартистов и даже среди их предводителей» (D. Thompson 1984: 233). Ввиду общинного характера движения (который мы обсудим далее), его возглавляли представители тех профессий, которые преобладали в конкретной местности. Профессиональная неоднородность рабочих не мешала классовым действиям.

Один только разброс профессий не передает размаха этого классового движения, поскольку в его основе также лежала община и семья, как в случае раннего производственного капитализма и большинства ранних радикальных рабочих движений (Calhoun 1982). Многие производственные районы состояли из большого или малого городского центра, окруженного деревнями рабочего класса. Они старались организовать пространство относительно свободно от сегментарного контроля сверху, с тревогой отмечал Нейпир. Массовые демонстрации поддерживались участниками, маршировавшими под знаменами таких деревень. В рабочих районах движение концентрировалось вокруг публичных мест собраний сетей дискурсивной или устной коммуникации: церквей, читальных залов, школ,

пабов и газетных лавок. Центром организации была не работа, а сообщество.

Таким образом, среди чартистов было много женщин и женских ассоциаций. Власти, как правило, не арестовывали женщин (и не фиксировали это документально), а поскольку викторианское общество было против участия женщин в волнениях, более поздние воспоминания урезают их роль. Но, вероятно, в этом первом движении рабочего класса участвовало намного больше женщин, чем в любом другом движении до середины XX в. Уничтожение производящего домохозяйства, труд женщин и детей на заводах, принятие закона о бедных и регрессивное налогообложение привели к эксплуатации семей, а не только работников мужского пола, как это было впоследствии. Даже мужчины-активисты разъясняли это. Один выдающийся плакатный лозунг (цитата по Bennett 1982: 96) гласил:

За детей и жен  
Мы на смерть пойдем!  
И да поможет нам Господь.

Женщины также выдвинули два второстепенных требования чартистов — усиление контроля за школьным обучением и ограничение потребления алкоголя. Дороти Томпсон (на данных которой выстроен этот раздел), убеждена, что число женщин — участниц движения пошло на спад в 1840-х гг., когда закон о бедных стал более гуманным и стабилизировались заводские условия работы (D. Thompson 1984: глава 7). Я позднее указываю, что принятие фабричного законодательства (Factory Acts) сделало чартизм более мужским по составу. Чартизм не отстаивал равенство полов. Его предводительство и программа, особенно сама хартия, отражали мужское доминирование, обычное для тех времен. Но современная эксплуатация затрагивала семьи в целом, мужчины и женщины не были четко разделены в вопросах эксплуатации и разделяли некоторые общие средства возмещения ущерба от эксплуатации. Раннее движение рабочего класса не было таким преимущественно мужским, как более поздние, и за счет этого оно было сильнее.

Чартисты, конечно, могли мобилизоваться. Хартия трижды была представлена в парламенте, поддержанная петициями с огромным числом подписей. Подписание представляло собой нижний уровень участия в движении. Чуть менее 1,3 млн человек подписали петицию в 1839 г., 3 млн — в 1842 г. и от 2 до 5 млн — в 1847–1848 гг. (две стороны оспаривают такое количество). Это огромные цифры. Лишь немногие из подписавших могли быть сельскохозяйственными рабочими или домашней прислугой. Поскольку взрослое работающее на производстве

население составляло менее 5 млн, большинство из них, вероятно, подписало хотя бы одну петицию (подписавших из числа среднего класса было немного). Столь же массовой политической активности не было ни в одной другой стране на протяжении XIX в.

Количество активистов было намного меньше, но все же впечатляющим. В 1842 г. Национальная организация чартистов (National Charter Association, NCA) насчитывала 50 тыс. членов в 400 локальных клубах. В конце 1840-х гг. Земельная компания чартистов (Chartist Land Company) включала около 70 тыс. членов. Главная чартистская газета *Northern Star* насчитывала 60 тыс. читателей в лучшие годы. В публичных похоронах убитых активистов участвовало 50 тыс. человек. В некоторых городах активисты раз за разом собирали массовые демонстрации от 4 до 70 тыс. человек (эти данные неточны и в настоящее время являются объектом споров). В 1842 г. секретарь Национальной организации чартистов, присутствовавший на массовых митингах вокруг Бирмингема, писал: «И их всеобщий клич гласил: „Нам нужна Хартия“ — и восхитительно! Но, как восхитительно, ни у одного из тысячи нет [членского] билета» (Erstein 1982: 229). У этого движения было три пика: в 1839–1840 гг., в 1842 и 1848 гг. Мы не знаем числа вовлеченных, но люди с обеих сторон в 1839 г. ожидали всеобщую забастовку, пока руководство не отступило в последний момент. Забастовка 1842 г. была крупнейшей и наиболее всеобщей в Великобритании XIX в.

Чартизм не имел авторитетной организации, то есть сильного руководства из единого центра. Поэтому его идеология и чувство альтернативы (помимо хартии) не были достаточно формализованными, но колеблющимися и многообразными. Движение было агрессивным, с совершенным классовым сознанием и враждебностью к капиталистам. Фергюс О'Коннор, который не считал себя социалистом, все же громко обличал капиталистических работодателей как «торговцев человеческой кровью и хрящами младенцев». По словам современника, «он делил общество всего на два класса — на богатых угнетателей и бедных угнетенных. Весь вопрос решался битвой между капиталом и рабочим классом» (D. Thompson 1984: 251). Бронтер О'Брайен осуждал «капиталистические военные действия». Активисты теперь редко протестовали против старой коррупции, восставали против классового законодательства и миллокрации (*millocrasy*, изобретенное Карлейлем обозначение новой промышленной аристократии, от слова *mill* — завод), шопокрации (*shopocracy* — господство лавочников,) «и любой другой -кратии, которая кормится, отбирая у человека жизненно необходимое», писала об этом *Northern Star* (Stedman-Jones 1982: 14).

Национальные лидеры опасались возникавших подстрекательских настроений в среде общественности или комитетов (из боязни полицейских шпионов), но действия и неосмотрительные слова активистов часто заходили дальше. Забастовки в 1842 г. объявлялись всеобщими в попытке вывести на них всех рабочих. Как гласило одно перехваченное письмо:

Настало время Свободы. Мы хотим, чтобы заработная плата находилась на уровне 1840 г. В противном случае последует Революция. Мы остановили работу всех ремесленников — портных, сапожников, щеточников, трубочистов, лудильщиков, извозчиков, каменщиков, строителей, угольщиков и всех прочих.

Один активист говорил на митинге в Манчестере:

За распространением забастовки может и должен последовать всеобщий мятеж. Власти попытаются подавить его, но мы должны противостоять им. Сейчас у нас нет других средств, кроме борьбы с применением физической силы. Мы должны вести людей в бой, и они должны быть несокрушимы, если они будут едины [D. Thompson 1984: 287, 297].

Современные авторы часто защищают чартистов, поскольку многие из них были социалистами в марксистском или производственном смысле (например, Hobsbawm 1962: 252, 255; Musson 1976; Stedman-Jones 1983). Но это ангажированный телеологический взгляд, очевидно связанный с разочарованностью в буржуазной демократии и Лейбористской партии. Учитывая катастрофическое будущее марксизма, он неубедителен даже в телеологическом плане. Поскольку центральное государство было непосредственной причиной их эксплуатации, оно *по праву* являлось основным объектом нападков. Тогда (как и теперь) избирательное право действительно имело значение и давало хорошие шансы на достижение того, чего хотели активисты, — более гуманного закона о бедных, мутуалистских прав на организацию профсоюзов и более прогрессивного налогообложения.

Сочетание ясных политических и мутуалистских экономических целей, характерное для чартизма, кажется подходящим для эксплуатации семей рабочих в 1830–40-х гг. Как заключает в своем исследовании Дороти Томпсон (D. Thompson 1984: 337), чартизм даже имел приемлемую расширенную программу, в которую входила не столь быстрая централизация (помимо государственной собственности на земли и транспорт), большая локальная автономия, проверка размера экономических единиц и полный отказ от нового империализма. К этому следует добавить более гуманное отношение к детям, в том числе более

эффективное образование и ограничения на потребление алкоголя. Она убеждена, что чартистская программа могла бы замедлить экономический рост. Тем не менее за счет фокусировки политики на проблемах производства она могла бы скорректировать отклонение британского капитализма в сторону торговли, которое было описано в главе 4.

Некоторые чартисты были готовы идти намного дальше, прибегая к революционным методам, чтобы достичь своих целей. Фракция «физической силы» организовала клубы, члены которых вооружились тысячами пик и сотнями мушкетов; они обучали военизированные формирования и устраивали факельные шествия для запугивания местных властей. В 1839 г. существовала некая организация для проведения всеобщего восстания, которое должно было начаться в Ньюпорте, Ньюкасле и Уэст-Райдинге. Почти все национальные лидеры противились этому, хотя многие поддерживали более медленное и систематическое военное обучение и вооружение. Очевидно, были допущены грубые ошибки при планировании, потому что конспираторы разбежались, как испуганные кролики, когда восстание в Ньюпорте было кое-как начато и не смогло распространиться на другие регионы. В Ньюпорте около 5 тыс. копеечников предприняли попытку освободить из тюрьмы заключенных чартистов, до того как еще 20 тыс. повстанцев спустятся с холмов, окружавших город. В 1840 г. имело место ожесточенное противостояние с тщательно подготовленными сражениями в Бери, Бирмингеме и на территории северо-восточного каменноугольного бассейна, а также с многочисленными захватами продовольственных лавок и рабочих домов, поджогами домов приходских священников и полицейских участков и забрасыванием камнями войск. В 1842 г. толпы чартистов контролировали Ноттингем в течение четырех дней, пока их не разогнала полиция, взяв под стражу 400 человек. Кроме того, они два дня контролировали Поттерис, в результате чего 49 человек попали на каторгу, а 116 — в тюрьму, а в Галифаксе толпа серьезно ранила восемь драгун, прежде чем ее удалось разогнать. В 1848 г. планировались мятежи в Ланкашире, Уэст-Райдинге и Лондоне. В Глазго по толпе, протестовавшей против закона о бедных, был открыт огонь — погибло шесть человек. Вооруженная толпа в Брэдфорде нанесла поражение полиции и специальным констеблям. Только сабли и ружья конных драгун помогли их разогнать.

Чартисты потерпели поражение не потому, что они были малочисленны, раздробленны или робки. Их национальная организация была слабой и всерьез не планировала революцию, однако это можно сказать обо всех революционных движениях до 1917 г. Люди становились революционерами только тогда,

когда режимы отказывались выполнять их требования и когда в условиях неразберихи и эскалации конфликта они считали, что есть возможность свергнуть режим. И действительно, у чартистов была одна существенная внутренняя слабость — они не смогли мобилизовать население столицы, что стало ясно во время разгрома в 1848 г. Когда население Лондона увеличилось с 1 до 2,7 млн с 1801 по 1851 г., шансы на коллективную мобилизацию столичных жителей сократились. Разрыв между поддающимися организации массами на уровне цеха или квартала и населением целого города был слишком велик (Goodman 1982). Поскольку чартизм был основан на локальных сообществах, он вел борьбу в крупных городских центрах. За этим единственным исключением отсутствие революции не было следствием просчетов самих чартистов. Их агитация была такой же мощной, как любая низовая агитация, как те, которые имели место во Франции в 1789 г. или в классовых (хотя и не национальных) движениях в 1848 г. В чем чартизму нельзя было отказать, так это в моральном и эмоциональном подъеме и рвении, обусловленными их сильной семейной и общинной организацией (и это качество они разделяли с большинством диссидентов в различных странах).

Чего чартистам действительно нехватило для революции, так это слабости или разобщенности их противника, хотя большинство историков раньше фокусировали внимание на низших, а не на высших классах. В отличие от 1789 или 1848 г. либо начала XX в. в России здесь не было существенного раскола в рядах режима или господствующих классов. В главе 5 мы видели, как серьезный раскол режима — двора, Генеральных штатов и Национальной ассамблеи, церкви и армии — приводил к развертыванию настоящего революционного кризиса и дрейфу предводителей повстанцев в сторону левых и классовых течений. Но британский парламент не желал даже обсуждать хартию. В тот момент не происходило превращения индивидуального частного гражданства в расширенное политическое, как предполагал Маршалл. Скорее первое упорно сопротивлялось второму.

Ни один представитель национальной или региональной власти не сочувствовал чартистам в степени, достаточной для того, чтобы поддержать уступку по какому-либо пункту хартии. Умеренные попытки чартистов заключить союз с реформаторами из числа среднего класса были практически безрезультатными. Почувствовав угрозу, средние классы начали отстаивать собственность и порядок, тысячами записываясь в ряды специальных констеблей. Здесь имело место, как подытоживает Джон Сэвилл в своем блестящем исследовании реакции режима,



«смыкание рядов тех граждан страны, у кого на кону стояла собственность, какой бы незначительной она ни была» (Saville 1987: 227; ср. Weisser 1983). После разгрома последней массовой демонстрации в 1848 г., в результате которого чартизм быстро пошел на спад, жена одного члена совета министров писала жене другого: «Я уверена в том, что все эти события — большая удача, ведь они показали крепость духа наших средних классов» (Briggs 1959a: 312).

Таким образом, в конечном счете чартизм скорее привел к появлению непреклонной буржуазии, а не пролетарского классового сознания. Это был случай антагонистической классовой борьбы, и, как обычно, она закончилась не диалектическим революционным синтезом, а победой господствующего класса.

Единство буржуазии привело к последовательным продуманным репрессиям, учитывая умеренный и упорядоченный характер милитаристской кристаллизации государства. Чартизм не был принят с часто превозносимым английским талантом к компромиссу и прагматизмом. Начиная с 1832 г. эти качества вообще демонстрировались крайне редко. Имели место тщательно взвешенные репрессии. Случались небольшие разногласия по поводу тактики кабинета министров, но без политических перестановок между фракциями и внезапной паники, ведущей к избыточным реакциям или чрезмерной жестокости. Военные обычно старались свести к минимуму потери. Суровые приговоры выносились только в случаях применения жестокости и после надлежащего разбирательства, хотя жестокость преступников обычно тускнела в сравнении с наказаниями (казнью, каторгой или большим тюремным сроком). Те, кто был уличен всего лишь в агитации и организации, после надлежащего разбирательства были признаны виновными в «антиправительственной агитации», «подстрекательстве» или «заговоре» и всего лишь заключались в тюрьму на год или два. Из 20 чартистских комиссаров, выбранных в 1848 г., 14 были вскоре арестованы и отправлены в тюрьму на срок до одного года (Saville 1987: 162).

Важно понимать существенную и более централизованную роль закона в Великобритании. Как отмечает Сэвилл, законодательные и полицейские институты были централизованными и строго подчиненными партийно-демократическому парламенту, который являлся суверенным субъектом правотворчества. В отличие от большинства континентальных режимов военные, полиция и судебная власть обладали небольшими автономными кристаллизациями в государстве. Как мы увидим далее при обсуждении Соединенных Штатов, закон и конституция были суверенными. Они не делили государство с более прагматич-

ными или более монархическими обязанностями по противодействию массовым беспорядкам, в рамках которых закон подвергался бы манипуляциям во имя порядка или высших политических целей. Великобритания этого периода и Соединенные Штаты на протяжении всего столетия имели очень разные конституции, но они обладали сходной (ограниченной) партийной демократией и суверенным законом, воплощавшим правило капиталистической собственности. Оба государства подавляли рабочие волнения как заговор с последовательностью режима и самоуверенностью правящего класса, которые не знали аналогов. Как мы увидим в следующих главах, британское государство позднее растеряло часть своей идеологической самоуверенности (в то время как об американское государство нет), но в середине века она была сильно выражена. Ее воплощением был консерватор генерал Нейпир, который сочувствовал чартистам и винил партию вигов в восстании, однако заявлял, что конституцию следует защищать любой ценой.

Армия Нейпира также была профессиональной, почти не знавшей поражений в битвах по всему миру, включая обширный опыт подавления народных волнений в Ирландии и на территории империи. Нейпир был уверен в своих солдатах. Его тактика тоже была ясна: сконцентрировать войска так, чтобы небольшие отряды не были изолированы и разбиты в своих казармах — такой неудачный маневр стал бы тотчас пропагандироваться чартистами как символическое взятие Бастилии, воодушевляющее на последующие восстания; разгонять копейщиков с помощью кавалерии, бьющей плашмя, а не рубящей саблями, если это возможно; пускать в ход пехоту с мушкетами и штыками, если копейщики не поддаются; использовать картечь, чтобы сократить число погибших. «Очень важно разбить противника не убивая», — писал Нейпир (Napier 1857: 4, 11). Полиция, народное ополчение или военные никогда не отказывались подчиняться приказам, и фактически ни разу мировые судьи, офицеры или солдаты не поддавались панике. Успех восстаний — возможно, всех мятежей и революций — зависел именно от паники. Даже в Ньюпорте 30 с небольшим солдат не паниковали, будучи окружены 5 тыс. демонстрантов, потрясавших пиками. Солдаты открыли огонь, и когда дым от второго залпа рассеялся, толпа бежала, оставив на поле боя не менее 22 погибших.

Крупные волнения чартистов подавлялись профессиональной, уверенной, дисциплинированной армией, а также классово сознательными буржуазными ополчениями, недавно организованными локальными правительственными органами и институционализированными полицейскими властями, — все они при этом исправно выполняли действующее законодательство. Что

могли сделать красноречие, толпы и пики (которые, по словам Нейпира, были слишком короткими) против такой эффективной централизованной мобилизации силы? «Взятия Бастилии» не случилось, и революция не началась. Революции чаще являются результатом нерешительности режима, чем решительных и дальновидных действий повстанческих сил, что осознавал и Ленин. Поскольку британский режим был решительным, британской революции не суждено было состояться.

Когда в ходе событий 1839 г. это стало ясно, взгляды чартистов разделились. Споры относительно преимущества морального воздействия над физической силой уже велись на тот момент<sup>4</sup>. Большинство предводителей знали, что парламент отвергнет моральную силу первой петиции. Они просто откладывали на потом свое самое трудное решение: надавить на парламент при помощи восстания. Вероятно, даже большинство сторонников применения физической силы рассматривали это скорее как давление, а не как подлинный захват государственной власти, как было во Франции в период 1789–1791 гг. Но теперь предводители чартистов также пожинали горькие плоды применения физической силы. Что им было делать, если режим был настолько един и организован?

Большинство отвергало применение физической силы из соображений реализма, как это делал Уэйд: «Крик оружия без предшествующего морального убеждения и объединения с вами средних классов вызовет лишь страдания, кровь и гибель» (Jones 1975: 151). О'Коннор не раз заявлял, что толпа, хотя и многочисленная, всегда падет под ударом обученного войска. Таким образом, раскол был тактическим, а не идеологическим или политическим. С самого начала он имел секционное основание, проходя между более уверенными в своем положении высшими ремеслами и низшими ремеслами с избыточным предложением труда, которые предпочитали физическую силу (Bennett 1982: 106–110). Это было начало последующего раскола и ослабления, которые в 1840–50-х гг. полностью положили конец агрессии рабочего класса в Великобритании. Но чтобы понять это, нам придется расширить наш фокус внимания.

Общепринятым стало объяснение упадка чартизма не только с точки зрения эффективного подавления и последующего тактического раскола, но и с точки зрения двух общих моментов, которые улучшили условия жизни народа в 1840–50-х гг. Во-первых, утверждается, что экономика восстановилась и не испытывала спадов вплоть до 1870-х гг., что означало конец

---

4. Вероятно, они были вызваны ирландской борьбой за освобождение, поскольку многие чартисты были ирландцами.

трудных времен для рабочих. Во-вторых, правительство смягчило свою жесткую социальную политику, и это также выбило почву из-под ног радикальных лидеров, настаивавших на политических решениях.

Эти аргументы частично верны, но они требуют дополнений. Между макроэкономическими тенденциями и социальными движениями нет необходимой связи. Восстания не возникают просто оттого, что экономическое положение улучшается или ухудшается. Наилучшим объяснением в этом отношении является предложенная Дэвисом (Davies 1970) знаменитая J-образная кривая, согласно которой революции возникают после длительного периода экономического подъема, за которым следует краткий резкий спад. Массовые ожидания возросли, а потом не были обмануты. Такие J-образные кривые часто, хотя и не всегда, действительно наблюдаются перед революциями. Но согласно этой теории массовое восстание должно было бы вновь произойти в Великобритании в середине 1870-х гг. после резкого окончания экономического взлета 1860-х гг. Однако не произошло. Восстания требуют организации, как заявляют теоретики мобилизации ресурсов. Соответственно нам требуется более точное объяснение того, как улучшение экономической ситуации связано с организацией восстаний. Оно предложено ниже.

Смягчило ли правительство свою социальную политику, подорвав чартизм (как утверждается в Stedman-Jones 1982: 50–52)? Решающее изменение состояло в сокращении налогового бремени на потребление в 1840-х гг. (как свидетельствуют данные главы 11). Это было вызвано не пересмотром взглядов правительства, а (как показано в главе 11) завершением долгового цикла, запущенного Наполеоновскими войнами, и отсутствием нового долгового цикла ввиду отсутствия новых войн. Поскольку регрессивное военное финансирование по большей части вызывало политизацию классов начиная с 1760-х гг., его сокращение теперь существенно снизило степень политизации семей рабочих. В главе 11 заявлено, что налоговые льготы появились в мировом историческом масштабе. Чартизм был одним из последних движений, в котором существенную роль играло налогообложение как минимум на его раннем этапе. В конце XIX в. могли бы возникнуть новые формы классовой политизации, но в середине века они утихли. Волнения рабочих приобрели более экономический характер, ограничиваясь непосредственными вопросами производства. Вопреки марксистской теории это сделало их более умеренными и аполитичными.

Еще два признака более умеренного режима, на которые иногда указывают, — это смягчение закона о бедных (D. Thompson 1984: 336) и кооперация между индустриальными класса-

ми, особенно между диссентерами, настраивавшими рабочих и предпринимателей против «старого порядка» с целью отмены хлебных законов 1846 г., и теми, кто агитировал за трезвость и реформу образования. Хотя бунты против закона о бедных все еще случались в 1840-х гг., лишь немногие из числа чартистских активистов перешли на сторону кооперационных движений и это не повлияло на падение чартизма. Более активная межклассовая кооперация также имела место в движении за фабричное законодательство, но это, как и экономическое, и налоговое улучшение, было менее важно в качестве улучшений, нежели в качестве усиления секционализма, к которому в конечном итоге свелся поверженный чартизм. Давайте рассмотрим этот сложный процесс.

Движения за фабричное законодательство выступали против эксплуатации рабочих трех различных категорий: мужчин, женщин и детей. Несколько буржуазных радикалов поддерживали требования справедливой оплаты труда или разумной продолжительности рабочего дня для всех трех категорий, но большая их часть хотела регулирования или прекращения заводского труда женщин, а еще большая часть, включая даже владельцев заводов и их жен, преимущественно протестантов-евангелистов или активистов Общества трезвости, выступала против детского труда. Эта поддержка шла с обоих полюсов — от леворадикалов и крайних консерваторов. Две идентичности иногда сливались, как в случае с Майклом Садлером, членом парламента Лидса, сторонником проекта закона о десятичасовом рабочем дне, поддержанного чартистами против либеральных противников на парламентских выборах. Его альтер-эго — владелец хлопковой фабрики в Рочдейле, радикал, но сторонник *laissez-faire* Джон Брайт, который был против принятия фабричного законодательства как «препятствующего торговле» и «нарушающего свободу». В парламенте аристократические виги и тори из центральных графств громко обличали аморальность владельцев заводов. Эта патриархальная политическая кристаллизация явилась причиной единственной существенной разобщенности режима, которой могли бы воспользоваться рабочие. Они извлекали пользу из интерстициальных расхождений, а не из антагонистической и диалектической конфронтации или систематических компромиссов.

Парламент всегда принимал законы в пользу детей. Наименование старейшего законопроекта Роберта Пиля от 1802 г. — закон о здоровье и нравственности учеников (*Health and Morals of Apprentices Act*) — свидетельствует об этом моральном патернализме. Пиль, будучи консерватором, возможно, на тот момент являлся единственным в палате работодателем, содержащим

учеников. Он призывал к моральной опеке в отношении детей, и ему не требовалось преодолевать враждебность закреплённой парламентской группы интересов. Далее последовал принятый консерваторами закон 1819 г., запрещавший трудоустройство детей моложе девяти лет на хлопкопрядильных фабриках.

Когда в парламенте в 1832 г. появилось достаточное количество представителей-фабрикантов, их боевой строй усилился. Но движение за принятие фабричного законодательства предало гласности ужасающее положение детей, работавших в шахтах и на текстильных фабриках, и возвало к патриархату, осуждая потогонный женский труд. Женщины — носительницы семейной морали считались важным элементом моральной структуры общества большинством христиан и консерваторов. Они утверждали, что незамужние женщины должны делать работу, готовящую их к материнству, например, в домашнем услужении или розничной торговле. Замужние женщины должны находиться дома.

Чтобы обеспечить эти морально-патриархальные установки, принимались законы на протяжении всего периода существования чартизма. Законы вигов от 1833 и 1836 гг. учредили должность фабричных инспекторов, следивших за работой фабрик и рабочими сменами детей. Внепартийный закон о шахтах 1842 г. запретил привлечение детей моложе десяти лет и женщин к подземным работам и учредил инспекцию для контроля выполнения этого запрета. Закон о фабриках, проведенный тори в 1844 г., касался текстильного производства. Он устанавливал 6,5-часовой максимальный рабочий день для детей моложе 13 лет и 12-часовой максимум для женщин; кроме того, он предусматривал ограждение станков и расширение инспекторских полномочий. Внепартийный закон 1847 г. сокращал рабочий день для женщин на текстильном производстве до десяти часов. Законы 1850 и 1853 гг. утвердили дневные часы работы для женщин, а также установили ответственность за обучение детей во вне рабочее время, хотя их применение было неравномерным. Все они прошли в палату лордов при поддержке епископов. Парламент расширил это законодательство для всех отраслей промышленности с 1860 по 1867 г. И лишь в 1874 г. оно стало распространяться на мужчин.

Законодательная последовательность выявляет секционные различия между детьми, женщинами и мужчинами, основанные на моральных, преимущественно патриархальных предпосылках. Детский труд подвергли регулированию и исключили самым первым с небольшими разногласиями. Мужчины и женщины рабочего класса, голоса которых были услышаны, также были единодушны в том, что детей нельзя использовать как на-

емных рабов. Это ведет к их физической и моральной деградации, разрушает семью и подрывает родительский авторитет, а также приводит к сокращению заработной платы ввиду конкуренции. В то время как парламент уверенно согласился с первыми двумя позициями, третья, об ограничении торговли, прошла незамеченной. Одна из существенных причин перенасыщения рынка труда была устранена, и заработная плата могла подняться до уровня, при котором детей можно было растить дома. Моральные аргументы также ограничили женский труд, хотя и в меньшей степени. Рабочие и теперь были совершенно единодушны. Поскольку все хотели сокращения рабочего дня и улучшения условий труда, обеспечить их хотя бы для женщин уже было победой. И вновь позиции об ограничении свободной торговли [свободе найма] и перенасыщении рынка труда прошли незамеченными, и заработная плата опять могла вырасти.

Но эти достижения имели неожиданные последствия. Ограничение рабочих часов одной группы населения повлияло на другие группы. Поскольку мужчины и женщины работали вместе, разный рабочий день и условия труда влияли на эффективность работы (особенно после принятия законов 1850 и 1853 гг.). Представители движения понимали это, надеясь также и на сокращение рабочего дня для мужчин. Однажды это произошло. Но вкуче с высокой стоимостью использования детского труда (особенно с учетом положения об образовании) привлекательность работников-женщин и детей для работодателей снизилась. Детям запретили работать на фабриках, а доля официального трудоустройства женщин сократилась. Мужчины приветствовали это, считая, что их доходы вырастут и обеспечат их «семейной зарплатой». Реакция женщин была более смешанной, особенно у старых дев и вдов, экономическая автономия которых теперь сократилась. Современные закрытые места трудоустройства — заводы, шахты и железнодорожные цеха — стали регулироваться и включали в подавляющем большинстве работников мужского пола. В хлопковой отрасли состав рабочих был более смешанным, но теперь наблюдалось стабильное иерархическое разделение труда между мужчинами и женщинами (уже без детей).

Речь шла не только о законодательном прогрессе в пользу рабочих, но также о непредвиденных последствиях смешения капиталистической кристаллизации и комбинации идеологически-моральной и патриархальной политической кристаллизаций. Все кристаллизации ослабили чартистскую семейно-, общинно-классовую солидарность и сузили область действий рабочего класса до братского секционализма. Великобритания является единственной страной, в которой мы можем чет-

ко проследить этот процесс, поскольку патриархальная мораль в других странах вытеснила женщин и детей с рынка труда прежде, чем возник крупный рабочий класс. Только в Великобритании повстанческие рабочие движения были столь прочно основаны на семье. Теперь они были подвержены секционализму и шли на спад, чему способствовали экономические и налоговые послабления. Рабочие становились менее политизированными, обратившись к коллективному действию на рабочем месте, поскольку заполненные книги заказов увеличивали их экономическую силу. Именно в условиях такого секционализма и экономизма и возникла протекционистская Земельная компания чартистов в середине 1840-х гг., планировавшая покупать землю для рабочих. Это была реакция на политическое поражение и обращение к узким (и реакционным) экономическим действиям. Именно после поражения чартистов в антагонистической классовой борьбе этот «респектабельный тред-юнионизм» стал укрепляться во второй половине XIX в.

#### РАСЦВЕТ СЕКЦИОННОГО ТРЕД-ЮНИОНИЗМА, 1850–80-е ГОДЫ

Во второй половине XIX в.<sup>5</sup> рост профсоюзов был медленным, но кумулятивным. По оценкам Уэббса (Webbs 1920: 472, 748), численность профсоюзов составляла менее 100 тыс. в начале 1840-х г., а по недавним оценкам, их численность составила примерно от 500 до 600 тыс. в 1860 г., 800 тыс. в 1867 г. и 1,6 млн (что, вероятно, является преувеличением) в 1867 г. (Fraser 1974: 16). Но профсоюзы действовали среди более крупных кооперативных обществ и обществ взаимопомощи. В 1874 г. королевская комиссия насчитала 4 млн членов и 8 млн бенефициаров обществ взаимопомощи (Kirk 1985: 149–152). Большинство рабочих были задействованы в тех формах протекционизма, против которых режим не имел возражений.

Но профсоюзы также поменяли свой характер. К 1860 г. бóльшая их часть стала экономистической, секционной и, по мнению многих авторов, консервативной или аристократической. Хотя и не будучи полностью вне закона, профсоюзы продолжали притесняться законами об ответственности за преступный сговор. Как мы увидим далее в отношении Соединенных Штатов (глава 17), этот привилегированный цеховой секционализм мог обойти закон проще, чем промышленные профсоюзы

---

5. Основные общие источники по этому периоду: Pelling 1963; Perkin 1969; Musson 1972; Fraser 1974; Tholfsen 1976; Hunt 1981; Evans 1983; Kirk 1985.



или профсоюзы общего типа, особенно если они контролировали предложение труда. Большинство профсоюзов, таким образом, ограничивались членством высококвалифицированных рабочих. К ядру городских мастеровых добавились квалифицированные инженеры, металлурги и шахтеры, которые управляли цехами и заводами, а также текстильщики и прочие рабочие с заводскими навыками. Центр тяжести профсоюзов сместился с ремесленных цехов на более крупные механизированные цеха и шахты. Внутренние рынки труда развивались в сфере железных дорог, железоделательного и сталелитейного производства. Большинство профсоюзов хотели ограничить приток новых рук, блокируя «напарников», «помощников» и «держателей», ограничивая женский труд, а также требуя «семейной заработной платы» только для мужчин (Savage 1987). Они стремились к институционализации заводских и цеховых правил, чтобы примириться с работодателем, успокоить забастовки, гарантировать эффективность работы их членов, а также придать им респектабельность. Ожесточенных забастовок было мало, преимущественно в горнодобывающей отрасли. Идентичность с профессиональным секционизмом и сегментаризмом на предприятии стала сильнее классовой (Joyce 1980: 50–89). Один котельщик (цитата по Fraser 1974: 59) так воспел этот период:

Разве не наш Творец  
Труд с Капиталом сплотил,  
Разве они не словно  
Два близнеца-великана?  
Что может Труд в одиночку?  
Впустую вращать жернова!  
Разве Капитал может больше?  
Жито без толку беречь,  
Пока в пыль не истлеет оно.  
В гору светлого прогресса взбираются  
Прикованные друг к другу,  
Испытывая одинаковые трудности,  
Начиная ладить друг с другом.  
Так давайте же, объединяя усилия,  
Покажем изумленному человечеству  
Капитал и Труд —  
Это ли не два весла плывущей лодки,  
Это ли не два крыла парящей птицы  
В нашем высоком стремлении?

(Fraser 1984: 59)

И все же респектабельные профсоюзы двигались в направлении одного элемента современного социализма, а именно изучения общества как экономической *тотальности*. Они рассматривали капитализм как систему, понимая, что их условия трудоустрой-

ства были связаны с циклом производства, который они могли использовать (Hobsbawm 1964: 350). Еще одним признаком роста их чувства тотальности, который Пеллинг (Pelling 1963: 42) называет «вехой в истории тред-юнионизма», было создание в 1851 г. первого устойчивого национального профсоюза — Объединенного общества машиностроителей (Amalgamated Society of Engineers, ASE). Хотя в него входили только рабочие мужского пола, оно признавало их общенациональные интересы. ASE являло собой пример для других профсоюзов, двигавшихся вверх от локальной к региональной и национальной организации.

Правила ASE устанавливали главный парадокс цеховых профсоюзов:

Будучи вынуждены ввести ограничения на вступление в нашу профессию тех, кто не заслужил такое право прохождением испытательного срока (например, ученичества), мы делаем это, зная, что такие притязания являются порождением зла, и, будучи допущены беспрепятственно, они приведут к ухудшению условий мастерового до условий неквалифицированного работника и не дадут никакого перманентного преимущества допущенным в наши ряды [Clegg et al. 1964: 4].

Хотя профсоюз считал, что он был «вынужден» исключить неквалифицированных работников, тем не менее такое исключение усиливало секционализм. И все же профсоюз продолжал расти и в конечном счете приобретать политизированную коллективную идентичность и организацию своих членов. Сначала ASE было весьма озабочено стандартизацией благ общества взаимопомощи. Но когда в 1852 г. работодатели заблокировали ASE на национальном уровне, члены общества и другие мастеровые были вынуждены увеличить организацию и заняться политикой. Классовая борьба включала кумулятивный диалектический элемент. Участие профсоюза в движениях за десяти- и девятичасовой рабочий день подталкивало работодателей к региональным и национальным организациям, это, в свою очередь, оказывало дополнительное давление на национальную организацию профсоюза. Количество членов профсоюза выросло с первоначальных 5 до 45 тыс. к 1880 г. Респектабельность того, что называлось «новой моделью профсоюза», фактически была не нова (Musson 1972), но *национальные* профсоюзы и впрямь были новыми. Нация государства превращалась в *тотальность* рабочих.

Тем не менее политизация не была в первую очередь связана с классами. В 1850-х гг. профсоюзы кооперировались с реформаторами из числа среднего класса в Лиге реформы (Reform League), девиз которой «Рабочие люди достойны голосовать». К концу 1860 г. либерализм занял место чартизма в качестве политического кредо большинства рабочих активистов. Кроме

того, профсоюзы участвовали в кросс-классовой кооперации, образовании и движениях за трезвость (Kirk 1985: 70, 132–173). В свою очередь, они получили мутуалистское законодательство, гарантирующее права кооперативов и обществ взаимопомощи и улучшение образования. Буржуазные реформаторы оценили мутуалистский аргумент о предоставлении коллективных гражданских прав профсоюзам. Самоуверенный буржуазный класс отдыхал в условиях более секционализованного стабильного социального порядка. Фракционализм вновь возник в рамках режима. У «либерального инкорпорирования» респектабельных рабочих появлялось все больше сторонников.

Действительно, в отношении рабочих британское государство теперь также кристаллизовалось как партийно-демократическое. Некоторые тори, так же как и либералы, полагали, что таким респектабельным людям следует дать избирательное право. Сами партии в этот период становились более массовыми, менее аристократическими, более активно вовлеченными в подлинное избирательное соперничество. Фракции обеих партий ожидали электоральных преимуществ в случае принятия реформы. Парламентская реформа 1867 г. (Conservative Act) дала домовладельцам избирательное право в городах, оставляя власть консерваторов в деревнях без изменений. Лорд Дерби отметил, что эта реформа призвана «услужить вигам». Либералы оплатили тем же, распространив действие реформы на графства в 1884 г. Оказалось, что географическая концентрация угольных шахт дала им большинство в ряде избирательных округов. Шахтеры, назначенные их профсоюзом и лояльные по отношению к Либеральной партии, были избраны в парламент в 1885 г. Таким образом, рабочие оказались в парламенте в результате сегментарной кооперации между профсоюзами и партийно-демократическим режимом.

Британский конгресс профсоюзов (Trades Union Congress, TUC) стал символом этого национального умеренно мутуалистского и кооперационного нововведения. Основанный в 1868–1869 гг. в качестве дискуссионного клуба, он был расширен (как ранее произошло с рабочими организациями в 1820–30-х гг.) за счет законодательных репрессий профсоюзов. Акт о поправках к уголовному законодательству 1871 г. (Criminal Law Amendment Act) объявил вне закона большинство пикетов, угрожая даже цеховым профсоюзам. Конгресс профсоюзов успешно лоббировал его отмену в 1875 г. вместе со своими союзниками из числа буржуазии.

Профсоюзы также принимали участие в викторианских попытках осознать природу общества. Понятие о том, что общество является систематической, ограниченной совокупностью

со своими собственными законами, распространялось на политэкономия и на новую дисциплину — социологию. Английские позитивисты популяризовали Огюста Конта, автора термина «позитивизм», книги Спенсера по социальной эволюции продавались огромными тиражами, а Маркс анализировал капиталистическую систему с более свободными социалистами, которые обсуждали ее с радикалами и юнионистами. Большинство их теорий предполагало двойственную совокупность общества — общество являлось одновременно капиталистической или промышленной системой, а также нацией-государством. Таковым оно и осталось с точки зрения и социализма, и социологии.

Респектабельный тред-юнионизм не был в действительности рабочей аристократией и определенно не был предательством, как полагает Фостер (Foster 1974). Чартизм и классовое движение стали разваливаться еще до того, как профсоюзы стали респектабельными. Некоторые повстанческие избирательные группы населения исчезли в результате поражения, в частности операторы ручных ткацких станков, которых становилось все меньше на протяжении 1850-х гг. Скорее респектабельность была рациональным секционным ответом на (1) прямое поражение *классовых* тенденций чартизма; (2) последующее отклонение классовой солидарности в сторону экономистических *секционных* стратегий; (3) признание элементами партийно-демократического режима того, что секционализм не представляет угрозы и на самом деле воплощает добродетели; (4) усиление секционализма во второй половине века за счет новых форм экономической *неоднородности* в условиях экономического роста. Рассмотрим четвертый процесс, начиная с фабрик.

Рост фабрик во второй половине века не усилил классовую идентичность вопреки ожиданиям Маркса. Джойс (Joyce 1980) отмечает, что хлопковые фабрики поддерживали сегментарный патернализм, даже субординацию. Это соответствует данным Колхуна (Calhoun 1982) о том, что более ранний радикализм лучше сохранился в городах с множеством малых ремесленных цехов, чем там, где преобладали заводы, утверждению Руде (Rudé 1964), согласно которому взволнованные толпы (за исключением периода пика чартизма) состояли из рабочих более мобильных, менее подчиненных дисциплине, чем заводские станочники, и заявлению Томпсона (F. M. L. Thompson 1981), который считает, что с 1840 по 1880 г. большие заводы были главным механизмом сегментарного контроля над рабочими.

Эти открытия также вписываются в модель субординации, предложенной Ньюби (Newby 1977). Субординация, отмечает он, проявляется скорее в отношениях, а не в оценках и наблюдается в сельском хозяйстве XX в. (его область исследований), если фер-

мер контролирует всю жизнь работника. Фермер ХХ в. и промышленник конца XIX в. были не только активными собственниками-управляющими, но также и магистратами и предводителями локальных социальных, образовательных и политических институтов. У рабочего не хватает экстенсивной власти, чтобы охватить этот широкий диапазон влияния, но он может достичь ограниченных целей, используя стиль почитания. Он или она может интернализировать эту субординацию: если единственной возможной реальностью является та, где правит работодатель, она становится естественной в двойственном фактическом и нормативном смыслах этого слова. Так, Джойс показывает получивших гражданские права хлопкопрядильщиков (мужского пола), голосующих со своим работодателем — вигом или тори. Большинство конфликтов возникало на малых предприятиях, поскольку их хозяева имели несколько больший контроль над сообществом, чем мастера. Радикализм чаще проявлялся среди рабочих в больших городах, чем в городах среднего размера; олигархии фабрикантов могли контролировать такие города, как Рочдейл, Галифакс и Уолсолл, но не Манчестер, Лидс, Ноттингем или Лондон. Фабричное сообщество противодействовало классовой организации и поощряло сегментарную. Способность высших классов превзойти низшие классы в организационном отношении не исчезла. Маркс был прав — ей был брошен вызов. Но институционализированные заводы помогли положить конец этому вызову точно таким же образом, каким зарождавшиеся заводы способствовали его возникновению. Фабрики стали не столько «школой социализма», сколько промышленным эквивалентом средневекового поместья, а фабричные рабочие — сегментальными «вассалами» своего господина.

Кроме того, когда фабрики или преуспевающие стабильные компании сталкивались с цеховым контролем предложения труда, профсоюзы управляли трудовыми отношениями по гендерному признаку. Они состояли в подавляющем большинстве из мужчин, а женщины составляли меньшинство. Рабочие представления о семейной зарплате, мужчине как кормильце семьи и товариществе были мужскими, равно как и пабы, где по большей части профсоюзы проводили свои собрания (Hart 1989: 39–60). За пределами завода и стабильного предприятия и там, где они сталкивались с рыночной неопределенностью, преобладал временный неорганизованный труд, преимущественно мужской, но с небольшой долей участия женщин. В некоторых отраслях ирландских иммигрантов было значительно больше среди временных работников мужского пола, что вело к серьезным этническим и религиозным разногласиям и беспорядкам (Kirk 1985: 310–348). На предшествующем этапе, когда неоднородность еще

не стабилизировалась и не переросла в секционализм, ирландские рабочие были в большом количестве представлены в движении чартистов. Ланкаширские активисты из двух общин теперь стали врагами.

Викторианцы отмечали эти новые разногласия, хотя обычно только среди мужчин. Маркс анализировал разделение на рабочих и временный люмпен-пролетариат во Франции середины века, позднее он подчеркивал англо-ирландский рабочий конфликт. Другие современники употребляли это словосочетание («рабочие классы») во множественном числе. Как писала радикальная газета *Bee-Hive* в 1864 г.:

Рабочие классы... поделены на две большие секции: одна состоит из квалифицированных ремесленников и механиков, а вторая — из чернорабочих, уличных торговцев фруктами, людей, которые зарабатывают себе на жизнь способами, которые они сами затрудняются описать... и «сброд» всех мастей [Fraser 1974: 209].

Журналист Генри Мейхью отмечал, что в доках только квалифицированные мастеровые имели регулярную занятость и зарплату:

Мастеровые почти все до единого — пламенные политики... Неквалифицированные чернорабочие — это другой класс людей. Пока еще они так же аполитичны, как лакеи... Они, кажется, не имеют вообще никаких политических мнений, а если и имеют, то все они сводятся скорее к сохранению положения вещей «как есть», чем к господству рабочего люда [Evans 1983: 170].

Переплетение вопросов квалификации и гендерной принадлежности обуславливало серьезный разлом в викторианском рабочем классе. Современники начали делить рабочих на «респектабельных» и «сброд». Грэй (Gray 1976) и Кроссик (Crossick 1978) отмечают, что мастеровые (мужчины) формировали свои собственные ассоциации, вступали в браки и передавали свое ремесло сыновьям, через общества взаимопомощи они накапливали некоторые сбережения и культивировали респектабельность. Мастеровые были в равной мере отделены от среднего класса и от неквалифицированных рабочих, не «обуржуазиваясь», а скорее формируя отдельную классовую фракцию. У них было одно огромное преимущество перед неквалифицированными рабочими — надежная занятость за счет контроля рынка труда. Неквалифицированные рабочие были временными, их заработная плата не дотягивала до уровня семейной заработной платы. Это не позволяло им делать взносы в общества взаимопомощи и в другие ремесленные организации. Возможно, самое яркое сравнение относится к худшему страху рабочего виктори-

анской эпохи — работным домам (Crossick 1978: 112–113). В Гринвиче шанс чернорабочего попасть туда был в пять с половиной раз выше, чем в среднем по населению; шанс традиционного ремесленника (портного, каменотеса, бондаря) составлял всего две трети от этого среднего значения, а квалифицированного инженера — одну четвертую. Жизненные шансы у инженера были более чем в двадцать раз лучше, чем у разнорабочего.

Гендерные различия, различные ремесла, надомная работа и временная работа на заводах плюс более сегментарно контролируемое сельское хозяйство и работа домашней прислуги не могли породить практически никакой классовой идентичности. Большинство коллективных действий ограничивалось братствами квалифицированных рабочих. Национальное государство также размывало классы, способствуя формированию сегментарных альянсов. Таким образом, прежде чем рабочий класс мог появиться вновь, секционализм и сегментаризм должны были себя исчерпать. Во время второй промышленной революции, после 1880 г., этого не произошло, но они пошли на спад, как показано в главе 17.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раннее развитие британского рабочего движения было уникальным явлением. Главные отношения власти, отмеченные в этой главе, не повторятся в последующих главах. Раннее распространение промышленного капитализма, усиленное государственным милитаризмом, сделало эту историческую федеральную кристаллизацию более централизованной. Сплетенные воедино, три силы породили уникально раннее и ориентированное на семью и сообщество движение рабочего класса. В конце 1830-х и начале 1840-х гг. оно запустило чартизм, такое же повстанческое рабочее движение, какое встречается в более поздний период во всех других странах. Однако это движение столкнулось со столь же решительным, обладающим классовым сознанием и самоуверенным правящим режимом и капиталистическим классом, имевшими в своем распоряжении более серьезный и дисциплинированный милитаризм. Они столкнулись в антагонистическом конфликте, и диалектического решения не последовало. Рабочий класс проиграл, как он проигрывал во всех подобных антагонистических столкновениях. Его поражение было окончательным, лишь незначительные отзвуки наблюдались в последующие десятилетия, поскольку секционализм рабочих мог черпать утешение для квалифицированных рабочих, обладавших монопольной властью, на внутренних или

внешних рынках труда. В главе 17 показано, как эти разновидности секционализма столкнулись со второй промышленной революцией, чтобы создать еще более широкую классовую организацию, хотя и более умеренную, чем чартизм.

Замена класса секционализмом в середине века затронула также семью. В то время как раннее классовое движение получало серьезную поддержку от семьи и сообщества — более серьезную, чем полагал Маркс, последующий секционализм стал преимущественно мужским, сконцентрированным на занятости и производственном.

Следуя Марксу и Энгельсу, я анализировал классы в их взаимоотношениях. Ни режим, ни капиталистический класс, ни рабочее не имели последовательной стратегии, будь то реакционная, прагматическая или прогрессивная, на протяжении данного периода. Их дрейф от одной стратегии к другой, а по сути и сама идентичность выковывались по мере их взаимодействия. Режим, например, сдвинулся от прагматических уступок в условиях фракционализма избирательной реформы 1832 г. (Great Reform Act) к дисциплинированному самоуверенному милитаризму чартистского периода и усилению прагматических уступок от партийной демократии начиная с 1860-х гг. Он делал это, поскольку его собственная идентичность, равно как и внешние воздействия, и идентичность рабочего движения менялись.

В отличие от Маркса и Энгельса я не рассматривал классовые взаимодействия как диалектические, состоящие из антагонистических столкновений и резолюций полностью организованных классов. Я квалифицировал эту диалектику двумя способами. Во-первых, сегментаризм и секционализм также по сути своей пересекались и ослабляли классы. В этом случае решающим исходом борьбы было то, что, хотя режим сохранил идентичность и единство, милитаризм и непреднамеренные последствия породили секционные идентичности рабочих. Впоследствии, когда режим расслабился, это также вызвало партийный фракционализм внутри него. Во-вторых, классовый конфликт редко бывает чистым и антагонистическим, поскольку он включает множество сетей власти, взаимоотношения которых не являются систематическими или прозрачными для акторов. Таким образом, разрешение этих конфликтов приводит к непреднамеренным последствиям. Я сконцентрировал внимание на несистематических взаимодействиях между семьей и классом и между капиталистическими, морально-идеологическими, патриархальными и партийно-демократическими государственными кристаллизациями. Их взаимодействия привели к последствиям, которых никто не ожидал. Например, благодаря фабричному законодательству рабочие получили



преимущества, которых режим не немеревался в полной мере предоставлять, в то время как рабочее движение стало по существу мужским, чего также никто не ожидал. Я мог бы добавить, что еще один набор несистематических взаимодействий между классом и нацией-государством также происходил на протяжении этого периода, но я еще не анализировал их последствия.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Bairoch, P. et al. (1968). *The Working Population and Its Structure*. Brussels: Editions de l'Institut de Sociologie de l'Universite Libre.
- Bennett, J. (1982). *The London Democratic Association, 1837–1841: a study in London radicalism*. In *The Chartist Experience: Studies in Working Class Radicalism and Culture, 1830–60*, ed. J. Epstein and D. Thompson. London: Macmillan.
- Briggs, A. (1959a). *The Age of Improvement 1783–1867*. London: Longman Group.
- . (1959b.) *Chartist Studies*. London: Macmillan.
- . (1960). The language of “class” in early nineteenth-century England. In *Essays in Labour History*, ed. A. Briggs and J. Saville. London: Macmillan.
- Calhoun, C. (1982). *The Question of Class Struggle*. Oxford: Blackwell.
- Church, R. A., and S. D. Chapman. (1967). *Gravener Henson and the making of the English working class*. In *Land, Labour and Population in the Industrial Revolution*, ed. E. C. James and G. E. Mingay. London: Arnold.
- Clapman, J. H. (1939). *An Economic History of Modern Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clegg, H. A. et al. (1964). *A History of British Trade Unions Since 1889, Vol. I*. Oxford: Clarendon Press.
- Crossick, G. (1978). *An Artisan Elite in Victorian Society*. London: Croom Helm.
- Currie, R., and R. M. Hartwell. (1965). *The making of the English working class*. *Economic History Review*, 2nd ser. 18.
- Davies, J. C. (1970). *The J-curve of rising and declining satisfactions as a cause of some great revolutions and a contained rebellion*. In *Violence in America*, ed. H. D. Graham and T. R. Gurr. New York: Bantam.
- Epstein, J. (1982). *Some organizational and cultural aspects of the Chartist movement in Nottingham*. In *The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830–60*, ed. J. Epstein and D. Thompson. London: Macmillan.
- Epstein, J., and D. Thompson (eds.) (1982). *The Chartist Experience*. London: Macmillan.
- Evans, E. J. (1983). *The Forging of the Modern State: Early Industrial Britain, 1783–1870*. London: Longman Group.
- Foster, J. (1974). *Class Struggle and the Industrial Revolution*. New York: St. Martin's Press.
- Fraser, W. H. (1974). *Trade Unions and Society*. London: Allen & Unwin.
- Goodmay, D. (1982). *London Chartism, 1838–1848*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gray, R. Q. (1976). *The Labour Aristocracy in Victorian Edinburgh*. Oxford: Clarendon Press.
- Greenberg, D. (1982). *Reassessing the power patterns of the Industrial Revolution: an Anglo-American comparison*. *American Historical Review* 87.
- Hobsbawm, E. J. (1962). *The Age of Revolution, 1789–1848*. New York: Mentor; Хобсбаум, Э. (1999). *Век революции. Европа 1789–1848*. Ростов н/Д.: Феникс.
- . (1964). *Labouring Men*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Hollis, P. (1973). *Class and Conflict in Eighteenth-Century England, 1815–1850*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Hunt, E. H. (1981). *British Labour History, 1815–1914*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Jones, D. 1975. *Chartism and the Chartists*. London: Allen Lane.
- Joyce, P. (1980). *Work, Society and Politics: The Culture of the Factory in Later Victorian England*. Brighton: Harvester.

- . (1990). *Work*. In *The Cambridge Social History of Britain, 1750–1950*. Vol. 2: *People and Their Environment*, ed. F. M. L. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1991). *Visions of the People. Industrial England and the Question of Class, 1848–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kirk, N. (1985). *The Growth of Working Class Reformism in Mid-Victorian England*. London: Croom Helm.
- Leeson, R. A. (1979). *Travelling Brothers*. London: Allen & Unwin.
- Morris, R. J. (1979). *Class and Class Consciousness in the Industrial Revolution, 1780–1850*. London: Macmillan.
- Musson, A. E. (1972). *British Trade Unions 1800–1875*. London: Macmillan.
- . (1976). *Class struggle and the labour aristocracy, 1830–60*. *Social History*, No. 3.
- Napier, Sir W. F. P. (1857). *The Life and Opinions of General Sir Charles James Napier*, 4 vols. London: Murray.
- Newby, H. (1977). *The Deferential Worker*. London: Allen Lane.
- O'Brien, P. (1989). *The impact of the revolutionary and Napoleonic wars, 1793–1815, on the long-run growth of the British economy*. *Review (Fernand Braudel Center)* 12.
- Parkin, F. (1979). *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique*. London: Tavistock.
- Pelling, H. (1963). *A History of British Trade Unions*. London: Macmillan.
- Perkin, H. (1969). *The Origins of Modern English Society, 1780–1880*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Prothero, I. (1971). *London Chartism and the trades*. *Economic History Review* 24.
- . (1979). *Artisans and Politics in Early Nineteenth-Century London*. London: Methuen & Co.
- Rudé, G. (1964). *The Crowd in History 1730–1848*. New York: Wiley.
- Rueschemeyer, D., E. Stephens, and J. Stephens. (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Samuels, R. (1977). *The workshop of the world: steam power and hand technology in mid-Victorian Britain*. *History Workshop Journal*, No. 3.
- Savage, M. (1987). *The Dynamics of Working-Class Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saville, J. (1987). *1848: The British State and the Chartist Movement*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sewell, W. H. (1974). *Social change and the rise of working-class politics in nineteenth-century Marseilles*. *Past and Present* 65.
- Stedman-Jones, G. (1975). *Class struggle and the industrial revolution: a review article*. *New Left Review*, No. 90.
- . (1982). *The language of Chartism*. In *The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830–1860*, ed. J. Epstein and D. Thompson. London: Macmillan.
- . (1983). *Languages of Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sykes, R. (1982). *Early Chartism and trade unionism in south-east Lancashire*. In *The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830–1860*, ed. J. Epstein and D. Thompson. London: Macmillan.
- Thoifsen, T. (1976). *Working Class Radicalism in Mid-Victorian England*. London: Croom Helm.
- Thompson, D. (1984). *The Chartists*. New York: Pantheon.
- Thompson, E. P. (1968). *The Making of the English Working Class*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Thompson, F. M. L. (1981). *Social control in Victorian Britain*. *Economic History Review*, 2d ser. 34.
- Thompson, N. (1988). *The Market and Its Critics: Socialist Political Economy in Nineteenth Century Britain*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Webb, S., and B. Webb. (1920). *History of Trade Unionism*. London: Longman Group.
- Weisser, H. (1983). *April 10: Challenge and Response in England 1848*. Lanham, Md.: University Press of America.

## ГЛАВА 16

# Нация среднего класса

### ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

**В** ГЛАВАХ 4 и 9 обсуждаются политические режимы XIX в., которые по сути состояли всего из нескольких тысяч семей. Они не могли править без посторонней помощи. Рабочие практически не представляли организованной угрозы до конца века; крестьяне организовались ранее, но, как следует из главы 19, их организация редко имела подрывной характер. Не важно, испытывали большинство рабочих энтузиазм в отношении короля, страны и капитала или были ими недовольны. Поскольку у них было мало стабильных организаций власти, их мнение практически не имело значения. Но поддержка организации требует управленцев и сторонников на низшем уровне; если ранее их предоставляли партикуляристские сегментарные сети, то теперь их число несколько сократилось из-за универсализма, присущего капитализму и современному государству. Тем не менее некоторое утешение для режима появилось во второй половине столетия, и оно представляло собой группу преимущественно лояльных подчиненных — группу среднего класса.

С тех пор этот класс был в основном лоялен к капитализму. Режимы, казалось, больше всего уже беспокоило то, что многие авторы считали этот класс периодически склонным к националистическому экстремизму. Я буду рассматривать буржуазный национализм скорее скептически, вскрывая гораздо больше партикуляристского в социальной предрасположенности к тому, что я называю чрезмерным сверхлояльным этатизмом. Учитывая столь устойчивую классовую лояльность, эта глава часто выходит за хронологические рамки тома, особенно в том, что касается обобщений о [причинно-следственных] цепях (там, где они существуют) вплоть до сегодняшнего дня. Нация-государство среднего класса, созданная в конце XIX в., оказалась в решающем смысле вполне нашей современной нацией-государством. Средний класс был так же важен в формировании западного общества, как и рабочий класс.

Определение понятия среднего класса всегда порождало споры. Рост промежуточных групп среднего достатка сразу же поставил концептуальные проблемы для наблюдателей XIX в. Большинство использовало множественное число — «средние классы» под впечатлением от их неоднородности. Право голоса остро поставило проблему определения этого класса: средним классам, возможно, и следует разрешить голосовать, но кто составляет этот средний класс? Но этот вопрос получил скорее политико-прагматическое решение, чем концептуальную ясность. Современники оставили определение нам, но наши историки оказались довольно беспомощными. Райан (Ryan 1981: 13) сетует, что американские историки используют термин «средний класс» в качестве простой «остаточной категории». Британский историк Грей считает, что категория «производственные отношения» позволяет различать капиталистов и рабочих, но дает лишь намек на «отчетливость средних слоев», поэтому ее не следует применять «механистически» (Gray 1977: 134–135). Этому расплывчатому совету вторит Кроссик, для которого «низший средний класс» является «аналитически» слабым, но полезным в качестве «описательного термина для современной наблюдаемой реальности» (Crossick 1977: 14). Харрисон (Harrison 1971: 101) пишет, что определить средний класс трудно в XX в., но «в начале викторианской эпохи в Англии доказательства принадлежности к нему были более объективными... хотя ни в коем случае не жесткими или фиксированными». Может ли объективность быть исторически безотносительной? Могут ли социологи изобрести лучшие понятия?

Социологи, конечно, предлагают *больше* понятий: мелкая буржуазия с ее старыми, новыми и традиционными фракциями; средний класс — старый, новый и разложившийся; новый рабочий класс; класс служащих; профессиональный класс и класс управленцев — все это может быть в «противоречивых классовых позициях». Вместе с тем есть много промежуточных слоев, профессиональных страт или статусных градаций либо смешанных классов-стратовых терминов, таких как «белый воротничок», «профессионал» или «полупрофессионал». Французские термины вторят этим. Немцы объединяют термины класса и сословия: *Mittelstand*, *Burgertum*, разделяя на *Besitzburgertum* (крупную буржуазию) и *Bildungsburgertum* (высокообразованную буржуазию). Изобилие терминов воплощает в себе пять альтернативных теорий. Промежуточные группы среднего достатка:

- 1) входят в состав рабочего класса — таков вывод ортодоксального марксизма;
- 2) являются частью правящего буржуазного или капиталистического класса — случайный, пессимистически-марксистский ответ;

- 3) располагаются в неоднозначном противоречивом месте стратификации (Wright 1985: 42–57);
- 4) пребывают в «расслоенном» состоянии, когда различные промежуточные группы относят к различным классам или стратам, — это наиболее распространенное мнение (например, Dahrendorf 1959);
- 5) составляют отдельный средний класс (например, Giddens 1973).

Сторонники пяти теорий ведут бесконечные дебаты (см. Abercrombie and Urry 1983: часть I). Я заимствовал понемногу у всех пяти, но больше опирался на комбинацию положений 4 и 5. Я выступаю за появление отдельного, но (как и все классы) «нечистого» среднего класса, содержащего три внутренние фракции, каждая — со своей организацией власти. Я также утверждаю, что предыдущая социология была не в состоянии оценить сложности, связанные со средним классом, по трем причинам.

1. Большинство авторов вошли в эту дискуссию через еще одну проблему, связанную с классом: отношений между капиталистом и рабочим классами (Blumin 1989: 6–7 и Mayer 1975 также на это сетуют). Средние классы (как подразумевает сам термин) рассматриваются в связи с борьбой между трудом и капиталом — якобы определяющей характеристикой современных классовых отношений. С этой точки зрения промежуточные группы среднего достатка не являются независимыми, так как в большинстве своем союзничают с капиталом (см. Критику теории «профессионально-управленческого класса», выдвинутой Ehrenreichs 1979, у таких авторов, как Aronowitz 1979 или Goldthorpe 1982). Если мы сосредоточимся только на отношениях «капитал — труд», эта точка зрения верна. Но, как я уже неоднократно утверждал, общество не является унитарным, не сводится к одному источнику социальной власти. Современное западное общество не сводится к капитализму, а его классовые отношения не сводятся к отношениям «капитал — труд».
2. Большинство марксистов и некоторые немарксисты разделяют узкий «производственный» подход, фокусируясь на прямых профессиональных отношениях, широко распространенных в крупной обрабатывающей промышленности. Некоторые ограничивают рабочий класс производительным трудом, причисляя почти все промежуточные группы к капиталу как осуществляющие его «глобальные функции» (Poulantzas 1975; Carchedi 1977). Райт (Wright 1985)

стремится осмыслить разнообразие средних в своей довольно оригинальной модели «производственных отношений». Он выделяет три властных ресурса занятости — собственность, организационную власть и профессиональные навыки, каждый из которых вытекает из отдельного способа производства в современном обществе (хотя он рассматривает власть собственности и, следовательно, капиталистический способ производства как доминирующие). Промежуточные группы имеют тенденцию возвышаться в чем-то одном, но не во всех трех. Таким образом, они находятся в «противоречивом классовом положении». Я принимаю многие из аргументов Райта, но его теория является продуктивистской и функционалистской: действительно, учитываются только трудовые отношения, а полномочия и образование лишь постольку, поскольку они функционально способствуют экономическому производству.

Некоторые немарксисты разделяют озабоченность трудовыми отношениями. Дарендорф (Dahrendorf 1959) утверждает, что отношения влияния (*authority relations*) в сфере занятости заменили собой права на собственность как основной определитель класса в современном обществе. Голдторп (Goldthorpe 1982) определяет «класс служащих» с точки зрения доверия, которым наделяют в сфере занятости профессионалов, менеджеров и высших технических специалистов. Он чувствителен к другим качествам своего класса служащих, таким как общий образовательный опыт, но эти качества не помогают определить его класс, потому что по сути он является совокупностью профессий. Снова «отношения к средствам производства», интерпретированные как трудовые отношения, якобы являются нашими проводниками через болото промежуточных слоев.

3. Неовеберианцы исповедуют гораздо более широкий подход при исследовании промежуточных групп. Они указывают на общность жизненных шансов и стилей жизни, образования, социального взаимодействия и смешанных браков, а также на официальные трудовые отношения. И все это выходит за рамки чисто экономической функции. Но они, как правило, интегрируют это разнообразие с концепцией общей «рыночной позиции», определяемой в основном образованием. Паркин (Parkin 1979) утверждает, что дипломы об образовании позволяют среднему классу значительно «сужать» рынки труда. Как и Коллинз (Collins 1979), он относится к этому не функционалистски, а скорее цинично: образование не просто ответ на экономические потребности, оно само по себе является формой власти.

Гидденс помещает образовательную власть в более широкую теорию того, как рыночные силы определяют классы. Они образуются, когда *«ограничения мобильности существуют по отношению к какой-либо определенной форме вместительности рынка»* (курсив мой. — М.М.). Частично повторяя Райта, он представляет три рыночные силы: собственность, образовательные или технические навыки, а также ручную рабочую силу, которые, в свою очередь, определяют три основных класса: современных капиталистов, рабочих и средний класс, определяемый образованием. Такое определение несет специфическую проблему исключения из среднего класса классической мелкой буржуазии — мелких лавочников, независимых ремесленников, что является, пожалуй, странным выводом. Гидденс корректирует свою модель, добавляя несколько вторичных «близких структураций классовых отношений», таких как отношения влияния в предпринимательских и потребительских паттернах. Тем не менее в целом его теория заменяет отношения к средствам производства, сфокусированные на занятости, рыночными силами, которые можно получить через образование (Giddens 1973: 107–110).

Аберкромби и Урри (Abercrombie and Urry 1983) сделали разумные замечания относительно того, что мы должны совмещать производственные и рыночные отношения и что коллективные действия, вытекающие из обоих, также помогают определить средний класс. Это необходимые, но еще недостаточные шаги. Я иду на три шага дальше.

1. В промежуточных группах сходятся три вида по-своему «нечистых» производственных отношений: (1) владение капиталистической собственностью; (2) занятие определенного места в иерархиях, специфически присущих капиталистическим корпорациям и современным государственным бюрократиям; (3) владение авторитетной профессией, лицензируемой государством. Иногда я ввожу дополнительные различия в группу (2) — между частными и государственными иерархиями, но в целом производственные отношения порождают три различные группы:
  - 1) *мелкую буржуазию* — владельцев малого семейного бизнеса;
  - 2) *карьеристов* — наемных работников, получающих заработную плату и движущихся вверх по корпоративной и бюрократической иерархии;
  - 3) *профессионалов* — «обученных людей», занятых коллективно организованными видами труда, лицензированными государством.

Конечно, многие люди находятся в «противоречивых классовых позициях» между классами, другие смешивают их (профессионалы, работающие на корпорации), а третьи могут иметь уникальную работу. Но если бы мы оставались полностью на уровне прямых производственных отношений, то могли бы считать эти три группы отдельными классами, так как их трудовые отношения весьма различны. Тем не менее общая позиция класса может быть определена шагами 2 и 3.

2. Я напоминаю о различии между *авторитетными* и *диффузными* отношениями власти. Капитализм не просто состоит из авторитетных организаций в области занятости. Они внедрены в диффузные контуры капитала, в том числе потребления (как отмечают многие авторы). Мы еще увидим, что они помогают интегрировать наши три классовые фракции.
3. Капитализм никогда не был самодостаточным. Как я уже неоднократно утверждал, он внедрен в сети идеологической, военной и политической власти. Мы увидим, что идеологическое и политическое национальное гражданство также интегрирует средний класс.

Действительно, все три критерия — трудовые отношения, диффузные отношения власти, а также источники социальной власти — придают дополнительное общее качество представителям среднего класса: они имеют преимущественно сегментарные отношения с господствующими классами над ними, усиливающие их лояльность, хотя это с точки зрения некоторых порождает вызывающую беспокойство сверхлояльность. Таким образом, они являются фракциями одного среднего класса, определяемого как *сегментарное посредническое участие в иерархиях капитализма и национального государства*. Я начну с экономических отношений.

## ФРАКЦИИ СРЕДНЕГО КЛАССА

### *Мелкая буржуазия*

Мелкая буржуазия владеет и контролирует свои средства производства и свой собственный труд, но не использует свободный наемный труд (как следует из марксистских определений). Типичный бизнес мелкой буржуазии использует зависимый семейный труд по нерыночным ценам (обычно ниже рынка). Владельцем может быть один человек, семья или товарищество друзей, как правило, по существу на недоговорной основе — прибыль, убытки и трудовые обязательства распределяются



в соответствии с диффузным нормативным пониманием семьи и дружбы в отличие от более безличных партнерств крупного бизнеса. Мелкая буржуазия имеет капиталистическую собственность на имущество, но с «несвободным» наемным трудом; это труд семейный и партикуляристский.

Очевидно, что граница между мелкой буржуазией и капиталистическим классом не является абсолютной. Бизнес может менять свои размеры, и верхняя часть мелкой буржуазии незаметно сливается с классом капиталистов. Поскольку капитализм относительно диффузен, он редко является эксклюзивным в отличие от некоторых других видов производства.

В главе 4 показано, что организация раннего индустриального капитализма была по сути маленькой и диффузной. Ремесленники, маклеры, мелкие торговцы и владельцы семейного бизнеса осуществили промышленную революцию. Мелкий капитал сливался с квалифицированной рабочей силой, как нефизический труд сливался с физическим, особенно за счет ремесленников, преобладавших среди низших промежуточных классов. В главах 4 и 15 рассматривается раскол в мире ремесленников. Большинство кустарей из менее безопасных ремесел попали в рабочий класс, но из какого-нибудь процветающего ремесла в середине века 20% могли за десять лет подняться до своего собственного малого бизнеса. Эта новая мелкая буржуазия перестала заниматься физическим трудом, отделившись от рабочих, располагавшихся ниже, став богаче и защищеннее их и получив более высокий статус (Blumin 1989: 66–137). Мелкие собственники по-прежнему доминировали в средних группах. Дельцы составляли более половины тех, кого в викторианские времена определяли как средний класс, и к середине века их число увеличилось (Booth 1886; Best 1979: 98–100, 104–106).

Эта мелкая буржуазия, занимавшаяся нефизическим трудом, обладала лишь незначительным богатством и статусом и не была вхожа в высший свет. Но она сотрудничала с капиталистами. До подъема крупных корпораций, после 1880 г. в Германии и Соединенных Штатах (и после 1900 г. в Великобритании, Франции и Австрии), даже самые крупные предприятия порождали мелких дельцов на обоих концах производственной цепи. Преобладали частные с неограниченным количеством собственников компании и партнерства, субподрядчики и непостоянная занятость; большие и малые капиталисты были заняты передачей семейной собственности своим наследникам. Малый бизнес работал на крупный бизнес и доминировал в легкой и пищевой промышленности, строительстве и сфере услуг. Его сбережения были вложены в государственные облигации или акции солиситорами, брокерами, банками и страховыми ком-

паниями. Мелкая буржуазия с радостью участвовала в расширенном распространении капитала.

Преданность средних классов помогла победить чартизм и революции 1848 г. и сохранялась в дальнейшем. Майер (Mauger 1975) пишет, что мелкая буржуазия видела перед собой только один путь после 1871 г. — путь назад. Это преувеличение, как утверждает Винер (Wiener 1976). Ее члены оставались в основном консервативными, но не были реакционными. В викторианской Англии они казались довольными. «Смягчение либерализма среднего класса» соединилось с экономическим бумом и британским имперским доминированием (Tholfsen 1976). Мелкая буржуазия представляла почти большинство электората между 1832 и 1867 гг., примерно треть после этого, но выборы оставались сегментарно организованными «традиционно структурированными сообществами и сетями субординации» в течение более длительного времени (Moore 1973). Политическое спокойствие шло рука об руку с сентиментальным идеализмом. Картины в мелкобуржуазных гостиных изображали внутреннее спокойствие, сцены средневекового и горно-шотландского романтизма и невинность детей. Блумин (Blumin 1989: 138–191) и Райан (Ryan 1981) также рисуют картину уютной домашней американской мелкой буржуазии.

Однако было ли это время коротким золотым веком мелкой буржуазии? Вторая промышленная революция развила корпорации, картели, торговые ассоциации и протекционизм на фоне интенсивной международной конкуренции. Как правило, такой «организованный капитализм» был враждебен к мелкой буржуазии (см., например, Gellately 1974 и Lash and Urry 1987). Британский и французский капитализм был менее «организован», чем американский или немецкий. Но в важном для мелкой буржуазии секторе розничной торговли универмаги угрожали мелким лавочникам и дельцам во всех странах, а Англия и Франция больше всех пострадали от международной конкуренции. Мелкой буржуазии с 1880-х гг. якобы грозил корпоративный капитализм, число ее представителей и ее власть истощались, реагируя шумной и параноидальной политикой статусной паники у встревоженной фракции класса — взрывоопасной и, как правило, правой, что в конечном итоге приводит к крайнему национализму и фашизму.

Но все это оказалась мифом. Довоенная мелкая буржуазия скупалась, а не паниковала. На самом деле мелкобуржуазное экономическое недовольство было слабо организовано и остается таким до настоящего времени. В странах, которые мы рассматриваем, на тот момент наиболее организованными были австро-венгерские националисты и немецкие *Mittelstand* (средние

классы) — в основном политические структуризации коллективных действий, неширокие экономические проявления которых имели тенденцию к прагматичности и умеренности. Например, когда немецкие суды постановили, что законы социального страхования Бисмарка будут применяться только к работникам, *Mittelstand* начали протестовать и получили в 1911 г. свое собственное страховое законодательство (Коска 1980: 258–259). Мелкую буржуазию в Британии и Соединенных Штатах лишь изредка будоражила внутренняя политика, она не была активна и в спорах по поводу прогрессивного движения. Чапмен (Chapman 1981: 236) отмечает небольшой конфликт между малыми и крупными британскими фирмами начиная с 1720-х и до 1970-х гг. Наиболее острые стычки зачастую возникали вокруг поддержания розничных цен, но так как главными соперниками были крупные кооперативные магазины, то мелкобуржуазный протест озвучивал либеральную капиталистическую идеологию (Crossick 1977: 17). Как мы увидим, эта классовая фракция была слабо представлена в националистических движениях среднего класса обсуждаемого периода. Даже будучи недовольной, мелкая буржуазия редко отделялась, чтобы сформировать свои собственные партии.

Но разве мелкая буржуазия склонилась перед более высокой эффективностью корпораций? Спустя полвека, на протяжении которого экономисты подчеркивали «экономии от масштаба», вопрос эффективности вновь был поднят в 1980 г. Презу (Prajs 1981) не удалось найти «экономию от масштаба»: большие поглощают маленьких не потому, что они более эффективны, а потому, что они осуществляют авторитетную власть над рынками, а также благодаря особым характеристикам фондовых рынков. Исследование греческих предприятий Николау (Nikolaou 1978) обнаружило, что мелкие или средние фирмы наиболее эффективны; Киёнари (Kiyonari 1981) нашел, что небольшие японские фирмы были либо крайне прибыльными, либо крайне убыточными. У нас мало данных о прибыли мелких фирм за ранние периоды. Историческая литература полна мелкобуржуазных сказок о страданиях, но не сметах прибылей и убытков и не доказательствами их экономического упадка (Gellately 1974 — типичный пример). Уровень смертности для малого бизнеса был высок, но это, вероятно, было всегда и уж наверняка с 1850-х гг. (Blumin 1989: 115).

Малый бизнес серьезно эксплуатирует семейный труд. Тем не менее, это редко воспринимается как эксплуатация. Берто и Берто-Виам (Bertaux and Bertaux-Wiame 1981) ярко описывают жизнь французских пекарей. Шесть дней в неделю муж печет с 3–4 часов утра до полудня, а жена продает в магазине с 7–8 ча-

сов утра и до 8 часов вечера. Тем не менее это ремесло и есть их жизнь и достижение, воплощающие как идеалистическое представление о «смысле», так и материалистическое представление о практическом и творческом самовыражении. Мало кто из современных людей испытывает чувство автономии и удовлетворения на рабочем месте, но как цели они по-прежнему высоко ценятся. Даже если прибыль и уровень заработной платы низкие, многие стремятся войти в ремесло и большинство находят в нем и удовлетворение, и тяготы, и все остальное. Это не вызывает недовольства, а слишком долгие часы работы не облегчают организацию класса.

При отсутствии данных о прибыли численность мелкой буржуазии часто используют как указание на пролетаризацию. Вывод был всегда почти единодушным: численность падала до 1980-х гг., указывая на экономический спад и пролетаризацию. Известное предсказание о пролетаризации мелкой буржуазии Маркса и Энгельса (в «Коммунистическом манифесте») оказало влияние на учеников и критиков. Довольно изящно выстраивая доказательства, Пуланзас провозгласил «массовый процесс обнищания и пролетаризации мелкой буржуазии» (Poulantzas 1975: 152). Но даже критики Маркса с этим согласны, добавляя, что для компенсации возник новый «класс зарплатной буржуазии („салаariat“»)» (Geiger 1969: 92–94). Гидденс пытается быть более точным:

Эти цифры... предполагают общую схему, которая применяется, хотя и с довольно широкими расхождениями, к большинству капиталистических обществ: схема устойчивого относительного сокращения численности малого бизнеса... с последних десятилетий XIX в. до начала 1930-х гг., после чего падение продолжается, но значительно более медленными темпами [Giddens 1973: 177–178].

В 1980-е гг. к этой ортодоксальной повести добавили особый поворот сюжета: утверждение о том, что на смену эпохе корпоративного «организованного» капитализма пришла эпоха «неорганизованного» капитализма, в которую малый бизнес снова процветал. Лэш и Урри (Lash and Urry 1987) утверждают, что корпоративный капитализм вызывал упадок мелкой буржуазии с 1880-х до 1950-х гг., но затем этот спад обратился вспять.

Тем не менее эти утверждения ложны. Мелкобуржуазный упадок в значительной степени касается производства и выражается в относительных числах, а не в абсолютных. Гидденс заметил последнее, но он неправильно понял распределение во времени относительного упадка. Большинство переписей населения позволяют проследить снижение мелкого производства вплоть до 1970-х гг. В Великобритании в 1930 г. насчитывалось

93 тыс. учреждений с численностью работников менее 10 человек, к 1968 г. — только 35 тыс. Чуть меньший спад произошел во Франции, Германии и Соединенных Штатах. Только Италия и Япония избежали снижения. К 1960-м гг. учреждения с численностью работников менее 10 человек составили лишь 2,1% всей британской структуры занятости в обрабатывающей промышленности, 2,4% — американской, 6,2% — западногерманской, 10,8% — французской, 12,2% — японской и 18,2% — итальянской (Pryor 1973: 153; Kiyonari 1981: 980; Prajs 1981: 10–11, 160). Но общие тенденции в области занятости являются комплексными и различаются между странами и периодами.

Британская перепись 1911 г. различала такие категории, как «предприниматели», «самозанятые работники» и «наемные работники». Две первые категории грубо указывают на мелкую буржуазию, хотя категория «предприниматели» также включает в себя некоторое количество крупных капиталистов. В период с 1911 по 1931 г. они выросли в абсолютном выражении на 14%, в точности сохраняя свою относительную долю в структуре рабочей силы. В период с 1931 по 1951 г. их число сократилось на 21%, относительная доля уменьшилась чуть больше. Исключение сельского хозяйства увеличило падение в абсолютных цифрах до 28% больше всего в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Но численность «предпринимателей» стала снижаться раньше численности «самозанятых работников», которая на самом деле сначала увеличилась и к 1951 г. составляла 141% численности 1911 г. больше всего в сельском хозяйстве, затем в сфере транспорта, общественного питания, а также оптовой и розничной торговли (Routh 1965: 20). Между 1951 и 1971 гг. эти тенденции обратились вспять: число предпринимателей увеличилось почти на 50%, вернувшись на уровень 1931 г. (относительная доля выросла на 25%), в то время как количество самозанятых работников пошло немного на убыль. Это последнее увеличение численности предпринимателей произошло в большинстве отраслей, включая промышленность (Routh 1980: 6–7, 18–20). В целом их абсолютная численность росла после 1911 г., но их относительная доля в рабочей силе несколько снижалась.

Это указывает на три британские тенденции: (1) несмотря на то что в середине столетия численность высшего слоя мелкой буржуазии (предпринимателей) немного снизились, снижение было нивелировано увеличением семейной мелкой буржуазии (самозанятых работников); (2) общие тенденции могут маскировать межотраслевые сдвиги возможностей. Примерно в 1900 г. возможности были наибольшими в строительстве, а затем и в других секторах услуг; (3) малый бизнес чувствовал

себя относительно лучше в плохие экономические времена. Например, в текстильной промышленности в 1962–1978 гг. мелкие фирмы пережили сложный период лучше, чем крупные, а некоторые из них даже получили большие прибыли (Charman 1981: 241). В настоящее время в застойной экономике мелкие производители снова растут (как и во всех странах).

Если бы существовали более полные статистические данные по профессиям за предшествующие периоды, несомненно, они бы показали другую форму мелкобуржуазного упадка. Перепись 1911 г. выявила незначительное количество самозанятых работников среди менеджеров и администраторов, конторских служащих и квалифицированных, полуквалифицированных и неквалифицированных рабочих — только 3% работников ручного труда и 6% квалифицированных рабочих ручного труда (Routh 1965: 4–5). Ранее самозанятость была намного выше, особенно среди квалифицированных ремесленников. Это почти наверняка было самым драматическим сдвигом в сфере занятости, повлиявшим на мелкую буржуазию и приведшим к разрыву ее исторических связей с ремесленниками, занимавшимися физическим трудом. Мелкая буржуазия также стала лендлордами для рабочих (Bechhofer and Elliott 1976). Но это нечто противоположное пролетаризации: пропасть между мелкой буржуазией и рабочим классом увеличилась около 1900 г., и впоследствии не произошло ничего такого, что могло бы ее уменьшить.

Таким образом, британская мелкая буржуазия более отчетливо проявилась как классовая *фракция*, изолированная снизу и с более подвижной границей сверху. Относительный упадок малого бизнеса сократил слияние с подъемом капиталистического класса вплоть до середины XX в., хотя в настоящее время имеет место обратная тенденция. Ниже ранний коллапс самозанятых ремесленников резко уменьшил их частичное слияние с рабочим классом и снизил между ними межпоколенческую мобильность. Эти два барьера не совпадали по времени. До 1930-х гг. снижение контакта с рабочим классом плюс постоянный доступ к более крупному капитализму могли *повысить* лояльность мелкой буржуазии по отношению к существующему порядку. Хотя одни переживали трудные времена, другие в различных секторах увеличивали свое состояние. Неравный опыт мог препятствовать возникновению коллективной политики. После 1930-х гг. укрепление верхнего барьера могло усилить расхождение между фракциями, в основе которого лежали семейная организация, неформальные нормативные договоренности между семьей и друзьями, а также совместная эксплуатация труда.

Другие страны развивались иначе, как демонстрирует сборник исторических переписей Байроха с соавторами (Baigoch

et al. 1968). Их категории, «предприниматели и самозанятые» и «семейные работники», указывают на мелкую буржуазию более надежно в рамках отдельных стран, чем в международных сравнениях, так как определения переписи различаются. Я добавил также исследование Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales (1981), в котором подробно рассматриваются мелкобуржуазная организация и политика.

Во-первых, сельское хозяйство было существенным в некоторых странах. Бельгия, Франция и Германия дают долгосрочные сельскохозяйственные данные. Хотя полная занятость в сельском хозяйстве сократилась в XX в., крестьянские собственники (предприниматели и независимые) сокращались минимально. Крестьяне-собственники на самом деле увеличили свое превосходство в сельском хозяйстве до конца 1960-х гг., когда субсидии помогли распространению крупных хозяйств по всей территории Европейского экономического сообщества. Число фермеров сократилось более чем наполовину в период с 1960 по 1983 г. (рассказ об этом выходит за рамки этого тома).

В других секторах самые ранние данные — бельгийские, которые показывают относительное снижение численности мелкой буржуазии в долгосрочной перспективе: 40% несельскохозяйственной рабочей силы в 1846 г., 30% в 1880 г., 23% в 1910 г., затем стабилизация численности мелкой буржуазии до 1945 г. и снижение до 19% к 1961 г. Спад произошел в большинстве отраслей, но наибольший был в промышленности. Однако абсолютные величины говорят другое. Поскольку несельскохозяйственная рабочая сила увеличилась более чем на 250% в период между 1846 и 1910 гг., численность мелкой буржуазии увеличилась на 50%. Затем она стабилизировалась. Малый бизнес переместился из тяжелой промышленности и текстильной промышленности в производство потребительских товаров и розничную торговлю, став дополнением, а не конкурентом крупному капиталу. Автономная политическая организация появилась якобы в качестве третьей силы между капиталом и трудом, но на самом деле была эффективной группой прагматического давления в бельгийской многопартийной плюралистической политике (Kurgan 1981: 189–223).

Во Франции с 1866 по 1936 г. не было тренда ни в относительных, ни в абсолютных цифрах. Численность мелкой буржуазии колебалась между 33 и 43% достаточно неизменной численности всей несельскохозяйственной рабочей силы. Относительно большое снижение — до 19% произошло к 1954 г., а затем до 16% к 1962 г. В большинстве секторов численность снизилась, хотя в строительстве возросла. Но абсолютные цифры

оставались стабильными, так как численность несельскохозяйственной рабочей силы росла. Специфической французской особенностью было долгосрочное выживание независимых ремесленников. В то время как другие страны перешли на массовое производство, Франция поставляла по всему миру предметы роскоши и не было богатой плантации в Луизиане без фортепиано, купленного в Париже (Gaillard 1981: 131–188; Jaeger 1982). Даже крупные предприятия производили в кооперации с мелкими, которые росли между 1901 и 1931 гг., хотя число мелких семейных единиц незначительно снизилось (Bruchey 1981: 68). Малые предприятия лучше переносили рецессии. Ремесленные связи гарантировали, что и в XIX в. мелкобуржуазная политика оставалась радикально республиканской, хотя и она, наконец, сместилась вправо после Первой мировой войны. Снижение численности мелкой буржуазии случилось поздно и было исключительно относительным и неравномерным.

Немецкие цифры трудно интерпретировать по причине изменений в территории и системах классификации. С 1882 по 1936 г. там, кажется, было большое абсолютное и небольшое относительное увеличение численности мелкой буржуазии. Затем обе тенденции поменялись местами, и так длилось до 1946 г., когда произошло небольшое абсолютное увеличение по мере роста рабочей силы. Эти изменения распределялись неравномерно: в сфере услуг увеличение было более чем в два раза, в промышленности численность сократилась, а в строительстве и на транспорте оставалась стабильной. Кауфхолд (Kaufhold 1981: 273–298) датирует крах независимых производящих ремесленников как раз перед 1900 г. Внезапный коллапс иногда используется для объяснения того, почему оставшаяся мелкая буржуазия стала крайне правой (Haupt 1981: 247–272). Но, конечно, ее численность в этот период увеличивалась, а уменьшалась, только когда нацисты, которых она якобы поддерживала, оказались у власти.

Киёнари (Kiyonari 1981: 961–989) показывает, что японский малый бизнес массово увеличивался в абсолютном выражении, и немного в относительном в течение XX в. Но здесь причиной увеличения доли были всплески, а не катастрофические обвалы. В малый бизнес входят как бездефицитные, так и более высоко rentабельные предприятия. Малый бизнес в полной мере участвовал в каждой фазе национального развития, и на последней фазе это было симбиотическое участие в качестве субподрядчиков для сборочной промышленности, высокотехнологичной инновации, а также расширения трудоемких услуг. Мы не видим политики, стремящейся к автономии и тем более недовольной мелкой буржуазией.



Перепись населения в США не дает возможности провести подобный анализ, но Брачи резюмирует американские исследования по этой теме (Bruchey 1981: 995–1035). Исчезновение ремесленников, падение мелкого производства при устойчивом сохранении мелких услуг происходило как и везде. Рост крупного и малого производства во время экономической экспансии 1870–1900 гг. зеркально отражает японский вариант, а он отсылает к французскому паттерну бума после 1954 г., когда численность мелкой буржуазии падала. Важность довольно малого бизнеса в банковской сфере является американской особенностью, продуктом федерализма и капиталистического либерализма.

Несмотря на национальные особенности, мы различаем три основных тренда:

- 1) за последние 100 лет численность мелкой буржуазии снижалась, но только в относительном, а не в абсолютном выражении;
- 2) наибольший относительный спад произошел в середине XX в., не раньше, как и в расписании упадка по Гидденсу и как подсказывает само понятие «эпоха организованного капитализма». Это, конечно, случилось уже после самой экстремистской, фашистской фазы политики среднего класса в 1920–30-х гг. Таким образом, значительный экономический спад мелкой буржуазии, как показывают цифры, не мог быть основным фактором, определяющим турбулентную политику этих лет<sup>1</sup>;
- 3) спады, относительные или абсолютные, распределялись неравномерно, что приводило к переменным миграциям между секторами.

Эти тенденции развенчивают миф, предполагаемый упадок мелкой буржуазии, ее экономическое отчаяние и, как следствие, политику статусной паники. Кроме того, все страны имеют одно сходство: поскольку это была в значительной степени транснациональная экономика, стремительный экономический рост данного периода стимулировал все классы. Имели место рецессии и неурядицы, но в целом процветание только возрастало и охватывало и мелкую буржуазию. Хотя она больше не была в первых рядах, но по-прежнему ее численность в абсолютных цифрах росла. В большинстве стран в промышленно-

---

1. Другие экономические угрозы, такие как инфляция или налоговая политика, возможно, и потревожили мелкую буржуазию в 1920-х или 1930-х гг. Они не делали этого до 1914 г., то есть в течение всего периода, рассматриваемого в этом томе.

сти ее численность сократилась, но выросла в секторе услуг, как новых, так и старых. Напомним аргумент главы 4: британские промышленные предприятия оставались небольшими до Первой мировой войны, потому что они специализировались на тех видах деятельности, которые не поддавались корпоративному управлению. Этот аргумент был выдвинут против одержимости некоторых социологов корпорациями, монополиями и авторитетной организацией в капиталистическом обществе. Та же самая одержимость преувеличивает и упадок мелкой буржуазии.

Мелкая буржуазия выжила благодаря двум альтернативным паттернам: либо (1) японскому паттерну — он же американский 1870–1900-х гг. (и итальянский после 1945 г.; Weiss 1988), когда малый бизнес в полной мере участвовал в росте, поиске новых, прибыльных продуктов и линий обслуживания, либо (2) французскому и более нормальному европейскому паттерну, когда малое предприятие легче переживало спад, повышая эксплуатацию труда и отказываясь от прибыли. Бергер (Berger 1981) считает это нормальным симбиозом крупного и мелкого капитала. Если какие-то части продукции являются технологически простыми и трудоемкими или там, где спрос неустойчив, гигантские предприятия заключают внешние контракты с маленькими фирмами, используя труд с низкой заработной платой, не охваченными профсоюзами. Это ответ на открывающиеся рыночные возможности, отражающий, в сущности, диффузную, а не авторитетную организацию капиталистических рынков.

Симбиоз крупного и мелкого капитала был более распространен, нежели конфликт между ними. За вычетом политики *Mittelstand* (средних классов Германии) и крестьян (которые рассматриваются в главе 19) мелкая буржуазия практически не занималась экономической деятельностью, которая была бы радикально отделена или направлена против крупного капитала. Она осталась преданной капитализму и своим режимам, потому что экономически и сегментарно зависела от них. Ее лояльность вызывала уступки либо как рассчитываемый шаг для обеспечения себе поддержки в борьбе с трудовым движением, как в послевоенной Италии (см. Weiss 1988), либо как более спонтанное проявление капиталистического либерализма, как антимонопольное законодательство в США или политика тэтчеризма.

Пропасть между мелкой буржуазией и рабочим классом разверзлась раньше, как только исчезли ремесленники. В отличие от них мелкая буржуазия не была пролетаризирована, но сегментарно принимала участие в обращении капитала. Ее экономический опыт оставался самостоятельным, так как семья переплеталась с работой. Но ее экономическая мощь зависела от капитала, и она по необходимости делала все достаточно хорошо. Ее консерва-

тизм происходил не из панического состояния, не из идеологической или любой другой полупараноидальной реакции, предложенной такими авторами, как Ч. Райт Миллс (Mills 1953) или Пуланзас (Poulantzas 1975). Не провал, а умеренный успех и поглощающий энергию тяжелый труд обеспечили лояльность мелкой буржуазии по отношению к капитализму. Мы увидим, что вопреки стереотипу мелкая буржуазия не была широко представлена в крайних националистических движениях этого периода.

### *Карьеристы*

Карьеристы — люди, работающие на иерархические организации капиталистических корпораций и бюрократии современных государств, но при этом мобильно перемещающиеся внутри них. До 1914 г. различия между этими двумя иерархиями иногда имели значение, но они коренились больше в политике режима, чем в трудовых отношениях. Существование исключительно в рамках дифференцированной, дисциплинированной, сегментарной иерархии отличает их от других классов или фракций. Это ограничение выступает и как «клетка», и как возможность: это «клетка», так как она отсекает работника от коллективных действий и позволяет капиталу или режиму организационно превзойти карьерного чиновника; это *возможность*, потому что позволяет карьерному чиновнику двигаться вверх (как в принципе и вниз) по организационной иерархии (ср. Abercrombie and Urry 1983: 121). В число карьеристов входит много «белых воротничков», то есть занятых нефизическим трудом, менеджеров, государственных служащих, продавцов, техников высокой квалификации и т. п. Они имеют еженедельную или ежемесячную зарплату, а не почасовую оплату, принятую среди работников физического труда; некоторые должности наделяют работников особой коллективной идентичностью (клерки часто похожи друг на друга по одежде, поведению и стилю жизни). Но их общие жизненные шансы в меньшей степени определяются одной конкретной нынешней работой, нежели целиком доступом к *карьере*.

Дарендорф утверждает, что корпоративные и бюрократические карьеры определяют «новый средний класс» как «рожденный расслоенным». Он приходит к выводу (в отличие от меня), что две его основные половины принадлежат к двум различным классам — правящему и рабочему:

Довольно отчетливую и важную линию можно провести между наемными работниками, которые занимают должности, являющиеся частью бюрократической иерархии, и наемными работниками на долж-

ностях, которые к ней не относятся. Позиции почтового служащего, бухгалтера и, конечно, топ-менеджера являются ступеньками на бюрократической лестнице: позиции девушек-продащиц [такowymi не являются... Теория правящего класса применяется без исключения к социальному положению чиновников, а теория рабочего класса также применима к социальному положению «белых воротничков» [Dahrendorf 1959: 55].

В этом утверждении есть как смысл, так и бессмыслица. Хотя работа продавщицы и похожа на работу рабочего класса, почему тех, кто строит карьеру, следует считать правящим классом? Кажется странным так называть и почтовых клерков (позднее в книге 1969 г. Дарендорф изменил свою точку зрения). Высокоформализованные иерархии, как в почтовом отделении, распадаются на отдельные секции. Большинство клерков подвижны только в самой низкой из них. Их лучше рассматривать как вершину сталеваров нефизического труда, которые двигаются вверх во внутреннем рынке физического труда, но редко достигают высокого положения. Сталевары остаются сталеварами, и почтовые служащие остаются работниками почт, а не менеджерами и уж тем более не членами правящего класса. На самом деле возможностей карьерного роста часто больше всего в наименее бюрократизированных структурах, как мы увидим далее. Повторюсь: это происходит потому, что капитализм не очень авторитетно организован.

Карьерная занятость сама по себе возникла недавно. Иерархическая организация централизованного управления персонала была редкостью в аграрных обществах, за исключением некоторых церквей и армий. Глава 13 показывает, что государства раннего Нового времени не были бюрократическими. Две промышленные революции принесли лишь медленное развитие карьеры. Британская перепись 1851 г. насчитывает от 1 до 2% лиц, занятых трудом на оплачиваемых должностях (за исключением вооруженных сил и церквей), и это в основном железные дороги, почтовые отделения, а затем торговля и финансы. После 1870 г. продавцы, коммивояжеры, бухгалтеры, а также банковские и страховые работники были самой быстрорастущей категорией наемных работников на Западе. Промышленность и гражданская служба по-прежнему предлагали мало возможностей для упорядоченной карьеры. К 1911 г. конторские и управленческие работники составляли 7% британской рабочей силы и большинство — в области транспорта и торговли. По оценкам Байроха, их было 9% в Бельгии, 12% во Франции и 13% в Германии, но различия могут возникать и в результате разных систем классификации. Во всех странах  $\frac{4}{5}$  наемных слу-

жащих были мужчинами, но в остальных смыслах такая работа была разнообразной.

Я различаю работу продавца, а также конторскую и управленческую работу.

1. Государства, торговля и корпорации порождают разных *клерков*. Работа и отношения с клиентами рутинизировались путем сбора, хранения и отсылок к записанным нормам и мерам прошлой и нынешней деятельности. Это требовало базовой дискурсивной грамотности, которая сначала была редкостью (Perkin 1962). Вначале задачи, связанные с грамотностью, не были отделены от более важных задач, требующих опыта; таким образом, продвижение от конторской должности (и работы продавца) на руководящие должности в торговле, промышленности и гражданской службе было в середине века более частым, чем карьерный рост работников физического труда (Blumin 1989: 120–121). Но с дальнейшей рутинизацией сама грамотность отделилась от других навыков. Массовое обучение мальчиков и девочек среднего класса закончилось с избыточным спросом. Одинокие женщины стали «резервной армией труда», грамотными, но не перспективными с точки зрения мужчин. Таким образом, статус конторской работы понизился, хотя в некоторых секторах больше, чем в других: в 1909 г. 46% мужчин — страховых клерков зарабатывали более 160 фунтов стерлингов в год (это минимум для обложения налогом на прибыль) по сравнению с 10 фунтами железнодорожных клерков (Klingender 1935: 20).
2. Распространение потребительских товаров и услуг увеличило число *торгового* персонала, от которого требовалась грамотность и респектабельность, так как большинство клиентов были из среднего класса. Опять временное повышение спроса остановилось, уступив тем же трем видам давления. Образование, а также женщины испытывали то же унижительное давление в то же самое время. Технические требования к работе также снизились там, где было много торгового персонала, низкая стоимость товаров и много рутины, в частности в крупных магазинах. Там, где работа продавцов влияла на доходы предприятия, у них оставалась связь с более высокими уровнями и возможность сделать карьеру.
3. Координирующие комплексные организации порождали *управленцев-менеджеров* с дискурсивной грамотностью и опытом обращения к различным видам информации в условиях неопределенности. Некоторую информацию получали на работе, но были и другие навыки — те, которые культивировало современное среднее и высшее образование, либо

техническое, либо ищущее связей в массе эмпирических явлений, слишком большой, чтобы запоминать ее наизусть. Расслоение в образовательных учреждениях (будет рассмотрено позже) повлияло и на обеспечение новых менеджеров: многоуровневая вербовка, расслаивающаяся в зависимости от различных образовательных навыков и квалификаций образования, увеличила разделение занятости в рамках салиариата. К 1900 г. увеличился разрыв между конторской, торговой работой и менеджментом, а также на государственной службе между разными степенями механического и интеллектуального труда (как уже отмечалось в главе 13).

Крупные организации, в которых работали на всех трех позициях, появились во всех секторах экономики примерно в 1900 г. Работа за конторкой и прилавком и другие специальности отделились от менеджериальной координации. В государственном управлении и в промышленности со стабильными рынками продукции появились сокращенные маршруты продвижения по карьерной лестнице для лиц с особым образованием и профессиональной подготовкой. В организациях, продававших товары клиентам из среднего класса, предпочтение отдавалось сотрудникам из среднего класса. В условиях рыночной неопределенности, особенно в области финансов и торговли, имелся большой выбор разных карьер. Наемный средний класс расслаивался по мере того, как изменения в области образования и гендерных отношений усилили рост крупных организаций, а в финансовом и коммерческом секторах увеличились возможности карьерного роста. Различные виды карьеристов отделились от низшего среднего класса, занимавшего пролетаризированные рабочие места и имевшего возможности для коллективных действий, сразу после 1900 г.

Таким образом, работа «белых воротничков» была пролетаризирована в XX в. Но более значимый социологический вопрос, из которого могли вытекать классовые действия, таков: были ли пролетаризированы те люди, которые занимались этой работой? Помните, что расширялась вся сфера наемного труда. В Великобритании между 1911 и 1971 гг. число сотрудников, занятых нефизическим трудом, увеличилось почти в четыре раза в абсолютных цифрах и в три раза, если считать их относительный вклад в численность всей рабочей силы. Темпы роста были почти одинаково велики как для менеджеров, так и для клерков и продавцов (Routh 1980: 6–7). Поскольку возможности для существенной массовой мобильности возросли, вероятно, в результате никто ничего не потерял в рамках своей собственной трудовой жизни или по сравнению с отцами или матерями.

Стюарт и его коллеги делают такой вывод из своего анализа английских, американских и австралийских данных начиная с 1920 г.: «Фактически ни одна группа индивидов или типов работника не была пролетаризирована» (Stewart 1980: 194). Увеличились рабочие места конторских служащих и продавцов за счет тех, кого можно распределить по трем категориям. Во-первых, большинство низовых рабочих мест, на которых едва ли можно было ожидать карьерного роста, заполнились женщинами из сферы физического труда или вообще из-за пределов рынка рабочей силы, так как выросло участие женщин в образовании и в формальном рынке труда. Мы можем оценить истинное значение этого для социальной стратификации только путем анализа гендерных отношений (что за пределами круга вопросов, рассматриваемых в этом томе), но это не была нисходящая мобильность или субъективно воспринимаемая как пролетаризация. Во-вторых, большинство других низовых рабочих мест, особенно в обрабатывающей промышленности, были заполнены более пожилыми мужчинами из сферы физического труда, движущимися в поперечном направлении в сторону менее тяжелой физической работы (возможно, по причине ухудшения их здоровья), то есть опять это не было пролетаризацией. В-третьих, настоящие карьеры оставались доступными для молодых мужчин, поступающих на канцелярские должности или позиции продавцов на низком уровне. Их шансы на восходящую мобильность в 1920 г. были такими же, как и в 1970 г. Текущая должность, такая как клерк или помощник по продажам, не указывала на однозначную классовую позицию. Судьба самой большой группы работников, а именно женщин, определялась скорее по половому признаку, чем по профессиональному, а молодые мужчины оставались карьеристами среднего класса. По мере переплетения занятости, образования и гендерных отношений происходило понижение статуса *труда* в канцелярии и за прилавком, а не пролетаризация *людей*.

Эти выводы применимы к периоду начиная с 1920 г. Некоторые английские авторы утверждают, что пролетаризация имела место ранее. Тем не менее предъявляемые ими свидетельства не очень убедительны, в значительной степени это отдельные жалобы молодых клерков, например «как же человек может жить и содержать жену на это скудное жалование и в то же время прилично одеваться?» (цитируется по Price 1977: 98; ср. Lockwood 1958: 62–63; Crossick 1977: 20–26). Молодым людям всегда было трудно содержать семью, состоявшую из неработающей жены и детей, на свою начальную зарплату. Клерки издавна зависели от годовых повышений заработка и продвижения по службе. Нет никаких доказательств того, что

в Британии заработки молодых людей сокращались до Первой мировой войны, напротив, есть свидетельства, что этого не происходило в Америке (Blumin 1989: 267–275, 291–292). Существуют также данные по нескольким другим странам (Crew 1973, 1979) о практическом отсутствии нисходящей мобильности — от интеллектуального труда к ручному. Тем не менее мировая война произвела перераспределение в сторону бедных, и его бремя пало в основном на низовых наемных работников; в Веймарской Германии это усугубилось галопирующей инфляцией. Такое относительное ухудшение могло повлиять на средний класс, заставив его качнуться в сторону крайне правых и нацистской партии (Blackbourn 1977; Коска 1980: 28–29). Но до фашизма и после него и в других странах таких примеров было мало.

Мы, ученые, некомфортно сидим между двух стульев — профессиональным трудом и карьеризмом. Большинство из нас не любят карьеристов и четко ощущают, что они *должны* пострадать. Историки часто представляют непривлекательные характеры и неврозы карьеристов конца XIX в., предположительно бывших изобретателями «классической» системы ценностей низшего слоя среднего класса. Отчаянный страх падения и самонадеянной амбиции в суровых условиях якобы выделили пригородный средний класс из всех прочих. Он стал маниакально озабочен своим видом, чистотой и благопристойностью, страдал от подавленности, скуки, одиночества и разочарований. Впечатляющий список неврозов был взят Кроссиком (Crossick 1977: 27) из автобиографий лиц из этой группы. Возможно, ученые, также в основном относящиеся к этому классу (со времен массовой послевоенной экспансии университетов), разделяют общее отвращение к своим истокам. Культура «белых воротничков» считается патологической и объяснимой только с точки зрения социальных страданий, обращенных внутрь психики путем подавления. Отвращение замутняет интерпретацию, как это видно из рассказов современников, использованных Кроссиком:

Низший средний класс [был] разочарован и одинок. В автобиографиях особенно чувствуется атмосфера самоизоляции и одиночества. «А ведь где-то бывает настоящая домашняя жизнь, — пишет Мастермен, — сильная семейная привязанность, маленькие садики и декоративные виллы и честолюбивая гордость за детей» [Crossick 1977: 27].

Подавленность и одиночество или сильная семейная привязанность — что победит?

Карьериста легко высмеять. Карьера интегрирует управленца и бюрократа в сегментарную иерархию. Уважение к этой



иерархии является условием продвижения по службе. Помимо семьи это, вероятно, главнейшая организация, от которой индивид наиболее зависит. От Гроссмитов с их «Дневником незначительного лица» до Уайта с его «Организационным человеком» авторы высмеивали конформность, опрятность и чистоту карьеристов, тревожную, но расчетливую субординацию по отношению к начальству и имитацию стиля жизни и ценностей высшего класса, которые делали их слегка комически неправильными. Отсутствие «мужественности» в подобных приступах беспокойства было особенно смешным в тех профессиях, которые всегда считались мужскими. Однако ничто из этого не является патологией. Основной источник власти карьериста — движение вверх по организационной иерархии определяется его начальством. От этого зависят его «иждивенцы». Его видение мира зависит от уровней иерархии, открытых перед ним и теми, более высокими, которые он должен уметь себе представлять (с возможными ошибками). Карьерист-мужчина был верным, дисциплинированным подчиненным капитализма и бюрократии. По всей очевидности, и карьеристка-женщина будет такой же.

Таким образом, я (наряду со многими другими) отвергаю понятие менеджериальной революции, выдвинутое Бирлом и Минсом (Berle and Means 1932), Бернемом (Burnham 1942), Чендлером (Chandler 1977) и Гэлбрейтом (Galbraith 1985). Они предполагают, что корпоративные управленцы стали особым классом, нередко противостоящим акционерам-капиталистам и изменяющим цели предприятия, — максимизируется долгосрочный корпоративный рост (поскольку от него зависит зарплата) вместо краткосрочной предпринимательской прибыли. Но исследования не показали никаких существенных различий в целях или достижениях фирм, контролируемых предпринимателями и менеджерами, к тому же немногие управленцы раскрывали интересы, противоположные интересам акционеров (Nichols 1969; Scott 1979). Эти данные были собраны до недавних волн корпоративных слияний, вывода активов, бросовых облигаций и так далее, показавших с еще большей очевидностью, что корпорации являются капиталистическими по своей сути. Даже самая высокая точка развития «организованного капитализма» лучше описывается понятием «менеджериальная реорганизация капитала», предложенным Ч. Райтом Миллсом. Скотт пишет:

В силу своего структурного расположения в крупном предприятии операционные менеджеры привержены формам расчета и денежного учета, критериям прибыльности и роста... требуемого совре-

менным капиталистическим производством... Предприятие зажато объективными ограничениями рынка, которые служат для поддержания предприятия в рамках капиталистической рациональности [Scott 1982: 129].

Карьеристы напрямую зависят от корпоративных авторитетных иерархий, но они опираются на диффузные товарные рынки. Как и со всеми видами эффективной диффузной власти, эта не воспринимается как ограничение, а как рациональность сама по себе. Лояльный карьерный чиновник является рациональным и искренним. Капитализм работает, особенно на себя. Экономический рост и стабильность, обеспечиваемые корпоративным капитализмом и бюрократическим государством, нашли отражение в развитии карьеры. Как люди, некоторые карьеристы преуспевают, а другие терпят неудачу, но все вместе они работают на организации, ответственные за большую часть устойчивого экономического развития XX в.

Большинство моих данных взяты из британского опыта. Но между карьеристами было мало экономических различий, а в действительности их также мало было среди низшего слоя «белых воротничков» или стран, здесь обсуждаемых. Сравнение американских «белых воротничков» с немецкими, британскими и французскими выявляет национальные различия в классовой организации (Коска 1980). Но автор приписывает их либо разным политическим режимам, либо различиям в национальных рабочих классах, которые в главе 18 также во многом относятся к отношениям политической власти. Никто не выходит за рамки экономических различий между национальными формами капитализма. На западе карьеристы встречали успешную оптимистическую социальную обстановку (как Блумин подчеркивает для XIX в.). Их ценности доминируют и в наше время. Ценности индивидуальной мобильности и достижения доминируют не в оригинальной предпринимательской форме, а в качестве организационной карьеры. Место карьериста в истории не как индивида (в отличие от мелкого предпринимателя, который сделал промышленную революцию), а как верного подчиненного в более широких сегментарных властных организациях.

### *Профессионалы*

Неповторимость профессий нелегко вписать в общие теории класса. Само слово «профессия» обычно используется представителями разнообразных видов занятости, чтобы претендовать на привилегии. Нет такого определения, которое одинаково

применимо ко всем из них — врачам, армейским офицерам, нормировщикам, библиотекарям, медсестрам — и в разных странах. Но о профессии как идеальном типе можно сказать, что она является занятием «обученного» (включая технические и культурно ценные знания) человека, требующим специального образования, а его практика официально лицензируется после переговоров между государством и профессиональной организацией. Я различаю несколько степеней профессиональной власти в зависимости от того, насколько лицензия ограничивает доступ в профессию и насколько практики контроля действительно контролируются профессией. Таким образом, профессиональная власть, по сути авторитетная и партикуляристская, резко отличает большинство профессионалов от большинства карьеристов, помещенных Голдторпом (Goldthorpe 1982) и Аберкромби и Урри (Abercrombie and Urry 1983) в один класс служащих.

Я много заимствую у социологов, изучающих профессии, которые подчеркивают власть, а не функцию (Freidson 1970; Johnson 1972; Rueschemeyer 1973). Тем не менее я также принимаю один аргумент функционалистов: профессия частично опирается на социально значимое и релевантное знание, которое требует особой функциональной подготовки. Это знание никогда не бывает чисто научным и объективным, поскольку социальная власть влияет на то, как мы классифицируем знания. На Западе для знания о предельном смысле требуется обладать профессией священника из-за организованной власти церкви; знания о болезнях и здоровье подвержены значительному влиянию власти врачей; очевидным также не является и то, почему профессионалом нужно приобретать элитное образование широкого профиля, а также узкотехнические навыки. Культурно сконструированные, но также частично функциональные классификации знания составляют основу моего анализа и наделяют специалистов повышенными полномочиями.

Современное общество генерирует специализированные знания, практикуя которые потенциально можно развить профессиональную власть. Произойдет это или нет, зависит от способности потребителей организовать авторитетное снабжение этими знаниями. Существовали три основных вида потребителей этого знания: капиталистическое предприятие, буржуазия/средний класс и государство. Первые два были организованы диффузно (см. главу 4), а государство в XIX в. было слабо (см. главу 14). Никто не мог авторитетно контролировать то, что порождало свой собственный спрос. Когда отдельные виды занятости коллективно организовывались в зазорах авторитетной власти, они становились профессиями. Но профессиональные

возможности переживали свой спад в начале XX в., когда у капиталистических корпораций и государственных бюрократий увеличилась авторитетная власть. Вследствие этого сильнейшие из автономных профессий, в частности медицинская, обслуживали отдельных индивидов и домохозяйства (любого класса), а более слабые полупрофессии — корпорации и государства. Тем не менее этот баланс авторитетной власти объясняет только власть профессии. Чтобы подойти к общей со средним классом позиции профессий, я добавлю еще несколько диффузных сетей власти.

Слово «профессия» изначально относилось к людям, исповедующим христианскую веру как пожизненное призвание. К 1700 г. это понятие было распространено на четыре организации: церковь, право, медицину и армию. Эти профессии стали (1) обучаемыми, (2) техническими, (3) с «корпоративным духом» (слабее всего в медицине) и (4) исповедующими этику опосредованного служения обществу (5) службой государству (слабее всего у большинства духовных лиц). В главе 12 рассматривается, как офицеры дополнительно профессионализировались в качестве отдельной касты внутри государства. Затем капиталистическая индустриализация породила другие виды профессий, исповедующих те же пять особых качеств.

Когда капитализм стал промышленным, его техническая база расширилась. Выросли капитальные инвестиции в машины и заводы, то же произошло и с техническими требованиями труда. Деятельность ремесленников и мелких инженеров наряду с предпринимателями привела к ранней промышленной революции. Их гильдии и организации мастеровых (обсуждаемые в главе 15) теперь разделились. Большинство тех, навыки которых независимо от того, насколько они были высоки, занимали центральное место в производственном процессе капиталистического предприятия и которые можно было контролировать и изучать изнутри, стали просто квалифицированными рабочими. Большинство тех, чьи навыки были интерстициальными по отношению к предприятию и слишком универсальными, чтобы с прибылью применяться внутри него, смогли достичь профессиональной автономии. Тогда же большинство отраслей столкнулось с наукой в производстве стали из руд с низким содержанием фосфора или при использовании электричества для снабжения телеграфов энергией. Другие проблемы оказались скорее техническими, чем научными, — здания и транспортные средства, содержащие тяжелую машинерию, нуждались в архитектурных и геодезических улучшениях. Финансы бизнеса стали сложными — отсюда бухгалтеры, потом юридические проблемы, а затем и бизнес-юристы. Компании

оставались небольшими, и эти услуги не были главным пунктом их деятельности.

Как потребители, так и поставщики знаний обратились к государству с просьбой выдавать лицензии организациям компетентных специалистов. Как показано в главе 11, государства сами были в этом заинтересованы, потому что получали доходы от этого лицензирования. В Великобритании волна лицензирования длилась с 1818 г. (гражданские инженеры), в течение 1848 г. (архитекторы) и 1865 г. (дипломированные оценщики) до 1880 г. (дипломированные бухгалтеры), не говоря об инженерах газовых путей, электротехниках, муниципальных инженеров и химиков. Все профессиональные органы совместно с контролем доступа в профессию вели переговоры с государственными (и частными) учебными заведениями, как они и делают сих пор.

Затем корпорации распространили свой авторитетный контроль на практику работы «профессиональных сотрудников», которые стали объектом «линейного» менеджмента (в данном случае имело место более сильное различие, чем в его первоначальном армейском проявлении). Эти сотрудники наполовину предпочли карьеру профессии. Около 1900 г. бухгалтерский учет стал объектом внимания корпораций, во-первых, за счет внутреннего контроля компаний, а во-вторых, через учет внешних носителей риска в акционерных обществах посредством публичного аудита. В XX в. многие профессиональные фирмы сами стали крупными корпорациями. К 1930-м гг. несколько крупных бухгалтерских фирм проводили аудит большинства крупных корпораций, и это шло параллельно с возникновением «корпоративных мегаадвокатских контор» (Galanter 1983). Сохранившаяся профессиональная автономия бухгалтеров и адвокатов, вероятно, происходит от того, что они предоставляют услуги дисперсному малому бизнесу и семьям среднего класса. Но в профессиях, связанных с бизнесом и государством, практика (хотя и не изначальный доступ) профессионалов незначительно отличается от практики корпоративных и бюрократических карьеристов.

Страны разработали свои собственные профессиональные практики. Революционное американское сопротивление профессиональным монополиям и слабое государственное регулирование в сочетании с более ранней экономической концентрацией усилили корпоративную власть над профессионалами. В прочих странах поздняя индустриализация привела к возникновению крупных корпораций и большего государственного регулирования — и то и другое снижало профессиональную образовательную автономию. Квалификация немецких и фран-

цузских специалистов значила больше в комбинации с элитным государственным образованием и карьерной гражданской службой — во Франции это были *grandes ecoles*, в Германии государство еще больше доминировало над *Akademiker* (академиками) и через понятие «профессиональные бюрократы» над *Beamten* (служащими). Тем не менее это были вариации на тему того, как профессиональная власть была полезна, но интерстициальна по отношению к ранним организациям капитализма и современному государству, но затем стала более подвержена их растущей авторитетной власти.

Медицинская профессиональная власть не уменьшилась. До XVIII в. врачи, хирурги, аптекари, бакалейщики, цирюльники, сельские священники, просто образованные люди и сельские знахари обоих полов ставили диагноз и проводили лечение. Затем повысился статус науки и обучения и появились локальные медицинские ассоциации, а затем и общие или стандартизированные правила. Плотность городского населения способствовала распространению заболеваний, которые угрожали всем классам. Классовый интерес, соображения благотворительности, просвещенная или утилитарная вера в научно-технический прогресс требовали государственного лицензирования. В 1855 г. Вустерское медико-хирургическое общество стало Британской медицинской ассоциацией. Согласно законодательству в 1858 г. все лицензионные корпорации находились под властью генерального совета ассоциации, который составлял реестр всех квалифицированных практикующих врачей. Этот орган государственного лицензирования и сейчас определяет, кто является врачом: «Врач — это человек, наделенный законом суверенного государства определенными правами, привилегиями и обязанностями, не возложенными на других в пределах юрисдикции этого государства» (MacKenzie 1979: 55). Фрейдзон комментирует с сарказмом: «Самую стратегически важную и заветную характеристику профессии, ее автономию, она получает из рук суверенного государства, от которого она, следовательно, в конечном счете неавтономна» (Freidson 1975: 23–24).

Но, как демонстрирует Фрейдзон, навязать авторитетные виды власти в медицинской профессии не удалось. Она сама контролирует свое лицензирование во всех западных странах, так как лицензирование потребителями и государством считалось неэффективным. Хотя радикалы и утверждают, что потребители могут контролировать оказание им медико-санитарной помощи (Illich 1977), преобладает высокотехнологичная медицинская модель здоровья, по которой потребители не могут его оценивать, — это больше продукт медицинской власти,

чем функциональной необходимости, так как медицина внесла меньший вклад в массовое улучшение здоровья за последние 150 лет, чем совершенствование диеты, рост заработной платы, улучшение состояния жилья и окружающей среды (McKeown 1976; Hart 1985). Профессиональная власть была также достигнута до того, как была узаконена медицинская модель. Медицинская власть росла в XIX в. Врачи, раньше лечившие известные семьи, теперь обслуживали многие семьи буржуазии и среднего класса в анонимных пригородах. Пациенты больше не могли общаться коллективно, и врачи определяли свои услуги в профессионально-технических терминах (Waddington 1977). Гуд (Goode 1969) также отмечает, что врачи и другие автономные специалисты, такие как психотерапевты, духовенство, юристы и преподаватели высших учебных заведений, стали вторгаться в частную жизнь. Страх клиента перед плохим состоянием здоровья, безумием, моралью, преступностью и воздаянием, а также оценка интеллекта связаны с тревогой и уязвимостью, которыми трудно делиться с другими. Клиенты неохотно организовываются и откладывают это на потом. Потребность в личной жизни гарантирует профессиональную власть, которая выживает лучше всего там, где имеет дело с рассредоточенными клиентами.

Государство также потеряло контроль над лицензированием. Как подчеркивается в главе 14, государства XIX в. редко вмешивались в свое гражданское общество. Британское государство вообще мало что предпринимало без давления со стороны граждан, и это давление требовало нейтральных инфраструктур, а не менеджериального вмешательства, за исключением ситуации с бедными. Государству не хватало специальных знаний для проверки профессии, и его немногие специалисты были сами медицинскими специалистами. Тайный совет (Privy Council) должен был контролировать лицензию 1858 г., но после того как спал первоначальный напряженный интерес к области общественного здравоохранения, его медицинский департамент стал контролироваться профессией, которая теперь могла проникнуть в высшее образование, муниципальное здравоохранение, а также в дела по закону о бедных. Больницы, созданные по закону о бедных, первыми в XX в. совершали «героические операции». Такая профессиональная власть выжила за счет создания национальной службы здравоохранения.

Медицинская власть над практикой и в несколько меньшей степени над чрезмерной квалификацией теперь является стандартной в западном мире, минуя все формальные трудовые отношения, выделенные многими теоретиками класса. Не важно, кто их нанимает — государство, капиталистические страховые

предприятия, партнерства или они практикуют сами по себе, врачи — преимущественно профессионалы. Их умения, изначально направленные на лечение буржуазных семей, в XX в. используются всеми гражданами. Но ни граждане, ни государства не осуществляют авторитетный контроль над ними. Возможно, самые большие из возможных проверок сейчас проводятся в таких странах, как Соединенные Штаты, где крупные страховые компании способны осуществлять более авторитетную власть.

Государство было сильнее, имея дело с более поздними потенциальными профессионалами. Рост государственных функций, описанный в главе 14, и дальнейшее их расширение в XX в. создали новые, специализированные виды знания. Первая большая группа, появившаяся в конце XIX в., — это школьные учителя, политическое значение которых станет ясно позднее. За ними к 1900 г. последовали другие ученые профессии — социальные работники, библиотекари, городские планировщики и так далее с меньшей властью, часто называемые полупрофессиями. Государство — нередко их монопольный работодатель — контролировало предоставление услуг более непосредственно. В XX в. полупрофессии феминизировались. В настоящее время женщины составляют в них большинство и имеют меньше власти в обществе. Полупрофессионалы стирают границы между карьерой и работой низших «белых воротничков».

Но прямые производственные отношения высших профессий отличаются от других классов и классовых фракций и дистанцируют их больше от капитализма, чем организации занятости мелкой буржуазии или бюрократических карьеристов. Они не вписываются в марксистские классификации, такие как у Райта. Но специалисты также разделяют участие в более диффузных организациях капиталистических национальных государств. Если мы будем это учитывать, то придем к интегрирующей роли диффузной власти среди всех трех фракций.

1. Специалисты взимают плату, частично определяемую профессией (возможны переговоры с государством, страховыми компаниями и т. д.), а частично диффузными рыночными силами. Они менее ограничены сегментарными, ориентированными вверх организациями занятости, чем карьеристы. Плата также позволяет большинству из них жить рядом и заключать браки с верхней прослойкой среднего класса и приобретать привилегированные потребительские товары. Недавняя тенденция корпораций заключать субподряд на профессиональные услуги повысила возможности платных профессионалов.



2. На доступ в профессию влияют две диффузные характеристики капиталистических национальных государств: повышенное образование и профессиональная подготовка и (что менее универсально) богатство, необходимое для финансирования неоплачиваемого ученичества и профессионального партнерства. Они ограничивают абитуриентов кругом относительно привилегированных семей, а повышенное образование допускает профессиональное участие в элитной культуре. Тем не менее зависимость от образования может отделить их от истинного класса капиталистов. Как отмечает Паркин (Parkin 1979: 54–73), большая часть капиталистической собственности наследуется непосредственно сыновьями и дочерьми от своих родителей, в то время как наследование образовательных дипломов по большей части является косвенным и несовершенно. Образование выбрасывает детей профессионалов в мир конкурентной мобильности наряду с другими детьми среднего класса, в то время как во взрослом возрасте это ставит их наряду с более высокими социальными группами. Такие различия уменьшают возможность того, что в противном случае стало бы единым капиталистически профессиональным классом.
3. Как мы уже видели, клиенты влияют на профессиональную власть. Клиентский спрос идет от семей капиталистов и среднего класса, а также от предприятий, и здесь основные исключения — полупрофессии и медицина. (Общий доступ к медицинской помощи обеспечивается государствами и страховыми планами.) Профессионалы оказывают своим клиентам классовые услуги. Как замечает Кейн об английских поверенных:

клиенты, как правило, это институты (юридические лица) капиталистического общества и люди из среднего класса [как юристы], порождающие идеологи... которые думают и, следовательно, представляют собой форму возникающих отношений капиталистического общества... органических интеллектуалов буржуазии [Cain 1983: 111–112].

Адвокаты диффузно участвуют в круговороте капитала.

4. Диффузия также влияет на профессиональные организации. Они работают на государство или бизнес либо действуют через партнерства, которые сами являются капиталистическими предприятиями (где размер платы определяется самой профессией, они являются монопольными корпорациями, определяющими цену). Профессиональные виды власти частично выражаются через квазикапиталистические предприятия или квазигосударственные ведомства.

Таким образом, капиталистические нации-государства создают диффузные ограничения на профессии, непосредственный «трудовой процесс» которых в противном случае был бы автономным. Таким образом, в вопросах политэкономии специалисты, как правило, являются верными союзниками капитала. В вопросах перераспределения их интересы лежат рядом с интересами богатых, наслаждающихся безопасностью, контролирующих работу и хорошо образованных. По вопросам собственности они сопротивляются коллективному управлению. Правда, по гуманитарным и моральным вопросам они часто либеральны в какой-то степени из-за своего элитного образования, которое в XX в. становится все более либеральным. В таких отношениях полупрофессионалы более автономны. У них разнообразные клиенты, и они разрываются в своей профессиональной роли между потребностями граждан и потребностями социального контроля. Они зависимы от образования, но универсальны, у них меньше привилегий защитного вида; они редко зависят от богатства или корпоративной организации. Их доходы, как правило, ниже, хотя и вполне приличные. Среди них непропорционально много женщин. Таким образом, на протяжении XX в. некоторые полупрофессионалы разработали умеренно радикальную политику.

### ТРИ ФРАКЦИИ ОДНОГО КЛАССА

Все три фракции среднего класса характеризуются различными производственными отношениями. Если использовать их, как в некоторых теориях производственников [трудовой парадигмы], в качестве единственного критерия классовой позиции, то мы получим три отдельных класса. Но они также сегментарно участвовали в капитализме и национальном государстве. Я начну с капитализма.

1. Три фракции являются частью экономической иерархии. Дарендорф был убежден, что это служит подтверждением теории расслоения. От инвестиционных консультантов до бродячих строителей в мелкой буржуазии и от хирурга до учителя начальной школы среди профессионалов, от директора по маркетингу до продавца среди карьерных чиновников — различия между такими позициями велики. Тем не менее это, как ни парадоксально, интегрирует средний класс и очевидно для карьерных чиновников: «опережающая социализация» обеспечивает общее сознание всем уровням иерархии. В мелкой буржуазии также интегрирует

стремление к росту. Большая часть мелкого бизнеса растет за счет модернизации своих клиентов, развивая симбиоз с большим бизнесом или с более богатыми потребителями. Иерархия профессионалов включает в себя обеспечение партнерства и почестей. И все три структурно обеспечивают восходящую мобильность через средний класс. Остановка в движении может объединить прежних карьеристов и слегка радикализовать полупрофессионалов, но иерархическая мобильность связывает большую часть среднего класса в направленных вверх дисциплинарных видах лояльности.

2. Потребление среднего класса выделяет его среди прочих (как подмечено неовеберийцами). Средний класс конца XIX в. участвовал в потребительской экономике, покупая разнообразные продукты питания и одежду, покупая или стабильно арендуя дома, а также нанимая служанок. Главы семей среднего класса мужского пола обычно могли голосовать по праву собственности. В более широком спектре избирательных прав они могли бы контролировать местную городскую политику. Возможность использовать труд других людей является одним из важнейших признаков класса. В 1851 г. в Йорке 60% «мелких лавочников, низших профессионалов, фермеров и т.д.» использовали по меньшей мере одного слугу по сравнению с 10% квалифицированных, полуквалифицированных или практически неквалифицированных рабочих (Armstrong 1966: 234, 272–273). Записи моей бабушки за 1901 г. показывают, что неработающая жена владельца небольшого садового бизнеса платила в неделю «2 шиллинга, 6 пенни» (цена цыпленка) девушке, которая спала на кухне.

Характерное потребление среднего класса затем трансформировалось и в конце концов пришло в упадок. Прогрессивный налог на прибыль и Первая мировая война сократили домашнее обслуживание. Массы медленно, но признали экономику стабильного разнообразного потребления. Во всех характеристиках (за исключением одной — занятости служащих) потребление рабочего класса, как правило, было равно потреблению среднего класса одним или двумя десятилетиями ранее. Рабочим постепенно становились доступны различные продукты питания и одежда, безопасные жилища, пригороды, автомобили, страхование, ипотека — в конечном счете все, что уже связано со средним классом.

3. Три фракции могут конвертировать доходы в небольшой инвестиционный капитал. Это уже происходило во время

железнодорожного бума 1840-х гг. (см. главу 4). Инвестиции в их собственный бизнес были важны для мелкой буржуазии, и многие профессионалы покупали партнерства или практику. Карьеристы получали акции своей корпорации и могли использовать личный опыт в области консультирования или инвестиций. Большинство из них могли передать небольшой капитал своим детям. Брак среднего класса отличался от брака рабочего класса: с 1930-х до начала 1960-х гг. в Великобритании родители помогали молодым парам с покупкой дома (Bell 1969). В середине XX в. накопления среднего класса преимущественно направлялись в пенсионные фонды, в страхование и ипотеку. До 1950-х гг. в Соединенных Штатах, а чуть позже в Европе такие инвестиции отделили большинство представителей среднего класса от большинства семей рабочего класса. Их сбережения, долги и жизненные проекты (жилье, карьера, выход на пенсию) вступили в центральный круговорот капитала и получили выгоды от капиталистического бума. Лишь немногим рабочим удавалось сделать сбережения, но они часто уходили на оплату долгов субкультурным торговцам по кредиту (ростовщикам) или в ломбардах. Сбережения среднего класса стали идентичными по форме собственности очень богатых.

Таким образом, три фракции среднего класса вне зависимости от их особенностей и внутреннего разнообразия могли похвастаться одинаковым диффузным капиталистическим участием в сегментарных иерархиях, знаками классового потребления, а также преобразованием избыточного дохода в дополнительный инвестиционный капитал. Примерно в 1900 г. средний класс увеличивался и процветал, участвуя в новой форме экономического общества. Гражданское общество *было* обществом среднего класса, как показывает немецкий термин, для обоих — *burgerlich Gesellschaft*. Но это общество было также переплетено и отчасти определялось идеологическим и политическим гражданством.

## ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ГРАЖДАНСТВО СРЕДНЕГО КЛАССА

В предыдущих главах утверждалось, что нации появляются в начале XIX в. и фокусируются на союзах между модернизирующимися «старыми порядками» и мелкой буржуазией. Основными модернизаторами были либеральные гражданские

служащие и специалисты. Многие национальные организации прошли через сети дискурсивной грамотности от идеологического гражданства. Теперь новые классы требовали политического гражданства, а также идеологического гражданства, осуществляемого главным образом через финансируемое государством или регулируемое государством образование, что помогло объединить нацию и государство в нацию-государство<sup>2</sup>.

Как мы уже видели, богатство среднего класса в большей мере зависело от формального образования. Мелкая буржуазия зависела от него меньше других, которые, в свою очередь, зависели от образования гораздо больше, чем любой капиталист или рабочий, особенно до Первой мировой войны. Расширение государственного образования частично было следствием требований к работникам, предъявляемых капитализмом и современными государствами, как было показано ранее. Но оно также отражало стремление доминирующих классов к контролю над обществом и подчиненного класса к «идеологическому гражданству», что свидетельствует о классовой и национальной кристаллизации государства. Креденциализм (от англ. *credentials*, дипломы об образовании. — *Примеч. пер.*), то есть повышенное внимание к свидетельствам об образовании, часто определяемый как центральный в жизни среднего класса, был сформирован этими кристаллизациями.

Классовый перекос в образовании был очевидным. Трехчастная сегрегация существовала в школах по всей Европе (хотя и не в Америке). Из-за того что плата за образование была почти всеобщей, богатство тоже служило критерием расслоения. Самый низкий уровень — начальная школа, которая, как правило, не готовила к средней школе. Она составляла весь опыт образования для низших классов. Среднее образование делилось на низший уровень современных школ и высший уровень классических школ, при помощи чего контролировалось поступление в университет. Германия имела наибольший государственный контроль. Правительство управляло и классической гимназией, и современными *Realgymnasium* и *Oberrealschule*, а также устанавливало квалификацию, необходимую для поступления (обычно из числа гимназий первой категории) в университет, а затем на государственную службу и на работу в качестве специалистов. Французское правительство контролировало

---

2. Мои источники по образованию в XIX в. были следующими. По Британии: Musgrove 1959, Perkin 1961, Smith 1969, Sutherland 1971, Middleton and Weitzman 1976, Hurt 1979, Reeder 1987, Simon 1987, Steedman 1987; по Франции: Harrigan 1975, Gildea 1980, Ringer 1987; по Германии: Muller 1987 и Lagausch 1982, 1990; по Соединенным Штатам: Krug 1964, Collins 1979, Kocka 1980 и Rubinson 1986 плюс сравнительный анализ: Ringer 1979, Kaelble 1981, Hobsbawm 1989, Хобсбаум 1999: главы 6 и 7.

классические лицеи, коллежи и специальные, а с 1891 г. современные школы и присуждало различные квалификации. Лицеи давали классическое образование во всей Европе: изучение философии, литературы, истории и географии занимало 77% учебных часов в лицеях в 1890 г. В Великобритании большинство школ были частными, но государственное регулирование увеличилось после 1902 г. Три отдельные королевские комиссии воплощали британскую систему трехчастности. Комиссия Кларендона (1861 г.) оценивала подготовку в девяти главных государственных, то есть частных, школах для национальных лидеров. Комиссия Тонтонна (1864 г.) оценивала школы для «тех крупных классов английского общества, которые стоят между скромными и очень высокими». Комиссия Ньюкасла (1858 г.) проверяла дешевое школьное обучение в возрасте до одиннадцати лет для «трудящихся классов».

Поскольку в Америке исследуемого периода не хватало культурной аристократии, профессионалов и гражданской службы, ее государственное образование отставало. До конца столетия расслоение не очень развивалось в школах или университетах, за исключением высших. Даже тогда, когда возникло массовое государственное образование, классовая сегрегация ограничивалась уровнем партийно-демократической политизации школьных вопросов. Большинство школ находилось в ведении местных органов власти — самого демократичного из трех уровней американского федерального государственного устройства. Исключением был Юг, где осталось эффективное обучение только для белых.

В этот период средний класс получил полное или почти полное политическое гражданство. Главным результатом этого была экспансия образования, позволившая семьям среднего класса участвовать в культурной жизни нации и отличать себя от нижестоящих рабочих и крестьян. Девочки стали получать образование наравне с мальчиками. Государственное начальное образование и современное среднее образование увеличились количественно в два — пять раз, а число студентов в университетах утроилось в западных странах с конца 1870-х гг. до 1913 г., но эта экспансия в Европе оставалась сегрегационной. Британских мальчиков в частных начальных школах в основном учили, как «читать короткий обычный абзац в газете, писать схожий прозаический отрывок под диктовку и практически вычислять суммы, необходимые при расчете за посылки». Считалось, что необходимо квалифицировать мальчика в качестве клерка и дать ему возможность участвовать в национально-культурной жизни. Такие школы посещали лишь немногие дети рабочих, и не все становились грамотными. Затем благо-

даря серии образовательных актов между 1870 и 1902 гг. расширилось то государственное начальное образование, которое вело к расслоению между детьми среднего и рабочего класса. Детей рабочих обучали дисциплине, порядочности и чистоплотности не меньше, чем академическим предметам, и их обучение, как правило, не позволяло получить среднее образование. Дети среднего класса, в том числе и многие девушки, в основном продолжали образование в средних школах.

Экспансия также отделила профессии среднего класса от высшего. Немецкая высшая государственная служба и ряды специалистов комплектовались преимущественно из выпускников классических школ и университетов; государственные чиновники среднего звена, более низкие специалисты и управленцы — из выпускников современных школ; те, кто бросал школу или университет, как правило, шли на более низкие позиции, чем те, кто закончил свое образование, и отсеянные из современных школ шли на рабочие места для низших «белых воротничков». Во Франции и Великобритании подобные модели были очевидны, за исключением того, что большинство финансовых и коммерческих позиций заполняли выпускники, получившие классическое образование. В европейских и американских университетах наблюдался чистый отток из бизнеса: больше детей предпринимателей поступало в вузы, чем выпускников шло в бизнес. Университеты были расслоенными, а старые университеты высшего класса (Оксбридж, Лига плюща и т. д.) оставались элитными, и братства в них прививали традиционные ценности тем, кто, вероятно, в противном случае был бы поднимающейся буржуазией.

Таким образом, специалисты, получившие образование в университетах, государственные служащие, а также финансовые и коммерческие карьеристы стали «учеными» и «культурными», а не только технически квалифицированными, как те, кто находился ниже и в промышленном производстве. Сегрегация в образовании также позволила менеджерам отделиться как функциональной категории, отличной от большинства клерков и продавцов; затем эти должности смогли занять грамотные девушки из среднего класса. Работники нефизического труда все более ясно отделялись от работников физического труда, хотя эта разница была размыта гендерными отношениями. Классовые трудовые отношения в настоящее время повсеместно переплетаются с этнической сегрегацией в образовании.

Почти все участники запутанной дискуссии о социальной мобильности этого периода соглашаются, что образовательная сегрегация была сознательно придумана правящими режимами и предотвратила большую часть восходящей мобильности.

Поскольку число высших должностей увеличивалось гораздо меньше, чем средних и технических, а также потому, что образование расширялось, режимы стали осознавать потенциальную переполненность профессий, требующих образования. Таким образом, сегрегация была попыткой защитить своих детей. Тем не менее она не привела к массовому недовольству среднего класса. В конце концов профессиональные возможности на должностях среднего уровня увеличились, а сегрегация защищала их от конкуренции ниже, и школьное образование само по себе социализировало и дисциплинировало детей, приучая их к лояльности по отношению к трехчастной иерархии, где классическое образование главенствовало над современным техническим, а то, в свою очередь, над простой грамотностью.

В течение XX в. большая часть формальной образовательной сегрегации закончилась. Все дети могли поступать в образовательные учреждения (за исключением самого высокого уровня) бесплатно и формально продвигались согласно меритократическому принципу. После Первой мировой войны образование принадлежало не только среднему и высшему классу. Избирательное среднее образование распространялось на детей рабочих. Теперь влияние классового происхождения стало менее прямым. В XX в. британские избирательные средние школы посещали примерно 70% детей специалистов, менеджеров и крупных собственников, 40% представителей низших групп нефизического труда и 20–25% рабочих (Little and Westergaard 1964; Halsey et al. 1980: 18, 62–69). Международные сравнения показывают некоторые различия в неравенстве доступа к более высоким уровням образования, хотя США представляются несколько более открытыми, чем европейские страны. Все принимали большое количество детей рабочих в начале XX в., сохраняя при этом доминирование среднего класса. Сначала избирательное среднее, а потом и высшее образование интегрировали средний класс XX в.

Это все вариации на тему роста идеологического гражданства среднего класса. Экономическая власть зависела от государственного образования и, следовательно, от борьбы за гражданство. Средний класс разделял идеологическое гражданство, содержание и возможности которого определялись высшими классами.

Но это был не просто класс, усиливающий образование. Он также активизировал *национальную* кристаллизацию государства. Как я уже говорил, политическая борьба касалась того, что государства *делает* в любой период. Глава 14 показывает, что на образовании сосредоточивался как основной рост государства, так и основная гражданская активность в конце XIX в.



В большинстве стран правительства (центральные, региональные или местные) отняли частные школы или расширили свои собственные, в результате чего частные школы оказались анклавами, окруженными все более публичной системой. Таким образом, в этот период происходил политический конфликт (зачастую ожесточенный) между светским, централизованным государством и регионально-религиозным союзом децентрализаторов и церквей. Там, где в государство входила официальная церковь, союз диссидентов обычно заключался между регионалистами и церквями меньшинств, как в Англии и Германии. Те, кто больше зависел от образования, прежде всего учителя и государственные чиновники-карьеристы, а также другие специалисты и карьеристы частного сектора, стали самыми лояльными к централизирующему светскому государству, которое больше всего идентифицировалось с формирующейся нацией-государством. Но поскольку государства сами были полиморфными, а представители среднего класса обладали идентичностями локально-региональных и религиозных общин, то и возникающее идеологическое гражданство и национализм весьма различались.

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ СРЕДНЕГО КЛАССА

Я предположил, что отношения экономической власти будут подталкивать мужчин из среднего класса к консерватизму. Сегментарные иерархические виды лояльности, процветание, культурные привилегии и самоуспокоенность, редкость пролетаризации, интеграция в капиталистические инвестиционные каналы, желание отличиться в потреблении, культуре и квалификации от рабочих поощряли консерватизм. Следовало ожидать не увлечения политикой и экстремизмом, не союза с пролетариатом и не социалистических симпатий, а уютного консерватизма среднего класса. Если государства были бы просто капиталистическими, без других значимых кристаллизаций, то средний класс мог бы вызвать у историков разве что скуку.

Но этого не произошло. Историки обнаружили увлеченный *политический национализм* среднего класса. Практически каждое исследование национализма и каждое исследование националистических групп давления, расцветших в этот период, приходит к выводу, что национализм по сути был присущ представителям среднего класса или мелкой буржуазии (с той оговоркой, что, как и в других общественных объединениях работников нефизического труда, большинство верхних позиций в группах давления

было отведено дворянам). Но на самом деле такие исследования приводят слишком мало доказательств, чтобы проверить это утверждение. Это можно сделать только для Германии, где факты показывают иную картину. Историки других стран повторяют бездоказательные утверждения друг друга, а затем переходят к объяснениям того, *почему* средний класс был националистическим.

Хобсбаум (Hobsbawm 1990: 121–122), защищая свой тезис, согласно которому *довоенный* национализм по сути своей был мелкобуржуазным, на самом деле ссылался на *послевоенные* фактические данные о немецких нацистах. Тем не менее он ошибался даже там: эти данные показывают одни и те же (не мелкобуржуазные) паттерны, которые я принимаю в качестве документов, имеющих отношение к довоенной Германии. Кутзее (Coetzee 1990) является исключением, и признание его данных не позволяет сделать ни одного обобщения о том, кто был националистом. Предполагаемый национализм средних классов или мелкобуржуазный национализм, как считается, отражал опасения, неуверенность и стремление к авторитетной фигуре в родной стране — это была «разочарованная», «несчастливая», происходящая из «панического состояния» реакция на экономическую концентрацию и притязания рабочего движения (Howard 1970: 103–104; Wehler 1979: 131–132; Hobsbawm 1989: 152, 158–159, 181; Hobsbawm 1990: 117–122). Другие видят в национализме среднего класса сублимацию экономических и сексуальных фрустраций путем перенесения зла на зарубежные действующие силы. Я отверг патологические теории экономического поведения мелкой буржуазии, хотя она весьма преуспевала. То же самое я делаю теперь и для политики среднего класса.

Патологические теории рассматривают общий паттерн Запада как вызванный воздействием на средний класс второй промышленной революции и пролетариата. Тем не менее буржуазный национализм не был однообразным. Он не очень отличался от других, так как отражал, иногда преувеличенно, дилеммы различных правящих режимов.

Сначала я оценю угрозу снизу. Массовые рабочие и крестьянские движения стали оказывать воздействие начиная с 1880-х гг. Глава 19 показывает, что крестьянская политика не очень угрожала среднему классу. Рабочие доставляли больше проблем. Тем не менее в своих прямых производственных отношениях рабочее движение столкнулось только с мелкой буржуазией, которая была заинтересована в дешевой рабочей силе и блокировке прав на организацию профсоюзов. Специалисты были относительно мало вовлечены в конфликт капитала с трудом, за исключением карьеристов, у которых не было прямого интереса в каком-

либо одном решении трудовых отношений. Хотя менеджеры и чиновники могли осуществлять «глобальные функции капитала» (Carchedi 1977), они делали бы это путем подавления или примирения. Поскольку на практике рабочие партии стремились к мутуализму и совместному регулированию, а не к свержению капитализма, менеджеры и чиновники могли бы их поддержать. Исходя из их непосредственных производственных отношений, следовало бы ожидать враждебности мелкой буржуазии, но различной позиции профессионалов и карьеристов к трудовому движению.

И снова интересы средних и рабочих классов стали сталкиваться в области политэкономии, то есть в экономике государства. Если бы рабочие были реально допущены к гражданству, то государства больше не были бы по сути государствами среднего класса. Рабочие численно превзошли бы избирателей среднего класса и, возможно, перенаправили бы политэкономия в сторону своих собственных интересов. Интересы же концентрировались, как я уже подчеркивал, на издержках и выгодах от государства.

Государственные *издержки* подразумевали сборы, и теперь выбор стоял между потенциально прогрессивными прямыми налогами и регрессивными косвенными налогами и доходами от государственной собственности. В главе 11 было показано, что, хотя налоговая нагрузка не была теперь высокой, она оставалась регрессивной. Когда после 1890 г. выросли военные расходы, протест рабочих и крестьянских партий стал еще громче. Государственные *выгоды* значительно увеличились в течение столетия. Должностных привилегий в традиционном коррупционном смысле больше не существовало. Но бюрократизация означала, что должности достались образованным, а лучшие должности — обученным. То же происходило с карьерными позициями в торговле и производстве и с профессиональными монополиями. Техническое образование было внедрено в национальную культурную жизнь, общую для всех мужчин из среднего класса (и даже для женщин) и очень немногих рабочих. Рабочее движение все чаще требовало идеологического гражданства, то есть образования, от государства, если не считать прав на организацию профсоюзов. Но в силу расширения гражданских функций государства другие виды государственной службы также стали преимуществами. Труд только пытался перенаправить услуги на себя и преобразовать государственный контроль в государственные услуги (например, законы о бедных в права социального гражданства). Классовые столкновения по поводу политэкономии были незначительными до конца Первой мировой войны, но они возникли к 1900 г. Перераспре-

деление бюджетных средств и всеобщее образование теперь обратили средний класс против рабочего.

Но этот конфликт не был постоянным, к тому же он редко превращался в антагонистический. В Америке основные политические партии были незначительно разделены по классовому принципу, в Великобритании и Франции — немного больше. Другие политические кристаллизации шли поперек линии классового конфликта, варьируясь по регионам и странам. Кока (Коска 1980) показывает, что, в то время как американские «белые воротнички», похоже, вообще не боялись пролетариата, немецкие боялись. Два американских класса входили в одни и те же политические партии, и если американские клерки чувствовали себя угнетенными, то входили в один и тот же профсоюз. Но их немецкие коллеги вступали в партии и профсоюзы, антагонистические к рабочим партиям и профсоюзам, и гораздо сильнее осознавали, что являются классовыми противниками рабочих. Отношения между этими классами в Англии и во Франции располагались где-то между двумя крайностями, хотя и по-разному. Национальные различия были следствием того, как классы и политэкономия переплелись с тремя основными политическими кристаллизациями.

1. Хотя средний класс достиг *партийной демократии* в XIX в., он сделал это в разной степени и разными способами. К 1880 г. (в Соединенных Штатах раньше) он обладал полным политическим гражданством во всех трех либеральных странах. К 1900 г. на выборах в этих странах преобладали массовые партии и группы давления и в меньшей степени дворяне и сегментарные клиент-патронские партии. Массовые митинги и безличные выборные кампании были направлены в первую очередь на средний класс. В Австрии и Германии имущественный и процессуальный ценз при голосовании, а также ограниченные парламентские суверенитеты давали меньше партийной демократии, и режимы делали больший упор на принцип «разделяй и властвуй». Средний класс был инкорпорирован в государство лишь частично, а рабочий класс остался за бортом и подвергся репрессиям. В Австрии политика «разделяй и властвуй» также охватывала нации и иногда исключала национальные средние классы. Соединенные Штаты были на противоположном полюсе — там не было исключения по классовому признаку. Англия и Франция были где-то посередине. В Британии право голоса расширялось все столетие, а французский режим изменялся вплоть до 1880-х гг., наделяя гражданством по признаку наличия собственности, но этот признак не четко разделял

классы. К 1900 г., например, большинство британских квалифицированных рабочих обладали правом голоса (и правами на коллективные организации) наряду со средним классом, в то время как менее квалифицированные рабочие нет. Внутрипартийная демократия в Соединенных Штатах состояла из межклассовых союзов, в Британии и во Франции это было частично так, а в Германии и Австрии (это было именно так), она была классово раздельной.

Таким образом, немецкая и австрийская политэкономия больше всех настраивала класс против класса, затем шла французская и британская политэкономия, а меньше всего это происходило в Америке. Средние классы со сходными отношениями экономической власти значительно отличались по своему отношению к низшим классам, потому что они были по-разному включены в партийную демократию.

2. Как указывалось ранее, образование также включало в себя различные *национальные* кристаллизации, сосредоточенные на религиозных и региональных сетях. Это создало много возможностей для межклассовых союзов — например, прогрессивный альянс светских централизаторов (Франция), или союз между атеистами и религиозными меньшинствами (Великобритания), или антигосударственный союз между полностью исключенным из политики рабочим движением, регионалистами и религиозными меньшинствами (этот альянс никогда до конца не материализовался в Германии, но его возможность оказала глубокое воздействие на национализм). Эти кристаллизации фактически доминировали в австрийской политике, привнося гораздо более широкие и подрывающие государство классовые, регионально-национальные и религиозные переплетения.
3. Довоенные национализмы значительно отличались, потому что милитаристские кристаллизации государств были крайне различными. Америка была экспансионистом, но не выступала против других крупных держав. Британия хотела сначала только сохранить глобальную свободную торговлю и защитить глобальную империю, которая у нее уже была, но потом ужесточила защиту против немецкой державы. Франция перешла от колониальной экспансии к оборонительному режиму как свои собственных, так и соседних территорий, которым якобы угрожала Германия. Хотя никакая держава этого периода не видела себя в качестве агрессора, австрийские и немецкие режимы пришли к убеждению, что нападение — лучшая форма защиты. Страх перед национализмом, просачивавшимся через границу (как представлялось Австрии) и окружавшим со всех сторон (как

представлялось Германии), вынудил их к более агрессивной геополитике. Если бы в странах с такими различными геополитическими условиями средний класс везде поддерживал милитаристский национализм, это могло стать доказательством иррационального, параноидального характера среднего класса. Но ничего подобного не происходило. В действительности все три политические кристаллизации взаимодействовали с классовым конфликтом, порождая разные национализмы.

Американская имперская экспансия в XIX в. практически не создавала риска войны с другими великими державами. Соединенные Штаты потопили только деревянный флот Испании. Поскольку участие США в делах Кубы, Филиппин и Китая было небольшим по масштабам и малорискованным, в стране не было народной мобилизации за или против империализма. Националистические группы давления были слабыми и партикуляристскими. Двигателем империализма в большой степени была президентская власть при поддержке заинтересованных сенаторов-геополитиков, таких как адмирал Мэйхен, нескольких газетных магнатов, миссионерских групп и особенно секционных бизнес-групп, имеющих интересы в конкретных областях. Ему противостояло пестрое собрание других бизнесменов, имеющих противоположные интересы, либералов, расистов, стремящихся избежать любого слияния с небелыми народами, а также ирландских и немецких иммигрантов, бежавших от милитаризма и призыва на военную службу в Европе (Lasch 1958; Healy 1963, 1970; Lafeber 1963; Beisner 1975; Welch 1979; см. также очерк Hollingsworth 1983). Ристад (Rystad 1975: 167) кое в чем не согласен с подобным мнением и подчеркивает растущий антиимпериализм в Демократической партии этого периода. Но массового политического национализма среднего класса в Америке найти невозможно. Из-за того что государственное образование в значительной степени способствовало национализму в других странах, разреженность и местный контроль над школами в Америке, возможно, помогли приглушить национализм.

Национализм XIX в. в Британии был едва ли более агрессивным. Британская империя уже укрепилась и не слишком нуждалась в защите граждан. На жесткое сопротивление в Индии ответили действиями профессиональных армий, повышением индийских сборов и включением коренных жителей в небольшие контингенты. Британский национализм больше представлял собой твердое чувство идентичности, нежели противопоставления, он касался того, кто «мы» такие (хотя и с «нашей» своеобразной двойной англо-британской, шотландско-бри-

танской и тому подобной идентичностью). Англия и Америка развили скорее идеализированный, либеральный и предположительно миролюбивый национализм. Британия несла цивилизацию, парламент и Pax Britannica по всему земному шару. Америка олицетворяла собой «город на холме», сверкающий маяк «самых свободных на свете людей». Обе страны продемонстрировали значительную жестокость, действуя против коренных жителей. Но мало кто в партийных демократиях видел особый смысл в нападении на другие великие державы (я исследую более общий довод о том, что либеральные государства являются миролюбивыми, в главе 21).

В XIX в. во Франции национализм был более агрессивным, но это редко был национализм среднего класса. Правда, великая (и буржуазная) нация изобрела народный империализм, но после 1815 г. она сожалела по поводу его импульсивности. Средний класс оставался относительно равнодушным к империализму, поддержанному монархическими режимами, Луи Бонапартом и группами экономического давления, ищущими прибыли за рубежом. Средний класс старался изо всех сил, чтобы защитить свою республику. Когда успех в конечном итоге пришел, уже после 1870 г., нация среднего класса оставалась республиканской, антиклерикальной и преимущественно антимилитаристской. Такие фракции среднего класса, как карьеристы и специалисты, были особенно лояльными, поскольку учебные заведения были абсолютно республиканскими. В противоположность этому мелкобуржуазные организации сдвинулись вправо в 1890-х гг. к социальному католицизму и консервативному, но не экстремистскому национализму (Nord 1981). Но во Франции национализм был спорной идеологией. Учителя и государственные служащие, по всей видимости, были самыми «националистическими» в смысле лояльности к республике. Начиная с 1870-х гг. французское образование постепенно секуляризировалось и стандартизировалось и все больше было направлено на распространение республиканских ценностей по всей стране (Moody 1978). В деревнях и городах Франции директор школы олицетворял республику, патриотизм и светский гражданский долг (Weber 1976: 332–338; Singer 1983), но это вырождалось не агрессивно: в учебной литературе не было враждебности по отношению к другим западным державам, хотя она и учила, что Франция имеет особые культурные обязательства просвещать отсталые расы (Maingueneau 1979).

Теория паранойи игнорирует успех либеральной буржуазной цивилизации и праздничное настроение ее различных национализмов. В Британии это был скорее моралистичный, романтический и сентиментальный, нежели агрессивный, на-

ционализм, в Америке — скорее позитивное утверждение свободы и индивидуальной мужественности, а во Франции, по сути, национализм был «современным» и светским. Средние классы выросли до полного гражданства, превратив нации правящего класса в нации-государства. Их чувство нации представляло собой успех, а не провал буржуазии.

Статус-кво, соблюдаемый Америкой, продлился до Первой мировой войны. Но примерно в 1900 г. в английском и французском национальном чувстве появилось несколько больше милитаризма, как и в немецком. Устремления великих держав, казалось, росли. Французы испытали и вторжение, и поражение в 1870–1871 гг., и после 1900 г. многие снова почувствовали угрозу. Несмотря на то что левые были основными носителями патриотизма в 1870-е гг., сейчас его инициативу взяли на себя правые, хотя их монархизм и клерикализм ослабили привлекательность патриотизма. Французский средний класс был также разделен наличием двух мнимых классовых врагов, один из которых располагался выше, другой — ниже. Антипатия среднего класса к «старому порядку» подталкивала его крупную радикальную партию к союзу с левыми, чтобы обеспечить торжество светского, образованного государственного и республиканского контроля над вооруженными силами. После того как это произошло, как раз после 1900 г., буржуазные партии повернули вправо в то же самое время, когда возродилась немецкая угроза. Но этот национализм перешел от глобальной колониальной экспансии к местной национальной обороне. Численность наиболее агрессивных националистических партий сократилась (хотя они и оставались значительными в университетах) до войны, в то время как республиканские и радикально-центристские фракции и французское правительство стали более патриотичными и приняли перевооружение армии. Но их патриотизм был всецело оборонительным: перевооружение было необходимо для того, чтобы справиться с ожидаемым нападением Германии. Многие французские патриоты (несколько самоуверенно) ликовали, полагая, что это приведет к восстановлению Эльзаса и Лотарингии, но ни один крупный политик не призывал к нападению на Германию (всеми этими выводами я обязан работе Eugen Weber 1968). Они пришли к компромиссам по поводу политэкономии и призыва на военную службу как раз вовремя, чтобы укрепить оборону накануне 1914 г. Национализм французского среднего и рабочего класса не обременял режим, а активизировал и сохранял его с большим героизмом, жертвуя жизнями и укрепляя тем самым нацию-государство.

Британский империализм, безопасный и более определяемый политикой *laissez-faire*, носил либеральный, якобы миро-



любивый характер. До 1880 г. он имел большую поддержку среди архитекторов и скульпторов. Несколько демонстраций были организованы гуманитарными и религиозными группами, выступавшими против имперской политики (Eldridge 1973) или в контексте партийной политики, и группами давления, имевшими экономические интересы за рубежом или заинтересованными в увеличении армии. Смерть генерала Гордона в Судане в 1885 г., обозначив новый этап жесткого сопротивления коренных жителей, вывела первые крупные проимпериалистические демонстрации на улицу. К 1890-м гг. империализм был «популярным средством для лечения депрессии и безработицы, укрепления национальной безопасности и защищенности и обеспечения будущего величия», — писал Робинсон (Robinson 1959: 180).

Империалистическая идеология сосредоточивались больше на «антитуземных», нежели антиевропейских, чувствах, но сначала Франция, а затем и Германия становятся объектами нападок. Империализм и «стремление к национальной эффективности» повлияли на обе стороны, отразившись в социальном дарвинизме рассматриваемого периода. Либеральные империалисты фокусировались на выстраивании национальной мощи за счет улучшения физического и морального здоровья и образования для рабочего класса, консерваторы — на империи и власти за рубежом. Я показал в главе 14, что это было предназначено для того, чтобы сплотить вокруг себя сильные эмоции семьи и «матернализма» по отношению к экстенсивной нации.

Приблизительно после 1900 г. в расизме развилась своеобразная амбивалентность. В нем уже присутствовало сформулированное в Европе чувство превосходства (иногда смешанное с уязвимостью) по отношению к отсталым народам. Физический фенотип определял расу: белая раса превосходила желтую, коричневую и черную. Хотя имперский расизм был в основном извращен идеалами Просвещения, он также был транснациональным. Но повышение социальной плотности, государственной инфраструктуры, а также лингвистической, а порой и религиозной общности дало расизму национальное определение, особенно среди наций, укрепляющих государства. В их число теперь входила и Германия. Идеологи англосаксов, франков, тевтонцев и славянской расы разработали мифологическую историю общего происхождения. В 1900-х гг. британские политики и популярные писатели использовали слово «раса» совершенно рутинным образом для обозначения британского народа при обсуждении проблем империи, а также применительно к экономическому соперничеству с Германией, даже с Соединенными Штатами. Таким образом, расизм был не объединяю-

щим, а раскалывающим, поскольку Европа всегда была разделена на транснациональную и национальную.

Но переход от здравомыслящего расового представления о нации к агрессивному квазирасистскому национализму был менее распространенным, менее устойчивым, чем имперский расизм, поддерживаемый биологической наукой. В Великобритании иногда за него выступали газетные магнаты и правые группы давления, такие как Лига военно-морского флота, Лига национальной службы, Имперская морская лига и Лига «Примула» (the Primrose League). Некоторые историки утверждают, что группы давления имели корни в среднем классе, но ни один не приводит каких-либо фактических доказательств классового состава их членов или активистов (Fieldhouse 1973; Fest 1981; Summers 1981). Корпус подготовки офицеров и резерва, бойскауты, а также национальные культурные организации представляли более уважаемые круги, которые якобы по преимуществу относились к среднему классу и в которых процветал агрессивный национализм (Kennedy 1980: 381–383). В последнем исследовании Кутзее (Coetzee 1990) тоже упоминается модель «национализма среднего класса», но и в нем нет убедительных доказательств. На самом деле ограниченные данные Кутзее о классовом происхождении активистов националистических групп давления говорят о доминировании отставных военных, священнослужителей, журналистов и бизнесменов с особыми материальными интересами. Менген (Mangan 1986) отметил, что имперская пропаганда распространялась на большинство публичных, то есть частных, школ для собственно детей режима, а не для среднего класса. Когда я перейду к документам, которые оставили после себя немецкие националисты, я дам другую интерпретацию состава группы давления.

Прайс (Price 1977) предполагает, но не дает доказательств, что шовинизм был свойствен нижнему слою среднего класса. Затем он интерпретирует это с точки зрения статусной паники среднего класса, столкнувшегося с блокировкой мобильности и растущим рабочим классом. Я уже отверг экономическую основу этого аргумента — нижняя прослойка среднего класса чувствовала себя в этот период очень хорошо, в то же время признавая, что рабочий класс мог угрожать политэкономии государства. Средний класс мог удержать государство, сохранить регрессивные налоги и держать рабочий класс вне политики.

Но в британской партийной демократии классы пересекались поперек национальной кристаллизации, мобилизовавшей регионы, религии и сектора. Консервативное руководство было безразличным к трудовому движению и выступало против высоких расходов на социальные нужды, но оно оставалось

англиканским и аграрно-коммерческим и поддерживало военные расходы. Таким образом, британский средний класс раскололся. Его главные бастионы — промышленность, нонконформизм и «кельтство», а также многие специалисты, получившие образование в рамках гуманного, либерального самопредставления викторианской Англии, оставались либеральными. Некоторые последовали за либеральным империализмом Роузбери или Холдейна. Но другие приняли «новый либерализм», в котором, на первый взгляд, доминировали профессионалы, и призывали к избирательным договоренностям с трудовым движением. Это способствовало дальнейшему отклонению промышленников и представителей так называемого верхнего среднего класса в сторону консерватизма. Тем не менее в партии оставалась классовая напряженность. Хотя действительно левые переопределили состав партии с 1906 г., «нонконформистский предприниматель оставался основой либеральной партии в палате общин» (Bernstein 1986: 14; ср. Clarke 1971; Emy 1973; Wald 1983). Либеральные слои среднего класса были изолированы от агрессивного национализма. Националистические группы давления, упомянутые ранее, имели тесные связи с правыми консервативными кругами, стоявшими правее официальной консервативной партии. Им соответствовали миролюбивые интернационалисты, связанные с либеральными левыми. Империалисты и националисты росли по мере того, как поведение немцев, казалось, оправдывало их доводы, но в 1914 г. большинство из них были в оппозиции, в то время как пацифисты находились в либеральном кабинете министров.

Британский режим действительно столкнулся с идеологической дилеммой: сохранить старый транснациональный моралистический либерализм или поддержать милитаризм. Но была и компромиссная позиция *оборонительной* бдительности: мы должны дать отпор в случае нападения и готовиться к обороне прямо сейчас. Это было мнением таких дипломатов, как Николсон и Эйр-Кроу, а также лидеров обеих партий. Они могли договориться с умеренными националистами о политике жесткой национальной обороны. Таким образом, британский национализм в целом не был ни особенно агрессивным, ни отчетливо относящимся к среднему классу, хотя он также не был и национализмом рабочего класса (см. главу 21).

В 1914 г. либеральное правительство было более ограничено радикализмом своих собственных либералов-пацифистов, чем радикализмом крайних националистов. Если бы у власти находились консерваторы, возможно, их ограничивали бы националистические экстремисты, как в Германии. Британский средний класс остался лоялен, но к неоднозначным кристаллизациям

своего государства. Я предполагаю, что наиболее образованные и государственные карьеристы были «суперлояльными шизоидами», находившимися под влиянием и традиционного либерализма своего государства, и его нового империализма. У меня нет фактических доказательств, но это было похоже на весьма обоснованный немецкий случай, который я подробно разберу чуть позднее, и на внутреннюю политику государственных карьеристов. Наиболее затронутые саморепрезентацией (self-image) национального государства, обладающего уникальными возможностями компромисса и прагматичной эволюции, они выступали посредниками при разрешении классовых конфликтов больше, чем того хотелось бы партийным лидерам (как мы увидим в главе 17). Высокообразованный средний класс и государственные карьеристы чрезмерно прониклись доктринами враждебных государств, тем самым смущая своих политических хозяев. Однако после того как обе партии пошли на войну, средний класс сплотился и (за исключением нескольких отважных пацифистов) был готов проливать кровь, закручивая дальше нисходящую спираль британского национального государства.

В Германии и Австрии переплетенные классовые, национальные и монархические кристаллизации породили национализм среднего класса, который оказался тревожным и в конечном счете нелояльным (см. главу 10). Так как класс и национальность пересекались друг с другом и с лояльностью режиму, ни один из них в одиночку не оказал достаточной поддержки Габсбургам. Уникальным образом в конце XIX в. этот режим намеренно натравливал их друг на друга, как поступали и многие другие провинциальные господствующие и подчиненные классы и нации. Классовые и национальные виды лояльности все еще можно было просчитать. Региональные средние классы редко имели очевидные иерархии, к которым можно было бы пристегнуть консерватизм и лояльность. Как мы могли бы предсказать исходя из нашего обсуждения, ни один австро-венгерский средний класс не вошел в пролетарский социалистический альянс. Однако большинство других комбинаций все же имели место. Некоторые представители среднего класса (особенно чешские и словацкие специалисты и местные государственные чиновники) контролировали диссидентские националистические движения; другие (особенно мелкая буржуазия) заключили союз с крестьянами, несоциалистическими рабочими и нижним слоем среднего класса в виде популистского и социал-христианского диссидентского движения (особенно австрийские немцы и чехи); третьи (в основном в отсталых провинциях и в Венгрии) вступили в союз с местным «старым порядком» против Габсбургов; фабриканты, финансисты, руково-

дители корпораций и центральные государственные чиновники (особенно австро-германцы или евреи) поддержали Габсбургов и их окончательную агрессию. Потребуется много времени, чтобы проанализировать все это, но лояльность консерватизму среднего класса редко находила себе соответствующую цель. Австро-венгерские разновидности национализма среднего класса были несколько консервативными, отчетливо агрессивными, всегда взбудораженными и, как правило, подрывающими государство, и после поражения в войне они привели к созданию многочисленных новых национальных государств.

Немецкая реализация стратегии «разделяй и властвуй» отличалась от австрийской, поскольку режим разместил средний класс по краям государства, чтобы удержать рабочих и этнические меньшинства вообще за его пределами. Эта стратегия сдвинула средний класс вправо — к враждебности по отношению к рабочему классу, она также подтолкнула северный и лютеранский средний класс (и крестьянство) к централизирующим государственным видам лояльности, но католиков и южан — к мягкой местной региональной нелояльности. Однако партии среднего класса не были допущены в ядро государства, которое состояло преимущественно из представителей «старого порядка» и капиталистов. Как и в Австрии, но в отличие от либеральных стран массовые партии не контролировали государство. Таким образом, хотя средний класс был антисоциалистическим и преимущественно консервативным и этатистским, он не слишком идентифицировал себя с тогдашним режимом. Его автономия также подпитывалась отличительной корпоративной организацией. Политика *Mittelstand* (среднего сословия) была иногда радикальной и, как правило, антипролетарской (Gellately 1974; Winkler 1976; Blackbourne 1977; Коска 1980), и его автономия даже поощрялась монархической политикой «разделяй и властвуй» в качестве противовеса своим врагам.

Националистические группы давления стали пользоваться влиянием после 1900 г., так как немецкий страх перед окружением вырос. К 1911 г. членов Колониального общества, Пангерманской лиги, Союза восточных земель, Лиги военно-морского флота и Лиги обороны было гораздо больше и их голоса были громче, чем у националистов в других странах. Одни небольшие группы давления (объединения ветеранов, союз «Молодая Германия») были агитационными отрядами режима, другие (Общество восточных границ) — группами одного вопроса, связанными с помещиками-юнкерами, армией и двором. Но самые крупные и неутомимые (Лига военно-морского флота и Пангерманская лига) стали автономными, народными и агрессивными, удерживая режим и партии от пропаганды диплома-

тического примирения. Консерваторы и национал-либералы, сначала презиравшие такой национализм, впоследствии сникли под его электоральным давлением (Eley 1978, 1980, 1981).

Поскольку в любой из этих групп давления было мало рабочих и крестьян, их обычно описывают как группы среднего класса (Wehler 1979; Eley 1981). Все же имеющиеся данные (Eley 1980: 61–67, 123–1230 и Chickering 1975: табл. 5.1–5.12; ср. Kehr 1977) позволяют составить более точное представление.

Крупнейшей из таких групп была Лига военно-морского флота (Морская лига). Хотя она и была основана богатыми предпринимателями, профессорами и бывшими офицерами, ее национальными лидерами оставались дворяне. Из 26 членов президиума в период с 1900 по 1908 г. десять были крупными бизнесменами, пять — аристократами-землевладельцами, девять — бывшими высшими армейскими и флотскими офицерами, один — профессором и один — бывшим гражданским служащим. Все они были выпускниками университетов. Из 9 тыс. служащих филиалов этой организации в 1912 г. 20% были высшими правительственными чиновниками (часто мэрами и членами ландратов), 19% — учителями, 18% — средними и низшими должностными лицами (хотя в немецкой статистике эта категория включает в себя несколько конторских служащих из частного сектора), 11% — представителями мелкой буржуазии, 9% — специалистами, 8% — землевладельцами или бывшими военными офицерами, 8% — промышленниками и управленцами, а также представителями духовенства, ремесленниками и фермерами, за исключением рабочих. Поражает непропорционально широкая представленность государственных служащих — от 2 до 3% населения и 50–60% активистов Лиги военно-морского флота, включая учителей и немногочисленных протестантских священников. Не менее поразительными являются данные об их высшем образовании: 1% населения и 61% местных лидеров посещали учебные учреждения университетского уровня.

Структура Пангерманской лиги была похожей: среди почти 2500 местных лидеров немногие были аграриями, рабочими или ремесленниками. Около 66% получили образование университетского уровня, а 54% были государственными служащими (половина из них учителями). У давних активистов перекокс был еще больше: 77% посещали учебные учреждения университетского уровня. Чикеринг показывает, что во всех националистических группах давления большинство государственных служащих пришли со средних и высших уровней администрации, а некоторые — с самого высокого уровня.

В Союзе восточных земель, сосредоточенном в более сельской по характеру Восточной Пруссии, было больше крестьян

и ремесленников, причем каждая из этих групп составляла около 20% членов. Но даже здесь доминировали государственные служащие и учителя. В выборке из 26 филиалов союза в 1894–1900 гг. они составляли чуть менее 50% его членов, позднее эта доля только росла. Одни учителя составляли от 10 до 14% всех его членов, функционеры общества — 22% и члены генерального комитета — 25%, остальные государственные служащие составляли 30%. В выборке Чикеринга из местных лидеров союза 74% посещали учебные учреждения университетского уровня.

Состав рядовых членов в других организациях в значительной степени не известен. Элей полагал, что в Лиге военно-морского флота было непропорционально много мелкой буржуазии, но не говорил почему. Чикеринг считал, что пангерманисты широко представлены средним классом, хотя и непропорционально образованным и происходившим из государственного сектора. Все группы давления были в основном из Северной Германии и лютеранских районов. Католическую сельскую местность и католическую мелкую буржуазию социальный империализм относительно не затронул (Blackbourn 1980: 238). Лютеранство было официальной религией Пруссии и в некоторой степени тоже касалось этатизма.

Исследование Чикерингом (Chickering 1975: 73–76) пацифистского движения позволяет сделать интересное сравнение с крайними националистами. Большинство пацифистов были из несельского среднего и нижнего среднего класса, где мелкие торговцы и предприниматели составляли самую большую группу (особенно те, кто делал бизнес за границей), затем шли учителя начальной школы и профессионалы. В абсолютном противоречии с теорией статусной паники мелкая буржуазия была непропорционально пацифистской. Кроме того, женщины составляли одну треть членов пацифистских групп, в то время как националистические группы давления были преимущественно мужскими. Чикеринг приходит к выводу, что в пацифистские группы шли те, кто был наиболее удален от основных институтов национального государства — бюрократии, университетов и армии.

Государственное образование было официально националистическим. Школы должны были способствовать формированию милитаристского чувства национального единства. Как говорил кайзер на конференции педагогов, «мне нужны солдаты. Нам нужно надежное поколение, которое может служить интеллектуальными лидерами и должностными лицами нации» (Albisetti 1989: 3). Подчинились ли этому учителя начальной школы, нам неизвестно. Многие школы (большинство в Баварии) были католическими и сопротивлялись этому, и очень

немногие ученики из рабочего класса, казалось, восприняли послание. Учителя государственных средних школ пытались выполнить наказ кайзера — с бóльшим успехом среди учеников из среднего класса. Тем не менее детский энтузиазм был меньше сосредоточен на режиме и кайзере, а больше на абстрактном народе и рейхе (Mosse 1964; Albisetti 1983; Schleunes 1989). Сильнее пострадали университеты, потеряв свой ранний либерализм XIX в. Понятие гуманного, воспитываемого (*Bildung*) подверглось корректировке. Академики стали отчетливо этатистскими, и хотя только меньшинство из них активно участвовали в политике, почти все были правыми. В студенческой социальной жизни произошел рост корпораций консервативных роялистов — *Korps* и других националистических студенческих организаций. Социализм оказал небольшое влияние, а либерализм пришел в упадок. «Духовное возрождение академической молодежи концентрировалось не на тогдашнем режиме, а вокруг двух лозунгов *deutsch national* и *Weltpolitik*» (Jarausch 1982: 365): из-за того что 20 млн немцев жили за границей, необходимо было раздвинуть границы рейха. Государственное образование осуществляло социализацию в ключе не только лояльности существующему режиму, но и более абстрактного этатистского национализма.

Таким образом, не средний класс или мелкая буржуазия, а государственные служащие, наиболее зависимые от государства, и высоко образованные лютеране, наиболее социализированные в государственных идеологиях, и были вероятными агрессивными националистами. Чикеринг (Chickering 1984: 107, 111) предполагает, что эти люди были культурными хранителями *Kaiserreich* (кайзеровской империи), но, возможно, они выступали и за что-то помимо кайзера. Мелкая буржуазия была не особенно националистической. Ни старое *Mittelstand* ремесленников, крестьян или мелких предпринимателей, ни новое *Mittelstand* «белых воротничков» не были широко представлены среди националистов.

Это придает национализму несколько иной характер. Вероятно, нам следовало бы действительно называть такое явление этатизмом, а не национализмом. Кроме того, настроение этих движений редко соответствует негативному образу, представленному параноидальной теорией статусной паники. Это настроение воплощало чрезмерный, сверхлояльный этатизм со стороны тех, кто находился в государстве, а вовсе не в ядре режима. Государственные уровни со среднего до верхнего были «колонизированы» партикуляристскими группами давления. Они призывали режим осуществить то, что, как они утверждали, и было его истинными ценностями, подрываемыми остро-



той практической политики: принцип «разделяй и властвуй» внутри страны, дипломатия за рубежом, собственные ограничения кайзера. Сверхлоялизм не считал себя каким-то беспокойным или реакционным движением, но пламенным, позитивным, современным, имеющим свой образ будущего — подлинно мобилизованную нацию-государство, единую и солидарную, каким не был ни один режим прежде (и тем более династическая монархия). Евреи, католики, этнические меньшинства и социалисты пытались подорвать это национальное единство. Но если режим даст истинной нации возможность управлять, их можно будет отправить на свалку истории. Однако несправедливо приписывать тогдашним националистам бремя последующей истории. Большинство из них не думали о наказании врагов государства (*Reichsfeinde*). Только когда в 1918 г. рухнул старый режим и в Веймарской республике окрепли враги, преемники тех националистов при поддержке сельских жителей и капиталистов, по-прежнему сосредоточенных вокруг государственной службы и лютеранства, превратились в крайне отвратительных.

При всех различиях общая закономерность, вероятно, все же прослеживается, по крайней мере в Великобритании, Франции и Германии: возникающий национализм был меньше связан со средним классом, был более этатистским, чем принято считать. Все три фракции среднего класса демонстрировали своим режимам лояльность к классовым вопросам. Тем не менее их политика варьируется, так как религиозные и региональные идентичности повлияли на их позицию по национальному вопросу. Наибольший национализм был свойствен государственным карьеристам, карьеристам в высшем образовании и профессионалам. Но и он изменялся в соответствии с характером режима. Национализм порой преувеличивал, иногда с чрезмерным рвением, свое предпочтение режиму, что порождало сверхлояльный государственный национализм. Но даже в Германии он просто требовал от якобы агрессивного «старого порядка» жить в соответствии со своей собственной риторикой и стать более популистским. В Великобритании и Франции национализм представлял партийные, расколотые по фракциям ощущения национальной общности, которые сплывались при воздействии внешней угрозы до состояния жесткого оборонительного национализма. Австрия и Соединенные Штаты разработали свои уникальные варианты национализма — один, направленный против государства, а другой, который геополитика пока не заставила себя проявить. Это разнообразие национализма не вытекало напрямую из производственных отношений, поскольку последние были достаточно инвариантны в разных странах, но представляли разные переплетения политического и идеологического

гражданства. Национализм был более политическим, чем экономическим, а политика раскалывала государство на фракции, уменьшая его сплоченность. Это окажется существенным в дальнейшем и будет обсуждаться в главе 21 в рамках моего объяснения причин Первой мировой войны.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обществе промышленного капитализма средний класс существовал уже около 100 лет. Только две промежуточные группы среднего достатка были пролетаризированы, и ни одна не привела к большим волнениям в среднем классе. Большинство ремесленников пролетаризировались так рано и тотально, что это не оказало практически никакого влияния на средний класс. Затем канцелярская и техническая работа, равно как и работа продавцов, не имевших перспектив карьерного роста, была приравнена к физическому труду, но очень немногие из них, преимущественно женщины, перенесли это как пролетаризацию. Нижние слои «белых воротничков» участвовали в рабочем движении меньше, чем работники физического труда, не из-за предполагаемого осознания ими своего статуса среднего класса, а вследствие трех факторов, которые также снизили уровень участия среди работников физического труда: высокой доли женщин, преимущественно небольших организаций работодателей, а также расположения в районах преобладания среднего класса. Средний класс не был пролетаризирован, и видимость его расслоения в основном объясняется гендерными различиями.

Средний класс, в котором доминировали мужчины, состоял из трех фракций, каждая из которых определялась различными производственными отношениями: мелкой буржуазии, корпоративных и бюрократических карьеристов и профессионалов. Они составляли три фракции одного среднего класса, потому что разделяли общие диффузные черты капиталистических наций-государств, некоторые из них были экономическими: посредническое участие в иерархической сегментарной занятости и рыночных отношениях, признаки привилегированного потребления, а также возможность конвертировать доходы в небольшой инвестиционный капитал. Но в этот период они также разделяли идеологическое гражданство, связывавшее государственное образование с трудовыми правами и политическим гражданством, в котором было отказано классам ниже среднего. Национальные гражданские общества и нации-государства возникли под руководством капитала и были укомплектованы на подчинен-

ном уровне средним классом. Там, где этот союз был институционализирован к 1914 г., как и в трех партийных демократиях (Англии, Франции, США), не произошло никаких серьезных классовых потрясений. Политическое и социальное гражданство рабочего класса в то время было в основном институционализировано по модели национального гражданства среднего класса.

В целом средний класс был лоялен к классу капиталистов в его борьбе с рабочими. Ни одна страна не приблизилась к идеалу пролетарского альянса, предрекаемого некоторыми марксистами. Ближе всего к нему подошли, когда рабочие смогли вступить в союз на основе внеклассовых политических кристаллизаций, таких как региональная и религиозная. Следующие главы посвящены тому, как рабочие и крестьяне столкнулись с консерватизмом среднего класса, что существенно ограничило их возможности. Я, однако, не хочу оказаться в той ловушке, за попадание в которую критиковал других, — анализа среднего класса только по отношению к капиталу и труду (плюс к крестьянам). Средний класс не может быть сведен к простым лояльным слугам капитализма и режимов. В начале XX в. он был также главной поддержкой нации-государства. Кроме того, две субфракции — государственные карьеристы и высокообразованные карьеристы, а также специалисты — были основными носителями различных и разнообразных типов этатистского национализма.

В Соединенных Штатах, Великобритании и Франции было мало социалистов из среднего класса (до расширения государственной службы в середине XX в.), но много сторонников конкурирующих взглядов на национальное государство — от консервативного (хотя и несколько оборонительного) национализма до либерального пацифизма. По всей Австро-Венгрии и Германии средний класс, особенно карьеристы с высоким уровнем образования и государственные карьеристы, демонстрировал приверженность к более автономным, агрессивным и абстрактным видам национализма, способным резко выступить против правящего режима. В Австро-Венгрии это уже происходило. В Германии сверхлояльный этатизм уже причинял дискомфорт режиму и менее чем через 20 лет превратился в революционный. Первая мировая война активизировала национальное строительство в либеральных странах и обострила конфликты по поводу нации в других странах. Нации-государства и нации оказались таким же решающим фактором, как капитализм и классы, в формировании цивилизации XX в. Средний класс был основным представителем, обеспечившим ее появление в XX в., и его более этатистские фракции определили работу его наиболее интенсивных и порой разрушительных форм.

Средний класс возник вместе с характерным отношением к ресурсам власти, со своими организациями и коллективным сознанием, и это отношение можно выразить формулой двойной «нечистоты»: сегментарное посредническое участие в организациях, порождающих диффузные циклы капитала, а также более независимое, разнообразное участие в авторитетном национальном государстве. Еще раз: именно переплетение диффузного капитализма и авторитетных государств и сформировало современный мир.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Abercrombie, N., and J. Urry. (1983). *Capital, Labour and the Middle Classes*. London: Allen & Unwin.
- Albisetti, J. (1983). *Secondary School Reform in Imperial Germany*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Armstrong, W.A. (1966). Social structure from the early census returns. In *An Introduction to English Historical Demography*, ed. E. A. Wrigley. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Aronowitz, S. (1979). The professional-managerial class or middle strata? In *Between Labor and Capital*, ed. P. Walker. Boston: South End Press.
- Bairoch, P. et al. (1968). *The Working Population and Its Structure*. Brussels: Editions de l'Institut de Sociologie de l'Universite Libre (in English and French).
- Bechhofer, F., and B. Elliott (1976). Persistence and change: the petite bourgeoisie in the industrial society. *European Journal of Sociology* 17.
- Beisner, R. (1975). *From the Old Diplomacy to the New, 1865–1900*. Arlington Heights, IL: Harlan Davidson.
- Bell, C. (1969). *Middle Class Families*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Berger, S. (1981). The uses of the traditional sector in Italy. In *The Petite Bourgeoisie: Comparative Studies of the Uneasy Stratum*, ed. F. Bechhofer and B. Elliott. London: Macmillan.
- Berle, A., and G. Means. (1932). *The Modern Corporation and Private Property*. New York: Macmillan.
- Bernstein, G. (1986). *Liberalism and Liberal Politics in Edwardian England*. Boston: Allen & Unwin.
- Bertaux, D., and I. Bertaux-Wiame (1981). Artisanal bakery in France: how it lives and why it survives. In *The Petite Bourgeoisie: Comparative Studies of the Uneasy Stratum*, ed. F. Bechhofer and B. Elliott. London: Macmillan.
- Best, G. (1979). *Mid-Victorian Britain*. London: Fontana.
- Blackbourn, D. (1977). The Mittelstand in German society and politics, 1871–1914. *Social History*, No. 4.
- Blumin, S. (1989). *The Emergence of the Middle Class. Social Experience in the American City, 1760–1900*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Booth, C. (1886). On occupations of the people of the United Kingdom, 1801–81. *Journal of the Statistical Society* 49.
- Bruchey, S. (1981). Remarques completant les conclusions generales [and] Etats Unis. In *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> Siecles*, 2 vols. Paris.
- Burnham, J. (1942). *The Managerial Revolution*. London: Putnam.
- Cain, M. (1983). The general practice lawyer and client: towards a radical conception. In *The Sociology of the Professions*, ed. R. Dingwall and P. Lewis. London: Macmillan.
- Carchedi, G. (1977). On the Economic Identification of Social Classes. London: Routledge & Kegan Paul.
- Chandler, A. D., Jr. (1977). *The Visible Hand*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Chapman, S. (1981). *Royaume-Uni*. In *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> Siècles*. 2 vols. Paris.
- Chickering, R. (1975). *Imperial Germany and a World Without War*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- . (1984). *We Men Who Feel Most German: A Cultural Study of the Pan German League, 1886–1914*. Boston: Allen & Unwin.
- Clarke, P. (1971). *Lancashire and the New Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coetzee, F. (1990). *For Party or Country: Nationalism and the Dilemmas of Popular Conservatism in Edwardian England*. New York: Oxford University Press.
- Collins, R. (1979). *The Credential Society*. New York: Academic Press. *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales*. 1981. *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> Siècles*, 2 vols. Paris.
- Crew, D. (1973). *Definitions of modernity: social mobility in a German town, 1880–1901*. *Journal of Social History* 7.
- . (1979). *Town in the Ruhr: A Social History of Bochum, 1860–1914*. New York: Columbia University Press.
- Crossick, G. (1977). *The emergence of the lower middle class in Britain: a discussion*. In *The Lower Middle Class in Britain, 1870–1914*, ed. G. Crossick. London: Croom Helm.
- Cunningham, H. (1971). "Jingoism in 1877–88." *Victorian Studies* 14.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. London: Routledge & Kegan Paul.
- . (1969). *The service class*. In *Industrial Man*, ed. T. Bums. Harmondsworth: Penguin Books.
- Ehrenreich, B., and J. Ehrenreich. (1979). *The profession-managerial class*. In *Between Labor and Capital*, ed. P. Walker. Boston: South End Press.
- Eldridge, G. C. (1973). *England's Mission*. London: Macmillan.
- Eley, G. (1978). *The Wilhelmine Right: how it changed*. In *Society and Politics in Wilhelmine Germany*, ed. R. J. Evans. London: Croom Helm.
- . (1980). *Reshaping the German Right*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- . (1981). *Some thoughts on the nationalist pressure groups in Imperial Germany*. In *Nationalist and Racialist Movements in Britain and Germany Before 1914*, ed. P. Kennedy and A. Nicholls. London: Macmillan.
- Emy, H. V. (1973). *Liberals, Radicals and Social Politics, 1892–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fest, W. (1981). *Jingoism and xenophobia in the electioneering strategies of British ruling elites before 1914*. In *Nationalist and Racialist Movements in Britain and Germany Before 1914*, ed. P. Kennedy and A. Nicholls. London: Macmillan.
- Fieldhouse, D. K. (1973). *Economics and Empire, 1830–1914*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Freidson, E. (1970). *Profession of Medicine*. New York: Dodd, Mead.
- . (1975). *Doctoring Together: A Study of Professional Social Control*. New York: Elsevier.
- Gaillard, J. (1981). *France*. In *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> Siècles*, 2 vols. Paris.
- Galanter, M. (1983). *Mega-law and mega-lawyering in the contemporary United States*. In *The Sociology of Professions*, ed. R. Dingwall and P. Lewis. London: Macmillan.
- Galbraith, J. K. (1985). *The New Industrial State*, 4th ed. Boston: Houghton Mifflin; Гэлбрейт, Дж. К. (2004). *Новое индустриальное общество*. М.: АСТ.
- Geiger, T. (1969). *Class society in the melting pot*. In *Structured Social Inequality*, ed. C. S. Heller. New York: Macmillan.
- Gellately, R. (1974). *The Politics of Economic Despair: Shopkeepers and German Politics, 1890–1914*. London: Sage.
- Giddens, A. (1973). *The Class Structure of the Advanced Societies*. London: Hutchinson.
- Gildea, R. (1980). *Education and the classes Moyennes in the nineteenth century*. In *The Making of Frenchmen*, ed. D. Baker and P. Harrigan. Waterloo, Ont.: Historical Reflections Press.

- Goldthorpe, J. H. (1982). On the service class, its formation and future. In *Social Class and the Division of Labour*, ed. A. Giddens and G. Mackenzie. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goode, W. J. (1969). The theoretic limits of professionalization. In *The SemiProfessions and Their Organization*, ed. A. Etzioni. New York: FreePress.
- Gray, R. Q. (1977). Religion, culture and social class in late nineteenth and early twentieth century Edinburgh. In *The Lower Middle Class in Britain, 1870–1914*, ed. G. Crossick. London: Croom Helm.
- Grossmith, G., and W. Grossmith. (1892 and 1965). *The Diary of a Nobody*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Halsey, A. H. et al. (1980). *Origins and Destinations*. Oxford: Clarendon Press.
- Harrigan, P. (1975). Secondary education and the professions in France during the Second Empire. *Comparative Studies in Society and History* 17.
- Harrison, J. F. C. (1971). *The Early Victorians, 1832–1851*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Hart, N. (1985). *The Sociology of Health and Medicine*. Ormskirk, Lanes: Causeway Press.
- Haupt, H.-G. (1981). *Republique Federale Allemande*. In *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX' et XX' Siecles*, 2 vols. Paris.
- Healy, D. F. (1963). *The United States in Cuba, 1898–1902*. Madison: University of Wisconsin Press.
- . (1970). *U. S. Expansionism: The Imperialist Urge in the 1890s*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Hobsbawm, E. (1989). *The Age of Empire, 1875–1914*. New York: Vintage; Хобсбаум, Э. (1999). *Век империи. 1875–1914*. Ростов н/Д: Феникс.
- . (1990). *Nations and Nationalism Since 1780*. Cambridge: Cambridge University Press; Хобсбаум, Э. (1998). *Нации и национализм после 1780 года*. СПб.: Алетейя.
- Hollingsworth, J. R. (ed.). (1983). *American Expansion in the Late Nineteenth Century: Colonialist or Anticolonialist?* Malabar, Fla.: Krieger.
- Howard, M. (1970). Reflections on the First World War. In his *Studies in War and Peace*. London: Temple Smith.
- Hurt, J. S. (1979). *Elementary Schooling and the Working Classes, 1860–1918*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Illich, I. (1977). *Disabling Professions*. London: M. Boyars. Jaeger, C. 1982. *Artisanat et Capitalisme*. Paris: Payot.
- Jarausch, K. H. (1982). *Students, Society, and Politics in Imperial Germany: The Rise of Academic Illiberalism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- . (1990). The German professions in history and theory. In *German Professions, 1800–1950*, ed. R. Cocks and K. H. Jarausch. Oxford: Oxford University Press.
- Johnson, T. J. (1972). *Professions and Power*. London: Macmillan.
- Joll, J. (1984). *The Origins of the First World War*. London: Longman. Kaelble, H. 1981. Educational opportunities and government policies in Europe in the period of industrialization. In *The Development of Welfare States in Europe and America*, ed. P. Flora and A. J. Heidenheimer. New Brunswick, N.J.: Transaction Books.
- Kaufhold, K. H. (1981). *République Fédérale Allemande*. In *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX' et XX' Siecles*, 2 vols. Paris.
- Kehr, E. (1977). *Economic Interest, Militarism and Foreign Policy*. Berkeley: University of California Press.
- Kennedy, P. (1980). *The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860–1914*. London: Allen & Unwin.
- Kiyonari, T. T. (1981). Japan. In *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX' et XX' Siecles*, 2 vols. Paris.
- Klingender, F. D. (1935). *The Condition of Clerical Labour in Britain*. London: M. Lawrence.
- Kocka, J. (1980). *White-Collar Workers in America, 1890–1940*. London: Sage.
- Krug, E. (1964). *The Shaping of the American High School*. New York: Harper & Row.
- Kurgan van Hentenryk, G. (1981). Belgique. In *Commission Internationale d'Histoire des*

- Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> Siècles, 2 vols. Paris.
- LaFeber, W. (1963). *The New Empire: An Interpretation of American Expansion, 1860–1898*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Lasch, C. (1958). The anti-imperialists, the Philippines, and the inequality of man. *Journal of Southern History* 24.
- Lash, S., and J. Urry (1987). *The End of Organized Capitalism*. Oxford: Blackwell.
- Little, A., and J. Westergaard (1964). The trend of class differentials in educational opportunity in England and Wales. *British Journal of Sociology* 15.
- Lockwood, D. (1958). *The Blackcoated Worker*. London: Allen & Unwin. Mackenzie, W. ———. (1979). *Power and Responsibility in Health Care*. Oxford: Oxford University Press.
- McKeown, T. (1976). *The Modern Rise of Population*. London: Arnold.
- Maingueneau, D. (1979). *Les Livres d'école de la République, 1870–1914*. Paris: Sycomore.
- Mangan, J. (1986). "The grit of our forefathers": invented traditions, propaganda and imperialism. In *Imperialism and Popular Culture*. ed. J. MacKenzie. Manchester: Manchester University Press.
- Mayer, A. J. (1975). The lower middle class as historical problem. *Journal of Modern History* 47.
- Middleton, N., and S. Weitzman. (1976). *A Place for Everyone*. London: Gollancz.
- Mills, C. W. (1953). *White Collar*. New York: Oxford University Press. Moody, J. 1978. *French Education Since Napoleon*. Syracuse, New York: Syracuse University Press.
- Moore, D. C. (1976). *The Politics of Deference*. Hassocks, Sussex: Harvester.
- Mosse, G. L. (1964). *The Crisis of German Ideology*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Muller, D. (1987). The process of systematisation: the case of German secondary education. In *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, and B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
- Musgrove, F. (1959). Middle-class education and employment in the nineteenth century. *Economic History Review* 12.
- Nichols, T. (1969). *Ownership, Control and Ideology*. London: Allen & Unwin.
- Nikolaou, K. (1978). *Inter-size Efficiency Differentials in Greek Manufacturing*. Athens: Center of Planning and Economic Research.
- Nord, P. (1981). Le mouvement des petits commençants et la politique en France de 1888 à 1914. *Mouvement Social* 114.
- Parkin, F. (1979). *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique*. London: Tavistock.
- Perkin, H. (1961). Middle-class education and employment in the nineteenth century: a critical note. *Economic History Review* 14.
- Poulantzas, N. (1975). *Classes in Contemporary Capitalism*. London: New Left Books.
- Prais, S. J. (1981). *The Evolution of Giant Firms in Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Price, R. N. (1977). Society, status and jingoism: the social roots of lower middle class patriotism, 1870–1900. In *The Lower Middle Class in Britain, 1870–1914*, ed. G. Crossick. London: Croom Helm.
- Pryor, F. L. (1973). *Property and Industrial Organization in Communist and Capitalist Nations*. Bloomington: Indiana University Press.
- Reeder, D. (1987). The reconstruction of secondary education in England, 1869–1920. In *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, and B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ringer, F. (1979). *Education and Society in Modern Europe*. Bloomington: Indiana University Press.
- . (1987). On segmentation in modern European educational systems: the case of French secondary education, 1865–1920. In *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, and B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robinson, R. E. (1959). Imperial problems in British politics, 1880–1895. In *The Cambridge History of the British Empire*. Vol. 111, ed. E. A. Benians et al. Cambridge: Cambridge University Press.
- Routh, B. (1965). *Occupation and Pay in Great Britain 1906–1960*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1980). *Occupation and Pay in Great Britain, 1906–1979*. London: Macmillan.

- Rubinson, R. (1986). Class formation, politics, and institutions: schooling in the United States. *American Journal of Sociology* 92.
- Rueschemeyer, D. (1973). *Lawyers and Their Society: A Comparative Study of the Legal Profession in Germany and in the United States*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Ryan, M. (1981). *Cradle of the Middle Class: The Family in Oneida County, New York, 1790–1865*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rystad, G. (1975). *Ambiguous Imperialism: American Foreign Policy and Domestic Politics at the Turn of the Century*. Stockholm: Scandinavian University Books.
- Schleunes, K. (1989). *Schooling and Society: The Politics of Education in Prussia and Bavaria, 1750–1900*. Oxford: Berg.
- Scott, J. (1979). *Corporations, Classes and Capitalism*. London: Hutchinson.
- . (1982). *The Upper Classes. Property and Privilege in Britain*. London: Macmillan.
- Simon, B. (1987). Systematisation and segmentation in education: the case of England. In *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, and B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
- Singer, B. (1983). *Village Notables in Nineteenth-Century France: Priests, Mayors, Schoolmasters*. Albany: State University of New York Press.
- Smith, R. J. (1969). Education, society and literacy: Nottinghamshire in the mid-nineteenth century. *University of Birmingham Historical Journal* 12.
- Steedman, H. (1987). Defining institutions: the endowed grammar schools and the systematisation of English secondary education. In *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, and B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stewart, A. et al. (1980). *Social Stratification and Occupations*. London: Macmillan.
- Summers, A. (1981). The character of Edwardian nationalism: three popular leagues. In *Nationalism and Racialist Movements in Britain Before 1941*, ed. P. Kennedy and A. Nicholls. London: Macmillan.
- Sutherland, G. (1971). *Elementary Education in the Nineteenth Century*. London: Macmillan.
- Tholfsen, T. (1976). *Working Class Radicalism in Mid-Victorian England*. London: Croom Helm.
- Waddington, I. (1977). General practitioners and consultants in early nineteenth century England: the sociology of an inter-professional conflict. In *Health Care and Popular Medicine in Nineteenth Century England*, ed. J. Woodward and D. Richards. London: Croom Helm.
- Wald, K. (1983). *Crosses on the Ballot: Patterns of British Voter Alignment Since 1885*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Weber, E. (1968). *The Nationalist Revival in France, 1905–1914*. Berkeley: University of California Press.
- . (1976). *Peasants Into Frenchmen*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Wehler, H.-U. (1979). Introduction to imperialism. In *Conflict and Stability in Europe*, ed. C. Emsley. London: Croom Helm.
- Weiss, L. (1988). *Creating Capitalism: The State and Small Business Since 1945*. Oxford: Blackwell.
- Welch, R., Jr. (1979). *Response to Imperialism: The United States and the Philippine-American War*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Wertheimer, M. (1924). *The Pan-German League 1890–1914*. New York: Columbia University Press.
- Whyte, W. M. (1956). *The Organization Man*. New York: Simon & Schuster.
- Winkler, H. A. (1976). From social protectionism to National Socialism: the German small-business movement in comparative perspective. *Journal of Modern History* 48.
- Wright, E. O. (1985). *Classes*. London: Verso.



## ГЛАВА 17

# Классовая борьба в период второй промышленной революции, 1880–1914 годы

### I. Великобритания

#### ВТОРАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

**В** 1880–1914 ГОДАХ большинство западных стран испытало самый быстрый экономический рост (табл. 8.2 и 8.4). Происходило преобразование сельского хозяйства, и миграция населения из сельской местности в города достигла самого высокого уровня. Вторая промышленная революция принесла большой капитал, высокую науку и сложную технологию, особенно в чугунолитейную и сталелитейную, металлургическую и химическую промышленность. Сельскохозяйственные и промышленные товары перевозились в пределах страны по железной дороге, а за рубеж — пароходами. Банки и фондовые биржи направляли сбережения в глобальные инвестиции, а затем они возвращались как прибыль, увеличивая потребление. Таким образом, вторая промышленная революция способствовала интеграции экономик, хотя их совокупность оставалась неоднозначной из-за двойственности своего характера — национального и транснационального.

Вторая революция в экономической власти изменила общества. *Коллективная* власть изменилась качественно. Массовые стандарты жизни на Западе стали расти и уверенно закрепились над уровнем прожиточного минимума. Поэтому средняя продолжительность жизни стала быстро расти примерно с 40 лет в 1870 г., что могло представлять лишь самую высокую точку еще одного мальтузианского цикла, до примерно 70 лет к 1950 г. Средняя продолжительность жизни женщин превысила такую у мужчин. Общество становилось урбанизированным и индустриализированным. Все это, возможно, представляло самое глубокое изменение в обществе из тех, которые когда-либо видел мир. В первую очередь оно стало результатом революции в отношениях экономической власти — индустриализирующей фазы капитализма. В наших теориях относительно этого периода должен быть остаточный экономический детерминизм.

Экономическая революция также трансформировала отношения *дистрибутивной* власти (о чем пойдет речь в следующих трех главах). Как и предсказывал Маркс, классы продолжали свое развитие, становясь более экстенсивными и политическими. Во-первых, владельцы земельной, коммерческой и промышленной собственности слились в один класс капиталистов, что, как мы видели, уже произошло в Британии (см. главу 4), а теперь происходило в Германии (см. главу 9). Во-вторых, происходила консолидация мелкой буржуазии, профессионалов и карьерных чиновников в средний класс (см. главу 16). В-третьих, аграрные классы интегрировались в глобальный торговый капитализм и в его классовые конфликты (см. главу 19). Национальные экономики в большинстве своем теперь разделились поровну на промышленность и сельское хозяйство (так как Британия являлась исключением, единственной страной с преобладанием промышленности, я оставляю рассмотрение этого дуализма для следующих глав). В-четвертых, возникло рабочее движение в первую очередь в металлургии, горнодобывающей промышленности и на транспорте, коллективно организованное и на рабочем месте, и в политике. Классовая борьба между режимами, капиталистическими классами и рабочими стала более экстенсивной и политической. Растущая инфраструктурная власть государства, появление гражданства и частичное помещение капитала в «клетку» национального государства направляли конфликт в рамки национальной организации. Классы становились более симметричными и уже не могли избежать классовой борьбы. Отношения *дистрибутивной* власти трансформировались, этот процесс по существу начался в конце XVIII в. и завершился в начале XX в.

И все же подъем этих классов, как и революция в отношениях *дистрибутивной* власти, в реальности был более неоднозначным, чем писал и осознал Маркс. В главе 16 мы убедились, что средний класс возникал сегментарно по отношению к политике. Глава 19 показывает, что аграрные классы (не считая владельцев крупных поместий) были исключительно неоднородны в отношениях друг с другом и с городскими промышленными классами. Эта и следующие главы также послужат доказательством значительных расхождений среди рабочих в их коллективной организации, идеологии и политике. В организационном смысле вторая промышленная революция усилила не просто рабочий класс, а три формы рабочих организаций: класс, секцию и сегмент. Действительно, ключевые виды промышленности, порождающие наиболее подходящие под определение класса тенденции, были также в наибольшей степени поделены на секции между квалифицированными и неквалифицированными рабо-

чими и сегментированы в наибольшей степени внутренним рынком труда. Все три формы рабочих организаций были экстенсивными и политическими организациями нового типа, производными от подлинной революции в отношениях экономической власти. Но в сочетании друг с другом они не вели к диалектическому единству, завершившемуся, как предсказывал Маркс, революцией. Не вели они и к эволюционному реформизму, предсказанному большинством других авторов. Они вели к невероятной сложности и неоднозначности в отношениях дистрибутивной власти. Западные общества разрешали эту неоднозначность различными путями. Разъяснение этих решений и будет главной теоретической целью следующих глав.

Неоднозначность была наиболее очевидна в идеологии и политике рабочих этого периода. В табл. 15.1 я выделил три пары стратегических альтернатив рабочих (и крестьян) по отношению к существующему капитализму. Все три оставались динамичными в течение этого периода. Две соперничающие стратегии были нацелены не на изменения, а на конкуренцию с капитализмом. В экономическом плане они были протекционистскими, вездесущими в рабочем движении, особенно в своих мягких формах, когда рабочие объединялись, чтобы создавать кооперативы и товарищества, предлагавшие пособия и страхование. Когда эта стратегия становилась политической, ищущей поддержки государства для действий рабочих и прав на организацию (коллективное частное гражданство), я называю ее мутуализмом. Реформисты также следовали двум тактикам. В политике это было социальное перераспределение богатства и власти через налогообложение и предоставление социального обеспечения — я назвал это социальной демократией, все еще редкой в рассматриваемый период. Гораздо более распространенной была экономическая тактика — соглашение в рамках индустрии и коллективный торг по заработной плате и условиям труда, которую я назвал экономизмом. Двумя революционными стратегиями были марксистская идея о достижении социализма путем политической революции и синдикалистская (и анархо-синдикалистская) идея революции, достигаемая путем общей экономической забастовки в обход государства.

Все шесть стратегий были привлекательными для рабочих, вовлеченных в новые трудовые отношения найма. Даже революционерам приходилось зарабатывать себе на хлеб и сотрудничать со своим работодателем. Часто они также не брезговали обществами взаимопомощи, урнами для избирательных бюллетеней, страхованием по безработице, бесплатным образованием и другими искушениями протекционизма или реформизма. Даже сговорчивые рабочие постоянно видели, что капитализм

ставит на первое место право собственности, что рабочие подвергаются увольнению или несправедливостям, если того требуют капиталистические рыночные силы. Затем рабочие открыли для себя капиталистическую эксплуатацию, трудовую теорию стоимости и радикальные альтернативы капитализму. В этот период немногие из них приветствовали государственнические решения, так как их государства были не слишком дружелюбны к рабочему классу. Как отмечает Холтон (Holton 1985), синдикализм в эти десятилетия был наиболее широко распространен, особенно когда разные виды административного контроля распространялись среди тех рабочих, которые были непривычны к дисциплинированной фабричной жизни и рационализированным рабочим союзам. Впрочем, к 1914 г. ни одна из стратегий рабочих или предпринимателей ни в одной стране не была институционализована. Все стратегии продолжали оставаться жизнеспособными, привлекая конкурирующие воинственные группы и тем самым делая отношения дистрибутивной власти крайне неоднозначными.

Степень привлекательности различных альтернатив решающим образом зависела от дрейфа правящего режима от одной стратегии к другой. Капиталисты, конечно же, предпочли бы не делать никаких уступок, а государства, повсеместно кристаллизующиеся как капиталистические, предпочли бы поддерживать их юридическими, а при необходимости и военными средствами. Однако у режимов возникали реальные дилеммы, когда рабочие упорно сопротивлялись и создавали коллективные организации, чтобы использовать дефицит труда, и вступали в альянсы с другими классами. Если режимы выбирали только репрессивные методы, то реформы и мутуализм мало чего достигали и все рабочие оказывались в одинаковой ситуации. Рабочие угрюмо принимали свое бессилие, возможно возвращаясь к минимальному тайному протекционизму, либо следовали за теми, кто пропагандировал массовые забастовки или политическую революцию, как в царской России. Большинство предпринимателей и режимов также знали об альтернативных стратегиях. Они проводили репрессии более осторожно — избирательно и сегментарно. Капиталистам нужна кооперация рабочих, государственной элите — соблюдение «правил игры» по налогообложению воинской повинности и общественному порядку, партиям — голоса избирателей. Капиталисты могли идти на уступки, а государственная элита и партии, побуждаемые их прочими кристаллизациями, могли давить на них для достижения дальнейших уступок. Поскольку рабочие (и крестьяне) обладали организационной властью в различной степени, капиталисты, государственные элиты и партии могли реагировать прагматично

и избирательно, практикуя секционализм и идя на уступки рабочим высокой квалификации, обладавшим собственностью или получившим избирательные права, одновременно проводя репрессии против остальных.

Пока стратегии сегментарного инкорпорирования работали, протекционисты, «экономисты» и мутуалисты имели преимущество перед революционерами. Массовая забастовка и политическая революция, даже агрессивное требование структурных реформ хотят внушительного количества участников и высокой степени классовой солидарности. Напротив, умеренные требования и секционализм хотят лишь небольших уступок некоторым рабочим со стороны отдельных капиталистов или элиты либо партийных фракций. Когда вследствие таких шагов рабочие получают выгоды, они уже с меньшей вероятностью будут объединяться с революционерами. Классовое единство нарушается, и призрак революции отступает. *В случае если* некоторые капиталисты, государственные элиты и партии идут на компромисс с некоторыми рабочими, в долгосрочной перспективе протекционизм, «мягкие» реформы, секционализм, сегментаризм и ослабление позиций воинствующих революционеров оказываются более вероятными, чем революция.

Но эта возможность начала ускользать. Сразу же после смерти Маркса в 1883 г. казалось, что его теория подтверждается. Вторая промышленная революция породила его «совокупного рабочего». В действительности это было уже второе «рождение» («второе издание») рабочего класса. Но в отличие от первой, чартистской, формы теперь он образовался внутри формального найма на крупных капиталистических или государственных предприятиях, особенно в металлургии, горнодобывающей промышленности и на транспорте. Ремесленники по большей части исчезли. Различия в квалификации сохранялись, но их сглаживал все больший наем рабочих невысокой квалификации, объединенных одинаковой зарплатой и системой административного контроля. Эта революция также имела макроэкономические последствия, усиливая международную конкуренцию. Предприниматели выступали против сохранения устаревшего, с их точки зрения, цехового протекционизма, разработав технологии рутинного контроля труда из «научного менеджмента», иногда подкрепляемые юридическим и полицейским насилием. Эта агрессия усиливала чувство классовой идентичности среди рабочих, хотя часто также сокращала их способность влиять на ситуацию.

Жизненно важной была реакция на это квалифицированных рабочих. Будут ли они использовать свои организации и оставшиеся в их распоряжении силы рынка труда в собственных секционных протекционистских интересах? Или они объединятся

с полу- и неквалифицированными рабочими в едином классовом движении, как полагал Маркс? Капиталисты и партии государственных элит стояли перед выбором: подвергнуть репрессиям всех рабочих и пойти на риск усиления классовой борьбы либо сегментарно идти на уступки менее агрессивным рабочим и проводить репрессии против остальных.

В двух последующих главах я рассмотрю различные виды дрейфа от одной стратегии к другой. Я утверждаю, что в итоге огромную роль играет *политическая* кристаллизация. Экономическая революция в отношениях дистрибутивной власти оставалась внутренне неоднозначной. Для полного завершения ей требовалась поддержка со стороны других источников социальной власти. Я начну с передового фронта этой революции, с самой передовой державы в первой половине этого периода, с единственного индустриального общества всего исследуемого периода, со страны с крупнейшим в мире профсоюзным движением — Великобританией.

## ОБЪЯСНЕНИЕ ПОДЪЕМА РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В БРИТАНИИ

Основные контуры развития рабочего движения<sup>1</sup> в этот период можно кратко суммировать следующим образом: первое крупное изменение произошло в конце 1880-х гг. с появлением «нового юнионизма» — более агрессивного движения, включающего в себя как квалифицированных, так и полу- и неквалифицированных рабочих и становящегося более экстенсивным, политическим и менее секциональным. Это движение приостановило рост после 1890 г., затем оно стабилизировалось и продолжило расти, особенно с 1910 г. Но 90% членов профсоюзов составляли мужчины. Доля женщин росла, но всего лишь с 2 до 10% в 1888–1914 гг., и даже в текстильной промышленности и сфере образования большинство служащих были мужчины. Рост юнионизации среди мужчин, занятых физическим трудом, был впечатляющим — с 12 до 32%. Среди 5 млн людей, составлявших ядро рабочего класса на фабриках, подчинявшихся контролю фабричных инспекторов, в шахтах и на транспорте, члены профсоюзов, вероятно, составляли большинство. В политике профсоюзы сначала сотрудничали с Либеральной партией, затем часть из них создали Лейбористскую партию для продви-

---

1. Основные источники для этого раздела: Webbs 1926; Pelling 1963: 85–148; Clegg et al. 1964; Cronin 1979, 1982; Martin 1980: 58–131, а по Лейбористской партии McKibbin 1974; Moore 1978.

жения интересов профсоюзов. К 1914 г. более половины членов профсоюза были связаны с Лейбористской партией. На последних выборах перед Первой мировой войной в 1910 г. лейбористы выиграли в 42 из 56 округов, в которых выдвигали своих кандидатов, хотя и с помощью избирательного союза с Либеральной партией. Обычно рабочий класс Великобритании в этот период, как и в последующие, представлялся как реформистский, поддерживающий экономические союзы и социал-демократическую Лейбористскую партию. Но как и ранее, он был даже более умеренным — его экономическая тактика обычно находилась где-то между протекционизмом и экономизмом, в то время как в политике превалировал мутуализм. С этим направлением конкурировали другие, менее распространенные: рабочих также активно агитировали марксисты и синдикалисты, а непреднамеренный реформизм был результатом того, что рабочие организации встраивались в государственную администрацию.

Начнем с профсоюзов. Их рост многие историки объясняют при помощи четырех тезисов Маркса, рассмотренных мною в главе 15. Эти тезисы гласят:

- 1) во всей экономике распространяется качественное разделение на труд и капитал, замещая другие производственные отношения;
- 2) преобразование процесса труда в рамках второй промышленной революции привело к появлению «совокупного рабочего» — единого рабочего класса;
- 3) этот процесс усиливался растущими плотностью и сегрегацией городских сообществ рабочих, хотя некоторые утверждают, что это приводило преимущественно к «оборонительной» солидарности;
- 4) политические требования, возникшие из самого трудового процесса, поддержанные сообществом рабочего класса, привели к появлению реформистской Лейбористской партии.

В главе 15 я критиковал эту модель по 5 пунктам.

1. Возник не один, а три конкурирующих «совокупных рабочих» — *рабочий* класс, секциональная *отрасль* и сегментарная *взаимозависимость* работодателя и работника, поощряемая внутренним рынком труда.
2. В модели Маркса существует напряжение между *диффузией* капитализма во всей экономике и в отдельно взятом пункте *авторитетной* организации, представленной самим процессом фабричного труда. В предшествующие периоды эта диффузия определяла скорее развитие рабочего класса, чем про-

цесс труда. Большинство историков этого периода подчеркивают трансформацию процесса труда, но я оспариваю это утверждение.

3. Так как эта экономика являлась также преимущественно сферой национального государства, его *политическая кристаллизация* помогала детерминировать рабочее движение.
4. Возникающее рабочее движение было секциональным в следующем смысле: оно было преимущественно *мужским* и сосредоточенным вокруг рабочего места. По мере трансформации производства этот секционализм влиял на отношения между такими аспектами рабочего движения, как занятость и сообщество.
5. Следствием вышесказанного является то, что классовый конфликт обычно не является антагонистическим, заканчивающимся диалектическим разрешением по Марксу. Правящий режим также обычно подразделяется на фракции и секции, приводя к более сложным конкурирующим результатам. Я предположил, что в обычных условиях рабочий класс терпит поражение в антагонистической классовой борьбе.

В этой главе я провожу идею о том, что вторая промышленная революция укрепляла идентичность рабочего класса, но лишь частично. Более того, это отделяло работу от семьи и сообщества и, как следствие, мужчин от женщин. Но эти результаты также испытывали на себе влияние политической кристаллизации. Кристаллизация капиталистов конкретного государства оставалась в основном неизменной, но с другими кристаллизациями дело обстояло иначе. Демилитаризация государства — его расширяющийся охват гражданских функций и вывод милитаризма за границы собственно Великобритании (не считая Ирландии) плюс его партийная демократия, переплетенная с централизованным решением национального вопроса (за исключением Ирландии), подталкивали рабочее движение к умеренному мутуализму. В основном благодаря непреднамеренным последствиям действий различных акторов реформизм со временем стал основной стратегией британских рабочих, но только во время и после Первой мировой войны.

### *Сообщество рабочего класса и национальное гражданское общество*

К 1900 г. индустриализация сильно повлияла на местные сообщества, сократив локальный партикуляристский сегментарный контроль и еще более отделив рабочих в экологическом смысле от остальных групп населения. Урбанистическая концентрация продвинулась дальше, чем экономическая. К 1901 г. большин-



ство рабочих жили в городах с населением более 20 тыс. жителей, в то время как на фабриках, на которых они работали, было менее 50 работников. Уже в 75 городах проживало больше 50 тыс. человек. В каждом городе было много работодателей, демонстрировавших меньше сплоченности и сегментарного контроля над местным сообществом. Наиболее организованный конфликт теперь происходил на стабилизированных фабриках и в мастерских этих городов. В нем участвовала примерно половина всех рабочих, а другая половина все еще оставалась под сегментарным контролем или трудилась на временной работе. Трамваи и железные дороги переместили средний класс подальше от рабочих, в пригороды. Иерархия более не воспроизводилась в местных общинах, но сохранялась в отношениях между местными сообществами и даже между регионами. Капиталисты концентрировались в Лондоне, лечебных курортах или на побережье — в целом на юге, а рабочие оставались на черном от угольной пыли промышленном севере. Для общественного порядка требовалось дистанционное управление, потому что рабочие были предоставлены своему сознанию и культуре.

Стедман-Джонс (Stedman-Jones 1974) утверждает, что в крупных городах начиная с 1890 г. доминировала отчетливо «оборонительная» рабочая культура. Традиционные сегментарные средства контроля типа благотворительных школ, вечерних классов, библиотек, обществ взаимопомощи, часовен и церквей уступили общенациональному государственному образованию, пабам, спортивным газетам и забегам, футбольным матчам и мюзик-холлам. Песни в мюзик-холлах, считает Стедман-Джонс, показывают, что сознание рабочего класса приняло защитную форму. Идентичность рабочего класса обратилась внутрь, прочь от агрессивного социализма (марксистские историки тоже много внимания уделяют повороту рабочих от предполагаемого социалистического предназначения).

Эта точка зрения подкрепляется некоторыми свидетельствами. В местных общинах рабочие осознавали свое отличие даже от мелких ремесленных мастеров. Хотя в Престоне большинство рабочих, голосовавших до 1900 г., были сторонниками тори, они не хотели смешиваться с консерваторами из среднего класса и организовывали собственные политические клубы консервативной партии (Savage 1987: 143). Сообщества рабочих также не были постоянно заняты строительством баррикад. Семьи рабочих охотно становились участниками массовых потребительских рынков (на рынках массового потребления, которые появились в 1870–80-х гг., с 1870 по 1890 г. розничные цены упали на 20%, а недельный заработок вырос на 20% (Feinstein 1976: табл. 65). Магазины и розничная торговля принесли об-

щенациональный маркетинг и унифицированные рекламные щиты на рынки городов, регионов и страны в целом. Местные протекционистские сети потребления и кредитов продолжали существовать, но семьи вступили в национальную экономику потребительского выбора, рыночный регулятор которого был диффузным, безличным и общенациональным (F.M.L. Thompson 1988). Спорт превратился из сельского в городской, породив общенациональную индустрию досуга, в центре которой был футбол. В этом случае рыночные силы были разбавлены прямыми сегментарными регуляторами, так как футбольные, крикетные и прочие клубы содержала местная знать (Hargreaves 1986). «Спортивные» метафоры использовали политические активисты всех классов: «это не спортивно», «удар ниже пояса», что свидетельствовало об общей склонности соблюдать «правила игры» (McKibbin 1990b). Такие процессы не только не отделяли рабочих от остального общества, но, напротив, включали их в общенациональный мейнстрим.

Экологическая сегрегация классов, получение избирательных прав половиной мужчин-рабочих и открытые избирательные кампании вовлекли рабочих в политику. Но межклассовое сотрудничество все еще преобладало в первую очередь в форме союза квалифицированных рабочих и партий либералов и нонконформистов, представлявших главным образом средний класс. Политики особенно сосредоточивали свое внимание на образовании — в тот период главной гражданской деятельности государства. Юнионисты и социалисты в союзе с либералами и нонконформистами занимали все больше мест в местных школьных комитетах. Стремительно росла грамотность: в 1900 г. только 3% новобрачных не смогли вписать свои имена в реестры браков (по сравнению с 30% в 1860 г.) (Stone 1969). Начиная с 1892 г. всеобщее образование повысило участие рабочих в культурной жизни страны.

Судя по всему, в общинах рабочего класса возросло отделение мужчин от женщин. Этот период ознаменовал драматические изменения в жизни женщин. Последний резкий скачок в дискурсивной грамотности произошел в основном среди дочерей рабочих, позволив и женщинам участвовать в культурной жизни страны. Современные на тот момент методы контроля над рождаемостью начали проникать в нижние классы, смертность уменьшалась, так что вместо того, чтобы умирать раньше мужчин, женщины стали жить дольше их. Рост зарплаток, снижение цен и потребительская экономика означали: факт того, что женщины по-прежнему отдавали львиную долю еды своим добытчикам, уже играл меньшую роль. Деторождение уже не было угрозой для жизни женщин (Hart 1989, 1991). Мужчины-

добытчики поддерживали семейную экономику, хотя, может быть, играли в ней меньшую роль. В обществе существовали две распространенные практики: мужчина либо отдавал часть своего заработка женщине на содержание хозяйства, сохраняя право распоряжаться всем остальным, либо вручал ей всю зарплату, получая на свои нужды фиксированную сумму. Большинство женщин также находили время от времени работу с частичной занятостью и обычно тратили свой меньший заработок на домохозяйство и личные расходы. Таким образом, существовали две различные области потребления: самостоятельное мужское и женское домохозяйственное. Пивоварение, спорт и табачная промышленность порождали мужские виды досуга. «Респектабельные рабочие, одетые в парадные костюмы со шляпами-котелками и с карманными часами на цепочке, могли собираться вместе, временно освобождаясь и от работы, и от женской домашней среды», — отмечает Давидов (Davidoff 1990: 111).

Становилась ли жизнь мужчин и женщин в местных общинах более разделенной и конфликтной, уменьшая интенсивную солидарность сообщества в пользу экстенсивной классовой поляризации занятости? Нам следует избегать романтизации прошлого. Главной формой феминизма XIX в. был призыв к трезвости, так что определенное разделение и конфликт присутствовали уже давно. И все же жизнь мужчин и женщин в сообществах в этот период поляризации занятости оставалась частично разделенной. Предыдущие главы моей книги показывают, что во времена мелкобуржуазных волнений и чартизма сообщества укрепляли единство классовых движений. В период второй промышленной революции эта черта общины ослабла.

Таким образом, тенденции развития сообщества были довольно сложными. Существовало определенное разделение между принадлежностью к какому-либо классу и культурой. Что-то выглядит защитной реакцией и обращением внутрь, что-то побуждало рабочих к политической активности, а что-то — к участию в экономической, культурной и партийно-демократической жизни всей нации. Но в целом семья и сообщество не усиливали однозначно тенденции занятости к поляризации классов. В отличие от нации класс становился более экстенсивным и менее интенсивным.

### *Экономические стратегии капитала и рабочих*

Тезис о «совокупном рабочем» подчеркивает эффект ускорения формирования класса вследствие деквалификации на фабриках времен второй промышленной революции. Я отношусь к этому тезису критически. Из него следует, что работодатели механи-

зировали и рационализировали производство, чтобы сократить привилегии квалифицированного труда, «ослабляя» квалифицированных ремесленников и одновременно «усиливая» новых полуквалифицированных рабочих. Эти две группы становились все более похожими — многие их представители вместе выходили на внутренний рынок труда. Происходила радикализация квалифицированных рабочих, а полуквалифицированные (и даже некоторые неквалифицированные) создавали свои первые профсоюзы. Постепенно эти группы рабочих смешивались сначала в так называемых новых профсоюзах, затем более долгосрочно в радикализированных старых профсоюзах и в социал-демократической Лейбористской партии. В этом заключается основной пафос объяснений многих историков, наиболее полно выраженный у Прайса (Price 1983, 1985) и в некоторой степени у Пеллинга (Pelling 1963: 85–6, 98–100), Грея (Gray 1976: 167–169), Кроссика (Crossick 1978: 248), Бейнса (Baines 1981: 162), Ханта (Hunt 1981) и Тейна (Thane 1981: 230).

Их аргументы также отражаются в теориях трудового процесса и деквалификации, преобладавших среди промышленных социологов в 1970 г. (например, Braverman 1974; Friedmann 1977; Burawoy 1979; Hill 1981: 103–123). Эти социологи изображали трудовой процесс в начале XX в. как обладающий отличительной чертой — крупными корпорациями в промышленности. Также в современной социологии подчеркивается фордизм, выраженный, к примеру, запуском в 1907 г. конвейерной линии по сборке «Форда» Модели Т. Опираясь на классическую теорию Хильфердинга, Лэш и Урри (Lash and Urry 1987) характеризуют период с 1880 по 1950 г. как эру «организованного капитализма», противопоставляя ее нынешней эре, в которой, по их мнению, доминирует «дезорганизованный» капитализм, «постфордизм» и «гибкая реструктуризация».

Предприятия Британии времен Эдуарда VII, по всей видимости, плохо соответствуют этому тезису. Джойс и Мак-Киббин (Joyce 1989; McKibbin 1990) отмечают, что лишь половина рабочих имела отношение к «современным» секторам промышленности, таким как промышленное производство, горнодобывающая и транспортная промышленность. Другая половина работала в торговле, на мелких предприятиях или даже на улице и была в основном не охвачена профсоюзами. Даже типичная мануфактура была либо семейной фирмой, либо принадлежала объединению семей (частной компании). Открытые акционерные общества не преобладали до 1920 г. Из 50 крупнейших по активам производственных предприятий в 1905 г. 18 относились к пивоварению и производству крепкого алкоголя (значение таких производств для сообщества я уже подчеркивал), 10 — к тек-

стильной промышленности и только 23 — к потребительским товарам (Payne 1967: 527; ср. Ashworth 1960: 90–102). Примерно 100 компаний имело в штате больше 3 тыс. рабочих при трех фабриках на компанию в среднем.

Как и в других странах, даже самые крупные фабрики казались карликами по сравнению с государственными организациями. Следом за крупнейшей из подобных организаций — вооруженными силами — шла почтовая служба с 114 тыс. работников в 1908 г., что было в четыре раза больше, чем на любом частном предприятии. Государство же владело двумя из десяти крупнейших производственных предприятий — Королевскими верфями и Королевскими военными заводами. Остальные восемь предприятий с более чем 13 тыс. работников в каждом были разными: два относились к текстильным корпорациям, состоявшим из более чем 25 производственных предприятий каждая; три — к железнодорожным компаниям или мастерским, два — к производству вооружений (тесно связанные с государством) и еще одно было строительной компанией. Одиннадцатым по количеству работников предприятием было Общество кооперативной оптовой торговли (Shaw 1983). Если бы в этом рейтинге учитывались и горнодобывающие предприятия, то в лидирующую десятку вошли бы две такие компании (Taylor 1968: 63–65). Могло ли у столь разнообразных предприятий быть много общего?

Да, у самых крупных из них общими были паровые машины — символ первой промышленной революции, которые все еще не доминировали до начала второй. Использование паровых машин, исключая перевозки, возросло на 25% в период с 1870 по 1896 г. В 1870 г. более половины паровых машин было сосредоточено в текстильной промышленности, к 1907 г. — менее 20%. Особенно широко пар использовался в горнодобывающей промышленности, металлургии, строительстве, кораблестроении, на железной дороге и в коммунальном хозяйстве. Но уже на подходе были новые источники энергии. К 1907 г. электричество составило четверть машинных мощностей, а газ и двигатели внутреннего сгорания, работавшие на каменноугольном газе и нефти, составляли конкуренцию пару также и на меньших по размеру предприятиях (Ashworth 1960: 86; Musson 1978: 166–170).

Распространение технологий, использующих первичные источники движущей силы, преобразовали экономику, вытеснив кустарное производство на периферию производственных процессов, сократив надомную работу до 2% от общего количества занятых согласно переписи 1902 г. (в основном женщины-надомницы в швейной промышленности, хотя эта доля предположительно занижена) и механизировав индивидуальные задачи, хотя механизация слабо коснулась взаимодействия машин.

ТАБЛИЦА 17.1. Распределение рабочей силы  
в британских отраслях, %

	1851	1881	1911
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	21,6	13,0	8,6
Горнодобывающая промышленность	4,1	4,6	6,5
Промышленное производство	33,0	32,1	33,3
Строительство	5,2	6,9	6,5
Торговля и транспорт	15,5	21,4	21,5
Государственная служба (профессиональная)	5,2	6,1	8,1
Домашние услуги (персональные)	13,4	15,3	14,0
Итого	100,0	100,0	100,0
Состав рабочей силы, млн чел.	9,7	13,1	18,6

Источник: Deane and Cole 1969: 143.

В ключевых отраслях промышленности это изменило рабочие задачи, деквалифицировало работников и усилило административный и машинный гнет. Но этот процесс также приводил к единообразию занятости не только в промышленном производстве, но и в общенациональной экономике. Первые паровые двигатели потребляли горы угля, который требовалось доставлять и хранить. Горнодобыча, транспорт и распределение росли, даже несмотря на статичность самого промышленного производства, как мы видим в табл. 17.1.

Единственной сокращавшейся по численности группой были крестьяне, но промышленное производство шло в ногу с общим ростом населения и занятости, опережаемом уровнем роста в горнодобыче и торговле, на транспорте и на государственной службе, а также специалистов. По переписи 1907 г. чистый объем производства в горнодобыче составлял 106 млн фунтов стерлингов, намного обгоняя машиностроение (второе место — 50 млн фунтов стерлингов), хлопковую промышленность (45 млн фунтов стерлингов), строительство (43 млн фунтов стерлингов), чугунолитейную и сталелитейную промышленность (30 млн фунтов стерлингов). В период с 1850 по 1913 г. занятость в горнодобыче росла быстрее, чем производство продукции, указывая скорее на рост числа работающих в этой отрасли, чем на интенсификацию существующего труда, что, возможно, верно и для сферы услуг.

Бейн и Прайс (Bain and Price 1980) представляют статистику по членам профсоюзов с 1890 г., к которой я добавил статистику за 1888 г. из работы Клегга (Clegg et al. 1964: 1). Я определяю два упрощенных индикатора силы профсоюза по их уровню

юнионизации, то есть той части потенциальных членов, которую профсоюз действительно рекрутирует. Для отдельно взятого профсоюза его потенциальными членами будут все рабочие этой отрасли, для рабочего движения в целом — все рабочие силы страны, за исключением сельского хозяйства.

1. При уровне юнионизации порядка 25% профсоюзы становятся заметными *секционными* властными акторами. Их все еще можно обходить, работодатели все еще могут патерналистски контролировать рабочих, но теперь это уже несет определенные риски. Профсоюзы могут доставить много хлопот работодателям, мобилизуя своих членов. Если же во время кризиса профсоюз сможет мобилизовать и других рабочих, не входящих в него, результатом может стать широкий классовый конфликт. Риск широкого классового конфликта снижается, если члены профсоюза отделены от прочих рабочих уровнем квалификации, принадлежат к другой отрасли промышленности, вере, национальности или сообществу с другой идентичностью. Тогда работодатели могут сегментарно «разделять и властвовать»: инкорпорировать и делать уступки организованному и контролирующему рынок рабочим, одновременно жестко эксплуатируя остальных. Британский секционализм проходил преимущественно по уровню квалификации, а в некоторых областях также по национальности (например, английские рабочие против ирландских).
2. При уровне юнионизации порядка 50% профсоюзы могут стать классовыми акторами, претендуя на то, чтобы возглавить единый рабочий класс. В этой ситуации правящие режимы могут предпочесть сделки на локальном или общенациональном уровне. Политика «разделяй и властвуй» становится менее пригодной, а главной альтернативой умиротворению выступают дорогостоящие полномасштабные репрессии.

В 1888 г. уровень общенациональной юнионизации составлял лишь 5%. Три четверти членов профсоюзов концентрировались в четырех отраслях промышленности: машиностроении и кораблестроении (25%), горнодобыче (20%) и строительстве (12%). Уровень юнионизации во всех перечисленных отраслях был ниже 20%, за исключением горного дела, где превышал 50%. Профсоюзы лишь в этой отрасли приблизились к полномасштабной классовой солидарности, хотя квалифицированные рабочие из некоторых других отраслей также имели свою долю секционной власти. В общенациональном масштабе это означало не жесткую конфедерацию секционных, обычно ква-

лифицированных акторов власти, способных на беспорядки в ключевых отраслях, но не на классовое столкновение, впрочем, как и во всех рабочих движениях других стран в это время. Правящие режимы и капиталисты могли проводить сплошные репрессии с некоторыми шансами на успех. В горном деле и в других отраслях приходилось прибегать даже к помощи войск, но такие островки сопротивления могли быть изолированы. И наоборот, сегментарное инкорпорирование этих профсоюзов помогало избегать общих уступок.

Всего за четыре года после 1888 г. «новый тред-юнионизм» удвоил число своих членов до полутора миллионов, уровень юнионизации на национальном уровне поднялся до 11%. Угледобывающая промышленность, машино- и кораблестроение составляли по 21% общенационального количества членов профсоюзов, вдвое выше, чем хлопчатобумажная промышленность, строительство и транспорт. Затем общенациональный уровень юнионизации резко пошел вверх. К 1901 г. он составлял 18%, затем выровнялся. К 1911 г. в профсоюзах состояло 3,1 млн человек, а уровень юнионизации достиг 19%. Лидировало в этом процессе горное дело, затем шли железнодорожники, уровень юнионизации которых постоянно рос, а также рабочие дорожного и морского транспорта (уровень их юнионизации резко повышался дважды — в 1888–1892 гг. и после 1910 г.). Строительных рабочих обогнали работники образования и муниципальных властей. К 1914 г. число членов профсоюзов снова выросло — до 4,1 млн человек, уровень юнионизации поднялся до 25%. Внутри каждой из упомянутых выше отраслей плюс газовой, печати и почтовой уровень юнионизации теперь составлял свыше 50%.

Профсоюзы оставались мужскими по составу. В 1901 г. женщины составляли 30% рабочей силы и лишь 8% членов профсоюзов. В 1914 г. уровень юнионизации составил 32% для мужчин и лишь 9% для женщин. Все усредненные уровни юнионизации, приводимые в данной работе, были бы намного ниже для женщин — примерно на 30% выше для мужчин и еще выше для наиболее охваченных профсоюзами отраслей: машиностроения, горного дела и транспорта. Женщины исключались из тех сфер труда, где были возможности организовывать профсоюзы. В 1911 г. 39% работавших женщин были домашней прислугой. Тем не менее многие профсоюзные активисты разделяли сексизм лидера рабочих газовой отрасли Уилла Торна: «Женщина никогда не будет хорошим тред-юнионистом, и по этой причине мы считаем, что нашу энергию стоит направлять на организацию рабочих-мужчин» (Hinton 1983: 32).

В итоге профсоюзы стали сначала значимыми секционными, а затем и классовыми акторами в нескольких важных отраслях



промышленности, но только среди мужчин. Самыми сильными были профсоюзы в угледобывающей промышленности, затем в машино- и кораблестроении и на железнодорожном транспорте, в хлопчатобумажной промышленности, в строительстве и среди государственных служащих. К этому времени, например, в горнодобывающей промышленности даже секционные репрессии слишком дорого стоили бы предпринимателям и могли провалиться, а в других основных отраслях стали рискованными. Теперь руки работодателей оставались по-прежнему относительно развязанными лишь по отношению к большинству рабочих-женщин.

Я начинаю рассматривать тему борьбы отдельных профсоюзов в отраслях, которые предполагают некоторую поддержку марксистского тезиса о «совокупном рабочем». Ранние профсоюзы строителей сложились в условиях мелких разбросанных рабочих мест и мобильной рабочей силы. Как показывает глава 15, в раннем тред-юнионизме был распространен интерстициальный тип организации. В начале рассматриваемого периода профсоюзы строителей отставали в развитии, но перед Первой мировой войной деквалификация, особенно среди укладчиков кирпича и каменщиков, привела к расширению тред-юнионизма и радикальному синдикализму, который закончился тяжелым поражением (Holton 1976: 155–163).

Машиностроение подверглось серьезным, хотя и разнонаправленным изменениям в связи с реорганизацией в производственных процессах (Burgess 1985). С 1880-х гг. массовое производство резко повлияло на механические мастерские. Множество карусельных и револьверных токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных станков обслуживались малоквалифицированными операторами, которые пришли на смену квалифицированным токарям и техникам. Передача знаний и навыков от мастера к ученику сменилась обучением прямо на рабочем месте. Тем не менее такие машины повышали уровень квалификации обслуживавших их рабочих, а также тех, кто производил такие машины.

Этот процесс скорее сдвигал квалификацию, чем деквалифицировал рабочих, а также раскалывал профсоюзы на старых секционных лидеров и новых активистов, жаждущих единства рабочих всех уровней квалификации. Пользуясь этим расколом, работодатели предприняли наступление на позиции рабочих, заявляя о желании «быть хозяевами в собственных цехах», подобно своим американским и немецким конкурентам. В 1890-х гг. они организовали в общенациональном масштабе и в 1897 г. подтолкнули Объединенное общество машиностроителей (Amalgamated Society of Engineers, ASE) к забастовке с це-

лю добиться восьмичасового рабочего дня. Работодатели воспользовались периодом вялого спроса на рынке. Через шесть месяцев забастовка провалилась. Профсоюз снял свое требование о восьмичасовом рабочем дне и признал право работодателей закреплять рабочих за станками. ASE также согласилось на сокращение практики ученичества, увеличение числа полу-квалифицированных рабочих, которые к 1914 г. составляли 20% рабочей силы, и сдельную работу. Будучи не в состоянии подорвать внутренний рынок труда, профсоюз остался расколотым. Многие его филиалы выступили за совместное с работодателями регулирование внутренних рынков труда и принимали в профсоюз полу- и неквалифицированных рабочих. Победа работодателей постепенно вызвала более широкую солидарность между рабочими разной квалификации. Но к 1911 г. ASE оправились и в отрасли вновь начали назревать волнения.

Наступление работодателей распространилось на другие производящие отрасли с укоренившимися цеховыми профсоюзами — кораблестроение, полиграфию, обувную и мебельную промышленность. Под давлением международной конкуренции работодатели в 1890-х гг. сумели организовать в масштабах страны, используя торговый цикл, чтобы выбрать момент для конфронтации. Типичными приемами стали авторитетная общенациональная организация и эксплуатация непланируемых рассеянных международных рынков, два территориальных источника их классово-власти: национальный, который скоро станет их главной зоной слабости, и транснациональный, который со временем будет их главной зоной силы.

Работодатели редко могли раздавить профсоюзы, хотя иногда и пытались. Стратегии британских работодателей были вначале более или менее те же, что и у работодателей других стран. Но цеховые профсоюзы Британии были лучше вооружены, чем квалифицированные рабочие других стран. Британские профсоюзы давно и прочно освоили науку торговли с работодателями и присутствовали пусть и незначительно, но в политических элитах и партиях. Они уже оказывали влияние на законодательство в пользу своих коллективных гражданских прав. После 1874 г. и снова после 1906 г. закон в Британии стал более благосклонным к профсоюзным забастовкам и пикетированию, чем закон любой другой развитой страны. Не имевшие возможности воздействовать на рабочих с позиции закона или полицейских репрессий, британские работодатели тем самым приближались к экономической тактике. Они были отчасти лишены общественной симпатии, напротив, испытывали давление со стороны политических партий и государственных элит, чтобы решать конфликты с рабочими путем переговоров.

Впрочем, экономическое оружие другой стороны также не подходило для войны не на жизнь, а на смерть. Большая часть усовершенствований и процессов механизации на производстве осуществлялась в фирмах нового типа, где работодателям редко противостояли сильные цеховые профсоюзы. Новые отрасли промышленности — бумажная, обувная, производство одежды, драгоценных металлов, велосипедов, электротехники и двигателей, продуктов питания и химикатов — порождали новые профессии, до которых чаще дорастали через обучение промышленные рабочие, чем падали, теряя квалификацию, ремесленники. Эти навыки были реальными, редкими, но их обретали больше на рабочем месте, чем в процессе традиционного ремесленного ученичества. В других более традиционных отраслях машиностроения квалифицированные рабочие реже сталкивались с требованиями поступиться привычными формами ученичества и разницей в зарплате и успешно им противостояли (Penn 1985).

Тем не менее некоторые изменения были универсальными. Во всех отраслях квалифицированные рабочие теряли власть в сфере найма — увольнения и субподряда, а неквалифицированные рабочие переходили с разовых временных работ в те же организации производства. Рабочие всех квалификаций были теперь наемными рабочими с похожими условиями найма, а не членами различных классов, как когда-то ремесленники. Цеховые профсоюзы могли поддерживать общий секционализм, лишь исключая недавно возникшие отрасли и их квалифицированных и полуквалифицированных рабочих, к чему они не были готовы. По сравнению с другими странами у работодателей в Британии было меньше возможностей прибегать к услугам штрейкбрехеров. В сельском хозяйстве уже ощущался недостаток рабочей силы, кроме ирландцев, составлявших «зеленую» рабочую силу, а многие из работодателей разделяли английский стереотип об ирландцах как о нерадивых рабочих. Работодатели также передавали власть обученным рабочим. Они нанимали на требующие мастерства рабочие места ответственных людей из собственных трудовых ресурсов на внутреннем рынке труда. В результате работодатели получали контроль над трудовым процессом, но становились зависимыми от квалифицированных рабочих. Последние получали гарантии занятости и некоторую защиту от произвола работодателя.

Без сомнения, будь у британских работодателей возможность контролировать суды и военизированные образования, как у их коллег в США (см. главу 18), большинство из них определенно боролись бы за предприятие без профсоюзов. Но так как Британия была страной с самым демилитаризованным

регулированием внутреннего порядка (как показано в главе 12), это было невозможно. Многие вели переговоры с профсоюзами. Легитимность профсоюзов и правила ведения переговоров были фактически закреплены здесь к 1875 г., раньше, чем в других странах Запада. Работодатели признавали в свидетельствах королевским комиссиям и в разговорах с современниками, что профсоюзы имеют право на существование. Так, один автор отмечал в 1906 г.:

Я не слышал ни единого слова в защиту профсоюзов ни от одного работодателя Германии или Америки... Предприниматели ненавидят профсоюзы и боятся их. В Англии я не сталкиваюсь с подобным отношением. Я слышал, как профсоюзы критикуют и даже осуждают, но без озлобления. Гораздо чаще я слышал от работодателей и менеджеров справедливые и даже дружелюбные отзывы [цитируется по McKibbin 1990].

Профсоюзы также искали союзников, обращаясь к либерализму среднего класса и вербуя своих членов среди менее квалифицированных рабочих, и дошли до политики и неквалифицированных рабочих — характеристики, отличающие новый тред-юнионизм.

Это свидетельства в пользу объяснения подъема «совокупного рабочего», выстраиваемого вокруг производственного трудового процесса. Другие области роста профсоюзов не могут быть интерпретированы подобным образом, и характер возникающего классового сознания не может быть объяснен с помощью лишь этих терминов даже в рамках данных отраслей. Сейчас же я перехожу к другим отраслям.

Наиболее важной была угледобывающая промышленность. Один профсоюз — Федерация горняков Великобритании (Miners Federation of Great Britain) — вырос за счет региональных федераций. Отчасти это было ответом на общенациональную организацию владельцев шахт, вызванную международной конкуренцией, но также и тем, что федерация отстаивала два традиционных требования, объединявшие рабочих всех квалификаций: восьмичасовой рабочий день и противодействие привязыванию заработной платы к цене на уголь. Профсоюзы шахтеров двигались по направлению к политическому инкорпорированию, допущенному в 1884 г. Актом о народном представительстве (County Suffrage Act). Их уникальная географическая концентрация позволила избрать в парламент «либ-лаб» представителей.

Все это стало очевидным во время большой забастовки в 1893 г. Федерация горняков выступила против 25%-го сокращения заработной платы в связи с введением скользящих расценок, и ее чле-

ны подверглись увольнению по всей стране — 300 тыс. шахтеров за 16 недель. Под давлением либ-лаб парламентариев правительство вмешалось в трудовой конфликт, кажется, впервые после триумфа политики *laissez-faire*. Последовавший компромисс был в действительности победой профсоюза. Эта забастовка способствовала солидарности между рабочими-забойщиками (до этого времени преобладавшими в профсоюзах горняков) и другими рабочими, в том числе работавшими на поверхности. Федерация горняков стала новым тред-юнионом (производственным профсоюзом), допустив в свои члены неквалифицированных рабочих. Классовое единство стало следствием общенационального объединения работодателей, вызванного давлением международной конкуренции, традиционных профсоюзных требований и партийно-демократической политической кристаллизации. Механизация и деквалификация едва ли имели к этому отношение. Шахтеры могли выстоять против штрейкбрехеров, потому что у них были общие требования по заработной плате и рабочим часам, а также потому, что связанные общностью интересов шахтерские сообщества не боялись репрессий. Они стремились к взаимовыгодному мутуалистическому политическому урегулированию трудовых отношений, установлению минимальной заработной платы и ограничению рабочих часов, к тому же их поддерживали «либ-лаб» парламентарии. Только в 1909 г. они присоединились к лейбористам, сохранив автономию внутри партии до окончания Первой мировой войны.

Хотя производственный процесс в шахтах уникален, требования шахтерских профсоюзов были типичными. Десяти-, девяти-, восьмичасовой рабочий день был главным требованием всех профсоюзов XIX в. После 1880 г. международная конкуренция привела к снижению заработной платы в периоды рецессий и побудила профсоюзы требовать минимальный гарантированный заработок. Дифференцированная оплата труда была типичной для хлопчатобумажной и обувной промышленности и черной металлургии. В хлопчатобумажной промышленности профсоюзы не ограничивали прием новых членов, но обладали в них квалифицированные прядильщики. Это привело к тому, что менее квалифицированные рабочие откололись, сформировав квазисоциалистический новый профсоюз. Включение прядильщиков в политику было не таким глубоким, как у шахтеров. Сосредоточенные в качестве избирателей в графстве Ланкашир, они до определенной степени контролировались своими работодателями (Jouse 1980) и оказывали лишь мягкое давление на обе партии через Объединенную ассоциацию трудящихся текстильных фабрик в отличие от радикальных йоркширских ткачей, которые организовали Независимую

рабочую партию (Independent Labour party (ILP) — предшественницу Лейбористской партии. Общенациональное наступление работодателей на рабочих по вопросу заработной платы опять же возглавляли ассоциации работодателей, реагировавшие на международную конкуренцию. Всеобщая забастовка рабочих хлопчатобумажной промышленности 1893 г. способствовала сближению рабочих разной квалификации. Эта забастовка привела к тому, что сокращение заработной платы уменьшилось с 10 до 3% и возникли общенациональные процедуры для решения трудовых диспутов без забастовок. Бруклендское соглашение установило формат согласительных переговоров в общенациональном масштабе.

Таким образом, в принципе под давлением интернациональных рыночных сил старые профсоюзы и более экстенсивные организации работодателей создали большее единство рабочих. Они были вынуждены это сделать даже для многих эксклюзивных профессиональных братств (цехов), так как альтернативой был упадок. Требования профсоюзов обычно были традиционными, хотя в некоторых секторах поднималась проблема деквалификации. Различия в квалификации и привилегии на рабочих местах можно было обойти с помощью расширения экономических сил, что приводило к большей классовой организованности как рабочих, так и работодателей. Сложившаяся ситуация подталкивала профсоюзы к более экстенсивной политической организации. Но политические результаты определялись в большей мере под воздействием различных, частично демократических вкраплений, чем под воздействием различий в производственном процессе.

Появление новых (производственных) профсоюзов обычно связывают с забастовками рабочих газовой промышленности и докеров в 1899 г. (Hobsbawm 1968: 158–178; Lovell 1985; Pollard 1985). Профсоюз рабочих газовой промышленности, возглавляемый Уиллом Торном, членом марксистской Социал-демократической федерации, секретарем в котором была Элеонора Маркс, дочь Карла Маркса, уже через четыре месяца после образования насчитывал в Лондоне 2 тыс. членов. Газовая промышленность росла за счет длительного рабочего дня и напряженного труда, который становился все более интенсивным, в то же время не деквалифицируясь, что, как отмечает Хобсбаум (Hobsbawm 1985: 18), происходило среди всех новых профсоюзов. Профсоюз требовал трехсменного рабочего дня взамен двухсменного, чтобы сократить рабочие часы до восьми. Ядро профсоюза составляли квалифицированные кочегары, которые проходили длительное обучение и которых было нелегко заменить случайными штрейкбрехерами. Лондонские газовые ком-

пании пошли на уступки без боя. Внутренний рынок труда сработал против своего создателя. Профсоюзы рабочих газовой промышленности после этого распространились по всей стране, часто с помощью СДФ. Их пример оказался заразительным. В августе 1889 г. в лондонских доках вспыхнул конфликт по поводу заработной платы. Массовые демонстрации рабочих, проходившие согласно закону, привлекли на свою сторону общественные симпатии и привели к вмешательству мэра Лондона и кардинала Мэннинга. Последовавший компромисс с работодателями стал триумфом профсоюза, и число его членов взлетело до 30 тыс. С помощью социалистических организаций новые тред-юнионы распространились по всей стране среди докеров, моряков, грузчиков, извозчиков, железнодорожных рабочих и различных групп в промышленном производстве, кирпичной промышленности, строительстве, среди «белых воротничков» и даже в сельском хозяйстве. К 1890 г. эти профсоюзы насчитывали в своих рядах более 350 тыс. человек.

Большинство из них не смогли удержать своих завоеваний. Самыми успешными были профсоюзы газовой промышленности, железнодорожников и «белых воротничков». Профсоюзы «белых воротничков» с 1901 г. опережали в темпах роста союзы работников ручного труда, рекрутируя в основном государственных служащих, особенно учителей (часто женщин) и почтовых работников. Клерки в торговле и промышленности были практически полностью неорганизованны, юнионисты в секторе торговли сосредоточились главным образом на кооперативном движении. Госслужащие продолжали доминировать в профсоюзах «белых воротничков» в XX в., потому что государство было к ним более благосклонно, чем частные работодатели (Vain 1970). Даже ограниченная партийная демократия принуждала государственных служащих к урегулированию конфликтов.

Старые профсоюзы железнодорожной отрасли уже давно ограничили распространение цеховых профсоюзов, но в 1889 г. у них неожиданно появился соперник — Всеобщий профсоюз работников железнодорожного транспорта (General Railway Workers Union), открытый для рабочих любой квалификации и агрессивно высмеивавший протекционизм: «Профсоюз продолжит сражаться, его не должны обременять какие-либо фонды помощи больным или пострадавшим от несчастных случаев». Всеобщий профсоюз фокусировал свои действия на продолжительности рабочего дня, вынуждая остальные цеховые профсоюзы следовать его примеру. Работодатели, подверженные давлению, отбивались от профсоюзов, в ответ они повысили соотношение расходов на рабочих к валовой выручке. Под их натиском Всеобщий профсоюз почти потерпел поражение, но в 1890-х гг.

один из старых цеховых профсоюзов встал на его сторону. Объединенное общество железнодорожных служащих (Amalgamated Society of Railway Servants) — предшественник нынешнего Национального профсоюза железнодорожников (National Union of Railwaymen) — стало новым тред-юнионом, открытым для рабочих всех квалификаций. Новый профсоюз успешно оживил старый. И вновь единство между рабочими разных квалификаций было достигнуто в области традиционно политизированного вопроса — длительности рабочего дня, чем в области каких-либо преобразований производственного процесса. Оживление привело к еще более экстенсивной классовой организации в пользу совместного регулирования трудовых отношений — к концу рассматриваемого периода правительство убедило работодателей пойти на это (Bagwell 1985).

Но большинство новых профсоюзов потерпело неудачу, либо быстро исчезая, либо медленно приходя в упадок, пока они не появились во время волны забастовок 1911–1914 гг., из которой вышли универсальные профсоюзы XX в. Начиная с 1891 г. работодатели координировали общенациональное наступление на права рабочих. Новые профсоюзы редко получали поддержку от старых профсоюзов. Хотя выдвигаемые ими требования вызывали сочувствие со стороны среднего класса, их поддержка социализма, напротив, отталкивала его. Когда разразилась рецессия 1893 г., локауты и сокращение персонала со стороны работодателей покончили с большинством новых профсоюзов. Пусть уже и не существующие, они все же восторжествовали. Что-то из их классового сознания теперь переняли и старые профсоюзы. Я выражу это в терминах своей модели (ЮТА).

1. Профсоюзы — нового и старого типа — искали более широкой солидарности, охватывающей рабочих всех квалификаций, чтобы сформировать один огромный профсоюз. Усилилась классовая (точнее общепроизводственная) *идентичность*, ослабив секционную, цеховую.
2. Профсоюзы мобилизовали агрессивную солидарность, чтобы воздействовать на работодателя и общественное мнение своей силой и целеустремленностью и уstrasить штрейкбрехеров. Отсутствие у предпринимателей полного контроля над наймом рабочей силы заставляло их обращаться к штрейкбрехерам, а члены профсоюзов отвечали на это насилием. Рабочие яростно и экстенсивно сопротивлялись своему классовому *оппоненту*, хотя в итоге стремились к мировому соглашению.
3. Расширение профсоюзов способствовало развитию классовой *тотальности*, хотя скорее экстенсивной, чем интенсив-



ной. Профсоюзы росли: увеличивалось количество служащих профсоюзов, работающих на условиях полной занятости; появились профсоюзные исполнительные органы, избираемые всеми членами союза, а не местными подразделениями; множились межпрофсоюзные объединения; росло число общенациональных соглашений по типу тех, которые были приняты в хлопчатобумажной промышленности. Британский конгресс тред-юнионов (Trade Union Congress, TUC) отправлял представителей в парламент и в правительственные комитеты (Martin 1980: 58–96). Усилилась вовлеченность профсоюзов в местную политическую жизнь. Подразделения профсоюзов, советы профсоюзов, рабочие политические комитеты, рабочие клубы, кооперативы, общества взаимопомощи, кассы взаимопомощи, клубы социалистов сотрудничали заметнее всего в выборах в школьные попечительские советы, в перманентном «рабочем сознании», сочетавшем мутуализм и реформизм (Thompson 1967; Crossick 1978: 245). Все это касалось в основном мужчин. Работа, семья и местное сообщество разделялись по половой принадлежности. Отнюдь не все в жизни профсоюзного активиста проистекало из его профессиональной идентичности. В этой жизни уже не было самоотверженного посвящения себя делу, характерному для чартиста, из-за всесторонней эксплуатации на работе, в семье и в жизни общины.

4. Если три первых элемента модели (ЮТА) ускоряли формирование класса, четвертый, напротив, замедлял его. Профсоюзы искали у государственных элит и партий помощи против работодателей, возобновляя межклассовые сегментарные союзы, характерные для современной партийной демократии в Британии. Государственные технократы и часть среднего класса симпатизировали профсоюзам. Вероятно, половина членов профсоюзов имели гражданские избирательные права, и две ведущие партии боролись за их голоса, чтобы оттеснить независимую партию лейбористов. Таким образом, требования профсоюзов были скомпрометированы языком кросс-классовой партийной демократии, уменьшая шансы *альтернативных* социалистических идей.

Развитие профсоюзов несло в себе внутреннее противоречие между социалистическим реформизмом и сегментарными союзами с инкорпорирующим их в политику либерализмом. В то время еще не существовало единого рабочего класса. Большинство рабочих, вступавших в профсоюзы, имели заработок, трудовые гарантии и профессиональные навыки выше

среднего уровня. Это были мужчины, вступившие в профсоюз, противопоставленные аутсайдерам мужского и женского пола. Но чувство единства и агрессия росли. Профсоюзы и забастовки опирались на более широкие массы, чем было принято среди квалифицированных рабочих, охватывая множество представителей различных квалификаций и профессий в рамках какой-либо отрасли или местного сообщества, чтобы добиться большего, чем «союзы местных монополий труда и предприятий, закрытых для чужаков» (Hobsbawm 1968: 179–203). Чтобы не потеряться в дебрях специфики отдельных профессий, отметим, что во всей национальной экономике существовал единый паттерн: практически все профсоюзы расширяли ряды своих членов и присоединялись к Британскому конгрессу тред-юнионов и партии лейбористов. В основном это произошло в два периода: 1889–1892 и 1911–1914 гг. (как это происходило во всех странах в то время, когда капитализм распространял свой рост, концентрацию и торговые циклы в странах Запада), и к 1914 г. уровень юнионизации в различных отраслях варьировался меньше, чем в начале рассматриваемого периода. Почти везде уровень юнионизации был выше черты так называемого 25%-го секционалистского уровня. Отныне профсоюзы были нормальным элементом производственных отношений. Все это впечатляет, если принять во внимание различия условий и производственных процессов в разных отраслях. Тем самым мы приходим к выводу, что подъем рабочего движения являлся в меньшей степени ответом на непосредственно производственный процесс, а в большей — следствием диффузных характеристик экономики и государства в целом.

Производственные отношения имели значение лишь в самом общем смысле. В экономике распространилось дихотомическое качественное различие между капиталом и трудом. Другие формы найма — надомный труд, субподряд, временные формы занятости — испытывали глубокий упадок, особенно среди мужчин. Первые две формы перешли к меньшинствам, третья была преимущественно женской, более нетипичной для любого неквалифицированного труда. Подавляющее большинство тех, кто был способен к коллективным действиям, будь он формально квалифицированным или нет, вступали в формальные отношения найма с владельцем-менеджером. Два класса в том смысле, который описывали Маркс и Энгельс, существовали в экстенсивной диффузной системе, признаваемой ими в качестве таковой. Взлеты и падения экономики, отношения между зарплатами, продолжительностью рабочего дня, издержками, ценами, спросом, предложением, производством, потреблением и конкуренцией как внутри страны, так и за ее пределами

вызывали единый оклик у обоих классов. Общенациональные забастовки и локауты, вмешательство государства и общенациональные соглашения стали обычным делом. В 1899 г. существовало лишь одно соглашение, распространявшееся на всю промышленность. К 1910 г. их было семь (Marks 1989: 86).

Идентичность класса предпринимателей также выросла под воздействием тех же сил. Скоординированное наступление работодателей на права рабочих, мобилизующее лишь гражданско-правовые и полицейские средства подавления, могло полагаться в основном на экономическую организацию — общенациональные локауты, общенациональную организацию труда штрейкбрехеров (под защитой закона и полиции), чтобы выстоять в длительных конфликтах без междоусобной конкуренции. Когда работодатели организовались в масштабах страны, у рабочих не осталось промежуточных пространств для маневра. В итоге предприниматели превзошли в организационном отношении секционизм ремесленников.

Но победа досталась работодателям дорогой ценой. Организационные способности рабочих возросли особенно заметно в четырех отраслях (машиностроительной промышленности, горнодобыче, на транспорте и государственной службе), теперь составлявших ядро рабочего движения. Включение ремесленников из отрасли машиностроения в промышленность сделало их лидерами, привычными к самоорганизации и использованию инструментов контроля над рынком труда. Большая фабрика, железнодорожные мастерские или шахта, существовавшие в местной общине одного класса, позволяли рабочим развивать коллективную солидарность без столкновения с их хозяином. Акционерное общество, особенно в горнодобыче, еще больше способствовало этому, приводя к существованию «изолированной массы» рабочих вне прямого контроля владельца, что Керр и Сигел (Kerr and Siegel 1954) в своем классическом труде обозначили как подъем классовой солидарности. Уникальная мобильность, характерная для транспортных рабочих, позволяла им организовывать контакты между территориально разбросанными рабочими различных отраслей — их вид деятельности прекрасно подходил для передачи идей между представителями рабочих масс в масштабах страны, а рабочим теперь приходилось осмысливать экономику в этих масштабах. Значение государственного найма предоставляло еще больше свободы для маневра: рабочие огромных верфей или маленького почтового офиса либо школы взаимодействовали не с хозяином, а с более обезличенной администрацией, ответственной перед разбитыми на фракции политическими хозяевами и часто принуждаемыми к мировому соглашению. Обе

стороны вели борьбу на одной площадке — территории национального государства, сталкиваясь с новейшими видами власти, не уверенные в будущем и не определившиеся в своих экономических стратегиях.

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РАБОЧИХ И РЕЖИМА

Чтобы бороться за свои интересы, «совокупный рабочий» (мужского пола) был вынужден заниматься политикой, где он сталкивался с уже существовавшими кристаллизациями государства. Некоторые политические традиции возникли именно в этот период. Рабочие могли оставаться «в объятиях» политэкономии либералов или патернализма консерваторов (многие остаются по сей день), но большинство глав домохозяйств были допущены к партийной демократии на выборах в городах в 1867 г. вместе с сельскохозяйственными рабочими с постоянным местом жительства в графствах в 1884 г. Теперь 66% взрослых мужчин имели право голоса, включая до 40% мужчин — работников физического труда (хотя многие из них не допускались к голосованию с помощью необъективных процедур регистрации). Рабочие, как представляется, составляли до половины электората. С упадком партикуляристских рычагов управления изменилась и политика партий. Избирательное право росло секционально по имущественному критерию, по мере того как партии конкурировали за поддержку рабочих. Закон об избирательном праве 1867 г. был принят тори, а закон 1884 г. — либералами. В некоторых регионах (Престон) тори шли навстречу экономизму и мутуализму рабочих (Savage 1987: 134–161), в большинстве регионов (например, в Лондоне) это делали либералы (P. Thompson 1967). Разделение партий по вопросу тарифов усиливало межклассовые секторальные альянсы. В машиностроении Бирмингема поддерживали протекционизм, в Ланкашире — свободную торговлю в сфере хлопчатобумажной промышленности.

Растущий охват государством гражданской жизни приводил ко все большему значению партийной демократии для общенациональной регионально-религиозной кристаллизации, которая теперь фокусировалась на контроле за массовым образованием. Сторонники англиканской церкви и английские рабочие держались линии консервативной партии, нонконформисты и кельты придерживались линии «либ-лаб». Вне самой Ирландии это обеспечивало верность общенациональной партийной демократии со стороны большинства местных (а потенциально и общенациональных) «диссидентов». Обе массовые партии

в итоге институционализировали преимущественно централизованное решение национального вопроса. Великобритания теперь была завершённой нацией-государством (в терминах табл. 3.3) по крайней мере в том, что касалось метрополии. Растущее число гражданских функций приводило к росту государственных служащих, что способствовало сравнительно централизованному образованию профсоюзов и достижению соглашений между рабочими и работодателями на протяжении всего XX в. Мэрии городов под давлением избирателей из местных советов профсоюзов принимали ставки заработной платы для муниципальных служащих. В 1891 г. принятая правительством консерваторов резолюция о справедливых заработках гласила, что контракты центрального правительства страны должны выполняться по расценкам, одобренным профсоюзами. Правительственные служащие были активными посредниками, особенно в Министерстве торговли (Board of Trade). К 1904 г. министерство, опираясь на закон об арбитраже и примирительных процедурах 1896 г., создало в отрасли 162 совместные комиссии по урегулированию. С 1909 г. законотворчество либералов было расширено. Биржи труда распространили степень согласований этих комиссий с профсоюзами, а закон 1911 г. об охране здоровья и страховании от безработицы ввел протекционистское ядро профсоюзов в государственную администрацию (Davidson 1972). Мир укрепило включение представителей профсоюзов в политику национального уровня — централизованные реформы в обмен на ответственность содействовали заключению мира в трудовых отношениях.

Тем не менее инкорпорирование существующими партиями приостановилось в 1890-х гг. и профсоюзные активисты стали проявлять все больше нетерпения. В 1899 г. съезд Британского конгресса тред-юнионов большинством голосов постановил поддержать независимую Лейбористскую партию. Комитет представителей труда (The Labour Representation Committee), основанный в следующем году, практически не вел никакой политики, кроме «возвращения членов профсоюзов в парламент», и не имел никакой организационной структуры, кроме самих профсоюзов. Но после выхода вердикта по делу Тафф-Вейльской железнодорожной компании в 1901 г. он столкнулся с серьёзной проблемой. При консервативном правительстве «закона и порядка» суды могли возлагать на профсоюзы ответственность за любой ущерб, причиненный отдельными бастующими рабочими, — еще одно выражение буржуазно-индивидуалистической концепции гражданских прав. Дальнейшие действия судов, поддержанные правительством консерваторов, сделали эту юридическую угрозу очень серьёзной. Тред-юнионизм тори

быстро сошел на нет, а число членов Комитета представителей труда в партии лейбористов более чем удвоилось за два года. Консерваторы стали практически партией одного класса. Рабочие, особенно англикане и представители южных и центральных регионов Англии, все еще могли голосовать за них, но уже не как рабочие. Попыткам консерваторов инкорпорировать организованный труд пришел конец, даже если их сегментарные регуляторы оставались эффективными в небольших городках и сельских регионах.

Но на это отреагировала Либеральная партия. Левое крыло партии — новые либералы предложили мутуалистские гарантии прав на организацию и социальные реформы: борьбу с нищетой, повышение образования и другое социальное обеспечение. Морально-идеологическая кристаллизация британского государства теперь тесно переплеталась с либеральным нонконформизмом. Социальные опросы Бута показали либеральное и религиозное негодование по вопросам нищеты и безработицы, которые все больше воспринимались как структурные проблемы, а не как проблемы, виной которым были сами бедняки и безработные. Либеральные моральные симпатии мобилизовывались журналистами и профессиональными интеллектуалами, редко бизнесменами (Ему 1973: 53). Сам Бут называл эту программу ограниченным социализмом. Она была весьма мутуалистична и во время премьерства Ллойд Джорджа достигла ощутимых результатов как предложенная им в 1911 г. схема здравоохранения и страхования от безработицы, так и поворот от косвенного регрессивного к более прогрессивному прямому налогообложению. Государство бралось перераспределять и поощрять взаимопомощь рабочих через структуру регулируемого государством страхования. Оно охватывало лишь рабочих крупных компаний, но еще более сближало государство, большинство профсоюзов, крупных работодателей и частные страховые компании. Это была первая подлинная в XX в. реформа, которая затем прижилась во всех странах. Ее источником в меньшей степени был труд, а в большей — межклассовая партия, стремившаяся объединить рабочих, средний класс и в какой-то степени регионы и религию.

И все же Либеральная партия не была идеальным инструментом для продвижения реформизма. Обе крупные партии унаследовали интересы «старого режима»: тори были (в широком смысле) партией англиканской церкви, сельского хозяйства и коммерческого капитала, а либералы — партией нонконформистов и промышленности. Тори преобладали в Англии, особенно южной, либералы — в Северной Англии и в кельтских регионах (за исключением Ирландии). В этом смысле обе партии

были межклассовыми, включавшими как капиталистов, так и рабочих. Несмотря на то что в этот период многие работодатели перешли на сторону консерваторов, либералами были многие промышленники и профсоюзы (потому что промышленность относилась к северной, кельтской части страны). Во времена подъема конфронтации в промышленности это вызвало появление фракций внутри партии. Партийные лидеры, за исключением Ллойд Джорджа, уводили партийную линию от общей социальной стратегии, так как это могло вызвать раскол в партии. Альтернатива общего реформизма не приживалась в новом либерализме, хотя какие-то реформы и проходили. Для местных партий подобные маневры были затруднительными. Все рабочие движения выдвигали в качестве ключевого требование политического гражданства — на практике избрание рабочих, должностных лиц профсоюзов на политические должности. В Британии оно подпитывалось сильным чувством классовой идентичности активистов. Фактически британское рабочее движение занималось скорее персоналом и средствами, чем альтернативными решениями. Оно выдвигало три основных требования: всеобщее избирательное право (хотя это движение, где доминировали мужчины, оказывало в реальности мало помощи женщинам-суффражисткам), коллективные гражданские права для профсоюзов и избрание профсоюзных служащих на государственные должности. И либералам приходилось уступать этим требованиям, чтобы инкорпорировать рабочее движение.

Обретение государством новых инфраструктурных видов власти ознаменовало конец эпохи, когда политика не касалась жизни простых людей. Поскольку государства теперь было не избежать, лучшей стратегией становилось участие в контроле над его разнообразными доходами и расходами, влияющими на многие сферы общественной жизни. Избирательное право теперь было желаемой целью, как великий символ гражданства, что уяснили во всех странах как рабочие, так и феминистки. Но уже миновали и те десятилетия, когда рабочие подвергались основательной политической эксплуатации. Налоговое бремя и закон о бедных ослабили свой гнет, представители рабочего класса участвовали в местном самоуправлении, а половина рабочих — в выборах. Теперь рабочее движение хотело избирательных прав для всех рабочих. Либералы на словах не возражали, хотя на практике упирались (их оговорки в политической сфере были аналогичны личным оговоркам самих рабочих-мужчин, то есть касались избирательного права для женщин). Если бы не война, либералы уже вскоре расширили бы охват избирательного права. Также либералы воспользовались своими политическими возможностями в области коллективных гражданских прав для профсою-

зов. Признавая тот факт, что профсоюзные лидеры очень озабочены этим вопросом, либералы, как только вернулись к власти, приняли в 1906 г. закон о трудовых спорах (Trade Disputes Act) в качестве юридической защиты от Тафф-Вейльского прецедента. Профсоюзы тем самым обрели полные права на коллективную организацию, покончившую (до периода премьерства Маргарет Тэтчер) с главным камнем преткновения в мутуализме, который теперь был наконец институционализирован в рамках традиции «либ-лаб». Случись это в 1820 г., рабочие, вероятно, даже не потребовали бы себе избирательного права. Но история чартизма и позднейшей борьбы за партийную демократию, подкрепленная расширением сферы вмешательства государства в гражданскую жизнь общества, сделала центральным вопрос об избирательном праве в классовой политике.

Реальной проблемой стал выбор кандидатов от Либеральной партии. Что было толку в избирательном праве, если выбирать приходилось между кандидатами-бизнесменами или кандидатами-юристами? Именно в тех промышленных регионах, где кандидаты от либералов могли одержать победу на выборах, активисты партии были наиболее разделены по классовому признаку. В западных областях Йоркшира, например, в партии заправляли именно промышленные магнаты, а вовсе не новые либералы, а кандидатуры от рабочего класса не допускались на выборы (Emy 1973: 289; Laybourn and Reynolds 1984). Даже самые умеренные профсоюзные активисты осознавали, что их не подпускают к реальной власти в партии, которая, как предполагалось, должна была быть «ИХ» (в оригинале с прописной. — *Примеч. пер.*) партией. Хотя инкорпорирующий либерализм и предлагал принципы мутуализма и политических реформ, в нем отсутствовал дух товарищества. Его радикальными представителями были рационалисты-технократы, чувствовавшие себя неуютно перед массовым избирателем, озадаченные отсутствием выраженной политики у либералов одновременно с наличием коллективной солидарности. Партия либералов была партией знати, а не общественным движением, и в этом была ее главная слабость.

Социализм, напротив, предлагал товарищество — когерентное, эмоциональное и объединяющее, которое управляло жизнью рабочих и придавало ей смысл. Лейборизм помимо прочего был партией классовой идентичности. Его лидеры — бывшие рабочие. В нем не было индивидуального членства — лишь коллективное членство профсоюзов. Многие рабочие активисты теперь ощущали классовые противоречия, сталкиваясь с координированным наступлением работодателей на свои права, которое поддерживали постановления суда о незаконности дей-



ствий профсоюзов, находясь под угрозой безработицы и циклических колебаний экономики и испытывая патронаж либералов. Британский социализм возник из популизма и радикального нонконформизма, но вобрал в себя и осознание новой экономической системы. Он в широком смысле, по-марксистски истолковал изначально мелкобуржуазную трудовую теорию стоимости и братства мужской части рабочего класса с концепцией тотальности общества. Британские социалисты — от Хиндмана, ученика Маркса, эклектичных Тома Манна и Вильяма Морриса до прагматичного Джеймса Кейра Харди, первого лидера партии лейбористов, — разделяли общее убеждение, что материальные и духовные беды рабочих есть результат действия законов капиталистической экономики, с которой нужно бороться в целом. Вторая промышленная революция повысила однородность класса. Социалистическая идеология и товарищество могли бы в буквальном смысле углубить осознание этого. Том Джонс вспоминал жизнь в Южном Уэльсе в 1880–1890 гг.:

Это было время крестового похода социализма, который пронесся по долинам, словно новая религия, и молодые люди спрашивали друг друга: «Ты социалист?» так, как члены Армии спасения спрашивают: «А ты спасен?» В течение жизни одного поколения мировоззрение шахтеров изменилось.

Джойс пронизательно отмечал:

Социализм, пожалуй, наиболее эффективно работал не как набор идеологических принципов, а как сила, разрушающая старые представления, на которые десятилетиями опирались патернализм и пietet. Социализм опрокидывал господство работодателя, проникая сквозь рутину жизни фабричного сообщества. Это было отрицание ограничений в мировоззрении людей, от которых в значительной мере зависел патернализм [Joyce 1980: 229, 335].

Теперь рабочие организовывались в том же общенациональном масштабе, что и работодатели, и могли использовать системную идеологию, чтобы осознать это. Экономика, работодатели, враждебные суды и расширяющийся контроль правительства подталкивали рабочее движение к национальному государству.

Но какова была бы их альтернатива? В этом вопросе социализм терпел поражение, и рабочее движение дрейфовало обратно к либерализму с мутуалистскими тонами. У большинства рабочих лидеров до 1914 г. отсутствовала даже реформистская альтернатива. Практически не обсуждалось, что именно следует сказать рабочему, когда он попадет в парламент. Как писал гражданский служащий о своих переговорах с лидерами профсоюзов о законе 1911 г. по общенациональному страхованию,

«они не говорят от имени своих людей, не знают, чего они хотят, и не могут обязать их подчиняться. Довольно трудно иметь дело с такими людьми» (Moore 1978: 113). Не существовало общего политического проекта, редкими были даже широкие принципиальные обсуждения. Лейбористы и Конгресс тред-юнионов боролись скорее за мутуализм и средства, чем за цели реформ. Выражалась заинтересованность в прямом налогообложении (вместо непрямого) и в действиях общества по смягчению безработицы, но не выдвигалось никаких реальных программ. Профсоюзы, к удивлению радикальных либералов, предпочитали волонтаристские коллективные сделки по условиям труда вмешательству государства (Emsw 1973: 264, 293–294). Как и в большинстве других стран, рабочее движение почти не интересовалось законодательством по социальному обеспечению. Рабочие не доверяли государству, так как действия последнего чаще приносили им вред, а не пользу.

Более того, на рабочее движение по-прежнему влиял национальный вопрос, хотя теперь *в рамках* централизованной партийной демократии. Новое индустриальное ядро экономики (а следовательно, и ядро рабочего класса), было сконцентрировано в Шотландии, Уэльсе и на севере Англии — в регионах, с подозрением относившихся к власти капитала. Это переплеталось с недоверием рабочих-нонконформистов по отношению к государственной англиканской церкви. До Второй мировой войны рабочее движение не могло идентифицировать себя полностью с англо-британской нацией-государством. До того времени государство выглядело идеологически относящимся к консерваторам, и его было предпочтительнее избегать (Pelling 1968: 1–18; Несло 1974: 89–90; Cronin 1988, но Brown 1971 не разделяет эту точку зрения).

Тем не менее, когда были созданы схемы социального обеспечения, в их управлении участвовали и профсоюзы (Marks 1989: 105–106). Это участие особенно выросло во время Первой мировой войны. Рабочее движение споткнулось на использовании государства для реформ, и либеральное инкорпорирование в итоге вылилось в реформаторский социализм, который сработал двумя рывками во время мировых войн.

Расхождения между марксистами, социал-демократами и мутуалистами отражали двойственную идентичность рабочих и рабочего движения в гражданском обществе и национальном государстве. Было ли рабочее движение частью гражданского общества или нет? После изменений в законодательстве 1867 и 1884 гг. многие рабочие получили избирательное право. Шахтеры могли даже выдвинуть собственных членов парламента, остальные, кто имел сильные позиции на местном уровне,

могли оказывать на парламентариев влияние. Многие профсоюзные активисты прошли в местное самоуправление и школьные комитеты. Коллективное гражданство профсоюзов было явно достигнуто, но находилось под постоянной угрозой, исходящей от судей. Государство признавало профсоюзы с большей готовностью, чем работодатели и даже политики. Но это идущее на соглашение государство не было для рабочих *их* государством, государством подлинного национального гражданства, что проявлялось в ограниченности избирательных прав, судебной практике и англиканском истеблишменте Лондона. Лидеры рабочего движения, как бы ни были осторожны, чувствовали, что их не подпускают к центральным органам власти королевства.

Для всех, кроме закаленных революционеров или «либ-лаб» лоялистов, было трудно решить, какую концепцию может породить их двусмысленная позиция. Различия в рабочей среде, частичная инкорпорированность и неполные гражданские права делали синдикализм, а тем более марксизм невозможным. Лишь в 1913–1914 гг. во время растущей конфронтации в промышленности, когда либеральная и лейбористская политика не могла добиться уступок от государства (политики были слишком заняты ирландским вопросом), синдикализм смог сплотиться. Около 2 тыс. синдикалистских активистов повлияли на волну общенациональных забастовок и образование более широких отраслевых профсоюзов. Но по мере включения их в систему поддерживаемых государством коллективных сделок новые профсоюзы становились похожими на другие. Таким образом, практическая активность потушила кратковременную вспышку британского синдикализма (Holton 1976: 210; Hinton 1983: 90–93). Слишком многие рабочие, ранее не состоявшие в профсоюзах, «бастовали скорее за рычаги власти для профсоюзов, чем против» (Hunan 1985: 262).

Коллективные сделки символизировали прогресс рабочего класса, но и тушили огонь классовой ненависти к оппоненту. Стедман-Джонс пишет (и я это подтверждаю в главе 15), что сколь бы агрессивным ни был новый тред-юнионизм, он «не воспринимал государство как живую машину принуждения, эксплуатации и коррупции, как в период 1790–1850 гг.». Теперь государство, считает он, воспринималось как нейтральный агент для достижения желаемых целей (Stedman-Jones 1974: 479). И это было в целом верное мнение: государство стало менее принуждающим, менее коррумпированным, к тому же его эксплуатация распространялась не на все сферы жизни рабочих.

В рабочей среде шли бесконечные споры, оставаться сторонниками союза «либ-лаб» или продвигать лейбористов. Это был

лишь вопрос тактики. Прорыв лейбористов в парламент произошел на выборах 1906 г. (полагаюсь на McKibbin 1974). 29 членов парламента были избраны от Комитета представителей труда (все рабочие или профсоюзные работники) — разительный контраст с остальными членами палаты общин. Но 24 из 29 были избраны в результате союза с либералами. Лидеры лейбористов верили, что, если они продолжат оказывать политическое давление, либералы предоставят всеобщее избирательное право. В условиях ограниченного избирательного права такой союз приносил обеим партиям реальные, но ограниченные достижения. Конкуренция между партиями привела бы к уверенной победе консерваторов. По итогам двух выборов 1910 г. лейбористы получили 40, затем 42 места в парламенте, в то время как от либералов прошел лишь один кандидат. В 1910–1914 гг. лейбористы увеличили свою долю в голосовании, но не выиграли ни одних дополнительных выборов. Лейбористы по-прежнему почти полностью зависели от профсоюзов, но профсоюзы лишь предоставляли большинство своих членов в поддержку политической мобилизации. Либералы удерживали места в шахтерских регионах благодаря этому союзу, но их низовая активность снижалась в промышленных регионах.

Хинтон (Hinton 1983: 80–81) убежден, что, если бы не Первая мировая война, союз либералов и лейбористов распался бы под влиянием антипатий активистов с последующей электральной катастрофой для обеих партий и воссоединением центристов-либералов с лейбористами и образованием подлинно социалистической партии, благодаря которой трехпартийная демократия просуществовала бы гораздо дольше. МакКиббин (McKibbin 1990), в свою очередь, полагает, что либералы к тому времени уже теряли голоса рабочих и распространение избирательного права усугубило бы их кризис, приведя к возврату двухпартийной системы (консерваторов и лейбористов). Однако распространение избирательного права произошло бы за счет бедноты и женщин, почти не включенных в профсоюзы и поэтому, вероятно, менее склонных поддерживать лейбористов. Так что трехпартийная демократия могла продолжить свое существование.

Но война смешала планы. С 1920 г. лейбористы выходят на выборы сами по себе, опираясь на значительно увеличившийся электорат. Либеральная партия к этому времени развалилась частично из-за внутриклассовых раздоров, частично из-за фракционизма Ллойд Джорджа и Асквита. Будь лидеры либералов более проницательными, все могло бы быть иначе. Активисты лейбористов и классово-сознательные рабочие хотели собственных парламентариев, а либералы не предоставили их.

Британское рабочее движение испытывало влияние других сил: к общенациональной организации его подталкивали юридические репрессии со стороны государства, расширение объема гражданских функций государства и агрессия работодателей. Если это было возможно, рабочие кооперировались с обеими партиями, чтобы юридически закрепить мутуализм и инкорпорирование в политику. В последующем консерваторы стали партией класса, враждебного рабочим, а либералы оттолкнули рабочих безразличием активистов и дразгами лидеров. Рабочее движение было вовлечено в создание государства всеобщего благоденствия административными приемами либералов и правительства военного времени. Уже после рассматриваемого нами периода его избирательные программы были адаптированы к непредвиденным последствиям тотальной войны и всеобщего избирательного права сначала для мужчин, а потом и для женщин, а также изобретена программа этатистской социал-демократии. Классовая политика продолжалась, но уже в неявном виде.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия, которую британское рабочее движение осознанно выбрало или к которой оно непроизвольно дрейфовало, определялась четырьмя основными детерминантами.

1. «Совокупный рабочий» частично возник во время второй промышленной революции, как утверждает теория Маркса. В экономике это было в меньшей степени связано с трансформацией трудового процесса на этапе производства, а в большей — с появлением тотальной диффузной экономики. Капиталисты испытывали эту тотальность как международную, но реагировали на нее организованной классовой агрессией против рабочих в национальном масштабе. В ответ сформировался более общенациональный рабочий класс, который возглавляли квалифицированные рабочие с частично секционными интересами и который был организован в сегментарные внутренние рынки труда. В Великобритании профсоюзы возникли как классовые акторы, хотя они все еще преследовали секционные и сегментарные цели. Двойственность взаимоотношений экономических сил не разрешалась сама по себе.
2. Растущее рабочее движение оставалось мужским, и его внутреннее ощущение эксплуатации сужалось по мере того, как поляризация отношений занятости отделялась от более

комплексных тенденций в жизни семьи и сообществ. Класс хотя и становился более экстенсивным, по всей видимости, был менее интенсивным.

3. Будучи общенациональной и политической, по-прежнему двойственной, но мужской по составу, классовая борьба в целом «разрешилась» политическими кристаллизациями в стране, в первую очередь межклассовой партийной демократией, национальным вопросом и частично «огражданствлением» (civilianization) государства. Эти процессы ограничили репрессии как со стороны капиталистов и правящего режима, так и со стороны их двойника — революционного социализма, ограничив секторные и региональные вариации классовых стратегий и поспособствовав централизованной институционализации классового конфликта. Национальное смягчение остроты конфликтов могло бы преобладать вплоть до какой-нибудь крупномасштабной катастрофы, например поражения в войне.
4. Конкретная форма общенационального смягчения конфликтов в трудовых отношениях к 1914 г. еще не определилась, хотя множество вариантов уже сузилось. Преобладал мутуализм с либеральными и реформистскими оттенками, выраженный в одной-двух альтернативных политических программах либо от либералов, либо от автономной партии лейбористов.

Картина параметров классовой борьбы в Британии в целом уже сложилась в 1914 г. в результате взаимодействия между направляемой капиталистами второй промышленной революцией, которая произвела экстенсивное, политическое и одновременно неопределенное рабочее движение, с одной стороны, и частично демократичными, гражданскими и общенациональными политическими кристаллизациями, которые решали большую часть этой неопределенности, — с другой. И все же я не затронул одну важную особенность британской истории, которая касалась уникального отсутствия аграрных классов по крайней мере в имеющих значение масштабах.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Ashworth, W. (1960). *An Economic History of England, 1870–1939*. London: Methuen & Co.
- Bagwell, P. (1985). The new unionism in Britain: the railway industry. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Bain, G. (1970). *White Collar Trade Unionism*. Oxford: Clarendon Press.
- Bain, G., and R. Price. (1980). *Profiles of Union Growth*. Oxford: Blackwell.

- Baines, D. E. (1981). The labour supply and the labour market, 1860–1914. In *The Economic History of Britain Since 1700*, Vol. 2, ed. R. Floud and D. McCloskey. Cambridge: Cambridge University Press.
- Braverman, H. (1974). *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. New York: Monthly Review Press.
- Brown, K. D. (1971). *Labour and Unemployment, 1900–1914*. Newton Abbott: David & Charles.
- Burawoy, M. (1979). *Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism*. Chicago: University of Chicago Press.
- Burgess, K. (1985). New unionism for old? The Amalgamated Society for Engineers in Britain. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Clegg, H. A. et al. (1964). *A History of British Trade Unions Since 1889*, Vol. 1. Oxford: Clarendon Press.
- Cronin, J. (1979). *Industrial Conflict in Modern Britain*. London: Croom Helm.
- . (1982). Strikes, 1870–1914. In *A History of British Industrial Relations, 1875–1914*, ed. C. Wrigley et al. Brighton: Harvester.
- . (1988). The British state and the structure of political opportunity. *Journal of British Studies* 27.
- Crossick, G. (1978). *An Artisan Elite in Victorian Society*. London: Croom Helm.
- Davidoff, L. (1990). The family in Britain. In *The Cambridge Social History of Britain, 1750–1950*. Vol. 2: *People and Their Environment*, ed. F. M. L. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davidson, R. (1972). Government administration. In *A History of British Industrial Relations, 1875–1914*, ed. C. Wrigley et al. Brighton: Harvester.
- Deane, P., and W.A. Cole (1969). *British Economic Growth, 1688–1959*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Emy, H. V. (1973). *Liberals, Radicals and Social Politics, 1892–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Feinstein, C. (1976). *Statistical Tables of National Income, Expenditure and Output of the United Kingdom, 1855–1965*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedmann, A. (1977). *Industry and Labour: Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism*. London: Macmillan.
- Gray, R. Q. (1976). *The Labour Aristocracy in Victorian Edinburgh*. Oxford: Clarendon Press.
- Hargreaves, J. (1986). *Sport, Power and Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Hart, N. (1989). Gender and the rise and fall of class politics. *New Left Review*, No. 175.
- . (1991). Female vitality and the history of human health. Paper presented to the Third Congress of the European Society for Medical Sociology, Marburg.
- Hecló, H. (1974). *Modern Social Politics in Britain and Sweden*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Hill, S. (1981). *Competition and Control at Work: The New Industrial Sociology*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Hinton, J. (1983). *Labour and Socialism*. Sussex: Wheatsheaf.
- Hobsbawm, E. J. (1968). *Labouring Men. Studies in the History of Labour*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Holton, R. (1976). *British Syndicalism, 1900–1914*. London: Pluto Press.
- . (1985). Revolutionary syndicalism and the British labour movement. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Hunt, E. H. (1981). *British Labour History, 1815–1914*. London: Heinemann.
- Hyman, R. (1985). Mass organization and militancy in Britain: contrasts and continuities. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Joyce, P. (1980). *Work, Society and Politics: The Culture of the Factory in Later Victorian England*. Brighton: Harvester.

- . (1989). Work. In *The Cambridge Social History of Britain, 1750–1950*. Vol. 2: People and Their Environment, ed. F. M. L. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kerr, C., and A. Siegel. (1954). The inter-industry propensity to strike: an international comparison. In *Industrial Conflict*, ed. Kornhauser et al. New York: McGraw-Hill.
- Lash, S., and J. Urry. (1987). *The End of Organized Capitalism*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Laybourn, K., and J. Reynolds (1984). *Liberalism and the Rise of Labour, 1890–1918*. London: Croom Helm.
- Lovell, J. (1985). The significance of the great dock strike of 1889 in British labour history. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- McKibbin, R. (1974). *The Evolution of the Labour Party, 1910–1924*. Oxford: Oxford University Press.
- . (1990). Why was there no Marxism in Great Britain? In his *Ideologies of Class. Social Relations in Britain, 1980–1950*. Oxford: Clarendon Press.
- Marks, G. (1989). *Unions in Politics: Britain, Germany and the United States in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Martin, R. (1980). *T.U.C.: The Growth of a Pressure Group, 1868–1976*. Oxford: Clarendon Press.
- Moore, R. (1978). *The Emergence of the Labour Party, 1880–1924*. London: Hodder & Stoughton.
- More C. (1980). *Skill and the English Working Class, 1870–1914*. London: Croom Helm.
- Musson, A. E. (1978). *The Growth of British Industry*. London: Batsford.
- Payne, P. L. (1967). The emergence of the large scale company in Great Britain. *Economic History Review*, 2nd ser., 20.
- Pelling, H. (1963). *A History of British Trade Unionism*. London: Macmillan.
- . (1968). *Popular Politics and Society in Late Victorian Britain*. London: Macmillan.
- Penn, R. (1985). *Skilled Workers in the Class Structure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pollard, S. (1985). The new unionism in Britain: its economic background. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Price, R. (1983). The labour process and labour history. *Social History* 8.
- . (1985). The new unionism and the labour process. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/ Allen & Unwin.
- Savage, M. (1987). *The Dynamics of Working-Class Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shaw, C. (1983). The large manufacturing employers of 1907. *Business History* 25.
- Stedman-Jones, G. (1974). Working-class culture and working-class politics in London: 1870–1900. Notes on the remaking of a working class. *Journal of Social History* 7.
- Stone, L. (1969). Literacy and education in England, 1640–1900. *Past and Present* 42.
- Taylor, A. J. (1968). The coal industry. In *The Development of British Industry and Foreign Competition, 1875–1914*, ed. D. H. Aldcroft. London: Allen & Unwin.
- Thane, P. (1981). Social history, 1860–1914. In *The Economic History of Britain Since 1700*, Vol. 2, ed. R. Floud and D. McCloskey. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, F. M. L. (1988). *The Rise of Respectable Society: A Social History of Victorian Britain, 1830–1900*. London: Fontana.
- Thompson, P. (1967). *Socialists, Liberals and Labour: The Struggle for London, 1885–1914*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Webb, S., and B. Webb. (1926). *History of Trade Unionism*. London: Longman Group.



## ГЛАВА 18

# Классовая борьба во время второй промышленной революции, 1880–1914 годы

### II. Сравнительный анализ рабочих движений

#### ТЕОРИЯ

**В**ТОРАЯ промышленная революция принесла Западу национально интегрированные экономики, ужесточившуюся международную конкуренцию и коммерциализацию сельского хозяйства. Каждой стране она принесла концентрацию капитала, технические науки, развитие металлургической и химической отраслей, горнодобычи, транспорта и корпораций. В каждой стране это привело к расширению и концентрации городского промышленного труда, что вызвало давление со стороны работодателей по вопросам размера зарплаты, продолжительности рабочего дня, а также деквалификации ремесленников. Эта промышленная революция проходила поразительно сходным образом во всех странах, и рабочие реагировали на нее одинаковыми, хотя и неоднозначными коллективными организациями.

В главе рассматривается возникший в результате этого конфликт между капиталистами и рабочими в нескольких странах. Я фокусируюсь на объяснении интересной характеристики этого конфликта: как столь явные экономические сходства между странами породили такие различные идеологии рабочего класса (все шесть их типов описаны в главе 15) и чем закончилась классовая борьба в разных странах. Россия была на пути к революции, Германия, как казалось, на ином, квазиреволюционном пути, Британия — на пути развития мягкого мутуализма, США — на пути секционизма, в основном лишенного социалистических черт, а Франция все еще не сделала свой выбор, увязнув в дебатах по поводу различных рабочих идеологий. В главе 19 аналогично описываются сражения в сельском хозяйстве в рамках этого периода. В обеих главах используется сравнительный метод, принимающий национальные государства в качестве независимых кейсов. Я оставляю в стороне несравнимые

аспекты рабочих движений — взаимодействие между транснациональными, национальными и националистическими организациями — до главы 21. Классовые конфликты в этот период я объясняю в терминах взаимодействия между по сути схожими промышленными и аграрными составляющими экономик и разнообразием, обусловленным в первую очередь политическими кристаллизациями, а во вторую — структурой сообществ рабочего класса. Это подкрепляет одно из самых широких обобщений данного тома: общество модерна все более структурировалось переплетением различных организаций экономической и политической власти.

Как показано в главе 17 на примере Великобритании, вторая промышленная революция форсировала появление трех конкурирующих типов организации рабочих: классовых, секционных и сегментарных организаций. Так как все они развивались одновременно, развитие каждой тормозило развитие других, отношения «капиталист — рабочий» были весьма неоднозначными, не следующими единой логике развития. Борьба за гражданские права породила различные решения еще за 50–100 лет до того, как в нее вступили организации рабочего класса. Как полагает Роккан (Rokkan (1970: 102–113)), борьба между трудом и капиталом была последним из четырех главных расколов модернизирующегося Запада после борьбы централизованного государства и периферийного регионализма, государства и церкви, старых режимов землевладельцев и зарождающейся промышленной буржуазии. Я должен добавить, что государство долго было преимущественно военным. Таким образом, современные государства кристаллизовались на представительском и национальном вопросах, а также вопросе «гражданское — военное» задолго до появления рабочего класса. В то время как капиталисты и рабочие в западных странах схожим образом и одинаково не однозначно реагировали на изменения в сфере производства, политическая борьба рабочих заметно отличалась из-за влияния вышеупомянутых кристаллизаций.

За сложными экономико-политическими переплетениями лежала единая всеобщая тенденция: там, где государства поощряли партийно-демократическое инкорпорирование хотя бы части рабочих, их политические требования можно было отделить от экономических. В этом контексте классовые, секционные и сегментарные организации рабочих развивались бок о бок и два последних вида подрывали потенциальное классовое единство. Поэтому социалистические идеологии в этих странах были мягче и в большей мере затрагивали экономику, максимум до мутуализма или синдикализма, пусть иногда революционную по замыслу, но лишённую классового единства для рево-

люционных преобразований. Только там, где правящий режим не шел на партийно-демократические уступки рабочим, секционизм и сегментаризм могли быть преодолены в пользу развития классового единства. Лишь эта черта политики режима могла привести к агрессивному реформизму и даже к революции.

Этот аргумент не нов. У Ленина в его знаменитой декларации 1902 г. читаем: «История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское»<sup>1</sup>.

Под тред-юнионистским сознанием Ленин имел в виду не только экономизм, так как узкие интересы профсоюзов также требовали мутуалистского законодательства, гарантировавшего свободу организации общественных объединений. Ленин утверждал, что дальнейшие элементы социализма привносились в борьбу рабочего класса извне «образованными представителями имущих классов, интеллигенцией... совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения».

Ленин был отчасти прав. Ключевые тезисы марксизма — упор на производственные отношения, процесс труда и извлечение прибавочной стоимости — недостаточны для объяснения появления идей социализма в рабочем классе. Собственный экономический опыт рабочих был недостаточен для формирования революционного социализма, даже для реформизма, и приводил к агитации скорее секционной, чем классовой (ср. Marks 1989: 15). Но вторая часть высказывания относительно того, что социализм должен быть привнесен извне интеллигенцией, некорректен (как сам Ленин признал в другой своей работе). Рабочие классы, как и интеллигенция, порождали социализм лишь тогда, когда их разноплановый производственный опыт сливался под гнетом политической эксплуатации.

Я также заимствую идеи более современных авторов: Ватноу (Wuthnow 1989: part III) подчеркнул различные формы влияния государства на социализм в этот период, хотя и не выводит из общей теории. Липсет утверждал, что партийная демократия рассеивает социализм рабочего класса (Lipset 1977, 1984): он верил, что государства можно рассматривать в едином политическом континууме — от феодального до либерального, — из которого можно предсказать масштабы и формы социализма рабочего класса. Липсет пишет, что феодальные режимы порождают революционный социализм, режимы смешанного типа — социализм реформистский, а либеральные не порождают никакого. Как мы увидим, в этом тезисе есть изрядная доля истины.

---

1. Ленин, В. И. (1963). Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Полн. собр. соч. М. Т. 6. С. 30.

Но я отрицаю его слишком свободное использование термина «феодалный», а также чрезмерно «либеральное» представление об истории труда и демократии (особенно в Америке), минимизирующее репрессии по отношению к рабочим и пренебрегающее военными и гражданскими различиями между государствами. Так же как почти все авторы, Липсет игнорирует национальный вопрос.

Государства не одномерны. Этот том выделяет четыре основных типа кристаллизации государств. Все они кристаллизовались как капиталистические, так что это пункт не очень помогает в предсказании вариантов развития классовой борьбы в течение рассматриваемого периода (за исключением крайних случаев, например США). Военные функции и растущее число гражданских помогают немногим более. Но в целом представительская и национальная кристаллизации государств объясняют большинство вариаций в борьбе капитала и труда.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ДВИЖЕНИЯМ РАЗНЫХ СТРАН

Я представляю краткие сравнительные данные по рабочему движению в пяти рассматриваемых странах, а также в Швеции. Затем я перехожу к детальному анализу каждой из стран, рассматривая вместо Австрии Россию, так как по ней гораздо больше исследований<sup>2</sup>.

Таблица 18.1 показывает долю членов профсоюзов от общего числа несельскохозяйственной гражданской рабочей силы (то есть общенациональные уровни юнионизации) начиная с года, когда для всех этих стран есть данные. Цифры примерные, так как профсоюзные и правительственные данные содержат много неточностей, а общенациональные статистические данные собраны с помощью различных методик. Я также исключаю сельское хозяйство и вооруженные силы, потому что уровень юнионизации там был низок, в то время как доли занятых в сельском хозяйстве и численность армии по отношению к общей численности населения в рассматриваемых государствах заметно различались.

Члены профсоюзов оставались в меньшинстве во всех странах в рассматриваемый период. К 1914 г. уровень юнионизации в Великобритании далеко превзошел остальные страны, но даже там

---

2. По обеим странам не хватает данных, что, возможно, со временем будет исправлено в связи с недавними революциями в Восточной Европе; историки борьбы рабочего класса пренебрегают *национальной* составляющей.

ТАБЛИЦА 18.1. Процентные доли членов профсоюзов от общего числа несельскохозяйственной гражданской рабочей силы, 1890–1914 гг.

	Австрия	Великобритания	Франция	Германия	США	Швеция
1890	1,0	12,2	2,2	3,2	3,5	1,2
1895	2,0	11,6	4,0	2,7	3,5	1,6
1900	2,3	13,7	4,2	5,9	7,8	7,0
1905	3,4	14,0	6,6	10,2	14,3	10,2
1910	6,5	18,8	8,1	13,5	12,5	11,0
1914	6,5	23,6	8,3	12,5	13,4	12,2

ПРИМЕЧАНИЕ. В эту статистику численности несельскохозяйственной гражданской рабочей силы (NALF) также не включены участники вооруженных сил. Все оценочные цифры выводятся из прямолинейной экстраполяции доступных данных за другие годы.

*Австрия:* члены профсоюзов — *Annuaire Statistique de la France* 1913: 183; в 1914 г. фактически цифры за 1912 г. NALF — Bairoch et al. 1968: 85. Все цифры только для *Reichshalf*, то есть для Венгерского королевства;

*Великобритания:* члены профсоюзов — Bain and Price 1980: 37; NALF — Mitchell 1983: 171. Данные за 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1914 гг. NALF — за 1896, 1906 и 1914 гг. данные оценочные;

*Франция:* члены профсоюзов — Shorter and Tilly 1974: appendix B; NALF — Mitchell 1983: 163; NALF — за 1890 и 1914 гг. данные оценочные;

*Германия:* члены профсоюзов — Bain and Price 1980: 133, исключая ассоциации наемных работников, получающих твердый оклад; NALF — Mitchell 1983: 164. Цифры за 1882, 1895 и 1907 гг. NALF — производные от них;

*США:* Lebergott 1984: 386–387. Невозможно точно сравнивать общую численность рабочей силы в США с другими странами. Леберготт исключает домашнюю прислугу, Бейн и Прайс (Bain and Price) включают ее, но дважды учитывают тех, кто за рассматриваемый год имел две работы, и их данные по членам профсоюзов включают канадских рабочих. Таким образом, мои цифры по удельному весу членов профсоюзов, по всей видимости, завышены на 1–2%;

*Швеция:* члены профсоюзов — Bain and Price 1980: 142; NALF — Bairoch et al. 1968: 114.

составлял лишь четверть от всей численности несельскохозяйственной гражданской рабочей силы (NALF). Так как большинство членов профсоюзов были мужчинами, уровень юнионизации среди мужчин был выше, а среди женщин — ниже по меньшей мере на треть. Но табл. 18.1 показывает уверенный рост числа членов профсоюзов за рассматриваемый период. Анализ отдельных отраслей промышленности выявил бы авангардные по охвату профсоюзами отрасли аналогично общенациональному уровню юнионизации для Великобритании. К 1914 г. уровень юнионизации достиг почти 50% квалифицированных рабочих-мужчин в горном деле, строительстве, металлургии и на транспорте по всем странам. Сходства между одинаковыми отраслями промышленности и профессиями между различными странами настолько разительные, что я редко рассматриваю отношения

в конкретных отраслях в этой главе. Хотя я и говорю об обратном, мой анализ ситуации в Великобритании может являться грубым приближением для ситуации в авангардных отраслях промышленности в любой стране.

Различия между уровнем юнионизации в разных странах в основном проистекают из их уровня индустриализации и урбанизации. Не было серьезных отставаний, которые можно было бы поставить в вину профсоюзам по идеологическим или политическим мотивам, хотя во Франции уровень юнионизации был ниже, чем ожидался. Это можно списать за счет ошибок в данных по Франции, раннего появления типично французских профсоюзов, в которых членами были лишь активисты, способные мобилизовать остальных рабочих на демонстрации и забастовки. В целом с развитием индустриализации профсоюзы стали обычным средством, с помощью которого квалифицированные рабочие — мужчины, а затем и неквалифицированные и женщины организовывались для решения своих проблем. Профсоюзы были коллективным ответом рабочих на промышленный капитализм, они по праву занимали центральное место в теории Маркса о возникновении «совокупного рабочего».

Уровень забастовок обычно используют для того, чтобы показать активизм «совокупного рабочего» в экономической сфере. Таблица 18.2 показывает процент участников забастовок от общего числа несельскохозяйственной гражданской рабочей силы (*NALF*). Я предпочитаю этот показатель двум другим. Число рабочих дней, потерянных во время забастовок, сильно зависит от разовых крупных забастовок и беспорядочно колеблется, в то время как количество самих забастовок включает самые мелкие и меньше подходит для измерения общего активизма рабочих.

Забастовки были редкими, в среднем вовлекая около 4% трудовых ресурсов в год. Большая волна забастовок могла удвоить эту цифру, как в Великобритании в 1912 г. Революция 1905 г. в России увеличила ее в десять раз. Количество забастовок росло в течение рассматриваемого периода, хотя не одинаково, и в США не было постоянного роста. Большую часть времени в рассматриваемый период в интересующих нас странах уровень забастовок был примерно одинаковым независимо от уровня индустриализации.

Все страны подвергались влиянию транснациональной диффузии капитализма. Хотя некоторые были более развитыми или индустриализированными, несмотря на то что возникали национальные типы индустриального капитализма (немецкие и американские картели-тресты, французское сельскохозяйственное производство и т.д.), все капиталисты реагировали на условия

ТАБЛИЦА 18.2. Процентная доля несельскохозяйственной гражданской рабочей силы, участвовавшей в забастовках, 1890–1913 гг.  
(в среднем за 5 лет)

	Австрия	Великобритания	Франция	Германия	США
1891–1895	–	2,5	1,0	0,1	2,7
1896–1900	1,4	1,1	1,1	0,7	2,3
1901–1905	1,2	0,6	1,6	1,2	2,9
1906–1910	2,2	1,3	2,5	1,4	–
1911–1913	2,2	5,0	2,0	2,0	–

Источники: по числу рабочей силы см. примечания к табл. 18.1;

по забастовкам:

*Австрия* — *Annuaire Statistique de la France* 1913: 184;

*Великобритания* — Cronin 1989: 82–83;

*Франция* — Perrot 1974: I, 51;

*Германия* — Cronin 1985: table 3.4; данные свободных профсоюзов — 1890–1898 гг.; официальные данные — 1899–1913 гг.

*США* — Edwards 1981.

и технологии международного рынка. Россия может казаться отсталой страной, но у нее были крупные заводы с новейшими станками, бухгалтерией, научным менеджментом и т. п. Везде три современных сектора — металлообрабатывающая промышленность, горное дело и транспорт — имели двойственную сущность. В них работала большая часть организованных рабочих, и они же (наряду с химической промышленностью) вызывали появление самых крупных предприятий с наиболее развитыми внутренними рынками труда, поощрявшими сегментарную организацию отношений «работодатель — работник», где профсоюзы встречали сильное сопротивление работодателей. Но, несмотря на этот дуализм, большинство форм активизма рабочих были, как отмечает Грюттнер (Grüttner 1985: 126), «поразительно одинаковы» в одной и той же отрасли, пусть и в разных странах.

Поскольку трудовые циклы и конкуренция между работодателями распространялись через государственные границы, то же происходило с действиями работодателей и профсоюзов. Волны забастовок проходили по всему Западу. В четырех из пяти стран, по которым есть данные, волны забастовок прошли в 1889–1890 гг. и в 1899–1900 гг., в пяти из шести, по которым есть данные, в 1906 г. и во всех шести в 1910–1912 гг., в то время как между этими датами в указанных странах не было других забастовок (Boll 1985: 80, 1989; Cronin 1985; эти авторы также осторожно предполагают, что прошлая транснациональная волна забастовок была в 1870–1873 гг.). Лидеры социалистов

(как показано в главе 21) создавали плотную сеть международных связей, подкрепляя теорию Маркса о транснациональной организации рабочего класса.

Если отношения экономической власти и были одинаковыми, даже транснациональными, то политика — нет. Таблица 18.3 показывает разницу в успехах на выборах для лейбористско-социалистических партий. Популярность кандидатов от таких партий росла, но очень неравномерно. На одном полюсе были Германия, Австрия и Швеция (с другими скандинавскими странами)<sup>3</sup>, где социалисты стали крупнейшими самостоятельными партиями к 1914 г., завоевав большинство рабочих (мужских) голосов. На другом полюсе были США, где Американская социалистическая партия отчаянно пыталась добиться 5–10% голосов белых рабочих-мужчин. В Британии лейбористы также сражались против двух утвердившихся буржуазных партий в условиях ограниченного избирательного права. Фактические голоса, отданные за них на выборах, были меньше, чем их реальная поддержка рабочим классом, так как более половины рабочих мужчин не имели избирательного права, поэтому партия могла выставлять своих кандидатов лишь в округах с преобладанием избирателей-рабочих. Соответственно я откорректировал процент голосов, отданных за лейбористов, во втором столбце по Британии табл. 18.3. Любая такая поправка носит гипотетический характер, но я оцениваю голоса за лейбористов как сравнимые с голосами за социалистов во Франции (и Италии) и как несколько более скромные, чем в Северной Европе.

Куда труднее измерить идеологии работодателей. Грубым показателем того, насколько они были радикальными, является число рабочих, погибших в ходе трудовых конфликтов. Вообще гораздо больше рабочих погибло в результате бездействия — в ужасных условиях на фабриках или при несчастных случаях на шахтах. В документах по трудовым спорам нет сколько-либо систематических официальных цифр по смертельным случаям. Я приблизительно оценил эти цифры путем совмещения данных из вторичных источников по соответствующим странам, указанных в библиографии к этой главе (см. табл. 18.4). Большая часть насильственных действий против личности была инициирована работодателями и властями. Практически все пострадавшие были рабочими.

---

3. В 1912 г. Норвежская рабочая партия собрала 26% голосов, в 1915 г. — 32%. В 1913 г. социал-демократы Дании набрали 30% голосов. Большинство других европейских стран следовали в диапазоне голосов, аналогичном Великобритании и Франции. К 1909 г. итальянские социалисты получили 19%, затем, объединившись с Независимой партией и реформистами, добились 23% (цифры из работы: Cook and Paxton 1978).



ТАБЛИЦА 18.3. Процент мужского электората, голосовавшего за социалистов на общенациональных выборах, 1906–1914 гг.

	1906–1908	1909–1911	1912–1914
Австрия	21	25	—
Франция	10	13	17
Германия	29	-	35
Великобритания	5	7*	—
Великобритания (скорректировано)**	10–15	14–21	—
Швеция	15	29	33***
США****	—	—	6

\* На двух выборах в 1910 г. лейбористы набрали 6,4 и 7,6% голосов.

\*\* На двух выборах в 1914 г. социалисты набрали 30,1 и 36,4% голосов.

\*\*\* Скорректировано, чтобы принять во внимание исключение почти 34% британцев-мужчин (почти все — работники физического труда) из электорального процесса. Полагаю, что с избирательным правом для всех мужчин лейбористы удвоили бы количество своих кандидатов.

\*\*\*\* Отмечу, что все чернокожие мужчины не имели права голоса.

Источник: Cook and Paxton 1978.

ТАБЛИЦА 18.4. Рабочие, убитые во время трудовых конфликтов, 1872–1914 гг.

Великобритания	7
Германия	16
Франция	Около 35
США	Около 500–800
Россия	Около 2–5 тыс.

Источник: см. текст раздела.

В Великобритании число пострадавших было минимальным: всего семь смертей в 1870-х и в 1910–1913 гг. Удивительно, но на следующем месте стоит полуавторитарная Германия: там восемь погибших в 1889 г., трое в 1899 г., двое в 1905 г. и трое в 1910–1911 гг. Во Франции были один или два смертельных исхода в 1872 г., девять в 1891 г., один в 1905 г. и 19 плюс еще несколько в 1907 г. Цифры по Великобритании, Франции и Германии могут быть заниженными, но не сильно. Данные по России и США совершенно иного порядка. Оценочное количество погибших в США предложено американскими историками рабочего движения, хотя и оно может быть заниженным, не включающим в себя застреленных и повешенных чернокожих в юж-

ных штатах, смерть которых могла быть связана с трудовыми конфликтами. И все же Россия в этой области превосходит США многократно. Число жертв среди рабочих в России может быть оценено лишь приблизительно, так как трудовые споры выливались в широкие городские протесты, крестьянские и общенациональные восстания. Но различия между странами столь разительные, что не могут быть ложными. По всей видимости, режимы и работодатели реагировали на рабочие протесты принципиально различными способами. Но уровень внутренней напряженности не коррелирует с уровнем кристаллизации представительного государства. Россия была авторитарной монархией, а США — развитой партийной демократией.

Уровень юнионизации, участников забастовок, число погибших в ходе трудовых конфликтов, процент голосов, отданных за соответствующие партии, — это лишь грубые показатели активизма рабочих и распространения социалистических идей. Но они предполагают более широкую тенденцию. Экономические отношения во всех странах Запада вели к распространению общих паттернов, а политические отношения различались. Теперь я рассмотрю отдельные страны, концентрируясь на их политических кристаллизациях. Будем считать (если иное не оговорено отдельно), что вторая промышленная революция распространялась примерно одинаково во всех этих странах.

## США: ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И УПАДОК СОЦИАЛИЗМА

### *Тринадцать ответов на вопрос, почему так мало социализма*

При обсуждении истории рабочего движения в США во главу угла традиционно ставят мнимую американскую исключительность, особенно отсутствие социалистических идей. На классический вопрос, заданный Зомбартом, почему в Америке нет социализма (Sombart 1906, 1976), есть как минимум тринадцать ответов (их анализ в Lipset 1977, Foner 1984 и в различных эссе в издании Laslett and Lipset 1974). Эти объяснения делятся на три группы в зависимости от того, были ли идеи социализма в США подменены индивидуализмом, секционизмом или демократией.

### Индивидуализм

1. *Преобладание мелкой собственности.* Большинство поселений колонистов состояли из владельцев мелких ферм, которые составляли костяк жителей до революции и политических

движений Джефферсона и Джексона. Идеология мелкого собственника доминировала с самого начала. Прежде Америка не симпатизировала феодализму, позднее — социализму (Hartz 195; Grob 1961 подчеркивают все пять аргументов на основе индивидуализма).

2. *Тезис об американском фронтире*. Изначально предложенный Тернером (Turner) в 1893 г., он полагал, что борьба за расширение американского фронта в трудных природных условиях и с воинственными соседями привела к сугубому индивидуализму, враждебно настроенному по отношению к коллективизму. Как только фронт приобрел мистический культурный резонанс, он стал влиять на умы всей страны, поощряя не классовую, а расовую и территориальную борьбу (Slotkin 1985).
3. *Протестантская мораль*. Она поощряла индивидуализм. В отсутствие государственной религии, но под влиянием сильных протестантских сект Америка поощряла индивидов решать социальные проблемы исходя из их собственных моральных ресурсов.
4. *Мобильность* с вытекающими возможностями. Она поощряла индивидуумов искать личного, а не коллективного успеха.
5. *Идеи капиталистического процветания*, распространенные среди американцев. Они неохотно вмешивались в отношения частной собственности. В отдельности американские рабочие были материалистами.

## Секционизм

6. *Расизм*. Ранний рабочий класс был разделен рабством. Сегрегация сохранялась в южных штатах даже после Второй мировой войны, в то время как в остальных штатах совместные классовые действия белых и черных были затруднены, особенно во время массовой миграции чернокожих в северные штаты в начале XX в. (Laslett 1974 подчеркнул все секционистские объяснения).
7. *Иммиграция*. Волны иммигрантов усиливали этнические, языковые и религиозные границы. Группы иммигрантов, прибывшие в США раньше, защищали свои позиции в сфере занятости, усиливая профессиональный секционизм этнической стратификацией. Католическая иммиграция конца XIX в. стала препятствием для идей социализма, так как церковь была вовлечена в крестовый поход против них. Кредитор (Kraditor 1981) утверждает, что иммигранты были сильнее привержены своему этносу, чем классу. Их целью было создание самодостаточных этнокультурных анклавов,

а не единого сообщества рабочего класса. Тем самым такие сообщества рабочих не усиливали «совокупного рабочего», а, напротив, подрывали его развитие.

8. *Континентальное разнообразие.* Размеры и разнообразие Америки приводили к тому, что индустриализация отличалась в разных регионах. Рабочие в различных отраслях были разделены пространственно, а индустриализация продолжала проникать в регионы, не охваченные профсоюзами. Рабочие часто меняли место жительства, тем самым делая невозможным появление устойчивых сообществ рабочего класса. Классовая солидарность на общенациональном уровне в реальности так и не появилась.
9. *Сектанство.* В США рабочее движение было внутренне разделено между фракционными группами типа «Орден рыцарей труда», Американской федерацией труда, соперничающими партиями социалистов, синдикалистами, Конгрессом производственных профсоюзов и коммунистической партией. Отдавая они больше энергии борьбе с капитализмом вместо борьбы друг с другом, результаты их действий были бы другими (Weinstein 1967; Bell 1974).

#### Американская демократия

10. *Ранняя демократия для мужчин.* В США демократия для взрослых белых мужчин установилась в 1840-е гг., еще до появления рабочего класса. По известному высказыванию Перлмана (Perlman 1928: 167), такой демократии был присущ «свободный дар баллотирования». Это был оптимистичный взгляд на американскую демократию: рабочие могли решать свои проблемы с помощью либеральной демократии, не прибегая к альтернативным идеологиям типа социализма (Lipset 1984).
11. *Федерализм.* Конституция Соединенных Штатов разделяла власть между сравнительно слабым федеральным правительством, расположенным в маленьком неиндустриализованном городе, и более сильными правительствами штатов, а также на три ветви: президентскую власть, две палаты Конгресса и отдельную судебную. Это ослабляло политизацию и единство класса в общенациональном масштабе (Lowi 1984).
12. *Двухпартийная система.* К моменту появления рабочего движения уже институционализировались две кросс-классовые партии. Выборы в Конгресс основывались на крупных избирательных округах, выборы президента проходили на общенациональной основе. Возникавшие новые партии, включая

рабочие, не могли устойчиво расти, так как им сначала требовалось обрести хотя бы миноритарное представительство в общенациональной политике. Рабочий класс не был вначале силен настолько, чтобы избирать президента или сенаторов, и пытался проводить свою политику в рамках буржуазной партии, которая могла выиграть выборы, вместо того чтобы сформировать рабочую партию, которая их выиграть не могла. Однако в условиях федеральной системы партии были слабее, чем при более централизованной политике. Этот факт ослаблял партийную дисциплину и делал партии достаточно незаинтересованными в более широких классовых программах.

13. *Репрессии*. Более циничный взгляд на американскую демократию подчеркивает чрезвычайный уровень репрессий, юридических и военных, направленных против рабочего движения в США (Goldstein 1978; Forbath 1989).

Тринадцать ответов в какой-то мере подходят для объяснения сравнительной слабости идей социализма в США. Был ли исторический результат полностью детерминирован этим? Могли ли социалисты выиграть вопреки всем препятствиям? Но ни эти препятствия, ни особенности жизни Америки не были столь велики, как принято считать. Изначально Америка не была такой исключительной, какой постепенно стала, представляя одну из крайностей классовых отношений. США никогда не отличались качественно от других стран. Различия были в количестве. Мы уже видели, что и в Великобритании социалистические идеи не были широко распространены до 1914 г. Америка стала крайностью, не являясь ею исходно. Так что объяснения, основанные на исходной и продолжавшейся исключительности Соединенных Штатов, справедливы только отчасти. Уникальность или исключительность США рождалась как раз в этот период, как мы увидим далее.

## РАЗВИТИЕ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В США ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Для начала я сфокусируюсь на природе и периодах развития американской исключительности. Несколько авторов соглашались, что ее природа лежала в области скорее политических, а не экономических отношений (Montgomery 1979; Foner 1984: 59; Marks 1989: 198). США отличались от большинства стран континентальной Европы тем, что ни одна из партий социалистов никогда не набирала более 6%, достигнутых партией Юд-

жина Дебса (Eugene Debs) на президентских выборах в 1912 г. Также в США, в отличие от Великобритании и «белых» стран Британского содружества, отсутствовала подчиняющаяся профсоюзам партия рабочих, то есть у американцев никогда не было сколько-либо значимой социалистической или рабочей партии. Но исключительность США была не только в политической области: профсоюзы Америки XX в. также ослабели со временем до полной незначительности. В 1990 г. уровень юнионизации составлял 15% от общей численности рабочей силы и продолжал уменьшаться. В 1958 г. президент Эйзенхауэр сделал 1 мая Днем права — изменение, поддержанное Американской федерацией труда (подходящее переименование в свете истории труда в США, как мы увидим). Как постоянно проживающий в США иностранец, я был в свое время поражен отсутствием профсоюзов в общенациональной или региональной политике. *Коммунистический манифест* для американских студентов был так же чуждым, как и *Эпос о Гильгамеше*.

Когда в США появились эти две исключительности — политическая и экономическая? Таблицы 18.1 и 18.2 показывают, что уровень юнионизации и степень участия в забастовках в США до 1914 г. примерно соответствуют тому, что мы могли бы ожидать при этом уровне индустриализации. Действительно, согласно наиболее точному сравнительному исследованию железнорудной и сталелитейной промышленности Холта (Holt 1977: 14–16), уровень юнионизации в 1892 г. составлял 15%, в то время как в Великобритании — 11–12%. Оценки общенационального уровня юнионизации в середине 1850–60-х гг., даваемые современниками, составляли около 6% в Великобритании и 5% в США. В 1870-х гг. уровень юнионизации в Великобритании составлял 10%, а в США — 9%. К 1880 г. в США показатель упал до 4%, вдвое меньше, чем в Великобритании, но затем вырос снова (Ulman 1955: 19; Rayback 1966: 104, 111; Montgomery 1967: 140–141; Fraser 1974: 76). По мере того как Великобритания становилась все более индустриализированной страной, мы могли бы ожидать, что в ней уровень юнионизации будет все больше и устойчивее. Цифры выше предполагают, что американские профсоюзы вначале были не слабее британских, как могло бы вытекать из более слабой индустриализации.

Конечно, приведенные цифры не точны, но даже будь они совершенно точны, они дают только общие измерения классово-организации. Высокие уровни юнионизации могут означать как высокий уровень классового сознания рабочих, так и исключительно деловой тред-юнионизм, который обычно считают характерным именно для Америки. В анализе характера трудовых отношений в США в XIX в. мы выделим три пункта.

1. В течение большей части XIX в. американские рабочие не отставали от европейских в условиях сравнимых темпов индустриализации. Они активно участвовали в ранней борьбе за избирательные права. В США не требовалось квазиреволюционного движения типа чартизма или повстанческого движения образца 1848 г., но многие американские активисты были радикальны и полны популистского республиканства. Так как рабочие жили в основном в северных штатах, вопрос о правах штатов, главный на тот момент, не разделил их. Радикальные, но не революционные американские профсоюзы развивались более или менее аналогично британским, но с некоторым отставанием. Мелкие профессиональные (цеховые) братства культивировали респектабельность и пенсионные планы, пытались проводить практику односторонних тарифов, нанимали собственных работников, ограничивали доступ в свою профессию и постепенно создавали сначала региональные, а затем и общенациональные организации. Кроме них было несколько попыток создать крупные общепромышленные профсоюзы, уязвимые перед торговыми циклами и наступлениями работодателей. Редкие профсоюзы симпатизировали социалистам, большинство из них были протекционистскими или придерживались мягкой формы мутуализма, рассчитывая продвинуть собственное законодательство подобно тому, как было в Великобритании в середине века. До 1870-х гг. в США не существовало левого или правого экстремизма (Ulman 1955; Rayback 1966: 47–128; Montgomery 1967, 1979: 9–31; Wilentz 1984).

В это время появилась одна из характерных черт жизни американских рабочих, способствовавшая их расколу. В других странах с развивающейся промышленностью семейные узы и связи в местной общине способствовали солидарности рабочих. Но в большинстве американских городов эта поддержка была подорвана этническими и религиозными сообществами, организационные структуры которых легче входили в систему местной патронажной политики двухпартийной демократии, чем рабочие профсоюзы (Hirsch 1978; Katznelson 1981).

2. Американские рабочие реагировали решительно и в типично классовых формах на вторую промышленную революцию, которая в США была более интенсивной, чем в Великобритании. Ведомые всеобщей интеграцией через железные дороги, американские отрасли промышленности, шахты и банки начали с 1870 г. объединяться в более крупные единицы. Тресты и монополии возникали и рушились, но холдинговые компании процветали. Примерно в 1900 г. поднялась волна корпоративных слияний и возникло понятие научного менеджмента. В 1905 г. сотня

крупнейших компаний представляла 40% промышленного капитала страны, то есть концентрация капитала в промышленности была выше, чем в любой другой стране. Во всех странах корпоративный капитал вел самое ожесточенное наступление на условия труда, размер зарплаты, цеховую автономию, уровень квалификации. Особенному давлению подвергались квалифицированные ремесленники и профсоюзы. Деквалификация и антиюнионизм выражались в массовом найме неквалифицированных рабочих, в первую очередь иммигрантов или бывших фермеров. Работодатели стали более организованными, агрессивными и изобретательными. Их шпионы проникали на все уровни профсоюзов вплоть до исполнительного совета Американской федерации труда (AFL). Компания «Гудьер» (Goodyear Rubber Company, сейчас Goodyear Tire & Rubber Company) наняла «летучий эскадрон» из 800 человек, обучая их в течение трех лет, для того чтобы они могли занять любое рабочее место на заводе в случае забастовки (Montgomery 1979: 35, 59). В конце XIX в. экстремистами были работодатели, а не рабочие.

В главах 15 и 17 я доказывал, что экстремизм работодателей приводит к росту сплоченности и агрессивности рабочего движения. Так и происходило. Рабочие ответили несколькими крупными волнами забастовок и ростом профсоюзов. Массовая забастовка была главным оружием синдикализма как в США, так и в Великобритании или Германии в последние 30 лет XIX в. В 1872 г. 100 тыс. строителей в Нью-Йорке бастовали, требуя восьмичасового рабочего дня. В следующем году как минимум в восьми главных городах Севера прошли массовые демонстрации против безработицы. В 1877 г. началась забастовка железнодорожных рабочих, поддержанная рабочими других отраслей и народными демонстрациями во многих городах, «вовлекшая больше людей, чем в любом трудовом конфликте XIX в.» и давшая, по словам Рейбека (Rayback 1966: 135–136), «работающим людям классовое сознание на общенациональном уровне». 1880-е гг. стали свидетелем движения одного большого профсоюза «Рыцарей труда», побуждавших рабочих к классовой солидарности независимо от профессии и отрасли и классовому противостоянию с капиталом. К 1886 г. в этом профсоюзе состояло 703 тыс. рабочих — 10% от общего числа несельскохозяйственной рабочей силы. 1 мая 1886 г. прошла всеобщая забастовка с требованием сокращения рабочего дня. На улицы вышли 190 тыс. рабочих, а 150 тыс. получили более короткий рабочий день без участия в забастовке. В конце года 100 тыс. рабочих вышли из состава «Рыцарей труда».

Как многие ранние массовые профсоюзы, «Рыцари труда» не смогли стабилизировать свою организацию, и профсоюз при-



шел в упадок. Теперь уже АФТ (Американская федерация труда) заняла лидирующие позиции среди цеховых профсоюзов. Прошли новые волны забастовок. Забастовки 1889–1894 гг. были вдвое больше, чем любые из последующих (Montgomery 1979: 20–21). В 1892 г. общая забастовка парализовала жизнь Нового Орлеана на три дня, в 1894 г. волна забастовок и марши «армий безработных» прошли как по северным, так и по южным штатам, затем забастовка рабочих Пульмана заморозила железнодорожную сеть по всей стране. В 1897 и 1898 гг. бастовали 100 тыс. шахтеров. В 1902–1904 гг. Западная федерация шахтеров объявила забастовку, призывая к «полной революции в нынешних общественных и экономических условиях». Во всех приведенных случаях наряду с членами профсоюзов бастовали и выходили на демонстрации и остальные рабочие. Многие из них возглавляли социалисты.

Рабочее движение в США ни по числу участников, ни по их активности не отставало от других стран с 1870-х гг. примерно до 1900-х (табл. 18.2 подтверждает первую часть этого утверждения). В Германии в 1872 г. бастовало 109 тыс. рабочих, в 1900 г. — 132 тыс., а в 1905 и в 1912 гг. — около полумиллиона. Во Франции наблюдался аналогичный подъем забастовок (Boll 1989). Великобритания столкнулась со сравнимыми забастовками в начале 1870 г. и в 1889–1893 гг., затем несколько меньшими в 1894–1895 гг., в 1898 и 1908 гг., затем число бастующих вновь установило новый рекорд в 1910–1912 гг., когда в забастовках приняло участие свыше миллиона рабочих (Cronin 1989: 82–83). Америка начала выбиваться из общей тенденции лишь в конце этого периода, когда после 1905 г. уже в основном не наблюдался рост волнений среди рабочих. Иностранцы наблюдатели социалистического толка, такие как Фридрих Энгельс, Эдуард Эвелинг и Элеонора Маркс, отмечали активность рабочих в ранний период. Они считали, что американский социализм несет явно республиканские черты. «Рыцари труда» декларировали это в своем уставе: «Мы заявляем неизбежный и неотвратимый конфликт между существующей системой оплаты труда и республиканской системой правления». Но иностранные социалисты ожидали, что между местным республиканством и марксизмом мелких партий, подобно Социалистической рабочей партии Де Леона и Социалистической партией Дебса, возникнет компромисс. Возможно, идея марксистской социалистической партии и была чужда Америке, но почему там так и не появилась рабочая партия, хотя бы подобная британским лейбористам, которая объединила бы цеховые и производственные профсоюзы в единое движение рабочего класса?

3. Политическая активность рабочего движения в США также не отставала от Британии (страны с наиболее сравнимой политической и идеологической историей) примерно до 1900 г. Американские социалисты проводили крупные забастовки раньше, чем их британские собратья, еще в 1870-х гг. Их идеи побудили «Рыцарей труда» объединить под своими лозунгами экономические и политические требования, например отмена системы заработной платы и освобождение рабочего класса. Американская федерация труда, «Рыцари труда», фермеры и политические радикалы несколько раз предпринимали попытки создать объединенные рабочие партии (они рассматриваются в главе 19). Эти попытки даже имели успех на местных выборах вплоть до уровня штата в индустриализированных городах и фермерских регионах раньше, чем в Британии. Британские социалисты ориентировались на опыт США как на модель, которой стоит следовать.

В 1893–1894 гг. АФТ пошла гораздо дальше. На обсуждение была вынесена реформистская программа из 11 пунктов, которые включали восьмичасовой рабочий день, общественную собственность на места общего пользования, транспорт и шахты, всеобщее обязательное образование и запрет на потогонную и контрактную системы труда. Преамбула программы выдвигала «принцип независимой политики рабочего движения», а кульминацией был призыв к «коллективной собственности людей на все средства производства и распределения». Эту программу должны были обсудить все профсоюзы, а затем она выдвигалась на голосование на конференции в 1894 г. Большинство профсоюзов поддержало ее, но руководство АФТ, особенно президент профсоюза Сэмюэл Гомперс, выступило против политического юнионизма и объединилось, чтобы провалить программу. Устав АФТ предоставлял общенациональным профсоюзам гораздо больше делегатских голосов, чем местным профсоюзам и профсоюзам штатов, которые были основным плацдармом социалистов (Grob 1961: 141). Поэтому конференция 1894 г. стала отчасти объектом манипуляции, и проект программы был заблокирован. Отдельные ее статьи были ратифицированы, но призыв к общественной собственности был сведен к национализации земли. Преамбула была отвергнута 1345 голосами против 861, а программа в целом — 1173 голосами против 735. Социалисты ответили на это, проголосовав за отставку Гомперса.

Конференция 1895 г. начала распутывать последствия. Гомперс вернул себе место президента, уступив в отдельных пунктах, но организовал голосование большинством голосов против предлагаемой партийной политики. В его пользу были положения уставов многих профсоюзов, которые запрещали выдви-

жение кандидатов на политические посты, — это была область межклассовой двухпартийной системы, где партийная принадлежность членов профсоюзов могла служить причиной раскола. Тем самым Гомперс удержал контроль над АФТ и остался президентом федерации до самой смерти в 1924 г. Хотя социалистам и удалось создать сильное меньшинство (до трети голосов) в голосовании по нескольким вопросам, АФТ последовательно отвергала идею рабочей партии. Социалисты могли выдвигать любые законодательные инициативы, но пока АФТ полагалась на существующую двухпартийную систему, все они оставались только на бумаге.

В середине 1890-х гг. американские профсоюзы подошли к созданию реформистской рабочей партии раньше, чем в Великобритании. Британский конгресс тред-юнионов лишь в 1899 г. большинством голосов поддержал лейбористов — партию, которая на тот момент не имела практически никакой политической программы. Ситуация в США была изначально близка к британской и вовсе не детерминировалась длинным списком объяснений американской исключительности. Однако эта исключительность стабильно проявилась позднее, и мы не можем приписать провал американской рабочей партии лишь махинациям Гомперса. Голосование выявило два взаимосвязанных паттерна:

- 1) американская нация была сильно фрагментирована. Как и во многих странах, большое значение имело вероисповедание, но в США религиозные границы усиливались этническими и местными. АФТ и ее руководство наполовину состояли из католиков. Социалистические проекты на конференциях АФТ почти не получали поддержки со стороны делегатов-католиков, зато за них выступало две трети протестантов и евреев. Различия между протестантами и католиками в рассматриваемый период я подробнее разберу в заключении к этой главе;
- 2) огромное значение также имело секционное разделение между квалифицированными рабочими и остальными. Пять общепромышленных союзов, открытых для рабочих любой квалификации (в горном деле, текстильной и пивоваренной промышленности) составляли всего 25% членов АФТ, но от 49 до 77% левых голосов на конференциях АФТ. Цеховые профсоюзы, уступившие монополию на рынках труда внутренним рынкам, рабочие таких отраслей, как обувная промышленность, операторы станков и столяры оказывали им лишь нестабильную поддержку. Более закрытые отраслевые профсоюзы печатников, формовщиков и паровозных

инженеров в основном голосовали за «чистый и простой юнионизм» Гомперса (Marks 1989: 204–210, 235–237; Laslett 1974). Но устав АФТ позволял этим национальным отраслевым профсоюзам доминировать в голосовании.

Таким образом, «совокупный рабочий» в АФТ оказался разделен религиозно-этническим, местническим и цеховым секционизмом. Тем самым от общенационального классового движения мало что оставалось, и ниже я постараюсь объяснить почему.

Начиная с этого периода, американское трудовое движение развивалось как различные организационные партии. Преобладали три конкурирующие тенденции — каждая в определенных организациях — путь, отличный от того, по которому пошло рабочее движение в других странах. Большинство в АФТ и весь профсоюз как организация были сторонниками *протекционизма, секционного* цехового тред-юнионизма. Вторую тенденцию представляли общепромышленные профсоюзы — меньшинство в АФТ, которое стремилось к более широким мутуалистским классовым действиям. Общее число членов этих союзов, как показывает табл. 18.1, не уступает сравниваемым странам в Европе перед Первой мировой войной, и их внутренние расхождения по природе своей не очень отличались от аналогичных в британских или французских профсоюзах. Но радикальные профсоюзные активисты в промышленности также обратились к *синдикалистскому* союзу «Индустриальные рабочие мира» (Wobblies, ИРМ). Начиная с 1905 г. радикалы организовывали краткосрочные забастовки неквалифицированных и маргинальных рабочих, часто лишенных избирательных прав женщин и иммигрантов. ИРМ не особо беспокоились о членских взносах (на пике своего роста в 1912 г. в союзе состояло лишь 18 тыс. членов) или подписании соглашений с работодателями, но их буйные массовые забастовки породили страх в рядах собственников (Dubofsky 1969). Война помогла работодателям справиться с ними. Затем раскол приобрел новую форму. Промышленные профсоюзы создали конкурента АФТ — Конгресс промышленных организаций (Congress of Industrial Organizations, CIO).

Третью тенденцию представлял *реформистский социализм*, развившийся с помощью меньшинства (в основном из промышленных профсоюзов и на Западе) в Социалистическую партию. К 1912 г. в ней состояло 118 тыс. человек, после чего ее рост замедлился. В 1914 г. она выдвинула 1200 представителей на посты в управлении городов и штатов и контролировала мэров или глав муниципальных округов более чем в 30 городах (в основном мелких промышленных, шахтерских или железнодорожных центрах). Но после 1920 г. эта партия резко сократила свою

численность и раскололась, в результате чего ее активисты сформировали Коммунистическую партию (Weinstein 1984).

В результате этих расколов все три тенденции — цеховой тред-юнионизм, производственный юнионизм и реформистский социализм — были ослаблены. Хотя профсоюзы в США и пережили заметный рост численности и активности в 1930-е гг., он был ниже, чем в Европе. Фрагментарное по своей сути американское рабочее движение почти исчезло после 1960-х гг. Основной формой трудовых отношений в США стали непрофсоюзные: в более стабильном корпоративном секторе преобладали внутренние рынки труда и привилегии, даруемые работодателем, а во вторичном секторе — прямая эксплуатация.

Таким образом, в истории американского рабочего движения политические и экономические действия 1890-х и начала 1900-х гг. стали первой основной поворотной точкой<sup>4</sup>. Широкая общенациональная классовая идентичность и возникающий социализм были тогда перенаправлены в доминирующий и отлительно американский сплав локализма, секционизма и фракционизма. Где-то еще мы можем обнаружить разделение по линии квалификации, а в некоторых странах (например, во Франции и в Германии) идеологический фракционизм, но в США оба этих явления уникально слились, включая также ярко выраженный локализм. Секционизм исключительным образом коррелировал с идеологическими фракциями и местными сообществами, крайне ослабляя идентичность и силу рабочего класса. Почему же произошло это слияние? Хронологический анализ в основном опровергает первую группу объяснений (обычно это вариации самовосхвалений естественных черт американцев), которые заявляют, что укоренившийся американизм или индивидуализм определял идеи рабочих в этот период (например, Wilentz 1984). Рабочие в США в XIX в. демонстрировали достаточно классовую организацию, не меньше, чем рабочие в других странах, американские рабочие также рано обратились к идеям социализма, как и рабочие в некоторых других странах. Что же произошло с классовой организацией и идеями социализма в самом конце века? Мой ответ заключается в переплетении четырех характерных исключительно для США политических кристаллизаций.

---

4. Американские коллеги пытались меня убедить, что был еще и второй поворотный пункт (менее значимый, на мой взгляд) в 1950-е гг., когда рост 1930–40-х гг. сменился (казалось, насовсем) падением скорее в результате политических кристаллизаций, чем развития американской экономики. Я считаю, что путь развития рабочего движения в США определился еще до 1914 г., но чтобы должным образом подтвердить это мнение, требуется подробное рассмотрение его истории в XX в., что выходит за рамки этого тома.

## ЧЕТЫРЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

1. *Внутренний милитаризм*. Мы уже касались экстремизма американских работодателей. Одним из убедительных ответов является тот факт, что американский рабочий класс подвергался силовым репрессиям. Большинство крупных забастовок заканчивалось силовым разгоном. После сравнительно мягкого начала XIX в. (согласно Katznelson 1981: 58–61), по завершении Гражданской войны Америка качнулась к противоположной крайности. Тафт и Росс (Taft and Ross 1970: 281) отражают этот факт очень просто: «История рабочего движения в Соединенных Штатах была самой кровавой и самой жестокой среди всех промышленно развитых стран мира». В действительности, в царской России история рабочего движения по жестокости превосходила американскую, но по сравнению с другими странами уровень насилия и полувоенных репрессий в США был исключительным. Большинство авторов, превозносящих американскую исключительность, даже не упоминали об этом. Хуже того, порой делаются заявления, что уровень насилия в трудовых спорах того времени в США был низким (Perlman 1928; Hartz 1955; Grob 1961; Lipset 1977, 1984), хотя на самом деле все было как раз наоборот.

Начиная с 1870-х гг. американские рабочие сталкивались с двумя формами репрессий. Во-первых, против них направляли юридические (либерально-капиталистические) интерпретации конституции и принципа свободы контрактов. Гражданские права рассматривались как принципиально индивидуальные, а не коллективные, что мы видели и в истории Великобритании начала XIX в. Хотя в принципе профсоюзы и забастовки были узаконены, начиная с 1842 г. большинство вторичных действий, то есть забастовки поддержки и бойкотирование производителей и потребителей, определялось как «сговор», направленный против законных прав предпринимателей управлять своей собственностью. Если же работодатели нанимали штрейкбрехеров, то пикеты уже против них обычно квалифицировались как противозаконные. Работодатели обращались в полицию, чтобы она силой обеспечивала соблюдение закона, или в суды за судебными предписаниями. Судьи квалифицировали действия рабочих как «тиранию» и «диктатуру», а также «узурпацию» основополагающих прав собственности. Трудовое законодательство в основном устанавливалось на уровне штатов, но с 1894 г. Верховный суд интерпретировал закон Шермана не в его изначально антitrustовском смысле — предотвращение корпоративных

монополий, а в смысле предотвращения монополий профсоюзов. Если забастовки или бойкоты не касались непосредственно заработков или условий труда рабочих и тем самым не вытекали из их законных индивидуальных интересов, они определялись как злоумышленные. Судебные предписания выносились против более 15% забастовок поддержки в 1890-е гг. и против более 25% в 1900-е гг. Следующие за забастовками локауты и прием на работу рабочих, не состоявших в профсоюзах, не запрещались, работодатели могли делать со своей собственностью все, что пожелают.

Суды также подвергали нападкам законы в поддержку профсоюзов. К 1900 г. суды штатов и федеральные суды признали недействительными около 60 таких законов, особенно направленных против виктимизации, выплаты заработка расписками (которые можно было использовать в магазинах компании), устанавливающих часы и условия работы для мужчин (хотя суды обычно оставляли моральную ответственность за женщин и детей), сужающих толкование понятия «сговор». Все эти законы были отменены как классовое законодательство. Особенно жесткими были юридические преследования общепромышленных профсоюзов и социалистов, так как они инициировали более широкие забастовки или бойкоты, цель которых была наиболее далека от непосредственных индивидуальных интересов. Судебные предписания выносились практически против всех забастовок как квалифицированных, так и неквалифицированных рабочих: такие забастовки определялись как диктатура и узурпация свободы (Fink 1987; Forbath 1989; Woodiwiss 1990).

Во-вторых, на стороне закона выступали военные или военизированные формирования. Во время крупных забастовок обычно арестовывали 1–2 тыс. рабочих, во время небольших — 100–200. Полиция с вооруженными помощниками справлялась с большинством забастовок. Но во время нескольких крупных или предположительно опасных забастовок или для защиты штрейкбрехеров в дело вступали регулярная армия, милиция штатов и частные армии работодателей, часто наделенные юридическими полномочиями, — практика, почти неизвестная в Европе. Милицию штатов, а также федеральные войска использовали в более чем 500 трудовых конфликтах в период с 1877 по 1903 г., а крупнейшая частная армия — детективное агентство Пинкертон — была многочисленнее, чем армия США.

Арестами преследования рабочих не ограничивались. Число погибших в ходе трудовых конфликтов в США в этот период уступает лишь числу жертв в царской России (см. табл. 18.4). Откуда столько насилия? Возможно, причина в том, что оружие было широко распространено. Любой знал, что во время

забастовки эмоции зашкаливают — сначала с обеих сторон идут толчки, а потом удары, особенно во время активного пикетирования заводов. Остается вложить оружие в руки обеих сторон, и за этим последуют убийства. Повидав британских футбольных хулиганов и американских бунтовщиков из гетто, я не верю, что большее число смертей в США следовало в результате того, что молодые американцы более склонны к насилию, чем их британские сверстники. Скорее дело в том, что американцы носят оружие. Также стоит упомянуть и вторую причину: американские работодатели и полиция отказывались от компромиссов, не давая тенденции к насилию трансформироваться в разрешенные, но сдерживаемые демонстрации силы. Это отсутствие гибкости ставило Америку в один ряд с царской Россией.

Как в России, так и в США практически все насилие против личности совершалось с подачи работодателей и властей, и почти все погибшие были рабочими. Лишь одна американская забастовка — железнодорожников в 1877 г. — повлекла за собой по меньшей мере 90 смертей в результате действий 45 тыс. военнослужащих милиции штата и 2000 военных федеральной армии, вовлеченных в противостояние. Во время забастовки железнодорожников в 1894 г. было убито 34 рабочих. Во время забастовок 1902–1904 гг., по которым мы имеем подробные данные, по меньшей мере 198 людей были убиты, 1966 ранены и более 5 тыс. арестованы. На этом окончился пик насилия, хотя оно и не было полностью изжито, особенно в западных штатах: 74 человека погибло во время забастовки шахтеров в Колорадо в 1914 г.

Насилие, как и юридическое преследование, особенно широко применялось против забастовок, возглавляемых социалистами, и попыток организовать большие профсоюзы, объединяющие как квалифицированных, так и неквалифицированных рабочих. Неудивительно, что главный историк этого насилия Роберт Гольдштейн заключает, что оно сыграло важную роль в ослаблении американского рабочего движения и стало причиной того, что из него ушел радикализм и социализм (Goldstein 1978: ix, 5–6, 550). Виленц (Wilentz 1984: 15), в частности, считает, что поворотным моментом стало поражение рабочего движения в период с 1886 по 1894 г. Шефтер (Shefter 1986: 252–253) утверждает, что цеховой юнионизм АФТ возобладал над общим юнионизмом и социализмом, которые были физически разгромлены. Холт (Holt 1977) считает, что размах репрессий обусловил различия в развитии профсоюзов Великобритании и США в железообрабатывающей и сталелитейной промышленности. Хотя профсоюзы в сталелитейной промышленности США вначале были более мощными, чем в Великобрита-



нии, репрессии в ходе Хоумстедской стачки 1892 г. практически уничтожили их. Последний удар в 1901 г. нанесла корпорация U. S. Steel, хотя сначала компания была осторожна, предлагая квалифицированным рабочим пенсии и компенсации в виде доли в акционерной собственности, которые вызывали распри в рядах квалифицированных рабочих (Brody 1960: 78–95). Рабочие вначале продемонстрировали солидарность, но им нечего было противопоставить работодателям, намеренным заменить их другими рабочими, не входившими в союзы, а также бойцам агентства Пинкертон и милиции штата. Рабочим угрожали внесением в черные списки и невозможностью в последующем получить работу. В итоге работодателям удалось сломить классовую солидарность среди квалифицированных рабочих, а с остальными расправиться. Это был нагляднейший случай экстремизма американских работодателей, особенно тщательно вымарываемый из политической и академической памяти.

Милитаризм необходим, но недостаточен для нашего объяснения. Почему репрессии в США, в отличие от Европы, не привели к росту солидарности рабочих и социализму? Нам необходимо обратиться к остальным трем политическим кристаллизациям в США, чтобы понять реакцию американского рабочего движения.

2. *Капиталистический либерализм.* Капиталистическая кристаллизация в США проявилась в экстремальной форме (как утверждает первое из 13 указанных выше объяснений). Угнетение осуществлялось государством, которое кристаллизовалось особенно в своем судопроизводстве как либерально-капиталистическое. Оно воплощало буквально сакральную капиталистическую концепцию юридической правомерности. Конституция сковала два законных принципа свободы — личности и ее собственности и освятила их, *закрепив* документально. Если по уровню репрессий против рабочих США можно сравнить с царской Россией, то в этом аспекте разница между двумя государствами очевидна. В России репрессии осуществлялись от лица авторитарной монархии. Законом была воля царя с поправкой на политическую выгоду. Хотя российские капиталисты приветствовали репрессии против рабочих, они редко их инициировали или могли контролировать. Даже германские и австрийские капиталисты, обладавшие куда большим влиянием в своих государствах, были вынуждены делить власть с монархами и знатью, приверженность которых к порядку и силе вела к принципам, находившимся вне свободы частной собственности. Американские капиталисты как партия в том смысле, который вкладывает в это понятие Вебер, контролировали свое государство, особенно че-

рез юстицию. Ее священные законы и политика защищали их свободы и права на собственность.

Как я отмечал в главе 5, Америка защищала концепцию порядка и гражданства больше с точки зрения закона, чем политики, что было уникальным в мировой практике. Начиная с 1900 г. эта ситуация слегка изменилась во время забастовок на шахтах и железных дорогах, когда в нее вмешались президенты из-за их разрушительного влияния на экономику страны (как делали режимы во всех странах, даже в Германии и России). Но юридические концепции особенно проявились относительно штрейкбрехеров. Когда европейские работодатели привлекали штрейкбрехеров, они не могли рассчитывать на стабильную поддержку полиции, тем более военную защиту. Государственные элиты, озабоченные общественным порядком, могли решить, что ему угрожают больше штрейкбрехеры, чем сама забастовка. Часто они принуждали предпринимателей идти на компромисс (здесь и далее я использую количественный анализ свидетельств по истории трудовых конфликтов во Франции: Shorter and Tilly 1974). Такое редко случалось в Америке, где государственные элиты ревностно охраняли закон о собственности. Работодатели имели право заключать частные контракты найма с кем угодно. Если нанимались штрейкбрехеры, закон и государство защищали их. Капиталистическая кристаллизация преобладала над гражданско-милитаристской.

Убеждения американских капиталистов подтверждались этим священным законом. Они считали себя правыми, приравнивая свои экономические интересы, власть закона и наивысшие ценности свободы. В их аргументах часто встречались отсылки к Богу. Лидер владельцев угольных шахт заявил в 1902 г.: «Права и интересы трудящихся будут защищены не агитаторами из рабочих, а христианами, которым Господь в своей безграничной мудрости вручил власть над интересами собственности в этой стране» (Rayback 1966: 21).

Американские капиталисты находились на гребне экономической и политической волны. Их изобретение — корпоративная экономика — процветало, они доминировали в политике штатов (кроме южных) и в общенациональной политике. Дубофски (Dubofsky 1974: 298) пишет: «Индустриальные рабочие мира и социалисты провалились не потому, что американское общество было каким-то особенным, а потому, что они достигли своего пика развития в тот момент, когда вожди нации были наиболее уверенными в себе и сплоченными».

Мы уже видели, как солидарность правящего класса победила чартистов в Британии в 1840-х гг. Но теперь капиталисты разных стран уже не могли похвастаться подобной добродетелью.

тельной солидарностью. Напротив, британским работодателям, как отмечал профсоюзный деятель, а позднее министр кабинета лейбористов Джон Ходж, «стоит отдать должное за то, что они всегда играют по-джентльменски» (цит. по Holt 1977: 30). Метафора весьма удачная. Но у промышленников не было особого выбора, так как ядро государственных элит и партий составляли представители «старого порядка», которые как раз и играли по-джентльменски. Уничтожив ранее мятежный рабочий класс, теперь режим столкнулся с ответственным секционным рабочим движением, голоса участников которого были ему нужны, поэтому режим был готов снискать любовь и этого электората. Ни консерваторы, ни либералы не позволили бы работодателям вести собственную классовую политику. Обе партии рассматривали закон как инструмент в достижении политических целей, к чему действительно вела парламентская власть. Американские же элитные партии поддерживали закон, а его было труднее изменить, чем политический сиюминутный расчет. Таким образом, индивидуализм был менее присущ американским рабочим (как это утверждается первой группой объяснений американской исключительности), чем государственным элитам, приверженным судопроизводству, и капиталистическому классу страны в целом.

Столь яркие юридические репрессии в США характеризовали не только этот период. Сегодня они также процветают в более современных формах. Существующие профсоюзы по-прежнему в значительной степени скованы судебной системой, хотя полицией и полувоенными формированиями уже в меньшей степени. Низы же рабочего класса, в основном черные и латиноамериканцы, не могут выразить своего отчаяния из-за присутствия значительных полицейских сил и вооруженных формирований. Ни один из видов репрессий по отношению к рабочим не ставится на повестку дня партиями, так как эти группы населения не финансируют партии, а большинство из состава этих групп даже не участвуют в выборах.

Все это вызывает сомнения в традиционных одномерных концепциях государства. Преобладающая традиция в сравнительной политической социологии подразделяет режимы на абсолютистские против конституционно-монархических, авторитарные против демократических режимов в пределах того единого континуума, который я определяю как представительская кристаллизация. Такая концепция пронизывает труды от Мура и Липсета (Moore 1973, Lipset 1984) до Рюшмейера, Стивенса и Стивенса (Rueschemeyer, Stephens and Stephens 1992), а также мою работу (последние главы первого тома (Mann 1988) и даже более поздние работы. Однако, как признают Рюшмейер,

Стивенс и Стивенс, пример США плохо укладывается в эту концепцию. Вслед за Муром они задаются вопросом, почему США стали демократическим государством, особенно при наличии основанного на принудительном труде сельского хозяйства Юга. Вслед за ним они ищут объяснения причин, почему не развился авторитарный альянс между промышленными и аграрными капиталистами по типу Германии. Их рассуждения примечательные и аналогичные моим.

Во-первых, федерализм в любом случае позволял южным землевладельцам угнетать своих работников; во-вторых, даже в условиях демократии промышленники могли в достаточной мере угнетать своих рабочих. Но я иду в своих рассуждениях дальше. Разнообразие американских политических институтов, которому федерализм позволил процветать (вопрос будет рассмотрен ниже), создает возможности для полиморфных кристаллизаций, что в значительной степени ограничивает выражение суверенитета народа. Как показывает глава 5, они и были намеренно сконструированы с такой целью. Первой такой кристаллизацией стал либерализм, сконцентрированный вокруг судебной системы, выражающий власть класса капиталистов и ограничивающий социальную реальность и стратегические варианты противостоящих капиталистам акторов власти. Такие ограничения не приходят из внешних политических институтов, как следует из марксистских толкований. Судебная власть является частью государства, но тогда государства полиморфны. Давайте обратимся к третьей политической кристаллизации в США.

3. *Партийная демократия.* В США в XIX в. существовала наиболее регламентированная двухпартийная демократия. Репрессии проводились сразу двумя партиями. Женщины не могли голосовать, а чернокожие в южных штатах потеряли дарованные им на короткий срок голоса. Но профсоюзы состояли в основном из мужчин-северян, и практически все их члены имели право голоса. Мужского господства в труде и республиканского духа здесь, вероятно, было больше, чем в других странах. Как отмечает Монтгомери, «мужское» отношение к начальству было добродетелью американского рабочего класса «со всеми из этого вытекающими: чувством собственного достоинства, порядочностью, демонстративным эгалитаризмом и патриархальной мужской иерархией» (Montgomery 1979: 13). Уверенная походка американских рабочих, напористая речь, инструменты, которые носили на поясе в кобурах от оружия поражают иностранного наблюдателя как маскулинное притязание на власть. Рабочие-мужчины могли чувствовать себя облеченными этой вла-

стью государством. В отличие от русских или даже немецких и австрийских рабочих американские не воспринимали насилие и юридическое принуждение как естественные черты враждебного государства, которое следовало ниспровергнуть. До 1896 г. явка на выборы была высокой — до 85% (75% в городах), а регистрация для иммигрантов — легкой. Большинство рабочих, включая членов профсоюзов, легко голосовали за две партии, администрации которых поддерживали их же угнетение. Американские рабочие, сталкиваясь с меньшим числом политических конфликтов, чем европейские, не нуждались в политизации своих экономических требований до уровня социализма, считает Липсет (Lipset 1984). После 1896 г. белая мужская демократия ослабела. Требования к постоянному месту жительства и гражданству, направленные против иммигрантов, и прогрессивное законодательство, направленное против муниципальных организаций, значительно сократили явку на выборы, особенно среди рабочих (Burnham 1965, 1970: 71–90).

Но принесла ли эта слегка ослабленная партийная демократия выгоду американским рабочим? Было ли это государство столь доброкачественным и ответственным, как считает Липсет? Репрессии подсказывают нам, что нет. Вспомним две организационные черты американской партийной демократии. Во-первых, партии основывались более на локально-региональных, этнических и религиозных сегментарных сетях власти, чем на общенациональных или классовых. Рабочие голосовали не за или против угнетения труда, но за различные выгоды, связанные с «выгодой» (spoils) и интересами их локальных, этнических и религиозных общин. Так как профсоюзы становились секционными организациями рабочих, они сами часто поддерживали антииммиграционную политику. Так как согласно Конституции США репрессии проводились в основном судами, а не политиками, их связь с выборами была неочевидной (как и сегодня).

Во-вторых, рабочие, как и во всех странах, за исключением Великобритании, все еще были меньшинством. Они составляли к 1914 г. чуть более трети населения, как и фермеры, и примерно вдвое превосходили буржуазные средние классы. Рабочие, объединенные в профсоюзы, были крошечным меньшинством. Им приходилось заинтересовывать массы неорганизованных рабочих, многие из которых находились под контролем местных боссов, остальные две классовые группы. В итоге они потерпели неудачу. Рабочее движение выступало за ограничение свободы собственности, а фермеры и средний класс были ей привержены, к тому же могли влиять на многих местных работающих граждан. Рабочее движение проиграло в идеологической борьбе

оборонительного отделения мелкой собственности от крупной корпоративной и тем самым потеряло избирательную поддержку фермеров, низов среднего класса и многих неорганизованных рабочих. Особенно критичной была потеря поддержки фермеров. Хотя многие из фермеров протестовали против насилиев властей над рабочими и у них были собственные радикальные претензии к корпоративным монополиям, фермеры не поддерживали решений, приводящих к тому, что называли монополиями профсоюзов. Поражение аграрно-рабочих партий, которое рассматривается в главе 19, было фатальным. В отсутствие такого союза мажоритарные классы собственников могли угнетать рабочее меньшинство. Таким образом, в большей степени не рабочие, а мажоритарные классы собственников (плюс зависимые от их сегментарной власти) сделали американский индивидуализм характеристикой этого периода.

Американская партийная демократия не была на руку рабочим — она давала им меньше, а не больше. Республиканцы и демократы были межклассовыми локально-региональными, этнически-религиозными сегментарными коалициями. Рабочие пытались выдвигать кандидатов, выступавших в их интересах (Bridges 1986), но существовавшие партии не выражали классовых интересов, особенно в рассматриваемый период, когда демократы стали более аграрной и католической партией с явно выраженной реакционной южной фракцией, а доминирующие республиканцы — северной, индустриальной (в смысле охвата и промышленников, и рабочих) и протестантской партией. Сегментарность усиливалась и существованием множества местных исключений. Общенациональное единство партий также было ослаблено *федеральным* разделением между партиями и исполнительной властью. Президент, а не партия формирует кабинет и составляет программу. Таким образом, в отличие от тех партий, которые воплощали всевластие парламента, партии США не так тяготились необходимостью формулировки четкой связанной программы и могли оставаться более фракционными.

Рабочему движению приходилось оказывать давление на отдельных политиков в обеих партиях. «Благодарите своих друзей и наказывайте своих врагов», — говорил Гомперс. Хотя в городских индустриальных сообществах это могло способствовать появлению политиков, симпатизировавших профсоюзам, такая тактика не позволяла мобилизовать общенациональную партию с законодательной программой. Тем более рабочее движение не могло избирать сенаторов, не говоря уже о президенте, либо назначать судей в суды высших инстанций. Достигнутые успехи простирались лишь на уровне местной или региональной политики, но эти законы могли быть отменены судами.

Прямое влияние рабочего движения США на федеральном уровне было, вероятно, меньшим, чем влияние рабочих на национальную политику в Великобритании и даже в Германии. Это утверждение противоречит некоторым интерпретациям рассматриваемого периода (например, Rayback 1966: 250–272), а также выглядит парадоксальным, так как Германия была авторитарной монархией, а половина британских рабочих не имели права голоса. Режиму в Германии, напротив, приходилось искусно маневрировать, чтобы мобилизовать антирабочую коалицию, и доводилось вводить прогрессивные программы типа социального страхования, чтобы удержать социализм от распространения. В Великобритании рабочее движение могло избирать членов парламента, что влияло на обе партии страны, особенно на либералов, нуждавшихся в поддержке рабочих сообществ. Партии в британском парламенте обладали властью над исполнительными органами и судами. Всего через пять лет после того, как судьи по Тафф-Вейльскому делу отняли у профсоюзов некоторые права на организацию, избранное в 1906 г. правительство либералов приняло закон о промышленных конфликтах, дающий профсоюзам свободу организации, которую они желали. Более того, в отличие от многих законопроектов либералов этот закон легко прошел консервативную палату лордов.

Американские профсоюзы, напротив, мало что получили от общенациональных политических партий. Если палата представителей поддерживала билли в пользу ограничений на преследования забастовок, то сенат нет. Администрации издавали законы, жестко ограничивающие женский труд и условия найма женщин, но, как и в других странах, существовавшие межклассовая мораль и мужской консенсус защищали женщин и детей. Правила техники безопасности в промышленности появились позднее и в меньшем масштабе, чем в Великобритании или во Франции. Создание в США Министерства труда дало толчок к появлению примирительных процедур и привело профсоюзы в коридоры власти, но только в 1914 г., значительно позднее, чем в Великобритании и во Франции. Восьмичасовой рабочий день на связывавших штаты железных дорогах и улучшения условий труда рабочих и моряков, работавших на федеральное правительство, стали подлинными завоеваниями. Закон Клейтона, принятый в 1914 г., иногда считается достижением рабочего движения. Он гласил, что «труд человеческого существа не является товаром или предметом торговли», а также что профсоюзы не являются незаконными или нарушающими антитрестовские законы. Но он оставлял в силе преследование заговоров или забастовок поддержки (Sklar 1988: 331). В действительности уровень антипрофсоюзных судебных решений возрос

до 46% по забастовкам поддержки в 1920-х гг. (Forbath 1989: 1252–1253). Активист «Индустриальных рабочих мира» также мог задать простой и скептический вопрос о новых трудовых законах: «А как они *исполняются?*» (Dubofsky 1969: 158).

До принятия в 1932 г. закона Норриса — Ла Гардия профсоюзы США не имели прав, которые британские профсоюзы получили еще в 1906 г. Американская демократия в конечном счете признала коллективные гражданские права за профсоюзами, то только когда ударила репрессия. Ласлетт (Laslett 1974: 216–217) считает, что уступки, сделанные администрацией Вильсона, фатально ослабили партию социалистов. Большинство профсоюзов, ранее связанных с ней, повернулось к демократам. Если так, они купились на обещания, а не действия и остались в проигрыше по сравнению с рабочими Европы. Рабочим США все-таки пошли на какие-то уступки, но скорее как массовым избирателям, а не как рабочему классу, одновременно с прочими массовыми сообществами, такими как средний класс и фермеры. Реформы, расширившие контроль избирателей путем прямых выборов сенаторов, регулирования монополий, всеобщего бесплатного образования и прогрессивного подоходного налога, были достигнуты путем кросс-классовых коалиций прогрессистов, в которых организованное рабочее движение играло лишь вспомогательную роль (Lash 1984: 170–203; Mowry 1972; Wiebe 1967). Не все из «социального гражданства» Маршалла было получено за счет классового активизма. Прогрессивный подоходный налог, введенный в 1913 г. (хотя до войны и не полностью), появился в результате конкуренции в партийной системе без особого давления со стороны профсоюзов (как и в Великобритании). Но в целом в период жесточайшего угнетения американская партийная демократия гораздо чаще мешала, чем способствовала достижению интересов рабочих.

4. *Федерализм.* По национальному вопросу американское государство кристаллизовалось как конфедерация, а потом как федерация. Репрессии оставались скорее в руках весьма децентрализованного государства, чем у централизованного государства-нации. Сопrotивление рабочих фрагментировалось на разные уровни: федеральный, уровень штатов и местный уровень. Во время рассматриваемого периода расширение гражданских функций государства, которое в большинстве стран приводило к общенациональному рабочему движению, в случае США, напротив, еще больше раскололо рабочее движение. Большинство новых функций относилось к уровню правительства штата или местного. До 1930 г. федеральное правительство не имело никакого веса в делах, относящихся к вопросам тру-



да (в этом вопросе я целиком полагаюсь на Лоуи (Lowi 1984), и это также фрагментировало потенциальное общенациональное единство класса. Большая часть трудового законодательства инициировалась отдельными штатами. К 1900 г. штаты с развитой промышленностью, такие как Массачусетс и Иллинойс, уже имели достаточное количество законов по разрешению трудовых конфликтов, чем на федеральном уровне. Большинство из них были репрессивными, некоторые — просто свирепыми. Важную роль играло и неравномерное развитие огромной континентальной страны. В один и тот же в северных штатах могли принимать прогрессивные законы и искать пути обхода реакционных постановлений судов, в западных штатах — стрелять по «Индустриальным рабочим мира», в юго-западных — преследовать популистов, а в южных мог процветать расизм. Понятие экстенсивной классовой тотальности с трудом прокладывало себе дорогу в рамках всей страны, даже среди тех, в кого стреляли.

Юг представлял собой особую проблему на федеральном уровне. Расизм вкупе с внутренним милитаризмом сокрушал попытки классовой мобилизации в преимущественно аграрных южных штатах. Это означало, что на федеральном уровне значительный блок сенаторов и конгрессменов, у которых в целом не было противников на выборах, использовал систему старшинства в комитетах Конгресса, чтобы укрепить свою реакционную политику. Как позднее обнаружил и сам Франклин Д. Рузвельт, через эти преграды было очень трудно провести законы, поддерживающие рабочее движение. Их однопартийные штаты на Юге имели решающий голос в Капитолии, так как он был реакционным, хотя и демократическим.

Региональные организации партий и сообществ процветали под сенью федеральной конституции, подкрепляемые волнами этническо-религиозной иммиграции. Городские власти могли предоставить дотации своим сегментарным клиентам, особенно издавая «вариации» государственных законов и даруя лицензии и патронаж на экономические выгоды. Интересы рабочих — в жилье, общественном здравоохранении, контроле над транспортом и коммунальном хозяйством, физическом труде в общественном секторе — определялись на городском уровне, пройдя фильтры сегментарных, а не классовых соотношений сил. Товары поставлялись через этническо-религиозные сообщества и муниципальные организации патронажа. Рожденные в этом сообществе профессиональные рабочие обладали заметным влиянием внутри этих схем, в межклассовых альянсах, часто направленных против рабочих-иммигрантов из новой волны. Федерализм и сегментаристские политические партии

взаимодействовали с этнической принадлежностью тех или иных рабочих, раскалывая общее сознание класса. Класс и нация не являются противоположностями. Они усиливают друг друга, а отсутствие одного ослабляет другой, как и происходило в США. Сужение класса до трудовых отношений — общая тенденция этого периода — зашло в США гораздо дальше.

Внутренний милитаризм, капитализм-либерализм, партийная демократия и федерализм — все эти кристаллизации оказывали фрагментирующий эффект на политику и классы в США. Скворонек (Skowronek 1982) справедливо отмечает, что это «государство судов и партий» задерживало развитие американской общенациональной государственной бюрократии, но то же влияние оказывал и федерализм.

Американское национальное государство оставалось в первую очередь военным, как показывают данные главы 11. Таким образом, в разрезе гражданских и военных функций США кристаллизировались в первую очередь как государство милитаристское.

#### *Ответ рабочих: секционизм*

Либерально-капиталистический, партийно-демократический и федеральный милитаризм оказался в итоге уникально успешным против рабочего движения, так как он усиливал его внутреннюю тенденцию отвечать не единым классом, а секционистски. Репрессии больше направлялись на производственные профсоюзы и социалистов, чем на цеховые. Квалифицированным цеховщикам удавалось избегать репрессий, чем прочим. Работодатели выбирали избирательные или более общие репрессии отчасти в соответствии с торговым циклом. Когда спрос требовал производства, они признавали власть цеховых профсоюзов и прошения АФТ об общенациональных соглашениях. Давление, оказываемое цеховыми профсоюзами, носило местный характер, и его целью были конкретные работодатели, то есть оно привлекало политическую поддержку не более чем на муниципальном уровне и практически не требовало крупномасштабных забастовок. Солидарность рабочих высокой квалификации была устоявшейся, неформальной и сравнительно неуязвимой для полицейских информаторов или репрессий (Marks 1989: 53). Избирательные репрессии превращали обычное разделение между рабочими одной отрасли и прочими в глубокий тактический и организационный секционизм<sup>5</sup>. Ква-

---

5. Это недостающий элемент в работе Маркса, в остальных отношениях являющийся прекрасным анализом секционизма в США. Он ошибочно относит США в одну

лифицированные цеховщики шли своим путем, оставляя менее везучих товарищей на произвол судьбы.

В этом пункте США резко отличались от царской России в двух отношениях. Во-первых, насилие режима в России было направлено в равной степени на рабочих всех уровней квалификации. Во-вторых, скорость индустриализации в России не позволила организации ремесленников созреть постепенно. Квалифицированные рабочие не обладали организационными ресурсами для самостоятельных действий. В то время как репрессии раскололи американский рабочий класс, они сплотили рабочих в России. И так же как ситуация в России анализировалась величайшим тактиком социализма Лениным, так и ситуация в США анализировалась главным тактиком секционизма Сэмюэлом Гомперсом.

Гомперс и его Американская федерация труда в целом избегали политики. Хотя АФТ и создала мелкую лоббистскую организацию в Вашингтоне в 1908 г., она не проявила активности. Лидеры АФТ, такие как Гомперс и Митчелл, возлагали большие надежды на свое членство в Национальном гражданском фонде (National Civic Foundation, NCF) — группе давления, состоявшей из прогрессивных корпоративных лидеров. Гомперс и Митчелл хотели, чтобы этот фонд убедил бизнес подписать общенациональные соглашения между профсоюзами АФТ и ассоциациями работодателей, которые могли бы устранить необходимость в массовых забастовках. В то время как многие местные профсоюзы активно добивались законов в пользу рабочих на уровнях штатов и муниципальных уровнях, АФТ на общенациональном уровне выступала в защиту волонтаризма (Fink 1973; Rogin 1961–1962). Отчасти это было по совету юристов. Так как закон запрещал ограничения, выдвигаемые профсоюзами, неформальные и волонтаристские соглашения становились главным оставшимся орудием профсоюзов (Fink 1987: 915–917). Но Гомперс пошел дальше. Он противостоял законодательству о социальном страховании как ограничивавшему независимость рабочих. И даже это не было уникальным. Так как профсоюзы имели столь глубокие протекционистские и мутуалистские корни, их лидеры с подозрением относились к подобным вмешательствам государства. Но Гомперс доходил до крайности в своей позиции против урегулирования в промышленности и участия государства в качестве арбитра в трудовых спорах как привлекающих рабочее движение в ловушку зависимости от силы, стоящей выше.

---

группу с прочими странами с низким уровнем репрессий, такими как Великобритания и страны Скандинавии (Marks 1989: 75).

Он даже возражал против законов, запрещающих виктимизацию членов профсоюзов:

Я не считаю мудрым пытаться провести этот пассаж из билля, вмешивающегося в право работодателя уволить работника... Если мы проведем закон, делающий незаконным данное действие, наши враги, конечно же, заявят, что право оставить работу одному рабочему или коллективно (как в случае с профсоюзом) по любой причине также следует признать незаконным, и они постараются повернуть законодательство в этом направлении» [Fink 1973: 816].

Это может показаться странным, но его собственный опыт как организатора профсоюза рабочих-сигарщиков научил его обходить политику и законодательство и сосредоточиваться на прямом экономическом давлении на конкретного работодателя. Этот профсоюз усердно старался пролоббировать в штате Нью-Йорк закон о запрете надомного производства (семьи рабочих-сигарщиков жили и работали в квартирах домов, принадлежавших работодателю). Судьи признали новый закон антиконституционным. Профсоюз успешно пролоббировал закон с изменениями, но суд вновь признал его антиконституционным. Гомперс писал:

Мы обсудили возможности дальнейших законодательных инициатив и решили сконцентрироваться на организационной работе. Через наши профсоюзы мы терроризировали работодателей забастовками и агитацией до тех пор, пока они не убедились, что им дешевле отбросить систему надомного производства и продолжить его на фабриках в достойных условиях. Тем самым мы добились через экономическую власть того, чего не смогли добиться через законодательство [Gompers 1967: I, 197].

Так как закон причинил столько вреда рабочему движению, его следует избегать в пользу экономической власти. Наставник Гомперса в профсоюзе сигарщиков Адольф Штрассер заявлял в 1894 г.:

Вы не можете принять закон о восьмичасовом рабочем дне, не изменив Конституцию США и конституцию каждого штата... против того, чтобы терять наше время, добиваясь законодательства, которое вступит в силу, может быть, уже после того, когда мы умрем [Forbath 1989: 1145].

Союзы с политическими радикалами и социалистами лишь вредили рабочему движению. В автобиографии Гомперса звучит столько же враждебности к социалистам, сколько и к капиталистам. Хотя Гомперс всегда заявлял, что уважает Маркса и его идеи, он писал, что его недоверие к социалистам началось с вос-

стания на площади Томпкинса в Нью-Йорке в 1874 г., когда он едва избежал знакомства с полицейской дубинкой, спрыгнув в подвал:

Этот опыт стал указательной вехой для моего понимания рабочего движения в предстоящие годы. Я увидел, как профессиональные радикалы, ищущие сенсаций, объединяли все силы организованного общества против рабочего движения и сводили на нет нормальную, нужную деятельность... Я увидел опасность альянсов с интеллектуалами, которые не понимали, что эксперименты с рабочим движением — это эксперименты с человеческими жизнями [Gompers 1967: I, 97–98].

Гомперс защищал возвращение к «простому чистому» тред-юнионизму, осознавая, что это отступление. Как он сформулировал в 1914 г., АФТ «направляется историей, извлекая уроки из прошлого... Она идет по пути наименьшего сопротивления» (Rogin 1961/62: 524).

Гомперс верил, что массовые движения 1880–90-х гг. были слишком широкомасштабными. Рабочему движению предстояло медленное восстановление из своих наиболее крепких цитаделей путем «постоянной» организации, предоставляя своим членам пособия по безработице, по случаю болезни и смерти, забастовочные фонды. Хотя все это было принципиально важным, главным пунктом было установление постоянных отношений между рабочими и союзом (Gompers 1967: I, 166–168). Лишь хорошо финансируемые организации могли выдержать длительные забастовки и локауты. Бесплезно выводить на борьбу массы, не имеющие этих ресурсов, — они неизбежно потерпят поражение. Это был урок всего периода, заявлял Гомперс. Поэтому он презирал и ненавидел «Промышленных рабочих мира», которые вели рабочих на забастовки без постоянных ресурсов, без забастовочных фондов, даже без формального профсоюзного членства. Они предавали весь рабочий класс, считал он, а не только лидерство АФТ.

Но тактика Гомперса не могла принести выигрыш всему рабочему классу, в действительности в ней была заложена идея об отсутствии классовой идентичности. Отказ от участия в политике сужал масштаб и ослаблял тотальность «совокупного рабочего», потому что означал отказ от социальной политики, которая приносила бы пользу семьям и сообществам рабочего класса. Рабочее движение становилось более ограниченным, чем в других странах, в рамках экономизма мужских профессий. И даже в этих рамках приемы Гомперса были секционистскими, так как требовали, чтобы у рабочих были забастовочные фонды, а у работодателей отсутствовала возможность найти штрейкбрехеров.

В принципе от последних мог спасти «единый большой профсоюз» всего рабочего класса, но эта тактика потерпела поражение под напором массового насилия и репрессий. Гомперс верил, что организация масс неквалифицированных рабочих в действительности вредит квалифицированным членам цеховых профсоюзов. Некоторые профсоюзы XX в., например Teamsters (члены профсоюза водителей грузового транспорта. — *Примеч. пер.*), отпугивали штрейкбрехеров угрозами насилия. Но штрейкбрехеры не могли выполнять квалифицированную работу.

Хотя Гомперс доказывал, что терпеливая постоянная организация могла бы постепенно распространить финансовые и квалификационные ресурсы и на других рабочих, на практике никто, кроме высококвалифицированных отраслевых рабочих, не мог собрать достаточные профсоюзные фонды либо ограничить обучение в рамках своей профессии. В реальности его тактика становилась цеховым протекционизмом. АФТ вернулась на позиции британских тред-юнионов 1850–90-х гг. после краха чартизма и до появления новых профсоюзов. После 1900 г. американское рабочее движение было самым слабым среди развитых стран отчасти из-за представлений Гомперса и АФТ об «искусстве возможного» перед лицом безжалостных ханжеских репрессий.

Но цеховому протекционизму АФТ можно поставить в вину дальнейшее ослабление рабочего движения, фокусируясь на ограничении предложения альтернативных трудовых ресурсов. Новые участники рынков труда все в большем количестве появлялись из различных этнических и религиозных групп иммигрантов. Таким образом, вторая группа объяснений уникальности ситуации в США, касающаяся «естественного» американского секционизма, имеет большие основания в период с 1900 г. Конечно же, вначале расизм и разнообразие групп иммигрантов не способствовали единству рабочего класса в США, особенно в политике. Разграничение на белых и черных в основном касалось Юга. Наиболее устойчивое разделение в экономической борьбе в ходе рассматриваемого периода в действительности существовало между выходцами из Азии и остальными рабочими. Большинство американских рабочих союзов выказывало глубокую враждебность к труду китайцев частично из-за пещерного расизма по отношению к желтым расам, частично из-за недовольства тем, что крепостной труд китайцев серьезно мешал борьбе англосаксонских рабочих в западных штатах. В остальном американские этнорелигиозные раздоры не были уникальными. Их вполне можно сравнить с противостоянием английских и ирландских рабочих в Ланкашире или католиков и протестантов либо немцев и поляков в Германии.

Вначале Америка ничем не выделялась в этом отношении. Среди «Рыцарей труда» или в ходе крупных забастовок 1877 г. либо среди шахтеров различные этнические группы, часто включавшие черных, мужчин и женщин, демонстрировали высокую солидарность. Теперь же этноэкономическая напряженность возросла. Отчасти это было следствием роста иммиграции из стран Южной и Восточной Европы. Общины и роды занятий людей стали более этнически разделенными. Но экономическую напряженность также усиливал секционализм в самом рабочем движении: с одной стороны, ориентированная преимущественно на квалифицированных рабочих АФТ рекрутировала в свои ряды в основном местных рабочих и приезжих из Северной Европы, с другой — общие профсоюзы и политические группы рекрутировали иммигрантов из южных и восточных областей Европы и черных рабочих (Shefter 1986: 205–207, 228–230). Усиливало секционализм и антииммигрантское лоббирование со стороны АФТ, ставшее теперь ее главной законодательной деятельностью.

#### *Заключение по США*

Выше я рассмотрел все 13 объяснений исключительности американской истории рабочего движения, но все же еще раз хочу сделать ясной свою точку зрения: США являются не более исключительной страной, чем любая другая. США не были исключительными с самого начала, они стали такими. Поворотная точка приходится где-то на 1900 г.: поворот в истории рабочего движения последовал в первую очередь в результате заметного усиления секционизма четырьмя «политическими кристаллизациями высокого уровня» — милитаристичной, либерально-капиталистической (с упором на юриспруденцию), партийно-демократичной и федеральной. Липсет считает, что форма режима имела решающее значение. Но она не была ни благоклонной, ни близкой рабочим, ни однозначно демократичной. Штаты были полиморфным, а не унитарным государством. Но столкнувшись с жестокими репрессиями, американское рабочее движение расколосось более глубоко, чем в других странах, и обычное секциональное разделение на квалифицированных и неквалифицированных рабочих прошло гораздо глубже. Уникальным было совпадение секционизма — слоя квалифицированных рабочих и внутренних рынков труда — с идеологическим фракционизмом. Этот раскол институционализировался во фракционных организациях рабочих и углублялся по мере того, как доминирующая фракция (АФТ) сужала масштабы класса и усиливала секционизм и этнорелигиозный сегментализм.

Хотя впереди еще были сражения с работодателями и тактические решения и возрождение рабочего движения в 1930–40-х гг., идентичность рабочего класса оказалась антиамериканской. Рабочие не могли называть себя рабочим классом и были заметно мотивированы буржуазным индивидуализмом (Halle 1984). Мое же мнение таково: это скорее следствие, а не причина поворота рабочих от социализма.

Конечно, как считает Липсет и подтверждают главы моей работы, американское государство, в отличие от прочих реакционных государств, не усиливало идентичность рабочего класса. Среди рабочих не возникло общенационального классового единства вследствие общей борьбы за гражданство в отличие от большинства европейских стран. Тем самым обычные расхождения между квалифицированными и неквалифицированными рабочими, различными отраслями промышленности и регионами, этническими и религиозными общинами не нивелировались общими политическими нуждами, напротив, они усиливались политическим федерализмом и фракционизмом. В некоторых странах континентальной Европы рабочий класс был лишен общенационального гражданства, всеобщее угнетение в масштабах страны было направлено против требований рабочими гражданских и политических прав. Стратегии основных классовых врагов и режима вынудили рабочих к восприятию концепции всеобщей борьбы, общенациональному классовому единству и обращению к государству. Такое вызванное политическими причинами классовое единство отсутствовало в США. Позднее особенные фрагментирующие эффекты господствовавшей мелкобуржуазной идеологии — фронт и этнические расколы — внесли свою лепту в развитие событий. Но уже изначально включение белых рабочих-мужчин в милитаристское, капиталистически-либеральное, партийно-демократическое федеральное государство усилило секционизм и фракционизм в их среде и сделало возможным упадок классовой идентичности в США.

Социалистические идеологии требуют ощущения тотальности и альтернативы. Но капиталистические производственные отношения не дают опыта социальной тотальности. Максимальным приближением к реальной, ощутимой тотальности является отдельное предприятие или профессия либо отрасль промышленности, а эти организации пересекаются друг с другом. Единственной ограниченной сетью, порождаемой самим капитализмом, является его глобальное проникновение, которое не ощущается никем как сообщество. Таким образом, макроэкономические тенденции капитализма редко ощущаются как тотальные разными людьми одинаковым образом. Взлеты



и падения могут по-разному влиять на различные фирмы, отрасли и рабочих разного уровня квалификации. Рабочие могут реагировать на эти тенденции агрессивно, но лишь секционно в отдельной профессии, отрасли и регионе. Агитация, направленная на национальное правительство, дает тотализирующее единство этим отчаянным движениям. Класс и нация взаимно усиливают друг друга аналогично секционизму с местно-региональными идентичностями. Без этого рабочее движение оказывается разделенным на состоящих в профсоюзах квалифицированных инсайдеров и неорганизованных неквалифицированных аутсайдеров. Именно такое разделение доминировало в истории рабочего движения США. Оно не сумело артикулировать чувства тотальности властных отношений или развить им альтернативу, что стало ясно к 1914 г.

США не были исключительными, но стали «крайностью». Это произошло не потому, что у рабочих не было поводов для недовольства а потому, что американские политические кристаллизации усилили сегментаризм и секционизм в рабочем движении. Крайний случай США демонстрирует, что могло бы произойти в том несуществующем контрфактическом случае, если бы капитализм был действительно транснациональным, то есть если бы битвы за государство не были связаны с трудовым процессом. Маркс был убежден, что это приведет к появлению единого рабочего класса, нацеленного на социализм, но вместо этого такой ход событий привел бы к глубоко секционным и сегментарным сражениям. Без сражений за партийную демократию класс капиталистов мог бы стать действительно господствующим, каким он вновь угрожает стать в современном, более транснациональном мире.

## **ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ РОССИЯ: САМОДЕРЖАВНЫЙ МИЛИТАРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ**

В России исследуемого периода большими, хотя и неровными рывками проходила индустриализация и трансформация сельского хозяйства<sup>6</sup>. В 1861 г. было отменено крепостное право, положив начало аграрным битвам, анализируемым в главе 19. После примерно 1900 г. в Россию пришла вторая промышленная революция, в то время как первая все еще была в начале своего

---

6. По вопросу рабочего класса я опирался в основном на исследования Bonnell 1983, Mandel 1983, Smith 1983: 5–53 и Swain 1983. В книге Burawoy 1984 я нашел интересные сравнения заводских режимов в Англии, США и России. По расхождению между режимом и интеллигенцией я использовал работы Haimson 1964–1965,

пути. В городах появились более крупные фабрики и густонаселенные пролетарские пригороды. Российский промышленный капитализм породил более концентрированный рабочий класс, чем в других странах, что часто считается историками важной причиной революции. Такая концентрация действительно привела к появлению более крепкого, укорененного в сообществах рабочего класса, чем можно было ожидать от уровня развития России или доли промышленных рабочих в общем числе рабочей силы. Но поворот России в сторону революции был больше следствием ее политических кристаллизаций, чем размеров фабрик.

В том, что касалось представительской кристаллизации, Россия находилась на противоположном от США полюсе. К 1900 г. Россия оставалась единственной самодержавной монархией в Европе без каких-либо претензий на партийную демократию — страной, в которой государственные элиты и партии в основном взаимодействовали как придворные фракции. Россия также выделялась своим милитаризмом, удерживающим империю, окружавшую центральные русские территории (хотя милитаризм Великобритании также удерживал прилегающую к ней Ирландию), и этот милитаризм был необычайно выражен как внутри страны, так и геополитически. Российское государство кристаллизовалось как капиталистическое, но так же как весьма монархическое, милитаристское и централизирующее (хотя к нему и неприменим термин «национальное» или «нация-государство»).

Но даже восточная окраина западного идеологического сообщества испытала на себе более либеральное наследие Просвещения. Как мы видели в главе 14, чем позднее наступало экономическое развитие, тем явственнее появлялась технократическая интеллигенция, претендующая на знание как науки, так и будущего. Среди русских профессионалов, государственных служащих, дворянства и аристократии возникла частично независимая и обладающая самосознанием интеллигенция, выдвигавшая альтернативные версии прогресса. Государственные элиты разбились на фракции. Правыми были придворные партии, выступавшие за просвещенный абсолютизм и подталкивавшие царя к стратегиям XVIII в. — собственности для бывших крепостных, всеобщему образованию и частному гражданству. Консерватизм также приобрел более популистские тона, призывая царя стать главой русского народа или даже всех сла-

---

Besaçon 1986 и Hobson 1991. Политика царского режима по отношению к рабочим исследуется в: McDaniel 1988, а репрессии против рабочих — в: Goldstein 1983: 278–287.

вян либо всего православного сообщества. Был также и левый популизм. Либералы выступали за гражданские и частичные политические права. В результате столкновения местного популизма с европейским социализмом возникли революционные анархисты и социалисты. В других странах столь различные стратегии появлялись в разных общественных условиях, в России же интеллигенция обсуждала все патентованные рецепты одновременно, как показывают нам романы Достоевского. Альтернативные политические идеи смешивались, хотя возможности их широкого проникновения были до некоторой степени ограничены.

На государство давили нестабильность извне и партии изнутри. По мере расширения гражданских функций государства в конце XIX в. рос и его фракционизм. «Огражданствление» вело, как и везде, к увеличению умиротворяющих мер государства, но лишь одной фракцией и не всегда доминирующей. Государственные департаменты и чиновники разного происхождения предлагали различные стратегии — от военных репрессий с промежуточными вариантами в виде патерналистского полицейского регулирования до ограниченного умиротворения и автономии организаций рабочих. Примечательно, что министерства финансов и безопасности обычно выдвигали противоположные предложения.

У режима было много вариантов действия, и ни один из них не был неизбежным. Это государство кристаллизовалось как самодержавное. Окончательные стратегии власти одобрялись лично монархом, слово которого было законом, министры отчитывались лично ему, предпочтения, характер и целеустремленность имели большое значение. Увы, талантами последние Романовы не блистали. Последним царем с четкой стратегией, направленной на просвещенный, пусть и консервативный абсолютизм, был Александр II, убитый в 1881 г. Александр III, правивший до 1894 г., совмещал индустриализацию с рефлекторными репрессиями. Николай II, принявший высшую власть в стране, при столкновении с еще большими проблемами проявил неуверенность как в семейных делах, так и государственных. А подобные качества самодержавных монархов играли огромную роль. Не обладая собственным представлением о перспективах, осаждаемый советами и предложениями других, включая истерики жены Александры, Николай, как и его двор, лавировали вокруг нерешительного милитаризма.

Называть политику этих разбитых на фракции элит стратегией означало бы вводить читателя в заблуждение. Большая часть традиций и инстинктов были реакционными и авторитарными. Но, сталкиваясь с проблемами, элиты колебались между

минимальными реформами и жестокими репрессиями, в итоге склоняясь к последним из-за инстинктивного страха перед независимыми силами, которые возникли бы в гражданском обществе. Самодержавные репрессии в России были не осознанно выбранной стратегией, а скорее результатом дрейфа режима от одной стратегии к другой. Они были непригодны для обеспечения порядка, удовлетворения требований тех, кто находился вне государства, или для повышения морали тех, кто был в структуре государства. Многие, как я уже подчеркивал выше, зависело от личности самого царя.

В России бал правили государственные элиты, а не капиталисты. Они реагировали на рабочие союзы, забастовки и социалистические партии так же, как и на все проявления коллективной самоорганизации, то есть запрещали их как угрозу общественному порядку. К разгону демонстрантов или забастовщиков регулярно привлекались вооруженная полиция и войска. В период с 1895 по 1905 г. против демонстраций и забастовок армию использовали почти две тысячи раз. Рабочие, переезжавшие на фабрики, получали от правительства паспорта, терявшие силу в случае, если рабочие разрывали трудовые контракты. Для регулирования трудовой деятельности правительством были разработаны детализированные своды правил. Физические наказания и персональная повинность работодателям и управляющим были частью этого кодекса, во многом заимствованного из армии. В 1917 г. этот опыт, общий для рабочих и крестьян-солдат, еще аукнется для режима и капиталистов! Даже когда государственные элиты пытались найти пути соглашения, они проводили его тяжелой рукой патернализма. Среди более любопытных профсоюзов, рожденных капитализмом, были так называемые зубатовские общества, спонсируемые шефом московской полиции с 1896 г. Они воплощали противоречия между искренним желанием реформистов типа Зубатова проводить нейтральный патернализм в трудовых отношениях, с одной стороны, и конечным переходом на сторону сил порядка и собственности — с другой. Эти союзы в итоге прекратили свое существование в ходе революции 1905 г. (McDaniel 1988: 64–88). У рабочих не было гражданских прав, не говоря уже о политических, но их также практически не было и у крестьян или средних классов.

В итоге у рабочего движения *отсутствовала* какая-либо умеренная стратегия — протекционизм, мутуализм, экономизм, реформизм, способная свободно организовать рабочих для защиты их интересов. Отсутствовала сколько-либо стабильная юридическая или институционализованная система для регулирования трудовых отношений. Существовало немало приме-

ров негласного практического сотрудничества за воротами фабрик, в которое оказывались вовлечены отдельные министры, провинциальные губернаторы и полицейские начальники. Некоторые из них обещали реформы, которые не могли провести существующие администрации. Синдикализм в рабочей среде также не мог заявить, что реформы можно осуществить без государства, хотя его анархическое крыло и прибегло к терроризму. Буржуазные демократы сближались с социалистами-этатистами, имея общий опыт милитаризма. К 1900 г. демократы — и буржуазия, и рабочие — называли себя социалистами, обсуждая работы Маркса и споря о том, что демократия требует общих экономических и политических преобразований. Большинство социалистов, загнанных в подполье — к революционным мечтам и заговорам, стремились к этатистским решениям.

Так как темпы индустриализации не позволяли ремесленникам «созреть» естественным путем, цеховые организации и секционизм были слабы. Они были уничтожены с помощью государственных репрессий. Государственные элиты и работодатели в России, в отличие от других стран, редко проводили различия между более или менее ответственными или уважаемыми рабочими. Квалифицированные рабочие практически не получали уступок, которые могли бы отделить их от масс. В российском рабочем движении практически не было места секционизму. Даже при широком обсуждении социального страхования с помощью государства — вопроса, который делил рабочих по уровню и гарантированности их дохода в других странах, рабочие организации в России потребовали универсальной спонсируемой государством схемы. Элиты и капиталисты, часто даже не желая того, толкали рабочих в классовые организации, возглавляемые революционерами. Ленин осознал это к 1899 г.:

На русском рабочем классе лежит двойной гнет: его обирают и грабят капиталисты и помещики, а чтобы он не мог бороться против них, его связывает по рукам и ногам полиция, затыкая ему рот, преследуя всякую попытку отстоять права народа. Всякая стачка против капиталиста ведет к тому, что на рабочих напускают войско и полицию. Всякая экономическая борьба необходимо превращается в политическую, и социал-демократия должна неразрывно связать и ту и другую в *единую классовую борьбу пролетариата* (Lenin 1969: 36). Этот аргумент он повторяет в 1902 г. в работе «Что делать?».

В 1905 г. государственным элитам пришлось предпринимать более осознанные действия. Их способность к управлению страной была подорвана проигранной войной с Японией. В даль-

невосточных губерниях происходила деморализация плохо снабжаемой и отвратительно руководимой армии, в городах начались перебои с продовольствием, во многих регионах крестьяне, пользуясь вакуумом власти, захватывали земли. Примерно 2,8 млн рабочих бастовали в 1905 г., вдвое больше, чем в любой стране в рассматриваемый период. Рабочий протест переплетался с демонстрациями жителей городских общин и хлебными бунтами, а также с региональными движениями за национальную автономию (недостаточно изученными как западными, так и советскими историками). Бунты и демонстрации 1905 и 1917 гг. в некоторых смыслах скорее напоминали улично-общинные революции ранней буржуазной эпохи и времен чартизма, чем выступления, сосредоточенные вокруг рабочего места в эпоху современного рабочего класса. Революции в России вывели на улицу как мужчин, так и женщин, размах эмоций был вызван во многом семейной и общинной поддержкой более узкой экономической и политической борьбы. Самосознание рабочего класса России — уникальное для этого периода — стало *тотальным* и нацеленным против государства, которое подвергало высокоцентрализованному и политизированному угнетению практически каждый аспект их жизни.

Но пока ни одна из больших групп населения не имела революционных целей или связанной альтернативы, кроме обычных жалоб в форме традиционных петиций. В городских центрах революция 1905 г. представляла собой массовую широкомасштабную демонстрацию недовольства. Это движение также не было общенациональным. Организованные в разных городах и регионах мятежные солдаты, крестьяне, городские демонстранты и местные национальные диссиденты действовали самостоятельно, и по отдельности с ними расправиться не представляло возможности. Многие части оставались верными режиму, и этого оказалось достаточно. В Санкт-Петербурге только во время Кровавого воскресенья солдаты убили не менее 130 и ранили 300 демонстрантов, по поводу чего Ленин (противореча своим же более ранним аргументам, приведенным в начале этой главы) отметил: «Революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни» (Ленин 1967; по-английски процитировано по Kochan 1966: 80). В следующем году войсками было убито уже 2,5 тыс. людей, в первую очередь во время подавления национальных выступлений в Польше, смешавшихся с рабочими протестами. Государство отвечало на разрозненные акты террора массовыми казнями.

Но теперь царь был напуган, и не без причины, так как добавившиеся к выступлениям рабочих массовые крестьянские,

национальные и городские протесты с требованием гражданских прав грозили исчерпать репрессивные ресурсы режима, только что проигравшего войну. Умеренные ухватились за этот шанс и убедили его, что такие соперники России, как Германия и Япония, будут побеждены, только если государство объединит реформы с аграрным и промышленным развитием. Государство должно было даровать частичные гражданские и политические права. Поэтому была созвана Дума, хотя и через голосование, с сильно различающимся числом голосов представителей различных классов. В промышленности правительство пошло на ряд мутуалистских уступок: на короткий период с марта 1906 г. были легализованы профсоюзы при условии, что они остаются в стороне от политики и воздерживаются от забастовок поддержки. Даже патерналистская концепция прав профсоюзов была лучше, чем ничего. Рабочее движение раскололось на оптимистичных мутуалистов и реформистов (пересекавшихся с либеральными членами правящего режима, надеявшихся на появление аналогично Западу профсоюзов с социалистической риторикой и практическими компромиссами), с одной стороны, и на скептиков-революционеров — с другой.

Государство явно шло к «авторитарному инкорпорированию» в немецком стиле. Это требовало осторожного комбинирования сегментарных соглашений и репрессий. Очевидной тактикой было бы объединение буржуазных требований гражданских прав, разработка вносящих раскол аграрных программ с подавлением рабочих и регионально-национальных диссидентов. Но сердце режима презирало буржуазный либерализм, так же как его разум боялся масс. Чтобы сохранить контроль над реформистским движением, либералам было необходимо сопротивление рабочих, крестьян и регионально-национальное сопротивление. Но даже экономистические союзы, легальные марксисты (legalists), испытывали давление мутуалистических требований расширения организационных прав и политического гражданства. Эти требования были шире тех уступок, на которые готовы были пойти царь или двор. Николай II колебался и прислушивался к советам жены. Думу разгоняли дважды, ее состав менялся в тщетных попытках сделать ее послушной. Либералы потеряли свои места и влияние среди рабочих. Альтернативная идея появилась у влиятельного Столыпина. Он призывал к экономическому развитию, военной модернизации и аграрной реформе с целью разделить крестьян, ограничив при этом гражданство, и подавить городские индустриальные протесты. Состав третьей Думы в очередной раз был ограничен — 1% землевладельцев имели половину мест. В конечном итоге это гарантировало послушную Думу, способ-

ную функционировать весь пятилетний срок. Возобладала столыпинская стратегия сегментализма, направленная на подавление рабочего движения. В июне 1907 г. последовал запрет всех союзов, оставив легальных марксистов озлобленными и получившими опыт общенациональной организации. Лидеры рабочего класса и радикальной буржуазной интеллигенции находили все больше сторонников революционных альтернатив, хотя не могли себе позволить открытых действий. Примерно к 1910 г. возможные альтернативы сократились до интерпретаций этатистского марксизма тремя нелегальными партиями: эсерами, меньшевиками и большевиками. Но при массовых репрессиях государства как на заводах, так и в рабочих сообществах ни экономисты, мутуалисты и реформисты, ни революционные синдикалисты или анархисты не могли добиться успеха среди рабочих и их сообществ.

Столыпин был убит при загадочных обстоятельствах в 1911 г., и режим вышел на новый виток колебаний. Цензура ослабла. Профсоюзы были снова наполовину допущены к общественной жизни, частично легализованы, но периодически подвергались гонениям. Легальные марксисты сталкивались в 1906–1907 гг. с этим же противоречием, когда им позволяли создавать организации, неспособные проводить реформы. Когда забастовки и демонстрации разрастались, в ход шли войска. Тем самым военные репрессии способствовали лидерству революционеров в рабочем движении, особенно после Ленского расстрела 1912 г. Гибель 200 рабочих вызвала массовые забастовки во всех крупных промышленных центрах, продолжавшиеся до 1914 г.

Возможно, режим и пошел бы на реформы после модернизации армии и столыпинской аграрной реформы, которые по иронии судьбы должны были свершиться примерно к февралю 1917 г., но Германия не оставила России шанса (см. главу 21). Война в первую очередь усилила позиции консерваторов и репрессии. Но когда дела на фронте пошли плохо, армия, распределение хлеба и правительство потеряли связь друг с другом. У разразившейся в 1917 г. новой революции был еще более широкий базис: к рабочим, крестьянам, националистам и голодным бунтовщикам присоединились недовольные офицеры и мятежные солдаты и матросы. Ключевую поддержку большевикам среди рабочих оказали бывшие легальные марксисты, ныне марксисты-революционеры.

Последовательные репрессии, беспорядки, мягкие реформы, колебания и вновь еще более жесткие репрессии объединили либералов и умеренных как среди рабочего класса, так и среди буржуазии и интеллигенции. К 1914 г. стратегия режима так и не была определена, зато множились ряды его противников.



Принципиальное требование общенационального гражданства не отрицалось, и некоторые его практики даже спорадически применялись. Кристаллизации государства были различными и непоследовательными, зато в кризисные моменты режим, казалось, проявлял свою истинную сущность. Если реформаторы не могли добиться успеха, лидерство были готовы взять революционеры.

Без сомнений, большинство русских рабочих в 1914 г. и даже в 1917 г. были гораздо консервативнее агитаторов в двух смыслах: они скептически относились к революционным альтернативам и надеялись на реформы легальных марксистов, умеренных представителей режима и даже царя. Но за прошедшее десятилетие в поле зрения рабочих не возникло сколько-либо значимого умеренного или секционистского движения. Историки отмечают существование разделительного барьера между квалифицированными рабочими металлургической и подобных отраслей и молодыми неквалифицированными рабочими, вчерашними крестьянами, часто женщинами, составлявшими фабричный и городской пролетариат (см. McKean 1990). Но это разделение не породило различных рабочих организаций, как произошло в США и в меньшей степени в Великобритании. Скорее это привело к лидерству первых над вторыми в общей революционной борьбе.

Если бы реформаторы смогли перевести российскую монархию на более западный инкорпорирующий путь — англосаксонский или германский, рабочее движение страны, вероятно, миновало бы революционную фазу. В действительности оно вступило в нее, как и в случае с другой экстремальной супердержавой — США, и это имело огромные глобальные последствия. Война и крестьянство сыграли очевидную и необходимую роль в развитии такого сценария. Сами по себе ни малочисленный российский пролетариат, ни его марксистские лидеры не могли бы успешно осуществить революцию. Я рассматриваю крестьянство в главе 19, а Первую мировую войну и большевистскую революцию — в следующей. Но даже без войны и крестьянство, и российские рабочие были объединены в класс и приведены в точку восстания вместе с радикальной буржуазией и региональными националистами, общим опытом жизни под управлением колеблющегося, но тем не менее высоко милитаристического, авторитарного и централизованного государства не только в сфере занятости, но и в семейной жизни. Эксплуатация была как интенсивной, так и экстенсивной. Если бы государство было поставлено на колени другими силами и они же сломали его репрессивную руку, они бы подняли восстание пусть и с непредсказуемыми результатами.

## ФРАНЦИЯ: КОНКУРИРУЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, СОПЕРНИЧАЮЩИЕ ВАРИАНТЫ СОЦИАЛИЗМА

Я приписываю большую часть отличительных черт французского рабочего движения политическим кристаллизациям во Франции<sup>7</sup>. Впрочем, особенности индустриализации этой страны также наложили свой заметный отпечаток. Индустриализация во Франции началась рано, но шла необычно низкими темпами. Например, даже после отраслевой депрессии 1882–1890 гг. все еще существовали ручные ткачи, хотя их давно уже не было в Великобритании или Германии. Ранние типы организаций рабочих, похожие на те, которые мы находим в других странах, имели здесь больше шансов на выживание. Мастера-ремесленники дольше доминировали в профсоюзах. Благодаря революции крестьянские семьи цепко держались за свои фермы и труд, замедляя рост городов и промышленного производства. Например, в 1850-х гг. от 54 до 66% рабочих в пяти небольших городах в районе Лиона занимались тем же ремеслом, что и их отцы. В течение десятилетия после 1902 г. их доля все еще составляла от 43 до 53% (Lequin 1977: I, 222, 251). Нехватка трудовых ресурсов вызвала дефицит потенциальных штрейкбрехеров и высокую долю работающих замужних женщин. Промышленность в аграрных регионах Франции развивалась из соображений близости к источникам трудовых ресурсов и потребителям.

Тем самым появившийся пролетариат был децентрализованным. Промышленность и сельское хозяйство, труд и местные сообщества были слабо дифференцированы, лишь немногие семьи жили исключительно на заработок в промышленности. Индустриализация создавала обычные рабочие организации. Ассоциации поденщиков (*compagnonnages*) распались, уступив место обществам взаимопомощи, кустарям угрожали капиталисты-предприниматели, использовавшие машины, женский и детский труд. По сравнению с Великобританией пролетаризация шла более умеренными темпами, особенно в текстильной промышленности на севере страны, которая оставалась в форме семейного труда, контролируемого работодателями, в отличие от центров мануфактурного производства, крупнейшими из которых были Париж и Лион (Aminzade 1981, 1984). До появления новых фабрик в тяжелом машиностроении в 1900 г. не существовало четкого пространственного деления между домом, заводом

---

7. По рабочему движению во Франции я опирался в первую очередь на следующие работы: Noland 1956; Lefranc 1967; Ridley 1970; Perrot 1974; Moss 1976.

и городом, когда профсоюзы сосредоточивались на фабриках в основном с рабочими-мужчинами, хотя и влияя на окружающие «красные пригороды» (Perrot 1986; Cottereau 1986).

Эти характерные черты индустриализации во Франции должны были бы замедлить развитие рабочего движения. В цифрах, возможно, так и было. Но по своему классовому самосознанию и организации французские рабочие активисты были «скоро спелыми» в основном потому, что конкурирующие политические кристаллизации поддерживали жизнеспособность революционных традиций. Обеспечена была лишь общенациональная кристаллизация, потому что все соперничавшие партии выступали за довольно централизованное государство. Но вопрос политического представительства являлся предметом состязания республиканских демократов, монархистов и бонапартистов. Как следствие, капитализм оставался довольно реакционным, а внутренний милитаризм процветал.

Перед лицом таких угроз политические социалисты легко взяли под контроль рабочие организации в Париже и Лионе. Ремесленники требовали партийной демократии и прав на организацию еще от монархических режимов 1815–1848 гг., и это форсировало общенациональную классовую организацию, далеко превосходящую уровень, который мы могли бы ожидать от вяло развивающейся индустриализации. Санкюлотство трансформировалось в ремесленнический социализм раньше, чем в других странах, как открыл 25-летний Карл Маркс в ссылке в 1843 г. в ходе своих первых встреч с рабочим классом в Брюсселе и Париже. Республиканские социалисты создали в 1830-х гг. сначала в Париже, а потом по всей стране идеологическую силу — сеть журналов, клубов с читальными залами и кафе. К 1840-м гг. социалисты преобразовали общества взаимопомощи в единую централизованную организацию по всей стране, распространив ее (в зачаточном виде) и на менее квалифицированных рабочих.

В 1848 г. ассоциации ремесленников сформировали «маленькие республики» в авангарде революции, подтолкнув ее влево (Gossez 1967; Lequin 1977; Aminzade 1981: Chapter 6; Sewell 1986; Traugott 1988). Разгромленные и отброшенные на локально-региональный уровень социалисты сохранили за собой негласный контроль в рабочих организациях в период правления Наполеона III (1851–1870), отвергая его попытки инкорпорировать их ассоциации взаимопомощи, чем он надеялся разделить рабочих на квалифицированных и неквалифицированных. Респектабельный секционный тред-юнионизм едва проявлялся, так как перед лицом широких всеобщих репрессий революционная традиция подпитывала классовую организацию. Ра-

бочее движение трансформировало революционную риторику от мелкобуржуазного якобинства через ремесленнические формы бланкизма и мутуализма Прудона в более пролетарский марксизм и синдикализм.

Начиная с 1875 г. Франция внешне напоминала США в плане «мужской» партийной демократии. Рабочие-мужчины пользовались политическими правами. Однако в чем-то ограниченная партийная демократия не была надежно институционализирована, существуя благодаря непрочным центристским коалициям. В 1875 г. республика одержала победу всего в один сенаторский голос над разобщенными монархистами. Лишь в 1879 г. она получила отчетливо выраженный мандат избирателей. Режим упорно не предоставлял рабочим права на самоорганизацию. Для левых 1870-е гг. были временем военных репрессий против Парижской коммуны (30 тыс. убитых) и продолжавшейся враждебности режима по отношению к рабочему движению. Красный цвет, цвет крови, стал цветом рабочих. Левый экстремизм оставался жизнеспособным все более в открытых формах, уходя корнями в местные и региональные сообщества рабочего класса. В 1880-х гг. режим начал акции умиротворения в области коллективных гражданских прав, для начала амнистировав уцелевших коммунаров, а затем в 1884 г. легализовав профсоюзы и забастовки. Но по-прежнему сохранялись угрозы монархизма и бонапартизма, подпитываемые фракциями в армии, клерикализмом и конкуренцией между государством и церковью. Государство с ограниченной партийной демократией имело врагов как среди левых, так и среди правых, которые, как, например, относившийся к правым офицерский корпус, укрылись в самом государстве.

Начиная с 1880-х гг. гражданские функции государства расширились, как и везде, совпав с позицией центристских республиканцев. Его внутренний милитаризм становится более беспристрастным и осторожным. Все государственные элиты и доминирующие партии заинтересованы в порядке, и его сохранение является их главной внутренней функцией, так как без порядка они падут. Элиты могут отвечать на общественное недовольство либо полувоенными репрессиями, либо уступками. Если они считают, что бунты представляют большую угрозу общественному порядку, чем исполнение желаний народа, и опасаются самой армии, они могут пойти на уступки. Государство может идти на уступки, пока не затронуты основные права собственности. Большинство государств XIX в. не было полностью под властью промышленного капитала, и, кроме России и США, их юридическая и полицейская сети власти часто вмешивались в целях умиротворения. Из-за опасений как левых,

так и правых сил, включая офицерский корпус, французское государство было чувствительно к этому вопросу.

Количественный анализ забастовок во Франции XIX в., проведенный Шортером и Тилли (Shorter and Tilly 1974: 30–32), показывает постоянные вмешательства префектов, обычно по просьбам рабочих, для предупреждения или прекращения бунтов, а также то, что рабочие добивались большего при вмешательстве государства, чем когда оно не участвовало в конфликте. Префекты и субпрефекты действовали по-разному: некоторые искали пути к компромиссу, чаще они принимали сторону работодателей, но большинство прибегало к тем средствам, которые могли быстро успокоить их округа и сохранить им хороший послужной список (Perrot 1974: II, 703–714). Буржуазные республиканские партии также действовали по отношению к рабочим беспорядочно, прибегая то к репрессиям, то к соглашениям, чтобы заручиться поддержкой против правых.

В ответ на хаотичные кристаллизации государства, которые, в отличие от России, так и не получили конечной формы, французское рабочее движение обрело свою основную характерную черту — идеологический фракционизм. Оно качалось от мутуалистского и реформистского сотрудничества с буржуазным радикализмом до более революционных альтернатив, рожденных разочарованием в республиканских партиях и государственных элитах. Это разочарование приняло три основные формы: социалистическая версия якобинской традиции, скорее политическая, чем экономическая; терроризм анархистов, который приутих в 1890 г.; синдикалистский тред-юнионизм. Синдикализму способствовало сравнительно децентрализованное распространение промышленности. Экономизм, мутуализм, социал-демократия, синдикализм и марксизм конкурировали и конфликтовали, ослабляя общее единство рабочего класса.

Французские капиталисты, как и в любой другой стране, начали наступление на труд (примерно в 1900 г.), когда вторая промышленная революция стала угрожать контролю квалифицированных рабочих. Ремесленники были вынуждены защищать тред-юнионизм. Как и в большинстве стран, до XX в. профсоюзы и забастовки были более характерны для средних предприятий, чем для крупных фабрик (все еще эффективно управляемых их владельцами) (Lequin 1977: II, 129), и в городах, где ремесленники существовали параллельно индустриальным рабочим, размах рабочего протеста был больше, чем там, где ремесленников не было (Hanagar 1980). Тем не менее большинство французских профсоюзов были малочисленными и им не хватало единства, чтобы одолеть работодателей. Идеологический фракционизм процветал.

Профсоюзы оставались формально слабыми, с небольшими взносами, практически полностью мужскими по составу, хотя и с низким секционизмом по уровню квалификации. Активисты, что необычно для XIX в., в надежде на социальное страхование и другие коллективные блага смотрели больше на государство, чем на профсоюзы. Когда в конце века профсоюзы раскрутили протекционистские биржи труда (*bourses de travail*), они быстро стали организациями синдикализма прямого действия с массовой базой. Политизированность рабочих возросла во время борьбы за избирательные права для мужчин, коалиции с радикальными социалистами в 1890-е гг. и во время движения за реформистский социализм после 1906 г. Но эти движения также и раскололи активистов по вопросу отношений с радикальными буржуазными партиями, а сосредоточение на политике с забвением промышленности привело некоторых активистов к революционному синдикализму. Основную федерацию профсоюзов — Всеобщую конфедерацию труда (ВКТ) — с момента ее зарождения в 1895 г. возглавляли синдикалисты. В их руках было то же средство против вероятного реформистского большинства среди ее членов, что и у Гомперса в США, — уклон в уставе, дающий предпочтения общенациональным, а не местным аффилированным организациям.

Синдикалисты усилились с 1899 г., когда Александр Мильеран стал первым западным социалистом в составе буржуазного кабинета. Теперь социалисты были политически расколоты — правые вместе с Мильераном оказались инкорпорированы в радикальные кабинеты, а левые вместе с синдикалистами избегали участия в правительствах и провозглашали массовую забастовку как революционное оружие (Brescy 1969). ВКТ была довольно малочисленной (менее половины входящих в профсоюзы рабочих, то есть менее 5% всех рабочих), но она проводила массовые забастовки и демонстрации. Однако не стоит забывать, что в этот период французская политика кристаллизовалась в меньшей степени вокруг класса, а в большей — вокруг радикальной *нации*, в которой господствовало централизующее движение республиканцев, нацеленных на то, чтобы перехватить гражданский контроль над образованием и семейным правом у антицентралистской, базирующейся на локально-региональном уровне католической церкви. Так как рабочие активисты в целом поддерживали это движение, синдикалисты не могли мобилизовать *тотализирующее* классовое самосознание — синдикализм выступал за экономические вопросы, а партии — за политические. Эти расколы были следствием в большей степени политических кристаллизаций, а в меньшей — особенностей французской промышленности.

Но в отличие от федеральных США широкое развитие революционной республиканской традиции, особенно якобинства, подпитывало национальную централизацию и тотализирующие идеологии. Лидеры французских рабочих с гордостью называли себя революционерами, признавая всеобщность французского национального капитализма и декларируя конкурирующие альтернативные варианты социализма. Хотя между профессиями, отраслями и уровнем квалификации и появились обычные линии разлома, ни одна из них не привела к появлению четко секционных организаций и эти разделения не соответствовали идеологическим фракциям и не усиливали их. После поражения в общей забастовке 1906 г. активисты приветствовали объединяющие таланты Жана Жореса. Его Социалистическая партия, созданная в 1905 г., соединила революционную риторику и политический реформизм — всеобщее избирательное право, муниципальный социализм и расширение социального обеспечения. Улучшились даже отношения со Всеобщей конфедерацией труда, которая научилась сочетать революционную риторику, централизованную организацию и коллективные переговоры. К 1914 г. существовало идеологически единое движение социалистов и синдикалистов. Оно провозгласило намерения осуществить революцию, хотя есть много сомнений относительно его реальных способностей это сделать (Gallie 1983: 182–957<sup>8</sup> и Lequin 1977 II: 297–370 особенно скептически по этому вопросу).

Французский социализм, подобно прочим, фокусировался на экономике и политике занятости мужчин. Многие замужние работающие женщины не вступали в профсоюзы. Трудовое движение в целом игнорировало их. «Красные пригороды», несмотря на свои праздники и флаги, редко проводили политику, которая вовлекала бы целиком семьи рабочих. Одной из важных причин такой ситуации, как и в США, было мужское избирательное право. Активные социалисты и синдикалисты уже получили его и выказывали мало интереса к преимущественно мелкобуржуазному феминистическому движению, требования которого концентрировались на вопросах, не касающихся условий труда: избирательном праве для женщин и брачно-семейном праве. В большинстве стран быстрое обретение избирательного права мужчинами означало отсрочку его для жен-

---

8. Лично я в этом пункте не согласен с Галлье. Он прав, оценивая как минимальную революционную силу предвоенного рабочего движения во Франции (он приписывает его более позднюю возросшую революционную силу Первой мировой войне, и этот тезис я разбираю в третьем томе), но ошибается, столь же низко оценивая его революционный характер, а скорее из-за множества фракций — характеры. Марксизм и синдикализм уже укрепились к 1914 г., а не были следствиями Первой мировой войны, как он полагает.

щин. В период, когда столкновения рабочих с работодателями были в основном мужским делом, политическая борьба с режимами, воплощавшими «мужское» избирательное право, также часто разделяла мужчин и женщин. Социалистические идеологии не были глубоко укоренными в общем опыте жизни рабочего класса.

В целом этот раздробленный на фракции, но не столь секционный социализм в основном сводился к внедрению французских рабочих в государство, которое было институционализовано как высокоцентрализованное, но при этом разбитое на фракции практически по любому вопросу, особенно по вопросам партийной демократии и внутреннему милитаризму.

### ГЕРМАНИЯ: ПОЛУАВТОРИТАРНОЕ ИНКОРПОРИРОВАНИЕ

К 1914 г. Германия становится крупнейшей промышленной державой в Европе с крупнейшей социалистической партией в мире. Она представляет собой наилучший пример внутренне репрессивного милитаризма, который осуществлял довольно хорошо рассчитанную модернизацию. Трудовые отношения в царской России представляли собой смесь рефлекторных реакций и неуверенных колебаний, а режим Германии попытался провести стратегию модернизации, чтобы приручить рабочий класс, при этом оставив его вне режима. Рот (Roth 1963) назвал это «негативным инкорпорированием» рабочего класса. Но если бы не ход и итоги войны, такая стратегия могла бы стать преобладающим способом институционализования классового конфликта в промышленном капитализме.

Экономический подъем Германии оказался переплетенным с отношениями политической и военной власти, как я показываю в главе 9. Индустриализации способствовали возглавляемый Пруссией таможенный союз (Zollverein), инфраструктуры коммуникаций и объединение нации. Индустриализация пошла дальше в Пруссии и в других консервативных лютеранских государствах, например в Саксонии, чем в либеральных или католических землях. Вскоре она получила ярлык полуавторитарного этатизма. Но были и экономические особенности. По сравнению с Великобританией или США небольшие кустарные ремесла, домашний труд и услуги сохранились лучше параллельно с необычной концентрацией тяжелой промышленности, создав выраженный дуализм структуры промышленности. Большинство квалифицированных рабочих начинали в кустарных ремесленных мастерских, чтобы затем перейти на крупные фабрики, и из-



начально социализировались в условиях ремесленнических ценностей. Также более острым было разделение по полу — очень мало женщин участвовало в постоянном производственном труде, хотя для существования семей их нерегулярная занятость имела большое значение. Организованный рабочий класс Германии был ремесленным, но при этом еще более мужским по составу, чем во Франции. Женщины составляли только 2% членов социалистических профсоюзов.

Но со всеми этими исключениями экономические черты немецкого рабочего движения в общем напоминали таковые в любой другой стране (Коска 1986). Как и везде, мастеровые и надомники при ухудшении своего материального положения первыми устраивали беспорядки, ремесленники более защищенных кустарных отраслей доминировали в первых стабильных профсоюзах, а фабричные рабочие (в основном текстильщики) оставались сравнительно послушными под контролем своих хозяев и чаще всего проигрывали забастовки. Ремесленники подвергались обычному экономическому давлению, особенно при стремительной и интенсивной второй промышленной революции. Рабочие в металлообрабатывающей и горнодобывающей промышленности (но не на железных дорогах, которые были тесно связаны с государством и армией) объединились с полу- и неквалифицированными рабочими фабрик и мастерских в массовое движение рабочего класса примерно к 1900 г. То, что это уже заметное движение, было следствием в первую очередь отношений политических сил (как считает и Тенфельд в Tenfelde 1985).

Глава 9 раскрывает представительскую и национальную политические кристаллизации в Германии. Революция 1848 г. подтолкнула немецкие государства и классы к важнейшим решениям. Государства вошли добровольно или были включены в национальное, пусть и частично федеральное государство под гегемонией Пруссии и предложили ограниченные партийно-демократические реформы для инкорпорирования буржуазии. Известные буржуазные партии колебались, но напуганные радикализмом рабочих употребили свой политический вес на поддержание общественного порядка. За ними последовало большинство мелкой буржуазии. Радикальные ремесленники оказались изолированными, что привело их к еще большей левизне. Они начали называть себя рабочим классом, координируя клубы ремесленников, образовательные общества, местные профсоюзы, а через политических эмигрантов поддерживали связь с наиболее продвинутыми европейскими социалистами. Но они были в меньшинстве, без денег, подвергаемые гонениям, неспособные сражаться с государством или мобилизовать по-

литические симпатии, чтобы остановить его милитаризм. Государственные и местные полицейские власти при поддержке множества внутренних таможенных постов между немецкими государствами контролировали ассоциации рабочих более жестко, чем в странах ближе к западу (Ludtke 1979). Рабочие вынужденно обретали защитное классовое самосознание. Но в Пруссии и лютеранских землях они также усваивали отчасти общенациональную государственническую политику.

Как только власть Пруссии была успешно институционализирована, режим несколько расслабился. В 1860-е гг. профсоюзы (в основном общества взаимопомощи) и даже забастовки, выражавшие прямые интересы рабочих, были узаконены большинством немецких государств, хотя и под бдительным присмотром полиции (у аграрных и надомных рабочих подобных прав не было даже после 1914 г.). Последовавшее распространение профсоюзов и забастовок оказалось секционизировано по отраслям и фракционизировано по регионам политикой и религией. Из 70 тыс. членов профсоюзов в 1870 г. 40% были связаны с либеральными ассоциациями, 40% — с социалистическими, а оставшиеся 20% были независимыми или католическими. Рабочие политические партии возникли в 1860 г. из образовательных ассоциаций в связи с неспособностью либералов поддержать требования полных гражданских и политических прав. Внезапное введение всеобщего избирательного права для мужчин в 1867 г. произвело именно тот эффект, на который рассчитывал режимом, — подорвало попытки либералов инкорпорировать рабочих в политику. Однако организованные рабочие не были склонны поддерживать проправительственные партии, и пропорциональное представительство привело к неожиданному следствию, позволив рабочим партиям постепенно проложить путь наверх через выборы. Рабочие партии развивали идеи реформистского социализма позже, чем во Франции, но намного раньше, чем в Великобритании или США, еще до формирования общенациональных союзов. Рабочие партии объединились в Социал-демократическую партию в 1875 г., а затем помогли местным профсоюзам земель перерасти в общенациональную федерацию профсоюзов. Социал-демократическая партия рано начала обретать свое общенациональное, государственническое и внутренне-лютеранское влияние на рабочее движение.

На этом этапе многое еще оставалось неопределенным. При создании германского рейха между 1867 и 1871 гг. Пруссия делала уступки либералам и расширила права прочих германских государств. Этот сложный процесс сделал режим необычно восприимчивым к существованию альтернативного класса

и национальных стратегий. Несмотря на всеобщее избирательное право для мужчин, прусская монархия сохранила огромную власть над рейхстагом, а также над отдельными землями (бывшими государствами). Возник массовый партийно-демократический избирательный процесс, но режим мог выбирать, какие партии допускать в свои советы. Мужчина-рабочий обладал лишь частичными политическими и гражданскими правами. Социал-демократы теперь выигрывали выборы в городских индустриальных областях, но марксистский характер их партии еще не определился. Рабочая партия вместе с католическими и буржуазными партиями все еще могла быть инкорпорирована как лояльная оппозиция, так же как Великобритания и (более условно) Франция.

Затем пришел Бисмарк, на какое-то время сознательно направив стратегию режима на полуавторитарное инкорпорирование. Будучи рейхсканцлером с 1871 по 1890 г., он предложил смешанный пакет гражданских прав, нацеленных на политику «разделяй и властвуй»: не допустить к политической власти радикальных представителей рабочих, этнических меньшинств и сепаратистов, одновременно нейтрализуя либералов из среднего класса, католиков и часть рабочих. У этой политики было четыре основных уровня.

1. Распространение прусско-германской гегемонии на Центральную Европу отвлекло бы внимание от внутренней классовой борьбы. Экономическая экспансия идентифицировалась бы с военной экспансией государства. Это рассматривается в главе 21.
2. Бисмарк внес раскол в ряды либералов, как описано в главе 9. Большинство влиятельных буржуазных партий были инкорпорированы в режим, оставив вовне лишь несколько либерально-радикальных, склонных теперь к союзу с рабочими партий.
3. Антисоциалистический закон ограничил коллективные гражданские и политические права рабочих с 1878 по 1890 г. Социал-демократическая партия, ее пресса и практически все крупные профсоюзы были запрещены, однако в соответствии с политически-военным частичным гражданством, распространявшимся на всех мужчин, они могли организовываться во время избирательных кампаний. Но этот прием не сработал. Секционизм, который рассчитывал взрастить режим, не проявился: какой бы квалификации ни был рабочий, он получал одинаковые права (в отличие от имущественного ценза в более либеральных странах). Исключения в запретах на период выборов также отдавали господство

над профсоюзами в руки социал-демократов. Даже после отмены антисоциалистических законов рабочие так и не получили полных гражданских прав. Права на создание ассоциаций были неполными, полиция и военные власти вмешивались в трудовые споры и были практически всегда на стороне работодателей. Милитаризм был скорее институционализирован. Хотя солдаты держали оружие, их сила была скорее ритуальной, чем реально насильственной. Как мы уже видели ранее, в ходе трудовых конфликтов рабочих в Германии было убито меньше, чем во Франции, и намного меньше, чем в США (обе страны относились к «мужским» демократиям). Это было авторитарным инкорпорированием, а не самодержавными или партийно-демократическими репрессиями. Например, аналогично австрийскому законодательству полицию следовало уведомить о митинге рабочих. Если она решит, что тема митинга не соответствует заявленной, полицейские надевали каски и с этого момента митинг становился незаконным и его участники должны были разойтись. Они почти всегда так и делали. Полицейская каска, лежавшая на видном месте на трибуне оратора, возможно, была *наглядным символом* полуавторитарного инкорпорирования рабочего движения.

Общее исключение из политики вместе с лидерством социалистов держало вместе квалифицированных и неквалифицированных рабочих, утверждая общие концепции классовой идентичности, во все более марксистской социал-демократической партии. Партия объединила государственный и нарочито революционный марксизм в своей Эрфуртской программе 1891 г. Хотя в немецком рабочем движении возникали типичные рабочие монополии в той или иной профессии, а также борьба между внешними и внутренними, профсоюзы были организованы не по секционному принципу. Принципиальным было идеологическое деление между крупными социалистическими (в основном лютеранскими) свободными союзами, католическими союзами и спонсируемыми работодателями желтыми профсоюзами, выражавшее внутренние рынки труда в тяжелой промышленности. В немецком рабочем движении не было места для синдикализма, так как в этот период невозможно было игнорировать союз монархии, милитаризма и капитализма (Saul 1985).

4. Бисмарк искал способы уменьшить притягательность классовой идентичности и социализма с помощью законодательства, воплотившего мнимые гражданские права. Обще-национальные пособия по болезни были введены в 1883 г.,

страхование от несчастных случаев — в 1884 г., пособия по преклонному возрасту и недееспособности — в 1889 г. Как отмечалось в главе 14, это первое в мире социальное государство имело ограниченный масштаб и его блага распространялись лишь на квалифицированных рабочих и тех, у кого оставались привилегии на рынках труда в тяжелой промышленности. Крупные работодатели к тому времени уже предоставляли жилье и прочие социальные блага своим рабочим, чтобы обеспечить себе стабильные трудовые ресурсы. Большинство из них поддержало эти законодательные инициативы. Союз между крупными промышленниками и государственными элитами, отмеченный в главе 9, придал секционизму внутренних рынков труда политическое значение. Социалистическая партия, социалистические профсоюзы и забастовки оставались делом квалифицированных рабочих на мелких и средних предприятиях до самого 1914 г. — гораздо дольше, чем в других странах. На тех же крупнейших предприятиях рабочие были более отделены от классовой солидарности (хотя большинство протестантов голосовали за социал-демократов) привилегиями внутренних рынков труда. Бисмарк не делал тайны из подоплеки своей политики социального обеспечения, заявляя, что уровни пенсии должны варьироваться в зависимости от дохода, потому что это «будет полезно для работодателя, так как будет включать высший класс рабочих, то есть наиболее важную опору каждого предприятия, тем самым поощряя стремление рабочих попасть в этот круг» (Stew 1979: 127). «Высший класс рабочих» мог тем самым получить минимальные «секционные гражданские права».

Бисмарк относился к редкому типу государственных деятелей, которые были чувствительны к расширявшемуся охвату современного государства, его действия обычно увязывали внутренние и международные стратегии. Четыре политических урока он вывел специально из своего восприятия военной слабости Франции, проявившейся в 1870 г. В отличие от Наполеона III он позаботился о том, чтобы большая часть среднего класса и даже часть рабочих поддержали германский милитаризм. Если мелкая буржуазия и рабочие радикалы оставались без союзников, они могли развивать революционные фантазии, но были не способны применить их на практике или ослабить мощь Германии на международной арене. Галь (Gall (1986) настолько впечатлен цельностью стратегии Бисмарка, что называет его белым революционером. Но стратегия Бисмарка оказалась противоречивой в плане отношений с квалифициро-

ванными рабочими, и он сам ее распутывал. Его страх перед конкурентной властью католической церкви и южного сепаратизма побудил к наступлению на них в рамках «культуркампа». Это подтолкнуло католических социалистов влево. Презрение Бисмарка к парламенту привело его к интригам и даже заговорам начиная с 1888 г. и в итоге закончилось его падением. Сохранить автократическую монархию в полуиндустриальном обществе было трудно, если не идти на компромисс как минимум с двумя из трех социальных групп: фермерским крестьянством, средним классом и значимыми церквями меньшинств. Так как фашистский корпоративизм еще не существовал, ценой такой попытки были парламентские институты власти.

После падения Бисмарка эта стратегия была частично восстановлена. Режим вернул себе поддержку католиков и крестьян, добившись изоляции рабочего движения, этнических и сепаратистских радикалов. Я рассматриваю этот процесс далее в главе 19. Антисоциалистические законы были отвергнуты как неудачные, и социалисты могли пережить гонения в форме скрытых организаций, подпитываемых выборами. Но сохранялись ограничения гражданских прав рабочих, особенно права на создание организаций. Социальное государство продолжало развиваться по пути, намеченному Бисмарком, расширяя свой охват, но было не способно само по себе секционировать рабочих, которые по-прежнему были лишены гражданских и политических прав.

Партия социал-демократов оставалась в изоляции, без союзников, фактически отталкивая их. Ее марксистская теория производительных сил лишала партию поддержки крестьян (см. главу 19). Ее имплицитный лютеранский этатизм и марксистское безбожие отпугивали католическую церковь, тем самым исключая возможность потенциального сильного союза между противниками режима. Таким образом, католическая церковь стала спонсировать собственные крестьянские и мутуалистские рабочие движения, позднее начавшие играть важную роль среди 20–25% рабочих, которые были католиками. Пролетарская идентичность и социализм были изолированы в городских промышленных лютеранских анклавах. Даже в 1914 г. Германия оставалась лишь наполовину индустриализированной страной. Ее электорат делился примерно поровну между аграрным, средним и рабочим классами и в пропорции примерно 6,5:3,5 между протестантской и католической церквями. Партия социалистов преобладала среди протестантов-рабочих и конкурировала за голоса рабочих-католиков. Она выдвигала много депутатов, но могла повлиять на правительство в сфере мутуалистских или реформистских действий,

а без союзников и на революцию, которую формально провозглашала.

После падения Бисмарка некоторые католики, либералы, и даже промышленники стали поощрять либерализацию. Свобода создания союзов — последний шаг к личным гражданским правам — была, наконец, дарована в 1908 г. С ростом численности профсоюзы получили больше автономии от Социалистической партии и стали еще больше склоняться к мутуализму (Mommsen 1985). Но режим не шел навстречу дальнейшему примирению и обладал достаточным конституционным патронажем, чтобы расколоть склонявшихся к этому либералов. Поощряемые министрами и полицейскими властями, работодателями продолжали препятствовать рабочим организовывать союзы, тем самым делая уступки государства в области гражданских прав скорее формальными, чем реальными. Хотя табл. 18.1 показывает рост профсоюзов, мало кто из них, за исключением «желтых профсоюзов», был признан работодателями. Профсоюзы помогали управлять растущими благами социального обеспечения и де-факто получали признание, когда работодателям приходилось идти на переговоры во время забастовок. Но в реальности существовало лишь немного коллективных соглашений (точные цифры в исследованиях расходятся (см. Schofer 1975: 137–164; Stearns 1975: 165, 180–181; Crew 1979: 146, 218, 250–251; Mommsen 1985: 382; Spencer 1976 считают, что к 1914 г. защитники умиротворяющих переговоров процветали в Руре). Тем самым партия социал-демократов и социалистические профсоюзы оставались вне государственной власти, без значимых союзников, изолированными и подвергаемыми преследованиям.

Эти последствия для рабочего движения часто рассматривались в литературе (Roth 1963; Morgan 1975; Geary 1976; Koska 1986; Nolan 1986; различные эссе у Evans 1982). Исключенное из политической жизни, но значительно возросшее во время второй промышленной революции, лютеранское марксистское ядро рабочего класса ушло внутрь себя, создавая социалистическую субкультуру, организуя рабочие общества с хоровыми кружками, музыкальными группами, гимнастическими клубами, библиотеками и праздниками. Это были в первую очередь занятия для досуга, но они также тотализировали идентичность рабочих через повседневную деятельность (Lidtke 1985). Хотя в профсоюзах большинство составляли квалифицированные рабочие, социалисты и Центральная комиссия свободных профсоюзов боролись с секционизмом. Профсоюзы оставляли большую часть вопросов стратегий и альтернатив за партией (Schonhoven 1985). Как и в других странах, где большинство людей были лишены политических прав, партия социалистов

поддерживала всеобщую и полную независимость парламента, включавшую избирательное право для женщин. Так как государственные элиты упорно защищали патриархальные ценности, у партии также сформировалась прогрессивная программа по семейным вопросам, хотя ее местные ассоциации оставались преимущественно мужскими по составу (до 1908 г. государство не позволяло женщинам и меньшинствам создавать политические организации). Хотя социал-демократическая партия и культура рабочего класса воплощали обычные гендерные неравенства этого периода, в них сегрегация между мужчинами и женщинами была ниже, чем среди современников, то есть патриархальный режим поддерживал чувство интенсивной тотальности немецкого социализма.

Социал-демократы превратились в мощную электоральную силу, представлявшую треть голосов и являвшуюся к 1912 г. крупнейшей партией в рейхстаге. Ее политика доминировала в крупнейших профсоюзах, выражая производственническую, государственно-централизованную риторику и долгосрочные цели революционного марксизма. Однако у партии отсутствовали союзники для внепарламентских действий и даже для реформы парламента. Социал-демократы продолжали делать то, что у них получалось лучше всего, — побеждать на выборах, но в рамках правил, созданных режимом. «Негативная интеграция, — пишет Рот, — позволяет массовому движению, враждебному режиму, легально существовать, но не дает ему доступ к центрам власти» (Roth 1963: 8). Правое крыло социал-демократов тяготело к мягкому реформизму и компромиссам с режимом, но с ним считались лишь во время короткого канцлерства Каприви и иногда при Бетмане-Гольвеге. Малочисленное левое крыло защищало идеи революции, но не имело для нее поддержки и союзников против режима, хорошо оснащенного для репрессий. Большинство партии следовало за центристски-левой фракцией, выступая за революцию в отдаленном будущем. Постепенно Германия стала бы полностью индустриализированной страной, а социал-демократы — партией большинства. Как сказал Каутский, партия должна была *организоваться* для революции, а не *организовать* ее.

Режим, в свою очередь, частично осознанно разработал, а частично непреднамеренно дрейфовал по направлению к довольно успешной стратегии инкорпорирования рабочего движения. Этот дрейф к полуавтократической стратегии еще более, чем в США, отклонился от эволюционной схемы гражданства Маршалла, так как в Германии режим в рассматриваемый период уступил рабочим лишь некоторые гражданские и политические права, одновременно экспериментируя с частичными, секцион-



ными дозами социальных прав. Рабочее же движение в розовых очках марксистского продуктивизма и этатизма способствовало этому успеху (еще больше подтверждений будет дано в главе 19).

В условиях изоляции и негативной интеграции рабочего движения в Германии не существовало очевидного пути ни к либеральной или социальной демократии (как представлялось Маршаллу), ни к революции (как представлялось Марксу или Каутскому). Такая ситуация была следствием конфликта абсолютной милитаристической монархии с классами, требовавшими партийной демократии, и с федеральными землями и церковью, требовавшими децентрализации. Германия меньше примечательна своей экономикой, чем своими репрезентативной и национальной кристаллизациями, и в меньшей степени своим довольно ритуализированным внутренним милитаризмом. Подлинный автократический национальный капитализм и негативное инкорпорирование были бы немыслимы в Германии без ускорения второй промышленной революции. Но такая же промышленная революция произошла в США и привела к совершенно иным классовым отношениям. Различные формы институционализации классовой борьбы в развитом капитализме были в большей степени следствием различных кристаллизаций государств, чем индустриализацией как таковой.

## ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ

Большинство других индустриализирующихся стран были где-то между полуавтократической Германией и партийно-демократическими Великобританией и Францией. Австро-Венгрия во многом напоминала Германию, угнетая профсоюзы и рабочие партии до 1891 г. и подталкивая рабочих влево — к марксистской социалистической партии. Но австрийская монархия столкнулась с гораздо более сильным конфедерализмом. Это тоже повлияло на рабочее движение, превращая его из единого транснационального в регионально-национальные движения (Gulick 1948: 21–24; Shell 1962). Режимы Швеции и Дании, централизованные, но с более слабыми группами землевладельцев и военных, к тому времени уже уступили некоторые партийно-демократические права крестьянам и буржуазным либералам, и возникающее рабочее движение вступило в союз с обеими группами, а затем зашло гораздо дальше британского мутуализма в сторону реформистской социальной демократии (см. главу 19). Полудемократические режимы Италии и Испании действовали более или менее близко к французской модели, хотя

с большим «национальным» содержанием. В Японии реставраторы Мэйдзи модифицировали германскую стратегию.

Во всех этих странах монархии и старые режимы пытались удержать централизованные автократические силы в рамках полупарламентских режимов (в Скандинавии эти попытки потерпели неудачу). В отличие от США, Великобритании или Франции средний класс не был полностью инкорпорирован в партийную демократию, но также и не был исключен из государства и угнетен, как в России. Очевидно, что рассматриваемые страны значительно различались. Одной крайностью было наличие радикальных региональных буржуазий, все еще предъявлявших фундаментальные требования монархическому государству, как в Испании или (буржуазии, различавшейся по региональной национальности) в Австро-Венгрии. Другой крайностью была Япония с еще большей инкорпорированностью буржуазии, занявшей еще более независимую позицию, чем в Германии. Первая крайность усиливала конфедерализм, вторая централизовывала нации-государства.

Как и в Германии, мы можем вывести большинство прав рабочего движения из дуальных представительской и национальной кристаллизаций. В терминах классов рабочие движения не были ни частично внутри государства (как в США, Великобритании, Франции), ни полностью исключены из него и подавлены военными средствами (как в России). Поскольку *Sonderweg* (исключительность) Германской империи фактически не являлась таковой, а была адаптирована во многих странах Европы и в Японии, ее жизнеспособность была критически важной для развития современного общества. Влияние на рабочих оказалось очень глубоким: эти страны развили более агрессивный социализм, чем в Великобритании, более последовательную, объединенную и преимущественно политическую стратегию, чем во Франции (за исключением Испании), и рабочее движение, менее склонное к революции, чем в России. Во всех этих странах классовая организация преобладала над секционной. Везде, кроме Испании, происходило негативное инкорпорирование, подобное германскому: номинальные и частичные гражданские и политические права, но исключение из государства и негативная интеграция.

Исключением была Испания из-за ее специфического переплетения классового представительства с национальным вопросом<sup>9</sup>. В Испании синдикализм достиг сильнейшей в Европе формы, а его развитие в XX в. пошло с отклонениями. Мож-

---

9. Эти параграфы основаны в большей степени на работах: Malefakis 1970, в которой чересчур важная роль приписывается классу, Meaker 1974 и Giner 1984.

но ли объяснить их на основе моей политико-центричной модели? Ответ утвердительный: синдикализм имел крепкие позиции в Испании в первую очередь в связи с ее специфическим политическим состоянием, которое включало важный конфликт по национально-региональным правам. Как и в Австрии, вопрос стоял так: «От какого государства классы должны требовать гражданских прав?»

Начиная с 1876 г. Испания была конституционной монархией с формальным (хотя и неравным) всеобщим избирательным правом для взрослых мужчин и с легальными профсоюзами (хотя и с обычными буржуазными ограничениями прав организации). Но экономически страна была отсталой (примерно на уровне России), без широкого слоя буржуазии. Политическая борьба шла в основном не между классами, а между сегментарными клиент-патронскими сетями. Либералы и консерваторы по очереди были в правительстве, их поддерживали банкирские и промышленные классовые фракции и касики — крупные землевладельцы. Партийные вожди распределяли сегментарное покровительство, контролировали местные средства насилия и рекрутировали клиентов из всех классов. Этот паттерн был общим во всех странах полупериферии капитализма (Mouzelis 1986). Где же мог возникающий рабочий класс встроиться в эту систему? Политики также прибегали к классовой левой или правой идеологии, особенно обращаясь к радикальной буржуазии и ее противникам. Рабочее движение могло примкнуть к этому радикализму, развивавшему умеренный социализм на французский или британский манер. Но там, где прочно засели касики, такие маневры не помогли бы. Рабочие и крестьяне разочаровались также и в национальной политике, повернувшись к анархистской и синдикалистской альтернативам.

Эта возможность в большой степени подпитывалась тем, что в регионах были недовольны правлением из Кастилии. Порой это недовольство достигало уровня национального сепаратизма. Стратегии анархизма и синдикализма, повернутые спиной к центральному государству, были возможны в провинциях Испании, — анархизм вне затронутых индустриализацией аграрных областях, синдикализм — в индустриализированных областях. Я не претендую на звание эксперта по сложным различиям между испанскими регионами, но эти две политические причины — частично гражданские и политические права, появившиеся у рабочих раньше экстенсивных классовых организаций, плюс региональный сепаратизм, на мой взгляд, выступают причиной большинства фракционных расколов в испанском рабочем движении между марксизмом и синдикализмом. Вторая промышленная революция в Испании вошла в выраженную региональ-

ную форму, ускорив индустриализацию в Каталонии, тем самым усилив сепаратизм и синдикализм и укрепив марксистский государственный социализм в Кастилии и Астурии. Испания теперь была готова к трагическим расколам социалистических движений в 1917–1918 и 1936–1939 гг. Помимо некоторых деталей Испания не выходит за рамки моей общей модели. Специфика классовой борьбы в Испании была вызвана в большей степени не трудовым процессом, а конкурирующими политиками национального гражданства, как и в случае с Австро-Венгрией, вопросы гражданских прав вызывали жесткие национальные конфликты в переплетении с классовым конфликтом.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нет необходимости приводить множество специфических для каждого кейса деталей для подтверждения общего тезиса этой главы: классовая борьба между капиталом и трудом развивалась параллельно промышленной трансформации, переплетаясь, во-первых, с различными представительской, национальной и гражданско-военной кристаллизациями и, во-вторых, с различными формами рабочих сообществ. В главах 15, 17, 18 я выдвигаю состоящее из трех частей описание промышленной трансформации рабочего движения в XIX в.

1. Промышленный капитализм действительно породил «совокупного рабочего», но не одного, как предсказывал Маркс, а трех — конкурировавших и ослаблявших друг друга. Маркс отмечал, что повсеместно среди рабочих возникало чувство классовой идентичности и представление о классовом враге — классе капиталистов. Некоторые рабочие даже могли чувствовать, что класс доминировал в тотальности их жизни, и формулировать социалистические концепции альтернативного общества (хотя эти альтернативы весьма различались). Но индустриализация также поощряла и двух меньших «совокупных рабочих» — *секционные* общности, порожденные квалификационными различиями и силами рынков труда, и *сегментарные* взаимосвязи между рабочими и их работодателями. Экстенсивные и политические классы развивались, но были несовершенны и находились в условиях постоянной конкуренции с секционизмом и сегментаризмом.
2. Я обрисовал два этапа, проходя которые классовая идентичность усиливалась. Во-первых (глава 15), это была первая промышленная революция, но только для Великобритании. Это была специфическая коллективизация, поскольку

революция культивировала разнородные ситуации найма труда: фабрики, цехи ремесленников, уличный и надомный труд, которые были взаимопроникающими. Но, так как ими были затронуты практически все слои квалифицированных рабочих, соседские общины и семьи, они усиливали «семейное» чувство идентичности рабочего класса, объединяя профессию, семьи и местные сообщества против внешней эксплуатации. Во-вторых (главы 17 и 18), вторая промышленная революция пришла во все эти страны (независимо от того, пережили ли они первую) и способствовала концентрации капитала, созданию крупных фабрик, деквалификации работодателями квалифицированных рабочих и одновременно подняла временных рабочих до формального найма и полуквалифицированных рабочих. Она породила более мощные союзы и заключала рабочих в «клетках» их пригородов. В ответ рабочие развивали экстенсивные и политические классовые организации, демонстрируя социалистические тенденции.

Рабочий *класс* появлялся дважды, но его рост был ограниченным. На первом этапе он состоял из ремесленников, на втором — из высоко- и полуквалифицированных рабочих металлургии, шахтеров, транспортников в крупных городах. Вне этого ядра — в первой фазе в ремеслах, которые не подвергались угрозе, в большинстве аграрных регионов и среди домашних слуг, во второй — среди прочих отраслей и в маленьких городах — большинство рабочих оставались под тем или иным сегментарным контролем, не осознавая или отвергая классовую идентичность. Это настораживало активистов, которые осознавали, что имеют лишь ограниченное влияние на массового избирателя и еще меньшее — на вооруженные силы. И даже в ядре рабочего класса тред-юнионизм и секционные рычаги влияния на рынок труда могли сужать идентичность и отрывать оппозицию от класса. В течение XIX в. ремесленники не столько исчезали, сколько превращались в высококвалифицированных рабочих. Основная секционная разделительная линия теперь проходила между высококвалифицированными рабочими, с одной стороны, и полу- и неквалифицированными — с другой. Внутренний рынок труда развивался в ядре, привнося новые сегментарные взаимозависимости между работодателями и рабочими, а секционизм — между стабильно занятыми организованными рабочими, составлявшими ядро, и неорганизованными рабочими-поденщиками, остававшимися вне рабочего движения. Когда последние выступали в роли штрейкбрехеров, секционизм прибегал к насилию, тем не менее претендуя

на то, что он относится к социализму. Таким образом, промышленный пролетариат рос не только как класс, но и как *секции и сегменты*. Сражение за идентичность и души рабочих продолжалось.

3. После первой фазы трудовая занятость и семейно-соседская жизнь не усилили друг друга, как ожидал Маркс. Во время второй промышленной революции формальная занятость разделила эти две сферы жизни особенно вследствие ставшего преимущественно «мужским» официально оплачиваемого труда в отраслях и квалификационных стратах, порождавших большинство профсоюзов. Сфера «совокупного рабочего» сузилась, его сознание стало концентрироваться вокруг рабочего места и производства. Социализм стал в меньшей степени затрагивать тотальность жизни, менее пригодным для революционной мобилизации, которую мы видели в движениях чартистов, базировавшихся на общности рабочего места, улицы (районов проживания) и общины. Марксисты обладали меньшим моральным рвением, меньшей «имманентной моралью», чем чартисты или якобинцы. Как мы увидим в главе 19, в большинстве стран производственничество и этатизм также привели ко второму сужению, которое мешало эффективно обратиться к сельскому населению.

Таким образом, экономическое развитие труда было двойственным, возможно, способным встать на путь, которого ожидал от него Маркс (или надеялся на это), а возможно, скатившимся на куда более извилистые или консервативные пути. Как мы увидим, рабочие, подобно крестьянам в политической сфере, легко уступали и отвергали многие пути. Различия в пути развития определялись, но лишь в малой степени различиями в капиталистической индустриализации. Германия и США — два лидера второй промышленной революции — дают нам самые крупные и самые малочисленные социалистические партии на Западе (соответственно). Во Франции, отстававшей в индустриализации, напротив, социализм рано появился в рабочем движении.

Решающими факторами межстрановых различий рабочих движений были кристаллизации политической власти, запущенные предыдущими сражениями между военными монархиями и их представительскими и национальными противниками. Государства также были гибкими, так как позднее кристаллизовались как устойчиво капиталистические и также стали заметно расширять набор своих гражданских функций. Но главным образом государства институционализировали различные страте-

гии режимов, на которые рабочие могли отвечать как классовые, секционные или сегментарные акторы с различными формами социалистической идеологии. Когда правящие режимы вступали в прямой конфликт с рабочими как классом, имели место четыре основные стратегии или дрейфа между ними, представлявшие собой сочетание капитализма, милитаризма и представительства в различных пропорциях.

1. *Самодержавный милитаризм* был представлен царской Россией. Всем рабочим без исключения (хотя и не вполне последовательно) было отказано в гражданских правах, всех без исключения рабочих подвергали репрессиям. В ответ на это секционизм, сегментаризм и более мягкие варианты социалистических альтернатив получили лишь ограниченное и неустойчивое развитие. Русские рабочие стали рабочим классом, а их активисты — революционными марксистами.
2. *Либерально-капиталистический милитаризм* был представлен Соединенными Штатами Америки. Уровень гражданских прав у рабочих был исключительно неровным. Хотя индивидуальные гражданские права и политическое гражданство были надежно институционализированы, коллективные гражданские права были ограничены и жестко подавлялись. Поскольку это подавление было избирательным, ответные реакции рабочих были различными. Американское рабочее движение стало более секционным и фракционным, чем классовым, а идеи социализма преимущественно отсутствовали.
3. *Либерально-реформистское инкорпорирование* было представлено Великобританией и охватывало также британские «белые» доминионы, Нидерланды и Бельгию. Франция также в целом относилась к этой стратегии, но со многими особенностями, описанными выше. Либеральный капитализм, таким образом, не был институционализирован в Европе — ближе всего к нему была Швейцария. Либеральная демократия расширялась куда медленнее, больше внимания уделялось классам (и сословиям). Старые режимы инкорпорировали средние классы и фермеров в суверенные институты партийной демократии. Буржуазные партии правящего режима видели необходимость, а иногда и преимущество в секционных и сегментарных компромиссах с рабочими — страта за стратой, организация за организацией, по мере того как они возникали в ходе первой и второй промышленных революций. Не желая разворачивать домашний милитаризм, они шли на компромисс между либерализмом и умеренными мутуалистскими и реформистскими

формами социализма рабочего класса, между классом и секционными формами организации рабочих. Позднее скандинавские страны разовьют эту стратегию/дрейф в полномасштабное *реформистское инкорпорирование*.

4. *Полуавтократическое инкорпорирование* было представлено Германской империей, затем Австро-Венгрией и Японией (Италия и Испания были примерами смешанного случая между полуавтократическим и либеральным инкорпорированием). Здесь монархии пережили первое столкновение с буржуазией, мелкой буржуазией и фермерами без уступок суверенной партийной демократии. Тем самым режимы успешно раскололи эти группы, инкорпорировав большинство в режим при помощи полупарламентарных конституций, которые институционализировали сегментарные стратегии «разделяй и властвуй» и умерили милитаризм до ритуальной демонстрации силы. Немногочисленные неинкорпорированные мелкобуржуазные радикалы объединили силы с ремесленниками, сформировав, по их мнению, революционные социалистические партии и союзы. Их изоляция и участие в ограниченной партийной демократии, однако, ослабляли их способность повлиять на любую революционную или фактически любую значимую реформистскую или мутуалистскую альтернативу.

Но эти стратегии или разновидности дрейфа не могут до конца объяснить ситуации в различных странах, поэтому приводимые мной примеры также включают различия в *национальных кристаллизациях*. Рассмотрим два крайних примера в терминах наличия или отсутствия классовой идентичности и социализма. Российское самодержавие было высокоцентрализованным. Рабочие испытывали такую общенациональную тотальность угнетения и эксплуатации, что выработали сильное классовое и общенациональное чувство идентичности для себя и своих противников как на рабочем месте, так и на улице или в обществе. Рабочие активисты в России стали приверженцами революционной этатистской социалистической альтернативы, о которой писал Маркс. Возможно, их революционные чаяния подвергались бы бесконечным репрессиям и угнетению, но режим в России также настроил против себя городских либералов, региональных националистов и крестьян, а затем проиграл войну с общенациональной мобилизацией. Пролетариат и нация вместе поднялись, чтобы свергнуть его. США были противоположной крайностью по вопросу национальной кристаллизации, но одновременно и примером следующего по размаху жестокости внутреннего милитаризма. Здесь угнетение осуществля-



лось через комбинацию интенсивного капитализма и двух противоположных России политических крайностей — партийной демократии и федерализма. Это работало, поскольку усиливало локально-региональные, этнически-религиозные, квалификационные и рыночно-трудовые виды секционизма. Американский социализм разбился на фракции, а затем исчез. Два экстремальных случая — Россия и США — в середине XX в. имели решающее значение, поэтому они стали господствующими державами мира.

Промежуточные результаты развития рабочего движения в разных странах также были производными от специфических переплетений национальных кристаллизаций и кристаллизаций по вопросу представительства. В Германии рабочие были частично лишены коллективных гражданских и политических прав. Как и в России, это расширяло классовую идентичность и ослабляло секционизм, но марксизм активистов в чем-то уравновешивался их электорализмом. Более того, немецкий рабочий класс был в изрядной мере ослаблен конкурировавшими национальными кристаллизациями. Хотя они усиливали классовую идентичность среди лютеран и жителей северных земель, но ослабляли ее среди католиков и в южных землях, так же как и возможность союза рабочих и аграрных пролетариев. Немецкий рабочий класс был организован и даже так склонен к социалистическим идеям, как мог мечтать Маркс, но он был немногочисленным и плохо управляемым. В соответствии с национальными кристаллизациями, опосредованными регионально-религиозными включениями промышленности и труда, рабочие движения были иногда высокоэтанитаристскими (как в Германии), иногда весьма антиэтанитаристскими (как в некоторых регионах Испании), а чаще всего имели место сложные компромиссы.

Как и в случае с крестьянами, национальные кристаллизации помогают почувствовать *религиозные* различия. Почему католики сопротивлялись идеям социализма сильнее, чем протестанты? Прежде всего потому, что церковная иерархия мобилизовала их на это сопротивление. Но почему? Возможно, потому, что социализм, особенно марксизм, был атеистическим, но это должно было оттолкнуть все церкви. Возможно, церковь была также в некотором смысле консервативной. Она положительно относилась к иерархии, но против нее ничего не имело и государственное лютеранство, которое оказалось благоприятной средой для вариантов этанитаристского социализма социал-демократов и марксизма (а позднее — фашизма) в Северной Европе в том смысле, что непропорционально большое количество людей из лютеранской среды стало социал-демократами и марксистами (а позднее в Германии — фашистами).

Кроме того, католическая церковь была антигосударственной в двух смыслах. Она была организацией *транснациональной* власти и вступала в национальную политику как защитник *местных интересов и регионализма*. Католическая церковь особенно была антиэтатистской в данный период, потому что буквально все эти государства кристаллизовались как светские и вторгались в две области, в которых в основном располагалась ее локально-региональная власть, — образование и семью. Государственное образование и гражданское, особенно семейное, право — вот то, чего боялась церковь, поэтому она упорно противостояла всем формам централизованного этатизма, особенно во Франции, но с меньшим упорством в большей части Австрии, в Германии и США. Марксистский социализм представлял собой другую этатистскую альтернативу, и потому церковь решительно ему противостояла. Таким образом, церковь могла спонсировать собственные протекционистские, экономистские и даже мутуалистские союзы. Мы находим тенденцию (хотя и не полноценное правило) для этатистских форм социализма — марксизма и агрессивной социал-демократии — развиваться либо среди лютеран в Северной Европе, либо как светскую часть наступления нации-государства против католического доминирования в Южной Европе. И напротив, неэтатистский протестантизм (типа английских нонконформистов или большинства американских протестантских церквей) ассоциировался с более мягким экономизмом и мутуализмом в рабочем движении. Глава 19 распространяет этот аргумент на крестьян. Политические позиции церквей определялись в меньшей степени их формальными догмами, а в большей — тем, были ли они церквями большинства или меньшинства и какой была идентичность государства — религиозной или светской. В рассматриваемый период политика церкви кристаллизовалась в первую очередь вокруг национального вопроса, что особенно сильно проявлялось среди аграрных классов.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Aminzade, R. (1981). *Class, Politics and Early Industrial Capitalism*. Albany: State University of New York Press.
- . (1984). Capitalist industrialization and patterns of industrial protest. *American Sociological Review* 49.
- Bain, G. S., and R. Price. (1980). *Profiles of Union Growth*. Oxford: Blackwell.
- Bairoch, P. et al. (1968). *The Working Population and Its Structure*. Brussels: Editions de l'Institut de Sociologie de l'Université Libre (in English and French).
- Bell, D. (1974). The problem of ideological rigidity. In *Failure of a Dream?* ed. J. H. M. Laslett and S. M. Lipset. Garden City, New York: Anchor Books.

- Besançon, A. (1986). *The Russian case*. In *Europe and the Rise of Capitalism*, ed. J. Baechler, J. A. Hall, and M. Mann. Oxford: Blackwell.
- Boll, F. (1985). *International strike waves: a critical assessment*. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W. J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- . (1989). *Changing forms of labour conflict: secular development or strike waves?* In *Strikes, War and Revolution*, ed. L. Haimson and C. Tilly. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bonnell, V. (1983). *Roots of Rebellion: Worker's Politics and Organizations in St. Petersburg and Moscow, 1900–1914*. Berkeley: University of California Press.
- Brecy, R. (1969). *La greve generale en France*. Paris: Etudes et Documentation Internationales.
- Bridges, A. (1986). *Becoming American: the working classes in the United States before the Civil War*. In *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson and A. R. Zolberg. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Brody, D. (1960). *Steelworkers in America: The Non-union Era*. New York: Russell & Russell.
- Burawoy, M. (1984). *Karl Marx and the satanic mills: factory politics under early capitalism in England, the United States and Russia*. *American Journal of Sociology* 90.
- Burnham, W. D. (1965). *The changing shape of the American political universe*. *American Political Science Review* 59.
- . (1970). *Critical Elections and the Mainspring of American Politics*. New York: Norton.
- Cook, C., and J. Paxton. (1978). *European Political Facts, 1848–1918*. London: Macmillan.
- Cottareau, A. (1986). *The distinctiveness of working-class cultures in France, 1848–1900*. In *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson and A. R. Zolberg. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Crew, D. F. (1979). *Town in the Ruhr: A Social History of Bochum, 1860–1914*. New York: Columbia University Press.
- Cronin, J. E. (1985). *Strikes and the struggle for union organization: Britain and Europe*. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W. J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- . (1989). *Strikes and power in Britain, 1870–1920*. In *Strikes, War and Revolution*, ed. L. Haimson and C. Tilly. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dubofsky, M. (1969). *We Shall Be All*. Chicago: Quadrangle Books.
- . (1974). *Socialism and syndicalism*. In *Failure of a Dream?*, ed. J. H. M. Laslett and S. M. Lipset. Garden City, New York: Anchor Books.
- Edwards, P. K. (1981). *Strikes in the United States, 1881–1974*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Evans, R. J. (ed.) (1982). *The German Working Class, 1880–1933. The Politics of Everyday Life*. London: Croom Helm.
- Fink, G. M. (1973). *The rejection of voluntarism*. *Industrial and Labor Relations Review* 26.
- . (1987). *Labor, liberty, and the law: trade unionism and the problem of the American constitutional order*. *Journal of American History* 4.
- Foner, E. (1984). *Why is there no socialism in the United States?* *History Workshop Journal* 17.
- Forbath, W. E. (1989). *The shaping of the American labor movement*. *Harvard Law Review* 102.
- Fraser, W. H. (1974). *Trade Unions in Society: The Struggle for Acceptance, 1850–1880*. London: Allen & Unwin.
- Gall, L. (1986). *Bismarck, The White Revolutionary*. London: Allen & Unwin.
- Gallie, D. (1983). *Social Inequality and Class Radicalism in France and Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Geary, D. (1976). *The German labour movement, 1848–1919*. *European Studies Review* 16.
- Giner, S. (1984). *The Social Structure of Catalonia*. Sheffield: Anglo-Catalan Society.
- Goldstein, R. J. (1978). *Political Repression in Modern America*. Cambridge, Mass.: Schenkman.
- . (1983). *Political Repression in Nineteenth Century Europe*. London: Croom Helm.
- Gompers, S. (1967). *Seventy Years of Life and Labor: An Autobiography*, 2 vols., 2d ed. New York: Augustus M. Kelley Publishers.

- Gossez, R. (1967). *Les ouvriers de Paris. Vol. 1: L'organisation, 1848–1851*. Paris: Bibliothèque de la révolution de 1848.
- Grob, G. N. (1961). *Workers and Utopia*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Grüttner, M. (1985). The rank-and-file movements and the trade unions in the Hamburg docks from 1896–97. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W. J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Gulick, C. A. (1948). *Austria from Habsburg to Hitler. Vol. 1: Labor's Workshop of Democracy*. Berkeley: University of California Press.
- Haimson, L. H. (1964–1965). The problem of social stability in urban Russia, 1905–1917. *Slavic Review* 23 (1964), 24 (1965).
- Halle, D. (1984). *America's Working Man: Work, Home, and Politics Among Blue-Collar Property Owners*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hanager, M. P. (1980). *The Logic of Solidarity: Artisans and Industrial Workers in Three French Towns*. Urbana: University of Illinois Press.
- Hartz, L. (1955). *The Liberal Tradition in America*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Hirsch, S. (1978). *Roots of the American Working Class*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Hobson, J. (1991). *The Tax Seeking State: Protectionism, Taxation and State Structures in Germany, Russia, Britain and America, 1870–1914*. Ph.D. thesis, London School of Economics and Political Science.
- Holt, J. (1977). Trade unionism in the British and U.S. steel industries, 1880–1914: a comparative study. *Labor History* 18.
- Katznelson, I. (1981). *City Trenches: Urban Politics and the Patterning of Class in the United States*. New York: Pantheon.
- Kochan, L. (1966). *Russia in Revolution, 1890–1918*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Kocka, J. (1986). Problems of the working-class formation in Germany: the early years, 1800–1875. In *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson and A. R. Zolberg. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Kraditor, A. S. (1981). *The Radical Persuasion, 1890–1917*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Lash, S. (1984). *The Militant Worker: Class and Radicalism in France and America*. London: Heinemann.
- Laslett, J. H. M., and S. M. Lipset (eds.) (1974). *Labor and the Left*. New York: Basic Books.
- Lebergott, S. (1984). *The Americans: An Economic Record*. New York: Norton.
- Lefranc, G. (1967). *Le Mouvement Syndical Sous la Troisième République*. Paris: Payot.
- Lenin, V. I. (1970). *What Is to Be Done?* Manchester: Panther Books.
- Lequin, Y. (1977). *Les ouvriers de la région lyonnaise (1848–1914)*, 2 vols. Lyons: Presses Universitaires de Lyons.
- Lidtke, V. L. (1985). *The Alternative Culture: Socialist Labor in Imperial Germany*. New York: Oxford University Press.
- Lipset, S. M. (1977). Why no socialism in the United States? In *Sources of Contemporary Radicalism*, ed. S. Bialer and S. Sluzar. Boulder, Colo.: Westview.
- . (1984). Radicalism or reformism: the sources of working-class politics. In his *Consensus and Conflict: Essays in Political Sociology*. New Brunswick, N.J.: Transaction Books.
- Lowi, T. J. (1984). Why is there no socialism in the United States? A federal analysis. In *The Cost of Federalism*, ed. R. T. Golembiewski and A. Wildavsky. New Brunswick, N.J.: Transaction Books.
- Ludtke, A. (1979). The role of state violence in the period of transition to industrial capitalism: the example of Prussia from 1815–1848. *Social History* 4.
- McDaniel, T. (1988). *Autocracy, Capitalism and Revolution in Russia*. Berkeley: University of California Press.
- McKean, R. (1990). *St. Petersburg Between the Revolutions*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Malefakis, E. M. (1970). *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain*. New Haven, Conn.: Yale University Press.

- Mandel, M. (1983). *The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime*. London: Macmillan.
- Mann, M. (1988). Ruling class strategies and citizenship. In M. Mann, *States, War and Capitalism*. Oxford: Blackwell.
- Marks, G. (1989). *Unions in Politics: Britain, Germany, and the United States in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Meaker, G. H. (1974). *The Revolutionary Left in Spain, 1914–1923*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Mitchell, B. R. (1983). *International Historical Statistics. The Americas and Australasia*. Detroit: Gale Research.
- Mommsen, H. (1985). The free trade unions and social democracy in imperial Germany. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Montgomery, D. (1967). *Beyond Equality*. New York: Knopf.
- . (1979). *Workers' Control in America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1980). Labor and the republic in industrial America: 1860–1920. *Le Mouvement Social*, No. 111.
- Moore, B., Jr. (1973). *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin; Мур, Б. (2016). *Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного мира*. М.: Издательский дом ВШЭ.
- Morgan, D. W. (1975). *The Socialist Left and the German Revolution*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Moss, B. H. (1976). *The Origins of the French Labor Movement, 1830–1914: The Socialism of Skilled Workers*. Berkeley: University of California Press.
- Mouzelis, N. (1986). *Politics in the Semi-Periphery: Early Parliamentarianism and Late Industrialization in the Balkans and Latin America*. New York: St. Martin's Press.
- Mowry, G. E. (1972). *The Progressive Era, 1900–20*. Washington, D.C.: American Historical Association. Nolan, M.
- . (1986). Economic crisis, state policy, and working-class formation in Germany, 1870–1900. In *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson and A. R. Zolberg. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Noland, A. (1956). *The Founding of the French Socialist Party, 1893–1905*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Perlman, S. (1928). *A Theory of the Labor Movement*. New York: Macmillan.
- Perrot, M. (1974). *Les ouvriersengreve*. Paris: Menton.
- . (1986). On the formation of the French working class. In *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson and A. R. Zolberg. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Rayback, J. G. (1966). *A History of American Labor*. New York: Free Press.
- Ridley, F. F. (1970). *Revolutionary Syndicalism in France*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rogin, M. (1961–1962). Voluntarism: the political functions of an antipolitical doctrine. *Industrial and Labor Relations Review* 15.
- Rokkan, S. (1970). *Citizens Elections Parties*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Roth, G. (1963). *The Social Democrats in Imperial Germany*. Totowa, N.J.: Bedminster Press.
- Rueschemeyer, D., E. Stephens, and J. Stephens (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Saul, K. (1985). Repression or integration? the state, trade unions and industrial disputes in imperial Germany. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W.J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Schofer, L. (1975). *The Formation of a Modern Labor Force: Upper Silesia, 1865–1914*. Berkeley: University of California Press.
- Schonhoven, K. (1985). Localism -craft union -industrial union: organizational patterns in

- German trade unions. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W. J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Sewell, W. H., Jr. (1986). Artisans, factory workers, and the formation of the French working class, 1789–1848. In *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson and A. R. Zolberg. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Shefter, M. (1986). Trade unions and political machines: the organization and disorganization of the American working class in the late nineteenth century. In *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson and A. R. Zolberg. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Shell, K. L. (1962). *The Transformation of Austrian Socialism*. New York: University Publishers.
- Shorter, E., and C. Tilly. (1974). *Strikes in France, 1830–1968*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sklar, M. J. (1988). *The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890–1916*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skowronek, S. (1982). *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877–1920*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Slotkin, R. (1985). *The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800–1890*. New York: Atheneum.
- Smith, S. A. (1983). *Red Petrograd: Revolution in the Factories, 1917–18*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sombart, W. (1976). *Why Is There No Socialism in the United States?* London: Macmillan.
- Spencer, E. G. (1976). Employer response to unionism: Ruhr coal industrialists before 1914. *Journal of Modern History* 48.
- Stearns, P. (1975). *1848: The Revolutionary Tide in Europe*. New York: Norton.
- Swain, G. (1983). *Russian Social Democracy and the Legal Labour Movement, 1906–1914*. London: Macmillan.
- Taft, P., and P. Ross. (1970). American labor violence: its causes, character and outcome. In *Violence in America*, ed. H. D. Graham and T. R. Gurr. New York: Praeger.
- Tenfelde, K. (1985). Conflict and organization in the early history of the Gennan trade union movement. In *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914*, ed. W. J. Mommsen and H.-G. Husung. London: German Historical Institute/Allen & Unwin.
- Traugott, M. (1988). The crowd in the French Revolution of February, 1848. *American Historical Review* 93.
- Ulman, L. (1955). *The Rise of the National Trade Union*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Weinstein, J. (1967). *The Decline of Socialism in America, 1912–1925*. New York: Monthly Review Press.
- . (1984). *The Decline of Socialism in America, 1912–1925*, 2d ed. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
- Wiebe, R. H. (1967). *The Search for Order, 1877–1920*. New York: Hill & Wang.
- Wilentz, S. (1984). Against exceptionalism: class consciousness and the American labor movement, 1790–1920. *International Labor and Working Class History*, No. 26.
- Woodiwiss, A. (1990). *Rights v. Conspiracy: A Sociological Essay on the History of American Labour Law*. Oxford: Berg.
- Wuthnow, R. (1989). *Communities of Discourse. Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Ленин, В. И. (1967). Начало революции в России // Полн. собр. соч. в 55 т. Изд. 5-е. М.: Издательство политической литературы. Т. 9. С. 201.
- Ленин, В. И. (1967). Наша программа // Полн. собр. соч. в 55 т. Изд. 5-е. М.: Издательство политической литературы. Т. 4. С. 182.

ГЛАВА 19  
Классовая борьба во время  
второй промышленной революции,  
1880–1914 годы  
III. Крестьянство

**П**О АГРАРНЫМ классам существует мало сравнительных работ. В то время как рабочее движение составляло тему множества исследований, крестьянство в основном оказалось забыто, притом что почти во всех странах крестьяне составляли самую многочисленную группу населения — крупнейший блок избирателей и предоставляли большую часть солдат. Эта глава<sup>1</sup> сравнивает борьбу аграрных классов в четырех из пяти странах, на которых я сфокусировал свое исследование, плюс Россия и скандинавские страны (Дания, Норвегия и Швеция), благодаря которым я смог адекватно представить «левую» аграрную политику. На этот раз отсутствует кейс Великобритании. Большинство теорий стратификации, начиная с Маркса, основаны на британском опыте. Таблица 19.1 показывает, к каким ошибкам это приводит.

Мы видим, что Великобритания (за исключением ее колонии — Ирландии) остается исключением из правил весь XIX в. и начало XX в. В 1911 г. лишь 9% ее рабочей силы было занято в сельском хозяйстве, менее трети от обычной доли среди основных мировых держав (в ближайшей из малых держав, Бельгии, эта доля составляла 23%). В двух других наиболее экономически развитых странах, Германии и США, трудовые ресурсы в промышленном производстве и горнодобыче в это время лишь начали опережать ресурсы в сельском хозяйстве, и, за исключением Великобритании и Бельгии, этого не произошло больше ни в одной стране. В то время как сельское хозяйство в начале XX в. играло незначительную роль в классовых отношениях в Великобритании, в остальных странах ситуация была иной. Результат борьбы между капиталом, рабочими и средним классом мог быть совершенно иным без учета сельскохозяй-

---

1. Исследования к этой главе проводились совместно с Анной Кэйн (Anne Kane), которой я многим обязан. Также опубликована и более полная совместная статья по результатам нашего исследования (Kane and Mann 1992).

ТАБЛИЦА 19.1. Распределение национальной рабочей силы по секторам, %

Страна	Год	Сельское хозяйство *	Промышленное производство	Услуги	Итого
Великобритания	1871	15	47	38	100
	1911	9	52	40	100
Франция	1866	45	29	27	100
	1911	41	33	26	100
Дания	1870	48	22	13	83 **
	1911	42	24	30	96 **
Германия	1871	49	29	22	100
	1910	36	37	27	100
Соединенные Штаты	1870	50	25	25	100
	1910	31	32	37	100
Швеция	1870	61	8	12	81 **
	1910	46	26	14	96 **
Австрия	1869	65	19	16	100
	1910	57	24	19	100
Венгрия	1870	70	9	21	100
	1910	64	18	15	100
Россия	1897	59	14	25	100

\* Сельское хозяйство включает лесное хозяйство и рыболовство.

\*\* Данные из переписей в Дании и Швеции содержат много неадекватно описанных видов занятий, особенно в ранние годы.

Источники:

по Австрии — Kausel 1979: 698;

по Германии — данные за 1871 г. из работы Fischer 1982: 52;

все прочие данные — Bairoch 1968.

ственного населения. Чтобы выстроить теорию классовых отношений модерна, нам нужно проанализировать их в разных странах.

Но на пути общей теории аграрной политики стояли три препятствия. Наследие Маркса имело катастрофические последствия. Он ожидал, что аграрное население будет сокращаться, как в Великобритании. Со временем так и происходило, но лишь в середине XX в., уже после того как отношения труда и капитала во многом институционализировались. Маркс также ошибочно рассматривал крестьян как неспособных к классовой организации. Его заблуждения привели к тому, что социалисты допустили, как мы увидим, катастрофические политические ошибки. Во-вторых, для большей части западных мыслителей характерен антиаграрный уклон. Они рассматривали



аграрное население как консервативное и традиционалистское, сопротивляющееся обновлению и обреченное стать отбросами истории (Gerschenkron 1943; Moore 1973; E. Weber 1978; Jenkins 1986). В-третьих, аграрная политика в действительности была очень разнообразной, делая создание общей теории трудной задачей. Какие теоретические схемы могут объединить клерикализм, монархизм, фашизм, популизм, республиканство, социал-демократию, анархизм и коммунизм?

Теория аграрной сферы лучше развивалась в экономической, а не в политической области и на примере стран третьего мира XX в., а не стран Запада. Линц (Linz 1976), Пейдж (Paige 1976), Сорокин с соавторами (Sorokin et al. 1930), Стинчкомб (Stinchcombe 1961) и Вольф (Wolf 1969) анализировали в основном экономические интересы в странах третьего мира, коллективные производительные мощности и ответы на глобальную коммерциализацию. И все же, как я подчеркиваю во всей своей работе, классовые битвы были также политическими. Некоторые нацеливались на главные политические требования этого периода — налогообложение и воинскую повинность, но экономические вопросы также становились политическими, когда партии для достижения своих целей старались захватить государственную власть — центральную, региональную или местную. Тем самым политические кристаллизации также структурировали аграрные движения. Хотя авторы и признают, что экономические переменные недостаточны, чтобы объяснить результаты, они рассматривают политику как «внешнее» воздействие (Wolf 1969: 290–291; Paige 1976: 43, 47) или как эмпирическую частность (Linz 1976). Другие пытались создать теории политики, но рассматривали только классовую политику (Moore 1973; Rueschmeyer, Stephens and Stephens 1992). Я собираюсь отстаивать мнение, что различия в аграрной политике принципиально отразились на взаимодействующих партийно-демократической и национальной политической кристаллизациях, тем самым определив структуру современного мира.

## АГРАРНЫЕ КЛАССЫ

Я выделяю три основных аграрных класса. В этом разделе я анализирую их экономические интересы и силы. В следующем разделе я оцениваю воздействие на них аграрной динамики второй промышленной революции — глобальной коммерциализации капитализма. Наконец, я исследую то, как отношения политических сил переплетаются с этими экономическими отношениями. Итак, три аграрных класса составляют:

- 1) *землевладельцы* — знать, мелкопоместное дворянство или простолюдины, владевшие крупными наделами земли и использовавшие в большей или меньшей степени чужой труд;
- 2) мелкие землевладельцы — в терминологии континентальной Европы — *крестьяне*. Обычно владеют своей землей и используют труд собственной семьи;
- 3) *безземельные батраки*, работавшие на первый (иногда и на второй) класс. Могут быть временными, сезонными или постоянными рабочими, свободными или зависимыми, получают оплату деньгами или продуктами.

Два уточнения: во-первых, земледелие на арендуемой земле создает промежуточные позиции (испольщики и издольщики). Аренда земли с гарантированным сроком и юридическими привилегиями приводит к сближению арендаторов с первым или вторым классом в зависимости от размера участка и использования наемного труда. И наоборот, наименее защищенные арендаторы или те, чья бедность грозила им потерей прав на арендуемый участок, были ближе к безземельным батракам. Во-вторых, крестьяне представляют собой гетерогенную группу от богатых, рыночно ориентированных фермеров до довольствующихся прожиточным минимумом владельцев мелких наделов. Большинство богатых крестьян нанимают батраков, возможно, сезонно, за пределами своих хозяйств, в то время как более бедные крестьяне помимо возделывания своих участков сами нанимаются к более богатым свободно или на условиях *испольщины* (*bonded terms*) или *издольщины* (*sharecropping terms*). Я учитываю в своей работе арендаторов и малоземельных крестьян.

Два из трех классов не задержат наше внимание надолго. Интересы и силы первого класса были очевидны. Крупные фермеры и землевладельцы были в сердце правящих режимов Европы (старых и новых), доминировали на американском Юге и влияли на партии крупного бизнеса в других регионах. Они везде организовывали консервативные партии порядка, занятые сохранением отношений собственности и противостоящие демократии (Rueschemeyer, Stephens, and Stephens 1992).

Интересы и силы третьего класса, безземельных трудящихся, также легко объять, хотя они и более противоречивы. Это были пролетарии, нанимаемые крупными фермерами, обычно подвергавшиеся открытой эксплуатации, страдавшие от низкой оплаты, деспотичной власти и юридического бесправия. Большинство социалистических партий, работавших в сельских регионах, концентрировали свои усилия на этой группе. Но эти батраки были не способны к коллективной организации, буду-

чи территориально разделенными, практически безграмотными, живущими и работавшими под прямым контролем работодателей, часто непосредственно на фермах хозяев, иногда как зависимые слуги. Они были зависимы от сегментарного контроля фермеров над местной благотворительностью, церковью, чиновниками и правительством. Хотя они представляли собой латентный класс, безземельные трудящиеся редко формировали экстенсивный или политический класс.

Глава 15 передает объяснения Ньюби (Newby 1977), как сегментарный контроль вел скорее к субординации, чем к классовому сознанию. Батраки на фермах получали желаемое через фермеров, а не в борьбе против них, тем самым развивая и интернализируя стратегии почитания в обращениях к ним. Социалисты-агитаторы в деревне могли действительно представлять угрозу стратегиям почитания. Батраки (и арендаторы) могли идентифицировать себя скорее как члены межклассовых сообществ конкретной деревни или конкретного поместья, чем как члены класса. Классовая самоидентификация и радикальная политика в общем возникали в условиях постоянного отсутствия землевладельцев в своих поместьях, когда батраки и арендаторы обладали определенной местной автономией, особенно в условиях издольщины, типичной для Южной Европы (см., например, работу по Испании Malefakis 1970). В рассматриваемых мною странах такая ситуация существовала лишь на юго-востоке Франции и в западных американских штатах, где она действительно порождала радикализм. Сельский пролетариат оставался преимущественно латентным классом до тех пор, пока не ослабевал сегментарный контроль землевладельцев.

Второй класс — крестьяне-собственники — представляет проблему. Его экономическая позиция по отношению к другим классам остается неясной. Хотя большинство крестьян обладали сильной коллективной идентичностью, отличной от крупных землевладельцев, безземельных трудящихся и городских классов, у них не было заклятого классового врага в терминах производственного марксизма, так как их производство было автономным. Большая часть производственной эксплуатации происходит внутри семейного хозяйства обычно со стороны старшего мужчины в семье. Большинство малоземельных крестьян подвергались определенной трудовой эксплуатации, хотя это редко определяло классовую идентичность, так как они к тому же были владельцами собственности.

Однако классовый анализ Вебера, основанный на борьбе кредитов на рынках, а не на производственных конфликтах, может лучше подходить для исследования крестьянства. Вебер

считал, что этот класс исторически перешел от борьбы за «потребительский кредит вначале к конкурентной борьбе на товарном рынке, а затем к конфликтам по поводу заработной платы на рынке труда». Исторически «крестьянам и... ремесленникам угрожала долговая кабала, и они боролись против городских кредиторов» (Weber 1978: II, 931). Как мы увидим, это продолжалось дольше, чем ожидал Вебер.

Крестьяне конца XIX в. испытывали на себе сильную кредитную и ценовую эксплуатацию через ипотечные кредиты и взыскания по накладным, системы закупки урожая на корню, продажу урожая по ценам, устанавливаемым корпорациями-монополиями, — все это настраивало их как класс должников против класса капиталистов-кредиторов. Маркс также отмечал эти процессы, происходившие среди французских крестьян XIX в. и угрожавшие им пролетаризацией. Но в своей знаменитой работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» он выразил сомнение в способности крестьян к классовой организации. Крестьяне, хотя и подобные друг другу, не были взаимозависимы, заявлял он. Их тип производства отделял их друг от друга — «всего лишь локальная взаимосвязанность» делала крестьян подобными мешку картофеля, большой, но бесформенной и инертной группой, неспособной к классовой самоорганизации. Это неверно — крестьяне организовывались весьма эффективно, как утверждает Вольф (Wolf 1969).

Однако какими бы ни были их классовые интересы, все три аграрных класса также разделяли *секторальную* идентичность. Все они были уязвимы перед изменениями климата и болезнями растений. Они были «ближе к земле» во всех субкультурных и идеологических значениях этого выражения. Они были разделены территориально на деревни, что обретает отчетливое значение в *локально-региональной* организации и политике. В то время как большинство промышленных рабочих организовывались по профессии или предприятию, аграрное население организовывалось по сообществам и месторасположению. Мы увидим, что этот факт сохранял в XX в. политические сегментации Роккана (Rokkan 1970) по религиям и принципу «центр — периферия» актуальными гораздо дольше, чем он мог предвидеть. Наконец, аграрное население в Европе (но не в Америке) было более традиционным, с гораздо более старыми и институционализированными отношениями, режимами и церквями, чем население индустриальных городов. Политика в аграрных регионах была более связана, позитивно или негативно, со старым режимом и клерикализмом.

Секторализм ставит фермеров как производителей в невыгодное положение против потребителей из городских и про-

мышленных секторов. Фермеры заинтересованы в высоких ценах на продовольствие, а их потребители — наоборот, и эти различия очень легко политизировались, так как цены регулировались с помощью субсидий, налогов и тарифов. Однако фермеры обычно и сами покупают сельскохозяйственные товары, а аграрные рынки редко меняются все вместе. Когда производители зерна ищут протекционизма, производители корнеплодов, вина или молочных продуктов, напротив, могут добиваться открытых рынков. Тем самым секторальные экономические интересы имеют тенденцию к сужению в масштабах. Но при этом сельскохозяйственное население формировало субкультуру, отличную от индустриально-городской. И если их экономические интересы вступали в конфликт, идеологические разногласия могли быстро его усилить.

Таким образом, для аграрных классов и секторов трудно вывести какие-либо *необходимые* коллективные идентичности или политические действия, кроме консерватизма фермеров-землевладельцев. Наиболее очевидное, по Марксу, классовое разделение — между крупными фермерами и безземельными батраками — было труднее всего организовать. Противоречивыми выглядят и другие линии конфликтов. Конфликт «земли против промышленности», по Роккану, особенно противоречив — в реальности это смесь конфликтов классов кредиторов и должников и секторов производителей и потребителей, каждый из которых может противопоставлять крестьян различным противникам. Так и происходило в ходе глобальной трансформации капитализма, повлиявшей на сельское хозяйство конца XIX в.

## ГЛОБАЛЬНАЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В то время как на Западе шли процессы коммерциализации, урбанизации и индустриализации, сельское хозяйство продолжало поставлять продукты питания и людей. После внедрения железных дорог (с 1840-х гг.) и пароходов (с 1870-х гг.) даже огромные территории в глубине континента могли быть коммерчески интегрированы. Развитие было на стороне фермеров с капиталом для инвестиций, что усиливало стратификацию в сельской местности. Фермеры и более богатые крестьяне увеличивали свои земельные наделы за счет общих земель, бедных крестьян и церкви. Как отмечает Тилли (Tilly 1979), основная пролетаризация в промышленной революции произошла в сельском хозяйстве. Безземельные батраки поставляли рабочую силу для промышленности и заграницы. По мере концентрации промышленного

производства в городах сельскохозяйственная промышленность и кустарные ремесла приходили в упадок (это в меньшей степени коснулось Франции и Швеции с соответствующими важными последствиями). Аграрное общество поляризовалось быстрее, чем по предсказанному «Коммунистическим манифестом» сценарию для индустриальных городов.

Но затем поляризация остановилась. Между 1860 и 1880 гг. переписи населения и данные комиссий свидетельствовали, что крестьяне не исчезали, как ожидалось. Результатом стал один из лучших современных примеров классового анализа — работа Карла Каутского «Аграрный вопрос» (Kautsky 1899, 1988). Каутский видел, что труд внутри семьи может эксплуатироваться больше, чем свободный. Крестьянские семьи переживали падение рынка, работая больше и потребляя меньше, чтобы сохранить свою землю. Их самоэксплуатация (в действительности это была патриархальная эксплуатация, когда мужчина — глава семьи эксплуатировал недопотребление женщин, младших мужчин и детей, а также их нежелание продавать свою землю) привела русского марксиста Чаянова к провозглашению нового, «крестьянского способа производства». Но Каутский также отметил, что крестьянские хозяйства не были автономными. Их производство переплеталось с капитализмом. Малоземельный крестьянин или батрак, как и собственник дуалистического рабоче-крестьянского хозяйства, трудился на крупного землевладельца или в промышленности, одновременно производя часть продуктов для своего существования (а возможно, и какой-то товар на продажу) на собственном участке. Мелкие фермы также поставляли мигрантов, поденных рабочих и рекрутов в армию. Между крестьянским хозяйством, капитализмом и милитаристским государством развивалась симбиотическая связь. Каутский оставался ортодоксальным марксистом, ожидавшим, что занятость в сельском хозяйстве уйдет в прошлое по мере роста занятости в промышленности. Но он видел, что поляризация в сельском хозяйстве завершилась.

Доводы Каутского, даже недооцененные, были верными. Существовали и позитивные причины процветания крестьян. Концентрация собственности на землю имела пределы издержек и эффективности. В своих тезисах 1894 г. Вебер отмечал, что в Пруссии юнкеры-землевладельцы вынужденно продавали часть земли крестьянам, чтобы инвестировать полученный капитал в оставшиеся в их руках поместья. Одновременно в связи с конкуренцией за труд со стороны промышленности росли заработки в сельском хозяйстве. Рабочие на фермах могли делать сбережения и инвестировать их в мелкие наделы, так что расходы на оплату наемного труда у фермеров, использовавших

его, превышали аналогичные затраты крестьян, эксплуатировавших труд собственной семьи (Grantham 1975). Стоимость многих продуктов, производимых мелкими хозяйствами, не превосходила стоимости аналогичных продуктов, производимых крупными хозяйствами. Эта ситуация не распространялась на производство зерна и тем самым на американских фермеров в штатах Среднего Запада, но европейские крестьяне могли специализироваться на выращивании корнеплодов, как в Западной Германии (Perkins 1981), молочных продуктах, как в Дании, или на виноделии, как на юге Франции (Smith 1975). Крестьяне также могли создавать кооперативы для покупки техники, переработки и распределения продукции — еще одна форма организации, опровергавшая метафору Маркса о «мешке с картошкой». К 1900 г. большинство регионов с крупной земельной собственностью не отличались передовыми сельскохозяйственными экономикой, как представлялось ранее, а, напротив, оставались отсталыми и реакционными: Европа к востоку от Эльбы, Россия, юг Италия, Испания и южные штаты США. В передовых же регионах экономика помещиков, крестьян и безземельных батраков была совместно завязана на наиболее передовых промышленном и финансовом секторах.

Это вело к двум альтернативным аграрным политикам — классовому популизму и секторальному сегментаризму. В процессе вовлечения фермеров в глобальный капитализм нарастали кредитные конфликты. Рос объем займов, обеспечиваемых землей (у собственников) или урожаем (у арендаторов). В американских штатах, расположенных в прериях, фермеры закладывали землю, чтобы купить акции железных дорог — источник жизненной энергии их рыночных сил. Но трения между железнодорожными компаниями и банками делали их инвестиции убыточными, что угрожало потерей права выкупа. Мелкие фермеры занимали у крупных и у банков. Арендаторы были вынуждены продавать урожай на корню или прибегать к издольщине. Более бедные крестьяне оказались в наихудшем положении, особенно когда подлежащее разделу наследство приводило к дроблению наделов. Крестьяне видели, что их эксплуатация идет от городского и аграрного крупного капитала. Они требовали отмены или облегчения долгового бремени, а также регулирования деятельности банков, железнодорожных компаний и корпораций — поставщиков удобрений и техники. Это и есть *классовый популизм*, классовый конфликт по Веберу, основанный на кредитных и рыночных отношениях, противопоставлявший народ корпоративному капитализму, потенциально объединявший крестьян и рабочих против одних и тех же противников в левый альянс.

Но рыночная конкуренция также усилила *секторальную* идентичность среди фермеров. Спады в сельском хозяйстве быстро выходили за пределы сектора, так как производители были вынуждены снижать цены. Улучшения, даже происшедшие на другом континенте, могли наполнять местные рынки более дешевыми товарами, как произошло в Европе в 1880 г. с американским зерном и аргентинской говядиной. Специализация усиливала уязвимость к колебаниям рыночной конъюнктуры. Что если произойдет природная катастрофа (подобно эпидемии филлоксеры, нанесшей огромный урон французским виноградникам в 1880-х гг.) или рост эффективности у иностранных конкурентов (подобно тому как улучшенные технологии помола у американских фермеров подорвали продажи прусской ржи)? Существовали политические средства: протекционизм государства против рыночных сил, проводимый с помощью субсидий, займов и тарифов. Но аграрные тарифы вызвали ответные меры со стороны других государств, нанося вред производителям других товаров, и поэтому обычно вызвали противодействие городского промышленного сектора. Секторальные политические меры обычно сталкивали крестьян и рабочих друг с другом, и если рабочие придерживались левых взглядов, аграрный сектор мог качнуться вправо. Многие зависело от того, какие именно фермеры возглавляли секторальный протест. Крупные землевладельцы могли возглавлять *сегментарные* и консервативные движения, крестьяне — секторальный популизм.

Тем самым аграрная политэкономия порождала противоречивые классовые и секторальные интересы, политизируемые долговыми, кредитными и тарифными требованиями, которые усиливала с 1873 г. великая сельскохозяйственная депрессия. Многие считают, что эта депрессия сделала крестьян консервативными, сопротивляющимися капиталистической модернизации, угрожавшей их существованию (Jenkins 1986). Но лишь немногие крестьяне сопротивлялись модернизации, когда пролетаризация в сельском хозяйстве пошла на спад. Им нужна была не реакция или революция, а ограниченное вмешательство государства, чтобы уменьшить их страдания в краткосрочной перспективе и обеспечить справедливое участие в долгосрочной модернизации. Недовольство могло принимать радикальные формы, если было нацелено на капиталистических акторов, например банки или железнодорожные компании. Но оно подразумевало практические политические действия: изменение тарифов, кредит, помощь в кооперации. Политическая деятельность шла через государство. С какими политическими кристаллизациями крестьяне сталкивались?



ТАБЛИЦА 19.2. Партийная демократия и общенациональный вопрос в аграрных государствах XIX в.

Монархия против партийной демократии			
Централизация против конфедерализма	Конкурируют на равных	Монархия слабеет	Партийная демократия легитимизирована
Большинство партий — сторонники централизации	Германия, Австро-Германия	Скандинавия, Россия	Франция
Централизованная монархия, конфедеральные демократы	Большинство земель Австрии	Национальные меньшинства в Российской империи	
Большинство партий — конфедеральные			США

## ГОСУДАРСТВА И АГРАРНЫЕ КЛАССЫ: ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПАТТЕРНА

Как показывают предыдущие главы, в политике конца XVIII и XIX вв. доминировали представительские и национальные конфликты за гражданские права. Как утверждал Роккан (Rokkan 1970), они проходили не только между классами и секторами, но также между сторонниками централизации и децентрализации и между церковью и государством. Представительские движения сопротивлялись абсолютной монархии двумя способами: уменьшая силы центрального государства или принимая централизацию и демократизируя ее — поднимая как партийно-демократические, так и общенациональные вопросы. Церкви играли особенно важную роль в этих конфликтах в сельских регионах, где они предоставляли основную инфраструктуру для локально-региональной мобилизации. Католическая и протестантская церкви оказывались в трех возможных ситуациях: государственная церковь (чаще протестанты, чем католики), церковь большинства или церковь меньшинства. Соответственно различались и их позиции по отношению к партийной демократии и национальному вопросу.

Хотя политические кристаллизации, имевшие отношение к аграриям, были сложными и уникальными, по крайней мере в одном отношении они были проще, чем промышленные. К 1900 г. сельские жители давали большую часть солдат в армии европейских стран, и большинство режимов шли на компромисс с ними (отчасти чтобы избежать объединения аграрных

и промышленных рабочих в единое движение). Таким образом, в аграрных классовых отношениях милитаризм шел на спад, исключая ситуации, когда региональный национализм обострял их (в рассматриваемых странах это в основном некоторые регионы Австрии и России и совершенно другой случай — Юг США). Тем самым я упрощаю аграрные политические кристаллизации до двухмерного пространства, определяя их в терминах трех позиций в каждом из двух измерений: партийная демократия и национальный вопрос. В этот период монархиям во всех развитых странах бросала вызов партийная демократия. Текущие результаты варьировались от равновесия сил до очевидных проблем у монархий или монархий, уже упраздненных или лишенных реальной власти институционализированной партийной демократией. Национальный вопрос привел к более разнообразным результатам, но я выделил только три в рассматриваемых мной странах. Таблица 19.2 выделяет девять итоговых идеальных типов, но исследуемые страны попадают только в шесть ячеек из девяти.

Варианты в аграрной политике различных стран становятся предсказуемыми на основе комбинации этих двух политических кристаллизаций. Но так как я в своем исследовании рассматриваю лишь несколько стран и имеет смысл обсуждать страны как отдельно взятые общности, я упрощаю вариации до четырех широких паттернов.

1. Партийная демократия (для большинства мужчин) и решение национального вопроса институционализированы. Во Франции политические институты возникли централизованными, в США — конфедеральными. Но в обоих случаях существующие партии уже были надежно институционализированы, а новые партии, включая крестьянские, были сравнительно неэффективными. Так как конфедеральное государство позволяет больше региональных вариаций, мы находим больше исключений в Америке, в политике некоторых регионов и штатов, где временно к власти пришли аграрные партии.
2. Партийная демократия по-прежнему конкурирует на равных с силами, большинство из которых выступают за централизованное государство. Это принципиально противопоставляло самодержавную монархию с поддерживавшей ее национальной буржуазией в равной степени выступавшему за централизацию этатистскому рабочему классу. В этом случае большинство крестьянских движений колебалось, но постепенно смещалось вправо, присоединяясь к партиям «старого порядка» или формирующимся автономным

- консервативным или правоцентристским партиям, приемлемым для монархии. Такова была основная схема в Германии и в основных австро-немецких землях Австро-Венгрии.
3. Партийная демократия по-прежнему испытывает конкуренцию, но со стороны стремящейся к централизации самодержавной монархии и конфедеральных демократических партий. В этом случае крестьянская политика смещается в сторону классового популизма. Когда в ней доминировали крестьяне, это был обычно левый популизм, а когда другие группы — преобладали правые тенденции. Это была схема, распространенная в остальных землях Австро-Венгрии и в конечном итоге провалившаяся в землях Южной и Западной Германии.
  4. Партийная демократия по-прежнему испытывает конкуренцию, но в условиях слабеющей монархии против постепенно побеждающего союза городских либералов, крестьян и рабочих, причем обе стороны выступают за централизацию. В этой схеме крестьяне смещались влево, становясь потенциальными союзниками социалистов. Когда старый режим терял власть мирным путем, к ней приходила социал-демократия, как в Скандинавии. Там, где смена власти проходила через революцию, как крестьяне, так и рабочие становились еще левее, как в России. Существующий уровень исследований относительно активности национальных меньшинств в Российской империи не дает мне возможности должным образом рассмотреть борьбу монархии против конфедеральных противников.

## ПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ ВО ФРАНЦИИ И В США

Французское государство осталось централизованным в XIX в., а его партийная демократия была институционализована после 1880-х гг. Экономика страны была довольно разнообразной. Сельское хозяйство варьировалось по разным регионам, а индустриализация была медленной и децентрализованной, разбросанной по мелким городам и делившей свою рабочую силу с крестьянскими хозяйствами. В 1789 г. революционеры объединились в союз с крестьянами и институционализировали крестьянскую собственность, но когда они затребовали высокие налоги, низкие цены на продовольствие и рекрутов, крестьянское население отвернулось от них. Дальше всего пошли арендаторы западных регионов, которые подняли вооруженное восстание под сегментарным контролем владельцев поместий и цер-

ковнослужителей, который сохранялся и в XIX в. (Bois 1960). Некоторые регионы и города вместе отошли от христианства, в других церковь усилила сегментарный контроль через школы, благотворительность, больницы и общественный досуг. Из-за невозможности прямого противостояния централизации клерикализм был в основном маскировкой конфедерализма: охват централизованного государства уменьшился по мере роста сакрального охвата. Существовало общее различие между консервативными западными регионами и радикальным юго-востоком, к тому же в этих регионах было множество микросхизм, когда города и их окрестности против общей тенденции региона оказывались под властью республиканцев и консервативно-клерикальных партий (Garrier 1973: I, 515–516; Merriman 1979). Но французская политика была слишком сложной, чтобы характеризовать ее как секторальную: сельская против городской, аграрная против индустриальной.

Таким образом, упадок в сельском хозяйстве направил недовольство аграрного населения в русло локально-региональных движений. В юго-восточных провинциях крестьяне и владельцы мелких участков земли специализировались на продукции (винограде, оливках, фруктах или цветах) и были тем самым уязвимы к колебаниям рынка, перепроизводствам после 1900 г., конкуренции с крупными производителями, которые также понижали заработки владельцев мелких участков земли, ценовым и кредитным тискам торговцев из среднего класса (Smith 1975; Judt 1979; Brustein 1988). После 1880 г. они смещались от республиканизма к социализму. Слабо сплоченное левое крыло французской политики (описанное в главе 18) обратилось к разработке программ, нацеленных в пользу классовых интересов крестьян и требований арендаторов-испольщиков и безземельных батраков. Они замалчивали перераспределение земли, вводили налоговые льготы и субсидии, защищали прогрессивное налогообложение, содействовали кооперативам (но не коллективной собственности на землю), нападали на монополии и в некоторых регионах собирали антиклерикальные силы (Loubere 1974: 206–233; Brustein 1988: 107, 169).

Депрессия также угрожала аграрной базе правых, так что им пришлось учиться политической гибкости. Местная знать объединяла крестьян и арендаторов в схемах кредитования, страхования и кооперации (Berger 1972; Garrier 1973: I, 518–522). Церковь также отвечала на вызов времени, опасаясь (как католические центристы в Германии), что экономическое недовольство в аграрных регионах подорвет их сегментарный контроль. Одна из церковных фракций даже отвергла свой монархизм

и союз с владельцами поместий и сформировала аграрное социалистическое христианское движение.

Бруштейн (Brustein 1988) предложил классовое объяснение раскола между западными и юго-восточными провинциями. Он показывает связь, существовавшую более 100 лет между областями, где крестьяне имели право собственности на землю с голосованием за левых кандидатов, а также связь областей с преобладанием арендаторов мелких и средних участков земли (и присутствием владельцев поместий) с голосованием за правых. Реинтерпретируя предшествующие исследования (Bois 1960; Tilly 1967; Le Goff and Sutherland 1983), Бруштейн полагает, что эти имущественные различия ранее лежали в основе поддержки или оппозиции революции. Крестьяне исходно склонны к левым идеям, а арендаторы — к правым, заключает он. Джадт (Judt 1979: 113–114, 134–136, 279–280) в своем исследовании левых идей у крестьян юго-востока Франции приходит к аналогичному заключению: «Крестьянство *всегда* проявляло большее рвение к революциям, чем другие составляющие группы обществ модерна». Данная глава показывает, что это — преувеличение. Но почему оно выглядит правдоподобным для Франции?

Бруштейн утверждает, что различные производственные отношения делали *интересы* крестьян левыми, а арендаторов — правыми. Он описывает отношения землевладельцев в западных провинциях с их обедневшими зависимыми арендаторами в слишком радужных красках: арендаторы, как и исполщики, делили риски и выгоды с хозяевами своих участков, в то время как закабаленные работники в действительности были более защищены, чем другие наемные рабочие. Однако это минимизирует эксплуатацию, которой подвергались все три группы, и некоторые политические действия правых сил противоречили этим интересам — например, регрессивное налогообложение и оппозиция сельской демократии. В действительности, как видно из общих рассуждений в данной главе, аграрные экономические интересы были амбивалентны и более подвержены политическому влиянию, чем допускает Бруштейн. Производственные отношения включают как интересы, так и контроль. Локальный сегментарный контроль, осуществляемый активными землевладельцами над зависимыми от них арендаторами, был решающим фактором, подталкивавшим их в консервативном направлении. Как и в других странах, происходящее в аграрном секторе было результатом переплетения экономических и политических отношений. Специфической французской чертой был перенос столь различных выражений аграрных интересов в XX в. в первую очередь из-за неоконченных локально-региональных последствий революции.

Демократия и конфедерализм в США были институционализированы рано, хотя для решения проблем второго потребовались гражданская война и период реконструкции Юга. В период войны также произошел резкий рост коммерциализации сельского хозяйства (Bruchey 1965: 155–158; Danhof 1969: 11). Международные рынки хлопка и продуктов питания стимулировали производство товарных культур. В то время как фермеры восточных штатов специализировались на молочном животноводстве, фермеры равнин и западных штатов переключились с самообеспечения на товарное производство пшеницы и кукурузы (маиса). Им требовались транспорт и кредиты, но они были уязвимы перед долгами и низкими ценами на сельскохозяйственные товары. Гражданская война еще более усугубила ситуацию, вызвав дефицит наличности и кредитов, высокие налоги, таможенные тарифы (для защиты промышленности) и упадок сельского хозяйства на Юге.

Все это можно было преодолеть, но, к несчастью, американская политическая система становилась недоброжелательной к фермерам. Это государство, уже обсуждавшееся в главах 5 и 18, кристаллизовалось как либерально-капиталистическое (сакрализующее права собственности), партийно-демократическое и федеральное. Его демократия находилась в руках двух партий. Демократическая партия унаследовала аграрный интерес, но потеряла власть во время Гражданской войны. Теперь в стране доминировали республиканцы и промышленный капитал. Перестроенный электорат поляризовался более по локально-региональным и этнорелигиозным сообществам, чем по классовому признаку (Burnham 1974: 688). Республиканцы контролировали северные штаты и правительство федерального уровня, за демократами оставались южные штаты. Чтобы конкурировать с республиканцами на федеральном уровне, демократы заручились поддержкой бизнеса и коммерции, их представительство мелких фермеров стало спорадическим, а рабочее движение сошло на нет.

Политическое пренебрежение вызывало растущее недовольство фермеров. Высокая стоимость транспортных услуг требовала урегулирования железнодорожного сообщения. Высокие цены на промышленные товары, покупаемые фермерами, приводили к неприятию интересов города и промышленности и раздражению по отношению к местным торговцам. Национальная банковская система действовала против фермеров. Возврат денежной системы к золотому стандарту был выгоден бизнесу, но фермеры получали меньше денег за свои товары и больше платили за свои покупки и обслуживание долгов. Нехватка наличности увеличивала число ипотечных займов и за-

висимость от заимодателей и кредиторов-торговцев. Издольная кредитная система (crop lien credit system) Юга распространилась на остальные регионы среди мелких землевладельцев и фермеров-арендаторов. Усилились классовый кредитный и секторный тарифный конфликты. В отличие от большинства европейских стран тарифы в США защищали промышленников и вредили фермерам, в частности, на Юге и Западе (Buck 1913: 21).

Не получив помощи от двух существовавших политических партий, фермеры создавали свои организации. Лига грейнджеров 1870-х гг. жаловалась на низкие цены и высокую стоимость товаров у производителей техники и услуг корпоративных железных дорог и посредников. Они обратились к мелким «третьим партиям»: реформистам, гринбекам (Greenback) и антимонополистам. Более радикальный Фермерский альянс конца 1880-х гг. уже нападал на систему аренды и монокультурной зависимости, особенно на Юге, требуя субсидий для кооперативов и фермерских бирж. Доминирование бизнеса в двух ведущих партиях страны толкало фермеров еще дальше влево, к союзу с рабочими группами в Народной (или Популистской) партии, которая имела сильные позиции на Юге и Западе, а также успешно закрепились в отдельных районах на Среднем Западе. Ее антимонополистическая платформа требовала больше гарантий на землю мелких фермеров, защиты от корпораций и федерального «субказначейства» для поддержки фермеров от падения цен и высокой стоимости кредитов.

Движение влево продолжалось и в начале XX в., когда аграрными базами социалистической партии стали Оклахома, Техас, Арканзас и Луизиана. Фермеры этих штатов были вынуждены работать в рамках арендной и издольной систем, возделывать хлопок и подчиняться режимам крупных фермеров, местных лендлордов, купцов и кредиторов. В отличие от популистов, эксплуатация которых велась внешними коммерческими и финансовыми интересами, мелкие фермеры и арендаторы южных и юго-западных штатов страдали от местной знати. Таким образом, здесь линия раздела проходила скорее между классами, чем между секторами, политически подпитываемая капиталистическим контролем над демократами, доминировавшими над всем Юго-Западом (Rosen 1978). Как и во Франции, Скандинавии и Баварии, американские социалисты в этих штатах защищали умеренный аграрный социализм. Они рассматривали мелких фермеров не как капиталистов, а как активных трудящихся-производителей, приняли доктрину радикального классового популизма — землю прямым производителям — и конкурировали на выборах с демократами. В итоге американские

аграрные социалисты вышли за рамки популизма с требованием прекратить капиталистический контроль.

Эти третьи партии получили широкую локально-региональную поддержку, одержав победу на многих выборах как на местном уровне, так и на уровне штатов (Fine 1928; Dyson 1986). И все же в итоге они проиграли не в силах прорваться через систему двухпартийной демократии на федеральных выборах из-за малого числа сторонников и либерально-капиталистического доминирования республиканцев и демократов. Союз фермеров и рабочих был нужен обоим, но наличие общего противника редко приводит к подлинной солидарности. Фермерско-рабочие партии успешно прижились только в Висконсине и Миннесоте. В отличие от Скандинавии, России и земель Австро-Венгрии у рабочих и фермеров были общие политические права, что не позволяло объединить совместимые, но все же различные экономические программы.

В результате образовавшийся хрупкий альянс раскололся, причем с обеих сторон, при столкновении с партиями, глубоко пропитанными капиталистическим либерализмом. В главе 18 я упомянул, что Американская федерация труда прекратила поддержку третьих партий в 1894–1895 гг., сделав социалистов меньшинством в среде рабочих. Раскол произошел и в рядах фермеров. Популисты были кооптированы демократами, и их политика растворилась в политике ведущей партии. Социалисты Юго-Запада начали скатываться к оппортунизму, но затем потерпели поражение от местных демократов (Virbank 1976: 188; Green 1976: 382). На Юге межрасовый популизм выражал протест против издольной системы, но лишение черного населения политических прав ослабило и раскололо движение вдоль расовых границ. Юг оставался под политическим контролем местной олигархии плантаторов и торговцев даже после Второй мировой войны. Его представители в Конгрессе оставались консервативными и препятствовали принятию законов в пользу рабочих и мелких фермеров. Постоянная слабость американского рабочего движения также сыграла свою роль в том, что радикальные движения фермеров были обречены на безрезультатность. В данном случае мы снова наблюдаем выраженный репрессивный эффект либерально-капиталистической, партийно-демократической и федеральной кристаллизаций американского государства.

В этот период движения фермеров в США немногого достигли. Позднее, в XX в., после краха движений арендаторов и издольщиков крупные и средние фермеры вместе добились заметного влияния в существующих двух партиях. Многие из секторальных требований фермеров были удовлетворены, но преимущественно в консервативных сегментарных формах.



## ВЫЗОВ СИЛЬНЫМ МОНАРХИЯМ: ГЕРМАНИЯ И АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Как подчеркивается в главах 9 и 18, представительство в Германии было всегда связано с национальным и религиозным вопросами, так как государство было прусским и протестантским. После неудавшейся попытки режима справиться с католической церковью (*Kulturkampf*) в 1870-е гг. религия стала менее выраженной проблемой, но по-прежнему входила в национальный вопрос. Централизующая самодержавная монархия зависела от крупных землевладельцев и капиталистов и в большей степени — от среднего класса, которые тем самым становились силами, способствовавшими централизации нации, а врагами монархии были рабочее движение и локально-региональные меньшинства, выступавшие за конфедерализм, или даже собственные нации-государства (поляки, датчане, эльзасцы и ганноверские сепаратисты).

Крестьяне находились где-то посередине: ни в самом режиме, но и не как враги режима. Но враждуя с растущим рабочим движением и конфедералистами, режим едва ли мог оттолкнуть еще треть населения. Более того, поставив на то, что крупные фермеры способны сегментарно контролировать батраков и арендаторов, режим ввел избирательное право для взрослых мужчин, чтобы противопоставить городам голоса аграрных избирателей. В руках аграрных избирателей оказалось непропорционально большое число голосов, и поэтому крестьяне заняли двойственную позицию по отношению к развитию демократии (Rueschemeyer, Stephens and Stephens 1992: глава 4). Хотя немецкие рабочие были объединены общей классовой борьбой за политические права, они оказались оторванными (в отличие от Скандинавии) от крестьян.

Таким образом, крестьяне двигались вправо. Но это движение различалось по регионам, так же как и условия в сельском хозяйстве между западными и восточными землями. Отмена крепостного права привела к тому, что в восточных землях крепостные стали батраками юнкеров-землевладельцев, но крестьяне западных земель уже давно имели больше свобод и продолжали процветать (Conze 1969: 54; Brenner 1976) вплоть до депрессии 1873 г. Депрессия, снизившая цены и вызвавшая рост задолженностей, способствовала развитию как секторального конфликта между аграрным и промышленно-городским населением, так и классового популизма по кредитному вопросу, направленному против капиталистов. После 1882 г. более половины немецких крестьян были мелкими землевладельцами,

вынужденными наниматься батраками к более крупным. Тяжелым бременем была и воинская повинность, порождавшая, как у социалистов, антимилитаризм. Крестьяне, как и социалисты, были против регрессивного непрямого налогообложения, за которое ратовали консерваторы. Но если бы недовольство крестьян было вместо этого направлено на земельный налог и в пользу протекционистских тарифов, защищавших от международной конкуренции, они вошли бы в секторальный сегментарный альянс с юнкерами и прочими крупными землевладельцами. Каким же путем пошли крестьяне?

К востоку от Эльбы крестьяне отклонились вправо, будучи под секментарным контролем юнкеров. Но в западных и католических землях произошла независимая политическая мобилизация (Blackbourn 1977, 1984). Однако крестьяне оставались амбивалентны к индустриально-городской классовой борьбе — их отношение варьировалось в зависимости от регионов и религий. Лютеране на севере Пруссии выступали за централизованную нацию-государство. Большинство католиков (37% населения рейха в 1905 г.), проживавших в южных землях, были склонны к конфедерализму. Таким образом, церковь могла мобилизовать католиков как против старого лютеранского режима, так и против государственнического «безбожного» пролетариата. Аграрии-лютеране в северных землях не были заинтересованы в подавлении движения индустриальных рабочих, но они были склонны к централизованной нации-государству, в то время как аграрный католический юг нет.

Марксистская социал-демократическая партия также внесла свою лепту в их решение (Hussain 1981). Она долго игнорировала аграрное население как обреченное на исчезновение по образцу Великобритании, но в 1890-х гг. начала работать с сельским электоратом. Партия имела успех в протестантском Гессе и его окрестных аграрных областях, среди батраков в Мекленбурге и некоторых районах Восточной Пруссии, где лютеране были готовы оценить ее государственнический социализм. Но стесненная марксистскими догмами, особенно идеей обобществления земли, и мобилизуемая своей городской частью в секторальную оппозицию против протекционистских мер или субсидий по защите сельского хозяйства, партия была малопривлекательной для крестьян. Так как большинство батраков одновременно имели пусть крохотные, но свои наделы, они желали защитить частную собственность, а не отменить ее. Аграрное население не смогло усвоить идеологию социал-демократов и тщетно ждало от них секторальных уступок. В целом обращение к аграрному электорату оказалось провальным (Eley 1980: 23–24). Успехи социалистов в деревне могли быть значительными, как по-

казывает опыт социал-демократической партии в Баварии, где она отбросила догму обобществления земли и предложила крестьянам ипотечное страхование. В благодарность крестьянские голоса в Баварии вернули представителей социал-демократов в ландтаг (парламент федеральной земли).

Крестьяне южных земель, как южане и католики, были склонны к конфедерализму. Их требования выражала католическая партия Центра. Возглавляемая городской знатью, она вначале не принимала во внимание недовольства крестьян. Когда же в начале 1890-х гг. она поддержала снижение тарифов, проведенное либеральным правительством Каприви, крестьянский электорат покинул центристов и сформировал диссидентские крестьянские ассоциации и лиги в Вестфалии, Баварии и Рейнской области. Баварские лиги были радикальными, антиклерикальными и антимилиитаристскими. Они выступали за прогрессивное налогообложение и сельскохозяйственный протекционизм. Отсюда вытекала возможность союза левых сил с социал-демократами. Но встревоженная Католическая партия центра сформировала собственные католические крестьянские ассоциации, умерила свою позицию по тарифам и начала спонсировать аграрные кредитные программы. Это привело к упадку левых лиг (Farr 1978). Центристы восстановили свой контроль, трансформировавшись в частично крестьянскую партию, искавшую, как удовлетворить секторальные жалобы. В альянсе с северными консерваторами они вынудили режим принять меры сельскохозяйственного протекционизма. Крестьяне южных земель получили многое из желаемого через центристов, которые обладали влиянием внутри режима.

В северных землях правительство Каприви, столь нелюбимое аграрным населением, зависело от национал-либералов и прогрессистов. Аграрное крыло этих партий на тот момент находилось в упадке, чем и воспользовались консервативные партии, возглавляемые крупными фермерами, выступив за протекционистские меры и вовлекая крестьян в аграрные лиги. В протестантских регионах, где консерваторы имели слабую поддержку, крестьяне отклонились к правому популизму, антиурбанистическая и антимонополистическая риторика которого стала активно лютеранской, националистской и антисемитской. Евреи были легкой мишенью для популистов, борющихся против кредиторов в аграрных Гессене и Пруссии, — в тех же регионах, где получили точку опоры социал-демократы, а позднее будут доминировать нацисты (Eley 1980; Farr 1986).

Таким образом, немецкие крестьяне отошли от социалистов дальше, чем в большинстве других стран. Они могли в этой ситуации принять мягкую социал-христианскую пози-

цию католиков-центристов или секторальный сегментаризм консерваторов, контролируемых крупными фермерами, или правый классовый популизм. Исторически крестьянское недовольство обернулось дрейфом вправо, вызванным двумя чертами режима и одной чертой социал-демократической партии. Во-первых, авторитарная монархия успешно пользовалась политикой «разделяй и властвуй» в аграрной сфере, проводимой сегментарно по размеру владений. Если партии знати отвечали на жалобы аграриев — Католическая партия центра отвечала, прогрессисты и национал-либералы нет, — их влияние в рамках режима давало им преимущество перед исключенными народными партиями и они могли склонить недовольство аграриев вправо. Во-вторых, если партии знати не реагировали на недовольства аграриев, возникали автономные крестьянские движения, находившиеся под влиянием национального вопроса, то есть религии и регионального местоположения. Лютеране в северных землях выступали за централизацию нации-государства: одни склонялись вправо к национальному популизму, другие — влево к этатистскому социализму. Так начиналась острая конкуренция между крайними левыми и крайними правыми в лютеранской Германии, которая со временем помогла уничтожить Веймарскую республику. По иронии судьбы католический конфедеральный Юг обладал большим потенциалом для радикальных аграрных движений, но атеистическая этатистская Социалистическая партия была не лучшим средством для них, и центристы быстро восстановили свой контроль над регионом. В-третьих, производственный марксизм социал-демократов содействовал дрейфу крестьян вправо, так как игнорировал их классовое недовольство кредитами. Все эти кристаллизации были в преобладающей степени политическими.

Австрийские земли были в основном аграрными, с доминированием крупных поместий, обрабатываемых батраками или малоземельными крестьянами. Интенсивная эксплуатация со стороны помещиков, высокие проценты по займам и отсталость некоторых провинций приводили к жестокой нищете и долгам, лишь в малой степени облегчаемым массовой эмиграцией в Новый Свет. Аграрное производство, как и кредитно-классовая и секторальная борьба, было бы еще безжалостнее, если бы не подавлялось сегментарным контролем со стороны помещиков. Они оформлялись тремя специфическими австро-венгерскими кристаллизациями по вопросу партийной демократии и национальному вопросу (см. главу 10).

Во-первых, Габсбурги были не просто монархией, но *династией* с довольно деспотической, хотя и ограниченной властью.

Большую часть века они сопротивлялись любой демократии, затем поменяли курс в поисках возможностей использовать партийную демократию для политики «разделяй и властвуй» по сегментарным границам между классами и региональными нациями. После экспериментов с местными правительствами в 1896 и 1907 гг. режим даровал право для взрослого мужского населения избирать ассамблеи с ограниченным суверенитетом (это нововведение отставало в Венгрии). До этого события городские либеральные и аграрные консервативные партии почти не интересовались лишенными избирательных прав крестьянами и безземельными батраками. Неожиданное введение избирательного права для этих категорий населения привело к возникновению массовых аграрных и индустриальных партий, еще не контролируемых сегментарно уже существующими партиями. Новые партии выступали за партийную демократию, то есть полноправие парламентов. В отличие от Германии (но подобно скандинавским странам) всеобщее лишение политических прав могло потенциально объединить радикальных представителей буржуазии, рабочих и крестьян.

Во-вторых, без парламентских институтов большинство провинций представляли *церкви*, которые теперь спонсировали и политические партии. Католическая церковь была квазигосударственной в некоторых провинциях, но она в конечном счете была транснациональной, а не этатистской. В других провинциях она являлась выразителем локально-регионального недовольства. Протестантские миноритарные церкви выполняли эту функцию еще чаще. Аграрные движения были клерикальными или антиклерикальными в зависимости от позиции местной церкви, но очень редко индифферентными к религии.

В-третьих, большинство демократов поддерживали *конфедерализм* (соответствуя третьей из моих схем), за исключением центральных австро-немецких земель (в соответствии со второй схемой). Большинство из них позже станут диссидентами-националистами. Это вынуждало монархию больше полагаться на австро-германцев и после компромисса 1867 г. — на другие верные клиентелистские национальности. Таким образом, отношения «земледелец — батрак» и «кредитор — заемщик» также стали регионально-национальными, потому что эксплуататорами часто были немцы, венгры или евреи (занявшие прочные позиции в государственной администрации и банковской системе), а эксплуатируемые обычно принадлежали к местной национальности. Экономическое недовольство и национализм усиливали друг друга. Австро-германские демократические партии выступали за централизацию, а негерманские были сторонниками конфедерализма, а затем национальной автоно-

мии. Венгры оставались амбивалентными в связи с их позицией «младших» эксплуататоров на юго-востоке.

Таким образом, аграрная политика кардинально различалась от региона к региону. В австро-германской Нижней Австрии все партии выступали за централизацию. Они делились по классовому и секторальному принципам, связанным с быстрой индустриализацией и секуляризацией в городах. Консервативная и антисемитская Христианская социалистическая партия (католическая и преимущественно крестьянская) завоевала две трети мест в ландтаге Нижней Австрии в 1903 г., отважно защищая крестьянские интересы и поддерживая кооперацию, мораторий на погашение долгов, ограничения по ипотечным кредитам, законодательство по освобождению домашнего имущества от взыскания по долгам. Ее главным оппонентом была Социалистическая партия, собравшая в свою поддержку определенное число голосов безземельных батраков, но практически не поддержанная крестьянами. Как и их коллеги в Германии, социалисты Нижней Австрии не имели развернутой аграрной программы и придерживались производственной этатистской марксистской догмы, которая не способствовала успеху у крестьян (Lewis 1978).

Другим ведущим промышленным регионом была Богемия. Чешский рабочий класс, подобно своим австро-немецким товарищам, первым поддержал этатистский марксизм, но по мере распространения чешского национализма чешские социалисты (как и баварские) заняли двойственную позицию. Большинство землевладельцев были немцами, и преобладавшая католическая церковь была встроена в правление Габсбургов, что делало местный национализм антиклерикальным. Все это ослабляло сопротивление сельского населения социализму. Это была часть Европы, где марксистская партия наиболее успешно привлекала безземельных батраков. Ее главным конкурентом среди них была Национал-социалистическая партия, идеология которой соответствовала ее названию (а не идеям Гитлера!). Большинство крестьян поддерживало правоцентристскую аграрную партию, выступавшую за автономию Чехии и большую демократию, но она была антисоциалистической и безразличной к нуждам безземельных батраков (Pech 1978).

В более отсталой Словении «национальное» диссидентство возглавляла католическая церковь. Большинство крестьян поддерживали клерикальную радикальную Словенскую народную партию, выступавшую за демократические реформы и крестьянские экономические интересы. Социалисты почти не имели успеха — лишь в областях этнически смешанного населения, где национализм не пользовался влиянием. Польская Галиция

была также отсталой и аграрной, насчитывавшей не один десяток крестьянских бунтов, имела заметную на фоне прочих провинций автономию, позволявшую польской знати и богатым крестьянам эксплуатировать украинцев — батраков и малоземельных крестьян. Тем самым польский национализм был здесь сдержанным, католическая церковь занимала нейтральную позицию, а в политике доминировали классы. Католическая и мутуалистская социалистические партии конкурировали и с Социалистической партией за голоса безземельных батраков.

Положение Венгрии в дуалистической монархии было экономически и политически уникальным: в ней была наивысшая доля крупных землевладений и устойчивый контроль венгерской знати (институционализированный после 1867 г.) над *половиной империи*. Магьярский национализм был тем самым заглушен, а контроль знати препятствовал развитию классовых организаций среди крестьян и батраков в самой Венгрии (Eddie 1967; Macartney 1969: 687–734; Hanak 1975). Но сельскохозяйственная депрессия вызвала сильный голод, и в 1894 и 1897 гг. разразились крестьянские бунты. Только что появившаяся Венгерская социал-демократическая партия организовывала некоторые из них, но затем потерпела неудачу, когда как радикальная популистская партия малоземельных крестьян стала конкурировать с партиями крупных землевладельцев.

Но в остальных областях этой *половины империи* аграрные протесты становились регионально-национальными, направленными против доминирования мадьяр. Сначала протестантские, а затем и католические церкви возглавили словацкое национальное сопротивление (Pech 1978). Либералы и социалисты не имели заметного влияния до конца Первой мировой войны. Жалобы крестьян и батраков игнорировались в национально-религиозной политике. В Хорватии же происходило практически противоположное. Местные нотабли — слабая знать, буржуазия и католические иерархи — были клиентами высшей знати из мадьяр. Тем самым они были столь скомпрометированы, что мощное националистическое диссидентство выросло среди исключенного из политической жизни крестьянского большинства, прославляя крестьянина — радикального, антиклерикального и даже социалиста. Во всех балканских провинциях и государствах знать и дворянство сильно поредели и ослабли после владычества турок. В радикальных популистских движениях доминировали средне- и малоземельные крестьяне (Mouzelis 1986: 35–38).

Таким образом, по всей Австро-Венгрии классовые (производственные и кредитные) и секторальные интересы редко вели прямо к политической организации. Национальный вопрос —

спор о децентрализованной партийной демократии в частично конфессиональном государстве — логично приводил к различным результатам. Чешское национальное недовольство усилило классовую борьбу производителей, приведя к союзу промышленных и аграрных пролетариев. На Балканах кредитно-классовая и национальная борьба усиливала друг друга и вела к распространению классового популизма среди крестьян. Среди австро-германцев в областях с развитой промышленностью, а национализм был уникально направлен на централизацию, это консолидировало этатистский марксистский социализм в рядах промышленных рабочих. Но австрийские социалисты, подобно своим немецким товарищам, попали в ловушку городских индустриальных анклавов. В остальных регионах результаты были более консервативными. За исключением Венгрии и Словакии, требования национальной автономии ослабляли консерватизм аристократии и церкви, но крестьяне были в основном отвлечены национализмом от радикально классового популизма. Вместе с городской средней и мелкой буржуазией они склонялись к центристскому и правому популизму. В соединении с антисемитизмом это позднее привело к отвратительным результатам.

### ВЫЗОВ СЛАБЫМ МОНАРХИЯМ: СКАНДИНАВИЯ И РОССИЯ

Я включаю в свое исследование Данию, Норвегию и Швецию, потому что они дали пример самого успешного в XX в. союза крестьян и городских социалистов. Эти страны обладали различными экономиками, но проводили сходную политику: многочисленное крестьянство было вынуждено примкнуть к левым силам сначала в союзе с либеральной буржуазией, а затем в союзе с рабочими. Во всех этих странах земельная аристократия была сравнительно слабой. Это важно, так как значительная часть аграрного населения тем самым была освобождена от сильного сегментарного контроля. Более богатые крестьяне в основном имели коллективные политические права, которые распространили свое действие и на более бедных в течение XIX в. После того как в 1905 г. Норвегия добилась независимости, эти страны были достаточно централизованными, этнически и религиозно гомогенными. Их общая история кажется результатом сходных государственных режимов и политических союзов, чем следствием их экономик. Аграрная и городская политика в них кристаллизовалась как партийно-демократическая и национально-централизирующая.



Два вопроса — экономический и политический — свели крестьян сначала с городскими либералами, а затем с рабочими. Во-первых, большинство мелких фермеров были сторонниками свободной торговли, либералами в том смысле, какой это слово имело смысл в XIX в. В Дании это произошло потому, что разведение мясного и молочного скота все еще было успешной стратегией на мировых рынках. Датские городские либералы и социалисты также выступали за юридические свободы для мелких арендаторов — важной группы полукрестьян-полубатраков. Норвежские крестьяне выступали за свободную торговлю, так как это означало свободную международную торговлю и свободу от налогов, взимаемых иностранными государствами, которые правили ими до 1905 г. Шведские фермеры, как крупные, так и мелкие, придерживались более протекционистской политики. Но в Скандинавии крестьяне и городское население были разделены меньшим количеством секторальных конфликтов, чем в большинстве стран Европы. Индустриализация в Швеции и Дании, подобно Франции, имела характерной чертой распространение промышленности по сельским регионам, что способствовало контактам двух секторов в отличие от концентрации промышленности в городских гетто.

Во-вторых, крестьяне вступали в союз с городскими либералами в борьбе за политические права против сравнительно слабых аграрной аристократии и монархий. Шведские либералы были преимущественно выходцами из неконформистских церквей и движения трезвенников. Их контакты с крестьянами проистекали в первую очередь из спонсирования общенациональных образовательных программ. По мере роста рабочего движения значительная часть растущего городского класса сдвигалась вправо — так они стали сдерживать распространение демократии. Но остальные либералы и мелкие фермеры шли к демократическому альянсу с социалистическими партиями рабочих. Поскольку эти страны были централизованными и лютеранскими, социалисты сначала обратились к этатистским версиям социализма (многие — к марксизму). Но они ответили на городской либерализм и крестьянский радикализм отходом от марксистской ортодоксии производительных сил (а датские социалисты никогда ее и не придерживались). Шведские социал-демократы, например, завуалировали Эрфуртскую программу, которую они приняли от немецких товарищей, чтобы отвести от себя любое подозрение в том, что они желают насильственной революции.

Так развивалась трехпартийная политика: городские и аграрные капиталисты со значительной частью среднего класса формировали консервативные партии, крестьяне и меньшая

часть среднего класса — либеральные и радикальные партии, а рабочие (физического труда, а затем и «белые воротнички») — социал-демократические. Прагматические альянсы между двумя последними группами партий привели к уникальной успешной левой форме современной цивилизации — скандинавской социал-демократии (Munch 1954; Semmingsen 1954; Holmsen 1956; Kuuse 1971; Osterud 1971; Kuhnle 1975; Thomas 1977; Castles 1978; Stephens 1979: 129–39; Duncan 1982; Esping-Andersen 1985; Rueschemeyer, Stephens and Stephens 1992: глава 4)<sup>2</sup>. Аграрные классы сами по себе не были социалистическими, но их секторальные, кредитно-классовые и более всего гражданско-политические интересы привели их влево.

До сих пор крестьянская политика сосредоточивалась на экономических угрозах крестьянской собственности, активности крестьян в партийной демократии и национальном вопросе. Россия являлась исключением, так как ни одно из этих условий изначально не существовало. В России уникальным образом развилось революционное крестьянство. Таким образом, смешение экономических и политических требований в России носило неповторимый характер.

Как показывает глава 18, Россия оставалась самодержавной династической монархией, не делавшей никаких шагов к партийной демократии до 1905 г. Впрочем, и последовавшие шаги были ничтожными. Режиму теперь противостояли в основном промышленно-городские и регионально-национальные представительские движения. Государство, казалось, было вне досягаемости большинства крестьян. У нас недостаточно свидетельств о диссидентском национализме в Российской империи, также, возможно, крестьяне из национальных меньшинств, как и в других странах, были активнее вовлечены в политику, направленную на децентрализацию, чем я предполагаю в своей работе. Но в региональных земствах (местных государственных учреждениях, созданных в 1864 г.), похоже, доминировали аристократы, в то время как на уровне деревни все еще функционировало традиционное эгалитарное сообщество (*mir*). Как и во Франции накануне революции, аристократы очень редко жили в деревнях.

Отмена крепостного права в 1861 г. не дала крестьянам автономии. Она привязала их к земле иными способами и помо-

---

2. Эти обобщения подходят к Норвегии меньше, чем к Дании или Швеции. Норвежская экономика была более разнообразна по секторам, а население Норвегии — по языкам, что приводило к региональному и религиозному фундаментализму и марксистскому социализму. Лишь в 1935 г. Норвежская рабочая партия (DNA, социал-демократы) отказалась от марксизма и вступила в союз с фермерами.

гала снижению производительности в сельском хозяйстве (см. Pavlovsky 1930; Robinson 1932; Volin 1960; Wolf 1969; Shanin 1972, 1985; Haimson 1979; Skocpol 1979). В отличие от Австро-Венгрии отмена крепостного права не привела к появлению коммерческих крупных поместий. Депрессия в сельском хозяйстве и снижение цен вынуждали продавать или сдавать в аренду землю крестьянам. Но им пришлось заплатить за освобождение выкупными платежами, арендной платой и покупкой земли. Быстрая индустриализация, спонсируемая режимом, вызывала рост налогов, тарифов и, как следствие, цен. Это вынуждало крестьян продавать производимые ими продукты на рынках, а рынки — экспортировать их, чтобы оплатить за импортируемые промышленные товары и иностранные займы. Экономическое давление приводило к исчезновению скота, истощению почвы (обычно и так низкого качества) в результате отхода от традиционной трехпольной системы, так как поля теперь не лежали под паром. Крестьянский *мир* начал поляризоваться на богатых крестьян (кулаков) и бедных крестьян. У большинства было слишком мало плодородной земли, чтобы прокормить себя, произвести излишки для рынка и заплатить всевозможные сборы государства. Планы режима по модернизации, казалось, лишь ухудшали их тяжелую участь и политизировали.

В 1905 г. государство распалось в результате военного поражения и крестьяне ухватились за свой шанс. Бунты были направлены в основном на помещиков и местную администрацию. Большинство аграрных забастовок, нападений на собственность и конфискаций земель в 1905 г. были направлены против крупных помещиков, особенно в центральном черноземном регионе и немногочисленных областях, где крупные капиталистические поместья вытесняли крестьян. Наиболее устойчивая поддержка этих действий исходила от средних и молодых крестьян, которые усваивали революционные идеи, работая в городах (Perrie 1972: 127; Wolf 1979). Крестьяне требовали передела земли и отмены либо сокращения ренты, налогов и воинской повинности. Насилие было в меньшей степени направлено против кулаков. Кулаки работали на собственной земле, дворянство нет. Крестьянская идеология «тот, кто работает на земле, имеет на нее право» сглаживала фракционизм. Это было крестьянское восстание. Политическая агитация извне редко имела успех, и нападения на помещичьи имения часто организовывал *мир* (Walkin 1962; Perrie 1972).

Революция 1905 г. была подавлена, но напуганный режим создал ограниченную Думу. Режим и аристократы-помещики теперь оценили состояние сельского хозяйства. Режим отменил выкупные платежи, помещики сократили арендную плату

и продолжали распродавать имения. Когда крестьянские бунты продолжились, режим поменял направление. Большинство политических реформ было отменено, крестьяне лишены представительства в Думе, аграрные реформы Столыпина стали попыткой ввести капиталистическое хозяйствование среди богатых крестьян.

Крестьянские общины расколола реформа Столыпина, согласно которой крестьяне могли получить землю в собственность и выйти из общины. Богатые крестьяне могли воспользоваться этим, а беднейшие крестьяне — отделить и продать свои крохотные участки и использовать вырученные деньги на переезд в города или на отдаленные территории. Большинство крестьян-середняков были против раздела и хотели, чтобы община оставалась единым целым. Этот внутренний, порожденный государством конфликт означал разделение редко объединенных владений на крупные частные фермы. Индивидуальные наделы крестьянина оставались интегрированными общиной, остававшейся мощным источником коллективных действий. Крестьяне-середняки выступали за экспроприацию земли у аристократии и дворянства, возможно, даже за ее национализацию, но они не желали передела земли по капиталистической или большевистской коллективистской модели. Местная община оставалась их идеалом, и меры правительства по переделу земли лишь усилили ярость крестьян, выпущенную на волю в 1917 г.

Временное представительство в Думе, которое впоследствии отобрали, глубоко повлияло на крестьянскую политику (Haimson 1979; Vinogradoff 1979). Крестьяне установили контакт с левыми политическими партиями. Отсутствие избирательных прав объединяло народные классы и направляло их влево, как мы видим и на примерах других стран. Меншевиков и большевиков сдерживала марксистская догма производственных отношений, но партия эсеров придерживалась более веберянско-го подхода к классовым различиям по распределению дохода и кредита, и эсеровские крестьянские союзы сыграли главную роль в революции 1917 г. Режим раскололся, так же как в 1905 г., из-за военного поражения и распада административной системы; крестьянские восстания были центральной частью революционного процесса, как и в 1905 г.; крестьяне-середняки возглавили движение, как и в 1905 г.; основой крестьянских беспорядков было требование земли.

Таким образом, движения российских крестьян следует понимать в терминах практически полного лишения (параллельно с рабочими) гражданства и вмешательства режима в их локальное экономическое положение. Большинство русских крестьян не были частными собственниками и не желали ими

быть. Их требование земли и ее общинной обработки основывалось не на ее незащищенности, порожденной модернизирующимся капитализмом, как утверждают Вольф и Дженкинс, а на отрицательном опыте самодержавного капитализма, который не приносил им каких-либо выгод. В отличие от всех других стран в России было мало примеров успешного капиталистического сельского хозяйства, даже в крупных поместьях. Лишь в России крестьянство сопротивлялось модернизации, просто требуя земли, отказываясь разрывать общинные узы, как до, так и после 1917 г. Русские крестьяне желали остаться вне политики, но режим принудил их к революционной самообороне.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей работе я подтвердил сложность и запутанность аграрной политики. Проблема была не во владельцах крупных поместий, политика которых представлялась единообразно консервативной, и не в безземельных батраках, политика которых варьировалась просто в зависимости от их способности освободиться от локальных сегментарных видов контроля. Крестьяне-собственники, многие из которых были малоземельными, представляли главную проблему для теории, как и для современной политики. Они обладали сильным чувством коллективной идентичности и эффективно организовывались для защиты своих интересов (опровергая метафору Маркса о мешке картошки). Изначально они не были ни консервативными (как утверждали Маркс, Мур, Пейдж и Стинчкомб), ни революционными (как считали Вольф, Бруштейн и Джадт). Большинство их экономических требований включали умеренный аграрный реформизм, смесь кредитного класса, по Веберу, с секторальными интересами. Производительные классы, по Марксу, появлялись лишь там, где преобладали арендаторы и издольщина и где у их представителей было пространство для организации. Классовый конфликт «кредитор — должник» рос по мере коммерциализации сельского хозяйства, усиливаясь секторальным разделением, так как большинство кредиторов относились к классу городских капиталистов. В этом случае противником крестьянства становился в первую очередь класс капиталистов.

Однако крестьяне были в общем и целом реформистами и желали особых вмешательств правительства против нерегулируемых международных рынков, где доминировал крупный капитал. Крестьяне, за исключением России, требовали более высоких тарифов, снижения стоимости кредитов, транспорта и промышленных товаров, справедливого доступа к земле

и юридической защиты мелкой собственности. Вне этих рамок крестьяне, подобно большинству сельских жителей, с подозрением относились к центральному государству и старались его избегать. В конце XIX в. лишь в сфере образования, хотя и не всегда, батраки и крестьяне приветствовали расширение набора гражданских функций государства. Они не принимали реформистского социализма, хотя он искал ограниченного вмешательства государства с целями перераспределения. Крестьянские коллективные интересы и идентичность были даже более неоднозначными, чем у рабочих.

Таким образом, крестьянские движения за реформы охватили практически весь политический спектр — от правых до левых. Вариации не определялись преимущественно экономическими факторами, как считают большинство авторов. В действительности экономические факторы имели значение, как отмечалось, особенно во Франции и в Скандинавии, но политические кристаллизации играли еще большую роль. Политика крестьянства проистекала в первую очередь из их включенности в представительскую и национальную борьбу за гражданские права. Это вовлекло их в две величайшие классовые схватки промышленно-городской политики — буржуазного либерализма против консервативного старого режима землевладельцев, а затем рабочих против капитала. Крестьяне также оказались вовлечены в борьбу за то, насколько национальным и централизованным должно быть государство. Сельское население было территориально разобленным, оно обычно поддерживало выступавшие за децентрализацию локально-региональные движения.

Влияние церкви в аграрной политике не являлось следствием большей религиозности крестьян, хотя она была на первом плане у многих аграрных движений. Корни этого лежали скорее в общих интересах некоторых церквей и сельского населения в сравнительно децентрализованном конфедеративном государстве аналогично (как мы видим в главе 18) ситуации с политикой в рабочем движении. Аграрная политика церкви переплеталась с аграрной политикой региона (и в конечном счете «нации» в Австрии), политически структурируя крестьянские идентичности и интересы, выраставшие из глобальной коммерциализации сельского хозяйства. Вследствие этого крестьяне противоречиво относились к расширению гражданских функций государства, которые в этот период в первую очередь сосредоточились на предоставлении или регулировании массового образования.

Крестьяне редко формировали политическое большинство. При численном большинстве их силу подрывало ограниченное избирательное право и суверенитет парламентов. Крестьянам

требовался один или более из четырех основных классово-секторальных союзников: буржуазные либералы, консерваторы из старого режима, капиталисты или рабочие. В различных регионах и странах крестьяне вступали в союзы по-разному: в Северной Германии — с консерваторами из старого режима, а затем с капиталистами, в Швеции — с буржуазными либералами, а затем с рабочими, во Франции альянсы заключались со всеми четырьмя группами и т. д. Крестьяне, казалось, готовы были вступить в союз с кем угодно — третья причина, помимо их числа и прагматичной умеренности, почему они составляли критические голоса колеблющихся избирателей всю рассматриваемую эпоху.

Почему крестьяне предпочитали или непроизвольно дрейфовали к союзу с той или иной группой? Определения кредитного класса или секторальной идентичности, как и их противников, были достаточно гибкими. Сегодняшние противники могли завтра оказаться союзниками. Промышленное рабочее движение было для крестьян проблематичным союзником. Хотя фермеры и рабочие часто рассматривали как противника корпоративный капитал, их требования редко совпадали, за исключением более низкого и прогрессивного налогообложения и воинской повинности. Иногда крестьянские требования вступали в конфликт с требованиями рабочих, как в случае с тарифами, сокращением земельного налога и повышением цен на сельскохозяйственные продукты. Еще чаще они просто были различными. Городские индустриальные движения, как правые, так и левые, часто забывали, что у крестьян есть собственная «повестка». Консерваторы ошибочно полагались на предполагаемые традиционные методы сегментарного контроля над крестьянами, но крестьяне-собственники редко принимали эти методы без пользы для себя. Левые партии задевали крестьян еще сильнее. История могла бы знать больше примеров из истории левого движения в аграрном секторе, союзов рабочих и крестьян, чем их было в действительности. В этом виноваты сами левые, ослепленные своим опытом в индустриально-городском гетто, сосредоточенные на мутуалистских нуждах профсоюзов и увлеченные дискуссиями о производственном социализме.

Больше других крестьян обидели марксистские партии, немецкие социал-демократы и австрийские социалисты. Их теория производительных сил, которую я также критикую в главах 15 и 17, была не просто академической теорией. Она имела и практические последствия: марксисты рассматривали само социальное развитие из перспективы, в центре которой было производство. Они верили в то, что сельское хозяйство заканчивает свое развитие и крестьяне вот-вот пролетаризируются, — вряд ли эта идея могла понравиться крестьянам. Даже

прагматичные теоретики типа Каутского и Ленина не могли освободиться от этой точки зрения. Из-за авторитетной природы промышленного производства и лишения рабочих гражданских прав в авторитарных государствах марксистские партии развили теорию этатистского социализма, которая также была малопривлекательной для аграрного населения. Большинство крестьян поддерживали идею децентрализованного конфедеративного государства. Задолго до конца XX в. рабочие Востока, и Запада отвергали государственнический социализм, и крестьяне не принимали его.

Именно здесь рабочее движение совершило свою самую катастрофическую ошибку. Рабочий класс оставался повсеместно безоружным и в меньшинстве (за исключением Великобритании). Он не мог одолеть своих классовых противников без союза с аграриями. Но этатистская идеология производительных сил делала этот союз невозможным. Рабочее движение само лишало себя шансов достигнуть революционных перемен. Без крестьян рабочие не добились бы большого прогресса еще 50 лет, пока доля крестьян в населении не сократилась настолько, что их можно было в целом игнорировать, как в Великобритании, но тогда, вероятно, было бы уже поздно. Все, что осталось от пролетарской революции в XX в., — это крайний и отвратительный оппортунизм Ленина и Сталина. Они манипулировали крестьянскими и национальными восстаниями против централизованного самодержавия, а затем подчинили их производственному этатистскому и со временем авторитарному марксизму.

Однако подобное происходило не везде. К союзам рабочих и аграриев стремились в скандинавских странах, чешских землях и отдельных регионах Франции, и такие союзы были заключены. Для этого существовали особые обстоятельства. Во-первых, эти государства рано стали относительно национальными и в них не было значимых децентрализирующих конфедеральных течений среди сельского населения (например, в чешских землях они были ниже, чем в Австро-Венгрии в целом). Во-вторых, в Швеции, Дании и Франции индустриализация проходила также и в сельской местности. В этих странах не было столь резкого разделения между промышленно-городским и аграрно-сельским секторами, они взаимно проникали друг в друга внутри хозяйств. В Швеции и Дании это способствовало появлению диффузных представлений о социальном гражданстве, принятых немарксистскими социалистами, во Франции — идеологическому фракционизму. Ни в одной из этих стран не возникло отдельных политических движений — для рабочих и для аграриев. Такое развитие событий было реальным и в других странах.



Возражения против продуктивизма и этатизма звучали и обсуждались в большинстве стран, но в конце концов они были отвергнуты. Все могло пойти иначе. Подобно тому как некоторые старые режимы совершили катастрофические ошибки и исчезли, а другие учились на ошибках и адаптировались, также происходило и с рабочими движениями. Когда революционеры совершали ошибки, они часто платили за них собственными жизнями.

Таким образом, ошибки правых, особенно левых, привели к различиям в результатах развития рассматриваемых стран. Если крестьяне не находили сочувствующей им партии, они формировали свою собственную, как сделали американские популисты (безуспешно) и крестьяне из различных регионов Австро-Венгрии (некоторые весьма успешно). Напротив, искусные основные партии, как немецкие католики-центристы, шведские социал-демократы (постепенно) и конкурирующие французские партии, осознавали значение крестьянской поддержки (особенно по мере расширения охвата населения избирательным правом) и изменяли свои платформы, чтобы привлечь крестьянские голоса.

Экономические проблемы, хотя по сути своей и мотивировавшие политические действия, редко определяли аграрную политику, скорее разнообразные краски в картинах аграрных битв объясняются кристаллизациями государств, в которых крестьяне преследовали свои интересы. Я не утверждаю, что политика просто определяет классовую борьбу в ходе взаимодействия экономических переменных против политических, скорее результаты развития в аграрном секторе рассматриваемых стран определялись (1) основополагающими *сходствами* классовых и секторальных интересов под влиянием по сути схожей коммерциализации капитализма, во взаимодействии с (2) очень *различными* политическими кристаллизациями по представительскому и национальному вопросам, которые соединили крестьян с их партийными союзниками и государственными режимами совершенно различным образом. Это заключение весьма напоминает мое заключение о результатах борьбы промышленных классов.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Anderson, P. (1974). *Lineages of the Absolutist State*. London: New Left Books.
- Bairoch, P. et al. (1968). *The Working Population and Its Structure*. Brussels: Editions de l'Institut de Sociologie de l'Universite Libre.
- Barral, P. (1968). *Les Agrariens Francais de Meline a Pisano* Paris: Librairie Armand Colin.
- Berger, S. (1972). *Peasants Against Politics*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Blackbourn, D. (1977). *The Mittelstand in German society and politics, 1871–1914*. *Social History*, no. 4.
- . (1984). *Peasants and politics in Germany, 1871–1914*. *European History Quarterly* 14.
- Bois, P. (1960). *Paysans de l'Ouest*. Le Mans: Vilaire.
- Boyer, J. W. (1981). *Political Radicalism in Late Imperial Vienna*. Chicago: University of Chicago Press.
- Brenner, R. (1976). *Agrarian class structure and economic development in preindustrial Europe*. *Past and Present*, no. 70.
- Bruchey, S. (1965). *The Roots of American Economic Growth, 1607–1861*. New York: Harper & Row.
- Brustein, W. (1988). *The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849–1981*. Berkeley: University of California Press.
- Buck, S. (1913). *The Granger Movement*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Burbank, G. (1976). *When Farmers Voted Red*. Westport, Conn.: Greenwood Press.
- Burnham, W. (1974). *The United States: the politics of heterogeneity*. In *Electoral Behavior: A Comparative Handbook*, ed. R. Rose. New York: Free Press.
- Castles, F. (1978). *The Social Democratic Image of Society*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Conze, W. (1969). *The effects of nineteenth-century liberal agrarian reforms on social structure in central Europe*. In *Essays in European Economic History, 1789–1914*, ed. Crouzet, Chaloner, and Stern. London: Arnold.
- Danhof, C. (1969). *Change in Agriculture: The Northern United States, 1820–1870*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Dovring, F. (1965). *Land and Labor in Europe in the Twentieth Century*. The Hague: Nijhoff.
- Duncan, S. (1982). *Class relations and historical geography: the creation of the rural and urban questions in Sweden*. *Research Papers in Geography (University of Sussex)*, no. 12.
- Dyson, L. (1986). *Farmers' Organizations*. New York: Greenwood Press.
- Eddie, S. (1967). *The changing pattern of leadership in Hungary, 1867–1914*. *Economic History Review* 20.
- Eley, G. (1980). *Reshaping the German Right: Radical Nationalism and Change After Bismarck*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Esping-Andersen, G. (1985). *Politics Against Markets: The Social Democratic Road to Power*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Farr, I. (1978). *Populism in the countryside: the peasant leagues in Bavaria in the 1890s*. In *Society and Politics in Wilhelmine Germany*, ed. Richard J. Evans. London: Croom Helm.
- . (1986). *Peasant protest in the empire the Bavarian example*. In *Peasants and Lords in Modern Germany: Recent Studies in Agricultural History*, ed. R. Moeller. Boston: Allen & Unwin.
- Fine, N. (1928). *Labor and Farmer Parties in the United States, 1828–1928*. New York: Rand School of Social Science.
- Fischer, F. W. et al. (1982). *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch. Vol. 1: Materialien zur Statistik des Deutschen Bundes, 1815–1870*. Munich: Beck.
- Garrier, G. (1973). *Paysans du Beaujolais et du Lyonnais, 1800–1970*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
- Gerschenkron, A. (1943). *Bread and Democracy in Germany*. Berkeley: University of California Press.
- Goodwyn, L. (1976). *Democratic Promise: The Populist Moment in America*. New York: Oxford University Press.
- Grantham, G. (1975). *Scale and organization in French farming, 1840–1880*. In *European Peasants and Their Markets*, ed. E. L. Jones and W. N. Parker. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- Green, J. 1976. *Grass Roots Socialism*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Haggard, H. R. (1971). *Rural Denmark and Its Lessons*. London: Longman Group.
- Haimson, L. (1979). *Introduction: the Russian landed nobility and the system of the third of June, and Conclusion: observations on the politics of the Russian countryside (1905–1914)*. In *The Politics of Rural Russia*, ed. L. Haimson. Bloomington: Indiana University Press.
- Hanak, P. (1975). *Economics, society, and sociopolitical thought in Hungary during the age of capitalism*. *Austrian History Yearbook* 9. Hicks, J. 1931. *The Populist Revolt*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Hobsbawm, E. (1989). *The Age of Empire*. New York: Vintage Books.
- Hohorst, V. G. et al. (1975). *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch*. Vol. 1: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs, 1870–1914. Munich: Beck.
- Holmsen, A. (1956). Landowners and tenants in Norway. *Scandinavian Economic History Review* 6. Hovde, B. 1943. *The Scandinavian Countries, 1720–1865*. Boston: Chapman & Grimes.
- Hussain, A. (1981). *Marxism and the Agrarian Question*. Vol. 1: German Social Democracy and the Peasantry, 1890–1907. London: Macmillan.
- Jenkins, J. C. (1986). Why do peasants rebel? Structural and historical theories of modern peasant rebellions. *American Journal of Sociology* 88.
- Jonasson, O. G. (1938). *Agricultural Atlas of Sweden*. Stockholm: Lantbrukssaellskapets.
- Judt, T. (1979). *Socialism in Provence, 1871–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kane, A., and M. Mann. (1992). A theory of early twentieth-century agrarian politics. *Social Science History* 16.
- Kausel, A. (1979). Österreichs Volkseinkommen 1830 bis 1913. In *Geschichte und Ergebnisse der Zentralen Amtlichen Statistik in Österreich 1829–1979*. Beiträge zur Österreichischen Statistik 550.
- Kautsky, K. (1988). *The Agrarian Question*. London: Zwan. (First published 1899.)
- Kuhnle, S. (1975). *Patterns of Social and Political Mobilization: A Historical Analysis of the Nordic Countries*. London: Sage.
- Kuuse, J. (1971). Mechanisation, commercialisation and the protectionist movement in Swedish agriculture, 1860–1910. *Scandinavian Economic History Review* 19.
- Le Goff, T. J. A., and D. M. G. Sutherland. (1983). The social origins of counter-revolution in western France. *Past and Present*, no. 99.
- Lewis, G. (1978). The peasantry, rural change and conservative agrarianism: Lower Austria at the turn of the century. *Past and Present*, no. 81.
- Linz, J. (1976). Patterns of land tenure, division of labor, and voting behavior in Europe. *Comparative Politics* 8.
- Loubere, L. A. (1974). *Radicalism in Mediterranean France, 1848–1914*. Albany: State University of New York Press.
- Lyashchenko, P. (1949). *History of the National Economy of Russia to the 1917 Revolution*. New York: Macmillan.
- Macartney, C. A. (1969). *The Hapsburg Empire, 1790–1918*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Malefakis, E. (1970). *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Margadant, T. W. (1979). *French Peasants in Revolt*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- Marx, K., and F. Engels. (1968). *Selected Works*. Moscow: Progress Publishers.
- Medvedev, Z. (1987). *Soviet Agriculture*. New York: Norton.
- Merriman, J. (1979). Incident at the statue of the Virgin Mary: the conflict of the old and the new in nineteenth century Limoges. In *Consciousness and Class Experience in Nineteenth Century Europe*, ed. J. Merriman. New York: Holmes & Meier.
- Ministere de l'agriculture. (1897). *Statistique agricole de la France; resultats generaux de l'enquete decennale de 1892*. Paris.
- Moore, B., Jr. (1973). *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Harmondsworth: Penguin Books; Мур, Б. (2016). *Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современ. М.: Изд. дом ВШЭ*.
- Mouzelis, N. (1986). *Politics in the Semi-Periphery: Early Parliamentarianism and Late industrialization in the Balkans and Latin America*. New York: St. Martin's Press.
- Munch, P. (1954). The peasant movement in Norway: a study in class and culture. *British Journal of Sociology* 5.
- Newby, H. (1977). *The Deferential Worker*. London: Lane.
- Osterud, O. (1971). *Agrarian Structure and Peasant Politics in Scandinavia: A Comparative Study of Rural Response to Economic Change*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Paige, J. (1976). *Agrarian Revolution*. New York: Free Press.
- Pavlovsky, G. (1930). *Agricultural Russia on the Eve of the Revolution*. London: Routledge & Kegan Paul.

- Pech, S. (1978). Political parties in Eastern Europe, 1848–1939. *East Central Europe* 5.
- Perkins, J.A. (1981). The agricultural revolution in Germany, 1850–1914. *Journal of European Economic History* 10.
- Perrie, M. (1972). The Russian peasant movement of 1905–1907: its social composition and revolutionary significance. *Past and Present*, no. 57.
- Raeff, M. (1966). *Origins of the Russian intelligentsia: The Eighteenth Century Nobility*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Robinson, G. (1932). *Rural Russia Under the Old Regime*. Berkeley: University of California Press.
- Rokkan, S. (1970). *Cities, Elections, Parties*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Rosen, E. (1978). Socialism in Oklahoma: a theoretical overview. *Politics and Society* 8.
- Rothstein, M. (1988). Farmer movements and organizations: numbers, gains, and losses. *Agricultural History* 62.
- Rueschemeyer, D., E. Stephens, and J. Stephens. (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sandgruber, R. (1978). *Osterreichische Agriirstatistik, 1750–1918*. Munich: Oldenbourg.
- See, H. (1929). *Equisse d'une Histoire Economique et Sociale de la France*. Paris: Alcan.
- Semmingsen, I. (1954). The dissolution of estate society in Norway. *Scandinavian Economic History Review* 2.
- Shanin, T. (1972). *The Awkward Class*. Oxford: Clarendon Press.
- . (1985). *Russia as a "Developing Society": The Roots of Otherness -Russia's Turn of the Century*, Vol. 1. London: Macmillan.
- Sked, A. (1989). *The Decline and Fall of the Hapsburg Empire, 1815–1918*. London: Arnold.
- Skocpol, T. (1979). *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China*. Cambridge: Cambridge University Press; Скочпол, Т. (2017). *Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая*. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Smith, J.H. (1975). Work routine and social structure in a French village: Cruzy in the nineteenth century. *Journal of Interdisciplinary History* 3.
- Sorokin, P.A. et al. (1930). *A Systematic Source Book in Rural Sociology*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Stephens, J. (1979). *The Transition from Capitalism to Socialism*. London: Macmillan.
- Stinchcombe, A.L. (1961). Agricultural enterprise and rural class relations. *American Journal of Sociology* 67.
- Thomas, A. (1977). Social democracy in Denmark. In *Social Democratic Parties in Western Europe*, ed. W. Paterson and A. Thomas. London: Croom Helm.
- Tilly, C. (1967). *The Vendee*, 3d ed. New York: John Wiley.
- . (1979). Did the cake of custom break? In *Consciousness and Class Experience in Nineteenth Century Europe*, ed. J. Merriman. New York: Holmes & Meier.
- Tomasevich, J. (1955). *Peasants, Politics, and Economic Change in Yugoslavia*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- U.S. Census Bureau (1910). *U.S. Census (1910)*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- Vinogradoff, E. (1979). The Russian peasantry and the elections to the Fourth State Duma. In *The Politics of Rural Russia*, ed. L. Haimson. Bloomington: Indiana University Press.
- Volin, L. (1960). The Russian peasant: from emancipation to kolkhoz. In *The Transformation of the Russian Peasantry*, ed. C. Black. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Walkin, J. (1962). *The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia*. New York: Praeger.
- Weber, E. (1978). *Peasants Into Frenchmen*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Wolf, E. (1969). *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper & Row.

## ГЛАВА 20

### Теоретические выводы: классы, государства, нации и источники социальной власти

**В** ЭТОМ ТОМЕ две заключительные главы. В главе 20 я начинаю повествование с того места, где заканчивается глава 7, предлагая обобщения о подъеме двух главных акторов модерна — классов и наций-государств, а затем о четырех источниках социальной власти. Так как все пять рассматриваемых стран (Австрия, Великобритания, Франция, Пруссия-Германия и США) различаются между собой, я должен поддерживать баланс между обобщениями и констатацией уникальности. Но поскольку длившейся так долго XIX в. закончился Первой мировой войной, последняя, 20-я глава будет посвящена анализу ее причин на примерах из этого тома и подтверждению теории, лежащей в его основе.

Как мы видели, государства переплетались как с классами, так и с нациями. Я не буду еще раз подводить итоги моего исследования государств, вместо этого я отошлю читателя к заключению главы 14. Здесь же я только повторю ключевой пункт: когда государство получило больше социального влияния в ходе военного роста в конце XVIII в. и индустриального капиталистического роста в XIX в., оно отчасти натурализовало Запад и его классы.

#### КЛАССЫ И ГОСУДАРСТВА

К началу Первой мировой войны Запад переживал индустриализацию. Великобритания и Бельгия уже стали индустриальными странами, национальное хозяйство большинства других балансировало между промышленностью и сельским хозяйством, а последнее уже часто было коммерциализированным. Капитализм необычайно расширил коллективную власть (возможности) человечества, преимущественно диффузно, прямо через эту цивилизацию с множественными властными акторами [Европу]. Начиная с 1880-х гг. вторая промышленная революция

улучшила материальные условия жизни всех классов и обоих полов, позволив преодолеть уровень прожиточного минимума и почти удвоив продолжительность жизни человека. Хотя и неравно распределяемые, блага второй промышленной революции распространялись столь широко, что большинство акторов власти пришли к согласию относительно поддержки распространения капитализма авторитетной властью [государством]. Государство расширило охват гражданских инфраструктур. Развитие капитализма и бюрократизация государства на Западе шли параллельно.

Капитализм также преобразовывал отношения дистрибутивной власти во всех странах, порождая экстенсивные и политические классы в масштабах, не имевших аналогов в истории. Сначала возникли буржуазия и мелкая буржуазия, затем средний класс, рабочий класс и крестьянский класс — ни один из них не был господствующим классом, тем не менее возможности авторитетной власти всех из них по созданию коллективной организации возросли. Все классы были убеждены (несмотря на получаемые блага), что их эксплуатируют господствующие классы и политические режимы, и все они выражали коллективный протест в поисках альтернатив. Это было очевидно для Маркса и большинства последующих исследователей. Но что еще важнее, было также очевидно для господствующих классов и правящих режимов. Однако результаты развития дистрибутивного конфликта были отличными от тех, которых ожидал Маркс, по четырем причинам.

1. Из-за того что капитализм был преимущественно диффузной организацией власти, его авторитетные классовые организации появлялись как по сути амбивалентные. Буржуазия, мелкая буржуазия и средний класс были экономически гетерогенными. Без вмешательства источников социальной власти их конфликты с господствующими классами и режимами оказывались неполными, мягкими и частными. В ходе первой половины рассматриваемого периода многие из них шли на компромиссы и даже сливались между собой без особого драматизма. Аграрные классы, особенно крестьянство, развивались как разнородные, порождая три конкурирующие формы коллективной организации: производственные классы, кредитные классы и экономический сектор в сегментарном альянсе с крупными фермерами-землевладельцами — своим обычным противником в остальных двух измерениях. Пролетариат также породил три коллективные организационные тенденции: класс, секционализм и сегментаризм. Таким образом, экономическое развитие капитализма поро-

ждало многочисленные виды коллективной организации, среди которых классы, хотя в сущности и развивая ожидаемый Марксом диалектический конфликт, ни в коем случае не доминировали.

2. Результаты конкуренции между этими соперничающими экономическими организациями определялись преимущественно стратегиями или дрейфом более авторитетно организованных господствующих классов и правящих режимов, которые в конце концов контролировали существовавшие авторитетные государства и вооруженные силы. В том случае, если они основательно концентрировались на возникающих классовых конфликтах (а это не всегда было так, как мы увидим), большинство из них вырабатывало эффективную контрстратегию. Такое развитие событий не было чем-то необычным. На страницах этого тома я постулирую: там, где классовый конфликт сравнительно прозрачен, то есть там, где он перерастает в антагонистический классовый конфликт того типа, который, как ожидал Маркс, должен закончиться революцией, правящие классы и режимы могут наиболее эффективно использовать свою институционализированную власть, чтобы подавить и разделить своего противника. Революции, по моему мнению, происходят там, где правящие классы и режимы становятся в тупик перед лицом множественных, недиалектических, но переплетенных конфликтов. В этом случае наиболее эффективной стратегией режима против открытого конфликта капитала и труда были уступки некоторым группам рабочих и крестьян в рамках секционализма и сегментаризма, в то же время подвергая репрессиям остальных. Это подрывало классовое единство, необходимое для революции или агрессивных реформ. Одновременное появление трех форм рабочих организаций подрывало класс, так как эта форма организации требовала гегемонии над рабочими, в то время как две остальные формы нет.
3. В свою очередь, стратегии или дрейф господствующих классов и режимов, а тем самым и рабочих преимущественно определялись тремя другими источниками социальной власти. Я отсылаю читателя к главе 7, где он может найти мое краткое обобщение результатов экономических сражений до 1830-х или 1840-х гг. Там я подчеркиваю диффузный идеологический источник, но также особенно авторитетный военный, а затем политический источник власти. Главы 17–19 представляют политическое объяснение последовавших рабочих и крестьянских движений. Таким образом, примерно к 1900 г. результаты конфликта капитала и труда

на Западе определялись (1) по сути глобальным распространением капитализма, порождавшим общую для всех стран неоднозначность коллективных организаций и интересов, во взаимодействии с (2) различными кристаллизациями авторитетных государств — идеологическими, патриархальными, военными, но особенно двумя гражданскими — по вопросу представительства и национальному вопросу.

4. Эти взаимодействия не были подобны взаимодействиям двух отдельных тел, на которые не действуют другие силы, — сталкивающимся бильярдным шарам. Классы, сегменты и секции недиалектически переплетались с авторитетными политическими кристаллизациями, способствуя тем самым оформлению друг друга. Идентичности и интересы акторов менялись в ходе этого взаимодействия незаметно для самих акторов в результате непредвиденных последствий их действий. В такой неопределенной среде акторы часто допускали системные ошибки. Глава 6 показывает, как французский режим в 1789 г. допустил катастрофические ошибки, недооценив развивающуюся природу своего вновь возникшего противника. Глава 15 иллюстрирует обратное. Довольно необычно, что господствующие классы, контролирующее государство, столкнулись «диалектически» с единым, достаточно гомогенным классовым противником — чартизмом. Без колебаний вступив с ним в конфликт, они не совершили ошибок, безжалостно подавив его активистов и вынудив рабочих, обладавших большими рыночными силами, двигаться к секционализму. Последние главы рассказывают о еще больших исторических ошибках, допущенных чересчур производственными и этатистскими рабочими движениями под влиянием марксизма или лютеранства, которые были на удивление не способны оценить выраженные сложности аграрных конфликтов и тем самым нажили себе врагов из числа потенциальных союзников — крестьян.

Эти четыре определяющих фактора не были исключительно внешними друг для друга. Они переплетались, определяя свои формы. Значение стратегий/непроизвольного дрейфа режима, борьбы за представительские и общенациональные гражданские права, непредвиденных последствий и допущенных ошибок определялось тем, как именно они усиливали классовые, секционные или сегментарные идентичности в соответствии с контекстом событий. Классы, секционализм и сегментаризм продолжали свою борьбу за души рабочих и крестьян. В терминах их отношений со средствами производства эта борьба происходила как в промышленности, так и в сельском хозяйстве в глу-



боко неоднозначных условиях, без решительных результатов в исследуемый период. Конечно, упорный секционализм и сегментаризм подрывали широкое единство, требуемое для классовых действий. В капиталистическом мире без государств это могло бы перманентно ослабить труд в отношениях с капиталом и почти гарантированно предотвратить революционные и даже агрессивно-реформистские результаты. Но капитализм существовал в мире государств. В этот период неоднозначные тенденции к классовой, секциональной и сегментарной организации в основном ускорялись или изменяли направление, часто ненамеренно, авторитетными представительскими и общенациональными политическими кристаллизациями, особенно их воздействием на альянсы рабочих и крестьян. Классы не были исключительно экономическими, так же как и государства не были исключительно политическими.

Как капитализм, так и индустриализация переоценивались. Их диффузные силы превосходили авторитетные силы, ради которых они более полагались на организации военных и политических сил, от которых также и получали форму. Хотя капитализм и индустриализация вместе чрезвычайно увеличили коллективную власть, дистрибутивная власть — социальная стратификация — изменилась в меньшей степени. Классовые отношения Нового времени были активизированы первой и второй промышленными революциями и глобальной коммерциализацией сельского хозяйства, но двигались по изначально амбивалентным путям, на которых различающиеся результаты определялись авторитетными политическими кристаллизациями, в основном довольно рано институционализированными.

Почему государства были столь разнообразными? Чарльз Тилли напоминает нам, что европейские государства возникли в период Средневековья в таких формах, как территориальные монархии, нежесткие сети личных отношений «князь — лорд — вассал», завоеванные государства, города-государства, церковные города-государства, лиги городов, коммун и т. д. Хотя Тилли пишет о сокращении числа типов государств в раннесовременный период, когда территориальные государства стабилизировались и начали преобладать, довольно пестрое разнообразие все еще сохранялось. Разделение христианства добавило и религиозных различий. Государства особенно сильно различались в том, что касалось связей между столицей и регионами в каждом из них. В 1760 г. англиканская Великобритания была довольно однородной и централизованной, поглотив шотландский, уэльский и нонконформистский регионализм, но обладала примыкающей имперской колонией — католической Ирландией. Католическая Франция была

высокоцентрализованной монархией, но с весьма партикулярными отношениями со своими регионами, которые также распадались на два выраженных типа. Лютеранская Пруссия была довольно компактным государством с тесно интегрированными монархией и аристократией господствующего региона. Католическая Австрия была конфедеративной монархией, в которую входило много религиозных меньшинств и языков. Америка была набором отдельных расширявшихся колоний. Все эти страны очень сильно различались между собой. Государства территориальны, а территории размещаются крайне разнообразным образом.

Территориальные особенности усиливались аграрной экономикой и ослаблялись индустриальной. Сегодня в развитых (пост)индустриальных обществах — Великобритании, Франции, Германии — экономическая деятельность поразительно одинакова, так как современная экономика многократно преобразовывает большинство продуктов природы. Но аграрная экономика зависела от экологии — почвы, растительности, климата и воды, а они варьируются от региона к региону. Экология аграрной Европы была необычайно разнообразной, предлагая, как говорят экономисты, «дисперсное распределение экономических ресурсов». Но по мере развития капитализма национальные экономики становились все более подобными друг другу (как отмечается в главе 14).

Капитализм является необычно диффузной формой организации власти, в то время как государства по сути своей авторитетны. Капитализм распространялся по Западу в довольно сходных формах, особенно на своей индустриальной стадии, все более освобождаясь от особенностей территорий. Его диффузная власть также предоставляет как коллективным, так и индивидуальным акторам возможность достаточно свободного выбора альтернативных стратегий и более незавершенной конкуренции. Рабочие и работодатели, крестьяне и крупные фермеры могут создавать различные локальные условия, позволяющие классовым, секциональным и сегментарным стратегиям распространяться и конкурировать. Но государства по своей природе отдельного источника социальной власти авторитетно распределяют и институционализируют. Хотя партии и государственные элиты могут спорить между собой и тем самым уменьшать внутреннюю целостность государства, законы, касающиеся гражданских прав, избирательного права, централизации государства, военной обязанности, тарифов, профсоюзов и так далее, должны приниматься авторитетно.

Государства модерна для начала институционализировали многие территориальные особенности Европы. Затем они зна-

чительно расширили свой охват, когда встретились с двумя волнами общих регуляционных проблем, возникших из выросшего милитаризма XVIII в. и капиталистического развития, продолжавшихся до 1914 г. В этот период государства стали большими, социально значимыми и отчетливо современными. То, каким образом это происходило, оказало огромное влияние на общественное развитие. Но в своих расширившихся ролях государства сначала справлялись с отдельными институтами, развившимися во время более «территориальной» эпохи. На первом этапе роста с ними взаимодействовал милитаризм, что привело к выраженным модернизированным институтам в каждом государстве. Америка институционализировала свою уникальную конституцию, Франция — конфликт вокруг своей, Великобритания — либерализм старого режима, Пруссия — полусамодержавие, а Австрия (с меньшим успехом) попыталась придать своему династицизму больше инфраструктурно проникающей власти. Государства модерна, вызванные к жизни милитаризмом XVIII в. и промышленным капитализмом XIX в., теперь существенно расширили свои социальные функции. Таким образом, структурирующая сила их авторитетных институтов, выкованная во взаимодействии между предыдущей эпохой и милитаристским этапом, также выросла. Примерно к 1830-м гг. политические институты большинства стран стали настолько прочными, что могли абсорбировать практически все вызовы индустриального общества.

Вторым диалектическим процессом, помимо классовой диалектики Маркса, было взаимодействие между тем, что я называю интерстициальным возникновением и институционализацией. Так как общества состоят из множественных переплетающихся сетей взаимодействий, они постоянно производят внезапно появляющиеся коллективные акторы, отношения которых с уже существующими акторами какое-то время остаются неинституционализированными, но потом институционализируются. Классы и нации — прекрасные примеры таких эмерджентных акторов. Они застигли господствующие классы и режимы врасплох, когда все существовавшие институты не были приспособлены для взаимодействия с новыми акторами. Господствующие классы и режимы были вынуждены обходиться институтами, созданными для старых, более территориальных целей. Изначально государства возникли не для того, чтобы справляться с появлявшимися классами и нациями, а чтобы вести все более дорогие войны, а затем способствовать индустриализации, но их разросшиеся институты взяли на себя преимущественную долю социального контроля. Таким образом, они все в большей степени определяли результаты развития классов и наций.

В главах 17 и 18 я уже приводил пример этого — разошедшиеся пути развития рабочего движения в США, Великобритании и Германии. Здесь я фокусируюсь лишь на двух формах авторитетной власти — государственной представительской и милитаристской кристаллизациях (для более полного и адекватного объяснения я отсылаю читателя к этим главам моей работы). Великобритания XVIII в. развила зачаточную форму партийной демократии в первую очередь для институционализации двора и графств, династических и религиозных конфликтов. Великобритании также не хватало эффективной армии в метрополии, исключая находившуюся в Ирландии. Здесь решение проблем с растущим средним классом легло преимущественно на плечи парламента. И он справился с этой задачей. К 1820 г. Пруссия институционализировала конфликты между знатью и административными служащими преимущественно внутри королевской администрации и ее армии. Это также помогло режиму институционализировать средние классы, особенно когда армия обрела легитимность, превратив Пруссию в Германию. Режим Германии также творчески воспользовался ограниченной партийной демократией, которая склонила средний класс вправо. Американская партийная демократия возникла в первую очередь для того, чтобы институционализировать отношения между крупными и мелкими фермерами. Военные и военизированные организации в США — для того чтобы убивать индейцев.

Когда возник пролетариат, господствующие классы и режимы в этих трех странах отнеслись к нему по-разному. Это произошло не потому, что Великобритания была гением компромиссов (до второй половины века репрессии преобладали над компромиссами), и не потому, что немецкий режим был авторитарным, а американский — шизофреническим. Большинство капиталистов и политиков во всех трех странах хотели одного: сохранить порядок и свои привилегии. Но в их распоряжении были различные авторитетные государственные институты для решения этих задач. В Великобритании существовали конкурирующие партии и избирательное право, связь которых с границами классов варьировалась и могла продолжать варьироваться, но в метрополии не было большой армии. Режим Германии институционализировал партийную стратегию «разделяй и властвуй», которая исключила радикальные партии из политики; в стране также присутствовала большая армия, демонстрация силы которой внутри нее была в значительной степени узаконена. В США также существовали конкурирующие партии, но существовали и военные и военизированные формирования, обладавшие опытом жестоких репрессий внутри страны. Таким

образом, возникавшие сходные рабочие движения сталкивались на различных путях развития с разными существующими государственными институтами. Великобритания пришла к мягкому мутуализму, Германия — к довольно ритуализированному противостоянию реакционного государства и капитализма с демонстративно революционным марксизмом, а США — к большому насилию, секционализму и почти полному отсутствию социализма.

В процессе этих столкновений изменялись и государственные институты, но это происходило более медленными темпами, чем те, с которыми развивался капитализм и появлялись новые классы. Теоретическая модель, подходящая для этого этапа мировой истории, когда всеобщий диффузный капитализм переплетался с более партикулярными авторитетными государственными институтами, — своего рода теория «политического лага», которую я выделил из институциональной теории государства, приведенной в главе 3. Различия между государственными институтами породили в этот период различных «совокупных рабочих». Это бросает тень сомнения на все теории, декларирующие, что капиталистическое развитие с неизбежностью приводит к какому-либо набору отношений власти между капиталом и трудом, будь то теория Маркса, либеральная или реформистская. «Совокупный рабочий» гораздо лучше, чем предполагали эти теории, приспособлялся к различным режимам (если не мог изменить их) и был способен кристаллизоваться в различных формах.

Действительно, этот период как будто институционализировал больше различных классовых отношений, чем более поздний развитой капитализм, в котором преобладала партийная демократия. На протяжении большей части XX в. авторитарные режимы не процветали. Самодержавная и полусамодержавная монархии исчезли как преобладающие стратегии по всему Западу, хотя столь же авторитарные немонархические режимы существуют во многих развивающихся странах. Большинство западных теорий постулировали, что это снижение разнообразия режимов и авторитаризма было неизбежным, вытекающим из «логики индустриализации», «эры демократии» или «институционализации классовых конфликтов» (различные формы теорий модернизации). Эволюционные теории получили толчок к развитию после внезапного падения авторитарного социализма в XX в. в странах советского блока. Но имела ли место подобная логика? Почему были обречены царизм, Германская империя и более половины модернизационных режимов? Двигались ли они с отставанием, стремились ли к альтернативной жизнеспособной форме современных отношений

власти, к форме альтернативной партийной демократии? Эти вопросы остаются до третьего тома. Но на один можно ответить уже сейчас: поскольку авторитарные режимы чаще приносят милитаризм в классовое регулирование, это делает их более уязвимыми к упадку, вызванному отношениями военной власти. Причины Первой мировой войны становятся решающими для первого этапа оценки их жизнеспособности.

Комплексность в кристаллизациях государств также обращает нас к войне. Актеры власти того времени затруднялись контролировать последствия, так же как мы затрудняемся объяснить их. Последствия их действий были часто ненамеренными. Классовые битвы аграрных и индустриальных классов проходили не в соответствии с их собственной чистой логикой. С самого начала и до конца они переплетались с отношениями идеологической, военной и политической власти, которые помогали классам оформиться. По мере усиления государственного милитаризма эти отношения еще более усложнялись. Глава 21 отслеживает самое начало мирового катаклизма.

## НАЦИИ И ГОСУДАРСТВА

Глава 7 содержит описания трех первых стадий из четырехстадиальной теории нации. Религиозная и коммерческая капиталистически-этатистская стадии прошли до периода, охватываемого этим томом, и привели к появлению лишь того, что я назвал протонациями. Затем милитаристическая стадия, детально рассмотренная в главе 7, развила нации в качестве реальных, частично кросс-классовых и иногда агрессивных акторов. Но это были нации трех различных типов: усиливавшие государство (например, Англию), создававшие государство (Германию) и подрывавшие государство (большинство земель Австрии). Теперь я подведу итоги четвертой, *индустриально-капиталистической* стадии развития различных наций.

В течение второй половины XIX и начала XX в. стадия промышленного капитализма, его классовые сражения и его влияние на государства привели к усилению возникших наций. Государства впервые взяли на себя основные гражданские функции, обеспечивая функционирование систем коммуникации, каналов, дорог, почтовых служб, железных дорог, телеграфных систем и, что еще важнее, школ. Государства в основном реагировали на нужды индустриализации, прямо выражаемые как капиталистами, так и другими классами, военными и государственными элитами. Оценив возросшие коллективные силы индустриального общества, они подталкивали государство в на-

правлении большей социальной координации. В свою очередь, государственные инфраструктуры усиливали плотность социальных взаимодействий, но ограничивали их территорией конкретного государства. Мы видели, что социальное поведение, даже интимное, наподобие норм сексуальной морали, становилось натурализованным и более национально-гомогенным. Довольно непреднамеренно большинство действий государства приводило к развитию нации как единого сообщества, связывая интенсивные и эмоциональные организации семьи и соседских сообществ с более экстенсивными и инструментальными организациями власти.

Нация не была тотальным сообществом. Внутри нации сохранялся локализм, так же как и региональные, религиозные, языковые и классовые барьеры. Западное идеологическое сообщество и глобальный капитализм также оставались транснациональной организацией. Поскольку капитализм, государство модерна, милитаризм, массовая дискурсивная грамотность и индустриализм росли темпами, опережающими социальную плотность, возникло дополнительное пространство для национальной и транснациональной организации.

Нация также не была сообществом, свободным от конкуренции. Народная межклассовая нация естественным образом включала концепции гражданства, хотя и разных типов. Но они, в свою очередь, обостряли две доминирующие политические кристаллизации XIX в., поднимая вопрос о представительстве — кто должен быть полноценными гражданами и «национальный» вопрос — где именно должно находиться гражданство, то есть насколько централизованными должны быть государство и нация. В этом томе я постоянно подчеркивал, что национальный вопрос был важным и столь же полемичным, сколь и представительским. Немногие государства вошли в рассматриваемый период как национально гомогенные. Большинство включало регионы с выраженными религиозными и языковыми сообществами, многие регионы имели собственные политические институты или сохраняли память о них.

Милитаристская и индустриально-капиталистическая стадии роста государства обострили как представительский, так и национальный вопрос. В конце XVIII в. последствия возросшего милитаризма в области налогообложения и военной обязанности привели не только к большему представительскому давлению, но и к очень различавшимся кристаллизациям по национальному вопросу — от централизации, предпринятой революционерами-якобинцами, до конфедерализма большинства австрийских диссидентов. Однако следующая стадия — промышленный капитализм — усилила давление в сторону как

более представительских, так и более национальных обществ. Натурализация была особенно эффективной, так как она была неосознанной, непреднамеренной, интерстициальной и тем самым не вызывавшей противодействия. Она вовлекала эмоции, как и рассудок, скрыто изменяя концепции вовлеченных сообществ.

Но одна область расширения государства в эпоху промышленного капитализма по-прежнему была объектом борьбы. Хотя большинство инфраструктур государства расширялось сравнительно мирно, массовое образование порождало конфликт с церквями меньшинств и региональными языковыми сообществами. Если церкви меньшинств были глубоко укоренены в регионах, это могло усилить оппозиционный государству национализм, как в Ирландии и в некоторых австрийских землях. Расширение образования также могло передавать и менее выраженный антиэтатизм. При растущих представительских запросах возникавших классов центральный режим не мог просто ввести свой язык в провинциях, обладавших собственными диалектами. Расширение образования в Богемии, например, больше способствовало распространению чувства чешской нации, чем австрийской. И напротив, в «великой Германии» и Италии образование способствовало подъему чувства принадлежности к единой нации, не вписывавшейся в существовавшие государственные границы. Таким образом, в зависимости от контекста индустриально-капиталистическая стадия развития нации способствовала развитию трех типов наций: усиливающих государство, создающих государство и подрывающих государство.

Классовые конфликты капитализма также подпитывали три типа наций в зависимости от местных обстоятельств. Средний класс, крестьяне и рабочие учились грамоте на родном диалекте, который в зависимости от контекста либо еще сильнее натурализовал существовавшее государство, либо раскалывал государство на более народные региональные нации или создавал кросс-государственные нации — государства. Средний класс, крестьяне и рабочие требовали политического представительства с теми же альтернативными последствиями. К концу XIX в. народные нации — во всех трех вариантах — мобилизовывали средний класс и многих крестьян и рабочих во всех европейских странах.

На этом этапе нации также стали более пассионарными и агрессивными. Пассионарность появлялась из более тесных связей между государством и интенсивной эмоциональной сферой взаимодействий с семьей и ближайшим окружением, в которой государственное образование и инфраструктуры физического и морального здоровья сплетались и росли. Идеологии изобра-



жали нацию отцом или матерью, очагом и домом в широком смысле. Агрессия возникала вследствие того, что все государства продолжали кристаллизоваться как милитаристические, все они были милитаристическими в геополитике, а некоторые оставались такими и во внутренней политике.

Подрывающий государство национализм становился насильственным там, где репрессивные имперские режимы не хотели предоставлять регионально-национальные автономии и представительство, особенно если при поддержке религии региональные диссиденты выражали интенсивный эмоциональный протест. Их семьи и жизнь местных сообществ усиливали чувство отличия от эксплуатирующей имперской нации, а она отвечала им тем же, чтобы оправдать использование против них внутреннего милитаризма. Каждая сторона подпитывала страсть и насилие другой.

Таким образом, подрывающий государство национализм был наиболее пылким и фанатичным, когда непредставительские имперские режимы начинали терять свою репрессивную мощь. Западные государства, институционализировавшие классовое, но особенно регионально-национальное представительство, не сталкивались с фанатичным насилием даже в случаях глубоко укорененных межэтнических споров. Бельгия и Канада могли распасться, но это, вероятно, произошло бы без человеческих жертв. Напротив, сотни людей были убиты в Северной Ирландии, потому что эта провинция не институционализировала представительство меньшинства, в то время как сегрегировала даже личные жизни обоих сообществ. Тысячи людей погибли в Югославии, и подобное может произойти в странах бывшего Советского Союза именно потому, что они не институционализировали представительное правительство среди различных языковых, а иногда и религиозных региональных сообществ, многие из которых исторически имели собственные политические институты. Подрывающее государство этническое насилие является продуктом авторитарных режимов, а не партийной демократии. Так было в XIX в., так остается и теперь.

Все более насильственный характер национализма, усилившего государство, проявлялся в межгосударственных войнах. В 1900 г. около 40% государственных бюджетов по-прежнему шло на подготовку к войне. Использование войны или ее угроза занимали центральное место в дипломатии. Милитаристские достоинства по-прежнему являлись частью мужской культуры, а женщины ценились как матери и подруги будущих воинов. Но теперь эти государства становились более репрезентативными и национальными. Считается, что средний класс, крестьянство, а иногда даже рабочие начали отождествлять

свои интересы и чувство достоинства с интересами и честью своего государства против других наций-государств, поддерживая агрессивный национализм. Конкурирующие классовые теории предлагают пристальнее рассмотреть, кто именно был представлен в этих государствах. Таким образом, политически полноправные граждане, в первую очередь средний класс, были носителями агрессивного национализма в союзе со старыми режимами. Я также подчеркивал, что концепции капиталистической выгоды совмещались в этот период с предполагаемыми национальными интересами.

В целом я довольно скептически отношусь к этим конкурирующим теориям. Одно дело считать себя членом национального сообщества, даже будучи социализированным в мифологию общего этноса, даже общей расы, и совсем другое поддерживать конкретную национальную политику внутри страны или за рубежом. Большинство концепций о роли нации конкурировали между собой. Во Франции это было очевидно, так как республиканцы, монархисты и бонапартисты явно и эмоционально обращались к конкурирующим значениям слова «Франция». Но и в Великобритании, вернее, в ее основной части старая радикальная протестантская концепция народной нации, сейчас уже более секуляризованная, конкурировала с более консервативными империалистическими концепциями, а некоторые либералы защищали более мягкую форму империализма. Повсюду классы и меньшинства, испытавшие на себе внутренний империализм, сопротивлялись милитаризму в целом и агрессивному милитаризму в частности. Во всех странах, как утверждают теоретики классов, полноправные граждане были более склонны поддерживать государство и его милитаризм как *свои собственные*. Но я также продемонстрировал, что государственная дипломатия и милитаризм оставались во многом скрытыми от народных групп вне зависимости от того, обладали эти группы правом голоса или нет. Тем самым агрессивный национализм (или любое резкое действие во внешней политике) в действительности широко не распространялся среди большинства групп среднего класса, особенно среди мелкой буржуазии.

Тем не менее агрессивный национализм становился все более привлекательным. Когда индустриализация увеличила функции государства, два клубка щупалец охватили национальное общество — гражданская и военная администрации. Сотни тысяч чиновников теперь зависели от государства, миллионы молодых людей воспитывались военными наставниками в рамках особой морали, принудительной и при этом эмоционально привязывавшей, являвшейся опознавательным знаком современной массовой армии. Эти две группы людей, их семьи, а не бо-

лее широкие классы или сообщества составили ядро крайнего национализма. Они были, как я их называю, «сверхлоялистами» с завышенной лояльностью к тому, что они считали идеалами своего государства. Не все из них были милитаристами или агрессивными националистами, так как государственные идеалы различались. Британские гражданские чиновники могли придерживаться либеральных идеалов, французские — республиканских, немецкие и австрийские — более авторитарных. Но так как все государства были милитаристическими, их слуг в целом легко было мобилизовать как минимум для «оборонительного» милитаризма.

Таким образом, на четвертой, индустриально-капиталистической стадии своей сравнительно короткой жизни нация развивалась по трем основным направлениям. Во-первых, значительная часть населения в основном бессознательно оказалась натурализованной, сделав нацию экстенсивным сообществом взаимодействия и эмоциональной привязанности. Таким образом, то, что я называю национальной организацией, выросло в большей степени за счет местного и регионального (кроме случаев, когда оно само превратилось в нацию), а в меньшей — за счет транснациональной организации. Вот где нация получила опору среди большей части населения. Во-вторых, многие граждане — в этот момент из средних и высших классов и господствующих религиозных и языковых сообществ — были втянуты в националистскую организацию, рассматривавшую национальные интересы и честь как исходно находившиеся в конфликте с таковыми у прочих наций. В-третьих, реально националистское ядро в непропорциональной мере состояло из гражданских и военных кадров самого выросшего государства. Их идеалы уже вызывали более бледный отклик в семьях граждан, но вместе они могли попытаться мобилизовать остальную часть нации. Как мы увидим в главе 21, проблема состояла в том, что отношения населения государства, которое теперь было сильнее зажато в «клетку» с другими национальными «клетками», определялись не народом в целом, а, во-первых, узкими государственными и военными элитами, во-вторых — националистами. Агрессивный национализм вырвался на волю, но большинство людей, составлявших нации, этого не замечали.

На индустриально-капиталистической стадии развития усиливающая государство нация может быть представлена как три концентрические окружности: внешняя очерчивает все национальное государство целиком, средняя теснее примыкает к внутреннему кругу — этатистскому ядру. Более графически выразительно и корректно для описания того, что стало с нацией, можно представить, к восторгу карикатурищика, в виде бомбы

анархиста XIX в. — черный шар с выпирающим запалом. Запал состоит из этатистских националистов, взрывчатое вещество — из полноправных граждан, агрессивное давление которых существует достаточно долго, чтобы вызвать взрыв сродни огромной силе милитаристского государства, выбрасывающей осколки, представляющие собой принудительно связанных дисциплиной рабочих и крестьян. Запал, однако, требует для своего воспламенения определенных условий.

Пока Европа не обуздала традиционный милитаризм своих государств, эти условия могли сложиться, а запал — воспламениться. Сила взрыва могла быть особенно ужасной, когда переплетала национализм с классовой, а иногда и с религиозной идеологией. Крайние националисты могли переплетаться с гражданскими классами и религиями, чтобы назвать тех из них, кто находился за бортом национального гражданства, но хотел войти в этот круг, — рабочий класс, региональные, языковые и религиозные меньшинства — врагами нации-государства (*Reichsfeinde* в Германии). Наиболее крайние этатистские националисты направляли чувство ненависти одновременно против иностранцев вовне и врагов нации внутри. Но моя модель рассматривает даже не столько крайних националистов, сколько «иррациональных демонов». Забегая вперед, хочу сказать, что нацисты были более крайними представителями европейских этатистских националистов, появление которых я обрисовал здесь, более жестокими, авторитарными, расистскими. Они представляли крайний вариант, в котором переплетались три кристаллизации государства Запада — милитаристская, авторитарная и капиталистическая. Нацисты, отмечу, получили непропорциональную поддержку от преданных сверхлояльных бывших фронтовиков и государственных служащих, а их идеология находила отклик среди лютеранской буржуазии и аграрной части Германии.

До сих пор я излагал общепринятую эволюционную историю подъема наций-государств, всегда усиливавших свой суверенитет, свою инфраструктурную власть и способность к национальной мобилизации, ведь так? Очевидно, что суверенитет государств расширялся и углублялся. Однако я сомневаюсь, что эти столь разросшиеся государства были в действительности столь же когерентными в различных аспектах, как Британия и Пруссия конца XVIII в. Дело в том, что чем большая часть социальной жизни политизировалась, тем больше политизировались ее конфликты и беспорядки. По мере расширения государственных функций партии и государства становились все более полиморфными. К 1900 г. политика имела отношение к дипломатии, милитаризму, национализму, политической экономике,

централизации, секуляризации, массовому образованию, программам социального обеспечения, движению трезвости, избирательным правам для женщин и многим другим еще более частным вопросам. Таким образом, политика мобилизовывала государственные элиты против массовых партий, класс против класса, сектор против сектора, одну церковь против другой и против светского государства, периферийные регионы против центра, феминисток против сторонников идей патриархата и т.д. По сравнению с этим политика XVIII в. была сравнительно простой.

Были ли государства всего лишь переходным этапом на пути к более современным кристаллизациям, еще не отбросившим все остальные, традиционные? Это было более справедливо для сохранившихся полуавторитарных монархий — Германии и Австрии, где парламенты конкурировали с дворами монархов, а фракции образовывались вокруг министерств, доходя до самого императора. Но внешняя политика повсеместно порождала специфические различные кристаллизации. Дипломатия в целом осуществлялась несколькими семействами старого режима довольно обособленно от заключенных в национальную «клетку» классов и массовых партий, хотя теперь и подвергалась беспорядочным нападкам националистических партий. Офицерский корпус сохранял автономию, совмещая бюрократическую профессию со старорежимным классовым составом и этикой. Офицеры и сержанты стали военной кастой, в чем-то отделенной от гражданского общества и государства. В целом к 1914 г. с помощью демократии, бюрократии и рационального распределения бюджета все участники политической сцены искали возможности установить связанные приоритеты и оставались в высшей степени несовершенными. Даже сегодня демократический контроль над дипломатией и военной сферой остается слабым. Трудно рассматривать все государство как единое связанное целое. Скорее в нем сложными разнообразными способами переплетается множество элит и партий.

В течение всего XX в., по мере того как функции государства продолжали расширяться, политические кристаллизации продолжали диверсифицироваться. Сегодня американское государство может кристаллизироваться как консервативно-патриархально-христианское, ограничивая права на аборт, завтра — как капиталистическое, регулируя банковский скандал по сбережениям и займам, послезавтра — как супердержава, посылая в другую страну войска, чтобы защищать там интересы, отличные от национально-экономических. Эти разнообразные кристаллизации редко находятся в гармонии или диалектической противоположности друг другу, обычно они просто различаются.

Они мобилизуют различающиеся, пусть пересекающиеся и совмещающиеся сети силы. А их решения имеют последствия, порой непреднамеренные друг для друга. Основное положение моей работы таково: общества не являются системами. Для нашего обобщенного социального опыта не существует окончательно детерминирующей структуры — по меньшей мере такой, которую мы можем распознать, находясь в гуще событий. Элиты многих исторических государств контролировались определенными социальными группами — князьями, священниками или вооруженными бандами. Они обладали значительной автономией, но заключали в «клетку» лишь небольшую часть общественной жизни. Их государства воплощали системные качества, вытекающие из их особенностей. Но когда государства стали центром и осью, через которые регулировалась большая часть общественной жизни, они потеряли эту системную сплоченность.

Полиморфизм являлся постоянной характеристикой государств модерна. Когда государства стали важными регуляторами материального существования и прибыли, идеологии и личной семейной жизни, так же как и регуляторами дипломатии, войн и угнетения, в политику пришло гораздо больше партий. На примерах отдельных государств я перечислил принципиальные кристаллизации и показал, как они переплетались не системно и недиалектически. Эти кристаллизации структурировали саму идентичность классов и наций способом, скрытым от самих акторов. В главе 21 я рассказываю, чем вся эта неосознанность на самом деле разрешилась.

## ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Этот том подтверждает общие положения, изложенные в начале главы 1. Существует возможность лавировать между Марксом и Вебером и прийти к важным, но при этом нематериалистическим обобщениям о структурировании человеческих обществ в последней инстанции, по крайней мере в пределах определенных периодов времени и пространства, охваченных в этом томе. После всех определений и оговорок мы можем выделить два основных этапа, на которых общая структуризация западного общества с 1760 по 1914 г. предстает как преимущественно двойственная.

В ходе первого этапа, охватывающего примерно весь XVIII в. до 1815 г., в обществах Запада доминировали диффузные экономические и авторитетные военные отношения власти. Торговый капитализм и последствия военной революции позволили евро-

пейцам и европейским колонистам господствовать на земном шаре, торговый капитализм и милитаристские государства завершили экспансию массовой дискурсивной грамотности, начатую ранее церквями, увеличивая социальную сплоченность экстенсивно, интенсивно и поперек классовых границ. Капитализм увеличил коллективную способность человека эксплуатировать природу, население и ускорил появление экстенсивных классов и индустриализации. Милитаризм политизировал гражданские общества, их классы, религиозные и языковые сообщества по полемическим вопросам представительства и нации. Милитаризм усилил крупные государства и уничтожил мелкие.

Вскоре после этого национальное государство (главный продукт этих двойственных детерминаций) отбросило свои хрупкие исторические рамки и возникло интерстициально — без чьих-либо усилий или умыслов — как главная организация авторитетной власти в своем роде. В конце XVIII в. борьба за гражданские права уже была структурирована тем, до какой степени то или иное государство институционализировало конфликты по вопросам повышения налогов и военной обязанности. Капитализм XIX в. продолжил революционизировать коллективные производственные силы, когда геополитика стала более мирной, а милитаризм все больше варьировался от страны к стране (особенно что касалось внутреннего милитаризма), стал более узким и кастовым в рамках государства. Таким образом, во второй половине XIX в. начался второй этап двойственной детерминации. Главными перестройщиками западного общества стали преимущественно (хотя и не всецело) диффузный промышленный капитализм и авторитетная нация-государство. Капитализм производил по сути своей одинаковые во всем мире изменения, будучи диффузным (и столь желательным для всех), а нация-государство в основном через различные представительские и национальные кристаллизации представляла большинство авторитетных разнообразных решений.

Поскольку в ходе обоих этапов два основных источника трансформаций переплетались между собой и порождали эмерджентные и взаимопроникающие коллективные акторы — классы, нации и государства модерна плюс их соперников, невозможно количественно оценить их взаимодействие (они не были подобны взаимодействию двух бильярдных шаров). Ни один из источников не может в духе марксистского экономического детерминизма считаться единичной первопричиной в обществе, хотя, конечно, экономическая власть капитализма уникальным образом оставалась составной частью обоих этапов дуализма.

В ходе данного периода западная цивилизация насколько возможно близко подошла к единому общему процессу разви-

тия. Ни в какой иной период истории, ни в каком уголке мира коллективная власть человека над природой и другими цивилизациями не была столь велика и не росла так стремительно. Никогда и нигде прежде акторы власти (за исключением мракобесов и несознательных инноваторов) на передовом фронте не обладали таким ясным представлением о том, как увеличить свою власть. Модели желаемого будущего, которого хотели практически все, были доступны в наиболее современной форме капитализма, государства, военного профессионализма и научных идеологий. Нигде и никогда прежде не получало развитие такое огромное количество теорий прогресса и эволюции.

Но развитие не было единообразным или систематичным, «внутренним» для единого социального организма. Даже в тот период это не было эволюцией. В принципе, абстрагируясь, мы можем представить единую идеально-типическую логику капитализма. Мы можем назвать ее законом предельной полезности или законом стоимости в зависимости от наших предпочтений. Мы можем также вывести абстрактную логику милитаризма — концентрацию своих сил принуждения на силах противника. Но как только мы выпускаем из-под контроля обе эти логики на первом этапе и добавляем более беспорядочное полиморфное государство на втором, идеально-типические логики моментально становятся «нечистыми» и малопонятными для своих предполагаемых носителей. Я подчеркиваю, что относительная эффективность рынка (то есть чистый капитализм) против территориальных (более военных или политических) концепций интересов и выгод была неясной с начала и до конца периода. Конкурирующие политэкономии оставались убедительными способами усиления коллективной и персональной экономической власти. В течение всего этого периода можно выделить определенные секулярные тенденции — к более капиталистической индустриализации, к военному профессионализму, к большему представительству в политике, к большей бюрократизации государства, к более централизованной нации-государству. Каждая из этих тенденций конкурировала с альтернативными структурными компоновками и одерживала верх не в каком-то конечном смысле, а как определенная тенденция в данный период. Они выигрывали либо потому, что были более желательными для широкого набора акторов власти, либо потому, что были действительно более сильными. Но ни одна из этих тенденций не возникала из единственной логики. Все они поддерживали как нацию-государство, так и капиталистическую индустриализацию.

Хотя я упростил проблему первопричины или причины в «конечной инстанции» до двух этапов (огрубленно) дуали-



стичного детерминизма, я должен сделать определенные оговорки. Другие источники социальной власти также играли свою роль, пусть более частную и менее последовательную. Отношения идеологической власти, очень важные в начале периода, продолжали играть заметную роль особенно там, где религиозные и языковые сообщества (а последние в рассматриваемый период получили больше коллективной власти от других источников власти) не совпадали с существующими государственными границами. Идеологическая власть также вносила решительный вклад в классы и нации во «всемирно исторический момент» Французской революции. Милитаризм оставался важным фактором в отношениях Запада с остальным миром, во внутренней политике монархий, сохранявших деспотичную власть, и в Соединенных Штатах Америки. Военная каста разминалась для собственного всемирно исторического момента в июле — августе 1914 г. С учетом всех этих причин мои обобщения остаются ограниченными и грубыми.

Также по этим причинам отношения дистрибутивной власти на Западе оставались неясными для акторов того времени. Их идентичности, концепции интересов и чести были скрыто трансформированы переплетениями более чем одного источника власти и непредвиденными последствиями действий. Также по этим причинам отношения дистрибутивной власти оставались объективно двойственными и трудными для восприятия. Экономические акторы возникали одновременно как классы, секции и сегменты, оставляя неопределенным будущее внутренней стратификации. Государства были теперь дуалистически гражданско-милитаристскими, каждая из частей государства смотрела в свою сторону и находилась под контролем различных балансов сил между элитами и партиями.

В более широком смысле Запад представлял собой одновременно как сегментарную серию национально-государственных «обществ», так и более широкую транснациональную цивилизацию. Его идеологии войны и мира, консерватизма, либерализма и социализма, религии и расизма сильно колебались между национализмом и транснационализмом. Для этих противоречий не существовало системного решения. Но существовало одно, более частное. Большинство противоречий было разрешено в реальности, и все противоречивые акторы и идеологии внесли свой вклад в это решение. Реальность вмешалась в виде Первой мировой войны. Так что мы, наконец, переходим к тому, как все разрешилось.

«Решительная» эмпирическая кульминация:  
геополитика, классовая борьба  
и Первая мировая война

ЭТОТ ТОМ подходит к эмпирической кульминации — анализу катаклизма, которым заканчивается исследуемый период и который является иллюстрацией моей теории общества модерна, пусть и нелицеприятной. Первая мировая война была поворотным пунктом в истории общества, а ее результаты решающим образом определяли XX в. Для понимания современного общества необходимо выявить ее причины. Эта война потрясает воображение. Она унесла больше человеческих жизней, чем любая другая до нее. Влияние ее на мораль превосходит даже число жертв, поскольку европейская цивилизация с множеством государств, веками доминировавшая в мире, почти совершила самоубийство. Ее основные идеи надежды, либерализма и социализма словно испарились в одну сумасшедшую неделю августа 1914 г. Ее ведущие державы как будто бы с открытыми глазами пошли по пути исчезновения или стремительного упадка. Предполагаемые приверженцы формального рационализма, дипломаты и капиталисты, обратили свои умения на служение войне, которая почти уничтожила их. Эти четыре кровопролитных года поставили вопрос: а разумны ли человеческие существа? Разумно ли человеческое общество?

Были предприняты бесчисленные попытки ответить на этот вопрос. Что может неспециалист добавить к горам литературы о причинах войны. Я не могу превзойти мастерский синтез исторической литературы, проведенный Джоллом (Joll 1984a). Но все же социолог иногда может внести и свою лепту, так как занимается лежащими в основе событий социальными паттернами и хорошо знаком с общими теориями общества. Даже эмпирические историки признают, что теория помогает установить причины войны.

Большинство споров ведутся вокруг вопроса, что именно явилось причинами войны — внутренняя или внешняя политика. Сторонники преимущественной роли внутренней политики (*Primat der Innenpolitik*, аргумент разработанный в Германии)

обычно искали решающие причины в двух из шести вариантов политэкономии, выделенных в предыдущих главах, — экономическом и социальном империализме. В условиях экономического империализма нужды капитала, как предполагается, порождают экономическую конкуренцию между нациями и войну. В условиях социального империализма внешняя агрессия, как предполагается, служит стратегией режима для ослабления внутренних конфликтов, особенно классовых. Те, кто придерживался идеи преимущественной роли внешней политики (реализма в теории международных отношений, или *Primat der Aussenpolitik*), также различаются своими подходами. Школа макрореализма подчеркивает всеобщую геополитическую логику, выраженную государственными деятелями ведущих держав: войны была рациональным решением столкновения интересов государств. Школа микрореализма в своих объяснениях геополитических кризисов напоминает подход, который я определил в главе 3, к теории государства: государство — это не сговор и не функциональная организация, а сплошная путаница и неразбериха. Микрореализм считает, что конкретные геополитические конфигурации привели к непредсказуемости, кризису и просчетам. Те же, кто подчеркивает теорию путаницы и недоразумений, еще тверже отрицают всякую теорию о причинах войны, относя их к случайному стечению обстоятельств или человеческой иррациональности.

Социолог, знакомый с теориями империализма, национализма и классовой борьбы, может в этом споре применить свои таланты обобщения в рядах сторонников идеи *внутриполитических* причин войны. Действительно, у большинства социологов есть профессиональный интерес в выводах сторонников именно этой теории. Для нас, социологов, весьма характерно приписывать социальные изменения глубоким социально-структурным причинам. Однако отдельно взятый социолог в моем лице признает значение *внешней* политики, а также будет сплетать *внутреннюю* и *внешнюю* политику как часть своей общей теории обществ с множественными сетями власти, воздействующими в основном на полиморфные государства. События 1914 г. не были результатом преимущественно логики внутренних структур либо внешнеполитических интересов держав. Не были они и результатом лишь случайности или человеческой иррациональности. Первая мировая война была вызвана в основном непреднамеренными последствиями взаимодействий четырех из пяти накладывавшихся друг на друга сетей власти, которые, как мы видели в главе 3, влияют на внешнюю политику: классов, государственных деятелей, военных и националистических партий (пятая сеть — частные узкие группы давления, хотя и важ-

ные в колониальной политике, вряд ли сыграли заметную роль в соскальзывании к Первой мировой войне). Так как эти сети переплетались различным образом при разных режимах, мировые державы также испытывали трудности в понимании друг друга, что увеличивало число просчетов и непредвиденных последствий. В 1914 г. их недиалектические переплетения привели к катастрофической кульминации процессов власти, описанных в этот том.

## СКАТЫВАНИЕ К ВОЙНЕ

Первая мировая война началась как смешение двух конфликтов. Первым была борьба на Балканах между Австро-Венгерской монархией и ее диссидентами — южными славянами, пользовавшимися помощью соседней славянской Сербии и защитой великой славянской державы — Российской империи. Вторым конфликтом была конкуренция между двумя лагерями мировых держав: Тройственным союзом (Австрия, Германия и Италия) и Антантой (Россия, Франция и Великобритания). В каждом из этих лагерей две из держав обязались прийти на помощь союзникам, если на них нападут. Италия и Великобритания формально не связывали себя подобными обязательствами, но на их помощь также рассчитывали союзники. Балканский конфликт было нелегко разрешить, и рано или поздно Австрия стала бы искать способ сокрушить своего сербского соседа, доставлявшего ей столько неприятностей. Но почему этот конфликт должен был также стать мировой войной между союзами великих держав? Смешение конфликтов произошло вследствие событий, которые уложились всего в один месяц.

Эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австрийского трона, 28 июня 1914 г. был убит славянскими националистами в Сараево в австрийской провинции Босния. Австрийское расследование установило, что следы заговора вели к правящим кругам Сербии, хотя заговор и не был санкционирован сербским правительством. В современном мире мы привыкли к терроризму, следы которого ведут к симпатизирующим террористам правительствам. Тогда же это было редкостью и вызвало еще больший приступ ярости. При поддержке своего союзника — Германии австрийское правительство 23 июля предъявило Сербии жесткий ультиматум, требуя такого контроля над сербскими политическими движениями, который нарушил бы территориальный суверенитет страны. Сербия обратилась к России за помощью. Таким образом, в войну России и Австрии были бы вовлечены и их союзники.

Ведущие державы могли видеть, как локальный кризис становился крупным. Сербь 25 июля дали умиротворяющий ответ на ультиматум, но Австрия отвергла его. В тот же день в России началось обсуждение мобилизации армии против Австрии и обращения к Антанте. По техническим причинам, которые будут объяснены ниже, военная мобилизация была шагом к реальной войне. Австрия, побуждаемая Германией, 28 июля объявила войну Сербии. Австрийские приготовления к наступлению шли медленно, оставляя время на размышления. Но Германия и Австрия не проявили интереса к прекращению конфликта. 30 июля царь отдал приказ о всеобщей мобилизации российских сил как на австрийской, так и на германской границе. Договоренности Тройственного союза и Антанты стремительно приводились в действие. 31 июля и 1 августа всеобщая мобилизация последовала в Австрии (против России и Сербии), в Германии (как против России, так и против Франции) и во Франции (против Германии). После 1 августа объявления войны следовали одно за другим. Военные действия начались на Западе 4 августа, когда Германия вторглась во Францию и Бельгию. Великобритания вступила в войну 6 августа. Италия объявила о нейтралитете 8 августа, но вступила в войну на стороне Антанты в 1915 г.

Таким образом, во время этого кризиса некоторые державы вели себя более агрессивно, чем другие. Сербия, Германия и Австрия инициировали провокационные действия, а Германия и Австрия в действительности осуществили вторжение. Одни вменяют вину за войну Австрии и Германии (Taylor 1954: 527; Lafore 1965: 268), другие выделяют доминирующего партнера — Германию (Stone 1983: 326–339). Далее идет Россия, поддержка которой Сербии была провокационной, а всеобщая мобилизация немедленно повлекла эскалацию войны. Прямая ответственность Великобритании меньше, поскольку она последней сделала шаг к войне. Но Германия провозгласила, что именно британский империализм стоял за нестабильностью великих держав. В 1914 г. правящий режим Германии обосновывал свою агрессию, обвиняя не только непосредственных участников кризиса: Германия защищалась от окружения более давних великих держав, Германия лишь желала равного «места под солнцем», которым с ней не желали поделиться Великобритания и Франция. Корни войны тянулись к более широкому соперничеству великих держав, особенно касательно британской гегемонии. Я рассматриваю, но по большей части отвергаю этот аргумент. Тем не менее Великобританию можно обвинить хотя бы в том, что ее дипломатия не смогла дать четкие останавливающие сигналы Германии, которая до 30 июля рассчитывала на британский нейтралитет. Франция просто выполняла союзнические обязательства по от-

ношению к России и защищала себя, о чем она всегда провозглашала, хотя многие французы приветствовали войну за возвращение Эльзаса и Лотарингии, и тайную дипломатию Франции, как мы увидим далее, тоже есть в чем упрекнуть.

Таков мой порядок приоритетов в установлении непосредственных причин: игнорируя Сербию как малую державу я сосредоточиваю внимание в основном на Германии и Австрии, затем на России, и в меньшей степени на Великобритании и Франции. Первые три были авторитарными монархиями, последние две — либеральными режимами. Это поднимает очевидный вопрос *внутренней* политики, связанный с представительской кристаллизацией государств: было ли что-то особенно опасное в монархии по сравнению с партийной демократией (мы помним, что я отношу Великобританию к последней, а не к первой)? Я еще вернусь к этому вопросу.

Глубина проблемы очевидна. Несколько причинно-следственных процессов оказались стремительно переплетенными. Один конкретный структурный конфликт — между национальностями в Австро-Венгерской монархии — смешался с двумя общими структурными проблемами — соперничеством великих держав и очевидным милитаризмом монархий. Это переплетение породило двухнедельную нисходящую спираль иступленной дипломатической и военной суеты, недопонимания, просчетов, за которыми последовали пять дней пробуждения мировой войны. *Внутренняя* и *внешняя* политика (*Innen and Aussen*) соединились, как и глубокие социальные структуры, тактическое, специфическое и путаницы и недоразумения. Так как война велась по явно геополитическим причинам, я начну с широкого обзора *внешней* политики.

## РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ, ИЛИ ВЕЛИКОЙ, ВОЙНЫ

История дипломатии, подкрепляемая реализмом (и на самом деле любой теорией рационального выбора), ищет общие причины войны в терминах геополитических интересов государств, интерпретируемых государственными деятелями, дипломатами и военным руководством. У этой перспективы есть три допущения: 1) у государств есть «интересы», или по крайней мере государственные деятели заявляют о таких интересах; 2) интересы государств постоянно конфликтуют; 3) война есть нормальное, хотя и опасное, средство защиты интересов. Война всегда является потенциальным результатом, потому что она может быть рациональным средством достижения целей государства (кро-

ме того случая, когда она становится по своей сути слишком разрушительной, как это произошло с ядерной войной). Чтобы объяснить, когда, где и как возникают войны, реализм добавляет второй уровень анализа. Война начинается либо (1) если какая-то держава осознанно провоцирует ее, чтобы переделать международный порядок (это макрообъяснение), либо (2) если среди сложных конфликтов недопонимание и подозрения между державами ведут к меньшему взаимопониманию и к войнам на более низких уровнях ответственности (это микрообъяснение). В «макрослучае» война прямо рациональна для агрессора, в «микрослучае» она все еще рациональна, но на более низком уровне условий определенности и человеческих знаний это приемлемый риск, когда все иные альтернативы в политике ведут к опасности.

Реализм работает до того момента, пока его исходные посылы разделяются актерами в реальном мире. Это подразумевает наличие двух исходных условий:

- 1) если государственные деятели воплощают социальные идентичности, несущие различные исходные предпосылки, реализм не работает. Очевидно, что государственные деятели всегда воплощают социальные идентичности, они не являются лишь нейтральными символами своих государств. Но эти идентичности могут не иметь значения, а могут и разрушать исходные предпосылки реализма, подталкивая политиков поступить иначе, чем они должны были поступить. Наконец, социальные идентичности могут действительно убеждать своих носителей поступать как реалисты. Расчеты реалистов могут быть менее универсальными по отношению к человеческим существам вообще, будучи больше продуктом государственных деятелей, воплощающих определенные социальные идентичности. Это особенно усложняет проблему, поскольку (как отмечено в главе 3) в дипломатии реализма смешиваются две мотивации: материальные интересы и идеологическая национальная честь;
- 2) государственные деятели должны быть ответственными актерами власти и действительно удерживать в своих руках все рычаги политики и событий. Если же они лишь марионетки в чьих-то руках либо вынуждены действовать под давлением фракций, они не могут действовать как реалисты. Рациональность может быть логикой действий других акторов власти, а может и не быть.

Эта глава показывает, что социальные идентичности в реальности действительно усиливали реалистичное поведение среди

политиков, но эта тенденция проиграла неразберихе и разноплановому давлению различных фракций, что в итоге привело к результату, в целом непостижимому из перспективы реализма.

Глава 12 показывает, что главной социальной идентичностью государственных деятелей XIX в. был старый режим. Они были белыми, мужчинами, родней или клиентами монархов, происходили из аристократии, дворянства, старых торговых семей и из доминирующих этнических, религиозных и региональных сообществ. В республиках также поднялись сходные по сути семьи знати, вышедшие из сохранившейся аристократии, старой аграрной знати либо обеспеченной старой буржуазии. Национальные цели государственных деятелей можно было частично определить как реакционные цели их класса и примыкавших к нему сообществ. Это отчетливо прослеживалось, например, сразу после Французской революции и Наполеоновских войн, когда международный порядок означал подавление как Франции, так и социальных реформ, когда дипломатия была отчетливо окрашена социальными идеологиями. Сохранялась ли такая накануне 1914 г.?

Большинство дипломатов и историков верили, что социальные идентичности не играли заметной роли в расчетах государственных деятелей. Многие совершенно деперсонализировали последних, относясь к последним как к собственно самим державам. Отсюда рутинные утверждения в документах и анализе дипломатии: «Германия повела себя агрессивно», «Великобритания пришла в смятение» и т. д. За этим последовала подлинная трансформация социальных идентичностей. За исключением России и Австро-Венгрии, государственные деятели теперь формально представляли не династии, а нации-государства. «Государственные соображения» предположительно стали «национальными интересами» — необсуждаемыми, даже «священными» в том смысле, в каком писал Дюркгейм: цель, поставленная вне и выше материальных расчетов. Как замечает Кеннан, времена цинизма государей прошли: «[нация-государство] воспринимает себя с восхищением, граничащим с нарциссизмом. Символы [государства] всегда требуют величайшей почтительности; *его* дело заслуживает величайшего самопожертвования; *его* интересы священны и неприкосновенны... Его устремления ничем не ограничены» [Kennan 1984: 256–257].

Государство обычно даже не именуется «оно», напротив, обычно персонифицируется и пишется с заглавной буквы как извечная авторитетная фигура — Мать или Отец. Возник обычай приписывать государствам гендер в соответствии с условностями языка. Отсюда «ее» (Родины) интересы, мораль, честь, достоинство и национальная безопасность в Великобритании и России,



но «его» (Отечества, «Фатерланда») — в Германии. Австрийские политики колебались, часто используя более архаичное слово «монархия» для преследуемых ими интересов. Переписка между государственными деятелями также обычно относилась к двум категориям акторов, политикам и государствам, и к двум местам — столице и адресу министерств иностранных дел: Набережная Орсе (Quai d'Orsay) или Вильгельмштрассе (Wilhelmstrasse). Государство (Отец или Мать), персонифицированное своими государственными деятелями, действовало с «юридическим адресом» в своей столице. Нации-государства также имели свои священные символы, особенно флаги и гербы. Публичные парады демонстрировали поведение, сходное с поведением в церквях: поза благоговения (в этом случае — стойка смиренно) и сильные эмоции (слезы на глазах, трепет в груди). Нация-государство было (и остается) священным.

Национальные интересы часто не просчитывались столь же аккуратно, как материальные. Ими не торговали открыто в обмен на другие интересы. Если их не несли бессознательно, их редко несли вообще. Влиятельная нормативная солидарность или предрассудки (например, неформальный англо-американский союз или пренебрежение со стороны всех великих держав по отношению к цветным расам) лежали глубоко и редко озвучивались. Дипломаты признавали секционные интересы, особенно коммерческие, когда вели переговоры с колониями или заключали торговые соглашения. В этих случаях экономические группы влияния играли преимущественную роль. Но они поразительным образом исчезали при обсуждениях более широкой геополитики. Таким образом, Стоун (Stone) лишь слегка преувеличивает, когда пишет, что дипломатические документы и частные бумаги этого периода «демонстрируют лишь озабоченность вопросами престижа, стратегии, „высокой политики“». Как мы увидим, честь имела огромное значение.

Лишь немногие акторы осознавали, насколько социально обусловленным и частным был этот государственно-центричный взгляд на мир. Относительно склонный к рефлексии русский генерал Киреев в своем дневнике в 1910 г. пришел к заключению, что это было частью естественного порядка: «Мы, как любая могучая нация, стремимся расширить нашу территорию, нашу „законную“ мораль и экономику, экономическое и политическое влияние. Таков порядок вещей» (Lieven 1983: 22). Хотя Киреев дистанцируется от слова «законная», заключая его в кавычки, тем не менее он называет это «порядком вещей». Поскольку так поступали большинство участников, геополитика приближалась еще больше к рациональной реалистичной системе, содержащей общие правила и сигналы.

Остаточный транснационализм старого режима также усиливал исходные предпосылки реализма. Родственные узы и космополитическая аристократическая культура все еще связывали государственных деятелей, хотя большинство из них теперь писали на своих родных диалектах, говорили как минимум на трех языках, а их послания состояли из французских слов и цитат из латыни. Как правило, они очень хорошо понимали друг друга, хотя государства друг друга понимали уже гораздо хуже.

Геополитика конца XIX в. также систематизировала погоню за национальными интересами. Сам термин *геополитика* был введен в 1880-х гг. Рудольфом Челленом, чтобы обозначить науку, которая «представляет государство как географический организм или как феномен в пространстве... жизнеспособные энергичные государства следуют категоричному политическому значению расширения своего пространства путем колонизации, слияния и завоевания» (Parker 1985: 55). Геополитика теперь определяла четыре витальных (в смысле необходимых для жизни) национальных интереса:

- 1) в первую очередь защита территориальной целостности государства;
- 2) расширение контроля над территорией путем формального геополитического империализма или закрепления территории через дружественного союзника или государства-клиента;
- 3) использование революции XIX в. в экстенсивной власти для установления глобальной колониальной или морской сферы стратегического контроля;
- 4) обеспечение первых трех интересов путем демонстрации своей экономической и военной мощи в рамках системы великих держав.

Эти цели воплощают выраженно-централизованную и территориальную концепцию интереса и сообщества. «Мы» определяется территориально как члены государства, а не местных сообществ, регионов или транснациональных общностей. Получение контроля над территорией, а не рынками могло преобладать в определениях или расчетах коллективных интересов. Государственные деятели не отвергали завоевания рынков или интересов, но полагали, что это следует из территориального контроля. Национальные интересы обслуживались милитаризмом и империей. Зал картографии стал местом дипломатии и высокопоставленных военных; географы — учеными слугами государственной власти. Дипломаты взаимно понимали, что ре-

жимы будут действовать геополитически — в соответствии с географическим расположением и политической способностью использовать свои экономические и военные ресурсы для воздействия на другие державы. «Солдатики и карты» (*Chaps and maps*) — вот сжатое определение Палмера для геополитики «старого порядка» (Palmer 1983: xi).

Не все державы были равно привержены территориальной экспансии, и никто из них не жертвовал ради нее своими другими целями. Германский рейх только что объединился, и шел спор, «удовлетворен» ли был его территориальный аппетит (точка зрения Бисмарка). В действительности с учетом ее военной мощи Германия с 1871 по 1905 г. вела довольно мирную внешнюю политику. Поскольку американские политики не признавали индейцев или желтые расы полноценными людьми, они также считали себя миролюбивыми, да и были таковыми в отношениях с западными державами. Великобритания уже построила свою империю и теперь стремилась ее сохранить. Ей на руку был мир и периодические демонстрации мощи своего флота. Французские интересы к новым территориям значительно упали, за исключением Эльзаса и Лотарингии. Таким образом, англосаксонские и французские государственные деятели предпочитали менее территориальные теории власти, в частности доктрину морской мощи адмирала Мэйхена, требовавшую лишь колониальных портов и аванпостов — «неформальной» империи (Mahan 1918: 26–28). Географы раскололись между преимущественно германской геополитической школой и возглавляемой французами школой, делавшей упор на регионе, проницаемости границ и международном сотрудничестве — раннем варианте теории взаимозависимости.

Тем не менее в течение «долгого» XIX в. рост инфраструктурных сил государств и национального гражданства распространял национальное чувство идентичности и сообщества. *Геополитика* становилась все более популистской, учитывающей коллективный интерес. В 1904 г. Маккиндер увязал доктрину Мэйхена, территориальную геополитику и национализм, заявив, что мировая история была повторявшимся конфликтом между «морскими» и «сухопутными» народами. Благодаря Колумбу преимущество получили «морские», но теперь железные дороги качнули чашу весов обратно. Россия или Пруссия самой судьбой обречена создать мировую империю. Мир теперь стал «пирогом» для дележа между геополитиками. При «неоимпериализме» 1890-х гг. великие державы вступали в схватку за практически бесплодные африканские территории и объединялись в формальные, налагающие обязательства союзы. К 1914 г. все государственные деятели мыслили геополитически

и глобально, а их концепции национальных интересов имели определенный отклик в народе.

Подъем наций-государств модерна с гражданством, национализмом и освященными геополитическими интересами, таким образом, явно усилил исходные предположения реализма. Государственные деятели были более склонны действовать в духе реализма, чем, например, подавить либерализм (как они делали ранее). Так что реализм мог бы иметь преимущество перед более социологическим объяснением событий 1914 г. Не то чтобы много реалистов признали это: Моргентау (Morgenthau 1978), например, приписывает войну политикам, создавшим опасную систему баланса сил, тем самым такая война могла случиться в любую эпоху независимо от идентичностей и мотивов государственных деятелей. Розекранц (Rosecrance 1986: 86–88), однако, отмечает усиление духа реализма. Он считает, что крупные, более территориальные государства, пропитанные популярным национализмом, создавали более «военно-политические» определения национальных интересов. Оба автора, впрочем, соглашаются, что агрессивная геополитика была систематичной и явно реалистической, если рассматривать ее с точки зрения баланса сил или военно-политического мира. Я надеюсь показать в своей работе, что рационалистичность, последовательность и системность были гораздо меньшими, чем полагают обе эти точки зрения.

Какова же была системная (в терминах политического реализма) расстановка сил, которая привела к событиям 1914 г.? С 1815 г. геополитика претерпела некоторые изменения. Тогда, как показано в главе 8, Россия и Великобритания были сильнейшими державами, неуязвимыми с оборонительной точки зрения, монополизировавшими два основных пути европейской экспансии: Россия — сухопутный путь в Азию, Великобритания — западные морские пути. Торговая мощь Британии также достигла высот, которые я называю почти абсолютной или специализированной гегемонией. Затем шли Франция, Пруссия, Австрия и Оттоманская империя. Большую часть века за дипломатическую стабильность в мире отвечали Великобритания и Россия: сначала специализированная британская гегемония и «Концерт европейских держав», а потом баланс сил всех шести держав. К 1910 г. Британия по-прежнему «правила морями» и вела экстенсивную торговлю, но в промышленном отношении она уже начинала уступать Германии, которая победила в войнах с Австрией и Францией и доминировала на европейском континенте. Франция постепенно приходила в упадок, еще быстрее — Австрия, а Турция окончательно потеряла свою мощь. Россия оставалась сильной с оборонительной точки зре-

ния, продолжала экспансию в Азии и модернизацию в Европе, но ее режим теперь был нестабильным.

Эти перемены произошли в два этапа. На первом, с конца 1880 по 1902 г., существовали две отдельные сферы конфликта. Центральные континентальные державы — Австрия, Германия и Италия — сформировали Тройственный союз против Франции и России, входивших в Антанту. Германия и Франция соперничали за Рейнланд (Рейнские области), Австрия и Россия — за Балканы, где с коллапсом Османской империи образовался вакуум власти. В глобальной сфере каждая из держав выступала сама за себя, однако основные конфликты были между Британией, Францией и Россией (в Азии). Но продолжавшийся рост Германии и ее военно-морского флота, а также поражение России в войне против Японии в 1905 г. привели в перегруппировке сил и второму этапу. Великобритания урегулировала основные разногласия с Францией и Россией и наполовину вступила в Антанту, не приняв, впрочем, никаких реальных обязательств. Такова была расстановка сил в 1914 г., за исключением Италии, заявившей о своем нейтралитете (а впоследствии вступившей в войну на стороне Антанты).

Первая школа реалистов утверждает превосходство геополитической логики, вытекающей из этих трансформаций. Возникают несколько риторических вопросов. Как могли столь фундаментальные изменения в мире не сопровождаться войной? Не были ли взлеты и падения держав причинами Крымской, Австро-прусской, Франко-прусской и Русско-японской войн? Какие сравнимые перемены в балансе сил не происходили в результате войн в другие периоды мировой истории? Не можем ли мы из этих перемен вывести два фронта, появившиеся в 1914 г.? Разве не соперничество Австрии и России на востоке сделало Балканы нестабильными? Разве не соперничество Великобритании и Германии на западе превратило балканский спор в мировую войну? Разве не страх Германии перед модернизацией России (и страх того, что сама Германия, возможно, уже прошла пик своего развития и вступает в пору сравнительного упадка) привел ее к идее первой ударить в 1914 г. на обоих фронтах, превратив войну в мировую?

Макрореализм признает, что затрудняется объяснить реальные события июля 1914 г. В скатывании к войне проявилось мало человеческого гения, зато много человеческой склонности к ошибкам. Поэтому вторая, опирающаяся на теорию путаницы и недоразумений школа микрореализма подчеркивает неопределенности и ошибочные расчеты в ходе стремительно разворачивающихся событий. Действительно, мы видим множество ошибок: немецкие лидеры ошиблись, полагаясь на нейтралитет

тет Великобритании и нестойкость французской армии; британские не подали Германии достаточно предупредительных знаков; российские ухудшили ситуацию своими решениями о мобилизации; австрийские были слишком безрассудны. Мону-ментальные тома работы Альбертини (Albertini 1952, 1953, 1957) по дипломатии июня — июля 1914 г. показывают, что все факто-ры имели определенное значение, что не будь глупости и оши-бок Грея, Сазонова, Бетман-Гольвега, Берхтольда и остальных, войны можно было избежать.

Но даже внутри этой дипломатической мешанины были ми-крореалистические схемы. Как подчеркивает Моргентау (Mor-genthau 1978: 212–218), система баланса сил, особенно основываю-щаяся на альянсах, предполагает встроенные неопределенности. Ни одна из держав не может оценить, сколько нужно прило-жить сил, чтобы сохранить статус-кво, ни одна из них не мо-жет полностью предсказать поведение союзников или предпо-лагаемых противников. Тем самым, хотя такая система требует равенства сил, каждая из держав должна стремиться к уровню безопасности, даруемому превосходством сил. Но так как систе-ма динамичная и не все державы наращивают свои силы оди-наковыми темпами, превентивная война (ударить сейчас, пока соотношение сил не ухудшилось) является врожденной вероят-ностью в балансе сил, что признается державами потенциаль-но рациональным решением. Если державы теряют уверенность в балансе сил, одна из них может нанести удар.

В условиях растущего кризиса база для принятия реше-ний также сужается. Так как державы теперь не могут предска-зать действия друг друга, их выбор альтернатив сужается, а сде-ланный выбор отражается на других державах, в свою очередь сужая их выбор. Скатывание к войне включало такую сужавшую-ся дипломатическую спираль. Агрессия началась на Балканах, затем ее последствия отразились на других державах, в свою очередь, их реакции отразились обратно через цепь диплома-тических действий. Отчасти война началась потому, что исход-ные акторы были дальше всех от последствий своих действий. Были ли убийцы эрцгерцога или сербский либо австрийский ре-жим ответственны за смерть 55 млн европейцев и американцев? До конца своей жизни Гаврило Принцип был ошеломлен по-следствиями своих выстрелов. Находясь у начала причинно-следственной цепи, отчаявшиеся акторы рискнули начать ло-кальную войну как меньшее из двух явных зол. Конфликт мог и не перерасти в мировую война, это зависело от неопределен-ной реакции многих других участников.

Поэтому австрийские политики решили, что, если не нака-зать Сербию, это послужит поводом к мятежам других нацио-

нальных диссидентов. Режим не мог стерпеть унижения даже с учетом риска войны. Конрад, начальник штаба, заявлял: «Монархию взяли за горло. Ей приходилось выбирать между тем, чтобы позволить себя удушить или сделать последнюю попытку защитить себя» (Albertini 1953: II, 123). Конечно, российский режим мог оценить это и позволить наказать Сербию за пособничество террористам. Такое же мнение было у немецких политиков: Австрии, единственному их надежному союзнику, следовало позволить выжить; балканский спор должен был локализоваться между Сербией и Австрией. Тем самым ответственность перекладывалась на Россию. Российский режим считал себя обязанным побренчать оружием в защиту Сербии, хотя также ожидал посредничества и урегулирования спора.

Только когда стало очевидно, что русские не идут на попятный (примерно 25–28 июля), ведущие державы ощутили, что стоят на пороге войны. Австрия и Германия нашли новые причины рискнуть. Австрийские государственные деятели чувствовали себя загнанными в угол: чтобы избежать войны, теперь уже им, а не Сербии нужно было идти на попятный, тем самым еще более провоцируя националистов. Австрийские и сербские лидеры с обеих сторон не хотели идти на компромисс, но позицию австрийцев подкрепляли германские политики. Теперь уже эстафета ответственности перешла к Германии. Немецкие государственные деятели слегка запаниковали при агрессивном ответе России, но их привлекала идея превентивной войны. Русские, казалось им, на удивление желали войны с Австрией и Германией, хотя и понимали, что по условиям Тройственного союза Германия будет защищать своего союзника. Если нужно было вынудить Россию раскрыть карты, то с точки зрения Германии лучше было сделать это теперь, пока военная модернизация в России не завершилась (ее планировалось закончить к 1917 г.), а Австрия не ослабла еще больше. Затем ли Германия достигала расцвета, чтобы быть всегда лишенной места под солнцем? Канцлер Бетман-Гольвег мрачно заявил: «Будущее принадлежит России, которая растет и растет, нависая над нами как все более ужасающий кошмар». Бетман и Мольтке (младший, а не победитель войны 1866–1871 гг.), начальник немецкого генерального штаба, говорил о «взвешенном риске» превентивной войны с Россией (Stern 1968; Jarausch 1969). Они могли возложить вину на русскую агрессию, что имело значение, поскольку влияло на общественное мнение в самой Германии, так же как и на другие державы, особенно явно колеблющуюся Великобританию.

Теперь решающее слово было за Британией. Для Германии было взвешенным риском напасть на Францию и Россию, но на-

пасть еще и на Великобританию было похоже на самоубийство. Но большинство немецких лидеров верили, что после 29 июля Великобритания либо отложит свое вмешательство, либо заявит о нейтралитете. Чтобы сохранить Австрию, Германия должна поддержать агрессию Австрии против Сербии, стремительно ударить по Франции, используя Австрию, чтобы сдержать русскую армию, пока Германия не сможет перебросить свои силы с запада на восток. Прежде чем Великобритания придет к какому-либо решению, французов следует быстро принудить к миру на условиях, сходных с 1870 г. Затем от Британии можно будет откупиться французскими колониями. Риск казался оправданным, так как в будущем шансы Германии на успех только сокращались. Таким образом, Германия объявила войну и тем самым лишила выбора Францию и Россию, которые были теперь вынуждены защищать себя в соответствии с военными условиями Антанты. Британские политики колебались, но затем, видя, что немецкая агрессия угрожает Ла-Маншу, решились на войну. В последний момент все державы попытались объявить своих противников агрессорами.

Никто не отступал по причинам, казавшимся достаточно хорошими, хотя и сужавшими поле выбора. На каждом этапе конфликта государственные деятели каждой державы рассуждали, что у них есть выбор лишь между эскалацией и чем-то еще более отвратительным (Remak 1967: 147–150). Даже в июле 1914 г. политики по-прежнему быстро считали преимущества альтернативных курсов действий в рамках более широких геополитических параметров, проанализированных ранее. Реалистическая рациональность была по-прежнему очевидной. Если она не привела к рациональному исходу, это могло быть из-за сложности в прогнозировании ответных реакций других держав при стремительно менявшейся ситуации, а также потому, что наиболее агрессивные действия (Сербии, Австрии и России) были в самом начале цепочками действий и ответных шагов. Такое рассуждение было также в духе второй школы реализма, объясняющей исход через путаницу и недоразумения.

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КРИТИКА РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

Упрощения и некоторая непоследовательность реалистического объяснения очевидны. Тем не менее реалистические концепции двух школ «внешней политики» — священные национальные геополитические интересы, защищаемые политиками (и, возможно, усиленные народным национализмом), рациональ-



но преследуемые в долгосрочной перспективе, но смешавшиеся в кризис, могли бы, казалось, многое объяснить в процессе скачивания к Великой войне. До последнего времени эти объяснения имели дело лишь с дипломатией и почти всегда в подобных терминах (Mansergh 1949; Albertini 1952, 1953, 1957; Taylor 1954; Lafore 1965; Schmitt 1966). Однако при этом остаются три фундаментальные проблемы: война не была неизбежным следствием геополитической реорганизации балансов сил; эта война не воспринималась как рациональное средство подобной реорганизации; как реалистическая геополитическая логика, так и дипломатические ошибки были отчасти оформлены под воздействием социально-структурных сил.

Есть две причины того, почему подъемы и падения великих держав могли происходить мирным путем. Первая из них заключается в том, что этот баланс сил был совершенно не похож на любой другой, упомянутый в этом томе или даже когда-либо в европейской истории. Впервые он напоминал игру с нулевой суммой, когда одна из великих держав могла обрести что-либо лишь за счет другой и обе, вероятно, могли пасть в современной войне. Войны не являются неизбежным следствием определенных раскладов сил между державами (как утверждает Моргентау). В целом более реалистичный подход следовало бы начинать с того факта, что войны ориентированы на достижение каких-то целей. Как сказал бы Вебер, они ведутся за «материальные либо идеальные интересы», чтобы защитить прибыли либо навязать миру свои идеалы. Но теперь не было ни тех, ни других целей. Как мы видели, война многие века обеспечивала великим державам территории, колониальную и европейскую торговлю. Но теперь не было выгодных колоний, которые было бы легко отнять (к тому же туземцы сопротивлялись сильнее). Не было и малых держав, которые можно было бы поглотить, так как Европа была поделена на великие державы и малые, но находившиеся под защитой всех остальных. Лишь Балканы оставались менее институционализированными, война в этом регионе (но не всеобщая) могла еще быть рациональным, ориентированным на достижение цели действием. Также в отличие от предыдущих веков (и последовавшего XX в.) не существовало какой-либо великой идеологии, которую нужно было бы внести в сознание завоеванных народов, — католицизма, демократии, цивилизации, социализма или фашизма. Идеологически все державы изначально провозглашали самооборону.

Предшествовавшие войны в Европе касались последних выгодных поглощений — две войны Пруссии по поглощению мелких германских государств. Это имеет большое значение: имен-

но Германия сделала большие территориальные приобретения в 1860–70-х гг. и сравнительно по невысокой цене. Как я утверждал в своих работах (Mann 1988), держава институционализирует те действия, которые делают ее великой. Возможно, в поиске причин этой войны нам стоит внимательнее рассматривать скорее *государства*, особенно Германию, чем общую расстановку отношений между державами.

Вторая причина усиливает первую. Британия теперь соперничала с двумя великими державами. Результатом была война с Германией, но не с США, и такая даже не учитывалась в планах на будущее ни одной из сторон. Британские дипломаты реалистично посмотрели на перемены, пожалели плечами по поводу невозможности сравниться с американскими военными ресурсами, отозвали большую часть флота и по секрету сообщили британским политикам, что, если США пожелают вторгнуться в Канаду, Британия не сможет остановить их (Kennedy 1985: 107–109, 118–119). В течение следующей половины века смена Британии на США в качестве практически мирового гегемона была завершена мирно, даже при сотрудничестве обеих держав. Смена геополитического порядка не обязательно сопровождается войной.

Конечно, можно ответить, что США находились за три тысячи миль от Великобритании, в то время как Германия всего в трехстах. Промышленная, коммерческая, даже военноморская конкуренция (с США) могла причинить англичанам беспокойство, но немецкая угроза Северному морю, портам в Ла-Манше и самому побережью Англии была совершенно другого порядка. У Великобритании не было ресурсов, чтобы одновременно сдерживать и Германию, и США. Логика геополитики подсказывала сосредоточиться на ближайшей, то есть немецкой, угрозе. Однако при всем этом американцы не захватили Канаду и даже не рассматривали такую возможность, не использовали свою военно-морскую мощь, чтобы закрыть для Великобритании американский континент. Они вовсе не были уникально добродетельны, что и продемонстрировали в своем империализме на Тихом океане, но сотрудничество между двумя державами основывалось на транснациональной экономической и идеологической солидарности. Обе страны говорили на одном языке, относились (на уровне лидеров) к одним и тем же этническим и религиозным группам, имели сходные системы партийной демократии, а также были крупнейшими торговыми и инвестиционными партнерами. Их режимы *не хотели* войны друг с другом, в противном случае им было бы трудно убедить своих граждан участвовать в такой войне. Англосаксонское сообщество было и остается диффузным нормативным сооб-

ществом, сетью идеологической власти, которая не переводит в русло войны свои мелкие внутренние дразги.

Англосаксонские нормы были сильнее, чем большинство других действовавших транснационально. Но в каком-то смысле они были всего лишь преувеличенной версией норм всего Запада, который был цивилизацией с множеством акторов власти. Его религия, культура, светская философия, политические институты, экономика, генеалогия монархов и знати и в возрастающей степени его расизм вносили нормативную солидарность в отношения между державами. В то время многие верили, что это могло удержать растущие геополитические и территориальные расхождения интересов. Для обеспечения мира и решения конфликтов была создана дипломатия. Например, колониальные конфликты в основном решались по определенной схеме: сначала инцидент, возникавший в результате резкого действия, затем кризис, когда все участвующие стороны побряцали оружием, затем появление посредника, совместная конференция и, наконец, компромиссное урегулирование. Дипломатия не сводилась к угрозам и самодовольству в некоем анархичном пустом пространстве. Она также была нормативами взаимопонимания и культивировала компромисс.

Действительно, за примирительной дипломатией стояли диффузные антивоенные нормы. Наследие эпохи Просвещения, особенно передаваемое через либерализм, заключалось и в том, что человеческие сообщества могут решать свои споры путем рационального мирного обсуждения. Как подчеркивали либералы, транснациональные аспекты капитализма значительно увеличили экономическую взаимозависимость между государствами. Лобби сторонников мира опиралось в первую очередь на либералов и финансовый капитал. Мощь *их* рациональности могла бы качнуть весы в пользу мира, а не войны.

Лобби сторонников мира могло бы осадить реалистов одним реалистическим вопросом: зачем было Германии рисковать войной с Британией, когда, подобно США, она уже обгоняла ее в экономическом мировом порядке, в котором Британия предположительно господствовала? Гуго Стиннес, ведущий немецкий промышленник, умолял в 1911 г. (пророческие слова!): «Дайте нам еще три-четыре года мирного развития, и Германия станет бесспорным хозяином Европы» (Joll 1984a: 156). Стиннес был прав, как был бы прав в конце 1930-х гг. и вновь в 1990-х гг. Надеюсь, его слова, подразумевающие мирное, преимущественно рыночное доминирование (комбинации первых трех из выделенных мной шести типов международной политекономии), будут, наконец, услышаны режимом Германии (про этот *третий* шанс для страны и всего мира я писал 3 октября 1990 г.

в день воссоединения Германии). Если бы предыдущие режимы прислушались к его словам, они могли бы избежать многих проблем для Германии и всего мира.

Таким образом, было бы ошибкой утверждать, что Германия напала ради завоеваний или в качестве самозащиты против британской гегемонии. Великобритания более не была гегемоном, и, как мы видели в главе 8, ее специфические услуги коммерческого гегемона теперь предоставлялись при активной поддержке других держав. Далее мы видим, что окружение (британской гегемонией) было отчасти следствием действий самой Германии, а отчасти националистическим преувеличением. Кроме того, германская агрессия не была самозащитой, потому что в действительности она никого не защищала. Германские реалистические и капиталистические интересы были бы лучше защищены поддержанием статус-кво, пусть в «окружении» и в условиях британской гегемонии, если хотите, чем поощрением войны. Поэтому, как согласны большинство историков, вина за развязывание войны лежит на немецких акторах власти. Впрочем, другие державы также есть в чем упрекнуть. Нам еще предстоит объяснить, как случилось, что поступились коллективными интересами и пацифистскими нормами Запада. Очевидно, помимо реалистических или капиталистических интересов существовали определенные социологические причины.

Возможно, следует вернуться к социальному портрету государственных деятелей — в большинстве своем выходцев из старого режима, для которых война исторически была нормальным явлением. Но агрессия не была прямым результатом отпетого милитаризма солдат старого режима и государственных деятелей монархий. Многие из них были сторонниками мира. Транснационализм старого режима был еще жив. Монархи сохраняли семейную солидарность, знать принадлежала к транснациональным культурам родства, Просвещения и церкви. Они хотя и чтили войну, но войну ограниченную, профессиональную, приватную, а не войну с массовой мобилизацией, которую легитимировала нация (подобную войнам 1792–1815 гг., которые оставили плохую память). Старый режим был милитаристическим, но не стремился к большой войне, угрожающей массовыми смертями, разрушением экономики и падениями режимов. Многие генералы понимали, что ужасы войны могут вскоре выйти из-под контроля, адмиралы не желали пускаться на дно свои любимые игрушки.

Поэтому многие политики и командующие агрессивных держав действительно предупреждали об опасности войны. Многие австрийцы утверждали, что монархия не переживет войны с Россией. Командующие австрийской армией предупреждали,

что их армии нельзя эффективно мобилизовать одновременно против Сербии и России. Однако в августе 1914 г. потребовались именно обе мобилизации. В Германии предупреждали о нестабильности Австро-Венгрии в случае втягивания ее в войну, что она не сможет служить эффективной военной поддержкой, предупреждали против одновременной войны с Францией и Россией, против войны с кем-либо без гарантий невмешательства Великобритании. Немецкие адмиралы говорили, что не могут бросить вызов британскому флоту. Однако все это потребовалось в 1914 г. В России считали, что Константинополь лучше взять не военным путем, что война с Германией принесет угрозу существованию режима. Российские генералы выступали против ввязывания в войну при неоконченной программе модернизации; адмиралы предупреждали, что флот будет заперт в восточной Балтике и Черном море. Именно это и произошло в 1914 г.

Во всех трех монархиях другие фракции были настроены не столь пессимистично, а те, что предупреждали об угрозах войны, в итоге поменяли свою позицию или заколебались. В конце июля и в начале августа 1914 г. даже Кассандры оставили свои страхи, хотя в более спокойные времена многие рассчитывали риски войны и находили их чрезмерными. Все их опасения сбылись. Ни одна из трех монархий не пережила эту войну.

Таким образом, война не была рациональным исходом рациональной геополитики. Ее основные инициаторы — австрийская, германская и российская монархии — были уничтожены, и многие заранее знали о такой вероятности, даже возможности. Так что, пока Европа скатывалась к войне, политики затруднялись объяснить, что происходит и свою собственную роль в этом. Многие обратились к метафорам судьбы. Вечером 3 августа сэр Эдвард Грей, министр иностранных дел Великобритании, взглянув из окна офиса, произнес знаменитую фразу: «Огни гаснут по всей Европе, и нам уже не придется увидеть, как они зажгутся вновь». Канцлер Бетман-Гольвег заявил, что «события вышли из-под контроля. Камень покатился... над Европой навис рок, который выше человеческих сил». Российский министр иностранных дел Сазонов в страхе писал 25 июля, что «ошеломлен в этой связи». Царь, которому германский посол сказал, что война неизбежна, если не будет остановлена мобилизация, указал на небеса и заявил: «Лишь сам Господь может нам помочь», а министр внутренних дел добавил: «Нам не избежать своей судьбы». Даже отважное действие могло рассматриваться как рок. Император Франц Иосиф в итоге решил, что Австрия должна наказать Сербию и встретиться лицом к лицу с последствиями. Он сказал начальнику Генерального штаба: «Если монархии суждено погибнуть, то она по крайней мере должна погибнуть

достойно» — странное представление о достоинстве (Albertini 1953: II, 129, 543, 574; Joll 1984a: 21, 31).

Эти акторы не сомневались в собственной рациональности. Они ощущали действия сил, превышавших человеческий рассудок. Позднейшие критики не прощали их столь же легко. Так как война была формально иррациональной (она не могла достичь заявленных целей) и ее инициаторы подозревали или даже знали об этом, они, должно быть, были иррациональными и сами. Этот аргумент распространяется на все старые режимы и правящие классы, националистические движения и даже на всю европейскую цивилизацию в целом. Эта война толковалась как гордыня старого режима, «всадники апокалипсиса... готовые вторгнуться в прошлое» в их «стремлении к движению вспять» (Mauger 1981: 322), как неизбежный рок авторитарной милитаристской монархии, типично представленной Германией (Fischer 1967; Berghahn 1973; Geiss 1984), как победа «„интенсивного национализма“ над дипломатией» (Schmitt 1966: II, 482), как триумф социального дарвинизма (Joll 1984c; Koch 1984) или «организованной», корпоративной, империалистической фазы капитализма над либерализмом промышленной революции (по интерпретации Гильфердинга и Ленина). Для других появление фрейдистских теорий именно в эти годы и в этом контексте (а Фрейд в 1914 г. был австрийским патриотом) — слишком хорошая возможность, чтобы упустить ее: Европой овладел Танатос, влечение к смерти, вызванное «этатистским исступлением» (Todd 1979: 60–61).

Но со всеми подобными объяснениями есть одна проблема, которую я демонстрирую во всех своих рассуждениях. Совершенно не в соответствии с политическим реализмом мы не можем просто применить язык рациональности или иррациональности к державам, так как в реальности они не были сингулярными акторами. В важном формальном смысле державы *были* сингулярными. Они вели переговоры, угрожали и объявляли войну. В действительности это осуществляли государственные деятели. Но политиков было много. Австро-Венгрия начала войну, когда министр иностранных дел Берхтольд, премьер-министры Австрии и Венгрии Штюргк и Тиса и император Франц Иосиф одобрили ультиматум Сербии, когда император подписал приказ о всеобщей мобилизации, представленный начальником Генерального штаба Конрадом, и когда император подписал телеграммы, объявляющие войну, которые были представлены Берхтольдом. Однако эти пять человек представляли различные характеры и убеждения, а также точки кристаллизации различных сетей политической власти. Осторожный старый император был озабочен сохранением своей династии

предпочтительно с уступками славян и без войны. Начальник Генерального штаба представлял фракцию войны. Он был давно убежден, что сербов нужно сокрушить для спасения монархии, и он, похоже, хотел бы стать военным героем, чтобы его любимая женщина вышла, наконец, за него замуж, как предполагает Вильямсон (Williamson 1988: 816). Нерешительный министр иностранных дел поддавался давлению Германии, австрийский премьер-министр был неопытен, а венгерский — не интересовался внешней политикой.

Понятия «решила» и «действовала» применительно к Австрии — миф. Австрия в итоге смело действовала против Сербии под влиянием Германии через Берхтольда, который был также шокирован убийством эрцгерцога, в сочетании с давлением Конрада на колеблющегося императора и слабостью двух премьеров. И даже такая трактовка чересчур упрощает реальную картину сетей власти в австрийской политике. Держава Австрия была скорее не актором, а полем для сил, кристаллизовавшихся в различных недиалектических комбинациях, с императором Францем Иосифом в центре. Как мы видели в главе 10, он намеренно оставил конституцию, власть и состав своего королевского совета настолько неопределенными, чтобы максимизировать свою сегментарную свободу действий в стиле «разделяй и властвуй». Результатом этого стал фракционизм.

Сам император иногда чувствовал себя неудобно в центре всех фракций. В 1911 г. у него состоялась бурная аудиенция с начальником Генерального штаба Конрадом, во время которой он пенял Конраду за обращение с министром иностранных дел Эренталем: «Эти ненужные нападки на Эрентала, эти уколы — я запрещаю вам... Постоянно повторяющиеся ваши попреки по вопросу Италии и Балкан направлены на меня. Политика — ее делаю я... И это политика мира» (Albertini 1952: I, 351). Но Франц Иосиф не делал политику. В своем полиморфном государстве он был скорее центральной точкой, вокруг которой кристаллизовался ряд сетей власти, внутренних и происходящих извне (как, например, германское давление), а другие (как национализм южных славян) находились на пересечении его границ. Не с него или его советников можно было требовать реалистической «рациональности». Постоянство целей и выбор эффективных средств для их достижения находились в зависимости от переплетавшихся битв конкурировавших кристаллизаций власти.

Проблема была не в общей иррациональности европейского общества. Скорее два набора рациональных расчетов взаимодействовали двумя непредсказуемыми способами. Первый: во всех государствах переплетались внутренняя политика и геополитика, хотя различным и непостоянным образом в каждом

случае. Второй: реакции других держав на собственную дипломатию становились труднопредсказуемыми. Проблема заключалась не в иррациональных акторах, а во множественности акторов с множественными идентичностями, которые преследовали различные стратегии и взаимодействие которых стало непредсказуемым, а со временем и разрушительным. Здесь я должен перечислить основные сети власти, которые скрывались за политиками и державами. Я начну с государственных деятелей и командующих армий, проводя различие между двумя принципиально разными способами, которыми государства кристаллизировались по вопросу представительства: монархиями и партийными демократиями.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ МОНАРХИЙ

Глава 12 показывает, что внешняя политика и война традиционно были частной и даже обособленной прерогативой монарха. Во всех трех рассматриваемых монархиях эти сферы согласно законам оставались таковыми. Следовательно, большое значение имели мнения и темперамент монархов. Например, в англо-немецких отношениях имело значение то, что кайзер Вильгельм II уважал авторитет своей бабушки — королевы Виктории, но приходил в ярость от нахальства ее наследника своего дяди Эдуарда VII. Эти качества Эдуарда вместе с импульсивным, взрывным темпераментом Вильгельма, тем, как он напыщенно носил свой военный мундир, «сделали свой личный и существенный вклад в ухудшение англо-немецких отношений», пишет Кеннеди (Kennedy (1980: 400–409; ср. Steiner 1969: 200–208). Но в ходе соскальзывания к войне ни один из трех монархов не обладал в действительности характером, способным доминировать во внешней политике. Ни один из ключевых министров после Бисмарка не обладал подобным характером. Царь Николай II был слабохарактерным. Его собственные чувства побуждали к миру, но советники уговорили вступить в войну. Престарелого, ограниченного Франца Иосифа его многолетний горький опыт сделал исключительно осторожным. Но и его склонили к войне. Кайзер Вильгельм II был непостоянным — агрессивным, воинственным и расистским в риторике, но нерешительным, порой даже запуганным в реальном кризисе. Его уговорили перевести слова в действия. Необходимо установить, кто же в этих режимах был столь сладкоречивым советчиком.

Доступ к монарху и влияние на него *действительно были* политическим центром при самодержавных и полуавторитарных режимах. Эти процессы стали еще более сложными по мере мо-



дернизации стран. В главе 9 мы видели, что в Германии вокруг такого центра кристаллизовалось не менее одиннадцати выраженных сетей политической власти, четыре из них напрямую влияли на кайзера во внешней политике.

1. Гражданские сети, возглавляемые канцлером, министром иностранных дел и военным министром Пруссии, транслировали кайзеру советы своих министерств, включая дипломатов. Они отвечали, хотя и не по букве конституции, перед рейхстагом и сеймом Пруссии и тем самым перед общественным мнением, включая мнение растущих националистических партий, укрепившихся (как мы видели в главе 16) в администрации государства. Гражданские сети были неоднородными, так как в администрации находились как реалистичные политики, так и сверхлояльные этатистские националисты, защищавшие более агрессивную внешнюю политику, чем могли бы одобрить осторожные дипломатические расчеты.
2. Военные сети, в основном верховное командование армии, адмиралы и в некоторых случаях военные советы, которые не были встроены в четкую иерархическую цепочку, также были институционно непостоянны, хотя и обладали социальной солидарностью. Эти сети, состоявшие преимущественно из юнкеров и других аристократических групп, частично представляли их, а частично — узкий кастовый милитаризм, растущий в этот период.
3. Так как нечеткая конституция не могла уладить споры внутри этих двух сетей и между ними, возникли две другие ситуативные сети.
4. Три «кабинета» (военный, военно-морской и гражданский), берущие истоки при дворе монарха, предположительно транслировали информацию между кайзером и министерствами, но в реальности были автономно действующими придворными институтами.
5. Система *Immediatstellung*, изначально дававшая право высшим офицерам на аудиенцию с кайзером без присутствия министров, в XIX в. распространила такое же право на других офицеров и даже гражданских лиц. Таким образом, лица из высокопоставленных семей могли пытаться воздействовать на кайзера напрямую, в обход иных каналов.

Отношения внутри этих сетей, а также между ними были нечеткими и часто нестабильными. Они выросли как ситуативные реакции на конкретные кризисы, однако (как показывает глава 9) были также частью сегментарной стратегии «разделяй и власт-

вуй», благодаря которой авторитарной монархии — династии Гогенцоллернов — удавалось сохранить свою власть в промышленном обществе модерна. Эти сети были нацелены на уменьшение прозрачности парламентарной, гражданской и военно-бюрократической подотчетности (за свидетельствами, к сожалению, с преобладанием полемики по вопросу, сколько личной власти имел кайзер, можно обратиться к следующим авторам: Hull 1982; эссе Rohl, Kennedy и Deist в Rohl and Sombart 1982; Eley 1985). Во внешней политике «интриги, сговоры и личные счеты могли процветать», заключает Сесил (Cecil 1976: 322). Предыдущие главы проследили эту трагедию Германии. В противоположность своему предшественнику — Пруссии — немецкое государство не институционализировало ни одного конкретного места, где могли бы приниматься окончательные решения. В нем был суверен, у которого не было всей полноты власти.

В главе 10 показано, что сети власти в Австрии, которые были еще менее жесткими, так как более династическая версия политики «разделяй и властвуй» Франца Иосифа являлась еще более личной и династической и менее институционализированной, чем в Германии. Он пытался институционализировать в собственном лице реальный суверенитет. Но (как показывают предыдущие главы) растущий масштаб действий государства модерна, усугубленный многонациональностью Австро-Венгрии, сделал эффективное личное правление химерой. Хотя я не уделяю здесь много внимания системе правления в России, она также была династической, даже самодержавной, ведущей к глубокому фракционизму среди министерств, конкурирующих за внимание государя, и переполненного слухами двора. Ни одна из этих монархий не смогла институционализировать эффективный суверенитет.

Но полиморфные интриги и фракционизм не означали хаоса. В Германии плетущие интриги сети политической власти группировались вокруг четырех кристаллизаций высокого уровня, обсуждавшихся в главе 9. В ней я отмечал, что в результате стратегий «разделяй и властвуй» не удалось отбросить конкурирующие цели акторов власти (кроме целей социалистов, левых либералов и партий этнических меньшинств). Таким образом, как и во внутренней политике, эти кристаллизации не получили приоритета, но были «аддитивными». Между ними практически не выбирали. Как мы увидим, это и послужило фундаментальной причиной войны.

Две из четырех кристаллизаций прошли менее прямолинейно. Государственные деятели являлись преимущественно выходцами из старого режима, так что они кристаллизовывались как умеренные националисты в свете более популярной идеологии.

Но национализм повсюду влиял на них, поскольку его носителями были государственные служащие от среднего до высшего уровня, а также государственные образовательные институты. Как представители старого режима, они едва ли кристаллизовались как *капиталисты*, по крайней мере не как современные промышленные капиталисты. Тем не менее как реакционеры, они послушно разделяли ненависть к врагам капитализма — рабочему классу и социализму. Быть своим в «партии порядка» к 1900 г. означало выступать за капитализм. Государственные деятели кристаллизовались более прямолинейно как *монархисты* и *милитаристы*. Почти все они принадлежали ко двору. По словам одного из них, они составляли «правлящее стадо». А стадо не склонно к отваге. Некоторые канцлеры и государственные секретари сомневались в здравомыслии кайзера и обсуждали способы ограничить его власть, но никто из них никогда так и не перешел от слов к делу. Как пишет Альбертини, «они не посмели, потому что, одаренные или тупые, все они, за исключением Бисмарка, были в первую очередь придворными, а потом уже государственными деятелями» (Albertini 1952: I, 160). Формально внешнюю политику определял монарх, в реальности же это делал монархизм в форме «разделяй и властвуй» и дворцовых интриг. Это сыграло свою печальную роль в скатывании к войне. Свою роль сыграли и солдаты: большинство из ближайшего окружения кайзера, его кабинетов и тех, кто приветствовал *Immediatstellung*, были из благородных консервативных семей. Армия была учебным плацем для старого режима. Полки гвардейской элиты окружали монарха. Законы военного времени повсеместно использовались для сохранения порядка.

## ВЫСШЕЕ КОМАНДОВАНИЕ

Некоторые из этих характеристик немецких военных можно было найти в истории всех режимов. Военная служба по-прежнему преобладала среди старых режимов во всех монархиях, как конституционных, так и авторитарных. Монархи, их дворы и высшее командование играли вместе, думали вместе и воевали вместе. Ритуалы военной жизни по-прежнему подчеркивали аристократические и королевские связи (многие делают это и поныне). Выпуск из военного колледжа, продвижение, знаки отличия, маневры и смотры проходили под покровительством королевского этоса. Высшие офицеры происходили из знати по рождению или возводились за заслуги на службе. Офицерский стол увековечил джентльмена. По мере того как ряды армии росли и военная обязанность становилась всеобщей, за ис-

ключением Великобритании и США, представители среднего класса вступали в этот мир в качестве кадетов и офицеров резерва. Все это выглядело как блестящая стратегия старого режима — «прижать к своей груди» средний класс, в которой, однако, содержалось две угрозы солидарности старого режима: одна — всеобщая, другая — частная, относительная острота которых различалась от страны к стране.

Различающейся угрозой было то, что офицерский корпус теперь содержал долю политической напряженности из общества. Противостояние буржуазии и старой коррупции приняло форму оппозиции технократического модернизма против аристократического консерватизма. Там, где этот конфликт был в большей степени решен (как в Великобритании и Германии), армия сравнительно гладко прошла модернизацию. Во Франции единство было достигнуто лишь после конфликтов по делу Дрейфуса. Австрийская армия была разделена между сторонниками династического и парламентарно-министерского контроля, что уменьшало ее боеспособность (Stone 1975: 124; Rothenberg 1976: 79). К 1914 г. русское высшее командование также было расколото и не в силах выработать единую стратегию для различных родов войск. Россия вступила в войну с генералами-традиционалистами, защищавшими крепости, в то время как сторонники модернизации распределяли свои войска по определяемым железными дорогами фронтам, тем самым северный и южный фронты плохо координировались (Stone 1975: 17–27). Русский офицерский корпус теперь включал либеральных технократов, которые уже с трудом переносили монархию. Их лояльность не выдержала трех лет опустошительной войны.

Но была и другая, более общая проблема, с которой столкнулись все режимы, как либеральные, так и авторитарные. Даже если офицерский корпус соединял старый режим и средний класс, то, чем он *реально* занимался, становилось тайным, скрытым из виду, но потенциально разрушительным для режима и всего гражданского общества. Военная подготовка и тактика отдалились от повседневной жизни аристократии, как и от повседневной жизни любого гражданского человека. Спорт и командные игры уже не имели никакого отношения к войне. Армия становилась гигантской фабрикой, иерархически эффективно интегрированной внутри самой себя, скрытой от внешнего наблюдателя и едва ли интересующейся тем, что происходило вовне. Но то, что происходило внутри, имело огромное значение из-за индустриализации войны. Военная тактика становилась агрессивной, упреждающей и налагающей тесные технократические шоры, которые скрывали значение дипломатии и создания союзов для достижения окончательной военной победы.

Технократические планы высшего командования могли опережать государственных деятелей. Происходило ли это в каждом конкретном случае, зависело от каналов подотчетности. Партийные демократии предоставляли больше таких возможностей, потому что были рождены для сопротивления деспотичным монархам, использовавшим армии для внутренних репрессий. В Великобритании, Франции, США и Италии правительство могло наложить вето на планы высшего командования (Steiner 1977: 189–214; Bosworth 1983: 44–60). В 1914 г. французская мобилизация, несмотря на недовольство генералов, распоряжением Пуанкаре была ограничена десятью километрами от линии границ, чтобы избежать случайных приграничных столкновений. Французское правительство также наложило вето на план наступления маршала Жоффра через Бельгию, так как это оттолкнуло бы Великобританию. Тем не менее консультации британских и французских военных в связи с союзом Антанты в течение пяти лет сохранялись в секрете от кабинета, что накладывало ограничения на дипломатов, насколько именно, об этом в настоящее время ведутся споры. В монархиях же контроль был гораздо менее формальным. В отсутствие правительственного военного кабинета, когда монарх являлся номинальным главнокомандующим, а кто-то из его родственников часто был реальным главнокомандующим, контроль зависел от придворных интриг. Австрийская армия в 1914 г. была главной «транснациональной» опорой династии. Русская и немецкая армии, очевидно, *создали* свои империи. Немецкая армия обладала необычайно высоким уровнем влияния в стране благодаря цепи своих ошеломительных стремительных побед с малыми потерями. Державы имеют тенденцию институционализировать то, что делает их великими. После отставки Бисмарка подотчетность немецкой армии значительно сократилась, так как авторитет военного министра, отвечавшего перед рейхстагом, уступал авторитету начальника генштаба и военных кабинетов. Рейхстаг мог бросить вызов этой ситуации, отвергнув семилетний военный бюджет, но не посмел (Craig 1955: глава 6).

Но военные не были едины во мнении о том, как следует использовать военную власть. Различные армейские и флотские фракции конкурировали между собой практически в отсутствие политического контроля или военной последовательности (Herwig 1973: 1751–82; Kitchen 1968). У военных отсутствовали дипломатические компетенции или интерес. Немецкая армия была случайным образом антироссийской, ее флот — антианглийским, но «правлящее стадо» не уделяло серьезного внимания геополитике, политике *мировой* (*Weltpolitik*) либо *европейской* (*Mitteleuropa*) (что будет рассмотрено ниже), системе союзов

или мобилизации экономики. Оно было сосредоточено на военном профессионализме и внутреннем консерватизме. На известном военном совете в Германии в декабре 1912 г. генералы, очевидно, убедили кайзера в необходимости превентивной войны против России. Это была предположительно главная эскалация германской подготовки к войне. Адмирал Тирпиц протестовал, объявив, что флот не готов, и получил отсрочку на 18 месяцев (практически как раз к дате, когда война действительно началась). Но это потрясающее решение не привело к реальным военным приготовлениям. Никакого внимания не было уделено дипломатическим приготовлениям (чтобы изолировать Россию), проблемам военной экономики или даже координации между армией и флотом (Rohl 1973: 28–32; Hull 1982: 261–265). Армии и флоты оставались в тисках технократического милитаризма.

## КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ МОНАРХИЙ И ВЫСШЕЕ КОМАНДОВАНИЕ ПЕРЕШЛИ К ВОЙНЕ

Всемирно-исторический момент военной власти наступил в конце июля — начале августа 1914 г. Война, в реальности начавшаяся как серия военных мобилизаций, обернулась объявлениями войны между 28 июля и 4 августа. Мобилизации в России и Германии стали ключевыми моментами ее эскалации.

В России царь, большинство политиков и новый начальник Генерального штаба Янушкевич склонялись к частичной мобилизации против одной Австрии вместо общей мобилизации, чтобы устроить Австрию, но не провоцировать Германию. Янушкевич 25 июля предложил царю (и Германии) частичную мобилизацию против Австрии, однако командующие быстро сообщили ему, что из-за состояния железных дорог возможна только общая мобилизация. Они преувеличивали: частичная мобилизация была бы возможна, хотя и помешала бы позднее общей. Генералы выносили суждение лишь о том, что касалось их военной эффективности. Дипломатические последствия, то есть то, с какими державами им в результате придется сражаться, были уже не их делом.

Дворцовые интриги бушевали. 29 июля царь отложил свое решение, подписав два приказа о мобилизации — один о частичной, другой — об общей. Янушкевич забрал оба и в течение следующих 36 часов распорядился сначала привести в действие приказ об общей мобилизации, потом о частичной и снова об общей. В пять часов вечера 30 июля он отдал приказ об общей мобилизации — решающем шаге к войне. Офицеры Гене-

рального штаба, как считается, после этого отключили телефоны, чтобы избежать очередной перемены решения! В Германии немедленно узнали о мобилизации и сочли, руководствуясь собственными планами, что это означает объявление войны. Однако высшее командование уверило царя, что русские войска могут оставаться в оборонительных мобилизованных порядках две-три недели. Растерянный министр иностранных дел Сазонов в разговоре с немецким послом 26 июля спрашивал: «Разумеется, мобилизация не равносильна войне с вами тоже, ведь так?» «Возможно, в теории нет, — отвечал посол, — но... когда кнопка нажата и механизм мобилизации запущен, его уже невозможно остановить» (Albertini 1953: II, 481). Так появилась роковая метафора — кнопка. Но даже это предупреждение не донесло до русских то самое опасное значение, которое мобилизация имела для Германии.

Ни российские, ни немецкие лидеры не понимали, что различие между общей и частичной мобилизацией, над которым они так бились, не имело большого значения. Военные условия Тройственного союза вынуждали Германию начать общую мобилизацию, даже если Россия проводила только частичную, против Австрии. Это немедленно вынудило бы Россию начать общую мобилизацию. Более того, *любая* мобилизация в России была на этом этапе ошибкой. Она провоцировала Германию, а на австрийском фронте игнорировала военную логику дипломатии. Чем дольше Россия оставалась спокойной, тем больше мобилизация в Австрии вводила австрийскую армию на юг, к Сербии, подальше от русской границы. Если бы Россия приняла позднее решение мобилизоваться и вторгнуться в Австрию, защита ее была бы ослаблена (Albertini 1953: II, 290–294, 479–485, 539–581; ср. Turner 1968; Schmitt 1966: 249–256).

Разработка причин государственных и национальных интересов подходит для реалистов в академических исследованиях и на семинарах. Но быстрое принятие решений в условиях меняющихся и опасных обстоятельств — совсем другое дело. Этот двор просто не мог справиться с ситуацией. Военные из придворных желали лишь того, что было технически эффективным; министр иностранных дел хотел избежать войны, но ничего не знал о военных делах и не обладал влиянием при дворе, великие князья разделились; список дел, которые мог охватить своим вниманием царь, был ограничен, царица находилась под влиянием Распутина. Эскалация со стороны России была следствием разделения ответственности, несостоятельности членов царской семьи и не доведенных до конца интриг, к которым монархия особенно была восприимчива. Теория путаницы вполне работает для России.

Второй эскалацией был ответ Германии 31 июля: провозглашение готовности к войне (*Kriegsgefahr*) и 24-часовой ультиматум России для отмены мобилизации, иначе Германия начнет войну. Мобилизация в Германии означала войну без всякой паузы. Технические подробности и точные графики плана Шлиффена, созданного в 1905 г., еще более развили наступательную военную тактику, рассмотренную в главе 12. Войска по мобилизации должны были концентрироваться *за границами* Голландии, Бельгии и Люксембурга (нейтральных стран). В 1911 г. Мольтке изменил план, убрав оттуда Голландию, но от этого остальные части плана стали еще важнее. Железные дороги Люксембурга должны быть заняты в первый же день мобилизации, Льежа (Бельгия) — на третий день. Мобилизация Германии, начавшись, уже неизбежно приводила к нарушению нейтралитета ряда стран, а следовательно, к практически неизбежной войне с Францией и вероятной — с Великобританией.

Однако, на удивление, этот факт не был доведен германским высшим командованием до своих политиков. До 31 июля канцлер не знал, что мобилизация подразумевала немедленное нарушение бельгийской границы, как не знали и австрийские союзники, хотя высшее командование всех стран догадывалось об этом. Кайзер не знал о планах по захвату Льежа до того момента, когда он был осуществлен — 4 августа. Он осознавал, что это приведет к войне с Великобританией, но было уже слишком поздно менять план. Последние шаги Германии к войне были предприняты ее высшим командованием независимо от политических каналов. В Германии не существовало полноценного правительства. Канцлер Бетман и начальник Генерального штаба Мольтке были равны, отвечали только перед кайзером и пользовались собственными каналами влияния. Адмирал Тирпиц, хотя и ниже рангом, чем Мольтке, был более влиятельным придворным. Так как кайзер колебался, придворные использовали перепады в его настроении. Начиная с 1912 г. Мольтке отдавал предпочтение превентивной войне. Играя на воинственности кайзера, он убедил его 30 августа отдать распоряжение о готовности к войне (*Kriegsgefahr*) и на следующий день предъявить ультиматум России. Через офицеров Генерального штаба он лично гарантировал высшему командованию Австрии поддержку со стороны Германии, если она начнет мобилизацию против России. По этому поводу австрийский министр иностранных дел Берхтольд воскликнул: «Кто правит в Берлине — Мольтке или Бетман?» (Turner 1970: 109). Ответом, по словам Тирпица, было: «Ни тот ни другой»:

коллективные консультации между политическими и военными лидерами никогда не проводились ни по политико-стратегическим



проблемам ведения войны, ни даже по перспективам мировой войны вообще. Мне даже никогда не докладывали про (планируемое) вторжение в Бельгию, которое немедленно затронуло военно-морские дела, когда произошло в действительности [Albertini 1957: III, 195, 250–251].

С 1912 г. Мольтке, министр иностранных дел Ягов и Бетман лихорадочно продвигали идею превентивной войны. Однако они не консультировались с промышленниками или финансистами по вопросу экономических последствий войны (Turner 1970: 84–85). Военные, дипломаты и капиталисты шли своими путями, влияя на различные сети государственной власти, чтобы проводить различную обособленную политику. Над ними был лишь колебавшийся канцлер. В Берлине, таким образом, тоже работала теория путаницы.

В Вене основной клубок путаницы и недоразумений был между военной и дипломатической сетями власти. Первенство фельдмаршала Конрада в том, что касалось военных планов, не оспаривалось, но он не обладал ни компетентностью, ни контролем над дипломатами, которые решали, кто будет противником Австрии. В последнюю минуту под давлением Германии Австрия пошла на мобилизацию как против Сербии, так и против России. Таким образом, армия государства, которое начало войну, у которого было больше всего времени на подготовку наступления и в котором, возможно, была наиболее цельная структура командования, в первый же день Великой войны перенаправляла поезда с войсками от сербской к российской границе.

Путаница и недоразумения также спускались по многим дипломатическим сетям. Гартвиг, русский посланник в Сербии, многие годы настраивал Белград против Австрии. Правительство не одобряло его действий, но придворные покровители не позволили отозвать его из Сербии. До сербского премьер-министра дошли слухи о заговоре с целью убийства эрцгерцога в Боснии, организованного его врагами в правительстве. Но забыв, что Боснией управляет австрийское министерство финансов, он отправил письмо с предупреждением не в то министерство, агрессивному министру внутренних дел Австрии, который его скрыл. Немецкий посол в Австрии Чиршки поощрял агрессивность австрийцев, передавая в Вену мнение «ястреба» — министра иностранных дел Ягова, чем нерешительного канцлера Бетмана. Фон Бюлов иронично комментировал, что Бетман и Ягов создали «комитет общественной катастрофы» (Turner 1970: 86). Из Лондона германский посол Личновски советовал Берлину проявить осторожность, но Ягов, а иногда и Бетман нейтрализовывали его депеши.

Монархии действительно проявили агрессию, но не по причине единодушного безжалостного милитаризма. Во-первых, их агрессия была проявлением характерной возможности вследствие практически повседневного милитаризма с его большей, чем в либеральных режимах, готовностью считаться с человеком в мундире по вопросам как внутренней, так и геополитики. Это обоснованная часть традиционных либеральных теорий войны, которые утверждают, что войны начинают авторитарные, а не либеральные режимы (я рассмотрю эти теории чуть ниже). Во-вторых, закрытость, подобную кастовой, развили те самые военные, профессионализм которых привел их к более агрессивным техническим способам действий. В-третьих, мир был ввергнут в катастрофическую войну непреднамеренно — стратегиями «разделяй и властвуй» монархий, в которых никто не обладал верховной властью и ответственностью, за исключением самих монархов. Именно внутренний хаос вкупе с общим этосом повседневного милитаризма делал монархии опасными, когда никто не мог в достаточной мере контролировать как военный, так и дипломатический канал влияния на монарха, чтобы принимать рациональные реалистические решения.

Я деконструировал государство или державу. Действительно, держава официально объявляла войну как единый актор, и это определяло будущее мира. Но этот актор был в действительности полиморфным, состоял из фракционированных сетей власти, воплощавших множество кристаллизаций, над которыми находились исполнители — бездарные монархи и задержанные канцлеры, министры внутренних и иностранных дел, зависящие от интриг и не знавшие, что происходит. А насколько иначе обстояли дела в странах партийной демократии?

## ПАРТИЙНЫЕ ДЕМОКРАТИИ

Со времен Канта либералы (а в последнее время и консерваторы, такие как Маргарет Тэтчер) провозглашали, что республиканские, конституционные, либеральные или демократические государства исходно миролюбивы, в то время как авторитарные государства воинственны. Отчасти потому, что либералы оптимистично видят природу человека — свободный индивидуум не захочет идти на войну, а отчасти потому, что они рассматривают либеральные режимы как капиталистические, а капитализм как транснациональный и космополитический. Возможно, в обоих предположениях есть доля правды. Но исследования Дойля (Doyle 1983) позволяют нам более точно определить миролюбивые качества либерализма.

Дойль определяет режимы как либеральные, если в них присутствуют рыночная экономика и частная собственность, граждане не обладают юридическими правами и есть представительное правительство, в котором законодательная власть играет эффективную роль в общественной политике и избирается по меньшей мере 30% мужского населения либо по избирательному праву с имущественным цензом (в XX в. он также добавляет избирательное право для женщин). Его политические критерии соответствуют тому, что я называю партийной демократией. Он перечисляет три либеральных режима в конце XVIII в. — некоторые швейцарские кантоны, Французскую республику между 1790 и 1795 гг. и Соединенные Штаты Америки. К 1850 г. таких режимов было восемь (включая Великобританию), к 1914 г. — 19, а к 1980 г. — 72. Затем Дойль определяет, начинали ли эти или другие режимы современные войны.

Дойль делает очень смелое заявление: никогда два либеральных режима не воевали друг с другом. Но он тщательно выбирает государства. Впрочем, даже при этом его утверждение трещит по швам. Для его суждения важно, что Великобритания не была либеральной страной до избирательной реформы 1832 г., так как незадолго до этого она вела крупные войны против двух из трех режимов, которые он относит к либеральным (с Французской республикой и Америкой как до, так и после провозглашения ее независимости). Тем не менее Великобритания действительно соответствует критериям Дойля, потому что даже в ней избирательное право было (неравномерно) доступно по имущественному цензу и уж точно по другим критериям. Временные рамки его суждения также позволяют ему исключить англо-датские морские войны конца XVII в., когда две наиболее либеральные державы противостояли друг другу. Он слегка хитрит, включая в свой список, датированный примерно 1900 г., Италию, но не Испанию, когда обе страны имели довольно сходные ущербные конституции. С помощью этого трюка можно не заметить Испано-американскую войну как еще одно исключение из этой теории. Дойль также исключает гражданские войны, хотя Гражданская война в Америке была преимущественно между либеральными (в его смысле) режимами. Но если мы ограничимся XX в., то его теория становится верной (до сих пор) и впечатляющим открытием.

Но Дойль не останавливается на этом, как часто делают апологеты либерализма. Он также находит, что либеральные режимы довольно охотно вступают в войну с нелиберальными, особенно в современном третьем мире. Со времен Второй мировой войны они агрессивно выступают против режимов, которые называют коммунистическими (в последнее время — диктатор-

скими). Откуда берется такой контраст между отношением либеральных режимов друг к другу и к прочим типам режимов? В XX в. в марксистском ответе содержится доля правды. Режимы третьего мира, особенно прокоммунистические, угрожают капитализму, в то время как другие либеральные режимы нет (хотя я не считаю это исчерпывающим ответом, а США вторгались в страны Латинской Америки в XX в., задолго до того времени, когда коммунизм стал их пугать). Но все это мало помогает в XIX в., когда нелиберальные режимы также были прокапиталистическими. Дойль дает альтернативный ответ, заявляя: либеральные режимы считают, что у них особенно сильное право считать себя легитимными, потому что они основываются на согласии морально автономных индивидуумов. Либеральные режимы уважают моральную автономию себе подобных, но рассматривают нелиберальные как не обладающие моральной законностью и нападают на них со всем идеологическим рвением.

Я нахожу много достоинств в квалифицированной защите Дойлем либерализма. Однако она остается чересчур слащавой и в чем-то пренебрегающей реалистической геополитикой. Перед Первой мировой войной внешняя политика его либеральных режимов была куда более геополитически мотивированной, чем он предполагает. Геополитические взаимоотношения между тремя главными либеральными державами — США, Великобританией и Францией — были улажены путем крупных войн как раз перед тем, как они стали либеральными в понимании Дойля. После этого как Великобритания, так и США могли свободно вести экспансию путем колониального геноцида и войны в своих оговоренных сферах интересов. Они не искали войн с европейскими державами, либеральными или нет, пока те не угрожали их колониальной экспансии или власти на морях. Их либерализм (по отношению друг к другу) был также определен в этот период как сугубо практичный геополитический интерес. Это было справедливо и для Франции. Как показывает глава 8, Франция была с 1815 г. тщательно нейтрализована победоносным «Концертом великих держав», которые также гарантировали нейтралитет Бельгии и Нидерландов — следующих двух либеральных государств. После этого для Франции стало опасно нападать как на них, так и на более сильную Великобританию, хотя конфликты между ними в колониях продолжались.

После того как Пьемонт-Италия стала либеральной, ее мотивы — аналогично смешанными. Война с Францией оставалась геополитически возможна, и итальянская дипломатия весь этот период колебалась. Но так как Германия угрожала Франции больше и Пьемонт-Италия смогла кое-чем поживиться в войнах с Австрией (и Турцией), франко-итальянские альян-

сы проявились в войнах 1859 и 1914 гг. Италия выбрала свою позицию в 1914–1915 гг. скорее из геополитических рассуждений, чем из либеральной солидарности (Дойль считает, что наоборот). Для Италии большее значение имел тот факт, что (авторитарная) Россия воевала с Австрией, чем тот, что либеральные Франция и Великобритания воевали с Германией. Пока Германия была занята войной с ними, Италия в союзе с Россией могла отхватить у Австрии кусок территории.

Переходя к оставшимся либеральным государствам Европы, я в главе 8 показываю, что экономики Голландии, стран Бенилюкса и Скандинавии зависели от глобальной экономики Британии. Их внешняя политика отчасти направлялась Британией, а геополитика стран Бенилюкса еще и ограничивалась великими державами. В XIX в. единственными независимыми государствами в Скандинавии были Швеция и Дания. Между ними неизбежно должна была вестись война на море, а после 1805 г. ни одна из этих стран не обладала сильным флотом. В любом случае Скандинавия в течение двух веков прошла через опыт сдерживающего баланса сил и небольших армий, прежде чем стала либеральной. Швейцарские кантоны были нейтральными вне зависимости от того, либеральные они или нет, по традиционным геополитическим причинам. У Греции не было либеральных соперников.

За пределами Европы белые доминионы Британской империи, над которыми господствовал Лондон, были «окрашены» тем же избирательным либерализмом — у них не было никакого геополитического интереса в войнах друг с другом. Канада не желала также нападать и на США. Я не знаю, почему Аргентина и Чили не начали войну друг с другом в тот короткий период, когда Дойль определяет их как либеральные (после 1891 г.). А для Колумбии (по Дойлю — либеральной с 1910 г.) было бы географически затруднительно вступить в войну с кем-либо из них.

На этом у Дойля список либеральных режимов, существовавших до 1914 г., исчерпывается. Я указал геополитические причины, по которым между ними не было войн. Но этих причин, очевидно, мало, чтобы объяснить главным образом два случая — англо-американский и, вероятно, внутрискандинавский мир (почему баланс сил в Скандинавии никогда критично не нарушался). В обоих случаях мир полагался на гораздо более широкую нормативную солидарность, чем всего лишь принадлежность к политическому либерализму. Не опровергая Дойля, я хочу внести пару поправок.

1. В 1914 г. либеральные партийные демократии, хотя и вследствие переплетавшихся политических и геополитических

причин, *действительно были* менее агрессивными и воинственными, чем авторитарные режимы. Представительские государства *действительно* лучше избегают войн, хотя отчасти по причинам, отличным от тех, которые предполагают большинство либералов (включая Дойля). Редко какая война начинается просто так, единственным участником. Большинство, подобно Первой мировой, включает нисходящую спираль в дипломатии, когда быстро меняющиеся обстоятельства вынуждают к быстрому перерасчету интересов. Либералы ошибаются, приписывая авторитарным режимам способность к «секретности, гибкости, оперативности и проницательности в решениях и действиях... которые, как правило, нужны для ведения эффективной мировой политики правителями великого государства» (Kennan 1977: 4; его также одобрительно цитирует Дойль).

Но эта глава демонстрирует обратное. Хотя ни один режим не был совершенно внутренне скоординированным (каждый был полиморфным), ответственные либеральные режимы все же несколько лучше преследуют реалистические интересы (включая уклонение от дорогостоящей войны), чем монархии. Я также считаю, что, будучи интернационалистскими и менее ориентированными на простое подавление как средство решения проблем, либеральные режимы выигрывают у авторитарных в дипломатии создания союзов. Возможно, это главная причина того, что демократии выигрывали у авторитарных режимов в крупных войнах XX в. Менее преуспевающие в милитаризме, они зато преуспели в мобилизации более крупных армий с помощью союзников. Но это будет темой третьего тома.

2. Дойль верно подчеркивает значение норм и идеологии в геополитике, но нормы — более широкое понятие, чем просто форма режима. Сдержанность в англо-американских и межскандинавских отношениях была следствием не только их принадлежности к либерализму. Общие диффузные нормы помогают избегать войн, которые не укладываются в реалистические схемы, потому что война не входит ни в чьи интересы, как было с Первой мировой войной (хотя эти же нормы помогают вести войны, которые частично определяются идеологией, как было с Наполеоновскими войнами). И напротив, отсутствие таких норм усугубляет недопонимание в случае нисходящей дипломатической спирали. Таким образом, отсутствие общих норм между партийными демократиями и монархиями усугуби-

ло недопонимание между великими державами и ускорило нисходящую спираль дипломатических действий в 1914 г.

Глава 12 демонстрирует, что партийные демократии выработали более надежную систему контроля над режимами во внутренних и военных вопросах, чем в дипломатических. Действительно, относительное безразличие классов и политических партий к внешней политике, вероятно, отражало более изолированное, автономное от партийной демократии рутинное ведение внешней политики в отличие от монархии, где космополитичный и одновременно воинственный старый режим имел большее влияние при дворе и был более заинтересован во внешней политике. Но в кризис ситуация становилась иной. Без согласия незапно заинтересованного большинства в кабинетах и парламентах, в массмедиа и общественном мнении нельзя было тратить деньги, заключать формальные соглашения с другими державами, объявлять войну. В главе 3 я выделяю классы, группы влияния и националистические партии как основные сети власти, потенциально влияющие на государственных деятелей и военных. В кризис это влияние проявляется. Однако к этому времени альтернативы в политике могут уже быть ограниченными, либеральная держава — загнанной в угол обособленной повседневной дипломатией, что приводит к трагическому безальтернативному выбору (*Hobson's choice*) между войной и риском национального бесчестья от отступления или, как формулирует Грей, «между войной и дипломатическим унижением».

С другой стороны, политики при партийной демократии понимали, что именно одобрит общественность. То, что воспринималось как выражение общественного мнения масс, редко было агрессивным. Изучая эпоху, когда не было опросов общественного мнения, мы должны полагаться на то, что опытные политики считали общественным мнением. Большинство политиков в Великобритании и Франции воспринимали электорат как безразличный к рутинной дипломатии великих держав, но настроенный против войны, кроме случаев самозащиты. Канонерки в странах, которым предстоит стать третьим миром? Отлично. «Хитросплетения во внешней политике» при малой мобилизации против одной из великих держав? Не годится. В 1914 г. в Великобритании было либеральное правительство, в составе которого было трое выраженных пацифистов и полдюжины интернационалистически настроенных членов кабинета. В 1911 г. этот же кабинет проголосовал против укрепления Антанты 15 голосами против 5. Британские политики были чрезвычайно заняты забастовками и грозившей гражданской войной в Ольстере (возможно, как они будут и в 2014 г.). Фран-

цузские политики были расколоты по вопросу военной повинности, но почти не обращали внимания на Балканы или Эльзас и Лотарингию. Массмедиа Франции все внимание уделяли суду по делу драматического политического убийства. В атмосфере всеобщего безразличия Пуанкаре достиг единоличного контроля во внешней политике, манипулируя кабинетом до степени «безропотной поддержки всего, что бы он ни предпринял» (Keiger 1983; цитируя Bosworth 1983 по Италии). Государственные деятели, как ожидалось, решили этот кризис за закрытыми дверьми, без публичных угроз войной. Это создавало трудности для партийно-демократических режимов: хотя они считали, что геополитические интересы требуют решительности и даже готовности к войне, в открытую заявить об этом не могли — такое могли позволить себе лишь крайне правые политики, не находившиеся на государственной службе.

Тогда и по сей день существуют два решения этой дилеммы демократии. Примером одного явились французские государственные деятели, другого — британские. Французский посол в России Палеолог воплощал французский вариант скрытой твердости (*covert firmness*). Французское правительство предложило военные и финансовые стимулы российским генералам и финансистам, чтобы склонить царя к заключению франко-русского союза. Считая, что пришло время вернуть Эльзас и Лотарингию, Палеолог постоянно побуждал российских государственных деятелей поддерживать Сербию, уверяя их в помощи со стороны Франции. Он так и не передал в Париж информацию о колебаниях России и провоцирующей мобилизации. Позиции решительной самозащиты следовало держаться при необходимости даже путем вступления в войну. Многие о французской дипломатии в ходе этого кризиса остаются неясным (разоблачающие документы, вероятно, были уничтожены). Трудно сегодня понять, какую роль в русской мобилизации сыграла французская дипломатия. Вероятно, она внесла свой вклад, но не решающий.

Британские либеральные государственные деятели взяли противоположный курс (последующие параграфы основываются на работах Williamson 1969 и Wilson 1985). Министр иностранных дел Грей при негласной поддержке премьер-министра Асквита не был готов дать Франции или России даже неофициальные заверения о намерениях Великобритании. Сам он, как и его советники в Министерстве иностранных дел Эйра-Кроу и Николсон, был убежден, что геополитическая логика ведет к выполнению обязательств Антанты. Они считали, что открытое столкновение с Германией стало неизбежным. Эта группа государственных деятелей высоко ставила ценности реализма



и посвятила себя защите мощи и чести Британии, а не только материальных интересов. Примерно к 1912 г. им казалось очевидным, что Германия ищет возможности доминировать в Европе и вытеснить Великобританию как ведущую державу.

Пребывание в статусе практического гегемона, похоже, способствовало выработке морализаторского тона, который слышен сегодня во внешней политике США. Не имел значения тот факт, что даже если бы Германия нанесла еще одно поражение Франции, то ее военно-морской флот был и оставался бы не в силах угрожать Британским островам. Большее значение для этих деятелей имело то, что такой результат при бездействии Великобритании стал бы национальным унижением и предательством того внутреннего понимания, которого, по их мнению, они достигли с Францией. В конце концов французы перевели свой флот в Средиземное море, полагаясь на то, что британский Королевский флот будет контролировать Ла-Манш. Грей сам выразил эти чувства (чести), присущие поколению британских государственных деятелей: «Когда нации спустились с вершины, до их последнего вздоха их гордость оставалась на прежней высоте, если не выше. Она оставалась с ними, как, по словам Тацита, любовь к притворству оставалась с Тиберием до его последнего вздоха» (процитировано Вильсоном в его предисловии к работе 1985 г. по Антанте).

Заметьте, как Грей персонифицирует нации. Он наделяет их совершенно человеческими качествами, такими как гордость. Однако в позиции этих политиков была и более материальная реалистическая дилемма. Британские геополитические интересы лежат в достижении взаимопонимания с Россией, чтобы предотвратить то, что воспринималось как наземная война в Азии, которую невозможно выиграть, и в том, чтобы удержать Германию подальше от Ла-Манша, что подразумевало достижение взаимопонимания с Францией. Россию и Францию нужно было перевести в разряд дружественных держав. Но ни одна из них не должна была *полагаться* на британскую поддержку в случае войны, так как они могли поддаться соблазну и действовать провокационно. Из этих геополитических причин и происходила осторожность Грея.

*Innenpolitik*, казалось, имела большее значение. Грей и его советники считали, что как только Германия нападет на Францию и Бельгию и будет угрожать портам на побережье Ла-Манша, общественное мнение в Великобритании встанет на защиту британской чести путем военной интервенции. Но пока этого не произошло, считал Грей, общественное мнение и большинство кабинета будут против вторжения. Вступать в союз с Антантой или заранее угрожать Германии грозило расколом в прави-

тельстве, так как некоторые министры могли подать в отставку (двое из них так и сделали после объявления войны), что привело и к его отставке. Консервативная партия поддержала бы Грея и сформировала новое правительство с поддержкой империалистического крыла либералов. Но это подорвало бы Либеральную партию и могло даже привести к гражданской войне в Ирландии. Поэтому Грей ничего не предпринимал. Он вкратце информировал кабинет о происходящем и не собирал его для обсуждения ситуации. Иностранным правительствам сообщалось, что Великобритания никому ничего не обещает и оставляет выбор за собой. Грей повторял эти заявления публично и в частных беседах, позволив тем самым «ястребу» Ягову пренебречь предупреждениями посла в Лондоне о возможности британского вмешательства (Williamson 1969: 340–342). Немецкие дипломаты до 30 июля считали, что Великобритания останется нейтральной. Если бы они не верили в британский нейтралитет, они не предприняли бы шага к войне.

После войны Бетман и Тирпиц с горечью жаловались на обман со стороны Британии, которая ввела Германию в искушение, закончившееся поражением. Но правдой было противоположное. Грей действовал пусть и малодушно, но настолько достойно, насколько позволяло его понимание либерального общественного мнения. Он не хотел войны. Среди британских лидеров не было сторонников превентивной войны. Но ситуация взывала не к британской гордости, а к двуличию Тиберия или Гиллии: ничего не заявлять публично или в полном составе кабинета, но секретно предупредить Германию, что Великобритания вмешается, если Франция подвергнется нападению, и (в отличие от Франции) предупредить Россию, что любая провокация с ее стороны уменьшит вероятность британского вмешательства. В отличие от французской двуличности, вероятно, именно британская честь была необходимой причиной того, что кризис перерос в войну. Но ошибки Грея не были идиосинкразическими, и их можно объяснить социальными факторами. Они появились в результате неудачной попытки закрепить милитаристические политические кристаллизации: британские государственные деятели смешивали реализм с чувством национальной гордости, чтобы поддержать больший градус милитаризма, чем позволяли правящая Либеральная партия и преобладающее общественное мнение. В итоге вместо окончательной геополитической идентичности британского государства произошло замешательство и мировая война.

Таким образом, общественное мнение в партийных демократиях в ходе кризиса сыграло деструктивную роль. Транслируемое партийной системой, оно допускало изолированность

режима в повседневной политике, но ограничивало его свободу действий, в частности способность применять военные угрозы, не предоставляя при этом реалистичной политической альтернативы режиму. Во время кризисов такие режимы оказывались загнанными в угол. Государственные деятели в монархиях были менее ограничены в средствах и ошибочно воспринимали бездействие партийной демократии как безразличие или трусость — качества, которые Великобритания продемонстрировала несколько десятилетий назад, когда Германия напала на Данию, Австрию и Францию (хотя тогда у Германии не было флота, представлявшего угрозу для Великобритании). Вознагражденное поведение будет повторено, если только лицо, принимающее решение, не будет четко понимать, что обстоятельства изменились. Этот факт делает более вероятной агрессию со стороны авторитарных режимов, как и произошло вновь перед началом Второй мировой войны. Как отмечал Дойль, отсутствие общих норм между авторитарными и демократическими режимами имело большое значение. В этом случае, однако, они в меньшей степени отрицали законность власти, а в большей — просто искренне не понимали различия в полиморфных кристаллизациях друг у друга. В дипломатии времен кризиса это ускорило скатывание к войне.

Парламенты и партии редко проявляют инициативы во внешней политике. Нестабильная полуизоляция режима имела тенденцию ослаблять его геополитику. Она вела либо к колебаниям (как в Великобритании), либо к завуалированной стратегии режима, направленной на манипуляции общественным мнением в пользу желаемых целей. Оба варианта проявлялись в партийной демократии XX в.: первая — в Великобритании, а вторая — в США при Вильсоне и Рузвельте, когда они манипулировали общественным мнением американцев для оправдания войны (о Вильсоне см. Hilderbrand 1981: 133–135).

Чтобы довести до логического завершения этот пункт, позвольте мне привести два современных примера относительно режимов, которые, как считается, являются полными демократиями: вступление США в войну во Вьетнаме и Великобритании в Фолклендскую войну 1983 г. В обоих случаях маленькая группа высокопоставленных политиков и военных в течение нескольких лет принимала незаметные решения, касавшиеся далеких стран, привлекая небольшие ресурсы практически без какого-либо общественного резонанса или интереса. США постепенно и незаметно начинали обеспечивать Южный Вьетнам поддержкой, военным снаряжением и «советниками». Великобритания начинала сокращать свое военное присутствие в Южной Атлантике, не заявляя о том, что намерена по-прежнему защищать эти

территории. Когда пало правительство Южного Вьетнама и аргентинцы вторглись на Фолклендские острова, кризисы приняли угрожающие размеры. Ни американское, ни британское правительства не хотели, чтобы их считали «отступившими трусами», и какое-то время манипулировали слабо информированным общественным мнением с помощью показного политического национализма и размахивая национальными флагами. Когда 50 тыс. американцев погибли в бесполезной войне, национализм ослабел и США вывели свои войска. Британцы, столкнувшись с более слабым противником и сопутствуемые удачей, брали верх, пока их национализм также не иссяк. Две полномасштабные войны произошли вследствие в основном негласных автономных решений государственных деятелей. Хотя прошло еще слишком мало времени, чтобы понять все шаги, приведшие к войне в заливе 1990–1991 гг., они выглядят очень сходными.

Не наивно ли надеяться на появление подлинно демократической внешней политики, в которой общественное мнение и партии не будут одержимы национализмом и возможны открытые обсуждения повседневной внешней политики, удерживающие режимы под контролем, налагаемым глубоко укорененными общими социальными интересами, один из которых состоит в том, чтобы не допустить гибели людей в бесполезных войнах?

Партийная демократия также была полиморфной, ведущей к непоследовательной дипломатии, хотя и в меньшей степени, чем в монархии. Демократическая непоследовательность возникла не среди придворных фракций, как в монархиях и лишь частично в парламенте, который, как предполагалось, заменил двор, но, что более важно, в противоречии между повседневной реалистической скрытностью и автономией режима и общим национальным климатом «пацифистского безразличия» (которое, как мы увидим, во время кризисов могло обратиться в дешевую националистскую риторику). Это поднимает сложные вопросы: были ли классы и нации столь безразличны, позволяя своим режимам изолироваться? Если да, то почему. Различались ли два типа режимов? Я хочу распространить свой анализ и на более народные акторы власти, прежде всего на классы и нации.

## КЛАССЫ, НАЦИИ И ГЕОПОЛИТИКА

Я возвращаюсь к своим трем идеально-типическим формам классовой организации.

1. *Транснациональная.* Когда классовая идентичность и организация пересекают границы, государства и нации стано-

вятся по большей части иррелевантными для классовых отношений. Личные и коллективные интересы определяются глобальными рынками, а не территорией государства. Транснациональные классы модерна должны были быть миролюбивыми в широком смысле слова, обладая интересами за рубежом и направляя геополитику режима в сторону миротворческой дипломатии. Если бы транснациональные классы доминировали в 1914 г., вероятно, войны не произошло бы. То же самое рассуждение применимо и к неклассовым транснациональным акторам. К примеру, сохрани католическая церковь свою транснациональную власть в современном мире, реалистические войны между нациями-государствами стали бы менее вероятны (хотя, возможно, их место заняли бы религиозные войны). Мы можем заподозрить, что в Новое время транснационализм ослаб.

2. *Националистические.* Там, где интересы одной нации конфликтуют с интересами другой, возникают националистические квазиклассы с конкретными интересами в связи с международным разделением труда. Отношения националистических классов поощряют территориальные определения идентичности и интересов, а также агрессивную геэкономику и геополитику. Если такая классовая организация начинает доминировать, результатом конфликтующих материальных интересов (капиталистических) наций-государств может стать великая война.
3. *Национальные.* Классовая идентичность и организация при этом заключаются в «клетку» внутри каждого отдельно взятого государства без значительных связей с внешним миром. Хотя классы становятся вовлечены во внутренние конфликты по вопросам идентичности нации, их внимание обращено внутрь и они некомпетентны в геополитике. У них нет серьезных геополитических интересов и предрасположенности к войне или миру. Пребывая в невежестве, национальные классы могут оставить геополитику на откуп государственными деятелям. Тогда война и мир становятся ответственностью профессионалов, призванных из старого режима, а не масс. Преобладающе изолированный реализм и первичность *Aussenpolitik* могут продолжаться и в обществе модерна. В противном случае чувства национальных классов могут быть заменены национализмом, который был скорее политическим, чем экономическим. Либо безграмотные, одержимые национализмом классы могут внезапно перенести свое внутреннее недовольство на иностранцев (см. Howard 1970: 103–104), либо правящие классы и режим мо-

гут создавать и манипулировать национальной идентичностью, чтобы перевести внутренний классовый антагонизм в международный конфликт (см. Мауег 1968, 1981). В обоих случаях размахивают флагами, бьют в барабаны и нападают скорее на иностранцев, чем на правителей. В этих подходах результатом национальной организации классов был преимущественно *политический* национализм.

Транснациональные классы не были причиной Первой мировой войны. Они сопротивлялись ей, но над ними взяли верх при помощи четырех нижеперечисленных способов.

1. Националистические классы с агрессивной геополитической стратегией, основанной на их материальном интересе, могли рационалистично начать войну. Это доказывают теории *экономического империализма*: экономическая конкуренция капиталистических наций-государств рационально и целенаправленно вела к геополитике, несущей серьезный, но допустимый риск войны. Их интересы, напрямую подкрепленные отношениями экономической власти, были ответственны за войну.

Но националистические классы также могли стать причиной войны исходя из следующих объяснений.

2. Фрустрацией и агрессией внутренних классов манипулировали правители, перенося их на внешнего врага, о чем говорит теория *социального империализма*. Классовые интересы, неявно подкрепляемые внутренними отношениями экономической власти, были ответственны за войну.
3. Национальные классы выработали спонтанную воинственную ксенофобию, что объясняет теория *политического национализма*. Отношения политической власти и идентичностей были ответственны за войну.
4. Одержимые национализмом классы оставили геополитику в руках старого режима, на который оказывали влияние лишь группы давления частных интересов. Эти группы были ответственны за войну. Я называю это теорией *старого режима*. Здесь акторы экономической власти избегали внешней политики, перекладывая ответственность за войну на изолированных или преследующих частные интересы дипломатических, военных и политических акторов власти.

Все четыре объяснения имеют определенную силу, которая различается в зависимости от типов режимов и классов. Ни одно

из них не дает полного объяснения войне или агрессии какой-либо конкретной державы. Такое объяснение должно объединять их все. Я рассматриваю основные классы по очереди, начиная с класса капиталистов.

## КАПИТАЛИСТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

Либералы XIX в. возлагали надежды избежать войны преимущественно на транснациональную организацию и взаимозависимость капитала. Как только капиталистическая собственность и рыночные нормы институционализировались, предприниматели получили прибыли независимо от государственных границ. Классические экономисты не игнорировали государства, но считали, что международная торговля порождает взаимозависимость. Так как ресурсы государств были различными, каждое специализировалось бы на том, что у него получалось наилучшим образом, — на «чистых сравнительных преимуществах». Хотя могли возникать споры по условиям торговли, ее полное прекращение в условиях войны нанесло бы ущерб всем сторонам. Торговля также требовала транснациональных финансовых договоренностей, гарантировавших устойчивость валют, кредитов и конвертируемости. Таким образом, капиталисты поддерживали бы миролюбивую геополитику.

Реальная экономика, как оказалось, не была столь гармонично взаимозависимой. Европейские державы выросли из довольно сходного общественного базиса. Когда промышленная революция оторвала общество от природы, более важными стали не экологические различия, а практики коллективной власти. Промышленные и сельскохозяйственные технологии других стран можно было легко заимствовать. Таким образом, ведущие государства стали экономически более схожими, чем ожидали классические экономисты. Усилилась конкуренция за рынки. Возникли теории экономического национализма, полагавшие, что экономические интересы определяются — во благо или во зло — нациями-государствами.

Английский либерал Гобсон (Hobson 1902) утверждал, что, к большому несчастью, империализм был порожден текущими нуждами капитала. Плутократическая структура британского общества не давала рабочим адекватной доли национального продукта и создавала прибавочный капитал, который затем экспортировала в империю. Идеи Гобсона были пересмотрены марксистами Гильфердингом, Лениным и Люксембург. В качестве исходной причины экспорта капитала они рассматривали

скорее падающую норму прибыли, чем недопотребление. Для Гобсона и этих марксистов капиталистическая конкуренция толкала государства к территориальному империализму и войне: новый империализм и борьба за африканские колонии привели к Великой войне.

Однако эта версия экономического империализма была по большей части неверной. Избытка капитала не было. Наиболее агрессивные державы — Германия, Австрия и Россия — обладали наименьшим свободным капиталом. Лишь несколько колоний было основано в этот период в результате специфически капиталистического давления; редко какие из них рассматривались как хорошие экспортные рынки, а колониальная экспансия XIX в. не принесла прибыли ни одной из участвовавших стран. Золотая жила колонизаций XVIII в. привела в XIX в. к освоению более бедных территорий, население которых яростно сопротивлялось. Затем в 1880–1900 гг. колониальное соперничество достигло своего пика и его основными участниками были Великобритания, Франция и Россия. Однако соперничество между ними не переросло в войну. Эти страны воевали в 1914 г. как союзники. Хотя Германия принимала участие в захвате колоний, часто бряцая оружием, все споры решались дипломатическим путем. В этот период конкуренция за колонии не приносила мгновенных прибылей и не провоцировала войну (Robinson and Gallagher 1961; Fieldhouse 1973: 38–62; Kennedy 1980: 410–415; Mommsen 1980: 11–17).

Но теория экономического империализма отчасти все же имеет право на существование. Хотя колонии не имели столь большого значения, решающую роль стала играть широкая экономическая конкуренция. Филдхаус ошибался, когда заключал, что за империализмом стоит скорее власть и политика, чем прибыль. Некоторые колонии в Египте, Судане и в Центральной Азии, которые он назвал политическими, были приобретены с целью защиты коммуникаций с Индией, жизненно важных для Великобритании. Более того, практически всегда империализм, погоня за властью, как предполагал Филдхаус, «ради нее самой» шли рука об руку с поисками экономической выгоды. Даже если новый империализм в Великобритании не был вызван необходимостью в экспорте капитала, он включал в себя важный экономический мотив — сохранить британскую торговлю и финансы на мировых рынках при конкуренции со стороны Германии и США и в условиях роста протекционизма (Platt 1979). Никто не знал, сколько будут стоить африканские рынки, но было слишком рискованно позволить другим захватить их, обнаружив потом себя опоздавшим и «исключенным из клуба». В конце концов Южная Африка с открытием богатейших залежей ал-



мазов и золота превратилась именно в этот период из бесполезной колонии в прибыльную. Из этих рассуждений Велер (Wehler 1979) и Моммсен (Mommsen 1980) делают вывод, что не следует разделять политику и экономику.

Но я не соглашусь с ними. Лучше более четко дать определения, чем совсем отбросить их. На кону стоят не экономические цели против политических, а скорее их различные комбинации. Вспомним шесть типов международной политической экономики, выделенных в главах 3 и 8.

На одном полюсе находится *рыночная прибыль*, капиталистическая концепция прибыли, вытекающая из использования превосходства на рынках с помощью институционализированных правил свободного рынка. Рынок не рассматривается как специфическая географическая область с территориальными границами, а как набор функционально определяемых видов деятельности, транснационально проникающих через границы потенциально по всему земному шару. Государства иррелевантны в вопросах прибыли. Такова была концепция классических экономистов, которая все еще доминирует в экономике. Этот вариант транснациональный и миролюбивый в своих последствиях. Очевидно, что на пути к войне что-то должно было его перевесить.

Все другие концепции воплощают более территориальное чувство идентичности и интереса, ведущее к авторитетному контролю над территорией. Наиболее территориальной концепцией является *геополитический империализм*, определяющий интерес как захват и контроль территории — столько, сколько позволяет чья-либо геополитическая мощь, в качестве чего-то самоценного. Такая агрессия не всегда исключает экономику. Даже Гитлер, который не придавал большого значения экономике, хотел эксплуатировать ресурсы завоеванных территорий и иногда направлял агрессию на экономические цели (например, румынскую нефть). Но в этой концепции преобладала не внутриэкономическая логика. Цели для агрессии выбираются не в соответствии с капиталистическим понятием прибыли, а согласно расчетам режима по структурам геополитических альянсов и баланса военных сил. Если классы и другие акторы власти поддерживают такой геополитический империализм, они подчиняют себя политическим и военным концепциям интересов (как, например, в Германии при Гитлере).

Между этими полюсами лежат смешанные рыночно-территориальные концепции прибыли. *Протекционизм* из них — самая мягкая, всего лишь использующая законную власть государства для защиты внутренней экономики на международном рынке с помощью тарифов и квот на импорт. *Меркантилизм* применя-

ет более агрессивные технологии спорной международной легитимности, подобно субсидиям и экспортному демпингу, государственного управления внутренними и иностранными инвестициями и государственной поддержки монополий или внутренних корпораций, действующих за рубежом. Когда доминируют эти две концепции, организация класса капиталистов становится слегка националистической. Протекционистская, особенно меркантилистская, политика могут рассматриваться другими державами как враждебные. Но те, вероятно, не будут угрожать в ответ большой войной, так как это еще больше ставит под угрозу прибыли. Более вероятным результатом будет дипломатический компромисс.

Теперь мы переходим к двум типам ориентированного на прибыль империализма. При *экономическом империализме* контроль иностранной территории, при необходимости путем войны, ориентирован на нужды внутренней экономики и капитала, как предполагали Гобсон и марксисты. Сама организация капитала становится совершенно националистической. Класс капиталистов направляет геополитику и войну, а не наоборот. Такой империализм редко имел место даже во время захвата колоний в конце XIX в. Был ли он где-то еще? Наконец, при *социальном империализме* прибыль заключается в переориентации внутреннего классового (или иного) недовольства, отвлекая его зарубежными авантюрами. Эти авантюры не приносят прибыли, но ее приносит повышение способности эксплуатировать внутренние классы и группы интересов.

Война могла стать результатом двух широких экономических траекторий: либо геополитический империализм политических режимов и военных каст берет верх над рынком, возможно развивая меркантилистскую расчетливость капиталистов, либо экономический или социальный империализм капитала берет верх над его рыночной расчетливостью и перенаправляет геополитический империализм режимов и военных. Возможен и третий вариант, компромиссный: война происходит из-за переплетения сетей власти капиталистов и государства во взаимной концепции прибыли.

А в чем были убеждены сами капиталисты? Немногие думали об этом сколько-либо системно, но их представления широко варьировались. Как мы видели в предыдущих главах, капитал делился на транснациональную и националистическую фракции. Некоторые капиталисты объединялись в рамках нации с помощью государства, чтобы контролировать импорт, экспорт и иностранные инвестиции, но другие были больше заинтересованы в свободной торговле и открытом доступе на рынки. На этот выбор влияли экономический сектор, теку-

щие условия торговли, собственные размеры и прибыльность и т. д. (Gourevitch 1986: 71–123). Многие капиталисты выступали за агрессивную геополитику по отношению к странам третьего мира, но почти все были более осторожны по отношению к европейским державам, разрыв торговли и война с которыми оказались бы слишком дорогостоящими. В Европе большинство не заходило дальше прагматичного протекционизма, который не означал фундаментального национального антагонизма. Тарифы сосуществовали с экономической и финансовой взаимозависимостью на мировых рынках. Основным исключением (которое будет проанализировано ниже) была зерновая конкуренция между Россией и Германией, высокие тарифы которых способствовали отчуждению этих двух стран и поощряли германский милитаризм.

В остальном расстановка между державами не определялась экономическим национализмом. Австро-немецкий союз не был экономически выгоден Австрии, нуждавшейся в иностранном капитале, но ставшей союзником державы, у которой для зарубежных инвестиций его было меньше всего (Joll 1984a: 134–135). Франция и Россия стали финансово взаимозависимы, но эта зависимость была скорее следствием союза (Антанты), чем его причиной. Франко-германское экономическое соперничество не было главной проблемой для обеих стран. Существовавшая конкуренция между Великобританией и Германией, варьирующаяся по секторам, была не больше, чем с США, с которыми у обеих стран не было враждебных отношений. Ни в Германии, ни в Великобритании агрессивный национализм, направленный друг против друга, не возник из промышленной или коммерческой конкуренции: в действительности обе экономики становились все более взаимозависимыми. Между 1904 и 1914 гг. Великобритания была крупнейшим покупателем немецких товаров, а Германия для Великобритании — вторым после США (Steiner 1977: 41; Kennedy 1980: 41–58, 291–305). Расстановка держав в войне не была вызвана по большому счету протекционизмом, меркантилизмом или экономическим империализмом.

Однако к 1914 г. чувство националистической экономической конкуренции, зависшей где-то между меркантилизмом и экономическим империализмом, распространилось особенно в Германии (как мы видим из главы 9). Все меньше немецких капиталистов защищали теперь свободу торговли или меркантилизм, все больше желали жесткого территориального контроля над зарубежными территориями, что было выражено в лозунгах *Mitteleuropa* и военно-морской *Weltpolitik*, которые создавали ощущение окружения союзами (см. далее). Союз Франции и России также сцементировал взаимные экономические инте-

рессы. Какими бы ни были геополитические интересы Франции, они стали теперь также вескими финансовыми причинами для поддержки царя. Там, где существовали агрессивные территориальные модели интересов и соперничества, обострялся экономический национализм. Но экономическое соперничество было следствием, а не причиной геополитического соперничества. Скорее военные и политические акторы власти склоняли капиталистов к империализму, а не наоборот.

Геополитическая власть всегда влияла на экономическую теорию. Ни одна концепция прибыли не может претендовать на объективность подлинно и чисто экономически. Как их эффективность, так и применение зависит от других источников социальной власти. Рыночная прибыль не так давно стала британской просвещенческо-династической теорией, зависящей от разделяемой европейцами идеологии и дипломатии, а также от британской военно-морской и коммерческой мощи. К ней применимы обвинения Листа в том, что она маскировала британские интересы. Когда же мощь Великобритании и ее влияние в континентальной Европе пошли на убыль, рыночные теории уже казались менее объективными. В Европе, особенно в Германии, развивался более защищенный, авторитетно организованный, территориально-центричный капитализм. Как экономическая теория он был столь же корректным, как и рыночные альтернативы (см. главу 9). Он работал и стал влиятельным отчасти из-за развития взаимоотношений между прусским государством и буржуазным национальным гражданством. Эти отношения власти более, чем капиталистический рынок, усиливали меркантилизм и экономический империализм.

Но даже там, где националистическая экономическая конкуренция была значительной, она редко приводила к разжиганию войны среди капиталистов. Группы влияния от капиталистов часто были активными в колониальной политике, для определенных промышленных или коммерческих групп жизненный интерес могли представлять конкретные территории. Например, в большинстве стран появилось небольшое, но влиятельное китайское лобби, жаждущее продвижения в Китае западного империализма (см. Campbell 1949). Но экономическая взаимозависимость между великими державами была так же сильна, как и страх перед дорогостоящей войной. Так что мало кто из капиталистов был по отношению к другим великим державам таким же агрессивным, как популярная пресса и националистические партии. Не в их экономических интересах было искать войну, которая подорвала бы мировую экономику. Даже производители оружия торговали по всему миру — не существовало правительственных эмбарго на военные секреты — и поэто-

му предпочитали холодную войну горячей. Разрушительный потенциал войны для экономики казался столь самоочевидным, что все державы ожидали, что она будет короткой, в противном случае в течение нескольких месяцев встанет вся международная экономика.

Однако, даже если капиталисты и были склонны давать мирные советы, их влияние в правительствах, министерствах и при дворах было невелико. Ни одно из правительств не приняло более чем поверхностных шагов для развития механизмов экономического планирования до наступления кризиса и военных действий. В Германии (как и везде в Европе) сотрудники Министерства иностранных дел были исключительно аристократами, имевшими слабое представление или интерес к экономическим делам. Националистические депутаты в рейхстаге критиковали их за это, но без толку (Cecil 1976: 324–328). Ни одно из правительств не имело планов экономических завоеваний до начала военных действий (немецкие планы по аннексии, каталогизированные Фишером (Fischer 1975: 439–460), появились уже во время войны). Капиталисты развили некоторую националистическую организацию за счет транснациональной, но это было скорее следствием, а не причиной подъема геополитического соперничества. Война не была вызвана в первую очередь капиталистическими экономическими расчетами ни в духе меркантилизма, ни в духе экономического империализма.

## СОЦИАЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И НАРОДНЫЕ КЛАССЫ

Был ли геополитический империализм результатом напряженности в *Innenpolitik*, перенацеленной на социальный империализм? Рассматривали ли режимы войну как решение этой напряженности? Для одной из стран ответом будет однозначное «да». Австро-Венгерская монархия пришла к тому, что рассматривала войну с Сербией как единственное решение внутренних национальных проблем. Так как австрийская агрессия была одной из основных причин войны, *Innenpolitik*, по замечанию Вильямсона (Williamson 1988), была неотличима от *Aussenpolitik*, поскольку выходила за австрийские границы и имела решающее значение. Однако эта монархия была уникальной. Социальный империализм обычно обсуждается в связи с различными внутренними проблемами и стратегиями. Проблемы Австро-Венгерской монархии заключались в региональных национальностях, а не в классах, а мотивы Габсбургов были династическими,

относительно не связанными с манипуляциями народным мнением или легитимизацией. Был ли спонтанный или сманипулированный политический национализм классов ответственным за эту войну?

Как показано в предыдущих главах, в течение XIX в. классовая борьба становилась все более экстенсивной и политической. Организации, представлявшие классы, конфликтовали по всем частям и по всей территории государств, и некоторые классы добились общенациональных гражданских прав. Массовое общественное мнение стало институционализированным через избирательные кампании, в которых между собой сражались политические партии и группы влияния, а перипетии этих битв за избирателей освещались газетами. Военская повинность привнесла военный опыт в массы. Таким образом, *Innenpolitik* национальных классов стала более тесно связанной с внешней политикой, и наоборот.

Геополитика классов различалась в зависимости от того, насколько полными гражданскими правами они пользовались. Чем более полными были права класса, тем выше был его политический национализм. Я начну с тех, у кого прав было меньше всего.

В России рабочие и крестьяне были полностью лишены прав. В Австрии и Германии рабочие были в основном лишены их, а объем прав у крестьян варьировался от региона к региону. Даже получив гражданские права и представительство в суверенных парламентах трех партийных демократий (меньше всего избирательного права было в Британии), профсоюзы и рабочие партии остались недовольны политэкономией государства — то же можно было сказать о многих американских фермерах и французских крестьянах.

Таким образом, для большинства рабочих и крестьян существовавшее на тот момент государство не было *их* государством. Конечно, лишь немногие из рабочих активистов были сторонниками социализма, хотя социалистические идеи широко распространялись в ключевых отраслях (см. главы 17 и 18), а крестьяне придерживались более консервативных организаций, чем мы могли бы предположить (см. главу 19). Многие оставались под сегментарным контролем патерналистских работодателей, церковей и этнолингвистических сообществ. Они могли пойти и на войну за своими патронами, как поступали веками. Массовая грамотность и массмедиа могли добавлять более современной, диффузной риторики сопричастности к нации, флагу и монарху. Но некоторые сегментарные организации власти, мобилизовавшие рабочих и крестьян, особенно католическая церковь и регионально-национальные сооб-

щества меньшинств, двойственно относились к централизованной нации-государству.

Крестьяне также были часто настроены против войны, потому что именно они больше всех страдали от военной обязанности, увечий и погибали. Как я подчеркиваю в главе 12, их военная лояльность опиралась в меньшей степени на национализм, а в большей — на военную дисциплину, которая тщательно объединяла лояльности к локально-региональным подразделениям в более крупные армии. Символы этих армий были все более общенациональными. Но национализм солдат и матросов порождался скорее «организационной победой над ними» и дисциплиной, чем «свободной» приверженностью идеологии подлинного национального гражданства.

Таким образом, рабочие и крестьяне обычно не слишком сильно идентифицировали себя с нацией-государством. Так как оно не было *их* государством, они обычно не интересовались его внешней политикой. Они уделяли больше внимания общенациональной борьбе за права организаций союзов, возможности образования, прогрессивное налогообложение или по-прежнему были заключены в «клетку» старыми привязанностями к локально-региональным сообществам. Но рабочие обычно были настроены против войны хотя бы потому, что армии по-прежнему подавляли их (глава 12), либеральные союзники часто были рьяными антимилитаристами, а крестьяне часто идентифицировали милитаризм с централизмом и военной повинностью. Рабочие движения находились в оппозиции военным, выступали за социалистический пацифизм и заявляли, что капиталистические или династические войны не имеют отношения к интересам народа. В России эти чувства разделяли организации крестьян и среднего класса, также не имевших гражданских прав. В Австрии отсутствие гражданских прав у некоторых национальностей имело радикализирующий эффект среди части крестьянства и средних классов. В партийных демократиях, где лишения прав были не столь масштабными, среди рабочих не было как явного милитаризма, так и подозрительного отношения к милитаризму режима.

Но ни в одной стране национализм рабочего класса или крестьянства всерьез не усиливал международную напряженность. Некоторые теоретики «аристократов труда» полагают, что рабочий класс был вовлечен в империализм и националистское соперничество. Но они ошибаются. Рабочие и крестьяне составляли меньшинство, как во *всех* националистических и империалистических движениях этого периода, включая группы влияния, обсуждавшиеся в главе 16, а также агитации, касавшейся империалистических авантюры типа Англо-Бурской вой-

ны или интервенции США на Филиппинах (Weber 1968; Price 1972; Eldridge 1973; Welch 1979: 88; Eley 1980). Кто бы ни вызвал Великую войну, это точно были не рабочий класс и не крестьянство.

Активисты рабочего класса также идентифицировали себя с более крупным *транснациональным* сообществом. Из его шести основных идеологий, выделенных в главе 15, мутуализм, синдикализм, марксизм и социал-демократия были почти транснациональными. Транснациональными были и большинство версий экономизма и протекционизма. Гомперс заявлял, что он такой же транснационалист, как и Маркс. Хотя транснационализм в американском рабочем движении был омрачен расизмом, он усиливал его антиимпериализм (противостоял зарубежным авантюрам, чтобы оставить Америку белой). Почти все рабочие лидеры подписались бы под заключительными словами Коммунистического манифеста: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Гимнами рабочих движений были обычно варианты Интернационала. Вот синдикалистский вариант «Индустриальных рабочих мира» (Dubovsky 1969: 154):

Вставайте, узники голода!  
Вставайте, обездоленные земли!  
Во имя справедливости гремит осуждение.  
Рождается лучший мир.  
Земля встанет на новом основании;  
Мы были ничем — мы станем всем!  
Это последний бой!  
Пусть каждый займет свое место.  
Союз рабочих путь объемлет все человечество.

*Обычная версия*

Вставай, проклятым клейменный,  
Весь мир голодных и рабов,  
Кипит наш разум возмущенный  
И в смертный бой вести готов.  
Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем  
Мы наш, мы новый мир построим,  
Кто был ничем, тот станет всем.  
Это есть наш последний  
И решительный бой,  
С Интернационалом  
Воспрянет род людской!

В основных рабочих движениях того времени не было выраженного национализма, как и (примечательно для этого периода) выраженного расизма (за исключением США), так как «челове-



чество было — одно». Даже якобинская идентификация социализма с французской нацией и республикой — революционная традиция триколора и «Марсельезы» — была в этот период несколько приглушенной. Были и «регионально-националистические» социалисты — австро-венгерские и ирландские, которые добивались демократии для своих наций, но редко кто из социалистов поддерживал военную агрессию или войну за рубежом.

Социализм также обладал двумя небольшими, но влиятельными транснациональными инфраструктурами, связывавшими эмигрантов и интеллигенцию. Эмигранты оказались транснационалистами поневоле, а интеллигенция с энтузиазмом приветствовала транснационализм. Активистов из ремесленников и рабочих в течение всего XIX в. наказывали в монархиях высылкой из страны. Они группировались в мелких либеральных германских государствах, в Лондоне, Париже, Брюсселе, Швейцарии и в США. Лишь в Америке их социализм пришел в упадок, в остальных странах они взаимодействовали с местными рабочими и другими эмигрантами, говорящими на их родном языке, в основном высланными и космополитичными учителями и журналистами, то есть с социалистической интеллигенцией. Они были подлинными наследниками транснационального Просвещения. В конце XIX в. сети эмигрантов и интеллигенции в клубах, кафе, тавернах и журналах стали мощными идеологическими инфраструктурами для распространения идей социализма через национальные границы. Немногие из читавших Маркса, Бланка, Бакунина, Фурье, Ленина, Люксембург могли читать на иностранном языке. Переводчиками и издателями были некоторые космополиты из этой богемы, часто евреи. Ячейки рабочих-эмигрантов и богемной интеллигенции основали в 1864 г. Первый Интернационал, задолго до того как профсоюзы создали эффективные общенациональные организации. Левые интеллектуалы и активисты были решительно транснациональными.

Но массовые рабочие организации стали *национальными*. Каковы бы ни были идеологии, их активность не простиралась за границы наций-государств. Когда протекционизм, экономизм или синдикализм старался превзойти государство, организация появлялась локально или регионально и изредко за границей. Мутуалисты, социал-демократы и марксисты выдвигали свои требования к национальному государству и тем самым усиливали его с каждым достигнутым ими успехом. Национальное государство было единственным реалистичным контекстом, в котором могло существовать коллективное социальное гражданство или перераспределение власти, богатства либо безопасности. Рабочее движение было национальным, по-

тому что гражданское общество авторитетно регулировалось национальным государством (чего Маркс никогда не признавал). Это отделяло рабочих от капиталистов, которые теперь почти не нуждались в национальном политическом регулировании. Они могли позволить править рынку, воплощавшему капиталистические отношения собственности. На практике виды капиталистической организации были самыми различными — транснациональными, национальными или националистическими. Напротив, деятельность и организация рабочих преимущественно ограничивались национальными рамками. Как сказал Жюль Гед (Jules Guesde), «какими бы мы ни были интернационалистами, организованный пролетариат каждой нации должен работать на национальном уровне ради освобождения всего человечества» (Weber 1968: 46).

Интернационал мог поддерживать транснациональные идеи, но к 1890 г. он стал комитетом национальных организаций, представители которых продвигали национальные интересы. Национальное государство было реальным контекстом для накопления капитала и регулирования труда (Olle and Schoeller 1977: 61). Тем самым в антивоенных чувствах рабочего движения оставалось два слабых места.

1. Поскольку практика рабочего движения была преимущественно национальной, оно было менее активно и практически безразлично к геополитике. Британские рабочие были не столько в оппозиции, сколько безразличны к Англо-Бурской войне и империализму, заключает Прайс (Price 1972: 238). Первый Интернационал и другие международные рабочие конгрессы оставались узкими дискуссионными клубами, не имея структур для эффективного принятия решений или массовых последователей. Столкнувшись с войной, рабочий класс каждой нации принимал решения самостоятельно, независимо от всех остальных. Организационно это ослабляло способность рабочих сопротивляться скатыванию к войне.
2. Рабочие боялись милитаризма в первую очередь по национальным причинам, из-за его роли во внутренних репрессиях. Хотя они боялись милитаризма своего собственного режима, милитаризм другого режима, если он казался еще более репрессивным, вызывал еще больший страх. Французские рабочие боялись немецкой агрессии из-за ее реакционной угрозы республике; немецкие и австрийские рабочие боялись России, потому что она угрожала всем рабочим организациям. Только русские рабочие из-за более реакционного режима имели иммунитет к этому страху. В других же странах им можно было манипулировать для поддержки войны.

В 1914 г. эти слабости подтачивали транснациональную риторику Интернационала и рабочих лидеров. В Германии большинство лидеров Социал-демократической партии опасались, в частности, того, что, если они выступят против войны, их партию и профсоюзы, создававшиеся десятилетиями, немедленно разгонят по законам военного времени при полной поддержке других классов. Иностранный пролетариат не смог бы защитить их. В распоряжении немецких рабочих были лишь немецкие организации, и их следовало защищать любой ценой. Рабочие лидеры также не были уверены и в том, что смогут противостоять пропаганде режима: «главным врагом является реакционная Россия» (Morgan 1975: 31). Аналогичная мотивация встречалась и в Социалистической партии Австрии. Французские социалисты продолжали оставаться в формальной оппозиции до самой войны, но большинство признавали, что рабочим следует и даже необходимо сплатиться на защиту республики. Британские социалисты не имели собственной внешней политики, но следовали за своими либеральными союзниками. Организации рабочего класса шли за близкими им партиями и режимами не потому, что были агрессивными националистами, экономическими или политическими, а потому, что рабочий класс был национально заключен в «клетку» и не мог удержать других от Великой войны.

Классы с более устойчивыми гражданскими правами также были национально организованными, но существующее государство было *их* государством. Так как оно символизировало их воображаемое сообщество, они могли легче идентифицировать себя с его величием, честью и геополитическими интересами. Поскольку государство стало нацией-государством, священные государственные интересы становились национальными. Предыдущие главы показывают, как средний класс вступает в общенациональное общество, его члены становятся избирателями, присяжными, домовладельцами, работодателями слуг, офицерами резерва и участниками общенационального образования, культуры и рынков. Моммзен (Mommesen 1990: 210–224) обозначил главную трансформацию либерализма XIX в. В начале века он был либеральным и сравнительно миролюбивым, но с 1880-х гг. национальные идентичности и чувства становятся более агрессивными. Появляются националистические идеологии, такие как этническое превосходство, ксенофобия, борьба не на жизнь, а на смерть за национальное и расовое выживание, народный милитаризм. Как я уже писал в главе 16, я довольно скептически отношусь к широко распространенному мнению о национализме средних классов, обнаруживая слишком мало подтверждений в его пользу. Сила и характер

национализма существенным образом варьировались от страны к стране. Национализм улавливал в свои сети государственных карьеристов и карьеристов из высшего образования чаще, чем весь остальной средний класс. Он также, как правило, усиливал идеологии и дилеммы режима. Поскольку партийные демократии были расколоты между старым космополитизмом и новыми имперскими призывами к национальному величию, средний класс также был расколот.

Таким образом, ни массовый агрессивный национализм, ни намеренный манипулятивный социальный империализм партийно-демократических режимов не имели большого значения. К нему обращались крайне правые, но они редко выигрывали выборы. Несколько ксенофобов, включая медиамагнатов, возвещали его с агрессивной искренностью, что периодически доставляло неудобства режимам, но не меняло их политику. Национализм в Великобритании и Франции был двойственным, включавшим либеральную веру в то, что их нация несет миру гуманную, христианскую, демократическую цивилизацию (впрочем, он включал и более имперские чувства). Империализм выражался в агрессивной расистской ксенофобии в колониях, но обычно он был более «оборонительным» в самой Европе, где в реальности и началась война. Политический национализм имел тенденцию усиливать идеологии основных партий и реальной оборонительной политики перевооружения во Франции и Великобритании. Либеральные режимы боялись пацифизма общественного мнения больше, чем агрессивного национализма. В это время в обеих странах существовала значительная напряженность в обществе — волны забастовок и Ольстер в Великобритании, забастовки и бунты против военного призыва во Франции, но правительства не обращались к популярному империализму как к решению этих проблем.

Национальная идентичность к этому времени уже была глубоко укоренена как в интенсивных, так и в экстенсивных социальных практиках, но агрессивный национализм еще не был укоренен. Мы уже видели в предыдущих главах, что экономический империализм имел геополитические корни. Тем самым политический национализм был лишен того экономического интереса, который представила бы националистическая классовая организация. Хотя информированное общественное мнение в Великобритании было обеспокоено конкуренцией и протекционизмом со стороны Германии, народные антинемецкие чувства были более диффузными. Националисты ставили величие империи и флота выше прямых экономических выгод. Французские националисты игнорировали экономическое соперничество, играя на вопросах Эльзаса и Лотарингии, германской

угрозы республике и военной мощи Франции. Впрочем, такой поверхностный национализм мог быть дестабилизирующим: идентичность противника можно было быстро менять. Менее чем за одно десятилетие национализм во Франции и в Великобритании поменялся с направленного против друг друга на антинемецкий. Во время кризисов внезапно возникал агрессивный шовинизм, доходивший до готовности к войне, и столь же быстро исчезал после. Как цинично отмечал Ллойд Джордж в начале августа 1914 г., «война становилась популярной с субботы на понедельник» (Albertini 1957: 482; см. Weber 1968: 31–32 по вопросу стремительных перемен в политике Франции).

Такое непостоянство могло приводить в замешательство или служить на руку режимам в ситуации кризиса. Если бы правительство объявило войну «между субботой и понедельником», нация (преимущественно среднего класса) с энтузиазмом последовала бы за ним. Этот трюк с управлением национализмом в партийной демократии по-прежнему существует, только нация теперь включает рабочий класс и женщин. Но сейчас, как и тогда, у него есть ограничения: электорат (преимущественно средний класс) не хотел нести дополнительные расходы, не говоря уже о том, чтобы жертвовать жизнями в войне с другой великой державой (Steiner 1977: 250–253). Режимы Великобритании и Франции сомневались в лояльности рабочего класса, даже если бы Германия напала первой (с 1914 г. у них были причины для радости по этом поводу). Партийно-демократические режимы с осторожностью смотрели на политический национализм, но не были всерьез сбиты с толку и воспользовались всеми его преимуществами после того, как началась война.

На противоположном полюсе — в самодержавной России — социальный империализм был еще менее заметен (Lieven 1983: 38–46, 153–154; Kennan 1984). После 1900 г. балканский кризис усилил панславянский популизм, который побуждал Россию стать лидером славян против тевтонской Германии и Австрии. Панславизм был в определенном смысле идеологией среднего класса, не имевшей особой поддержки у рабочих, крестьян или знати. Но гражданские права среднего класса в России были неясными. В отличие от агрессивного буржуазного национализма на Западе панславизм поддерживали не только политически правые. Он охватывал различные варианты — от почитания царя до насильственного анархизма. Но режим не поощрял его. Самая реакционная монархия в Европе не собиралась даже информировать народ о своей внешней политике, тем более обосновывать ее в понятиях, близких народу.

Таким образом, за исключением Германии, манипулирование социальным империализмом и политическим национализ-

мом не было главной причиной войны. Общество и режим были в повседневной жизни слишком изолированы друг от друга, рабочий класс и крестьянство — безразличны к внешней политике, а преимущественный мотив национализма среднего класса был слишком оборонительным. В среднем и в рабочем классах, а также среди крестьянства было сравнительно мало националистских или транснациональных организаций. В их преимущественно национальных и локально-региональных «клетках» оставались большие дыры, через которые войну могли начать другие при восторженном, но поверхностном согласии среднего класса, вынужденном — крестьян и рабочих, вызванном дисциплиной — солдат<sup>1</sup>.

### СОЦИАЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И ДРЕЙФ РЕЖИМА В ГЕРМАНИИ

Германская агрессия помогла превратить балканский конфликт в мировую войну. Даже если бы социальный империализм нигде не имел значения, но процветал бы в Германии, это уже дало бы основу для построения теории. Эта теория широко распространена среди немецких историков. Начиная с утверждения Фрица Фишера (Fischer 1961, English edition 1967; 1969, английское издание 1975 г.) о *примате внутренней политики* (*Der Primat der Innenpolitik*) в военных целях Германии, многие поддержали его два основных пункта: германское руководство было целенаправленно агрессивным, готовым и жаждавшим большой войны в течение десятилетия перед 1914 г., а его мотивами были как решение внутренних конфликтов между классами с помощью социального империализма, так и достижение мирового господства (Berghahn 1973; Gordon 1974; Geiss 1976, 1984). Правда, Фишер подчеркивал эту последовательность и связность до того, как были вскрыты противоречия режима (Wehler 1970, 1985). Так что мы не можем ни вернуться к *Der Primat der Aussenpolitik*, ни отмахнуться от теории социального империализма в Германии (Mommsen 1976; Joil 1984b).

Германский милитаризм не вызывает сомнений. Бисмарк также манипулировал им ради дешевого социального империализма, используя колонии, чтобы отвлечь от классовых и других общественных проблем (Pogge von Strandmann 1969; Wehler

---

1. Лучшие доказательства появляются в результате исследований реакции на войну общественного мнения и мобилизованных солдат. Я делаю такой анализ в третьем томе, но что касается Франции, в пользу моего утверждения говорит работа Бекера (Becker 1977).

1981). Правительства, стоявшие у власти после него, следовали его примеру. Министр Пруссии говорил, что

тешил себя надеждой с помощью колониальной политики отвлечь наше внимание вовне, но это получилось лишь до определенной степени. Нам тем самым придется вынести вопросы внешней политики в рейхстаг, ибо во внешних делах чувства нации обычно едины. Наши несомненные успехи во внешней политике произведут хорошее впечатление при дебатах в рейхстаге, тем самым политические расколы будут смягчены [Geiss 1976: 78].

Канцлер фон Бюлов пошел еще дальше в разговоре с одним из доверенных лиц кайзера:

Чтобы завоевать народную поддержку монархии, нам нужно оживить «национальную идею». Победоносная война, конечно же, решила бы многие проблемы, подобно тому как войны 1866 и 1870 годов спасли монархию [Geiss 1976: 78].

У Макса Вебера была либеральная версия империализма:

Нам придется осознать, что объединение Германии было юношеской забавой, которую нация совершила в былые дни и с которой лучше было бы расстаться из-за ее цены, если бы оно не было началом германской *Weltmachtspolitik* [политики мировой власти] [Geiss 1976: 80].

Вебер защищал не империализм вместо реформ, а империализм *плюс* реформы, нацеленные на стабилизацию и модернизацию Германии (Mommsen 1974: 22–46).

В других странах взгляды, воплощавшие столь агрессивный империализм, встречались реже. Более того, немецкий социальный империализм не только объединял нацию против иностранцев. *Reichsfeinde*, врагами государства, считались не только иностранные державы, но и внутренние враги — социалисты, левые либералы и этнические меньшинства, в первую очередь католики. Их более или менее искренне связывали с внешними врагами: социалистов и евреев — с международными заговорами, католиков — сначала с Австрией, а потом с Римской курией, поляков — со славянской расой и Россией, эльзасцев — с Францией, либералов — с Великобританией и Францией (Wehler 1985: 102–113). Социальный империализм режима воплощал сегментарную политику «разделяй и властвуй»: объединить лояльное ядро, протестантов-аграриев и промышленников, затем средний класс и католиков, чтобы изолировать социалистов, левых либералов и этнические меньшинства.

Однако германское правительство не манипулировало социальным империализмом постоянно и в направлении миро-

вой войны, как полагают Фишер, Гесс и Бергхан. Большинство режимов периодически обращалось к внешней политике, в которой слова о величии могли отвлекать внимание от внутренних проблем. Но между этим и началом большой войны лежала огромная разница. Между этим и началом войны на два фронта с тремя великими державами в Европе лежала зияющая пропасть. Могла ли такая война рассматриваться как решение классовой борьбы?

Бюлов был убежден, что нет. Он продолжает свое замечание, процитированное выше, словами: «С другой стороны, неудачная война означала бы конец династии». В 1911 г. он развернул эту мысль:

История показывает нам, что за каждой большой войной следует период либерализма, потому что люди требуют компенсации за жертвы и усилия, которые война повлекла за собой. Но любая война, которая оканчивается поражением, обязывает династию, которая ее объявила, пойти на уступки, которые до того казались бы неслыханными... Тот, кто решается на действие, пусть действует осмотрительно и взвешивает последствия [Kaiser 1983: 455–456].

Бетман-Гольвег, его преемник на посту канцлера, пошел в июле 1914 г. еще дальше:

Мировая война с ее непредсказуемыми последствиями значительно усилит власть социал-демократии, так как она проповедует мир, и опрокинет многие троны... война независимо от ее результатов окончится переменами во всем существующем порядке вещей [Jarausch 1973: 151–152].

И это были неслучайные необдуманые высказывания. Они были сделаны двумя последними предвоенными канцлерами Германии в контексте европейских споров о влиянии войны с массовой мобилизацией на классовую борьбу. Хотя некоторые ультраправые думали, что война могла бы сплотить нацию в поддержку короны, большинство консерваторов, как и большинство левых, придерживались противоположных взглядов. Как писал Ленин, живший в эмиграции в Австрии в 1912 г.: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятно, чтобы Франц-Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие»<sup>2</sup>.

Социальный империализм был бы чудесной стратегией режима, если бы можно было гарантировать победу. Но война не дает таких гарантий, и германские государственные деятели

---

2. Ленин, В. И. (1970). Письмо А. М. Горькому // Полн. собр. соч. М. Т. 48. С. 155.



вступали в Великую войну без такой уверенности. Они знали, что война ставит под угрозу общественный порядок. Мы не можем обвинить германскую агрессию в 1914 г. во взвешенной последовательной стратегии социального империализма.

Но *Innenpolitik* и припадки социального империализма, возможно, привели к эскалации германской агрессии непреднамеренно, как предполагают Кайзер и Велер (Kaiser 1983; Wehler 1985). Как показывает глава 9, внутренняя и внешняя политика были тесно переплетены. Во внутренней политике режим двигался к *Sammlungspolitik* (политике объединения) производительных (то есть имущих) классов против *Reichsfeinde* — врагов рейха, как внутренних, так и внешних. Режим желал разделять и властвовать среди производительных классов — Бетман-Гольвег описывал это как «диагональную политику». Возникли три конкурирующие комбинации международной политэкономии и дипломатии: либерализм, *Mitteleuropa* и *Weltpolitik*, все переплетавшиеся с внутренней политикой. Диагональная политика все далее отходила от либеральной комбинации, попадая в объятия более агрессивной геополитики. Но выбор между оставшимися двумя альтернативами так и не был сделан, и Германия непроизвольно дрейфовала к нереалистической катастрофе.

Сосредоточениями либерализма были торговые центры типа Гамбурга, легкая промышленность и финансовый капитал. Либерализм находил поддержку в самом режиме, особенно в Министерстве иностранных дел, дипломаты которого часто давали рекомендации к умиротворению во внешней политике. Они рассуждали так: Франция будет враждебна, пока Германия удерживает Эльзас и Лотарингию, к чему делать врагами еще и Россию с Великобританией? Каприви, бывший канцлер в 1890–1894 гг., склонялся к либеральному пакету внутренних реформ, политэкономии *laissez-faire* и умиротворению Великобритании. Но кайзер предпочел отправить его в отставку, чем проводить умиротворительную политику по отношению к рабочему классу. После этого либерализм в Германии ослаб, не поддерживаемый более режимом, его политэкономия не вызывала интереса консерваторов или крестьян, ему противостояли военные и политические националисты.

Аграрные консерваторы во главе с прусскими юнкерами переходили от протекционизма к экспансионизму. Их главным экономическим соперником становилась Россия, главной опасностью внутри страны — польские рабочие. Немецкий рынок отгородился тарифами от русского зерна — удар по российской модернизации, которая нуждалась в экспорте зерна для оплаты импортируемых промышленных товаров и долгов. Россия склонялась к союзу с Францией — плохая дипломатическая но-

вость для Германии. Многие консерваторы еще более усугубили ее, обобщая конфликт в терминах расистских теорий борьбы тевтонцев против славян. Консервативные в налоговой и социальной сферах, юнкеры вначале не хотели увеличения налогов и мобилизации массовой армии, необходимой для военной агрессии, но после 1909 г. политические мотивы снизили их сопротивление, так как они стали искать союза с националистскими партиями, чтобы вернуть себе исчезавшую власть. Инструментом, который они выбрали, была армия, идеология — шовинистическая и все более расистская, а их геополитика рассматривала Россию как врага, Австрию как союзника, а решением проблем — *Mitteleuropa* во главе с Германией. Юнкеры выступали за союз меркантилизма, экономического империализма и геополитического империализма, обычно направленного на восток.

Некоторые промышленники, связанные с тяжелой индустрией, также выступали за протекционизм и экспансию. Их мотивы были зачастую прагматичными и рыночно ориентированными, но их инкорпорация в режим усилила территориальные концепции интереса. Поскольку главным конкурентом промышленников были Великобритания, США и Франция, многие из них поддерживали *Weltpolitik*, меркантилизм мирового масштаба. В 1890-е гг. это выросло в экономический империализм (в союзе с геополитическим империализмом самого режима), который принял участие в разделе Африки. Впрочем, их энтузиазм поутих, как только стало понятно, что Германия опоздала на раздел колоний без риска войны с остальными европейскими империями. Промышленники не желали ни такой войны, ни экспансии на восток. Однако напряженность рынка, интерпретируемая авторитарным режимом, благоприятствовала агрессивному меркантилизму. В 1897 г. это подтолкнуло промышленников, как и другие группы, к созданию военно-морского флота.

Создание большого военно-морского флота в Германии имело сложные, порой идиосинкразические причины. Свою роль сыграли как личный энтузиазм кайзера, так и публицистические таланты и влияние при дворе адмирала Тирпица. Но идея великого флота Германии была также политически привлекательной и внутри страны. Германия, казалось, была создана милитаризмом, однако увеличение армии вызывало споры — его не слишком поддерживали средний класс и католический Юг, потому что армия могла использоваться для централизованных репрессий внутри страны. Даже высшее командование и юнкеры колебались, вооружать ли рабочих (призыв в армию предположительно лояльных крестьян уже достигал своих пределов)

и допускать ли численное превосходство буржуазии в увеличивавшемся офицерском корпусе. А капиталоемкий флот, напротив, требовал довольно малочисленного персонала, не мог напрямую использоваться для репрессий и благотворно влиял на тяжелую промышленность, занятость и экономическую модернизацию. Как только промышленники поверили в экономические преимущества броненосцев, они пошли на сделку с юнкерами-консерваторами и Католической партией центра, представлявшими крестьян. В 1897 г. тарифы на зерно были повышены в обмен на второй, решающий закон о флоте. От национальных либералов откупились минимальными реформами (Kehr 1975, 1977: главы 1–4).

Строительство военного флота было поддержано режимом, промышленностью и значительной частью среднего класса, одобрено жителями южных земель и католиками, и против него никто особо не возражал — даже социал-демократы (из-за увеличения числа рабочих мест). Сторонниками строительства стали традиционные рыночные либералы типа гамбургских магнатов-судовладельцев. Оно угодило всем четырем кристаллизациям высокого уровня — монархизму (потому что было новой игрушкой кайзера), милитаризму, капитализму и национализму, не портя отношения с обычными противниками этих кристаллизаций. После 1900 г. флот получил практически все ресурсы, которые хотел. Строительство большого флота было в большей степени результатом *Innenpolitik* — секционного экономического интереса, сегментарных стратегий режима «разделяй и властвуй» и почти институционализированного на повседневном уровне милитаризма государства.

Но в плане внешней политики военно-морская *Weltpolitik* была не слишком реалистичной в материальном смысле. Флот должен был защищать германские торговые и колониальные интересы. Но броненосцы были приспособлены более для прямого столкновения с Великобританией на Северном море, чем для этих целей. В действительности обсуждение флота фокусировалось скорее на его символическом статусе, чем на практической пользе. Германии был необходим флот, заявлял Бетман, «для общей цели ее величия» (Jarausch 1973: 141–142). Такой широкий этатистский империализм, сплетавший экономику и геополитику с национальными концепциями чести, был лишен расчетливой рациональности, которую могли бы дать реалистические либо капиталистические зарубежные интересы. Хотя, казалось, флот был направлен против Великобритании, его создание не сопровождалось ни англофобией, ни хладнокровной оценкой его влияния на внешнюю политику или практической военной пользы.

Непредвиденные дипломатические последствия оказались катастрофическими. Строительство военного флота, сопровождаемое риторикой о мировом господстве, вызвало враждебность со стороны Великобритании и привело к гонке военно-морского вооружения, которую Германия неизбежно проигрывала. Великобритания была ведущей морской державой и могла направить свой разбросанный по морям флот в воды метрополии. Британская дипломатия единодушно сосредоточивалась, как и в предыдущие 150 лет, на политике «флота открытого моря». Королевский флот оставался основной военной силой, а воды метрополии имели абсолютный приоритет для защиты. В 1913 г. Грей решительно заявил: «Военно-морской флот является нашим единственным средством защиты, и наши жизни зависят от него, и только от него». Британские политики считали, что Великобритания должна вступить в войну, если Германия нападет на Францию, без гарантий нейтралитета Бельгии: большой германский флот в портах Бенилюкса мог нанести последний удар британской мощи.

Сумей Германия уменьшить свои аппетиты на континенте и умиротворить Россию или Францию, ее ресурсы позволили бы достичь декларируемой Тирпицем цели в соотношении линейных кораблей с Великобританией 2:3. Это нейтрализовало бы британскую военно-морскую мощь (хотя неясно, с каким результатом). Но *Sammlungspolitik* означала объединение не только производительных классов Германии, но и ее зарубежных противников. Германская дипломатия не умиротворила Россию, потому что режим не расстался с юнкерами. Не пыталась она и разорвать франко-русский союз. Режим инкорпорировал фракции, добавлял политические кристаллизации и не отвергал ничего из их политики. Дипломатическим следствием этого стало то, что Германия оказалась окружена врагами. Без целенаправленного сосредоточения ресурсов немецкий флот не мог овладеть Северным морем. Германия добавила Великобританию к своим врагам, Антанте, притом что была не способна победить ее или воспрепятствовать ее помощи европейским союзникам (Kennedy 1980: 415–422).

Так и вышло, что целенаправленная успешная *Innenpolitik* привела к непредвиденным катастрофическим последствиям для *Aussenpolitik*. Внутренний успех режима вызвал вражду иностранных держав, увеличив как объективную внешнюю угрозу, так и германскую паранойю: «Если мы не намерены причинить вред России, Великобритании и Франции, почему они столь враждебно относятся к нам?» С 1906 г. режим описывал положение Германии как «окруженной врагами», как жертву геополитического заговора. Школа Фишера рассматривает это как

манипуляцию общественным мнением со стороны режима для создания климата в поддержку агрессии как всего лишь «оборонительной войны» (Geiss 1976: 121–138). Мне же более правдоподобной кажется теория путаницы и недоразумений: произвольно дрейфуя к определенным решениям, в первую очередь по внутренним причинам, не задумываясь о дипломатических последствиях, режим сам не ожидал подобной реакции других стран. Но доктрина «враждебного окружения» делала более вероятными ответные меры со стороны Германии. Эта территориальная и военная метафора призывала к тому, что кайзер описал как «вылазку через подъемный мост с добрым острым мечом в руках».

Финальный раунд инкорпорирования включил в политику средний класс, южных немцев и католиков, одновременно разыграв гамбит сегментарной стратегии «разделяй и властвуй». Радикальные либералы, социалисты и этнорегиональные меньшинства были успешно изолированы. Но этот успех лишил германскую политику центра. Как показано в главах 18 и 19, продуктивистский этатистский марксизм завоевал исключенных из государственной политики левых, которые не стеснялись прагматичного альянса с центристами-либералами, что снижало способность марксизма привлекать крестьян или католиков, в то время как партии центристов, инкорпорированные в режим, были вынуждены идти на компромисс с консерваторами, а не с радикальными либералами. Как показано в главе 16, политический национализм концентрировался среди гражданских служащих и в государственных образовательных институтах, превращаясь в более расистский и преклоняющийся перед государством, чем в других странах. В каком-то смысле это лишь усиливало предпочтения режима, но с другой — сокращало его свободу действий. Оттолкнув рабочих и этнические меньшинства, режим теперь зависел от голосов среднего класса. Отрицая суверенитет парламента, режим зависел от лояльности собственных правителей. Их националистический настрой был влиятельным и дестабилизирующим (Eley 1980).

В условиях враждебного окружения и внутренних *Reichsfeinde* этатистские националисты и режим стали обретать параноидальные черты. Они уже были менее способны менять врагов, чем британские или французские националисты, и меньше руководствовались капиталистическими или реалистическими понятиями интересов. Это преимущественно *политическое* объяснение «параноидального» элемента германской политики в отличие от теорий, основанных на экономических трудностях классов или их предполагаемой «статусной панике» (эти теории я опровергаю в главе 16).

В июле 1914 г. Бетман-Гольвег отмечал, почему Германия оказалась в затруднительном положении:

Допущенные прежде ошибки... создают трудности всем — становятся на пути каждого, но в действительности никого не ослабляют. Причины: бесцельность, нужда в мелких успехах в области престижа и озабоченность каждым движением общественного мнения. «Национальные» партии с их возней по поводу внешней политики хотят сохранить и усилить свои позиции [Stem 1968: 265].

Это было проницательное, но слишком запоздалое наблюдение. Он уже передал дипломатию в руки кайзеру с его «добрым острым мечом».

Социальный империализм действительно был важен для германской дипломатии, но более как непроизвольный дрейф и непреднамеренное последствие, чем как осознанная стратегия режима. Либеральные историки утверждают, что провал режима в решении внутренних проблем привел к внешней агрессии. Напротив, именно успешное превращение абсолютизма в полуавторитарную монархию привело его к геополитической катастрофе. Порядок при дворе и в рейхстаге был куплен ценой дополнительных кристаллизаций государства — тем, что наиболее сегментарно инкорпорированным фракциям позволили сохранить свое представление о врагах Германии. Это схоже с теорией Шнайдера (Snyder 1991: 66–67) о сделках (по обмену голосами) между «картелизованными элитами»: элиты с высококонцентрированной властью, заинтересованные в имперской экспансии, экономическом протекционизме и военной готовности, пошли на обмен голосами друг с другом, получив на выходе большую агрессивность, чем та, на которую рассчитывала каждая элита в отдельности. Вследствие этого Германия оказалась «на пути каждого», что осознавали как Бюлов, так и Бетман-Гольвег. Чтобы избежать этого, режиму пришлось бы сделать выбор между юнкерами, монархией, армией, флотом, капиталистами-промышленниками и этатистскими националистами. Бюлов потерял свой пост, когда пошел против льгот в налогообложении юнкеров. Бетман был пригвожден к позорному столбу и лишен поддержки этатистских националистов, когда выступил за дипломатическое урегулирование.

Режим продолжал свой повседневный непреднамеренный дрейф к милитаризму. Аграрии вернули себе влияние на бюджет, и с 1912 г. армия увеличивалась больше, чем флот. К 1914 г. проигрывали лишь либералы и социалисты. Выбор между *Mitteleuropa* и *Weltpolitik* с учетом их реалистических достоинств так и не был сделан. Фракции режима, поддерживавшие эти варианты политики, продолжали интриговать, зарубежные против-

ники обеих политик оставались в силе, режим оставался как капиталистическим, так и монархическим, а также и милитаристским и становился националистическим, не выбрав приоритета между этими кристаллизациями. Так и не было установлено, за что же выступает этот режим. На самом деле его популярность среди разнообразных фракций зависела от отсутствия этой определенности. Режим был популярен, но его популярность угрожала миру и собственно выживанию режима. Никогда ранее власть непреднамеренных последствий действий не была столь катастрофически велика. Сам внутренний успех стратегии полуавторитарного инкорпорирования доказывал геополитическую гордыню режима.

Вероятно, всего перечисленного было недостаточно, но имел место исключительно геополитический вклад в падение Германии. К несчастью для Германии, в силу ее географического положения ее милитаризм запустил именно *мировую* войну. Противником немецких помещиков стала Россия, восточный сосед и крупнейший конкурент с обширными землями; противником с тяжелой промышленностью (строившим броненосцы) стала с запада Великобритания — величайшая морская держава, а очевидным союзником для обеих стран на юго-западе была по-прежнему жаждавшая реванша Франция. И вновь держава, расположенная в центре Европы, попала в ловушку войны на два фронта и повторила судьбу других упомянутых в главе 8 стран. Расположение в *Mitteleuropa* лишь подстегнуло гордыню Германии.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одно-единственное событие имело множество причин. Уберите удачу Гаврило Принципа (запланированное покушение сорвалось, и Принцип скрывался в кафе, когда открытая машина эрцгерцога неожиданно появилась прямо перед ним), или опрометчивость нескольких сербов и австрийцев, или ошибки нескольких дипломатов и генералов, и Первая мировая война могла бы не начаться тогда, когда произошла, или даже вообще не начаться. Анализируя более общие структурные причины, я хочу лишь объяснить общий климат, который сделал войну чем-то средним между возможным и вероятным исходом. Случайные события происходят, но происходят именно в вероятностном смысле. То, что выглядит случайным в краткосрочной перспективе, особенно для участников, «с точки зрения вечности» (*osub specie aeternae*) является долгосрочным паттерном. Этот том не охватывает вечности, так же как и 156 лет, рассма-

триваемых в нем, являются достаточно долгим сроком для тщательной проверки такой возможности. Но он начинает такую проверку, и эта глава ее развивает.

Мы ясно видим, что объяснение не может лежать исключительно в области *Innen-* либо *Aussenpolitik*. Принимаемые решения определялись сплетением внутренней и внешней политики как внутри, так и между нациями-государствами. Внутренняя консолидация нации-государства вела к появлению противоположного национализма в разных странах; развитие капитализма вело к усилению борьбы между экстенсивными и политическими классами; государственные деятели и военные представляли все эти процессы в условиях интенсификации геополитики держав. Ни один из этих процессов не развивался в вакууме, изолированно от других; каждый процесс влиял на остальные совершенно непреднамеренным образом. Никто не контролировал всего в целом и не мог предсказать реакции других наций, классов, политиков и военных.

Как *Innen-*, так и *Aussen-*школы ошибочно рассматривают общества и государства как системы, цельные и однородные. С точки зрения *Innen-*школы классы и другие внутренние акторы власти рационально планируют действия и согласовывают свои интересы через стратегии, например, экономического или социального империализма. С точки зрения *Aussen-*школы реализма государственные деятели рационально учитывают геополитические интересы. Обе школы допускают, что акторы делают ошибки, а реалисты пытаются включить ошибки современников в свои микрообъяснения. Однако масштабы просчетов исторических акторов были просто колоссальными. Они действительно пытались действовать рационально, учитывая свои национальные, классовые и геополитические интересы и пытались обращаться к наиболее экономным способам их достижения. Но никто из них не преуспел в этом, что явилось самой характерной чертой событий августа 1914 г. Война была непреднамеренным последствием взаимодействия между пересекавшимися, накладывавшимися друг на друга сетями власти. Акторы преследовали свои цели и произвольно дрейфовали от стратегии к стратегии, взаимодействие которых было непредсказуемым и в конечном итоге разрушительным.

Этот «структурированный беспорядок» усугубляло базисное противоречие в основе современного государства. С одной стороны, дипломатия государственных деятелей Нового времени и профессионализм военных были системными по своим последствиям, потому что они командовали крупными инфраструктурами власти, описанными в главах 11–14. Режимы и державы пали, экономика стран оказалась подорвана, миллионы



людей были убиты и искалечены в результате их решений пойти на риск войны. Весомые причины, приводимые теоретиками *Innen-* и *Aussen-*школ, могут *все еще* казаться приемлемыми для такого уровня риска и опасностей. Однако ни государственные деятели, ни военные, ни классы, ни нации не могли действовать на основе подобных весомых причин. Потому что, с другой стороны, структуры, при помощи суверенитета которых государства принимали свои решения, находились в беспорядке по четырем выраженным параметрам. Государство модерна было унитарным по последствиям своих действий, но полиморфным и фракционным по своей структуре.

1. *Монархии.* Интриги в них сплетали сложные структуры как в повседневной, так и в кризисной политике, при этом военные в условиях кризиса могли действовать независимо. Монархи и их советники институционализировали сегментарные стратегии «разделяй и властвуй», намеренно избегая вручить конечную ответственность за политику в чьи-либо руки. Они провоцировали интриги, надеясь в итоге держать в своих руках их нити. Когда возникли промышленные капиталисты, буржуазные парламентарии и политические националисты, они были инкорпорированы в эти интриги. Во всех трех великих державах, более прочих ответственных за войну, — Германии, России и Австро-Венгрии — распри между знатью, генералами, капиталистами, партийными лидерами и националистическими партиями (за исключением России для последних) достигали самой вершины государства, самого монарха, перетягивая его то в одну, то в другую сторону, что в итоге выливалось в скоропалительные действия.
2. *Партийные демократии.* Здесь я различаю принятие решений в обыденной жизни и в условиях кризиса. Принятие решений в условиях кризиса сосредоточивалось в парламентах и кабинетах правительств, где окончательные сферы ответственности были довольно четко определены. Хотя рутинное принятие дипломатических решений старого режима и видных республиканских государственных деятелей было еще более закрытым, изолированным и автономным, чем в монархиях, так как классы и партии были преимущественно заключены в «клетку» своей национальной или локально-региональной организации. Их изоляция имела два основных недостатка: государственные деятели не могли произвольно выделять средства на цели внешней политики и были вынуждены действовать тайно или бездействовать, пока на страну не нападут, прежде чем проявить аг-

рессию. Партийно-демократическое деление проходило между полуизолированным старым режимом и парламентом с кабинетом Нового времени. Его фракционизм выражался в резком изменении внешней политики во время кризисов, несколько усугубляемом конкурирующими либеральной и имперской формами политического национализма.

3. *Все государства* склонялись к более агрессивной территориальной дипломатии. Политики считали, что такая смена курса великих держав сделала мир более опасным. Военные развивали агрессивную тактику и презрение к дипломатии и внедряли (вдалбливали) эффективную сегментарную дисциплину в массы солдат и матросов. Но рост гражданских прав и расширение государственных инфраструктур привели государства в состояние наций-государств и сократили изолированность режимов. Общественная жизнь становилась естественной, порождая сильную эмоциональную привязанность к нации. В рамках таких наций появился более агрессивный национализм, хотя и ограничивавшийся по большей части государственными служащими и государственными образовательными учреждениями, слабее распространяясь среди среднего класса и доминировавших религиозных и языковых сообществ. Общенациональные характеристики сообществ усиливались, локально-региональные и транснациональные слабели. Территориальные характеристики экономических интересов — от мирного протекционизма до меркантилизма и экономического империализма — переплетались с предполагаемо реалистической *геополитикой* режима и более народными концепциями национальной идентичности и чести.
4. *Все политики* тем самым демонстрировали дипломатическую некомпетентность и изменчивость. Военные замкнулись в своей профессиональной технократической компетентности. Государственные деятели, теперь лишь наполовину изолированные, демонстрировали выраженную непоследовательность. Какие-то *транснациональные* организации поддерживали миролюбивую дипломатию; какие-то *националистские* группы влияния поддерживали агрессивную геополитику, исходившую из прямого экономического империализма, особенно в колониях. Но большинство классов и других акторов власти оказались в «клетке» *национальной* организации и политики, безразличные к повседневной внешней политике, но очень бурно реагирующие на внешнеполитические события во время кризиса. Их внешняя политика определялась по большей части внутренней и была неглубокой и риторической. Рабочий класс, большая часть

крестьянства и капиталистов и часть среднего класса при партийных демократиях были против милитаризма по внутриполитическим причинам, оставаясь на словах транснациональными и миролюбивыми. Другие народные классы, особенно в доминирующих религиозных и языковых сообществах, легко склонялись к поверхностному, переменчивому, но агрессивному национализму. Но хотя их воззрения хаотично направляли государственных деятелей, они не могли инициировать внешнюю политику.

Полиморфный фракционизм глубже всего проник в жизнь государства в Германии и Австро-Венгрии. Эти две державы безнадежно запутались между монархиями, государственными деятелями и военными старого режима, с одной стороны, и классами и нациями общества модерна — с другой. Они довели до предела полиморфную кристаллизацию государства модерна. Агрессия двух держав (и сербов) напрямую ответственна за начало войны. Я отвергаю попытку Германии перенести обвинение на «враждебное окружение» и британскую гегемонию, поскольку Германия получала больше бонусов от самой этой ситуации, чем было бы возможно в случае войны. Германская агрессия не была рациональной или реалистической. Это была агрессия, порожденная хаосом из взаимодействия монархического режима, военной касты, классов и нации. Австро-Венгрия с характерной путаницей и неразберихой столкновений отчаявшейся династии и генералов против региональных националистов внесла свой вклад в этот хаос. Свой вклад внес и русский двор со своей милитаристической путаницей и недоразумениями вокруг мобилизации. Партийные демократии тоже не остались в стороне со своей путаницей и неразберихой, полуизоляцией государственных деятелей, ограниченной неспособностью предупредить своих граждан об угрозе войны. Режимы в разной степени разделяли базовое противоречие государства модерна: в то время как мощь государства стала огромной по своим последствиям, в процессе своего функционирования оно было полиморфным и фракционированным. Но государства лишь отражали современное общество, вооруженное различными видами коллективной власти огромной силы, сети дистрибутивной власти переплетались недиалектически. Первая мировая война преподносит нам ужасающие примеры структуры государств модерна и общества модерна, проанализированные мной выше.

Однако расслабляться не стоит, так как пока произошло меньше изменений, чем хотелось бы. Извлекли ли мы урок из Первой мировой войны, чтобы избежать еще более страш-

ной? Или мы вновь попадем в ту же ловушку и повторим трагическую судьбу юного поэта, погибшего во Фландрии?

*Германии (To Germany)*

Вы слепы, как и мы. Никто вам не желал страданий.  
Никто не звал на вас идти войной.  
Мы все в окопах слабого сознания,  
Мы сбиты с толку, не в ладах с собой.  
— Большого будущего ждали?!  
А мы звезд с неба не хватали.  
Так встали друг у друга на пути.  
Шипение и гнев. Слепому на слепца идти.

*Чарльз Гамильтон Сорли* (родился в 1895 г.  
в Абердине, Шотландия. Погиб в 1915 г. в битве  
при Лоосе во Фландрии)

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Albertini, L. (1952, 1953, 1957). *The Origins of the War of 1914*, 3 vols. Oxford: Oxford University Press.
- Becker, J.-J. (1977). *1914: Comment les Français sont entrés dans la guerre*. Paris: PUF.
- Berghahn, V. R. (1973). *Germany and the Approach of War in 1914*. London: St. Martin's Press.
- Bosworth, R. (1983). *Italy and the Approach of War*. London: Macmillan.
- Campbell, C. (1949). *American interests and the open door*. In *American Expansion in the Late Nineteenth Century*, ed. J. R. Hollingsworth. Malabar, Fla.: Krieger.
- Cecil, L. (1976). *The German Diplomatic Service, 1871–1914*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Craig, G. (1955). *The Politics of the Prussian Army, 1640–1945*. Oxford: Clarendon Press.
- Deist, W. (1982). *Kaiser Wilhelm II in the context of his military and naval entourage*. In *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations*, ed. J. Rohl and N. Sombart. Cambridge: Cambridge University Press.
- Doyle, M. (1983). *Kant, liberal legacies and foreign affairs*, parts 1 and 2. *Philosophy and Public Affairs* 12.
- Dubovsky, M. (1969). *We Shall Be All*. Chicago: Quadrangle Books.
- Eldridge, G. C. (1973). *England's Mission*. London: Macmillan.
- Eley, G. (1980). *Reshaping the German Right*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- . (1985). *The view from the throne: the personal rule of Kaiser Wilhelm II*. *Historical Journal* 28.
- Fieldhouse, D. K. (1973). *Economics and Empire, 1830–1914*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Fischer, F. (1967). *Germany's Aims in the First World War*. London: Chatto & Windus.
- . (1975). *War of Illusions: German Policies from 1911 to 1914*. London: Chatto & Windus.
- Geiss, I. (1976). *German Foreign Policy, 1871–1914*. London: Routledge & Kegan Paul.
- . (1984). *Origins of the First World War*. In *Origins of the First World War*, ed. H. W. Koch. London: Macmillan.
- Gordon, M. R. (1974). *Domestic conflict and the origins of the First World War: the British and German cases*. *Journal of Modern History* 46.
- Gourevitch, P. (1986). *Politics and Hard Times*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Herwig, H. (1973). *The German Naval Officer Corps*. Oxford: Clarendon Press.
- Hilderbrand, R. C. (1981). *Power and the People: Executive Management of Public Opinion in Foreign Affairs, 1897–1921*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Hobson, J. A. (1902). *Imperialism: A Study*. London: Nislet.

- Howard, M. (1970). *Reflections on the First World War*. In his *Studies in War and Peace*. London: Temple Smith.
- Hull, I. V. (1982). *The Entourage of Kaiser Wilhelm II, 1888–1918*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haraus, K. H. (1969). The illusion of limited war: Chancellor Bethmann Hollweg's calculated risk, July 1914. *Central European History* 2.
- . (1973). *The Enigmatic Chancellor: Bethmann Hollweg and the Hubris of Imperial Germany*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Joll, J. (1984a). *The Origins of the First World War*. London: Longman Group.
- . (1984b). The 1914 debate continues: Fritz Fischer and his critics. In *Origins of the First World War*, ed. H. W. Koch. London: Macmillan.
- . (1984c). 1914: the unspoken assumptions. In *Origins of the First World War*, ed. H. W. Koch. London: Macmillan.
- Kaiser, D. E. (1983). Germany and the origins of the First World War. *Journal of Modern History* 55.
- Kehr, E. (1975). *Battleship Building and Party Politics in Germany*. Chicago: University of Chicago Press.
- . (1977). *Economic Interest, Militarism and Foreign Policy*. Berkeley: University of California Press.
- Keiger, J. (1983). *France and the Origins of the First World War*. London: Macmillan.
- Kennan, G. F. (1977). *A Cloud of Danger*. Boston: Little, Brown.
- . (1984). *The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War*. Manchester: Manchester University Press.
- Kennedy, P. (1980). *The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860–1914*. London: Allen & Unwin.
- . (1982). The kaiser and German Weltpolitik. In *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations*, ed. J. Rohl and N. Sombart. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1985). *The Realities Behind Diplomacy*. London: Fontana.
- Kitchen, M. (1968). *The German Officer Corps, 1890–1914*. Oxford: Clarendon Press.
- Koch, H. W. (1984). Social Darwinism as a factor in the new imperialism. In his *Origins of the First World War*. London: Macmillan.
- Lafare, L. (1965). *The Long Fuse: An Interpretation of the Origins of World War I*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Lieven, D. C. B. (1983). *Russia and the Origins of the First World War*. London: Macmillan.
- Mackinder, H. (1904). The geographical pivot of history. *Geographical Journal* 23 (reprinted by the Royal Geographical Society, London, 1951).
- Mahan, A. T. (1918). *The Influence of Sea Power upon History 1660–1783*. Boston: Little, Brown.
- Mann, M. (1988). The decline of Great Britain. In M. Mann, *States, War and Capitalism*. Oxford: Blackwell.
- Mansergh, N. (1949). *The Coming of the First World War*. London: Longman Group.
- Mayer, A. J. (1968). Domestic causes of the First World War. In *The Responsibility of Power: Historical Essays in Honor of Hajo Holborn*, ed. L. Krieger and F. Stern. London: Macmillan.
- . (1981). *The Persistence of the Old Regime*. London: Croom Helm.
- Mommsen, W. J. (1974). *The Age of Bureaucracy: Perspectives on the Political Sociology of Max Weber*. Oxford: Blackwell.
- . (1980). *Theories of Imperialism*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- . (1990). The varieties of the nation state in modern history: liberal, imperialist, fascist and contemporary notions of nation and nationality. In *The Rise and Decline of the Nation State*, ed. M. Mann. Oxford: Blackwell.
- Morgan, D. W. (1975). *The Socialist Left and the German Revolution*. Ithaca, New York.: Cornell University Press.
- Morgenthau, H. (1978). *Politics Among Nations*. New York: Knopf.
- Olle, W., and W. Schoeller (1977). World market competition and restrictions upon international trade union policies. *Capital and Class* 1.
- Palmer, A. (1983). *The Chancelleries of Europe*. London: Allen & Unwin.

- Parker, G. (1985). *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*. London: Croom Helm.
- Platt, D. C. (1979). Economic factors in British policy during the new imperialism. In *Conflict and Stability in Europe*, ed. C. Emsley. London: Croom Helm.
- Pogge von Strandmann, H. (1969). Domestic origins of Germany's colonial expansion under Bismarck. *Past and Present*, No. 45.
- Price, R. (1972). *An Imperial War and the British Working Class*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Remak, J. (1967). *The Origins of World War I: 1871-1914*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Robinson, R., and J. Gallagher (1961). *Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism*. London: Macmillan.
- Rohl, J. (1973). Introduction. In *1914: Delusion or Design? The Testimony of Two German Diplomats*, ed. J. Rohl. London: Elek.
- . (1982). Introduction. In *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations*, ed. J. Rohl and N. Sombart. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rohl, J., and N. Sombart (eds.) (1982). *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosecrance, R. (1986). *The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World*. New York: Basic Books.
- Rothenberg, G. (1976). *The Army of Francis Joseph*. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.
- Schmitt, B. E. (1966). *The Coming of the War 1914*, 2 vols. New York: Fertig.
- Snyder, J. (1991). *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Steiner, Z. S. (1969). *The Foreign Office and Foreign Policy, 1898-1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1977). *Britain and the Origins of the First World War*. London: Macmillan.
- Stern, F. (1968). Bethmann Hollweg and the war: the limits of responsibility. In *The Responsibility of Power: Historical Essays in Honor of Hajo Halborn*, ed. L. Krieger and F. Stern. London: Macmillan.
- Stone, N. (1975). *The Eastern Front, 1914-1917*. New York: Scribner's.
- . (1983). *Europe Transformed, 1878-1919*. London: Fontana.
- Taylor, A. J. P. (1954). *The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918*. Oxford: Clarendon Press.
- Todd, E. (1979). *Le fou et le prolétaire*. Paris: Laffont.
- Turner, L. C. F. (1967). The significance of the Schlieffen plan. *American Journal of Politics and History* 4.
- . (1968). The Russian mobilization in 1914. *Journal of Contemporary History* 3.
- . (1970). *Origins of the First World War*. London: Arnold.
- Weber, E. (1968). *The Nationalist Revival in France, 1905-1914*. Berkeley: University of California Press.
- Wehler, H.-U. (1979). Introduction to Imperialism. In *Conflict and Stability in Europe*, ed. C. Emsley. London: Croom Helm.
- . (1981). Bismarck's imperialism, 1862-1890. In *Imperial Germany*, ed. J. J. Sheehan. New York: Franklin Watts.
- . (1985). *The German Empire 1871-1918*. Leamington Spa: Berg.
- Welch, R. (1979). *Response to Imperialism: The United States and the Philippine-American War*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Williamson, S. R., Jr. (1969). *The Politics of Grand Strategy: Britain and France Prepare for War, 1904-1914*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- . (1988). The origins of World War I. *Journal of Interdisciplinary History* 18.
- Wilson, K. (1985). *The Policy of the Entente*. Cambridge: Cambridge University Press.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Дополнительные статистические таблицы**  
**по государственным финансам**  
**и численности государственных служащих**

**ТАБЛИЦА А.1. Численность государственных служащих:**  
**Австрия (Австро-Венгрия, 1760–1860 гг. и Австрия, 1830–1910 гг.)**

Год	Население, млн чел.		Гражданские служащие				Военнослужащие			
	Австрия	Австро-Венгрия	Центр. гос-во, всего		Все уровни, всего		Австрия,		Австро-Венгрия	
			тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%
1760		15,00	10 (А-В)	0,06	26	0,17			250	1,66
1770		17,00							200	1,17
1780		22,00	11 (А-В)	0,05					310	1,41
1790		23,00							350	1,52
1800		24,00							325	1,35
1810		25,00			31	0,12			594	2,38
1820		27,00								
1830	15,83	29,63	55 (А)	0,35	111 (А-В)	0,37	242	1,53	410	1,38
1840	16,86	30,50	62 (А)	0,37	126 (А-В)	0,41	280	1,66	475	1,56
1850	17,82	31,10	72 (А)	0,40	140 (А-В)	0,45	318	1,79	485	1,56
1860	19,13	33,50	190 (А-В)	0,57			308	1,61	535	1,60
1870	20,60	35,90	102 (А)	0,50			177	0,86		
1880	22,14	39,04	118 (А)	0,53			162	0,73		
1890	23,90	42,69	254 (А)	1,06	697 (А)	2,92	188	0,79		
1900	26,15	46,81	297 (А)	1,14	864 (А)	3,30	230	0,88		
1910	28,57	51,39	334 (А)	1,17	899 (А)	3,15	247	0,86		

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Все цифры до 1830 г. относятся к Австрийской (Австро-Венгерской) империи в целом, в то время как все цифры после 1860 г. относятся к Австрии (Reichshalf, иногда называемой Cisleithenia), то есть исключая Венгрию, по которой соответствующие данные в основном недоступны.

1. До 1880 г. данные по государственным служащим в основном взяты из внутренних административных источников, после 1880 г. — из общенациональных переписей, поэтому большой скачок в численности гражданских служащих в 1890 г. стоит воспринимать с осторожностью.

2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

---

#### Источники

*Численность населения:* Австро-Венгрия за 1760–1790 гг. (Dickson 1987: I, 3); за 1790–1910 гг. (Beitrage zur Osterreichischischen Statistik 550, 1979, I: 13–14) — данные, доступные для 1786, 1828, 1857, 1869, 1880–1910 гг. (последние также включают Боснию и Герцеговину); на недостающие десятилетия я спроецировал оценочные; *Австрия* за 1830–1910 гг. (Bolognese-Leuchtenmuller 1979: II, 1).

*Численность военнослужащих:* за 1760–90 гг. (Dickson 1987: II, 343–355); за 1800 г. (Rothenberg 1978) полевая армия плюс гарнизоны и другие территориальные, но мобилизованные резервы; за 1810 г. (Rothenberg 1982: 126) — так называемый реалистичный план мобилизации 1809 г.; за 1830–1910 гг. (Bolognese-Leuchtenmuller 1979: I, 57–60 и II, 5) — личный состав действующих армии и флота; за 1850 и 1860 гг. (в действительности данные 1857 г.) относятся к Австро-Венгрии, но не включают Ломбардию-Венецию; последующие годы только для Австрии (*Reichshalf*).

*Численность гражданских служащих:* за 1760–1810 гг. (в действительности данные за 1806 г.) (Dickson 1987, I: 306–310); за 1830–1850 гг. — служащие центрального государства (в действительности данные за 1828, 1838 и 1848 гг.) (К. К. Statistische Monatschrift 1890: 532–534); за 1830 г. — государственные служащие всех уровней (в действительности данные за 1828 г.) (Macartney 1969: 263); за 1840 г. — государственные служащие всех уровней, проекция между аналогичными общими цифрами, приводимыми Тегеборкси (Tegeborski 1843: 360) для 1839 г., и Макартни (Macartney 1969: 263) для 1842 г.; за 1850 г. — государственные служащие всех уровней (К. К. Statistische Jahrbuch 1863: 104–105) — итоговую цифру 52 тыс. Beamten оценивает (постоянных гражданских служащих) как составляющих 26% всех служащих (как в 1845 и в 1848 гг.); за 1870–1880 гг. государственные служащие всех уровней (К. К. Statistische Jahrbuch 1873: 22, 1881: 54) включают государственных служащих плюс 67% работников здравоохранения и юристов (в последующих переписях их относят к государственному сектору); за 1890–1910 гг. (Osterreichisches Statistisches Handbuch, 1890, 1900, 1910, 1914; К. К. Statistische Monatschrift 1904: 696) отметим, однако, что Болонез-Лейхтенмюллер (Bolognese-Leuchtenmuller 1978: II, табл. 60) воспроизводит цифры переписи 1910 г., но уменьшает их для 1890 и 1900 гг. до 495 тыс. и 617 тыс. без объяснений.



ТАБЛИЦА А.2. Численность государственных служащих:  
Великобритания, 1760–1910 гг.

Год	Население, млн чел.	Гражданские служащие				Военнослужащие	
		Центр. гос-во, всего		Все уровни, всего		Всего, тыс. чел.	%
		тыс. чел.	%	тыс. чел.	%		
1760	6,10	16	0,26			144	2,36
1770	6,41					37	0,58
1780	6,99					193	2,76
1790	7,65					74	0,97
1800	8,61	16	0,18			422	4,91
1810	9,76	23	0,24			517	5,30
1820	11,30	24	0,22			115	1,02
1830	13,11	23	0,17			132	1,01
1840	14,79			42	0,29	163	1,10
1850	16,52	40	0,24	67	0,41	197	1,20
1860	18,68			76	0,41	325	1,74
1870	21,24			113	0,53	242	1,14
1880	25,71			118	0,46	246	0,96
1890	28,76	90	0,32	285	0,99	276	0,96
1900	32,25	130	0,40	535	1,66	486	1,51
1910	35,79	229	0,64	931	2,60	372	1,04

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Цифры для военнослужащих до 1840 г. включают всех, кто носил милицейский и полицейский мундир, но не включают волонтерский корпус. Цифры за 1850-е гг. включают всех, кто носил милицейский и полицейский мундир, а также зачисленных на военную службу пенсионеров (число последних составляет 16 720 чел.).

2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

#### Источники

*Численность населения:* (Wrigley and Schofield 1981).

*Численность гражданских служащих:* центральный аппарат — для 1800–1830 гг. рассчитаны по данным палаты общин, British Sessional Papers, Establishments of Public Offices, 1797, 1810, 1819 и 1827 гг.; за 1840–1880 гг. (Mitchell and Deane 1962); за 1890–1910 гг. (Flora 1983: I, 242). Все уровни государственных служащих за 1840–1880 гг. (Mitchell and Deane 1980); за 1890–1910 гг. (Abramovitz and Eliasberg 1957: 25). В действительности приведены данные за 1891, 1901, 1911 гг.

*Численность военнослужащих:* за 1760–1790 гг. и 1810–1860 гг. рассчитаны по данным палаты общин (British Sessional Papers: 1760–1770 гг. в 1816, 12: 399 и 1860, 42: 547–549; 1780 г. (в действительности данные за 1781 г.) в 1813–1814, 11: 306–307 и 1860, 42: 547–549; 1790 г. (в действительности за 1792 г.) и 1810–1830 гг. в 1844, 42: 169 и 1860, 42: 547–549; 1840–1850 в 1852, 30: 1–3; 1860–1910 в Flora 1983, I: 247–250. 1800 г. объединяет цифры по армии, взятые из Fortescue 1915, vol. 4, part 2: 939, и цифры по флоту, рассчитанные из British Sessional Papers 1860, 42: 547–549.

ТАБЛИЦА А.3. Численность государственных служащих:  
Франция, 1760–1910 гг.

Год	Население, млн чел.	Гражданские служащие				Военнослужащие	
		Центр. гос-во, всего		Все уровни, всего		Всего, тыс. чел.	%
		тыс. чел.	%	тыс. чел.	%		
1770	26,60					220	0,82
1780	27,00			350	1,29	240	0,89
1790	27,19			275	1,01	230	0,85
1800	27,35			250	0,91	800	2,93
1810	27,35					1000	3,66
1820	30,46						
1830	32,57					400	1,23
1840	32,23	90	0,26			350	1,02
1850	35,78	146	0,41	300	0,84	390	1,09
1860	37,39					460	1,23
1870	36,10	220	0,60	374	1,03	600	1,66
1880	37,67	331	0,87	483	1,28	540	1,44
1890	38,34	348	0,91	472	1,23	600	1,55
1900	38,96	430	1,10	583	1,50	620	1,59
1910	39,61	556	1,40	562	1,42	650	1,65

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Военные рекруты из самой Франции составляли около 350 тыс. чел. в 1800 г. и 450 тыс. чел. в 1812.
2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

#### Источники

*Численность населения:* за период 1760–1780 гг. (Riley 1986: 5); за 1790–1910 гг. (Dureux 1976: 37).

*Численность гражданских служащих:* всех уровней — за 1780 г. оцениваются по работе Некера (Necker 1784 (см. в тексте); за 1790 и 1800 гг. приведены оценки (по данным за 1794 и 1798 гг.), выведенные из Чёрча (Church 1981); за 1850 г. (по данным за 1846 г.) — список правительственных служащих в работах (Block 1875: 117–119); за 1870–1910 гг. (Floga 1983: I, 211).

*Центральный аппарат:* за 1850 г. (по данным за 1846 г.) цифры взяты из работы Вивие-на (Vivien 1859: 172–178) с поправками (Julien-Lafferriere 1970) и за исключением военных офицеров; для 1870–1900 гг. — из Recensement general and Resultats Statistiques du Denombrement для 1866, 1876, 1891 и 1901 гг.; для 1910 г. — из Annuaire statistique de la France 1913: 264, в действительности данные за 1913 г.

*Численность военнослужащих:* по армии за 1760 г. (Kennett 1967: 77–78); за 1770–1790 гг. (Lynn 1984: 44; Scott 1978: 5); за 1800, 1810 гг. (в действительности данные за 1812 г.) (Addington 1984: 26; Rothenberg 1978: 43, 51–55; Chandler 1966; 1830–1870; Block 1875: I, 566) (исключая части, расквартированные в Алжире). По флоту — за 1780 г. (Dull 1975: 144); за 1790 г. (Hampson 1959: 209); за 1810 г. (Masson 1968: 257); за 1870 г. (Block 1875: I, 583). Все остальные данные до 1860 г. представляют собой экстраполированные оценочные цифры для флота. Армия и флот: 1880–1910 гг. — из Annuaire statistique de la France 1913: “Resume retrospective”, 132.

ТАБЛИЦА А.4. Численность государственных служащих:  
Пруссия-Германия, 1760–1910 гг.

Год	Население, млн чел.		Гражданские служащие							
			Центр. гос-во		Все уровни				Военно- служащие	
			Пруссия		Пруссия		Германия			
Пруссия	Германия	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	
1760	3,62								150	4,14
1770	4,10									
1780	5,00								188	3,76
1790	5,70								195	3,42
1800	6,16		23	0,37					230	3,73
1810	7,00								272	3,88
1820	11,27								150	1,33
1830	13,00								150	1,15
1840	14,93		16+	0,11+					157	1,05
1850	16,61		32+	0,20+	55+	0,33+			173	1,04
1860	18,27				86	0,47			149	0,82
1870	24,57	41,01	135	0,55	283	1,15			400	0,98
1880	27,19	45,23			413	1,51	704	1,56	434	1,07
1890	29,84	49,43			535	1,80	900	1,70	529	1,12
1900	34,27	56,37							629	1,05
1910	39,92	64,93			Ок. 1000	3,92	1700	2,35	680	1,05

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Численность военнослужащих до 1870 г. — для Пруссии, далее для всей Германии.
2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе II.

#### Источники

*Численность населения:* для Пруссии за 1760–1810 гг. (Turner 1980); за 1820–1870 гг. (Kraus 1980: 226); за 1870–1910 гг. (Statistische Jahrbuch für den Preussischen Staat 1912); для Германии за 1870–1900 гг. (Hohorst et al. 1975: 22); за 1870 г. (приведены цифры за 1871 г.).  
*Численность военнослужащих:* Пруссия за 1760–1860 гг. (Janu 1967), в действительности данные за 1763, 1777, 1789, 1813, 1820, 1830, 1840, 1850 и 1859 гг. Цифры за 1820–1840 гг. (Janu 1967) не включают сержантов либо офицеров и были увеличены на 23% (обычная доля сержантов и офицеров в прусской армии XIX в.); для 1870 г. итоговая численность для Пруссии — 315 тыс. человек (Janu 1967) плюс 2400 чел. флотского персонала; Германия — за 1870 г. (Weitzel 1967: табл. 8) цифры за 1872 г., за 1880–1910 гг. (Hohorst et al., 1975: 171); в 1890 г. (в действительности приведены данные за 1891 г.).  
*Численность гражданских служащих:* Пруссия — для 1800 г. оценочные, «с запасом», представленные одним высокопоставленным прусским администратором Файнеру (Finer 1949: 710) (для 1850 г. его оценка слишком низкая, а цифры по запасу могут оказаться верными); 1840 г. Viilow-Summerow 1842: 225, число Beamten (постоянных гражданских служащих) для 1839 г.; 1850 г. Tabellen und arntlichen Nachrichten den Preussischen Staat für das Jahr 1849, число Beamten (постоянных гражданских служащих) для 1849 г. Таким образом, эти цифры для 1840 и 1850 гг. занижают общее число государственных служащих примерно на 20–30%; 1860 г. (в действительности 1861 г.), Jahrbuch für die Arnliche Statistik 1863; 1870, 1880, 1890 (в действительности 1869, 1882 и 1895 гг.), Sta-

ТАБЛИЦА А.5. Численность государственных служащих:  
США, 1760–1910 гг.

Год	Население, млн чел.	Гражданские служащие				Военнослужащие	
		Центр. гос-во, всего		Все уровни, всего		Всего, тыс. чел.	%
		тыс. чел.	%	тыс. чел.	%		
1770	2,15						
1780	2,78						
1790	3,93	0,7	0,02			0,7	0,02
1800	5,93	2,6	0,04			7	0,12
1810	7,24	3,8 (оценка)	0,05 (оценка)			12	0,16
1820	9,62	7	0,07			15	0,16
1830	12,90	11	0,09			12	0,09
1840	17,12	18	0,11			22	0,13
1850	23,26	26	0,11			21	0,09
1860	31,51	37	0,12			28	0,09
1870	39,91	51	0,13			50	0,13
1880	50,26	100	0,19			38	0,07
1890	63,06	157	0,25			39	0,06
1900	76,09	239	0,31	1034	1,36	126	0,17
1910	92,41	389	0,42	1552	1,68	139	0,15

ПРИМЕЧАНИЯ. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

#### Источники

Численность населения: за 1760–1780 гг. (U.S., Bureau of the Census 1975: табл. А.6–8).  
 Численность гражданских служащих: центральное государство — за 1790–1810 гг. (U.S., American State Papers, vol. 38).  
 Прочие: за 1790 г. (в действительности приведены данные за 1792 г.) в (1: 57–68); за 1800 г. (в действительности за 1802 г.) (1: 260–308); 1810 г. экстраполирован из цифр за 1810 и 1816 гг. (2: 307–396); для 1820–1910 гг. (U.S. 1975: табл. У308–17). Все уровни — для 1900–1910 гг. (Fabricant 1952: 29).  
 Численность военнослужащих: U.S. 1975: табл. У904–16 (в действительности приведены данные за 1789, 1801, 1821, 1831, 1841, 1851, 1861, 1871, 1891, 1901 и 1911 гг.).

tistisches Handbuch fur den Preussischen Staat, 1869, 1898; 1910 гг. (в действительности 1907 г.) Kunz 1990. *Германия — 1880–1910 гг.*, Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich 1884: 19, 1889: 14, 1909: 33 (в действительности 1882 и 1895 гг.); 1910 г. (в действительности 1907 г.) Kunz 1990.

ТАБЛИЦА А.6. Государственные доходы: Австрия, 1760–1910 гг.  
(общие и основные источники в процентах от общих)

Год	Всего, млн флоринов	Прямые налоги	Косвенные налоги		Гос. собственность	
			Общие	Монополия на соль и табак	Марки, акцизы	Доходы от монополий
1760	35,0	53	19	16	2	10
1770	39,5	48	17	16	9	10
1780	50,1	41	18	19	13	10
1790	85,6	27	36		н/д	
1800	65,5	29	45		н/д	
1810	25,0	30	42		н/д	
1820	112,2	44	20	30	4	2+
1830	123,0	39	23	22	4	12
1840	193,3	25	23	26	4	25
1850	202,5	29	24	24	4	18
1860	355,1	27	17	25	9	26
1870	259,6	35	30		15	21
1880		32	31		20	17
1890		н/д	н/д		н/д	н/д
1900		28	30		17	25
1910	1159,2	28	29		17	26

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. В действительности использованы данные за 1763, 1770, 1778, 1821, 1830, 1841, 1850, 1859, 1868, 1883, 1898, 1913 гг.

2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

#### Источники

Данные за 1760–1780 гг. (Dickson 1987: II, 382–383); чистый доход для мирного времени, «Марки и акцизы» равны категории «Прочее» у Диксона (Dickson 1987). За 1790–1810 гг. (Czoernig 1861: 122); общий доход за 1800 и 1810 гг. — перерассчитанные у Бира (Beer 1871: 390–391) с поправкой на валютные колебания, что сильно сокращает общий доход 1810 г., может быть, даже чересчур. Объем оставшегося дохода для этих лет классифицируется Цёрнигом (Czoernig) как чрезвычайные, возможно, это смешанная категория. Для 1820–1860 гг. (Brandt 1978: II, 1072–3, 1100). Для 1820–1830 гг. обычный доход; данные по доходам от монополий отсутствуют для этих лет, рассчитаны как остаток после вычета из общего дохода прямых и косвенных налогов, марок и акцизов, что дает слишком низкие показатели в 1821 г.; возможно, они попали в необычайно высокие показатели категории «Монополия на соль». Для 1870–1910 гг. (Gratz 1949: 229–230).

ТАБЛИЦА А.7. Государственные доходы: Великобритания, 1760–1910 гг. (общие и основные источники в процентах от общих)

Год	Всего, млн фунтов стерлингов	Налоги		Гос. собственность
		Прямые	Косвенные	Марки, почтовые услуги
1760	9,2	26	69,4	4
1770	11,4	16	70	4
1780	12,5	20	71	5
1790	17,0	18	66	9
1800	31,6	27	52	12
1810	69,2	30	57	11
1820	58,1	14	68	16
1830	55,3	10	73	17
1840	51,8	8	73	19
1850	57,1	18	65	16
1860	70,1	18	64	16
1870	73,7	26	59	12
1880	73,3	25	61	16
1890	94,6	26	50	18
1900	129,9	31	47	22
1910	131,7	27	47	22
1911	(203,9)	(44)	(36)	(17)

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Цифры за 1800 г. в действительности относятся к 1802 г.
2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе II.

Источник: Mitchell and Deane 1980, таблицы по государственным финансам.

ТАБЛИЦА А.8. Государственные доходы: Франция, 1760–1910 гг. (общие и основные источники в процентах от общих)

Год	Всего, млн франков	Налоги		Гос. собственность
		Прямые	Косвенные	
1760	259 l. t.	48	45	7
1770				
1780	377 l. t.	41	49	10
1790	472 l. t.	35	47	18
1800				
1810				
1820	933			
1830	978	40	22	38
1840	1160	ок. 30		
1850	1297	ок. 28		
1860	1722	ок. 23		
1870	1626	26	31	44
1880	2862	21	38	41
1890	3221	18	36	42
1900	3676	21	36	43
1910	4271	22	33	45

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Обычные доходы, исключая все займы.
2. Использованы 1751, 1775, 1788, 1828 гг.
3. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

**Источники**

Для 1760–1790 гг. (Mogineau 1980: 314), который относит доходы духовенства к прямым налогам, а *безвозмездное дарение* (dons gratuits) как государственную собственность. Итоговая цифра дана в *турских ливрах* (l. t.).

Для 1830 г. (приведены данные за 1828 г.) (Hanse mann 1834).

Для 1844–1910 гг.: *Annuaire Statistique de la France* 1913: 134–139; для 1840 г. величина прямых налогов равна сумме так называемых четырех налогов центрального правительства плюс недостающие 5% (оценочно) налога на реализованный прирост капитала.

ТАБЛИЦА А.9. Государственные доходы: Пруссия, 1760–1910 гг.  
(общие и основные источники в процентах от общих)

Год	Всего, млн марок	Налоги		Гос. собственность		
		Прямые	Косвенные	Железные дороги	Др. сектора пром-ти	Всего
1820	96	36	33			30
1840	169	24	34			41
1850	183	22	32			46
1870	550 (651)	24 (20)	10 (24)	24 (20)	30 (25)	65 (55)
1880	805 (982)	21 (17)	8 (25)	30 (25)	22 (18)	71 (58)
1890	1744 (2140)	10 (8)	14 (30)	51 (42)	15 (12)	76 (62)
1900	2607 (3139)	8 (7)	13 (28)	54 (44)	16 (13)	79 (65)
1910	3732 (4630)	11 (9)	3 (22)	58 (47)	16 (13)	86 (69)

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все цифры для обычных доходов, исключая все займы и превышения поступлений над расходами.

2. Использованы 1821, 1844, 1871 гг.

3. Для 1870 г. и далее цифры относятся только к Пруссии (а не к всему Германскому рейху). Цифры без скобок выведены из счетов государственных доходов Пруссии. Цифры в скобках добавляют 60% доходов рейха (почти все выведены из косвенных налогов). Пруссия составляла 60% населения рейха, а вклад в доход рейха от отдельных земель обычно определялся их населением. Тем самым цифры в скобках, вероятно, представляют собой достаточно точные оценки.

4. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

Источники: для 1820–1850 гг. (Leineweber 1988: 315). Отметим, что источники доходов в Пруссии в 1850 г. были выше средних по крупным землям Германии, хотя небольшие земли обычно больше полагались в своих доходах на традиционную государственную собственность (Heitz 1980: 406–408). Для 1870–1910 гг. (Prochnow 1977: 5–7).



**ТАБЛИЦА А.10. Государственные доходы:  
США (федеральные и штатов), 1820–1900 гг. (общие  
и основные источники в процентах от общих)**

Год	Всего, млн долларов	Налоги		Гос. собственность
		Прямые	Косвенные	
1820	25	10	62	26
1830	31	5	71	21
1840	33	18	42	37
1850	69	23	58	20
1860	100	26	54	18
1870	501	26	58	16
1880	446	15	67	17
1890	584	16	64	20
1900	837	16	58	26

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Методика расчета: доходы штатов за 1820 г. доступны примерно для половины из ныне существующих штатов, примерно для трех четвертых за 1870 г. и для всех к 1900 г. Для этих штатов рассчитывался душевой доход и умножался на общее население США на этот год. Затем оценочные цифры общих доходов штатов прибавлялись к общим доходам федерального правительства.

2. Государственная собственность включает почтовые доходы. Цифры в сборнике U.S. 1975 не включают почтовые доходы, за исключением случаев, когда почтовая служба показывала превышение поступлений над расходами. В этом случае включалось лишь превышение.

3. Доход от государственной собственности проистекал от почтовых услуг за все периоды, канальных сборов в ранний период и раздачи государственных земель в середине XIX в.

4. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

Источник: рассчитано по сборникам U.S. 1975: табл. Y352–7; U.S. 1947: 419–422; Holt 1977: 99–324.

ТАБЛИЦА А.11. Федеральные доходы: США, 1792–1910 гг. (общие и основные источники в процентах от общих)

Год	Всего, млн долларов	Налоги		Гос. собственность
		Прямые	Косвенные	
1792	4		98	2
1800	11		89	11
1810	10		87	13
1820	19		80	20
1830	27		82	18
1840	24		56	44
1850	49		81	19
1860	65		82	18
1870	430	17	68	15
1880	367	1	82	17
1890	464	0,2	80	20
1900	670	2	71	27
1910	900		69	31

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Государственная собственность — в основном почтовые доходы. Цифры в сборнике U.S. 1975 являются чистым доходом от почты, за исключением случаев, когда почтовая служба показывала превышение поступлений над расходами. В этом случае включалось лишь превышение. Я включал все почтовые доходы и учел все почтовые доходы.

2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

Источники: население (U.S. 1975: табл. А.6–А.8); доходы (U.S. 1975: табл. Y352–7; U.S. 1947: 419–422).

**ТАБЛИЦА А.12. Доходы штатов: США, 1820–1900 гг. (оценочно в сумме и по основным источникам в процентах от общих)**

Год	Всего, млн долларов	Налоги			Гос. соб- ственность	Прочее
		Прямые	Косвенные	Бизнес		
1820	5 930	25	7	17	43	8
1830	4 263	25	1	14	42	18
1840	9 085	24	4	40	19	13
1850	19 462	53	1,5	23	22	1
1860	35 643	62	1,6	13	18	6
1870	70 911	64	1	17	16	3
1880	79 125	63	0,1	19	18	1
1890	119 988	60	1	20	18	2
1900	167 407	52	4	23	20	2

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Цифры для 1820–1900 гг. составлены на основе усреднений для всего населения США из доступных источников (см. табл. А.10, примечание 1).
2. Для цитируемых источников см. библиографию к главе 11.

Источник: для 1820–1900 гг. — расчеты по работе Холта (Holt 1977: 99–324).

*Научное издание*

МАЙКЛ МАНН  
ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
ТОМ 2. СТАНОВЛЕНИЕ КЛАССОВ  
И НАЦИЙ-ГОСУДАРСТВ, 1760–1914 ГОДЫ  
КНИГА ВТОРАЯ

Главный редактор В. В. Анашвили  
Заведующая редакцией Ю. В. Бандурина  
Выпускающий редактор Е. В. Попова  
Корректор Л. Ф. Королева  
Дизайн обложки С. Д. Зиновьев  
при участии Д. Ю. Карасева  
Оригинал-макет, верстка С. Д. Зиновьев

Подписано в печать 26.02.2018. Формат 70×100/16  
Усл. печ. л. 51,6. Тираж 1000 экз. Изд. № 389/1. Заказ №

Издательский дом «Дело» РАНХИГС  
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82  
Коммерческий центр  
тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02  
delo@ranepa.ru  
www.ranepa.ru  
Интернет-магазин  
www.delo.ranepa.ru

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“»  
121099 Москва, Шубинский пер., 6

ISBN: 978-5-7749-1286-5

